

ЖИЗНЬ  
ПУШКИНА

# ЖИЗНЬ ПУШКИНА

Рассказанная  
им самим  
и его  
современниками

1

# МОСКВА





Am

# ЖИЗНЬ ПУШКИНА

---



*Переписка  
Воспоминания  
Дневники*

В ДВУХ ТОМАХ



# ЖИЗНЬ ПУШКИНА

---



*Рассказанная  
им самим  
и его  
современниками*

ТОМ ПЕРВЫЙ

Москва  
Издательство «Правда»  
1988

84 P 1

Ж 71

*Составление,  
вступительные очерки и примечания  
В. В. Кунина*

Ж 4702010100—1076 1076—88  
080(02)—88

© Издательство «Правда», 1988. Составление.  
Вступительные очерки. Примечания.



## ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Понятие «Жизнь Пушкина» несравненно шире одной лишь бытовой биографии поэта. Это жизнь его творческого гения и жизнь страны и народа в его эпоху. Систематическая работа пушкинистов разных поколений постепенно выявляла различные пласты документальных свидетельств, связанных с судьбою Пушкина. «История пушкиноведения еще не написана, — справедливо отмечал знаток русской поэзии И. Н. Розанов. — А это прежде всего история постепенного опубликования пушкинского литературного наследства и тем самым раскрытие борьбы величайшего русского поэта с царизмом. Это история длительной борьбы за подлинного Пушкина». Добавим — еще и история исследования добытых источников. Всевозможные документы, связанные с жизнью Пушкина, публиковались постепенно в самых различных изданиях. Цель предлагаемого сборника — собрать вместе хотя бы часть разрозненных официальных, эпистолярных, мемуарных свидетельств и, объединив их с автобиографическими строками великого поэта, сделать доступными *самому массовому читателю*.

С первых лет своего вступления на литературную стезю Пушкин в разнообразных формах и жанрах, так или иначе стремясь «остановить время», писал мемуары. В 1819 г. он сказал:

Но сердце ... тихим сном  
В минувшем любит забываться.

И тогда же:

Воспоминание, рисуй передо мной  
Волшебные места, где я живу душой...

В 1821 г. Пушкин выразил ту же мысль глубже и полнее:

В беспечных радостях, в живом очарованье,  
О дни весны моей, вы скоро утекли.  
Теките медленней в моем воспоминанье.

В 1824 г. в «Отрывке из письма к Д.» Пушкин, как один он умел, дал тончайшее определение — близкое авторам и читателям всех времен: «...воспоминание самая сильная способность души нашей, и им очаровано все, что подвластно ему».

Трижды принимался Пушкин за свои записки, которые, не будь они в 1825—1826 гг., после восстания декабристов, уничтожены автором, стали бы для нас всех теперь бесценным автобиографическим кладом. В 1834 г. он вспоминал: «В 1821 году начал я свою биографию и несколько лет сряду занимался ею. В конце 1825 года, при открытии несчастного заговора, я принужден был сжечь сии записки. Они могли замешать многих и, может быть, умножить число жертв. Не могу не сожалеть о их потере; я в них говорил о людях, которые после сделались историческими лицами, с откровенностию дружбы или короткого знакомства».

Но все же поэт рассказал нам свою жизнь: она в его письмах и дневниковых записях, статьях и прозе, драмах, поэмах и стихотворениях. Здесь, однако, нужно сделать оговорку: неблагодарная работа — вычитывать из стихов Пушкина конкретные биографические сведения о нем. Каждая строка отражает душевное волнение поэта, но поэтические его создания не могут приравняться к прямому биографическому свидетельству. В стихах, конечно же, таится жизнь Пушкина\*, но в них ведь и жизнь каждого читателя. Многочисленные стихотворные произведения включаются нами в документальный монтаж вовсе не с целью прямого их биографического толкования. Только в контексте писем и всех иных материалов

\* Он сам признался в этом устами своего любимого героя — Андрея Шенье:  
 (...) Надежды, и мечты,  
 И слезы, и любовь, друзья, сии листы  
 Всю жизнь мою хранят (...)

они помогают воссоздать личную биографию поэта. Это нисколько не противоречит тому факту, что поэтические строки Пушкина, рожденные конкретными впечатлениями бытия, поразительно точны в деталях.

Работая над «Записками» и другими биографическими сочинениями, Пушкин неизменно соединял свою жизнь и семейные предания с историей страны. Например, в первой программе записок лаконичная заметка «Смерть Екатерины. Рождение Ольги» означает кончину Екатерины II и появление на свет сестры Пушкина. А далее следует запись еще короче: *1812 год*. За этим стоит огромная тема Отечественной войны и патриотизма, глубоко волновавшая Пушкина. Два величайших события пушкинской эпохи: война 1812 года и восстание декабристов занимают особенно важное место в размышлениях и творчестве поэта. Понятия Пушкин — человек, Пушкин — гражданин и патриот, Пушкин — великий писатель предстают в нерасторжимом единстве. Отделить одно от другого и третьего невозможно. Подобные попытки в прошлом кончались бесплодно.

В каждый период своей необычайно насыщенной творческой жизни Пушкин неизменно обращался мыслью к периодам предыдущим, создавая как бы своеобразную единую автобиографическую и историческую книгу. Именно поэтому во многих главах двухтомника рядом с произведениями, написанными в указанное в названии время, помещаются и пушкинские воспоминания об этом периоде, относящиеся к последующим годам. Так, воспоминания об Отечественной войне 1812 года собраны в гл. 2 — Пушкин возвращался к этому событию вплоть до последних месяцев жизни; все, что связано с Лицеем, читатель найдет во 2-й и 3-й главах, с южной ссылкой — в 5—7-й главах и т. д.

Хотя настоящий двухтомник самостоятелен по отношению к «Друзьям Пушкина» (Т. 1—2, М., «Правда», 1984; 1985), однако обе книги составляют все же некоторое внутреннее единство. Естественно, что материалы о дружеском окружении Пушкина в «Жизнь, рассказанную им самим и его современниками» не вошли, равно как и



документальные портреты ближайших друзей Пушкина. Больше внимание уделено тем, кто отсутствовал в «Друзьях Пушкина»: родителям поэта; лицейским наставникам; Н. И. Тургеневу; В. Ф. Раевскому; Е. К. и М. С. Воронцовым и другим. Некоторые повторения (в основном писем Пушкина и его друзей) все же оказались неизбежными. Нужно ли говорить, что предлагаемый двухтомник ни в коей мере не может заменить полную монографическую биографию великого поэта. Здесь лишь собранные — далеко не полно — документы и материалы, которые, хочется надеяться, послужат для нашего многотысячного читателя-пушкиниста, чья квалификация за последние десятилетия необычайно возросла, подспорьем при изучении Пушкина. Само собою, при подготовке сборника имелось в виду, что основные вехи жизни Пушкина в общих чертах известны читателю со школьной скамьи. Первый том охватывает 1799—1826 гг., второй — 1827—1835 гг. Документы, связанные с последним годом жизни и гибелью поэта, предполагается включить в отдельную книгу.

Об огромных, до конца непреодолимых трудностях воссоздания образа Пушкина хорошо сказал советский поэт Леонид Мартынов. В его стихах — та самая шутка, в которой велика доля правды:

Никто —  
 И этим я не удивлен —  
 Не написал о Пушкине романа  
 Или трагедии, настолько он  
 Велик и простота его обманна,  
 И ни на чьих страницах не восстать  
 Ему до срока, не пойму какого.  
 Наверно, надо Лермонтовым стать,  
 Чтоб написать о Пушкине толково.

Но каждое поколение пишущих и читающих о Пушкине открывает для себя все новое и новое в его созданиях и в самой его судьбе. В. Г. Белинский писал об этом: «Пушкин принадлежит к вечно живущим и движущимся явлениям, не останавливающимся на той точке, на которой застала их смерть, но продолжающим развиваться в сознании общества. Каждая эпоха произносит о них свое суждение и, как бы ни верно поняла она их, но всегда оставит следующей за ней эпохе сказать что-нибудь новое и более верное, и ни одна и никогда не выскажет всего».

\* \* \*

Каждая хронологическая подборка в двухтомнике предваряется очерком, цель которого — напомнить о главных событиях соответствующего периода в жизни Пушкина, а также ввести дополнительные документы, не уместившиеся в рамки монтажа. Большая часть писем, мемуаров и т. д. дана во фрагментах; в каждом случае это не оговаривается. Номерам в подборках соответствуют номера кратких примечаний.

Назовем здесь основные общебиографические и справочные работы, без которых невозможно было подготовить двухтомник.

Анненков П. В. А. С. Пушкин. Материалы для его биографии и оценки произведений. СПб., 1856; 1873 (переизд.—1984; факсимильное воспроизведение: М., 1985).

Анненков П. В. Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху. СПб., 1874.

Пушкин. Письма. 1815—1833. Т. I, II. Под ред. и с прим. Б. Л. Модзалевского. М.—Л., 1926—1928; Т. III. Под ред. и с прим. Л. Б. Модзалевского. М.—Л., 1935.

Пушкин. Письма последних лет. 1834—1837. Л., 1969.

Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты. М.—Л., 1935.

Вересаев В. В. Пушкин в жизни. Т. 1—2. М., 1936. Изд. 6-е. (Переиздание 2-го тома: М., 1985).

Цявловский М. А. Летопись жизни и творчества Пушкина. Т. I. М., 1951.

Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1—2. М., 1974 (переиздание: М., 1984).

Черейский Л. А. Пушкин и его окружение. Л., 1974.

Переписка А. С. Пушкина. Т. 1—2. М., 1982.

Томашевский Б. В. Пушкин. Кн. I—II. М.—Л., 1956—1961.

Бродский Н. Л. А. С. Пушкин. Биография. М., 1937.

Гроссман Л. П. Пушкин (Жизнь замечательных людей). Изд. 3-е. М., 1960.

Лотман Ю. М. Александр Сергеевич Пушкин. Биография писателя. Л., 1982.

Временник Пушкинской комиссии. 1962—1982 (1—20). Л., 1963—1986.

В примечаниях указана основная литература, использованная в каждой главе.

Все тексты Пушкина в документальных подборках приводятся по изданию: А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в 10 томах. Издание 4-е. Л., 1977—1979.

Составитель признателен Государственному музею А. С. Пушкина, помогавшему в подборе иллюстраций и библиографическом оснащении книги, а также собирателю-пушкинисту И. И. Потоцкому, предоставившему для работы над двухтомником свою прекрасно подобранную коллекцию.

# Глава первая



1799 • 1811

Два чувства дивно близки нам,  
В них обретает сердце пищу:  
Любовь к родному пепелищу,  
Любовь к отеческим гробам.

Животворящая святыня!  
Земля была б без них мертва,  
Как ... ..... пустыня  
И как алтарь без божества.

1830

Две-три весны, младенцем, может быть,  
Я счастлив был, не понимая счастья;  
Они прошли, но можно ль их забыть.

1817

Вынесенное в первый эпиграф неоконченное стихотворение Пушкина представляет собой неповторимое по отточенности и глубине, верное для каждого и всех поэтическое выражение любви к родине и роду отцов и дедов. В черновике, или точнее, варианте второй строфы, существует еще особо важное дополнение к этим стихам, развивающее их главную мысль:

На них основано от века  
По воле бога самого  
Самостоянье человека,  
Залог величия его.

Иначе говоря: без родины и предков нет личности, нет человека. Чтобы лучше понять Пушкина, нужно знать, кто были его предки, как рос и как воспитывался будущий великий поэт. Речь идет о Пушкине не только в общем плане — как о высшем воплощении национальных духовных сил, но и просто об Александре Сергеевиче Пушкине, родившемся в древней русской столице и вступившем на землю вместе с паразитическим в своем разнообразии и блеске XIX столетием. Тогда для читателя из отвлеченной и далекой станет буквальной и близкой строка о родном пепелище: это Москва, сожженная во время Оте-

чественной войны 1812 года и возрожденная новой и во многом иной, чем прежде.

Черный дым московского пожара скрыл от потомков живые приметы и подробности детских лет любимого сына России. 4—5 сентября 1812 года Немецкая слобода — одно из самых пушкинских мест в Москве — полыхала огнем. В старых мемуарах говорится: «В числе ужасных обстоятельств сего пожара наипаче поражало несчастное положение жителей Немецкой слободы. Будучи из места в место преследуемы пламенем, они были принуждены укрыться в кладбища, состоящи близ военного госпиталя. Воззрение на сих несчастных среди могил и при свете пламени представляло их наблюдателю сего великого злоключения столькими страшилищами, вышедшими из своих гробов!» Казалось бы, «рок отъял» самую память о детстве поэта. Но нет — немало и осталось в памяти самого Пушкина, его близких. Но еще больше — в благодарной памяти потомков, собравших воедино не очень многочисленные и подчас противоречивые свидетельства о жизни семьи Пушкиных в Москве в 1799—1811 гг. Пушкинисты разных поколений, уподобясь археологам и не жалея усилий, стремились отыскать все, что сохранилось от пушкинской Москвы. Ошибок и ложных гипотез было предостаточно, но и находки и удачные заключения встречались нередко.

Может быть, несколько в тени остались отношения в семействе Пушкиных. Вернее сказать, чаще всего они рассматривались односторонне.

Взглянем на второй эпитаф, твердо помня, что у Пушкина нет случайных строк. Конечно, здесь легко читается мысль о младенческом непонимании горестей бытия, но видится и иное: воспоминание о коротком детском ощущении полного счастья. Расходящаяся точка зрения, закрепленные стереотипы оценок, «легенды пушкинизма», как их иногда называют, — одна из реальностей литературы о Пушкине. Давно существует в сознании всех нас, не вовсе лишенное оснований, но все же одностороннее представление о том, что у Пушкина было трудное детство: мать взбалмошна и эгоистична, отец слабоволен, скуп и полон любви к самому себе, дом в хаосе и не-



брежении. Все это восходит к отдельным, вырванным из контекста фактам, дошедшим до нас воспоминаниям сестры поэта и даже отчасти к пушкинским собственным оценкам. Но всегда ли дети, даже гениальные, объективно судят своих родителей? Кстати, и немногие известные нам слова Пушкина о матери и отце далеко не однозначно отрицательные, а поступки по отношению к ним подчас и вовсе сыновне-благодарные...

Родителям Александра Сергеевича; отношениям в семье; жизни старших Пушкиных в разные годы; встречам их с сыном-поэтом посвящен документальный очерк, предпосланный первой главе. В нем мы выходим далеко за рамки детства Пушкина, но показалось уместным для начала показать жизнь поэта (пусть неполно и фрагментарно), увиденную глазами его родителей.

В документальном монтаже, который следует за очерком, собраны высказывания и воспоминания Пушкина (поэтические, прозаические, публицистические, эпистолярные) о своих «корнях» и предках, детских впечатлениях, проблемах воспитания и т. д. Все это позволяет, на наш взгляд, достаточно убедительно опровергнуть довольно частые высказывания о том, что Пушкин мало помнил и не любил вспоминать долицейское детство. Скорее напротив, он постоянно возвращался к тем годам. Некоторые стихи его звучат как мемуарные свидетельства о детстве. Здесь же помещаем свидетельства отца поэта, С. Л. Пушкина, о жизни сына и его (С. Л. Пушкина) интерпретацию семейных событий. В мемуарной части подборки — в целом абсолютно достоверные свидетельства сестры поэта Ольги Сергеевны и не столь точные, но донесшие до нас многие важные детали воспоминания А. Ю. Пушкина и М. Н. Макарова.

### «РОДНЫЕ ЛЮДИ ВОТ КАКИЕ...»

В начале 1837 года Сергей Львович Пушкин получил наследство, горше которого не бывает на земле. После погибшего сына достались ему 200 душ кре-

постных в деревне Кистеневка — те самые, что перед женитьбой Александра Сергеевича отец передал ему в «вечное и потомственное владение». Тогда (26 марта 1831 г.) Пушкин писал Плетневу: «О своих меркантильных обстоятельствах скажу тебе, что благодаря отца моего, который дал мне способ получить 38.000 р.\*, я женился и обзавелся кой-как хозяйством, не входя в частные долги». Когда передавалась Пушкину Кистеневка, в официальном акте предусматривалась возможная кончина дарителя, но отнюдь не одариваемого: «Он, сын мой, до смерти моей волен с того имения получать доходы и употреблять их в свою пользу, также и заложить его в казенное место или партикулярным лицам; продать же его или иным образом перевести в постороннее владение, то сие при жизни моей ему воспрещено, после же смерти моей волен он то имение продать, подарить». И вот теперь этот подарок — освобожденные от долгов кистеневские души возвращались старику-отцу...

Е. А. Баратынский был у Сергея Львовича в Москве в тот самый час, когда отцу принесли известие о гибели сына-поэта. «Он, как безумный, долго не хотел верить, — рассказывал Баратынский. — Наконец на общие весьма неубедительные увещания сказал: „Мне остается одно — молить бога не отнять у меня памяти, чтоб я его не забыл“. Это было произнесено с раздирающей ласковостью». Кто знает, не упрекнул ли себя в чем-либо в этот день осиротевший и одинокий Сергей Львович Пушкин (жена умерла меньше года тому, дочь жила в Варшаве, младший сын воевал на Кавказе, ежеминутно подвергаясь опасности)?

Право, когда читаешь его письма той поры, кажется, что отец понял не только, кого потерял, но и кем был его старший сын. 22 апреля 1837 г. С. Л. Пушкин отвечал князю П. А. Вяземскому из Москвы в Петербург: «Благодарю вас за портреты несчастного моего Александра, доставленные мне третьего дня вашим управляющим. Признаюсь, я еще не взглянул на портрет, рисованный Бруни; у меня не достает на то духу и вероятно никогда не достанет. И это не

---

\* Пушкин заложил кистеневские души в Опекунском совете и получил деньги наличными.

потому, что я боялся возобновить мою скорбь; ужасная потеря, мною понесенная, дает мне знать себя теперь еще сильнее (если это только возможно), нежели в то время, когда я получил о ней страшное известие.

Время не ослабляет, а только усиливает мою горечь: с каждым днем моя тоска становится резче и мое уединение чувствительнее. В мои лета одно утешение — это надежда скоро соединиться с теми, кого я лишился в короткий десятимесячный срок. Насильственная смерть сына, подобного моему, не принадлежит к категории несчастий, присущих нашему существованию: оно превосходит все, что я мог ожидать. После смерти моей прекрасной жены, которая была моим ангелом-хранителем, я мог лишь ожидать конца моей грустной жизни, и вдруг это несчастное событие довершает меру моих страданий и исчерпывает все мои моральные силы... Прощайте, дражайший и любезнейший князь Петр Андреевич. Позвольте мне обнять вас как искреннего друга моего Александра. Не забывайте меня. Участие, принимаемое во мне людьми, которые любили его, дает мне еще некоторые силы для того, чтобы жить и страдать».

История с портретами, на которые отец боялся взглянуть, дополняется рассказом современника о том, как у одного знакомого Сергей Львович увидел бюст Александра Сергеевича: «Отец встал, подошел к нему, обнял и зарыдал... Это не была аффектация, это было искреннее чувство его». 20 апреля 1837 г. Сергей Львович писал другу покойного сына Николаю Раевскому: «Ничего так не желаю, как съездить поклониться его могиле и могиле моей жены, рядом с которою он пожелал быть погребенным. Это в Псковской губернии в трех верстах от деревни, где он провел два года и которую он очень любил. Прощайте, дорогой генерал, позвольте мне эту фамильярность, вы дороги мне и вечно будете дороги — и по множеству причин».

Сперва в рукописи, а потом в журнале «Современник» отец поэта получил обращенное к нему и ко всем, кому тогда были дороги честь и достоинство России, равно как и к нам, потомкам, письмо Жуковского

о смерти Пушкина (этим документом закончится наш сборник). Здесь приведем строки из письма Пушкина-старшего Вяземскому от 2 августа 1837 г.: «Я видел *Современника*, не в силах был и дочитать письма Василия Андреевича. Когда я получил оригинальное, я собрался с силами прочесть его, после того не мог до него дотрагиваться. Я приехал сюда (в Москву.— В.К.) единственно для свидания с неоцененным Жуковским. Добрый Жуковский! Как он обнимал меня! Мне очень грустно, очень тяжело — что будет со мною? Истинно, не знаю, кажется, буду и в Петербурге, увижу и обниму вас, любезнейший. Я провел десять дней у Натальи Николаевны (в Полотняном заводе.— В.К.). Нужды нет описывать вам наше свидание. Я простился с нею, как с дочерью любимую, без надежды ее еще увидеть или, лучше сказать, в неизвестности, когда и где я ее еще увижу. Дети — ангелы совершенные; с ними я проводил утро, день с нею семейно. Теперь я один и в трактире, что я ненавижу; сердце почти непрерывно стеснено и одно утешение, что по моим летам состояние сие продолжиться не может (...). Вспоминая об Александре, не забывайте меня. Сохраните ко мне участие, мне столь драгоценное...»

Последняя просьба обращена и к нам, людям последующих поколений, для которых важна каждая подробность жизни Пушкина и близких ему людей. Многое можно простить отцу, знакомясь со всеми этими документами. Но потомство, определенным образом настроенное мемуаристами, не склонно прощать. Вот и кочуют из книги в книгу несколько одних и тех же нелестных фраз о Сергее Львовиче. Между тем, ведь не зря говорят артисты: играешь злодея, ищи, где он добрый. А Сергей Львович и не злодей вовсе и своему великому сыну сделал немало доброго, особенно в детстве.

\* \* \*

Как водилось в дворянских семьях, семилетнего Сергея Пушкина (родился он в 1770 г.\*) записали сержантом в лейб-гвардии Измайловский полк. Пока он резвился в отцовском имении и в саду московской усадьбы, служба шла.

\* В некоторых источниках указана другая дата — 1767 г.

Рос он и воспитывался вместе со старшим братом, будущим поэтом Василием Львовичем. Последний вспоминал об этом в стихах (1797):

Ты помнишь, как, бывало,  
Текли часы для нас?  
Природой восхищаясь,  
Гуляли мы с тобой?  
Или полезным чтеньем  
Свой просвещали ум;  
Или творцу Вселенной  
На лирах пели гимн...  
Поэзия святая!  
Мы с самых юных лет  
Тобою занимались;  
Ты услаждала нас...  
Или в семействе нашем,  
Где царствует любовь,  
Играли мы как дети  
В невинности сердец.

Если о детстве Александра Сергеевича существует до обидного мало прямых свидетельств, то о юных годах его отца и подавно. Так что стоит прислушаться к поэтическим мемуарам Василия Львовича. Святая поэзия услаждала душу братьев Пушкиных, «полезным чтеньем» (французской литературой XVIII в. и русской, новой по тому времени) они свой просвещали ум. Где-то здесь станет «горячо», когда потомки попытаются найти истоки первых впечатлений Александра Сергеевича.

В 1791 г. С. Л. Пушкин переехал в Петербург, где вступил в реальную службу — прапорщиком. В 1797 г. капитан-поручик лейб-гвардии Егерского батальона Сергей Пушкин ушел в отставку со службы военной и, возвратившись в Москву, впоследствии перешел в статскую: в Комиссариатскую часть.

В 1795 г. братья Сергей и Василий и матушка их Ольга Васильевна получили немалое наследство — 2114 душ в селе Болдино Лукояновского уезда Нижегородской губернии. Теперь можно подумать было и об отставке, и о женитьбе, и о житье своим домом в Москве. Так и поступили по старшинству — сперва Василий, потом Сергей.



\* \* \*

Вот у кого, правда, было нелегкое детство — у матери Пушкина Надежды Осиповны. В 1773 г. один из сыновей «царского арапа» Абрама Ганнибала Осип (Януарий) Абрамович в Липецке сочетался браком с дочерью тамбовского воеводы Алексея Пушкина Марьей. В 1775 г. родилась у них единственная дочь Надежда Осиповна (брат ее умер в младенчестве). Но мир в семействе Ганнибала был нарушен, когда дочери исполнился всего-то годик. В 1776 г. дед Пушкина покинул жену и забрал с собой дочь, поручив ее опекунству приятеля. Скоро он от живой первой жены тайно обвенчался со второю, чем навлек на себя, Марию Алексеевну, Надежду Осиповну и всех родных неисчислимыя хлопоты и неприятности. Правда, дочь вскоре возвратили матери, но Мария Алексеевна жила в постоянном страхе: как бы отец ее не похитил или не востребовал к себе. Поселились они сперва в Тамбовской губернии, у деда, но тот умер, а имение Марии Алексеевне не досталось; перебрались в Москву к дядюшке, а оттуда в Петербург. Все это потом отразилось в образе жизни Пушкиных — в необъяснимом, казалось бы, метании по Москве: охота к перемене мест была сильнее самой Надежды Осиповны (теперь уже насчитывают не менее 12 адресов пушкинского московского детства). Мария Алексеевна горячо любила нелегко доставшуюся ей дочь и баловала, как могла. Всюду, как потом для детей Пушкиных, нанимались для Надин учителя, шились, едва ли не из последних сил, наряды, вывозила ее мать на балы и вечера. Но достатка серьезного не было, не говоря уже о роскоши: наследственную деревеньку пришлось продать за долги мужа. Жили они на средства, по суду вытребованные от Осипа Абрамовича. Четвертая часть его имения была отдана в ведомство опеки, «дабы она употреблена была в пользу и на содержание малолетней Осипа Ганнибала дочери». Брат отца Петр Ганнибал и брат матери Михаил Пушкин были назначены опекунами Надежды Ганнибал. Опека вела дело толково: Мария Алексеевна получила даже возможность купить дом в Петербурге, в Преображенском полку. На лето ездили неподалеку — в Кобрино, отсуженное у мужа.

Выросла Надежда Осиповна красавицей. Она была остроумна, свободно изъяснялась по-французски и по-русски, много читала и оживляла собою светское общество, где прозвали ее прекрасною креолкою — с намеком на необычное происхождение \*. В Петербурге познакомился с нею дальний родственник \*\*, молодой офицер, так и сыпавший французскими каламбурами, Сергей Львович Пушкин. Брак их был заключен по взаимному чувству, без примеси каких-либо расчетов — 28 сентября 1796 г. в церкви на мызе Суйда венчались «Лейб гвардии Измайловъскаго полку поручик отрок Сергей Львович сын Пушкин, артиллерии морской 2-го ранга капитана Осифа Абрамовича Генибала з дочерью его девицей Надеждой Осиповой, оба первым браком».

Как поженились, сразу же засобирались в Москву. Сергей Львович опасался, что, не испроси он отставку, не миновать дальних военных походов и разлуки с горячо любимой женой. Мария Алексеевна продала свой петербургский дом и поехала вслед за дочерью и зятем. Современница вспоминала об их московском житье-бытье: «Пушкины жили весело и открыто, и всем домом заведывала больше старуха Ганнибал, очень умная, дельная и рассудительная женщина; она умела дом вести как следует, и она также больше занималась и детьми: принимала к ним мамзелей и учителей и сама учила...» Словом, получается более или менее нормальный семейный дворянский уклад и отношения в семье тоже обычные. А образованность даже необычно высокая. Первый биограф Пушкина, П. В. Анненков, рассказывает об отце и дяде поэта: «Никто больше их не ревновал и не хлопотал о русской образованности, под которой они разумели много разнообразных предметов: сближение с ари-

---

\* Креолами называли потомков испанских, португальских и французских колонизаторов — выходцев из латиноамериканских колоний; позже — людей смешанного происхождения от двух рас.

\*\* Н. О. Ганнибал приходилась С. Л. Пушкину двоюродной племянницей. Иногда пушкинисты называют мать поэта *внучатной* племянницей его отца, что также верно (об этих терминах родства см. В. И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. I, с. 116; т. III, с. 124. М., 1955).

стократическими кругами нашего общества и подделку под их образ жизни, составление важных связей, перенятие последних парижских мод, поддержку литературных знакомств и добывание через их посредство слухов и новинок для неумолкаемых бесед, для умножения шума и говора столицы». «Шум и говор» вокруг маленького Пушкина не прошли бесследно и отозвались в свое время так глубоко, как и помыслить не могли шумевшие и говорившие.

В характеристике Анненкова заметна некоторая ирония, но все же не так далеки были братья Пушкины и от забот отечественной литературы: Василий Львович поэт несомненный — некоторые его стихи и сегодня не умерли. Сергей Львович — версификатор не без способностей. Приведем пример его русского стихотворчества (было и французское). Стихи относятся к 1833 г. — времени относительного благополучия в семье (правда, не материального). Сергей Львович оплакивает пса Руслана:

Лежит здесь Руслан — мой друг, мой верный пес,  
 Был честности для всех решительным примером.  
 Жил только для меня, со смертью же унес  
 Все чувства добрые: он не был лицемером,  
 Ни вором, пьяницей, развратным тож гулякой.  
 И что ж мудреного: был только он собакой.

Совсем не плохо для безвестного в литературе отца великого поэта, не правда ли?

Биографы Пушкина не устают упрекать родителей поэта в том, что они мало занимались детьми, передоверяя их нянькам и наемным учителям. Но, во-первых, нет худа без добра — начатки русского воспитания, воспринятые Пушкиным от бабушки и няни Арины Родионовны, как мы знаем, были неслыханно потом развиты. Во-вторых, не так уж и передоверяли: Мольера Сергей Львович детям читывал, из библиотеки своей не только их не изгонял, но всячески к ней приохочивал, к гостям выводил (а среди них писатели Н. М. Карамзин, И. И. Дмитриев, директор Московского университета И. П. Тургенев), в гости с собою возил — например, к родственникам Бутурлиным, образованнейшему московскому семейству. Наконец, в-третьих, таков был принятый уклад московской

семьи, принадлежащей к определенной социальной группе. Не забудем, что из московского дворянства вышли многие герои войны 1812 года, декабристы, славные писатели, ученые, художники. Вот и выходит, что пишущие о Пушкиных-старших иной раз явно перегибают палку, возводят на них напраслину, как сделал, например, В. В. Вересаев (вслед за М. И. Семевским) в книге «Родственники Пушкина»: «К детям своим Сергей Львович был глубоко равнодушен. При малейшей жалобе гувернантки или гувернера он сердился, выходил из себя, но гнев его проистекал только из врожденного равнодушия ко всему, что нарушало его спокойствие».

На самом деле все не так. Сергей Львович был не равнодушен к детям и к дому — он был слабохарактерен. И только! Побеждать в спорах и бороться с неурядицами не умел. Жалоб и ссор боялся. Легко пускался в ложную риторику или впадал в слезливый тон. Властная и сильная Надежда Осиповна уместно дополняла доброго, но не стойкого в решениях, склонного к сентиментальным излипаниям супруга. Детей они любили и горестно пережили раннюю смерть пятерых из них. Но вот Александра Сергеевича в детстве, да и в молодых его годах, совершенно не поняли, упорно стремясь применять к нему обычные мерки и останавливаясь перед глухой стеной ответного равнодушия.

Кстати сказать, Сергею Львовичу и недосуг было как следует заняться детьми. И вовсе не из-за светских развлечений. Спустя пять лет после переезда в Москву он вступил в статскую службу. 9 января 1802 г. Военной коллегии был объявлен именной указ Александра I: «Государь император по представлению генерал-интенданта армии князя Волконского указать соизволил отставных майора Богомолова, коллежского асессора Пушкина и гвардии поручика Цедельмана определить в штат комиссариатской». Сергею Львовичу в 1802 г. был присвоен чин комиссионера 8-го класса, а в 1804 г. — 7-го класса. Определен он был в комиссию Московского комиссариатского депо «для разных поручений». Комиссия, между прочим, заседала все дни недели с понедельника по субботу с 8 утра до 3 дня. И, за исключением нескольких от-

пусков, на всех заседаниях значится присутствующим С. Л. Пушкин. Впоследствии «разные поручения» сменились ответственностью «по денежному отделению бухгалтерии о деньгах и по казначейству в производстве дел». 28 июля 1811 г. отец Пушкина был удостоен ордена св. Владимира 4-й степени; 25 июня 1812 г. ему был объявлен высочайший указ о производстве его в чин военного советника. Во время войны, вынужденный уехать с семьей из Москвы перед падением города и пожаром, С. Л. Пушкин был членом Нижегородской комиссариатской комиссии. Наконец, в 1814 г. он был направлен на должность начальника комиссариатской комиссии резервной армии в Варшаве. Это была единственная его долгая разлука с Надеждой Осиповной. Оба они вспоминали потом 1814 год как тяжкое жизненное испытание. Опубликовавший данные из послужного списка С. Л. Пушкина неутомимый исследователь всех обстоятельств московской жизни Пушкиных С. К. Романюк \* не без резона замечает: все это «право же, не слишком согласуется со ставшим уже традиционным представлением о нем как о легкомысленном жуире и бонвиване».

Весьма любопытен еще один документ, введенный в научный оборот С. К. Романюком. 14 июля 1811 г. Сергей Львович подал рапорт «Господину генерал Кригс комиссару и кавалеру Татищеву»: «Член сей комиссии господин 7-го класса Пушкин просит Комиссию об увольнении в Санкт-Петербург сроком на двадцать восемь дней, о чем вашему превосходительству Комиссия имеет честь представить и просит на сие предписания». 17 июля предписание было получено. Хорошо известно, что в период между 16 и 20 июля дядюшка Василий Львович повез племянника Александра в Петербург для определения в Царскосельский Лицей. Из приведенного документа следует, что Сергей Львович собирался ехать с сыном сам. Почему это не вышло, пока не ясно. Может быть, он занемог?..

В 1805 г. у Пушкиных и своя подмосковная появилась: «обменяли» Кобрино близ Петербурга на Захарово в 40 верстах от Москвы. Равнинная русская местность, с темною зеленью елового леса и печаль-

\* См. Временник Пушкинской комиссии 1979. Л., 1982, с. 5—15.



ными ветвями берез, старинный барский дом с флигелями и службами на берегу пруда, окруженного вековыми липами,—таков был общий характер Захарова, первой деревни, узнанной Пушкиным в жизни. С 1806—1807 гг. до 1811 г. Пушкины проводили в Захарове лето, а по некоторым предположениям, и часть зимы. Александр Сергеевич полюбил свое первое сельское обиталище и сохранил навсегда воспоминание о нем в сердце и стихах (№ 16). Упомянуто Захарово и в «Борисе Годунове». Парк в Захарове был большой, густой, смешанных пород, много старых больших деревьев. Липовая аллея вела к высокому берегу Москвы-реки. А еще в двух верстах— село Вяземы—вотчина Бориса Годунова, которую облюбовал как свой загородный дворец Дмитрий Самозванец. Один из биографов вспоминает, что Захарово (Захарьино) «деревня была богатая, в ней раздавались русские песни, устраивались праздники и хороводы, и, стало быть, Пушкин имел возможность принять народные впечатления». Природа, история и «народные впечатления» слились в Захарове воедино—словно для того, чтобы обрести бессмертие под пером Пушкина. В июле 1830 г. Пушкин посетил Захарово, прощаясь с далеким уже детством. Это даже вызвало удивленную реплику Надежды Осиповны в письме к дочери: «Вообрази, он совершил этим летом сентиментальное путешествие в Захарово, совершенно один, единственно, чтобы увидеть место, где он провел несколько лет своего детства».

В целом, если говорить о детских отношениях Пушкина с отцом и матерью, то, видимо, прав был П. В. Анненков, когда заметил: «Характер второго их ребенка Александра (...) так мало был похож на всё, чего они могли ожидать от своего семейства, что весьма скоро сделался для них загадкой. Из соединения двух разнородных фамилий и двух противоположных нравственных типов возникла натура до того своеобразная, независимая, уступчивая и энергичная в одно время, что она сперва изумила, а потом и ужаснула своих родителей». Не представляется столь же бесспорным другое утверждение Анненкова: «При воспитании подобной натуры не только не было употреблено в дело какого-либо определенного

правила или обдуманной системы, но и простого здравого смысла». Может быть, и к лучшему, что «здравый смысл» и «обдуманная система» не затруднили развитие своеобразной натуры Пушкина. Более того, вольно или невольно родители в раннем возрасте образовали сына в тех направлениях, которые после, невиданно развившись, создали национального гения. Увы, в суматохе фактов и оценок профессионального и любительского пушкиноведения мы порой склонны забывать, что Надежда Осиповна и Сергей Львович дали России Пушкина. Как бы сложно потом ни складывались отношения Пушкина с родителями, детство чаще всего представлялось поэту в светлых тонах.

Возвратившись из Варшавы, Сергей Львович до окончательной отставки в 1817 г. служил в Петербурге, куда без него перебралась Надежда Осиповна с детьми. 31 раз он посетил старшего сына в Лицее, не скупясь на извозчика из Петербурга, дороговато стоившего. Первый раз это произошло 11 октября 1814 г. и осталось в памяти поэта («Приезд отца». — гл. 2, № 1). 15 ноября Александра навестило все семейство — родители, сестра и брат. В январе 1815 г. Сергей Львович присутствовал на переводных экзаменах на старший курс, в том числе и в тот день, когда Державин провозгласил его сына своим преемником. И в последние лицейские годы родители Пушкина то вместе, то порознь приезжают в Царское Село.

Первые серьезные трещины между старшим сыном и родителями пролегли, когда молодой человек был выпущен из Лицея, а жалованье ему назначенное — 700 рублей в год — не покрывало даже первейших нужд. Тут уж Сергей Львович, к пожилым годам утративший даже показную щедрость, повел себя немудро, а в глазах Александра Сергеевича оскорбительно. Даже на извозчика теперь он не позволял сыну тратиться; в ответ на просьбу купить бальные башмаки предложил свои старые — павловских времен. Вообще говоря, это был самый долгий (конечно, после московского детства) период жизни Александра Сергеевича под одной крышей с родителями. Жизнь оказалась трудной для обеих «заинтересованных сторон». Не слишком доброжелательный к Пушкину, но острый наблюдатель М. А. Корф вспоминал: «Дом их

всегда был наизнанку: в одной комнате богатая старинная мебель, в другой — пустые стены или соломенный стул; многочисленная, но оборванная и пьяная дворня с баснословной неопрятностью; ветхие рыдваны с тощими клячами и вечный недостаток во всем, начиная от денег и до последнего стакана». Да и сам образ жизни сына в то время заставлял нервничать Сергея Львовича. Как уж он, с его литературным вкусом, с его готовностью «петь с чужого голоса» — а голоса-то были Державина, Жуковского, Батюшкова — не разглядел, кто перед ним, трудно теперь понять. Осудить легче. Когда сыну грозили в 1820 г. большие неприятности, вплоть до ссылки в Соловки, Сергей Львович всполошился не на шутку. Он обратился к старым друзьям, и «капля его меду» есть в том, что исход получился относительно благополучным. Однако трудно отделаться от мысли, что, снарядив сына в дорогу, старшие Пушкины вздохнули с облегчением: без него им стало спокойнее.

В письмах Пушкина из ссылки родители упоминаются в основном «в видах материальных»: ему в самом деле жилось не сладко, а Сергей Львович раскошелиться не спешил. Разве только что после отъезда поэта переслал ему тысячу рублей им же, Пушкиным, заработанную за «Руслана и Людмилу», да еще пятьсот с оказией.

В феврале 1822 г. по поручению Пушкина с его родными в Петербурге встретился кишиневский приятель поэта Иван Петрович Липранди. В его мемуарах есть несколько строк об этой встрече: «Отец показался мне со всеми манерами старого маркиза. Отец и сын в это посещение (С. Л. и Л. С. Пушкины зашли к Липранди в гостиницу. — В. К.) более всего высказывали опасение насчет вспыльчивости Александра Сергеевича, до них дошли слухи о его столкновениях; и это их очень огорчало; мне показалось даже, что у старика навернулись слезы. Узнав, что я выезжаю обратно через неделю, старик пригласил меня через два дня отобедать у них». Дома у Пушкиных Липранди приняли ласково (поговорить с ним пришли и некоторые друзья поэта) и передали пакет с письмами, деньгами (500 рублей) и тетрадью, которую просил прислать ссыльный поэт. Видимо, Липранди обрисовал

положение Александра черной краской, потому что 4 сентября 1822 г. Пушкин писал брату: «Отцу пришла блестящая мысль прислать мне платье: напомни ему об этом». Во всяком случае, как видно, Сергей Львович был не вовсе чужд благих мыслей.

В Одессе Пушкину в денежных делах легче не стало. «Изъясни отцу моему,—просил он брата 25 августа 1823 г.,—что я без его денег жить не могу. Жить пером мне невозможно при нынешней цензуре; ремеслу же столярному я не обучался; в учителя не могу идти; хоть я знаю закон божий и 4 первые правила — но служу и не по своей воле — и в отставку идти невозможно.—Всё и все меня обманывают — на кого же, кажется, надеяться, если не на ближних и родных». Насчет ремесла — камушек в огород М. С. Воронцова, любителя столярной работы, остальное в письме — реалистическое описание материальных нужд поэта. Сергей Львович хоть и представлял себе положение сына, но мало чем мог и хотел помочь. Он всегда трудно расставался с деньгами. П. А. Вяземский рассказывал: «Сергей Львович был в своем роде нежный отец, но нежность его черствела в виду выдачи денег. Вообще он был очень скуп и на себя и на своих домашних». К тому же наличных денег, чтобы послать сыну, у Сергея Львовича почти никогда и не было. Со слов С. А. Соболевского, близко знавшего все семейство Пушкиных, П. И. Бартенев записал: «Сергей Львович по своему характеру и воспитанию не мог заниматься хозяйством, получал мало доходов с своих, впрочем значительных, имений и попеременно то мотая, то скупясь, никогда не умел сводить концы с концами». Это, вероятно, еще точнее, чем оценка Вяземского. Сергей Львович вполне мог и «тряхнуть карманом», показывая свою щедрость, особенно на людях. В прежние годы и дорогие дома нанимались с роскошной мебелью, и обеды закатывались не дешево. Со временем все это отошло, и Пушкины-старшие оторвались от «большого света».

Внезапный приезд Александра из Одессы в Михайловское обрадовал Сергея Львовича только в первые часы. Но узнав, что сын уволен в отставку, сослан в родительское имение, да еще под двойной надзор — полицейский и духовный, да еще за проповедь

безбожия, Сергей Львович испугался до полусмерти. Он вообразил, что следующей мерой правительства будет не иначе как его собственная ссылка куда-нибудь в Кемь. Тут он и допустил непоправимую ошибку, согласившись было следить за сыном от имени властей. Когда, напыжившись, отец попытался осуществить свое «право надзора» и вмешался в отношения Пушкина с сестрой и братом, горячо его любившими, Александр, в свою очередь, пришел в неистовство. Нетрудно представить, к чему это привело (см. гл. 8, № 11). Разлад оказался долгим. Сообщим здесь читателю письмо Сергея Львовича брату Василию, связанное с этой ссорой (письмо послано в октябре 1826 г., когда Пушкин был уже в Москве): «Нет, добрый друг, не думай, что Александр Сергеевич почувствует когда-нибудь свою неправоту. Если он мог в минуту своего благополучия и когда он не мог не знать, что я делал шаги к тому, чтобы получить для него милость, отречься от меня и клеветать на меня, то как предполагать, что когда-нибудь он снова вернется ко мне? Не забудь, что в течение двух лет он питает свою ненависть, которую ни мое молчание, ни то, что я предпринимал для смягчения его участи изгнания, не могли уменьшить. Он совершенно убежден в том, что просить прощения должен я у него, но прибавляет, что если бы я решил это сделать, то он скорее выпрыгнул бы в окно, чем дал бы мне это прощение (...) Я еще ни минуты не переставал воссылать мольбы о его счастье, и, как повелевает евангелие, я люблю в нем моего врага и прощаю его, если не как отец — так как он от меня отрекается, — то как христианин, но я не хочу, чтобы он знал об этом: он припишет это моей слабости или лицемерию, ибо те принципы забвения обид, которыми мы обязаны религии, ему совершенно чужды». О том же писал он и мужу сестры М. М. Сонцову:

«Мое положение ужасно и горести, которых я для себя ожидаю, неисчислимы, но моя покорность провидению и мое упование на бога остаются при мне. Я прошу его всякий день о том, чтобы он подкрепил меня в принятом мною решении — не мстить за себя и переносить все. Мне очень хотелось бы надеяться, что Александр Сергеевич устанет, наконец, преследовать человека, который хранит молчание и просит

только о том, чтобы его забыли. Более всего в его поведении вызывает удивление то, что, как он меня ни оскорбляет и ни разбивает наши сердечные отношения, он предполагает вернуться в нашу деревню и, конечно, пользоваться всем тем, чем он пользовался раньше, когда он не имел возможности оттуда выезжать. Как примирить это с его манерой говорить обо мне,—ибо не может ведь он не знать, что это мне известно!

Александр Тургенев и Жуковский, чтобы утешить меня, говорили мне, что я должен стать выше того, что он про меня говорил, что это он делал из подражания лорду Байрону, на которого он хочет походить: Байрон-де ненавидел свою жену и всюду скверно о ней говорил, а Александр Сергеевич выбрал меня своей жертвой. Но все эти рассуждения не утешительны для отца,—если я еще могу называть себя так. В конце концов повторяю еще раз: пусть он будет счастлив, но пусть оставит меня в покое».

Не надо принимать эти письма абсолютно всерьез: риторика и влияние литературы всегда отличали слог Сергея Львовича. Разумеется, он рассчитывал на то, что дядя в Москве покажет письмо племяннику, и сердце сына дрогнет. Друзья, прежде всего Дельви́г, не теряли надежды примирить Пушкина с родителями (между прочим, Надежда Осиповна молчала, хотя, со своей стороны, пыталась вызволить Александра из ссылки. См. гл. 8, № 45). Добрый Дельви́г писал освобожденному Пушкину 15 сентября 1826 г.: «Поздравляем тебя, милый Пушкин, с переменой судьбы твоей. У нас даже люди\* прыгают от радости. Я с братом Львом развез прекрасную весть по всему Петербургу (...). Как счастлива семья твоя, ты не можешь представить. Особливо мать, она наверху блаженства. Я знаю твою благородную душу, ты не возмутишь их счастья упорным молчанием. Ты напишешь им. Они доказали тебе любовь свою». Весной 1827 г., с приездом Пушкина в Петербург, примирение состоялось. Конечно, дело не столько в посредничестве Дельви́га, сколько в мудрости Пушкина: с этого момента он стал снисходительнее к родителям.

\* Т. е. слуги.— В. К.

В ноябре 1827 г. Вяземский, правда, счел нужным еще чуть-чуть «подогреть» сыновние чувства Пушкина: «Часто ли обедаешь дома, то есть в недрах Авраама? Сделай милость, обедай чаще. Сергей Львович, видно, в брата хлебосол и любит кормить. Родительскою хлеб-солью надобно дорожить. Извини мне, что даю тебе совет, но ты знаешь, как я люблю тебя». Пушкин внял совету и обедал у них время от времени, что вызвало даже известную шутку Дельвига (боже упаси, чтоб не дошла до ушей Сергея Львовича!):

Друг Пушкин, хочешь ли отведать  
Дурного масла, яиц гнилых?  
Так приходи со мной обедать  
Сегодня у твоих родных.

14 июня 1827 г. Дельвиг сообщал П. А. Осиповой: «Александр меня утешил и помирил с собой. Он явился таким добрым сыном, как я и не ожидал». Но неформальной душевной близости все же не получалось и в более поздние времена. Вяземский вспоминал: «Александр Пушкин был во многих отношениях внимательный и почтительный сын. Он готов был даже на некоторые самопожертвования для родителей своих; но не в его натуре было быть хорошим семьянином: домашний очаг не привлекал и не удерживал его. Он во время разлуки редко писал к родителям; редко и бывал у них, когда жил с ними в одном городе. «Давно ли ты видел отца»,— спросил его однажды NN. «Недавно».—«Да как ты понимаешь это? Может быть, ты видел его во сне?» Пушкин был очень доволен этой уверткой и, смеясь, сказал, что для успокоения совести усвоит ее себе». Само собой, все это основано скорее на общей оценке друзей, чем на конкретных впечатлениях. А они могли быть разными, порой несхожими ни с воспоминаниями Вяземского, ни со строчками «Евгения Онегина»:

Гм! гм! Читатель благородный,  
Здорова ль ваша вся родня?  
Позвольте: может быть, угодно  
Теперь узнать вам от меня,  
Что значит именно родные.  
Родные люди вот какие:

Мы их обязаны ласкать,  
Любить, душевно уважать  
И, по обычаю народа,  
О Рождестве их навещать  
Или по почте поздравлять,  
Чтоб остальное время года  
Не думали о нас они...  
И так дай бог им долги дни!

К счастью, сохранился документальный материал, который позволяет с достаточной полнотой, пусть и не исчерпывающе, представить отношения Пушкина с родителями в последние девять лет его жизни. Но, прежде чем эту хронику читателю представить, скажем о том, кому мы обязаны тщательным переводом с французского и детальным комментарием к этим документам.

У сестры Пушкина Ольги Сергеевны было двое детей — Лев Николаевич и Надежда Николаевна Павлицевы. Лев Николаевич оставил, как известно, «Семейную хронику» о дяде-поэте и семье Пушкиных-Павлищевых, во многом недостоверную, но все же основанную на рассказах матери, на семейной переписке, а значит, дающую отправные пункты для поисков и рассуждений биографов Пушкина. Оригиналы писем Л. Н. Павлицев, умерший бездетным, передал собирателю старины П. Я. Дашкову, чья коллекция хранится в Пушкинском доме. Тут-то при изучении оригиналов, кстати сказать, выплыли наружу все передержки, допущенные автором «Семейной хроники». В составе коллекции Дашкова оказались и 119 французских писем Сергея Львовича и Надежды Осиповны, обращенные к их дочери Ольге Сергеевне Павлицевой. Дело в том, что в 1828—1835 гг. она жила с мужем отдельно от родителей — то в Петербурге, то в Варшаве. Старики очень скучали и писали часто. Так случилось, что переводом этих писем занялась правнучка Ольги Сергеевны (по линии дочери) Лидия Леонидовна Слонимская, жена известного пушкиниста. В 1940-х годах Л. Л. Слонимская провела, без преувеличения, огромную работу по расшифровке каждого листка из «толстой сшитой пачки листочков почтовой бумаги разного формата, исписанных бисерными буквами Надежды Осиповны и довольно размашистым, изящнейшим почерком Сергея Льво-



вича, напоминающим почерк Пушкина. Листочки эти значительно тронуты временем — пожелтели и местами прорваны, чернила выцвели, но написанное все же довольно легко поддается прочтению — и прочитано полностью, без «белых» или сомнительных мест»\*. Правнучка сестры Пушкина не только перевела, но и тщательно прокомментировала письма, разъяснив ситуации, в них описанные, и рассказав об упомянутых людях (свыше пятисот имен!). В распоряжении переводчицы был и ряд других важных документов, в частности переписка семьи Павлицевых, широко использованная в комментариях к переводу. Свою работу Л. Л. Слонимская посвятила «памяти сына Владимира Александровича Слонимского, погибшего 3 июля 1944 г. жертвой блокады Ленинграда — последнего в роде Ольги Сергеевны Пушкиной-Павлицевой». Так пушкинский XIX век сомкнулся с нашим XX веком...

Теперь, когда читатель знает о замечательном труде «правнучатой племянницы» Пушкина, мы можем приступить к выборочной хронике последних лет общения поэта с родителями.

### 1828

В конце января 1828 г. сестра Пушкина Ольга тайно обвенчалась с Н. И. Павлицевым. Известно, что родители были против этого брака, и Александру Сергеевичу пришлось родственников мирить. Сергей Львович хоть и шумел больше всех, но скоро утих и с зятем примирился. Характер Надежды Осиповны был совсем другой: она хоть и молчала, но зятя не полюбила никогда. Весной 1828 г. Н. И. Павлицев рассказывал в письме к своей матери: «...теща не любит меня, и я даже с ней не вижусь. Шурин,

---

\* Л. Л. Слонимская передала машинописные экземпляры двух томов своего перевода в Пушкинский дом в Ленинграде и в Государственный музей А. С. Пушкина в Москве. Копией, принадлежащей последнему, мы и пользуемся. Еще до Слонимской отрывки писем, непосредственно относящиеся к А. С. Пушкину, перевела В. Б. Враская (ЛН, т. 16—18); отрывки из переводов Слонимской см. Пушкинский сборник, Псковский гос. пед. ин-т им. С. М. Кирова, Псков, 1968; Я. Л. Левкович. По неизвестным письмам. — Звезда, 1974, № 6.

Александр Сергеевич, правда, потащил меня к ней на пасху, думал мировую устроить, но дело вышло дрянь. Похристосовались и шабаш, а об ином прочем ни гугу (Павлищев подразумевает: «о деньгах» — он был куда меркантильнее стариков Пушкиных. — В. К.). Александру Сергеевичу это не по нутру: оный со мною в отношениях вполне хороших, но ничего с упрямой тещей не поделал. Тесть добрый малый, но у жены под пантуфлей. Ничего в нашу пользу не сделал, разумею насчет денег. Тесть скуп до крайности, вдобавок по хозяйству несведущ... Старики уехали теперь в деревню, а шурин, Александр, еще здесь. Заглядывает к нам, но или сидит букою или на жизнь жалуется: Петербург проклинает, хочет то за границу, то к брату на Кавказ».

Итак, родители уехали в Михайловское, впервые разлучась с дочерью. И переписка началась. К сожалению, из писем 1828 г. к Слонимской попало только одно — от 5 сентября, но и в нем видна атмосфера быта старших Пушкиных — в это время они при кажущейся светскости уже жили прежде всего интересами своих детей. Сергей Львович пишет: «Дорогая Оленька! (...) Вчера только после обеда воротились (из поездки в гости в Новоржев. — В. К.) и находимся в величайшем затруднении. Все это общество, числом 12 человек напросилось завтра, в четверг, приехать в Михайловское. Можешь вообразить, что у нас голова идет кругом от забот об их размещении и пропитании. Они все будут вповалку, а мы переселимся в баню, которая разваливается. Но что поделывать. Так они пожелали, и мы предупредили их обо всех неудобствах \* (...) Судя по письму Александра, война эта становится весьма серьезной \*\*... Поцелуй от меня Александра, на этот раз ему не отвечаю, но не замедлю того сделать. Скажи ему, что у нас будет завтра некая маленькая баронесса Н.\*\*\*, которая восхитительно

\* Читатель видит, что, хотя Пушкина не было при этом, но его описание приема гостей у Лариных в IV главе «Онегина» недалеко от письма Сергея Львовича.

\*\* Письмо Пушкина не сохранилось. Война на Кавказе, где был в то время брат Лев Сергеевич и куда собирался поэт.

\*\*\* Баронесса Н. — Аш Н. К.; цыганский романс — песнь Земфиры. Музыка либо М. Ю. Виельгорского, либо родственника Пушкина В. П. Ганнибала.

поет его цыганский романс «Жги меня» и т. д.; все это семейство в восторге от его таланта, все знают его вещи наизусть, вплоть до четырехлетнего мальчугана, который пришел ко мне просить его стихов». Как правило, родители Пушкина писали к дочери вместе: основную часть письма один из них, небольшое дополнение — другой. И в данном случае есть приписка Надежды Осиповны: «Надеюсь, что это письмо застанет тебя в полном здравии. Я жду Александра с нетерпением; не имею времени написать побольше — przygotowляю на завтра, что могу, к приему всего этого общества; послезавтра мы совершим паломничество в Святые горы: с нашими гостями нас будет 14 человек, мы пойдем пешком, если погода будет такая же хорошая, как нынче (...) Благодарю Николая Ивановича за память».

Достаточно даже этого, единственного за 1828 год письма, чтобы бросились в глаза очевидные вещи. Старики Пушкины любили всех троих детей, тревожились за них и ждали встречи (поездка Пушкина в Михайловское в 1828 г. так и не состоялась); Сергей Львович давно — по крайней мере в 1828 г. это было уже так — гордился сыном-поэтом, не только не отвергая его в сердце своем, но надеясь на сближение; Александр Сергеевич не забывал стариков — он нередко писал им первый и, как видим, иногда даже не получал ответа. Но пойдем далее.

## 1829

В этом году Пушкины-старшие жили в Петербурге до 20-х чисел июня. Ольга Сергеевна находилась на даче в Ораниенбауме. С конца июня переписка продолжалась уже из псковской деревни, откуда они не выезжали до октября. Пушкин все лето провел на Кавказе и воротился в Петербург позже родителей — в начале ноября.

Первое письмо за этот год (не датированное) — из Петербурга. Сергей Львович: «Надеюсь и молю бога, чтобы пребывание в Ораниенбауме было тебе приятно... Судя по твоему описанию, Ораниенбаум понравился бы мне чрезвычайно. Это совсем деревня, и местоположение его должно быть превосходно.

Близость моря, наверно, восхитительна. Была ли у вас вчера гроза, как у нас? В момент, когда мамá писала тебе, молния ударила в Чернышев мост. Мы все перепугались, даже Руслан, т. е. шотландский колли — (помните стихи? — В. К.) (...) Судя по газетам, Леон в Архалаке. Не думаю, чтоб Александр добрался туда, и жду его письма с большим нетерпением».

Неизвестно, дождался ли Сергей Львович письма от старшего сына — до нас оно во всяком случае не дошло. Приведем несколько строк из письма Надежды Осиповны (тоже еще петербургского), показывающего ее характер в истинном свете: «... я скорей хочу узнать, как твоя спина? Хоть опасности нет никакой, меня огорчает, что ты страдаешь (...) Не надо этого приписывать ни пятнице, ни разбитому зеркалу, ни тому злополучному воробью, который явился искать у тебя убежища, а твоей неосторожности, мой добрый друг». Дело в том, что сестра поэта была очень суеверна; известно, что приметы играли определенную роль и в его настроении. Как видим, это шло не от матери. 22 июня Сергей Львович вторит жене: «У нас нет вестей ни от Александра, ни от Леона. Мы не преминули бы тебе их сообщить. Да ниспошлет тебе господь свои благословенья и да будет мне дано увидеть тебя совершенно выздоровевшей. Я молю его лишь о всех вас, друзья мои, ибо ваше счастье и ваше спокойствие мне гораздо ближе, нежели мое собственное». Как ни относить изливания отца на счет его сентиментальности, но все же письма ни для кого, кроме дочери, не предназначались и заслуживают доверия.

29 июня старики добрались до Тригорского. В то лето они жили именно там: владелица Тригорского П. А. Осипова отсутствовала, а дом Пушкиных в Михайловском капитально ремонтировался. Всегдашняя суматошность и забывчивость Пушкиных проявилась уже в дороге. «Наше путешествие было вполне счастливо, — не без юмора пишет Надежда Осиповна, — исключая нескольких неприятностей: сначала мы забыли свою подорожную на третьей станции, что нас задержало на несколько часов; Маша (горничная) забыла в Петербурге мои туфли; она потеряла мои ночные чепцы; папá потерял свой лорнет, но, несмотря на все эти неприятности, я была в восторге, что нахожусь за городом и дышу свежим воздухом,

и это помогло мне терпеливо перенести все докуки (<...> С нетерпением жду вестей от твоих братьев; вдали от всех вас, мои дети, письма составили бы мое утешение, и вот я лишена и этого счастья». Почта действительно ходила скверно, особенно осенью. Но Ольга Сергеевна писала очень часто, и вести от нее добирались до Тригорского. Обоим же сыновьям не всегда было до родителей...

5 июля Надежда Осиповна рассказывает: «Я много гуляю, два раза ходила пешком в Михайловское, где весь день мы провели в саду, который все разрастается и украшается, ты прямо не имеешь представления, как он хорош; дом (<...> будет кончен через четыре недели, но я тому не верю, впрочем, я могу потерпеть, мне так хорошо в Тригорске; а если б я почаще имела вести от твоих братьев и от тебя, то могла бы быть спокойна». Сергей Львович немножко брюзжит и проявляет «михайловский патриотизм», но в целом тоже настроен благодушно: «Не знаю, так ли вы страдаете от жары, как мы, я полагаю, что на берегу моря воздух посвежее — здесь есть часы невыносимые. Это не мешает мне два раза в день ездить в Михайловское. Я никогда так не чувствовал, насколько наша деревня лучше для прогулок, нежели Тригорское, как с тех пор, что я живу в последнем. Ходить нет никакой возможности и ни в какое время дня. Везде солнце и трава, или надо взбираться на горы. Да я их и люблю, но здесь им нет конца. Надеюсь, что в нашем доме можно будет жить. Он останется почти совсем как был, не считая кое-каких лишних украшений, которые придадут ему более приятную внешность. У него была изрядно потрепанная физиономия (<...> Если узнаешь что-либо о своих братьях прежде нас, поделись с нами вестью. Вероятно, до вас больше доходит новостей. Здесь я не знаю ничего, и у нас нет и обрывка какой-либо газеты».

Быть может, некоторым читателям покажутся излишними бытовые детали, приводимые нами в этих выдержках из писем. Но ведь речь идет о пушкинском времени; пушкинских местах; самых близких Пушкину людях. И потом — именно из этих мелочей возникает истинный облик родителей поэта, до известной степени разрушая стереотип, созданный и воспринятый нами всеми коллективно...

16 июля мать признается дочери: «Сердце мое всегда с тобою, во весь день я только и думаю, что о тебе и твоих братьях, мое воображение переносит меня к вам, мои дети; но мне легче полететь мыслью в Ораниенбаум, благодаря подробностям, которые ты мне сообщаем; возле же Леона я вижу одни только опасности, тогда как он, быть может, благодушествует. Что до Александра, то не знаю, где его и искать...» Однако к этому времени первые новости о сыновьях дошли до отца: «Мой брат пишет мне из Москвы, что ему говорили, будто Александр с ним (Львом) у Раевского». Родительские тревоги, в общем, были не напрасны — оба брата находились «в горячем деле» и подвергались серьезной опасности. Но не забудем, что Пушкин уехал на Кавказ без разрешения властей и находился там под тайным, но ему-то хорошо известным надзором. Он вообще тогда почти не писал в Россию. 12 августа Сергей Львович по-прежнему питался слухами: «Все эти победы прекрасны. Я был преисполнен радостью, но теперь не думаю ни о чем и не желаю ничего, кроме строчки от Леона и Александра, и не успокоюсь, пока их не получу. Мы не греки и не римляне, как говорит где-то г-н Карамзин, кажется в Илье Муромце, и я должен быть уверен в здоровье моих детей» \*.

Порою Сергей Львович сталкивался с народной славой старшего сына самым неожиданным образом. Побывали они, например, у соседей и вот что там слышали: «У барышень Тимофеевых есть нечто вроде горничной, она дочь пастуха (не Аркадского), но пастуха Опочецкого уезда, который пасет свиней. Ей лет 14 или 15, толстая коротышка, плечи вздернутые, спина квадратная, а физиономия дикая, как у всех девок, делающих грубую работу. Она знает наизусть почти весь *Бахчисарайский фонтан* и читает стихи Александра, жестикулируя при этом самым комическим образом. Сложенная, как я тебе говорю, она произносит отрывок из Онегина, где он говорит об Истоминой, и бьет нога об ногу, но ноги в пол-аршина в длину и столько же в ширину. Можешь вообразить,

\* «Мы не греки и не римляне, (...) Нам другие сказки надобны» — строки из богатырской поэмы Н. М. Карамзина «Илья Муромец».

что это такое». Сергей Львович ничего не понял и грубовато посмеялся, но случай, им рассказанный, примечателен.

22 августа у Пушкиных был радостный день. Надежда Осиповна: «Наконец-то кончились мои тревоги о твоих братьях... мы только что получили письмо от Александра, список с коего тебе посылаю; я не могу расстаться с оригиналом — слишком счастлива его иметь (...) Это барон Дельвиг переслал нам его письмо — оно преисполнило нас восторгом. Можешь вообразить, каково было наше счастье, когда мы его читали. Думаю, что никто из находившихся под Арзерумом, когда он пал, не мог испытывать большего удовлетворения». Даже погода улыбалась в те дни счастливым родителям: «Вчера было хорошо, как в разгаре лета, мы весь день с 10 часов утра до 8 провели в саду Михайловского; сегодня ветер, но не холодно; плодов у нас изобилие, зачем не могу я разделить их с тобой, мой добрый друг; вишни полезны, много у нас и белых слив — больше, чем в Тригорске». Сергей Львович дополняет рассказ жены некоторыми подробностями, особенно для нас важными, поскольку письмо Пушкина (или письма?), о котором идет речь, не сохранилось: «Александр очень весел, и хотя Леон нам не пишет, но из содержания письма Александра ты узнаешь, что он здоров и думает приехать к нам. Итак все мы соединимся, дорогая Олинька! (...) Увидя вас всех троих разом, я распрыгаюсь от радости. Александр, видимо, в восторге от своего путешествия. Он пишет Плетневу и дает ему подробную картину своего образа жизни в лагере. Он ездит на казацкой лошади с нагайкой в руке, а самое лучшее из всего этого — это то, что рассчитывает вскоре воротиться».

Какой малый след, выходит, оставила ссора 1824 г. в сердце родителей Пушкина! Как они его, брата и сестру ждали, любили, не теряя надежды собрать их всех под крышей обновленного дома в Михайловском! Это не сбылось. Но все они еще увидались друг с другом в Петербурге. 1 октября Надежда Осиповна уже горит нетерпением: «Тороплюсь, мой друг, послать тебе список еще с одного письма Александра, которое мы получили вчера. Как мне не терпится уехать отсюда, я думаю, твои братья будут скоро

в Петербурге. Я так буду счастлива обнять вас всех троих сразу, дорогие мои дети!» Но денег на дорогу не было — болдинские доходы, пересылавшиеся через банк в Петербург, неведомо насколько задерживались.

1830

В октябре — ноябре 1829 г. в Петербурге свиделись родители, дочь и старший сын, а к рождеству прибыл и долгожданный Лев Сергеевич. Весь 1830 год, один из самых напряженных в жизни Пушкина (см. гл. XI), родители провели рядом с дочерью. Письма понадобились только в июле, когда они «поменялись ролями» — Ольга Сергеевна жила в Михайловском, а старшие — в Петербурге. 19 июля Надежда Осиповна сообщает: «Александра еще здесь нет... он в больших хлопотах (связанных с предстоящей женитьбой.— В. К.), ожидать его надо всякую минуту». Мать угадала точно — Пушкин приехал в тот самый день, когда писалось это письмо, 22 июля Надежда Осиповна пишет дочери снова: «Александр наконец с нами — с того самого дня, как я писала тебе первое мое письмо; он приехал спустя несколько часов, как оно тебе было отослано (...) Свадьба состоится не ранее сентября месяца, я почти не имела времени поговорить об этом с Александром (...) Он очарован своей Натали и говорит о ней, как о божестве. Он думает приехать с ней в Петербург в октябре месяце». Далее следует уже известное читателю сообщение о сентиментальном путешествии Пушкина в Захарово. Сергей Львович, как всегда, не упускает подробностей: «Александр приехал в субботу. Он нашел меня сидящим на скамье на Невской Перспективе близ Библиотеки. Он только что сошел с коляски и пешком направлялся к нам. И вот мы, обнимаясь, жестикулируя, беседуя, рука об руку идем к нам. Мама, воротившись домой, очень была удивлена, вдруг его увидав». Не нужно слишком вглядываться в письмо, чтобы рассмотреть это гордое «рука об руку»: Сергея Львовича переполняло отцовское тщеславие. Но не сродни ли оно родительской любви?.. Да и вообще в этот момент казалось, что отношения изменились навсегда: отцовская скупость дала трещину. Вспомним письмо Пушкина Плет-



неву 26 марта 1831 г. (гл. XII). В глазах же родителей сын становился теперь другим: остепенившимся, вставшим на ноги семейным человеком. Наконец, последнее письмо матери за 1830 год (25 июля) заканчивается словами: «Твой брат тебя целует». Похоже, что они виделись в Петербурге всякий день.

### 1831

В том году создались совершенно особые условия, вызвавшие новый поток писем родителей. Свирепствовала холера. С конца февраля Ольга Сергеевна жила совсем одна — Н. И. Павлицев, по ходатайству Сергея Львовича перед старыми знакомыми, получил службу в Варшаве. Надежда Осиповна и Сергей Львович были на даче в Павловске. «Мои родители,— пишет Ольга Сергеевна мужу 3 июля,— узнав про холеру, уложили пожитки, собрались и выехали отсюда менее чем в 24 часа. Я хотела через два дня присоединиться к ним в Царском, но на другой день после их отъезда город был оцеплен со всех сторон, а карантин поставлен в Пулкове». Ольга Сергеевна попыталась переехать в Царское Село, где жили молодожены Александр Сергеевич с Натальей Николаевной, но ее и туда не выпустили.

С сыном и невесткой родители видеться могли, а с дочерью — нет. Оставалось лишь получать проколотые из предосторожности депеши. Нет худа без добра: в письмах собраны сведения об Александре Сергеевиче, снова подтверждающие весьма относительную отдаленность женатого Пушкина от родителей и опровергающие анекдот Вяземского насчет «сна».

«Вчера я провела свой день рождения у Александра,— сообщает Надежда Осиповна 22 июня,— не имея возможности принять их у нас, ибо мы перебрались лишь за сутки перед тем». Сергей Львович: «Здесь (...), на мой взгляд, лучше, чем в Царском Селе. Не так великолепно, но куда более по-сельски. Мы окружены местами для прогулок, не только по саду, но и по лесу, который на дороге отсюда в Царское. Все это очень утешило бы меня, что я не в деревне, но тебя мне недостает (...) Натали была бы в восторге, если бы ты была у нее и с ней, как и Александр. Я передал ему

твое письмо. Он хотел тебе ответить, но сообщение с Петербургом оказалось на несколько дней прерванным».

25 июля мать пишет: «Мы выдаемся с Александром и Натали, Царское не оцеплено, ниже Сад; но, как ни у нас, ни у твоего брата нет лошадей и найти их невозможно, то мы и не выдаемся так часто, как бы хотели (...) Александр часто делает этот конец, жена его плохой пешеход, она гуляет лишь по саду». В последнем июльском письме Надежда Осиповна снова упоминает о встречах с сыном: «Надеюсь, ты, как и я, пользуешься хорошей погодой,— я неутомима. Вчера ходила все утро, и с 5 часов после обеда и до 8 мы (...) катались в линее по парку Павловского и в Царском Селе, где ежедневно собираются слушать музыку. Там мы встретили Александра и его жену (...) Сегодня они у нас обедают».

В том же письме Надежда Осиповна рассказывает лестную для родителей новость «Император и императрица встретили Натали с Александром, они остановились поговорить с ними и императрица сказала Натали, что она очень рада с нею познакомиться и тысячу других милых и любезных вещей. И вот она теперь принуждена, совсем того не желая, появляться при дворе». Не будем требовать от Надежды Осиповны предвидения истинного значения этой встречи и тем более ее последствий. Она искренне радуется и гордится невесткой. Иное дело Ольга Сергеевна — у нее был трезвый ум и понимание обстановки. Она писала мужу в августе того же года: «Моя невестка очаровательна (...); все Царское ею восторгается, императрица хочет, чтобы она появилась при дворе, а она от этого в отчаянии, потому что она совсем не глупа; я не то хотела сказать: хотя она совсем не глупа, но она еще несколько застенчива, но это пройдет — и она поладит со двором и с императрицей». Пушкины-родители этих теневых сторон жизни поэта не видели...

Все шло хорошо, однако финансовые обстоятельства Сергея Львовича были вовсе не таковы, чтобы он мог беспечно проводить время. «Управитель осаждает меня письмами из Нижнего,— жаловался он Льву Сергеевичу,— этот господин мне поет, что распрощусь с именем, если не внесу уплату в самом скором

времени в Опекунский совет». «Отец мой в весьма стесненных обстоятельствах,—подтверждает дочь,—ему затеряли, как говорит управитель, 4000 оброка, которые он ожидал». К тому времени владелец Болдина был должен казне 175 000! Но и долговые проценты платить было нечем. В другом, более позднем (1835) письме Ольги Сергеевны к мужу еще более мрачная оценка материальных дел отца: «Вообрази (...) имение Болдино описывали пять раз (...) Можешь себе представить, в каком состоянии отец со своими черными мыслями, да к тому же и денег нет. Он хуже женщины; вместо того, чтобы придти в движение, действовать, он довольствуется тем, что плачет. Не знаю, право, что делать — я отдала все, что могла, но это все равно, что ничего — из-за общих порядков дома (...) Мой отец только и делает, что плачет, вздыхает и жалуется встречному и поперечному. Когда у него просят денег на дрова и сахар, он ударяет себя по лбу и восклицает: «Что вы ко мне приступаете? Я несчастный человек!» В 1831 г. из Болдина прислали всего 3600 рублей. И на них надо было как-то крутиться. На зиму 1831—1832 гг. был снят довольно дорогой дом у Синего моста. Хозяйственное «недеяние» Сергея Львовича в самом деле не знало границ.

### 1832

До июля 1832 г. родители прожили вместе с дочерью в Петербурге — писем за этот период нет. Между тем Пушкиных ждало новое испытание — дочь их решила отправиться вслед за мужем в Варшаву. Разлука предстояла долгая. «Отец обливает меня слезами,—писала она.—Мать твердит, что не может привыкнуть к моему решению жить с тобой... Сцен было много». Погостив недолго в Михайловском, в начале октября Ольга Сергеевна уехала. «Никогда не были мы так одиноки»,—писала Надежда Осиповна 17 октября. Единственное, что их утешало: Лев Сергеевич также нес службу в Польше и оказался, как они надеялись, «под присмотром» старшей сестры. «Я очень и очень счастлив, что ты доехала благополучно,—писал отец,—квартира же твоя, судя по плану, который ты нам послала, так удобна, что я никогда не пожелал бы иметь более обширную.

Странно было бы, если бы по воле случая, ты жила в той, которую я занимал 18 лет назад (...) Я вижу вас отсюда, мои дорогие дети, и как бы участвую в вашем разговоре и нахожусь втроем с тобой и Леоном. Правда, я точно присутствовал при вашей встрече, так живо я себе ее представляю. Подробности, какие нам даешь о волокитствах Леона, заставили меня улыбнуться». Теперь они адресовали письма обоим детям вместе.

Надежда Осиповна особенно скучала по дочери: «Скоро будет день твоего рождения (20 декабря), первый, который я проведу вдали от тебя! Что делать, надо покориться этой тягостной разлуке. Да будет этот день, как и все дни твоей жизни, таким для тебя счастливым, как я того желаю (...) Мне кажется, моя судьба всегда быть вдали от моих детей. Папа опять страдает своим кашлем, вчера он едва не задохнулся; надеюсь, что путешествие и воздух будут ему благоприятны, он привык ходить, здесь это для него невозможно с той поры, как снег до колен». И в другом письме: «единственное для него лекарство это получать от вас вести и писать вам — вот когда он чувствует облегчение». Тут же (9 декабря) приписка Сергея Львовича младшему сыну: «Спешу, дорогой Леон, сказать тебе, что нет ничего, что я бы не сделал, ни хлопот, ни шагов, перед которыми бы я остановился, дабы сколько для меня возможно более и скорее облегчить твои затруднения; не смею безусловно назначить сумму, какую я тебе вышлю, не зная ее сам, но можешь быть уверен, что я откажу себе во всем вплоть до самого необходимого. В настоящее время у меня деньги ровно на подставы до Москвы. Мои доходы сюда не поступают...» Намерения Сергея Львовича были искренние — он очень любил младшего сына (деньги были нужны на уплату его катастрофических долгов), но сетования и жалобы мало помогали.

Оставшуюся часть зимы 1832—1833 гг. старшие Пушкины действительно провели в Москве. Сергей Львович хотел повидаться с сестрой Елизаветой Михайловной Сонцовой и ее семейством. В Москве он не был давно: даже на похороны старшего брата не попал — Василия Львовича хоронили в августе 1830 г. Александр и Лев... Поздравительное письмо от

19—20 декабря, отправленное Ольге Сергеевне уже из Москвы, полно сведений о родственниках и давних знакомых. Светская и театральная жизнь Москвы как-то привычнее для четы Пушкиных, чем петербургская. Сергей Львович рассказывает: «Позавчера был я первый раз на французском спектакле московском. Давали три водевиля и играли достаточно плохо, чтоб не сказать более». Возобновились старые знакомства. Побывал у Пушкиных гостивший в Москве лицейский товарищ Александра Иван Малиновский; узнали с грустью о кончине в Сибири своей дальней родственницы, жены декабриста Александры Григорьевны Муравьевой...

Лев Пушкин между тем в Варшаве был «выключен» из полка за дисциплинарные упущения. Сергей Львович хлопотал о его почетной отставке, новой службе, а главное — о деньгах, которые помогли бы любимцу родителей расплатиться с долгами и вырваться из Польши. Надежда Осиповна обожала Льва тем сильнее, чем больше он грешил: «я чувствую, что больше не смогу выносить твоего отсутствия, я нуждаюсь в тебе как в воздухе, которым дышу; надеюсь на милость господню, несомненно мы еще увидимся, и, быть может, раньше, чем я думаю. Пока что пиши нам, мой добрый друг, не лишай меня этого утешения. Я только и делаю, что читаю и перечитываю твои письма». После этого объяснения в страстной материнской любви следует пассаж, резко отличающийся от предыдущего скороговоркой и даже холодностью: «Александр болен, маленькая тоже, Натали брюхата». Но ни болезнь старшего сына и малютки (которую старики еще не видели), ни новая беременность невестки не волновали родителей до такой степени, как разлука со Львом и его долги. Здесь — сильный аргумент в пользу тех, кто считает, что поэт был сыном нелюбимым. Однако отчуждение обычно бывает взаимным...

1833

Новый год начался, пожалуй, все с той же ноты отчуждения и внутренней отдаленности от старшего сына. Правда, это больше относится к обидчивому отцу, чем к матери, с живым интересом ловившей

сведения о сыне, пусть не из собственных его уст. Особенно приятно было ей получить письмо невестки. 16 марта Надежда Осиповна — Ольге: «Ежели ничего не знаешь об Александре, то скажу тебе, что они все трое здоровы; в Петербурге, как и здесь, все болели гриппою, которую прозвали внучатой племянницей холеры. Натали первую неделю поста больная пролежала в постели, ей тоже бросали кровь, но на масляной и всю зиму она много веселилась, на Балу уделов она появилась в костюме жрицы солнца и имела успех. Император и императрица подошли к ней, похвалили ее костюм, и император объявил ее царицей бала. Натали подробно нам о том писала». Темы бесед, письменных и устных, Натальи Николаевны со свекровью из этого более или менее вырисовываются.

Сергей Львович пишет в другом тоне: «Александр на протяжении 11 месяцев написал мне два раза \* и не ответил на 4 или 5 писем, которые я послал ему с мая. Не думаю, чтобы он был в восторге вновь нас увидеть». Будь воля Сергея Львовича, они бы вообще в Петербург повидаться с сыном, невесткой и внучкой не поехали, а покатали бы из Москвы прямо в Михайловское. «Признаюсь вам, — писал отец детям в Варшаву, — что если б была у нас коляска, которая перенесла бы нас прямо в Михайловское и если б не было у меня этих несчастных дел с Опекунским советом, я не хотел бы возвращаться в Петербург: я буду там одинок более, чем когда-либо, не имея вас с нами». Старший сын не слишком принимался в расчет, а в Опекунском совете надо было добыть денег под новые бесконечные залого и перезалого болдинских крестьянских душ.

8 мая датировано первое письмо из Петербурга. Встреча с сыном оказалась вовсе не холодной. Сергей Львович: «Александр и Натали пришли тотчас же; их маленькая очень была больна, но благодаря бога, со вчерашнего дня совершенно избавилась от болезни и, право, хороша как ангелок. Хотел бы я, дорогая Олинька, чтоб ты ее увидела, ты почувствуешь соблазн нарисовать ее портрет, ибо ничто как она не напоминает ангелов, писанных Рафаэлем». А ведь две

---

\* Кстати, эти письма Сергей Львович не сохранил, что дало даже повод пушкинисту Б. Л. Модзалевскому «из будущих времен» упрекать родителей поэта в небрежении к его письмам.

недели назад Сергей Львович хотел было вовсе миновать Петербург! Надежда Осиповна комментирует встречу еще душевнее: «Доехали мы очень быстро, я была в восторге, что снова вижу наших, маленькая хороша как ангел и очень мила, чувствую, что полуюлю ее до безумия, и буду баловницей, как все бабушки (...) Натали должна родить в июле. Мы выдаемся всякий день, они живут в двух шагах от Отель де Пари. Сегодня я там проведу день (не в отеле, а у твоего брата)». Родители обсудили с Александром дела Льва и старший брат включился в родственную борьбу за его спасение от служебных неприятностей и долгов. Надежда Осиповна: «Теперь мы все за твою участь поспокойнее, мой дорогой Леон, жду от тебя известий с нетерпением, здесь все тобой интересуются, брат твой полагает, что если ты хочешь заняться поисками какого-либо места, то непременно должен приехать в Петербург, и я нахожу, что он прав».

23 мая празднуется день рождения Сергея Львовича — 63-й. Надежда Осиповна рассказывает дочери о его настроении: «Он был очень грустен и все утро только о тебе и говорил: это первый раз в нашей жизни, что мы в этот день не вместе, исключая года, когда он был в Варшаве, городе, который я ненавижу, который всегда разлучает меня со всем, что мне дороже всего на свете»... И далее о сыне-поэте: «Александр пришел нас поздравить и звать к обеду, и при нем, дорогой друг, мы имели удовольствие получить твое письмо. Он просит сказать Леону, что дело его устроилось, что все кончено, что он может быть спокоен». Как ни чертыхался старший брат, но сумел через своих знакомых переменить позорную «выключку» брата со службы на благопристойную отставку. Сергей Львович радостно извещает дочь о делах Льва: «долги его варшавские будут уплачены. Александр берет их на себя, ибо мне это становится весьма затруднительно». Его добродушному настроению способствовало и то, что через Опекунский совет удалось добыть кое-какие прожиточные деньги, а для Болдина подыскать толкового управляющего — белорусского дворянина И. М. Пеньковского. Сергей Львович даже умилился в этот день: «Маленькая Мари пришла меня поздравить, она ко мне привязалась, и я иногда ношу ее на руках. Как я вспоминаю время, когда тебя я так

носил, и, правда, мне представляется, будто это было вчера». Недавно еще брошенный, одинокий, обиженный родитель оказывается нежным отцом и трогательным дедушкой. Метаморфоза, весьма характерная для Сергея Львовича.

Надежда Осиповна оживилась, и освоилась в столице, и принялась за визиты. Последующие письма из Петербурга заполнены таким количеством имен знакомых и полужанкомых, что праправнучке Надежды Осиповны Л.Л.Слонимской пришлось поработать основательно, прежде чем круг связей старших Пушкиных предстал в расшифрованном виде. Но это уже другая тема. Впрочем, и семья поэта мелькает в этих последних петербургских весточках. 24 июня: «Александр и Натали на Черной речке, они наняли дачу Миллера (...) она очень красивая, при ней большой сад и дом очень большой: в нем 15 комнат вместе с верхом. Натали здорова, она очень довольна своим новым помещением». 27 июня: «Александр и Натали целуют вас, она вскоре должна родить, а он уедет в деревню через несколько недель после того. Их малютка очаровательна, они очень хорошо устроились на Черной речке.

В начале июля старики Пушкины прибыли в Михайловское. «Погода прекрасна,— радуется Сергей Львович,— сады очень хорошо содержатся. Что я посадил — все пошло в рост (...) Только одни почты приводят меня в отчаяние». 15 июля почта все-таки донесла деду весть о появлении внука: «мы только что получили известие от Александра о рождении сына, тоже Александра. Натали и ребенок здоровы. Рекомендую тебе твоего племянника и Леону тоже». Длинная вереница последующих летних писем посвящена повседневному быту и встречам с соседями, которых кругом немало и все любят ездить в гости. Словом, тихая сельская жизнь, как у Лариных, только без дочерей. Сергей Львович упорно называет собак именами пушкинских героев — на смену Руслану 1-му приходит Руслан 2-й; появляется и новый персонаж из этой серии: «говорил я тебе, что у меня есть маленькая сучка Руслановой породы, которую я зову Зарема. Она хорошенькая, но очень живая, вскакивает ко мне на стол, лижет меня, кусает, царапает и рвет мне халаты, сюртук и платки».



Александр Сергеевич между тем 17 августа отправился в Оренбургскую губернию для сбора пугачевских материалов. Жена без него наняла новую квартиру и уведомила стариков. Надежда Осиповна 27 сентября: «Натали, наконец, нам написала, она сообщает, что у нее были нарывы, она здорова, равно как и дети. Александр месяц как в Нижнем и воротится лишь в начале ноября. Она снова перебралась, она живет теперь на Пантелеймоновской улице в доме Оливье». Потом Наталья Николаевна замолчала, а свекровь обиделась: «Александр совершил путешествие в Казань, Леон полагает, что сейчас он в Болдине, Натали здорова, но она мне не пишет и даже не пересылает писем, которые шлют на ее адрес (...) и эта нерадивость моей снохи очень меня огорчает. Все перечит моим желанием, и я лишена решительно всего, что меня интересует. Твои письма составляют мое утешение, только не адресуй их Натали».

Лишь 11 ноября собрались в Петербург. «Но что за дорога, бог мой,—восклицает Сергей Львович.— Она, должно быть, ужасна. Сегодня весь день лил дождь, и г-н Вульф сам потратил 10 дней на то, чтобы добратся досюда, и три дня, чтобы проехать в телеге 250 верст. Что мы будем делать с 4-х местной каретой, нагруженной сверху донизу. Мы едем через Остров и Псков, это самое верное». 22 ноября они все-таки доехали и встретились с обоими сыновьями, особенно обрадовавшись, конечно, младшему. 24-го Александр Сергеевич писал Нащокину: «Денежные мои обстоятельства без меня запутались, но я их думаю распутать. Отца видел, он очень рад моему предположению взять Болдино. Денег у него нет». Речь шла о наследстве дяди Василия Львовича — Пушкин хотел выкупить у наследников эту часть Болдина, чтобы из рода Пушкиных не упускать, но дело расстроилось — денег ведь и у него не было. Беспечнейшие в хозяйственных делах родители даже упрекали сына в расточительстве: «Я еще никого не видала,—пишет Надежда Осиповна (24 ноября): мы опять в Отель де Пари и в поисках домов; говорят, что занимаемый Александром очень красив; верю охотно: ежели платишь 4 тысячи 800 руб., то можно весьма хорошо устроиться». Между тем эти расходы были ничтожны

в сравнении с роскошествами Льва Сергеевича: тот жил в лучшем отеле, пил лучшие вина, изыскивал прочие способы дорого развлечься. И поскольку отец при всем желании помочь ему не мог, готовился перевести долги на Александра (что потом с успехом осуществил). Поведение младшего отпрыска вызвало даже легкую критику со стороны батюшки: «Мы нашли Леона очень веселым, он утверждает, что ненавидит Петербург и в то же время поспекает на все балы, спектакли, гулянья и повсюду. Признаюсь, я не очень-то верю этому отвращению к столичной жизни. Александр воротился из Болдина за два дня до нашего приезда. Я нашел его похудевшим, а Натали испугала необычайно, настолько, что это меня тревожит».

Но вот наступил конец декабря, с ним и день рождения Ольги Сергеевны. У стариков собралась вся семья, кроме дочери. Даже маленькую Машу привели, а Саша оставался с кормилицей. Семейный обед прошел чинно-благородно. Оба сына старались не дразнить Сергея Львовича и не напоминать о неприятном.

1834

В начале марта Сергей Львович, доведенный до отчаяния безденежьем, призвал к себе старшего сына для важной беседы. Пушкин написал об этом Нащокину, так что есть возможность узнать об их разговоре из первых рук: «...на днях отец мой посылает за мною. Прихожу — нахожу его в слезах, мать в постеле, весь дом в ужасном беспокойстве.— *Что такое?— Имение описывают.— Надо скорее заплатить долг.— Уж долг заплачен. Вот и письмо управителя.— О чем же горе?— Жить нечем до октября.— Поезжайте в деревню.— Не с чем.—* Что делать? Надо взять имение в руки, а отцу назначить содержание. Новые долги, новые хлопоты. А надобно: я желал бы и успокоить старость отца, и устроить дела брата Льва...». Время для Пушкина было трудное, отчасти даже кризисное,— в этом убедится читатель, дойдя до соответствующей главы 2-го тома — но «успокоить старость отца» он считал своим долгом. Начался новый этап взаимоотношений старших Пушкиных с сыном-поэтом.

Теперь они оказались в полной зависимости от его решений и успехов его хозяйствования. Но ведь Сергей Львович прежде пальцем не шевелил. Что ж теперь обижаться на зависимость? А они все обижались: «Мы соседи, да живем не по-соседски». Правда, и посторонние наблюдатели замечали некоторый разлад между отцом и сыном. Современник, рассказывая о фланирующей по Невскому публике, вспоминал: «Тут же почасту гулял и отец Пушкина Сергей Львович. Красноватое его лицо и, кажись, рябоватое, было далеко не привлекательно, но то замечательно, что я никогда не встречал его вместе с сыном».

Надежда Осиповна вела для дочери хронику жизни своей и, невольно, семьи поэта: «Александр на отъезде,—пишет она 13 февраля (уехал только в конце августа.— В. К.),—а в первых днях первой недели поста собирается и Натали, она навестит в деревне своих родителей и останется там до августа. Александра сделали камер-юнкером, не спросив на то его согласия, это была нечаянность, от которой он еще не может опомниться. Никогда он того не желал. Его жена теперь на всех балах, она была в Аничковом. Она много танцует, к счастью для себя не будучи брюхатой. Дети очаровательны, мальчик хорошеет удивительно. Мари не меняется, но она слабенькая, едва ходит, и у нее нет ни одного зуба. Она напоминает мою маленькую Софи \*, не думаю, чтоб она долго прожила. Сашка большой любимец папы и всех, но мама, бабушка и я—мы все за Машу». 3 марта хроника светских успехов Н. Н. Пушкиной продолжается: «Натали на всех балах, всегда хороша, элегантна, везде принята с лаской; она всякий день возвращается в четыре или пять часов утра, обедает в 8, встает из-за стола, чтобы взяться за туалет или мчаться на бал, но она распрощается с этими удовольствиями, через две недели она едет в деревню к матери, где думает остаться шесть месяцев». И еще одно, уже тревожное сообщение на ту же тему (9 марта): «В воскресенье вечером, на последнем балу при дворе Натали сделалось дурно после двух туров мазурки; едва поспела она удалиться в уборную императрицы, как почув-

\* Сестра Пушкина Софья Сергеевна умерла младенцем.

ствовала боли такие сильные, что, возвратившись домой, выкинула. И вот она пластом лежит в постели после того, как прыгала всю зиму и, наконец, всю масленицу, будучи два месяца брюхата. Ведь говорила я им, что она брюхата... Теперь они удивлены, что я была права». Сергей Львович странным образом удивлялся, что в условиях 1834 года, да еще во время болезни жены, Пушкин слабо реагировал на всякие пустяки. «Александр рассеян более, чем когда-либо,—жаловался отец,—(...) он более, чем забывчив». Когда читаешь подобные пассажи, становится ясно, что Сергей Львович как-то за скобки собственных интересов выносил ту громадную работу, которая кипела в уме и сердце старшего сына. Отец как должное принимал его литературную славу и сознательно ли, нет ли считал все, что делал Пушкин, обиденным, близким по уровню к его, Сергея Львовича, житейским тревогам.

Однако как раз той весной в жизнь родителей Пушкина вошла тревожная тема болезни Надежды Осиповны, болезни, которая через два года обернулась непоправимой бедой. «Я хворала,—пишет она дочери 23 марта,—и еще не выхожу даже подышать свежим воздухом, но зато через день принимаю ванны, лекарства я глотаю уже три недели, это все эта проклятая желчь меня мучает, я вся была желтая, теперь легче, благодаря бога и Спасского \*. Натали тоже на ногах и через две недели отправляется в Москву». Это было самое начало болезни печени, сведшей мать Пушкина в могилу. На пасху 1834 года, о котором мы рассказываем, матери выпала большая радость: «в тот день мы обедали всей семьей, мы двое и два твои брата, Натали уже в Москве. Богослужение мы слушали в Конюшенной церкви». Через несколько дней был получен и «отчет» Натальи Николаевны о пасхальных празднествах: «Мы получили письмо от Натали, она в Москве веселилась, на пасхальной неделе она была с сестрами на двух балах (...), она познакомилась с Сонцовыми и, кажется, очень довольна их приемом, она представила им своих сестер, и все три у них обедали. Александр(...) по утрам очень занят, потом идет рассеяться в саду(...)

\* И. Т. Спасский—домашний врач Пушкиных.

Леон, к величайшему моему удовольствию, бороду бреет, много ходит; ложится поздно и спит долго, он занимает лучшую комнату в нашем доме, очень веселую, на солнце, в два окна, стены великолепного зеленого цвета». Так выглядит летопись мирной частной жизни семейства Пушкиных к лету 1834 года.

8 июня Пушкин сообщил Наталье Николаевне: «Принужден был снарядить в дорогу своих стариков. Теряют меня без милосердия». В тот же день мать писала в Варшаву: «Наш отъезд зависит от Александра. Все готово, кроме денег, которые он собирался дать нам на дорогу». Деньги Пушкин, конечно, дал, но не помещицы — из несобранных еще доходов, а из ссуды, что удалось получить на печатание Пугачева (см. гл. 14). Дефицит болдинского хозяйства составлял около 40 000 рублей... 11 июня сборы были закончены: «Сегодня едут мои в деревню, и я их иду проводить, до кареты, не до Царского Села, куда Лев Сергеич ходит пешечком (...) Сейчас простился с отцом и матерью. У него хандра и черные мысли». Вдогонку уехавшим Пушкин послал письмо П. А. Осиповой, надеясь, что она, как давний любимый друг семьи, сумеет открыть глаза Сергею Львовичу на истинное положение его имущественных дел: «Мои родители не знают, что они на волосок от полного разорения. Если б они могли провести несколько лет в Михайловском, дела могли бы поправиться, но этого никогда не будет». Сергей Львович тем временем жил-поживал в имении привычной жизнью: ездил на ярмарку; принимал соседей, сетуя на скудость возможностей; заботился о лошадях etc, etc. Надежда Осиповна скучала по детям: «Вообрази, твои братья не подают признаков жизни и, видимо, вовсе не вспоминают о нашем существовании и, если б люди наши не имели переписки с петербургскими, то мы непрестанно были бы в тревогах; так, по крайней мере, мы знаем, что оба они здоровы, Леон живет в нашем доме, Александр в своем, что довольно странно: раз их только двое, не лучше ли им быть вместе — но они ведь совершенные чудаки». Особенно-го взаимопонимания, как видим, не было, но материнская любовь не менялась. Сергей Львович вторит жене: «Весьма часто я тещу себя мыслью, что братья твои плохо адресовали нам свои ответы, и тогда

неисправность псковской почты меня ободряет. Что делать? Мне следовало бы несколько привыкнуть к их лени и взгляду на вещи и хранить спокойствие». Все-таки «чуждачество» Александра Сергеевича они переоценили. Скоро он подал о себе весть: «Александр нам раз писал, он сильно скучает, хотел бы покинуть Петербург, он говорит, что поездка в Болдино ему необходима, но его еще задерживают дела. Натали и дети здоровы». Беда вот только, что это письмо поэта, как и многие другие, Сергей Львович для нас не сохранил.

Лето выдалось знойное. Из-за жары, пишет Надежда Осиповна, они «стали как негры». «Мы очень страдаем и вынуждены желать плохой погоды, как некогда ждали красного дня,— жалуется Сергей Львович.— Трава совершенно как солома, и листья осыпаются с начала июля. Есть несколько деревьев вовсе обнаженных...» Вообще говоря, отец Пушкина не был чужд поэзии сельской жизни. Хозяйствовать он не любил — это точно, но природой любовался и даже не прочь был повозиться в саду. Он писал: «Возвращаюсь с прогулки, дорогая Олинька. Погода, какой только желать можно 22 октября, тем не менее дорожки различаешь лишь по инею, который их покрывает, прочее все покрыто сухими листьями. Вид сада не весел, но я люблю его и таким».

В начале ноября, через месяц после события, дошла до них весть о рождении в Варшаве сына-первенца Ольги Сергеевны. Радость бабушки и дедушки была велика, хотя увидеть внука они и не надеялись в то время. Характерно признание Надежды Осиповны, много говорящее в кратких словах: «Рассказывай мне о нашем маленьком ангеле, знаешь ли ты, что я чувствую к нему больше нежности, чем к детям Александра? Я непрестанно думаю о нем, хотела бы держать его на руках, целовать. Мне не хочется, чтобы он походил на Леона, надеюсь, что он будет более красивым мальчиком. Я начала для него одеяльце, но оно может быть кончено лишь в Петербурге» (14 ноября). Наталья Николаевна как-то заметила свекрови: «Я уверена, что вы будете больше любить Лоло (Л. Н. Павлицева), чем моих детей, говорят, бабушки больше любят детей дочери, нежели сына». На это (в письме к дочери) Надежда Осиповна как бы

отвечала: «Ничего не знаю — я очень люблю Машу и Сашу и совсем особую нежность питаю к твоему маленькому Леону».

Холодные ветры дули в Михайловском, а ехать в Петербург было не на что и не на чем — своих лошадей не держали. «У нас уже зима,—пишет Надежда Осиповна 8 ноября,—но не знаю, когда мы сможем уехать. Однако ж я жду этого с нетерпением, не для того, чтобы поселиться в столице, но чтобы быть защищенной от холода,—вообрази, здесь у нас совсем нет двойных рам; да и переписка наша не будет прерываться».

Скупых сведений о сыновьях не хватало для родительского спокойствия. Сергей Львович с обидою отвечал на вопрос дочери (7 сентября): «Нужно быть очень ловким, чтобы дать тебе адрес Александра (прости мне этот скверный каламбур \*). Я не знаю и никогда не могу знать, где он находится. В письме из нескольких строк, которое я получил от него в середине августа, он говорил, что спешит и едет в деревню. Я написал ему и адресовал письмо в дом на Малой Никитской. Наверно, сейчас это уже не годится. Леон видел его в одном стороннем доме и нам сообщает, что он ехал к Натали».

Бывало, что новости о сыне черпали «из забытых газет». 20 сентября Сергей Львович писал: «В настоящий момент он должен бы быть уже в Петербурге, но один бог знает, воротился ли он. Его история бунта Пугачевского объявлена в газете. Те, кто видел кое-какие отрывки, отзываются с большой похвалой». Из этого снова видно, как гордится Сергей Львович славой сына (пусть с долей отцовского тщеславия), как надеется на его новые труды. Он неизменно готов защищать поэта и от худой молвы, от бесконечных светских сплетен. Опять-таки, пусть эта защита исходит из соображений «чести семейного мундира», но все же по-своему она трогательна... «Сплетни, постоянно распускаемые насчет Александра,—пишет отец,— мне тошно слышать. Знаешь ты, что когда Натали выкинула, сказали будто это следствие его побоев. Наконец, сколько молодых женщин уезжают к родителям про-

---

\* Французское слово *adresse* имеет два значения: «ловкость» и «адрес».

вести 2 или 3 месяца в деревне, и в этом не видят ничего предосудительного, но ежели что касается до него или до Леона — им ничего не спустят». Значит, в какой-то мере атмосферу петербургской жизни Пушкина родители все же ощущали. Это вовсе не мешало Сергею Львовичу кипятииться и пыхтеть от обиды на сына: «Я от него в некотором роде завишу, а он более двух месяцев оставляет меня в неведении моей участи». Должно быть, Сергей Львович очень уж слезно жалился соседям, если Осипова 1 ноября написала Пушкину: «Родители ваши очень о вас беспокоятся — ибо, чем объяснить более чем трехмесячное молчание... вот письмо вашей матери, которое я присоединяю к своему, отец ваш в постели — и все от беспокойства — ах, сделайте милость, напишите нам, потому что иначе — иначе! право, отец ваш не вынесет этого — поспешите же сказать ему, что вы и все ваши здоровы и что вы его *не забываете* — мысль, которая терзает его и заставляет плакать вашу мать».

Хорошо еще, что слуги были в переписке обязательнее господ. «От наших людей мы знаем, — рассказывает Надежда Осиповна, — что он переменял квартиру; за четыре месяца, что мы здесь, мы получили 4 строчки, когда он уезжал в Москву, но с той поры нам неизвестно, что с ним случилось; в Болдине он или в Петербурге. Бог знает! Натали писала в апреле месяце, это было ее первое и последнее письмо. Леон, должно быть, в Тифлисе, я не надеюсь так скоро иметь от него вести, это так далеко, а почта псковская отвратительна. Никто не подает нам признаков жизни, можно подумать, что мы в Китае». Разумеется, насчет Китая — преувеличение, хотя Александр Сергеевич считал бы за лучшее, если бы они оставались некоторое время в деревне. Однако им и вправду становилось холодно и неудобно. Чтобы зимовать в Михайловском, там надо было «обустроиться», заняться чем-то — этого старики не могли. «Не знаю, каким экипажем мы воспользуемся для возвращения в Петербург, — размышлял Сергей Львович 29 ноября, — очень желал бы, чтоб это были сани. Последние два или три дня немного морозит, и есть крошечный намек на снег. Я гуляю по саду не без опаски повстречать волка, не столько из-за себя, сколько



из-за наших собак, которые до самого леса бегают за зайцами, коих великое множество».

Наконец, Александр Сергеевич прислал деньги и сообщил, что ищет в Петербурге квартиру для родителей. 10-го декабря они тронулись в путь и 15-го приехали в столицу. Снова, как и прежде, личное свидание с семьей сына оказалось нежнее, чем можно было ждать по переписке. «Поверишь ли,— пишет Сергей Львович,— меня так мало занимает мысль, что я не был здесь в продолжение 6 месяцев, что я не имею ни малейшего желания переступить порог номера 1-го в трактире Демута, где мы остановились. Видел я одного Александра, Натали и двух ее сестер, которые очень любезны, хотя далеко уступают Натали в красоте. Машинька была в восторге, что снова меня видит. Она подходила ко мне ласкаться, целовала мне руку к большому удивлению всех, ибо она дикарка, а меня не видала 10 месяцев...» Между тем, наступал 1835-й год, последний в относительно тихой жизни родителей Александра Пушкина.

### 1835

Квартиру сняли на Моховой улице в доме Кельберга. Всю зиму Надежду Осиповну донимала болезнь печени. Сергей Львович чаще всего выезжал из дому один. Иногда детей Пушкина возили к бабушке. 4-го января Надежда Осиповна рассказывает, например: «Натали много выезжает со своими сестрами, однажды она привела ко мне Машу, которая так привыкла видеть одних щеголих, что, взглянув на меня, подняла крик и, воротившись домой, когда у нее спросили, почему она не захотела поцеловать бабушку, сказала, что у меня плохой чепец и плохое платье». В том же письме Надежда Осиповна, наконец, признается, до какого отчаяния довел ее избалованный любимец — младший сын: «Не вини Александра, ежели до сей поры он ничего вам не выслал: это не его вина, и не наша, это долги Леона довели нас совершенно до крайности; заложив последнее наше добро, Александр заплатил, что должен был твой брат, а это дошло до 18 тысяч. Он лишь очень мало мог дать ему на дорогу в Тифлис. В этом месяце он ждет денег из Болдина, и что сможет сделать для вас, сделает непременно, ибо это

лежит у него на сердце». Тон по отношению к старшему смягчался сразу же при встрече с ним — это проверено опытом долгих лет. Сергей Львович подметил и невеселую литературную ситуацию Пушкина: «Труд Александра о бунте Пугачева появился. Это весьма сильно по стилю и очень интересно. Журналы не говорят об этом вовсе и даже не упоминают».

Сергей Львович, не желая верить худшему, успокаивал дочь, встревоженную болезнью матери: «Это разлитие желчи. У нее нет ни спазмов, ни боли, но она желтая, хотя и несколько менее, нежели была, и слабая». Из Тригорского приехали любимые друзья-соседи Анна и Евпраксия Вульф. Они жили у стариков, ухаживали за Надеждой Осиповной, ободряли Сергея Львовича. «Здоровье ее очень плохо,— писала Е. Н. Вульф (Вревская) мужу,— доктор требует консилиума, а у них денег нет заплатить врачам». Конечно, Пушкин достал денег на врачей. Самой Надежде Осиповне казалось, что ей лучше. Она писала дочери 5-го марта: «Я могу сказать тебе, дражайшая моя Ольга, что моя болезнь очень была серьезна: я много беспокойства причинила твоему отцу, как и Александру; несколько раз созывали консилиум... Ты не можешь вообразить, как я худа, но силы ко мне возвращаются». И в письме от 11-го марта: «все зло(...) говорят, проистекло от затронутой печени; причина моральная, это горести и тревоги, давно мною испытываемые, довели меня до такого состояния; ты не можешь вовсе себе представить, мой добрый друг, как я исхудала и состарилась». С внучкой старики видятся, а Сашу к ним не водят — у него режутся зубы. Наталья Николаевна должна родить в мае месяце и не отваживается подниматься по лестнице на третий этаж, где живет свекровь. Александр Сергеевич бывает часто, но «до того лаконичен, что из него никогда слова не выжмешь и рассеян более, чем когда-либо». 2-го мая Пушкин писал брату: «Мать у нас умирала, теперь ей легче, но не совсем. Не думаю, чтоб она долго могла жить». И несколько пространнее мужу сестры: «Матушке легче, но ей совсем не так хорошо, как она думает; лекаря не надеются на совершенное выздоровление». Надежда Осиповна даже вышла на улицу, но от дома отойти не могла — езда в коляске причиняла ей страдания. Всё же предпола-

гали, как обычно, двинуться в Михайловское вместе с теплыми днями: «...хочешь, не хочешь, а надо ехать в Михайловское, средства наши не позволяют нам поступить иначе, этот год очень для нас несчастлив и моя болезнь явилась весьма некстати. Спокойствие, предписанное мне врачами, очень от меня далеко. Старость наша очень грустная, последние дни нашей жизни проходят в лишениях и горе».

7 мая Надежда Осиповна писала удивленно: «Как новость скажу тебе, что Александр третьего дня уехал в Тригорское, он должен воротиться прежде 10 дней к родам Натали. Ты, может, подумаешь, что это за делом — вовсе нет: ради одного лишь удовольствия путешествовать, — и по такой плохой погоде. Мы очень были удивлены, когда накануне отъезда он пришел с нами попрощаться. Признаться надо, братья твои чудачки порядочные и никогда чудачеств своих не оставят». Одной из важнейших (если не единственной!) целью «чудаческой» поездки Пушкина в Тригорское — Михайловское в мае 1835 г. было выяснить, сможет ли мать более или менее удобно жить там летом. К тому же, он обычно места себе не находил во время родов жены и старался отсутствовать в эти дни. «Натали разрешилась за несколько часов до приезда Александра, — добавляет Надежда Осиповна, — она уже его ждала, — однако не знали, как ей о том сказать, и, правда, удовольствие его видеть так ее взволновало, что она промучилась весь день. Вообрази, дорогая Ольга, мне невозможно поехать к ней из-за плохой погоды, ты знаешь, что движение коляски вызывает у меня спазмы, мне очень хотелось бы посмотреть на новорожденного, но что делать!»

Сергей Львович также сообщал в Варшаву: «14-го т. е. во вторник в семь или восемь часов Натали разрешилась мальчиком, которого они называли Григорий — не совсем мне ясно, почему. Александр совершил 10-дневное путешествие в Тригорское — пробыл там три дня и воротился в среду, в 8 часов утра, — Натали родила накануне. Печальные новости рассказал он нам о Михайловском. Люди грабят и творят ужасы. Ты знаешь, как я берег и, смею сказать, украшал сад и все окрестности дома. Я велел также заново отстроить службы, а ныне... Эти непорядки весьма нас огорчают

и не побуждают нас ехать туда этим летом». Возможно, что Пушкин несколько даже стусил краски: нужно было, чтобы мать не слишком огорчалась, что не будет в Михайловском.

Настроение в ту поездку у Пушкина было тяжелое и отвлечься от тревог ему не удавалось. По дороге он, между прочим, встретил варшавского медика В. И. Порай-Кошица. Увидев знаменитого поэта и брата своей знакомой, Кошиц ему отрекомендовался. И вот что из этого вышло (по рассказу Надежды Осиповны): «На станции Боровичи он встретил Александра, ехавшего в Тригорское. Как сказал мне Кошиц, он очень был озабочен и очень рассеян — я почти уверена, что брат твой ни слова не слышал из того, что Кошиц ему говорил, и когда я вчера ему о нем рассказала, он страшно был удивлен, — он даже не подозревал, что тот едет из Варшавы и знает тебя — словом, ему очень досадно, что он так холодно с ним обошелся. Наверное, он не сказал ему ни слова, приняв его за любопытного, которых столько на дороге, спешащих завязать знакомство с Александром». Не правда ли эта сцена, сохраненная для нас матерью поэта, немало говорит о настроении Пушкина, его повседневном поведении и даже о его отношении к славе?..

Решено было на лето перевезти стариков в Павловск — Надежде Осиповне нужен был воздух и так называемые Мариенбадские воды, которыми лечились тогда в Павловске. Сняли квартиру за 400 рублей. «Но переборка наша, — пишет мать 8 июня, — зависит от Александра, нужно, чтобы он дал нам на то средства». Конечно, деньги нашлись. Еще из Петербурга Надежда Осиповна успела рассказать дочери о невестке: «Натали поручила мне тебя поцеловать, на этот раз она слаба; она лишь недавно оставила спальню и не решается ни читать, ни работать, у нее большие проекты по части развлечений, она готовится к Петергофскому празднику, который будет 1 июля, она собирается также кататься верхом со своими сестрами на Островах, она хочет взять дачу на Черной речке, ехать же подалее, как желал бы ее муж, она не хочет — словом, чего хочет женщина, того хочет бог». Надежда Осиповна, видно, лучше понимала положение в семье поэта, чем Сергей Львович. Он, по мужской наивности, считал, что Александр Сергеевич

осуществит свое намерение: «Александр на три года едет в деревню, сам не зная куда. Как я надеюсь, что мы сможем, если бог даст нам жизни, поехать на будущий год в Михайловское, то нам нельзя уступить его Александру на все это время. Лишиться сего последнего утешения вовсе не входит в наш расчет». Читатель заметит, как поразительно изменился угол зрения на жизнь Пушкина за полтора столетия. Даже отец родной воспринимает сына в чисто бытовом плане и не хочет позволить ему жить и работать в Михайловском! Слово речь идет не о величайшем поэте, гордости русской нации, а о совершенно обычном человеке, маловато внимания уделяющем престарелым родителям. Они любили сына по-своему, но не понимали его до самого конца...

После 20 июня письма пишутся из Павловска (Павловское, как тогда называли). Последнее общее лето родителей Пушкина началось неплохо: Надежда Осиповна гуляла, делала визиты, писала дочери о светских новостях. Они с Сергеем Львовичем даже совершили экскурсию в Царское Село, где осматривали Арсенал. «Это действительно очень красиво и очень богато,— заключил Сергей Львович.— Оружие всех стран и всех веков. Рыцари XIII и XIV-го, пешие и конные в натуральную величину, как бы дышащие под своим вооружением; среди них великий магистр, совершающий обряд посвящения над рыцарем, который стоит на коленях,— я был всем поражен и, право, там можно вообразить себя персонажем из романа Вальтер-Скотта, но в действительности». Это было некоторое отвлечение от повседневности для стариков. Но спокойствие не наступало. «Александр едет, но куда — мне о том неизвестно, и сам он еще того не знает,— жалуется Сергей Львович,— вряд ли приедет он нас навестить, а ежели и сделает это, то молнии подобно, а однако, нам нужно многое порешить промеж себя, прежде, нежели расстаться, быть может, на очень долго...» Речь шла, конечно, о денежных делах, ибо «мы не можем питаться воздухом», как справедливо заметила Надежда Осиповна.

Между тем, Ольга Сергеевна, убедившись, что здоровье матери плохо, решила совершить с малышом путешествие в Петербург. Можно представить радость Надежды Осиповны: «Как подумая, что че-

рез месяц, быть может ранее, я сожму тебя с Лоло в своих объятиях, я уверена здоровье ко мне воротится(...) Дом, в котором мы здесь живем, мал и устроен так, что мы не сможем поселиться вместе, но гуляя сегодня утром после того, как проглотила свой стакан воды, я отправилась на поиски квартирки для тебя,— по счастью, нашлась одна, в двух шагах от нас, очень удобная, очень чистая, с мебелью, даже с маленькой кроваткой для Лоло, с садиком для него за 35 руб. в месяц...»

3 августа Анна Николаевна Вульф рассказывала в письме сестре: «Пушкины ждут Ольгу всякий день — и можешь представить с какой радостью. Я тоже для них очень рада ее приезду. Они не будут такие одинокие и покинутые, бедные старики, на этот раз она приезжает к ним надолго». Ольга Сергеевна с мальшом приехали в первой половине августа. С тех пор сведения о последних месяцах жизни Надежды Осиповны и ее отношениях с сыном можно получить из писем О. С. Павлицевой к мужу Н. И. Павлицеву. Как ни удивительно, смутные воспоминания о 1835—36 годах остались у Льва Николаевича Павлицева. В «Семейной хронике» он пишет: «Надежда Осиповна непременно хотела видеть и благословить внука. Увидев меня, правда, весьма ненадолго, оживилась, приказала, чтоб я находился в ее комнате безотлучно, и чтобы меня, кроме нее и матери, никто не смел ласкать, даже Серг. Льв., которому она говорила: «не целуй ребенка, он тебя испугается». Таким образом, как рассказывала моя мать, я дневал и ночевал в комнате бабки и был бессознательным свидетелем ее кончины». 31 августа Ольга Сергеевна встретила с братом: «Вчера приезжал Александр с женой, чтобы повидаться со мною. Они больше не собираются в Нижегородскую губернию, как предполагал Monsieur, так как мадам и слышать об этом не хочет. Он удовольствуется поездкой на несколько дней в Тригорское, а она не тронется из Петербурга». Пушкин уехал в Тригорское — Михайловское 7 сентября, надеясь остаться там не считанные дни, а несколько осенних месяцев. Но скоро пришло известие, что матери заметно хуже. 23 октября Пушкин вернулся. Это было необходимо, потому что — пусть не покажется странным — Надежду Осиповну никто не мог так утешить, как старший сын. «Александра нет,

чтобы ее утешить,—огорченно пишет Ольга,—у него все же иногда бывает этот талант». «И этот талант» — следовало сказать, вероятно!

В Петербург воротились из Павловска в конце октября. Наталья Николаевна не решилась пригласить свекровь к себе: та бы решительно отказалась — ей трудно было перебраться в большую семью, непривычную обстановку, да и несравненно более богатую, чем привыкли жить старшие Пушкины в последнее время. 9 ноября Ольга писала мужу о Наталье Николаевне: «Вообрази, на нее бедную напали, отчего и почему мать у нее не остановилась по приезде из Павловского. Дело в том, что мать не предполагала, что заболит (...), а на месте моей невестки я поступила бы так же: никогда бы я не пригласила ее к себе, так как ей могло быть менее удобно: у нее большая квартира, это правда, но плохо распределенная, а затем две сестры, трое детей, да еще как посмотрел бы на это Александр, который отсутствовал, да и мать моя не захотела бы (...) Затем продолжали кричать, почему у нее ложа в спектакле, почему она так элегантна, когда родители ее мужа в такой крайности,— словом, нашли очень пикантным ее бранить. Нас, разумеется, тоже бранят: Александр чудовище, а я жестокосердая дочь. Но подумай только обо всех этих сплетнях! Дело в том, что мой отец плачет, жалуется и вздыхает перед всяким проходящим и проходящим» (см. также гл. 15, № 125).

В Петербурге Ольга Сергеевна с родителями поселилась в плохоньком деревянном домишке у Шестилавочной на углу Графского переуллка. Квартира была мала и неудобна. Пушкин, как приехал, стал бывать чуть ли не ежедневно. С отцом приходилось спорить по делам денежным, но мать он умел успокоить и с сестрой размолвок не было. «Знаешь что? — писала Ольга Сергеевна мужу.— Он очень порядочный (т. е. аккуратный.— В. К.) и дела понимает, хоть и не деловой. Он по-видимому меня снова очень полюбил и моего Лелю любит и ласкает». Пушкин в начале зимы собирался в Москву для работы в архивах, но отлучиться не мог: мать умирала. Он как-то сблизился с нею в последние месяцы и недели. Некоторая холодность сменилась острой жалостью и сознанием собственной вины и беспомощности перед неизбежным. Чувство вины было взаимным у сына и матери.

Е. Н. Вревская рассказывает, что неустанными заботами о больной Александр растрогал Надежду Осиповну и заставил ее пожалеть о прежнем, не всегда справедливом отношении к старшему сыну. Пушкин с печалью говорил потом, что ему «выпала судьба недолго пользоваться нежностью материнской». Агония была затяжной. Ольга Сергеевна — мужу (11 марта): «Она еще в сознании, улыбается Леле, но это мертвая(...). Доктор говорит, что ее подорвало горе\*. Отчаяние отца мучит меня невыразимо. Он не может сдерживаться. Рыдает около нее,— это ее пугает, мучит. Я пробовала ему это сказать, он стал на меня кричать, забыв, что я теряю мать. Я, право, не знаю, что делать...» Надежда Осиповна скончалась 29 марта 1836 г. Они прожили с Сергеем Львовичем в супружестве сорок лет.

8 апреля Александр Сергеевич повез гроб с телом матери для погребения в Святогорский монастырь. С Пушкиным ехал верный дядька его детских лет Никита Козлов — старый слуга Пушкиных, которому через несколько месяцев довелось, уже вместе с Александром Ивановичем Тургеневым, совершить тот же скорбный путь еще раз. 13 апреля Пушкин похоронил мать в Святых горах. Первые биографы поэта отмечали, что ни стиха в его огромном наследии не посвящено родной матери. Однако о чем и о ком вот эти строки, написанные 14 августа 1836 г. после возвращения из Михайловского?

Но как же любо мне

Осеннею порой, в вечерней тишине,  
В деревне посещать кладбище родовое\*\*,  
Где дремлют мертвые в торжественном покое.  
Там неукрашенным могилам есть простор;  
К ним ночью темною не лезет бледный вор;  
Близ камней вековых, покрытых желтым мохом,  
Проходит селянин с молитвой и со вздохом;  
На место праздных урн и мелких пирамид,  
Безносых гениев, растрепанных харит  
Стоит широко дуб над важными гробами,  
Колелеблясь и шумя...

Эпитафия матери Пушкина все-таки была написана и пережила века.

\* Лев Сергеевич летом 1836 г. гулял, пил и проигрывал, как никогда, много.

\*\* Здесь описано кладбище близ Тригорского, а не Святогорский монастырь, но это не меняет общий смысл стихотворения.



\* \* \*

Вот мы и возвратились к началу нашего документального повествования, когда одинокий и растерявшийся Сергей Львович тоже «близился к началу своему». Ольга Сергеевна возвратилась в Варшаву, Лев Сергеевич служил на Кавказе. Сергей Львович остался совсем один.

В 1840 г. в «Сыне отечества» он прочитал «Отрывок из записок А. С. Пушкина» (теперь принято название «Начало автобиографии» — № 5). Отца — с позиций семейного престижа — возмутили сведения, сообщенные поэтом, и он решился на протест (№ 6), напечатанный в «Современнике». Оба документа — в духе их авторов: Пушкин, беллетризуя и художественно обрабатывая факты, выявляет их суть; Сергей Львович, стараясь не выметать сор из избы, цепляясь за мелочные неточности, затуманивает сущность дела.

Тогда же в «Портретной и биографической галерее словесности художеств и искусств России» появилась неподписанная статья «Пушкин» (по-видимому, автором ее был О. И. Сенковский). Друзья поэта, усмотрев в ней множество ошибок и нелепых характеристик, собирались протестовать, но их предупредил ближайший родственник — отец. Публикуя возражение Сергея Львовича (№ 7), журнал «Отечественные записки» справедливо заметил: «Этот отзыв останется навсегда драгоценным документом для истории Пушкина, столь тесно связанной с историею всей нашей литературы». Хотя мы теперь понимаем, насколько проникнуты эти строки «духом Сергея Львовича» — тщеславием, ложной риторикой и т. п., но как исторический документ они исключительно важны. Любопытно также, насколько возвысился Пушкин-поэт после своей гибели в глазах собственного родителя.

В 1847 г., незадолго до смерти Сергея Львовича, в «Словаре достопамятных людей Русской земли» Д. Н. Бантыша-Каменского появилась коротенькая биография А. С. Пушкина, составленная со слов чиновника 5-го класса и кавалера С. Л. Пушкина. Сергей Львович знал о сыне (даже если иметь в виду только фактическую сторону биографии) неизмеримо меньше, чем мы теперь знаем. Но все же его свидетель-

ство было ценно. В числе прочих деталей есть одна, относящаяся к детству поэта. «В самом младенчестве,— сообщил Сергей Львович,— он показал большое уважение к писателям. Не имея шести лет, он уже понимал, что Николай Михайлович Карамзин не то, что другие. Одним вечером Н. М. был у меня, сидел долго и во всё время Александр, сидя против него, вслушивался в его разговоры и не спускал с него глаз.— Ему был шестой год»...

Когда говорят о последнем периоде жизни отца Пушкина, чаще всего вспоминают его нелепое и смешное ухаживание и сватовство к юной тригорской соседке М. И. Осиповой или к дочери Анны Петровны Керн Екатерине Ермолаевне. Эти «полуфакты» напрасно принимаются всерьез. Старик, в самом деле, сочинял мадригалы, сознавая их биографический анахронизм:

Не знаю, дружбу иль любовь  
Питаю к ней в душе уньлой,  
Но сердце ноет, бьется вновь,  
Как билось в юности счастливой.

На самом же деле сердце билось не от свежих впечатлений, а от сладких воспоминаний. В 1839 г. Сергей Львович думал, что прощается с Михайловским навсегда:

Жилище верное, услада дней моих,  
И озеро, и лес, и сад, любимый мною,  
Где слезы лил под сенью древ густых,  
Где услаждали вы страдальца тишиною,  
Где я, друзья, мечтал о вас  
Простите все в последний раз!  
И ты, которую я называть не смею,  
Которую любил я всей душой моею,  
Которой имя я в последний час,  
Последню мысль мою заняв одной тобою,  
Я прошепчу с любовью и тоскою,—  
Прости в последний раз!

Такая вот была еще одна эпитафия, которой удостоилась Надежда Пушкина, урожденная Ганнибал.

К 1839 году относятся воспоминания И. П. Липранди — того самого, что приезжал когда-то к Пушкиным в Петербург из Кишинева по просьбе Александра

Сергеевича. На сей раз, оказавшись в столице после долгого перерыва, он поселился в трактире Демута и был несказанно удивлен, когда к нему явился сосед по номеру — Сергей Львович Пушкин. Страдающий одышкой, всегда готовый разрыдаться при воспоминаниях о прошлом, Сергей Львович вызывал чувство сострадания и недоумения жестокостью судьбы: слабый и больной, он жил, а сын его, полный сил и могучего таланта, не существовал более. На другой день Липранди был свидетелем встречи Сергея Львовича с детьми Александра — раз в неделю их приводили к деду в номер Демута. «Старик расточал фразы старинных маркизов, — вспоминал Липранди, — не слушая ответов и продолжая начатую речь. Две дочери Пушкина осаждали старика, он одаривал их конфетами, а они подмигивали одна другой».

Материально Сергей Львович в последние годы не нуждался: царским указом 1837 г. Болдино было освобождено от долгов. Но, разумеется, хозяйством он на старости лет не занялся.

С 1840 г. Сергей Львович перебрался в Петербург навсегда. Лето 1841 г. провел с Натальей Николаевной и детьми в Михайловском. В 1846 г. совершил последний вояж — в Варшаву к дочери и внуку. 29 июля 1848 г. он умер в Петербурге. Тело его перевезли для последнего успокоения в Святогорский монастырь и положили рядом с женою.

Заканчивая документальный рассказ о родителях Пушкина, повторим, что живые документы, как всегда, не позволяют примириться с мертвой схемой установившихся оценок. Это были интересные, отнюдь не бездарные (пусть и не выдающиеся) люди, любившие своих детей и вырастившие их, как умели. Впоследствии они далеко не всегда понимали своего необычного сына, да и не дано им было его понять. Но сам быт старших Пушкиных, сами мелочи повседневности, были настолько тесно связаны с жизнью великого поэта, что письма их волей-неволей содержат множество важных сведений о нем и его характеристик и, значит, не могут быть для читателя-пушкиниста безразличными и бесполезными.

В заключение приведем выводы тех, чьим трудам мы обязаны знакомством с приведенными выше документами.

Правнучка сестры Пушкина, Л. Л. Слонимская: «Основной интерес этих писем составляет личность их авторов и отношение их к детям: Ольге, Александру и Льву Сергеевичам. Установившееся в литературе представление о равнодушии Сергея Львовича к Пушкину значительно колеблется: не равнодушием, а любовью и непрестанной тревогой за него проникнуты эти письма. Обида на редкие весточки, на невнимание (внешнее, потому что Пушкин любил родителей и озабочен был их судьбой...) — вот лейтмотив писем Сергея Львовича и Надежды Осиповны».

Ученый-пушкиновед Я. Л. Левкович: «По-новому раскрываются в письмах характеры родителей поэта. Привычные образы и представления колеблются. Надежда Осиповна — фигура незаурядная, красочная. В ней много черт, долго ее молодивших: живость, остроумие, любовь к светской жизни. Капризная и властная, она часто бывала резка с мужем и детьми. Письма показывают другие ее стороны — она нежная семьянинка, чрезвычайно заботливая, любящая мать, а потом и бабушка. Сергей Львович всегда отличался изысканной любезностью на старинный манер, слыл мастером каламбуров, торжествовал в салонных играх, был прекрасным декламатором и легко писал стихи. В молодости был скуп. На склоне лет подобрел и как мог старался выручать из долгов беспечного Левушку (...) В письмах оживает бытовая атмосфера Петербурга, Павловска, Царского Села, Михайловского... То, о чем пишут родители дочери, рассказывалось, конечно, и сыну, когда он жил рядом. Простая фраза «Сегодня у нас обедал Александр» переносит нас в дом старших Пушкиных, делает как бы свидетелями их бесед с сыном».

Ради всего этого мы и познакомили читателей с письмами, переведенными Л. Л. Слонимской, и с рядом других документов.

Теперь предлагаем вашему вниманию документальные и художественные свидетельства о предках поэта и о детских годах, проведенных Пушкиным в Москве.



## 1

Семья моего отца—его воспитание—французский учителя.— Мг. Вонт\*. секретарь Мг. Martin. Отец и дядя в гвардии. Их литературные знакомства.— Бабушка и ее мать—их бедность.—Иван Абрамович.— Свадьба отца.— Смерть Екатерины.— Рождение Ольги.— Отец выходит в отставку, едет в Москву.— Рождение мое.

*А. С. Пушкин. Первая программа записок. 1830(?)*

## 2

Во дворе коллежского регистратора Ивана Васильева Скварцова у жильца его мозора Сергея Львовича Пушкина родился сын *Александр* крещен июня 8 дня восприемник граф Артемий Иванович Воронцов кума мать означенного Сергея Пушкина вдова Ольга Васильевна Пушкина.

*Запись в метрической книге церкви  
Богоявления в Елохове под 27 мая 1799 г.*

## 3

Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие. «Государственное правило,—говорит Карам-

\* Фамилия неразборчиво.

зин,— ставит уважение к предкам в достоинство гражданина образованному». Греки в самом своем унижении помнили славное происхождение свое и тем самым уже были достойны своего освобождения. Может ли быть пороком в частном человеке то, что почитается добродетелью в целом народе? Предрассудок сей, утвержденный демократической завистью некоторых философов, служит только к распространению низкого эгоизма. Бескорыстная мысль, что внуки будут уважены за имя, нами им переданное, не есть ли благороднейшая надежда человеческого сердца?

Mes arrière-neveux me devront cet ombrage! \*

А. С. Пушкин.

*Отрывки из писем, мысли и замечания. 1827.*

#### 4

Некоторые люди не заботятся ни о славе, ни о бедствиях отечества, его историю знают только со времени кн. Потемкина, имеют некоторое понятие о статистике только той губернии, в которой находятся их поместья, со всем тем почитают себя патриотами, потому что любят ботвинью и что дети их бегают в красной рубашке.

А. С. Пушкин.

*Отрывки из писем, мысли и замечания. 1827.*

#### 5

А. С. Пушкин.

---

#### НАЧАЛО АВТОБИОГРАФИИ

Несколько раз принимался я за ежедневные записки и всегда отступался из лени. В 1821 году начал свою биографию и несколько лет сряду занимался ею. В конце 1825 года, при открытии несчастного заговора, я принужден был сжечь сии записки. Они могли замешать многих и, может быть, умножить

---

\* Мои правнуки будут мне обязаны этой сенью! (фр.)

число жертв. Не могу не сожалеть о их потере; я в них говорил о людях, которые после сделались историческими лицами с откровенностию дружбы или короткого знакомства. Теперь некоторая торжественность их окружает и, вероятно, будет действовать на мой слог и образ мыслей.

Зато буду осмотрительнее в своих показаниях, и если записки будут менее живы, то более достоверны.

Избрав себя лицом, около которого постараюсь собрать другие, более достойные замечания, скажу несколько слов о моем происхождении.

---

Мы ведем свой род от прусского выходца *Радши* или *Рачи* (*мужа честна*, говорит летописец, т. е. знатного, благородного), выехавшего в Россию во время княжества св. Александра Ярославича Невского. От него произошли Мусины, Бобрищевы, Мятлевы, Поводовы, Каменские, Бутурлины, Кологривовы, Шеремединовы и Товарковы. Имя предков моих встречается поминутно в нашей истории. В малом числе знатных родов, уцелевших от кровавых опал царя Ивана Васильевича Грозного, историограф именует и Пушкиных. Григорий Гаврилович Пушкин принадлежит к числу самых замечательных лиц в эпоху самозванцев. Другой Пушкин во время междуцарствия, начальствуя отдельным войском, один с Измайловым, по словам Карамзина, *сделал честно свое дело*. Четверо Пушкиных подписались под грамотою о избрании на царство Романовых, а один из них, окольный Матвей Степанович, под соборным деянием об уничтожении местничества (что мало делает чести его характеру). При Петре I сын его, стольник Федор Матвеевич, уличен был в заговоре противу государя и казнен вместе с Цыклером и Соковинным. Прадед мой Александр Петрович был женат на меньшей дочери графа Головина, первого андреевского кавалера. Он умер весьма молод, в припадке сумасшествия зарезав свою жену, находившуюся в родах. Единственный сын его, Лев Александрович, служил в артиллерии и в 1762 году, во время возмущения, остался верен Петру III. Он был посажен в крепость и

выпущен через два года. С тех пор он уже в службу не вступал и жил в Москве и в своих деревнях.

Дед мой был человек пылкий и жестокий. Первая жена его, урожденная Воейкова, умерла на соломе, заключенная им в домашнюю тюрьму за мнимую или настоящую ее связь с французом, бывшим учителем его сыновей, и которого он весьма феодально повесил на черном дворе. Вторая жена его, урожденная Чичерина, довольно от него натерпелась. Однажды велел он ей одеться и ехать с ним куда-то в гости. Бабушка была на сносях и чувствовала себя нездоровой, но не смела отказаться. Дорогой она почувствовала муки. Дед мой велел кучеру остановиться, и она в карете разрешилась — чуть ли не моим отцом. Родильницу привезли домой полумертвую и положили на постелю всю разряженную и в бриллиантах. Всё это знаю я довольно темно. Отец мой никогда не говорит о странностях деда, а старые слуги давно перемерли.

Родословная матери моей еще любопытнее. Дед ее был негр, сын владетельного князька. Русский посланник в Константинополе как-то достал его из сераля, где содержался он аманатом, и отослал его Петру Первому вместе с двумя другими арапчатами. Государь крестил маленького Ибрагима в Вильне, в 1707 году, с польской королевою, супругою Августа, и дал ему фамилию Ганибал. В крещении наименован он был Петром; но как он плакал и не хотел носить нового имени, то до самой смерти назывался Абрамом. Старший брат его приезжал в Петербург, предлагая за него выкуп. Но Петр оставил при себе своего крестника. До 1716 году Ганибал находился неотлучно при особе государя, спал в его токарне, сопровождал его во всех походах; потом послан был в Париж, где несколько времени обучался в военном училище, вступил во французскую службу, во время испанской войны был в голову ранен *в одном подземном сражении* (сказано в рукописной его биографии) и возвратился в Париж, где долгое время жил в рассеянии большого света. Петр I неоднократно призывал его к себе, но Ганибал не торопился, отговариваясь под разными предлогами. Наконец государь написал ему, что он неволею его не намерен, что предоставляет его доброй воле возвратиться в Россию или остаться во Франции, но что во



всяком случае он никогда не оставит прежнего своего питомца. Тронутый Ганибал немедленно отправился в Петербург. Государь выехал к нему навстречу и благословил образом Петра и Павла, который хранился у его сыновей, но которого я не мог уж отыскать. Государь пожаловал Ганибала в бомбардирскую роту Преображенского полка капитан-лейтенантом. Известно, что сам Петр был ее капитаном. Это было в 1722 году.

После смерти Петра Великого судьба его переменилась. Меншиков, опасаясь его влияния на императора Петра II, нашел способ удалить его от двора. Ганибал был переименован в майоры Тобольского гарнизона и послан в Сибирь с препоручением измерить Китайскую стену. Ганибал пробыл там несколько времени, соскучился и самовольно возвратился в Петербург, узнав о падении Меншикова и надеясь на покровительство князей Долгоруких, с которыми был он связан. Судьба Долгоруких известна. Миних спас Ганибала, отправя его тайно в ревельскую деревню, где и жил он около десяти лет в поминутном беспокойстве. До самой кончины своей он не мог без трепета слышать звон колокольчика. Когда императрица Елисавета взошла на престол, тогда Ганибал написал ей евангельские слова: «Помяни мя, егда приидеши во царствие свое». Елисавета тотчас призвала его ко двору, произвела его в бригадиры и вскоре потом в генерал-майоры и в генерал-аншефы, пожаловала ему несколько деревень в губерниях Псковской и Петербургской, в первой Зуево, Бор, Петровское и другие, во второй Кобрино, Суйду и Таицы, также деревню *Раголу*, близ Ревеля, в котором несколько времени был он обер-комендантом. При Петре III вышел он в отставку и умер философом (говорит его немецкий биограф) в 1781 году, на 93 году своей жизни. Он написал было свои записки на французском языке, но в припадке панического страха, коему был подвержен, велел их при себе сжечь вместе с другими драгоценными бумагами.

В семейственной жизни прадед мой Ганибал так же был несчастлив, как и прадед мой Пушкин. Первая жена его, красавица, родом гречанка, родила ему белую дочь. Он с нею развелся и принудил ее по-

стричься в Тихвинском монастыре, а дочь ее Поликсену оставил при себе, дал ей тщательное воспитание, богатое приданое, но никогда не пускал ее себе на глаза. Вторая жена его, Христина-Регина фон Шеберх, вышла за него в бытность его в Ревеле обер-комендантом и родила ему множество черных детей обоего пола.

Старший сын его, Иван Абрамович, столь же достоин замечания, как и его отец. Он пошел в военную службу вопреки воле родителя, отличился и, ползая на коленях, выпросил отцовское прощение. Под Чесмою он распоряжался брандерами и был один из тех, которые спаслись с корабля, взлетевшего на воздух. В 1770 году он взял Наварин; в 1779 выстроил Херсон. Его постановления доньше уважаются в полу-денном краю России, где в 1821 году видел я стариков, живо еще хранивших его память. Он поссорился с Потемкиным. Государыня оправдала Ганибала и надела на него Александровскую ленту; но он оставил службу и с тех пор жил по большей части в Суйде, уважаемый всеми замечательными людьми славного века, между прочими Суворовым, который при нем оставлял свои проказы и которого принимал он, не завешивая зеркал и не наблюдая никаких тому подобных церемоний.

Дед мой, Осип Абрамович (настоящее имя его было Януарий, но прабабушка моя не согласилась звать его этим именем, трудным для ее немецкого произношения: *Шорн шорт*, говорила она, *делат мне шорни репят и дает им шертовск имя*)—дед мой служил во флоте и женился на Марье Алексеевне Пушкиной, дочери тамбовского воеводы, родного брата деду отца моего (который доводится внучатым братом моей матери). И сей брак был несчастлив. Ревность жены и непостоянство мужа были причиною неудовольствий и ссор, которые кончились разводом. Африканский характер моего деда, пылкие страсти, соединенные с ужасным легкомыслием, вовлекли его в удивительные заблуждения. Он женился на другой жене, представя фальшивое свидетельство о смерти первой. Бабушка принуждена была подать просьбу на имя императрицы, которая с живостию вмешалась в это дело. Новый брак деда моего объявлен был незаконным, бабушке

моей возвращена трехлетняя ее дочь, а дедушка послан на службу в черноморский флот. Тридцать лет они жили розно. Дед мой умер в 1807 году, в своей псковской деревне, от следствий невоздержанной жизни. Одиннадцать лет после того бабушка скончалась в той же деревне. Смерть соединила их. Они покоятся друг подле друга в Святогорском монастыре.

1834 (?)

## 6

### С. Л. Пушкин

---

#### ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ «СЫНА ОТЕЧЕСТВА»

В «Сыне отечества», апрель 1840 года, к крайнему моему прискорбию я прочел отрывок из Записок покойного сына моего, писанный им, конечно, не для публики, в чем я смело отдаю памяти его должную справедливость. В этом отрывке, не знаю, каким образом попавшемся издателям «Сына отечества», верно переданный им не друзьями его, я, к негодованию моему, прочел несколько строк о отце моем, память которого мне священна: издатели «Сына отечества» не пощадили праха благочестивого моего родителя. Как сын и как отец, я не могу и не должен молчать.— Покойный сын мой сам сознается, что он все знает темно, и что я никогда не говорил ему об этом, а господа Греч и Булгарин не поколебались нарушить спокойствие тени умершего около уже пятидесяти лет тому назад отца моего и оскорбить чувствительность оставшихся еще в живых детей его, сестру мою и меня.

Отец мой никогда не был жесток; он был любим, уважаем, почитаем даже теми, которые знали его по одному слуху. Он был примерный господин своих людей (зачеркнуто — «вассалов»), оплакиваем ими как детьми, многие из вольных пожелали быть его крепостными. Взаимная любовь его и покойной матери моей была образцовой; ни малейшее отступление от верности, от должного друг к другу уважения не озна-

меновало их нежного, 30-ти летнего союза.— Как! Отец мой мог принудить насильственным образом мать мою ехать с ним на обед в последние часы ее беременности! Он, который, отъехав из Москвы в свою подмосковную на несколько дней, воротился с дороги, чувствуя себя не в состоянии перенести краткую разлуку... Кто мог сыну моему дать столь лживое понятие о благородном характере отца моего!— Я подозреваю виновного, но да простит ему Всевышний, и он уже давно предстал пред суд Божий.

История о французе и первой жене его чрезвычайно увеличена. Отец мой никогда не вешал никого, не содержался в крепости двух лет.— Он находился под домашним арестом — это правда, но пользовался свободой. В поступке его с французом содействовал ему брат родной жены его Александр Матвеевич Воейков. Сколько я знаю, это ограничилось телесным наказанием, и то я не выдаю за точную истину.— Знаю, что отец мой и в счастливом супружестве с моею матерью вспоминал о первой жене своей, на которой он женился 16-ти лет, с нежностью. Дети ее, большие мои братья, любили и почитали мать мою как свою родную, и после кончины отца моего не переставали сохранять к ней любовь и почтение, не предпринимая ничего без ее согласия.— Отец мой никогда не жил в деревнях своих, отъезжая летом месяца на два, а иногда и менее в подмосковную; в прочее время года жил всегда в Москве, открытым домом. Я помню, что не было дня, в котором не съезжались бы к нам родные и знакомые, все уважающие моего родителя.— Слово его был закон, и честность в сохранении и исполнении своих обязанностей — главной чертой его характера. Часто сзывал он бедных на сытный обед, после которого оделял их деньгами. Я и теперь с умилением вспоминаю, как толпа нищих тянулась к обширному двору нашего дома с молитвою о его долголетию. Благочестие его, покорность к воле Всевышнего, набожность без суеверия и предрассудков, привлекли к нему почетное духовенство того времени. Преосвященный Платон, митрополит Московский, пожелал служить при похоронах его обедню и положил прах его в самой церкви Донского монастыря под алтарем. Вот что я могу сказать о моем родителе.

Много и других ошибок в отрывках сына моего, но повторяю, он не писал и не мог писать с намерением напечатать это когда-либо.— Грустно, тяжело мне бороться с чувствами горести моей о потерянном мною сыне с обязанностью моею — защитить память отца моего; но я оставляю сие на суд отцов и детей.— Я думаю, что молчание мое было как согласие и одобрение нескромного и лучше сказать преступного поступка издателей «Сына отечества». Я верю, что тени, мною всегда любимые, давно примирились там, где нет ни вражды, ни ложных понятий; где все ясно и не подвергается корыстолюбивым видам господ журналистов, не щадивших ни живых, ни мертвых для того только, чтобы заставить читать свой журнал.

*Примечание.* Смерть на соломе, в домашней тюрьме, первой жены отца моего не заслуживала бы даже возражения. Кто не знает, что в 18-м столетии таковые тюрьмы не могли существовать в России и в Москве.— Правительство могло ли не обратить внимания на такое ужасное злоупотребление силой и властью? Родные ее не прибегнули бы под защиту закона? Сохранили ли бы они с отцом моим родственную, дружескую связь? Я в самом младенчестве помню брата ее, Александра Матвеевича Воейкова, родного зятя ее Сергея Ивановича Грушецкого, племянников ее Жеребцовых, Лачиновых etc. Все они так часто были у отца моего, не пропускали ни одного праздника, чтобы не приехать к нему по тогдашнему обычаю, с поздравлением как к старшему в семействе.— Сообразно ли это с сказанным в отрывке? — Я помню, что Владимир Сергеевич Грушецкой, сын Сергея Ивановича, скончавшийся только прошлого года сенатором в С. Петербурге, всякое воскресенье с 9 часов утра уже был у отца моего в гвардейском унтер-офицерском мундире, которым я любовался.— Владимир Сергеевич напоминал мне пред самой почти кончиной, как часто он меня носил на руках.

— Оставляю все эти обстоятельства на суд и размышления моих читателей.

## С. Л. Пушкин.

ЗАМЕЧАНИЯ НА ТАК НАЗЫВАЕМУЮ БИОГРАФИЮ  
АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА

Прочитав в «Портретной и биографической галерее» биографию моего сына, почитаю необходимым заметить вкравшиеся в нее ошибки и неизлишним пополнить и пояснить некоторые сведения, в ней заключающиеся.

1) Александр Пушкин родился не в Петербурге, а в Москве, в 1799 году мая 26; скончался в Петербурге не 26 января, а 29, 1837.

2) Я никогда не был псковским помещиком и, благодаря предкам моим, никогда не был бедным помещиком. Отец мой имел более 3000 душ, из которых я получил 1000 в Нижегородской губернии: это имение и теперь за мною. — Отец мой жил постоянно в Москве большим открытым домом и имел родственные и дружеские связи с знатнейшими фамилиями Российской империи. Псковское имение принадлежало покойной жене моей, урожденной Ганнибал. Тесть мой был псковский помещик, но не бедный, а имел хорошее, независимое состояние. Благодарю г. биографа покойного сына моего: он называет меня *человеком почтенным и всеми уважаемым*. Не осмеливаюсь принять всё это безотговорочно; но я был любим некоторыми, и этого, по моему образу мыслей, достаточно.

3) Дед жены моей, Абраам Петрович Ганнибал, никогда не был *комнатным служителем*, как пишет г. биограф: он привезен был в Россию младенцем, и потом послан был преобразователем отечества, Великим Петром, в чужие края, и особенно во Францию, для усовершенствования в инженерной науке. Там вступил он в службу и возвратился в Санктпетербург капитаном. А. П. Ганнибал служил при Екатерине I, Анне Ивановне, Елисавете Петровне, которая осыпала его милостями, скончался уже в царствование Екатерины II-й, наградившей его значительными поместьями в Псковской и Петербургской губерниях. Сын его

Иван Абраамович, служил генерал-лейтенантом, находился в морском чесменском сражении под начальством графа Алексея Григорьевича Орлова, получил тогда же орден св. Георгия третьей степени, при самом его учреждении, и св. Анны. Он основал и устроил Херсонь и награжден был орденом св. Александра Невского и св. Владимира первой степени, находясь уже уволенным от службы.

4) Александр Пушкин помещен в Царскосельский лицей по совету *и содействию не Александра Николаевича Тургенева, а Александра Ивановича Тургенева*, коего имя довольно известно и на поприще гражданском и в кругу нашего литературного мира.

5) Биограф утверждает, что в лицее А. Пушкин читал мало. Совсем напротив! Он там изучил чтением всех лучших современных и прежних писателей, как иностранных, так и русских.— В зрелом возрасте, прибавляет биограф, он выучился по-английски. Опять ошибка. Вступив в лицей, он уже этот язык знал, как знают все дети, с которыми дома говорят на этом языке.— Еще ошибка, будто А. Пушкин после учился по-польски. Он не учился этому языку, а мог его понимать столько, сколько все русские понимают другие славянские наречия. Справедливее бы прибавить, что он выучился в зрелом возрасте по-испански. Г. биограф ошибается и в том, будто незабвенный наш Державин благодарил сына моего за читанное им сочинение «Безверие». Сын мой на 15 году своего возраста, на первом экзамене в императорском лицее, читал не *Безверие*, а *Воспоминание о Царском селе*, в присутствии Г. Р. Державина,— пьесу впоследствии напечатанную в «Образцовых сочинениях». Бессмертный певец бессмертной Екатерины благодарил тогда моего сына и благословил его поэтом. *Безверие* он читал при выпуске своем на последнем экзамене, и, к сожалению России, Державина уже не было в здешнем мире. Я не забуду, что за обедом, на который я был приглашен графом А. К. Разумовским, бывшим тогда министром просвещения, граф, отдавая справедливость молодому таланту, сказал мне: «Я бы желал однако же образовать сына вашего к прозе». *Оставьте его поэтом* отвечал ему за меня Державин с жаром, вдохновенный духом пророчества.

6) Ни я, ни кто другой из близких моему сыну никогда не слыхивал от него французского эпитета, приданного в биографии русскому книгопродавцу, бывшему *будто бы* главным его корреспондентом, эпитета, который впрочем и не имеет смысла: так он сочинен невпопад и наскоро.

7) *Слава Библиотеки для Чтения возбудила в нем желание основать свой собственный журнал* — говорит г. биограф. Если это не насмешка, то трудно отыскать настоящее значение сего выражения. Дело в том, что Александр Пушкин, не желая более участвовать, хотя совершенно посторонним и независимым содействием в журналах, коих не одобрял ни по содержанию, ни по направлению оных, решился издавать свой журнал, в коем он и прочие литераторы, одинаково с ним судившие о литературе, могли бы печатать свои труды. *При своих довольно стесненных обстоятельствах* (слова биографа)... Он вовсе не полагал больших надежд на успех этого издания; он был слишком беспечен, слишком поэт в душе и в действиях своих для замышления подобной спекуляции.

8) Обращаясь к характеру и литературной жизни покойного моего сына, скажу, что г. биограф во многом ошибается: иногда кажется мне, что ему неизвестны многие его творения, особливо из числа последних. Я никогда не соглашусь с ним (да и многие вместе со мною) в том, что талант его пред кончиною начинал упадать. *Медный всадник, Капитанская дочка* и другие творения доказывают противное.

9) *Капитанская дочка* была напечатана не в одной из первых книжек «Современника», а напротив в последней из изданных им.

10) *Пушкин завидовал некоторым новым талантам!* (слова биографа). Не как отец, а как беспристрастный любитель русской словесности, смею спросить: кому из молодых писателей Александр Пушкин мог завидовать? Он не только был совершенно чужд гнусного порока зависти, но, напротив, можно сказать, он иногда увлекался излишним пристрастием в поощрении возникающих талантов. Конечно, при этом был он и строг в суждениях своих, особенно в последнее время, когда дарование его более и более созрело



и остепенилось. Нередко бывал он и резок и решителен в отзывах своих. Все, что казалось ему изысканным, противоречащим истине и природе, как в наших писателях, так равно и в иностранных, находило в нем критика строгого и неумолимого. Это так; но приписывать эту строгость зависти позволено только тому, кто вовсе не знал покойного сына моего и не мог оценить душу, чувства и правила его... Есть в биографии обвинение и другого рода: но оно не заслуживает опровержения — ни моего и никого другого, кто бы вздумал писать против г. биографа. Эпиграммы поэта могли не нравиться противникам его и быть для них источником *литературных огорчений*, по выражению биографии: с этим я согласен; но какие могли быть его собственные *литературные огорчения* и от кого и от чего быть им, этого не понимаю, и едва ли поймет кто другой из знавших сына моего и из просвещенных и сведущих ценителей его таланта и смею сказать, славы его!

11) *В конце 1824 года, оставив страну южной России, Пушкин возвратился в село Михайловское, в свою псковскую деревню, мимоездом только завернув в Москву и Петербург* (слова биографа). Ошибка. Он не заезжал в Москву и Петербург и не мог заехать.

12) Переходя от нравственного портрета к физическому, к которому упомянутая биография приложена, скажем в заключение, что и в сем последнем много отступлений от верности и сходства. Лучший портрет сына моего есть тот, который написан Кипренским и гравирован Уткиным.

1841

8

Как жениться задумал царский арап,  
Меж боярынь арап похаживает,  
На боярышен арап поглядывает.  
Что выбрал арап себе сударушку,  
Черный ворон белую лебедушку.  
А как он, арап, чернешенек,  
А она-то, душа, белешенька.

1824

А. С. Пушкин

## 9

Автор, со стороны матери, происхождения африканского. Его прадед Абрам Петрович Аннибал на 8 году своего возраста был похищен с берегов Африки и привезен в Константинополь. Российский посланник, выручив его, послал в подарок Петру Великому, который крестил его в Вильне. Вслед за ним брат его приезжал сперва в Константинополь, а потом и в Петербург, предлагая за него выкуп; но Петр I не согласился возвратить своего крестника. До глубокой старости Аннибал помнил еще Африку, роскошную жизнь отца, 19 братьев, из коих он был меньшей; помнил, как их водили к отцу, с руками, связанными за спину, между тем как он один был свободен и плавал под фонтанами отеческого дома; помнил также любимую сестру свою *Лагань*, плывшую издали за кораблем, на котором он удалялся.

18-ти лет от роду Аннибал послан был царем во Францию, где и начал свою службу в армии регента; он возвратился в Россию с разрубленной головой и с чином французского лейтенанта. С тех пор находился он неотлучно при особе императора. В царствование Анны Аннибал, личный враг Бирона, послан был в Сибирь под благовидным предлогом. Наскуча безлюдством и жестокостию климата, он самовольно возвратился в Петербург и явился к своему другу Миниху. Миних изумился и советовал ему скрыться немедленно. Аннибал удалился в свои поместья, где и жил во всё время царствования Анны, считаясь в службе и в Сибири. Елисавета, вступив на престол, осыпала его своими милостями. А. П. Аннибал умер уже в царствование Екатерины, уволенный от важных занятий службы, с чином генерал-аншефа на 92 году от рождения.

Сын его генерал-лейтенант И. А. Аннибал принадлежит бесспорно к числу отличнейших людей екатерининского века (ум. в 1800 году).

В России, где память замечательных людей скоро исчезает, по причине недостатка исторических записок, странная жизнь Аннибала известна только по

семейственным преданиям. Мы со временем надеемся издать полную его биографию.

А. С. Пушкин. «Евгений Онегин».  
Примечания к гл. 1 (строфа L). 1825.

## 10

В одной газете (почти официальной) сказано было, что прадед мой Абрам Петрович Ганнибал, крестник и воспитанник Петра Великого, наперсник его (как видно из собственноручного письма Екатерины II)\*, отец Ганнибала, покорившего Наварин (см. памятник, воздвигнутый в Царском Селе гр. Ф. Г. Орлову), генерал-аншеф и проч.— был куплен шкипером за бутылку рому. Прадед мой если был куплен, то, вероятно, дешево, но достался он шкиперу, коего имя всякий русский произносит с уважением и не всуе. Простительно выходцу не любить ни русских, ни России, ни истории ее, ни славы ее. Но не похвально ему за русскую ласку марать грязью священные страницы наших летописей, поносить лучших сограждан и, не довольствуясь современниками, издеваться над гробами праотцев.

А. С. Пушкин. Опровержения на критики. 1830.

## 11

## МОЯ РОДОСЛОВНАЯ

Смеясь жестоко над собратом,  
Писаки русские толпой  
Меня зовут аристократом.  
Смотри, пожалуй, вздор какой!  
Не офицер я, не ассессор,

---

\* Голиков говорит, что он был прежде камердинером у государя. но что Петр, заметя в нем дарования и проч. Голиков ошибся. У Петра I не было камердинеров, прислуживали ему денщики, между прочими Орлов и Румянцев — родоначальники исторических фамилий. Прим. Пушкина.

Я по кресту не дворянин,  
Не академик, не профессор;  
Я просто русский мещанин.

Понятна мне времен превратность,  
Не прекословлю, право, ей:  
У нас нова рожденьем знатность,  
И чем новее, тем знатней.  
Родов дряхлеющих обломок  
(И, по несчастью, не один),  
Бояр старинных я потомок;  
Я, братцы, мелкий мещанин.

Не торговал мой дед блинами,  
Не ваксил царских сапогов,  
Не пел с придворными дьячками,  
В князя не прыгал из хохлов,  
И не был беглым он солдатом  
Австрийских пудренных дружин;  
Так мне ли быть аристократом?  
Я, слава богу, мещанин.

Мой предок Рача мышцей бранной  
Святому Невскому служил;  
Его потомство гнев венчанный,  
Иван IV пощадил.  
Водились Пушкины с царями;  
Из них был славен не один,  
Когда тягался с поляками  
Нижегородский мещанин.

Смирив крамолу и коварство  
И ярость бранных непогод,  
Когда Романовых на царство  
Звал в грамоте своей народ,  
Мы к оной руку приложили,  
Нас жаловал страдальца сын.  
Бывало, нами дорожили;  
Бывало... но — я мещанин.

Упрямства дух нам всем подгадил.  
В родню свою неукротим,  
С Петром мой пращур не поладил  
И был за то повешен им.

Его пример будь нам наукой:  
Не любит споров властелин.  
Счастлив князь Яков Долгорукой,  
Умен покорный мещанин.

Мой дед, когда мятеж поднялся  
Средь петергофского двора,  
Как Миних, верен оставался  
Паденью третьего Петра.  
Попали в честь тогда Орловы,  
А дед мой в крепость, в карантин,  
И присмирел наш род суровый,  
И я родился мещанин.

Под гербовой моей печатью  
Я кипу грамот схоронил  
И не якшаюсь с новой знатью,  
И крови спесь угомонил.  
Я грамотей и стихотворец,  
Я Пушкин просто, не Мусин,  
Я не богач, не царедворец,  
Я сам большой: я мещанин.

*Post scriptum*

Решил Фиглярин, сидя дома,  
Что черный дед мой Ганнибал  
Был куплен за бутылку рома  
И в руки шкиперу попал.

Сей шкипер был тот шкипер славный,  
Кем наша двинулась земля,  
Кто придал мощно бег державный  
Рулю родного корабля.

Сей шкипер деду был доступен,  
И сходно купленный арап  
Возрос усерден, неподкупен,  
Царю наперсник, а не раб.

И был отец он Ганнибала,  
Пред кем среди чесменных пучин  
Громада кораблей вспылала,  
И пал впервые Наварин.

Решил Фиглярин вдохновенный:  
 Я во дворянстве мещанин.  
 Что ж он в семье своей почтенной?  
 Он?.. он в Мещанской дворянин.

1830

А. С. Пушкин

12

V

〈...〉

Но извините: статья может,  
 Читатель, я вам досадил:  
 Наш век вас верно просветил,  
 Вас спесь дворянская не гложет,  
 И нужды нет вам никакой  
 До вашей книги родовой...

VI

Кто б ни был ваш родоначальник,  
 Мстислав Удамый, иль Ермак,  
 Или Митюшка целовальник,  
 Вам всё равно — конечно так,  
 Вы презираете отцами,  
 Их древней славою, правами  
 Великодушно и умно,  
 Вы отреклись от них давно,  
 Прямого просвещенья ради,  
 Гордясь, как общей пользы друг,  
 Ценою собственных заслуг,  
 Звездой двоюродного дяди  
 Иль приглашением на бал  
 Туда, где дед ваш не бывал.

VII

Я сам — хоть в книжках и словесно  
 Собратья надо мной трунят —  
 Я мещанин, как вам известно,  
 И в этом смысле демократ,  
 Но каюсь: новый Ходаковский \*,

\* Известный любитель древностей. Прим. Пушкина.

Люблю от бабушки московской  
Я слушать толки о родне;  
Об отдаленной старине.  
Могучих предков правнук бедный,  
Люблю встречать их имена  
В двух-трех строках Карамзина.  
От этой слабости безвредной,  
Как ни старался,—видит бог,—  
Отвыкнуть я никак не мог.

## VIII

Мне жаль, что сих родов боярских  
Бледнеет блеск и никнет дух.  
Мне жаль, что нет князей Пожарских,  
Что о других пропал и слух,  
Что их поносит шут Фиглярин,  
Что русский ветреный боярин  
Теряет грамоты царей,  
Как старый сбор календарей.  
Что исторические звуки  
Нам стали чужды, хоть спроста  
Из бар мы лезем в tiers-état \*,  
Хоть нищи будут наши внуки,  
И что спасибо нам за то  
Не скажет, кажется, никто.

## IX

Мне жаль, что мы, руке наемной  
Дозволя грабить свой доход,  
С трудом ярем заботы темной  
Влачим в столице круглый год,  
Что не живем семьею дружной  
В довольстве, в тишине досужной,  
Старая близ могил родных  
В своих поместьях родовых,  
Где в нашем тереме забытом  
Растет пустынная трава;  
Что геральдического льва  
Демократическим копытом  
У нас лягает и осел:  
Дух века вот куда зашел!

1832

А. С. Пушкин. «Езерский».

## 13

Первые впечатления. Юсупов сад.—Землетрясение.—Няня. Отъезд матери в деревню.—Первые неприятности.—Гувернантки. Ранняя любовь.—Рождение Льва.—Мои неприятные воспоминания.—Смерть Николая.—Монфор—Русло—Кат. П. и Ан. Ив.—Нестерпимое состояние.—Охота к чтению. Меня везут в П. Б. Езуиты. Тургенев. Лицей.

*А. С. Пушкин. Первая программа записок. 1830 (?)*

## - 14

⟨...⟩ В России домашнее воспитание есть самое недостаточное, самое безнравственное: ребенок окружен одними холопами, видит одни гнусные примеры, своевольничает или рабствует, не получает никаких понятий о справедливости, о взаимных отношениях людей, об истинной чести. Воспитание его ограничивается изучением двух или трех иностранных языков и начальным основанием всех наук, преподаваемых каким-нибудь нанятым учителем. Воспитание в частных пансионах не многим лучше; здесь и там оно кончается на 16-летнем возрасте воспитанника. Нечего колебаться: во что бы то ни стало должно подавить воспитание частное.

*А. С. Пушкин. О народном воспитании. 1826.*

## 15

⟨...⟩ Некогда в Москве пребывало богатое неслужащее боярство, вельможи, оставившие двор, люди независимые, беспечные, страстные к безвредному злоречию и к дешевому хлебосольтву; некогда Москва была сборным местом для всего русского дворянства, которое изо всех провинций съезжалось в нее на зиму. Блестящая гвардейская молодежь налетала туда ж из Петербурга. Во всех концах древней столицы гремела музыка, и везде была толпа.



В зале Благородного собрания два раза в неделю было до пяти тысяч народу. Тут молодые люди познакомились между собою; улаживались свадьбы. Москва славилась невестами, как Вязьма пряниками; московские обеды (так оригинально описанные князем Долгоруким) вошли в поговорку. Невинные странности москвичей были признаком их независимости. Они жили по-своему, забавлялись как хотели, мало заботясь о мнении ближнего. Бывало, богатый чудак выстроит себе на одной из главных улиц китайский дом с зелеными драконами, с деревянными мандаринами под золочеными зонтиками. Другой выедет в Марьину Рощу в карете из кованого серебра 84-й пробы. Третий на запяжки четвероместных саней поставит человек пять арапов, егерей и скороходов и цугом тащится по летней мостовой. Щеголихи, перенимая петербургские моды, налагали и на наряды неизгладимую печать. Надменный Петербург издали смеялся и не вмешивался в затеи старушки Москвы.⟨...⟩

*А. С. Пушкин. Путешествие  
из Москвы в Петербург. 1835.*

## 16

## ПОСЛАНИЕ К ЮДИНУ

⟨...⟩

Мне видится мое селенье,  
Мое Захарово; оно  
С заборами в реке волнистой,  
С мостом и рощею тенистой  
Зерцалом вод отражено.  
На холме домик мой; с балкона  
Могу сойти в веселый сад,  
Где вместе Флора и Помона  
Цветы с плодами мне дарят,  
Где старых кленов темный ряд  
Возносится до небосклона,  
И глухо тополы шумят.  
Туда зарею поспешаю  
С смиренным заступом в руках,

В лугах тропинку извиваю,  
Тюльпан и розу поливаю —  
И счастлив в утренних трудах;  
Вот здесь под дубом наклоненным  
С Горацием и Лафонтеном  
В приятных погружен мечтах.  
Вблизи ручей шумит и скачет,  
И мчится в влажных берегах,  
И светлый ток с досадой прячет  
В соседних рощах и лугах.  
Но вот уж полдень.— В светлой зале  
Весельем круглый стол накрыт;  
Хлеб-соль на чистом покрывале,  
Дымятся щи, вино в бокале,  
И щука в скатерти лежит.  
Соседи шумною толпою  
Взошли, прервали тишину,  
Садятся; чаш внимаем звону:  
Все хвалят Вакха и Помону  
И с ними красную весну...

Вот кабинет уединенный,  
Где я, Москвою утомленный,  
Вдали обманчивых красот,  
Вдали нахмуренных забот  
И той волшебницы лукавой,  
Которая весь мир вертит,  
В трубу немолчную гремит,  
И — помнится — зовется славой,—  
Живу с природной простотой,  
С философической забавой  
И с музой резвой и младой...  
Вот мой камин — под вечер темный,  
Осенней бурною порой,  
Люблю под сению укромной  
Пред ним задумчиво мечтать,  
Вольтера, Виланда читать,  
Или в минуту вдохновенья  
Небрежно стансы намарать  
И жечь потом свои творенья...

## 17

## СОН

⟨...⟩

Душевных мук волшебный исцелитель,  
Мой друг Морфей, мой давний утешитель!  
Тебе всегда я жертвовать любил,  
И ты жреца давно благословил.  
Забуду ли то время золотое,  
Забуду ли блаженный неги час,  
Когда, в углу под вечер притаясь,  
Я призывал и ждал тебя в покое...  
Я сам не рад болтливости своей,  
Но детских лет люблю воспоминанье.  
Ах! умолчу ль о мамушке моей,  
О прелести таинственных ночей,  
Когда в чепце, в старинном одеянье,  
Она, духов молитвой уклоня,  
С усердием перекрестит меня  
И шёпотом рассказывать мне станет  
О мертвецах, о подвигах Бовы...  
От ужаса не шелохнусь, бывало,  
Едва дыща, прижмусь под одеяло,  
Не чувствуя ни ног, ни головы.  
Под образом простой ночник из глины  
Чуть освещал глубокие морщины,  
Драгой антик, прабабушкин чепец  
И длинный рот, где зуба два стучало,—  
Всё в душу страх невольный поселяло.  
Я трепетал—и тихо наконец  
Томленье сна на очи упало.  
Тогда толпой с лазурной высоты  
На ложе роз крылатые мечты,  
Волшебники, волшебницы слетали,  
Обманами мой сон обворожали.  
Терялся я в порыве сладких дум;  
В глуши лесной, средь муромских пустыней  
Встречал лихих Полканов и Добрыней,  
И в вымыслах носился юный ум...

## 18

В младенчестве моем я чувствовать умел,  
 Всё жизнью вокруг меня дышало,  
 Всё резвый ум обворожало,  
 И первую черту я быстро пролетел.  
 С какую тихую красою  
 Минуты детства протекли...

*А. С. Пушкин. Дельвигу. 1817  
 (Лицейская редакция).*

## 19

\* \* \*

Наперсница волшебной старины,  
 Друг вымыслов игривых и печальных,  
 Тебя я знал во дни моей весны,  
 Во дни утех и снов первоначальных.  
 Я ждал тебя; в вечерней тишине  
 Являлась ты веселою старушкой,  
 И надо мной сидела в шушуне,  
 В больших очках и с резвою гремущкой.  
 Ты, детскую качая колыбель,  
 Мой юный слух напевами пленила  
 И меж пелен оставила свирель,  
 Которую сама заворожила.⟨...⟩

1822

*А. С. Пушкин*

## 20

\* \* \*

В начале жизни школу помню я;  
 Там нас, детей беспечных, было много;  
 Неровная и резвая семья.

Смиренная, одетая убого,  
 Но видом величавая жена  
 Над школою надзор хранила строго.

Толпою нашею окружена,  
 Приятным, сладким голосом, бывало,  
 С младенцами беседует она.

Ее чела я помню покрывало  
И очи светлые, как небеса.  
Но я вникал в ее беседы мало.

Меня смущала строгая краса  
Ее чела, спокойных уст и взоров,  
И полные святыни словеса.

Дичась ее советов и укоров,  
Я про себя превратно толковал  
Понятный смысл правдивых разговоров.

И часто я украдкой убегал  
В великолепный мрак чужого сада,  
Под свод искусственный порфирных скал.

Там нежила меня теней прохлада;  
Я предавал мечтам свой юный ум,  
И праздномыслить было мне отрада.

Любил я светлых вод и листьев шум,  
И белые в тени дерев кумиры,  
И в ликах их печать недвижных дум.

Всё — мраморные циркули и лиры,  
Мечи и свитки в мраморных руках,  
На главах лавры, на плечах порфиры —

Всё наводило сладкий некий страх  
Мне на сердце; и слезы вдохновенья,  
При виде их, рождались на глазах.

Другие два чудесные творенья  
Влекли меня волшебною красой:  
То были двух бесов изображенья.

Один (Дельфийский идол) лик молодой —  
Был гневен, полон гордости ужасной,  
И весь дышал он силой неземной.

Другой женообразный, сладострастный,  
Сомнительный и лживый идеал —  
Волшебный демон — лживый, но прекрасный.

Пред ними сам себя я забывал;  
В груди младое сердце билось — холод  
Бежал по мне и кудри подымал.

Безвестных наслаждений темный голод  
 Меня терзал. Уныние и лень  
 Меня сковали — тщетно был я молод.

Средь отроков я молча целый день  
 Бродил угрюмый — всё кумиры сада  
 На душу мне свою бросали тень.

*ИЗ РАННИХ РЕДАКЦИЙ*

Тенистый сад и школу помню я,  
 Где маленьких детей нас было много,  
 Как на гряде одной цветов семья,  
 Росли неровно — и за нами строго  
 Жена смотрела. Память уж моя  
 Истерлась, обветшав ..... убого,  
 Но лик и взоры дивной той жены  
 В душе глубоко напечатлены.

.....  
 Уж плохо служит память мне моя —  
 Ткань ветхая, истершаясь убого.  
 Но живо, ясно взоры той жены  
 Во мне глубоко напечатлены.

1830

*А. С. Пушкин.*

## 21

### *О. С. Павлицева*

#### ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Александр Сергеевич Пушкин родился в Москве в 1799 году, мая 26-го, в четверг, в день Вознесения.

От самого рождения до вступления в Царскосельский лицей он был неразлучен с сестрою Ольгою Сергеевною, которая только годом была его старше. Детство их протекало вместе, и няня сестры Арина Родионовна, воспетая поэтом, сделалась нянею для брата, хотя за ним ходила другая, по имени Улиана. (...)

...До помещения (же) его в Лицей они постоянно жили в Москве, проводя летнее время в Захарове.

До шестилетнего возраста Александр Сергеевич не обнаруживал ничего особенного; напротив, свою

неповоротливостью, происходившею от тучности тела, и всегдашнею молчаливостью приводил иногда мать в отчаяние. Она почти насильно водила его гулять и заставляла бегать, отчего он охотнее оставался с бабушкой Марьею Алексеевною, залезал в ее корзину и смотрел, как она занималась рукодельем. Однажды, гуляя с матерью, он отстал и уселся посередине улицы; заметив, что одна дама смотрит на него в окошко и смеется, он привстал, говоря: «Ну, нечего скалить зубы».

Достигнув семилетнего возраста, он стал резов и шаловлив. Воспитание его и сестры Ольги Сергеевны вверено было иностранцам, гувернерам и гувернанткам. Первым воспитателем был французский эмигрант граф Монфор, человек образованный, музыкант и живописец; потом Русло, который писал хорошо французские стихи, далее Шедель и другие: им, как водилось тогда, дана была полная воля над детьми. Разумеется, что дети и говорили и учились только по-французски.

Учился Александр Сергеевич лениво, но рано обнаружил охоту к чтению и уже девяти лет любил читать Плутарха или «Илиаду» и «Одиссею» в переводе Битобе. Не довольствуясь тем, что ему давали, он часто забирался в кабинет отца и читал другие книги; библиотека же отцовская состояла из классиков французских и философов XVIII века. Страсть эту развивали в нем и сестре сами родители, читая им вслух занимательные книги. Отец в особенности мастерски читывал им Мольера.

(...) немудрено, что девятилетнему мальчику захотелось попробовать себя в искусстве подражания и сделаться автором.

Первые его попытки были, разумеется, на французском языке, хотя учили его и русской грамоте. Чтению и письму выучила его и сестру бабушка Марья Алексеевна; потом учителем русским был некто Шиллер, а, наконец, до самого вступления Александра Сергеевича в Лицей священник Мариинского института Александр Иванович Беликов, довольно известный тогда своими проповедями и изданием «Духа Масилиона»: он, уча закону божию, учил русскому языку и арифметике. Прочие предметы преподавались им по-французски домашними гувернерами и приват-

ными учителями. Когда у сестры была гувернанткою англичанка (M-me Бели), то он учился и по-английски, но без успеха. Немецкого же учителя у них никогда не бывало; была одна гувернантка-немка, но и та всегда говорила по-русски. Между тем родители возили их на уроки танцевания к Трубецким (князю Ивану Дмитриевичу), Бутурлиным (Петру Дмитриевичу), Сушковым (Николаю Михайловичу), а по четвергам на детские балы к танцмейстеру Иогелю, переучившему столько поколений в Москве.

(...) любимым его упражнением сначала было импровизировать маленькие комедии и самому разыгрывать их перед сестрою, которая в этом случае составляла всю публику и произносила свой суд. Однажды как-то она освистала его пьеску «Похититель». Он не обиделся и сам на себя написал эпиграмму:

— Скажи, за что «Похититель»  
Освистан партером?  
— Увы, за то, что бедняга сочинитель  
Похитил его у Мольера.

В то же время пробовал сочинять басни, а потом, уже лет десяти от роду, начитавшись порядочно, особенно «Генриады» Вольтера, написал целую героико-комическую поэму, песнях в шести, под названием «Toliade», \* которой героем был карла царя-тунеядца Дагоберта, а содержанием — война между карлами и карлицами. Она начиналась так:

Пою бой, в котором Толи одержал верх,  
Где немало бойцов погибло, где Поль отличился,  
Николая Матюрена и красавицу Нитуш,  
Коей рука была наградою победителю в ужасной схватке.

Гувернантка подстерегла тетрадку и, отдавая ее гувернеру Шеделю, жаловалась, что m-r Alexandre \*\* занимается таким вздором, отчего и не знает никогда своего урока. Шедель, прочитав первые стихи, расхохотался. Тогда маленький автор расплакался и в пылу оскорбленного самолюбия бросил свою поэму в печку. И в самом деле, полагаясь на свою счастливую память, он никогда не твердил уроков, а повторял их

\* «Толиада» (фр.)

\*\* месье Александр (фр.)



вслед за сестрою, когда ее спрашивали. Нередко учитель спрашивал его первого и таким образом ставил его в тупик. Арифметика казалась для него недоступною, и он часто над первыми четырьмя правилами, особенно над делением, заливался горькими слезами. <...>

Отец его Сергей Львович, о родителях которого сам поэт наш говорит в своих сочинениях, был нрава пылкого и до крайности раздражительного, так что при малейшем неудовольствии, возбужденном жалобой гувернера или гувернантки, он выходил из себя, отчего дети больше боялись его, чем любили. Мать, напротив, при всей живости характера, умела владеть собою и только не могла скрывать предпочтения, которое оказывала сперва к дочери, а потом к меньшему сыну Льву Сергеевичу; всегда веселая и беззаботная, с прекрасною наружностью креолки, как ее называли, она любила свет. Сергей Львович был также создан для общества, которое умел он оживлять неистоимой любезностью и тонкими остротами, изливавшимися потоком французских каламбуров. Многие из этих каламбуров передавались в обществе как образчики необыкновенного остроумия. <...>

Между тем он оставил в дамских альбомах множество прекрасных стихов, под которыми могли бы подписаться и лучшие представители блистательной эпохи французской литературы. В одном из таких альбомов, принадлежавшем знаменитой в свое время пианистке Шимановской, теще впоследствии польского поэта Мицкевича, сохранилось послание к ней, прозою и стихами вперемежку, в котором автор знакомит ее с современною русскою литературою.

Оно написано в Варшаве, в 1814 году, когда Сергей Львович начальствовал там Комиссариатскою комиссиею Резервной армии. Назначенный на его место А. Н. Болговской сказывал, что, принимая от него должность, он застал его в присутственной комнате за французскою книжкою.

И действительно, Сергей Львович не был создан для службы, особенно для военной. Записанный при рождении в Измайловский полк, он служил в нем некоторое время и при государе Павле Петровиче перешел в Гвардейский егерский. Тогда, как известно, офицеры носили трости. Сергей Львович, любя

сигивать в приятельском кружке у камина, сам мешал в нем, не замечая, что мешает своею офицерскою тростью. Когда он с такою тростью явился на ученье, начальник сделал замечание, сказав: «Господин поручик, вы лучше бы пришли с кочергою». Это очень огорчило Сергея Львовича, и он, возвратясь домой, жаловался Надежде Осиповне, как трудно служить. Еще труднее для него было отказаться от какой-либо привычки. Он не любил носить перчаток и обыкновенно или забывал их дома, или терял. Явившись однажды ко двору, на бал, он чрезвычайно смутился и даже струсил, когда государь Павел Петрович изволил подойти к нему и спросить по-французски: «Отчего вы не танцуете?» — «Я потерял перчатки, Ваше величество». Государь поспешно снял с руки своей перчатки и, подавая их, ободрительным тоном сказал: «Вот вам мои», — взял его под руку и, подведя к одной даме, прибавил: «А вот вам и дама».

Не менее того: Сергей Львович вскоре простился с военною службою и перешел в Комиссариат, в котором и считался, нося военный мундир, присвоенный этому ведомству. Владея порядочным именем в Нижегородской губернии, он, по свойственному иным помещикам обычаю, никогда в нем не бывал и довольствовался доходами, подчас скудными, какие высылал управитель его, крепостной человек.

Замечательна по своему влиянию на детство и первое воспитание Александра Сергеевича и сестры была их бабушка Марья Алексеевна. Происходя по матери из рода Ржевских, она дорожила этим родством (см. «Родословную») и часто любила вспоминать былые времена. Так, передала она анекдот о дедушке своем Ржевском, любимце Петра Великого. Монарх часто бывал у Ржевского запросто и однажды заехал к нему поужинать. Подали на стол любимый царя блинчатый пирог: но он как-то не захотел его откусывать, и пирог убрали со стола. На другой день Ржевский велел подать этот пирог себе, и каков был ужас его, когда вместо изюма в пироге оказались тараканы — насекомые, к которым Петр Великий чувствовал неизъяснимое отвращение. Недруги Ржевского хотели сыграть с ним эту шутку, подкупив повара, в надежде, что любимец царский дорого за нее заплатится.

По отцу будучи внучкою Федора Петровича Пушкина, замешанного в заговоре Соковнина, она приходилась внучатною сестрою зятю своему, Сергею Львовичу. Вышедши замуж за Осипа Абрамовича Ганнибала, она имела от него единственную дочь Надежду, мать Александра Сергеевича, и года через два после замужества была им брошена. Этот меньший сын негра, известного Абрама Петровича Ганнибала, крестника и любимца Петра Великого, о происхождении которого и Александр Сергеевич упоминает в своих сочинениях, не отличался ни усердием к службе, как флотский офицер, ни правилами строгой нравственности. Велев жене просто убраться из дому, он оставил дочь у себя и сам тайно женился на Устинье Ермолаевне Толстой. Защитником Марьи Алексеевны выступил родной брат его Иван Абрамович, генерал-поручик, друг Орловых, герой Наваринской битвы, воспетый Александром в прекрасном его стихотворении «Мещанин», тот самый, которому воздвигнуты памятники, один императрицею Екатериною в Царском Селе с надписью: «Победам Ганнибала», а другой в городе Херсоне, которого он был основателем. Он приютил Марью Алексеевну у себя в деревне Суйде и дал жалобе ее законный ход. Дело кончилось совершенно в ее пользу. По суду, утвержденному императрицею, незаконный брак Осипа Абрамовича был расторгнут, малолетняя дочь Надежда Осиповна выдана матери, с назначением ей в приданое села Кобрина, а сам он сослан на житье в свое Михайловское. Там он и жил безвыездно, до самой смерти, последовавшей в 1806 году; в Захарове же никогда не бывал. (...) Опекунами малолетней Надежды Осиповны назначены были тот же покровитель Иван Абрамович и дядя, по матери, Михаил Алексеевич Пушкин. Первый из них был также крестным отцом Ольги Сергеевны; Александра же Сергеевича крестил граф Артемий Иванович Воронцов, женатый на двоюродной сестре Марьи Алексеевны, Прасковье Федоровне Квашиной-Самариной.

Иван Абрамович последнее время жизни провел в Петербурге, жил в собственном своем доме, на Литейной, где и умер. Прах его покоится в Невском монастыре.

Марья Алексеевна была ума светлого и по своему времени образованного; говорила и писала прекрас-

ным русским языком, которым так восхищался друг Александра Сергеевича, барон Дельвиг. По странной игре судьбы, она кончила дни в Михайловском и погребена в Святогорском монастыре, возле своего мужа, с которым при жизни была разлучена.

Святогорский монастырь, лежащий верстах в восьми от Михайловского, приняв впоследствии прах родителей Александра Сергеевича и его самого, сделался как бы родовым кладбищем. В окрестностях его разбросаны остатки обширных поместьев Абрама Петровича Ганнибала, которого потомки, мелкопоместные дворяне, скрываются теперь в неизвестности.

## 22

### А. Ю. Пушкин

#### ДЛЯ БИОГРАФИИ ПУШКИНА

(...) Бабка покойного Александра Сергеевича, Марья Алексеевна, жила при родителях своих Алексее Федоровиче и Сарре Юрьевне Пушкиных, Тамбовской губернии, Липецкого уезда, в селе Покровском, Кореневщина тож, доставшемся после их отцу моему Юрию Алексеевичу, а от него мне с сестрами. Липецк, от которого до Покровского 22 версты, тогда не был еще уездным городом, а просто именовался заводом; уездный же или воеводский город был тогда Сокольск, отстоящий от Липецка в 3-х верстах. В Липецке были чугунные заводы, устроенные государем императором Петром I, где отливались пушки для предполагаемого черноморского флота в Азове; заводы продолжались и при Екатерине II-й. Когда Липецк был сделан уездным городом, Осип Абрамович Ганнибал, служивший в Морской артиллерии капитаном, был послан в 1773 году в Липецк для осмотра завода; часто ездил в село Покровское к деду моему, сосватался и женился на Марье Алексеевне, от которой имел сына, умершего грудным, и дочь Надежду Осиповну, родившуюся в 1775 г.

Дед мой Алексей Федорович в 1777-м году кончил жизнь, а отец мой в 1778-м году женился и первым сыном его был я; Марья Алексеевна окрестила меня

и уехала в С.-Петербург к мужу своему, но там его не нашла, а узнала, что он в псковской своей вотчине, селе Михайловском, и намерен жениться на другой; она завела с ним тяжёлое дело, заинтересовавшее императрицу, которая кончила тяжбу тем, что не позволила Осипу Абрамовичу жениться от живой жены, а приказала из числа жалованного покойным императором Петром 1-м отцу Ганнибала Абраму Петровичу в 50-ти верстах от Петербурга при селе Суйде (доставшемся тогда генерал-майору Ивану Абрамовичу) деревню Кобрино, в трех верстах от Суйды, в числе ста душ, принадлежавшую Осипу Абрамовичу, отдать дочери его Надежде Осиповне на воспитание, под попечительство матери ее и под опеку генерал-майора Ивана Абрамовича Ганнибала, и дяди моего родного, служившего в С.-Петербурге статским советником, Михайла Алексеевича Пушкина, родного брата Марьи Алексеевны. Таким образом Марья Алексеевна поселилась в С.-Петербурге, купила в Преображенском полку дом, где и воспитывала Надежду Осиповну, а я с 1785 года находился в Сухопутном Кадетском Корпусе, почти всякую неделю по воскресеньям и в праздники бывал у них, и рос почти вместе с Надеждой Осиповной, которая, не имея родных братьев, любила меня, как родного.

Сергей Львович был нам по отцу своему внучатым братом; он служил тогда лейб-гвардии в Измайловском полку офицером и часто бывал у Марьи Алексеевны, а в 1796-м году, во время кончины императрицы Екатерины, женился на Надежде Осиповне; дом свой Марья Алексеевна продала и жила с зятем в Измайловском полку, где в 1797 году родилась у Сергея Львовича и у Надежды Осиповны дочь Ольга, ныне действительная статская советница Павлищева, а я в том же году выпущен из корпуса прапорщиком в Астраханский Гренадерский полк, стоявший в Москве, и отправился туда. В 1798-м году Сергей Львович вышел в отставку, переехал с семейством своим в Москву, и нанял дом княжен Щербатовых, близ Немецкой слободы, где в 1799-м году родился у них сын Александр; наш полк в то время был уже в походе, где я и получил об рождении Александра Сергеевича от сестры письмо, что он на память мою назван Александром; а я заочно был его восприемни-

ком. В конце того же года, возвратясь из похода в Москву, я уже Сергея Львовича с семейством не застал; они уехали к отцу своему Осипу Абрамовичу в Псковскую губернию в сельцо Михайловское, а Марья Алексеевна в Петербург для продажи деревни Кобрина (...)

Когда Марья Алексеевна Ганнибалова продала Кобринно г. Зилберезиной, то Ирину Родионовну и дочь ее Марью, воспитывавшуюся у родных своих,—из продажи исключила. Марья Алексеевна, продавши Кобринно, переехала в Москву, где Сергей Львович и Надежда Осиповна жили у Харитония в Огородниках, в доме графа Санти, а потом в том же приходе в доме кн. Федора Сергеевича Одоевского, и нанимала дом подле их, но жила все вместе с ними, а в квартире ее жили одни ее люди, где и я в 1806 году, в проезд свой в С.-Петербург, останавливался; но, возвратясь из С.-Петербурга в Москву, по приглашению сестры Надежды Осиповны, жил у них. Марья Алексеевна в том же 1806-м году купила у генеральши Тиньковой сельцо Захарово, куда я с ней ездил весною, и по желанию ее снял план с полей ее и уравнил их. Определяясь на службу в Московский почтамт в 1806-м году, я всегда находился у них, и при мне, в 1807-м году, получено было известие о кончине Осипа Абрамовича Ганнибала, после которого Надежда Осиповна получила в наследство Псковской губ. Опочковского уезда сельцо Михайловское, близ Святогорского монастыря, и Марья Алексеевна отправилась туда для принятия имения во владение (...)

1852

23

*М. Н. Макаров*

---

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН В ДЕТСТВЕ

Подле самого Яузского моста, то есть не переезжая его к Головинскому дворцу, почти на самой Яузе, в каком-то полукирпичном и полудеревянном доме жил Сергей Львович Пушкин, отец нашего знаменитого поэта,—и вот все гости, которые бывали тогда на

субботах графа Д. П. Бутурлина, бывали у Пушкина. Дом Бутурлиных и дом Пушкиных имели какую-то старинную связь, стену о стену, знакомство короткое; к этому же присоединилось и настоящее близкое соседство квартиры Пушкиных с домом графа Бутурлина; к этому же, то есть к заезду в одно время и к Пушкиным и к Бутурлиным, много способствовала даже и дальняя от гнезда московской аристократии (Поварской и Никитской с товарищами) Немецкая слобода (прибрежья Головинские) — и вот потому-то какой-нибудь житель Тверской улицы или Арбатской, не без пользы и для себя, и для коней своих, всегда рассчитывал, что, ехавши в Немецкую слободу к тому-то, кстати там же заехать еще и к тому-то, и к третьему. Да, Москва — дистанция огромного размера!.. <...>

Я обыкновенно посещал Сергея Львовича или с братом его Василием Львовичем, или еще чаще, ибо Василий Львович не всегда жил в Москве, с князем... или с Ст... ром...

Молодой Пушкин, как в эти дни мне казалось, был скромный ребенок; он очень понимал себя; но никогда не вмешивался в дела больших и почти вечно сиживал как-то в уголочке, а иногда стаивал, прижавшись к тому стулу, на котором угораздывался какой-нибудь добрый оратор, басенный эпиграммист, а еще чаще подле *какого же нибудь графчика чувств*; этот тоже читывал и проповедовал свое; и если там или сям, то есть у того или другого, вырывалось что-нибудь превыспренне-пиитическое, забавное для отрока, будущего поэта, он не воздерживался от улыбки. Видно, что и тут уж он очень хорошо знал цену поэзии.

Однажды точно, при подобном же случае, когда один поэт-моряк провозглашал торжественные свои стихи и где как-то пришлось:

И этот кортик,  
и этот чертик! —

Александр Сергеевич так громко захохотал, что Надежда Осиповна, мать поэта Пушкина, подала ему знак — и Александр Сергеевич нас оставил. Я спросил одного из моих приятелей, душою преданного настоящему чтецу: «Что случилось?» — «Да вот шалун, повеса!» — отвечал мне очень серьезно добряк-товарищ. Я улыбнулся этому замечанию, а живший у Бутурлиных ученый-француз Жиле дружески

пожал Пушкину руку и, оборотясь ко мне, сказал: «Чудное дитя! как он рано все начал понимать! Дай бог, чтобы этот ребенок жил и жил; вы увидите, что из него будет». Жиле хорошо разгадал будущее Пушкина; но его «дай бог» не дало *большой* жизни Александру Сергеевичу.

В теплый майский вечер мы сидели в московском саду графа Бутурлина; молодой Пушкин тут же резвился, как дитя, с детьми. Известный граф П... упомянул о даре стихотворства в Александре Сергеевиче. Графиня Анна Артемьевна (Бутурлина), необыкновенная женщина в светском обращении и приветливости, чтобы как-нибудь не огорчить молодого поэта, может быть нескромным словом о его пиитическом даре, обращалась с похвалою только к его полезным занятиям, но никак не хотела, чтоб он показывал нам свои стихи; зато множество живших у графини молодых девушек, иностранок и русских, почти тут же окружили Пушкина с своими альбомами и просили, чтоб он написал для них хоть что-нибудь. Певец-дитя смешался. Некто NN, желая поправить это замешательство, прочел детский катрен поэта, и прочел по-своему, как заметили тогда, по образцу высокой речи на о. Александр Сергеевич успел только сказать: «Ah, mon Dieu» \*,— и выбежал.

Я нашел его в огромной библиотеке графа Дмитрия Петровича; он разглядывал затылки сафьяновых фолиантов и был очень недоволен собою. Я подошел к нему и что-то сказал о книгах. Он отвечал мне: «Поверите ли, этот г. NN так меня озадачил, что я не понимаю даже и книжных затылков».

Вошел граф Дмитрий Петрович с детьми, чтоб показать им картинки какого-то фолианта. Пушкин присоединился к ним, но очень скоро ушел домой.

Через несколько лет после того, как одни начали толковать о молодом Пушкине, некоторые все еще не верили его дарованиям и очень нередко приписывали его стихотворения другим поэтам (так, по крайней мере, мне говорили о многих из его пьес), сам Мерзляков, наш учитель песни, не видал в Пушкине ничего классического, ничего университетского: а последняя беда для многих была горше первой.

1843.

\* О. господи (фр.)



# Глава вторая



1811 • 1815

В беспечных радостях, в живом очарованье,  
О дни весны моей, вы скоро утекли.  
Теките медленней в моем воспоминанье

1821

Тогда гроза двенадцатого года  
Еще спала. Еще Наполеон  
Не испытал великого народа...

1836

Одно из прозвищ греческого бога солнца Аполлона, покровителя искусств,— Аполлон Ликейский. На окраине Афин, в Ликее (Lykeion), помещался храм предводителя муз. Отсюда и происходит название того единственного в России учебного заведения, в котором воспитывался гений-покровитель всей последующей русской литературы, выведший ее на путь национального самосознания. Пушкин и его друзья чаще всего называли себя не лицеистами, а именно *лицейскими* (*ликейскими!*).

Расположенный в прекрасном дворце, возведенном В. В. Растрелли (лицейский флигель перестроен В. П. Стасовым), окруженный шедеврами античного искусства, памятниками русской военной славы, равно как и природной красотой царскосельского паркового ландшафта, Лицей и в самом деле мог стать идиллическим царством Поэзии и Знания. Здесь полюбил Пушкин «в багрец и золото одетые леса», шуршание красной и желтой осенней листвы. С тех пор осень стала его любимейшим творческим временем года. Но История и противоречия общественных отношений сделали утопической даже самую надежду на подобную идиллию. Объявляя свое повеление о создании Лицея, Александр I полагал сначала, что там будут обучаться и воспитываться его младшие братья Николай и Михаил. До этого они «просвещались» дома, но узнав, что мать (вдова Павла I) собирается отправить их обоих для продолжения образования в

Лейпциг, Александр усмотрел в этом некую скрытую угрозу. И повелел основать Лицей в Царском Селе. Только по стечению обстоятельств будущий самодержец всероссийский, «император-прапорщик» и душитель свободной мысли Николай I не стал школьным однокашником Пушкина. Первоначальный проект нового учебного заведения, составленный оригинальным мыслителем и государственным деятелем М. М. Сперанским, предусматривал прием в Лицей одаренных юношей *всех сословий*. «Училище сие образовано и устав написан мною, хотя и присвоили себе работу сию другие,— вспоминал Сперанский,— но без самолюбия скажу, что оно соединяет в себе несравненно более видов, нежели все наши университеты». По мере движения по инстанциям проект Сперанского основательно видоизменился: Лицей был осуществлен как закрытое учебное заведение для дворян, готовящихся к государственной службе. При этом, и смета, постепенно урезалась, и планы становились скромнее, и аристократический дух—без великих князей—в Лицее сменился скромностью, подчас чуть ли не спартанской. Скажем, Пушкин в лицейских стихах уподобляет свое обиталище келье монаха («Сквозь слез смотрю в решетки, // перебирая четки»). И в самом деле, комнаты лицейстов были шестиметровые, с половинкой окна (вторая — у соседа). Металлическая кровать, обшитая парусиной, конторка, комод, стул, кувшин с водой,— вот вся меблировка. На четвертый этаж плохо доходило тепло от печей, топившихся в первом. Спальни непосредственно не отапливались. Так что отнюдь не купались в роскоши Пушкин и его друзья-лицейсты 1-го выпуска, вошедшие сюда 19 октября 1811 года. Но кормили неплохо—каждый понедельник вывешивалось довольно разнообразное меню на неделю; и о здоровье заботились — был врач и лазарет на пять человек. Истина где-то посередине между воспоминаниями Корфа (№ 40) и представлением о Лицее, как об аристократическом учебном заведении.

Расплывчатые общие положения Устава позволили бы сделать из Лицея реакционную школу будущих карьеристов и бездушных чиновников. Но, к счастью, многое зависит от исполнителей инструкций, а не от их буквы. Между тем, бразды правления Лицеем были

вверены человеку одаренному, совестливому и умному — Василию Федоровичу Малиновскому. Это определило, отчасти по крайней мере, состав преподавателей. Среди наставников были люди образованные, чуждые казенщине и зубрежке, одержимые идеей свободомыслия и истинной любовью к отечеству. В отчете о 1-м годе обучения они с гордостью говорили о своих методах, когда каждая «истина математического, исторического или нравственного содержания предлагалась воспитанникам так, чтобы возбудить самостоятельность их ума и жажду дальнейшего познания, а все пышное, высокопарное, школьное совершенно удаляемо было от их познания и слуха». Возможно, это преувеличение, если говорить о всех педагогах, но некоторые безусловно вели занятия именно так. Расписание лекций и список дисциплин читатель узнает из документа № 9. Мы же расскажем об учителях Пушкина, сыгравших важнейшую роль в формировании его личности. Может быть, роль эта не всегда легко уловима, но поистине юный лицейский Пушкин был как губка, готовая впитать всю вселенную впечатлений, и роль учителей в его развитии неопценима. Он ведь и сам призвал к доброй памяти:

Наставникам, хранившим юность нашу,  
Всем честию, и мертвым, и живым,  
К устам подъяв признательную чашу,  
Не помня зла, за благо воздадим.

Начнем с первого директора, тем более что даже в 1950-х годах биографы Пушкина склонны были отзывать о нем весьма скептически. А ведь, когда Пушкин сказал: «и мертвым...», он прежде всего имел в виду Малиновского (правда, в 1836 г.— и Кошанского).

### «НАСТАВНИКАМ ... ЗА БЛАГО ВОЗДАДИМ»

*Василий Федорович Малиновский (1765—1814).* Происходил Малиновский из духовного звания. Отец его, протоиерей, Федор Авксентьевич служил при московском университете. Семья Малиновских

имела старинные связи с семьею Пушкиных. Один из братьев В. Ф. Малиновского был свидетелем на свадьбе родителей поэта. Василий Федорович закончил университет по философскому факультету, который включал тогда в программу не только собственно философию, но и естественные науки. Превосходно изучил он языки, в том числе греческий, древнееврейский, латынь, не говоря уж о новых европейских. Первым, кто повлиял на формирование общественных взглядов Малиновского, был знаменитый русский просветитель, книгоиздатель Н. И. Новиков. Борьба против деспотизма, за просвещенное правление, с юных лет стала любимой мыслью Малиновского. Изучив английский язык, он получил назначение в штат русской миссии в Англии. Два года, прошедшие в этой стране, запомнились, видно, надолго, поскольку даже в Лицее Малиновский любил рассказывать о быте и нравах британцев. В 1791 г. он женился на Софье Андреевне Самборской — дочери образованного и патриотически настроенного священника, от которой имел трех дочерей и трех сыновей. Едва возвратившись в Россию, был направлен на конгресс в Яссы, завершивший русско-турецкую войну, где, пользуясь своим отличным знанием турецкого языка, служил переводчиком. Затем наступил длительный (до 1800 г.) перерыв в службе Малиновского — способностями для захвата выгодных должностей он не обладал и ограничивался литературной работой. В 1800 г. был назначен консулом в Молдавию. Он исполнял эту должность так совестливо и так полезно, что молдаване его любили и уважали. Возвратился Малиновский оттуда столь же небогатым, каким был прежде — с единственным серебряным кубком, подаренным ему при отъезде, в то время как многие его коллеги вывозили из южных краев столько денег и шалей турецких, что покупали в России дома и поместья. Возвратившись к московской кабинетной жизни в 1802 г., Малиновский издавал журнал «Осенние вечера», в котором напечатал свои статьи «О войне», «Любовь России», «История России», «Своя сторона», кроме того, он выпустил в свет под инициалами В. М. начатые в Ричмонде «Рассуждения о войне и мире» — страстный пацифистский призыв.

В 1802 г. Малиновский обратился к канцлеру графу Кочубею с проектом «Об освобождении рабов». Пусть, по его мысли, крестьян следовало освободить без земельного надела, пусть даже пользоваться прежней землей могли они лишь по договоренности с помещиками и под контролем правительства, все равно подобные идеи могли в то время придти в голову лишь человеку смелой мысли и сострадающей беднякам души.

В Москве Малиновский был деятелен в Филантропическом комитете — он бесплатно директорствовал в доме трудолюбия, давшем приют 30 девицам бедного состояния. В этой скромной должности и в материальной нужде (при номинальной принадлежности к иностранной коллегии) застало его в 1809 г. известие об открытии в Царском Селе Лицея для знатнейших дворян (всё это потом несколько изменилось: «знатных» в Лицее собралось лишь несколько человек). В июне 1811 г. Василий Федорович получил официальное назначение и выехал к месту службы. К этому времени у него был, как мы теперь говорим, почти тридцатилетний стаж чиновничьей, педагогической и литературной работы. Он выбрал сослуживцев (важнейшая заслуга!) и приступил к перестройке дворцового флигеля, отведенного под Лицей, закупке утвари и т.п. Дальше события развивались стремительно. 11 июля объявление в «Санкт-Петербургских ведомостях» сообщало, что в «непродолжительном времени имеет быть прием воспитанников в Императорский Царскосельский Лицей». Пушкины собирают документы (№ 2—4), готовят «недоросля Александра» по опубликованной программе приемных испытаний и 16 июля отправляют — с богом и с дядей Василием Львовичем. Не позднее 1 августа — в этот день был медицинский осмотр — Пушкин знакомится с директором Лицея.

8—9 августа прошли приемные экзамены (№ 6), а 9 октября в Царское Село к Малиновскому приехали, чтобы на шесть лет поселиться в Лицее, несколько воспитанников. В их числе — Пушкин, сопровождаемый почтенным дядюшкой-поэтом. Они обедали в семье Василия Федоровича, а затем, простившись с родными, разместились в комнатах, заранее им

приготовленных на 4-м этаже лицейского флигеля. 13 октября Малиновский доложил министру, что все воспитанники собрались, что они и родные их довольны приемом и пребывают в отличном настроении; все лицеисты одеты в казенные сюртуки и обуты в казенные башмаки, «потому что многие из них приличной одежды не имели».

Много времени потратил Малиновский на подготовку речи, которую он должен был произнести в присутствии императора на торжественном акте открытия Лицея. Но речь никак не нравилась министру народного просвещения А. К. Разумовскому. Мало в ней было торжественности и совсем отсутствовала пышность. В конце концов Разумовский махнул рукой и повелел Малиновскому прочитать чужую речь, сочиненную для него в министерстве. На открытии Лицея 19 октября с этой речью все-таки вышел конфуз, описанный в воспоминаниях И. И. Пущина: «...робко выдвинулся вперед наш директор В. Ф. Малиновский со свертком в руке. Бледный как смерть, начал что-то читать; читал довольно долго, но вряд ли многие могли его слышать, так голос его был слаб и прерывист. Заметно было, что сидевшие в задних рядах начали перешептываться и прислоняться к спинкам кресел. Проявление не совсем ободрительное для оратора, который, кончивши речь свою, поклонился и еле живой возвратился на свое место. Мы, школьники, больше всех были рады, что он замолк: гости сидели, а мы должны были стоя слушать его и ничего не слышать». Любопытно, что этот фрагмент воспоминаний, опубликованный в 1859 г. в «Атенее», вызвал решительные возражения некоего автора, подписавшегося в «Русском инвалиде»: «первого курса лицеист». Он обиделся за Малиновского и вспомнил к случаю лицейские стишки о Пущине:

А наш Жанно  
Мильон bons mots \*  
Без умыслу пускает.

В воспоминаниях декабриста А. Е. Розена также находим ответ Пущину: «Товарищ мой И. И. Пущин,

\* Шутка, острое словцо (фр.).

воспитанник Лицея, в позднейших записках своих, напечатанных в Атене, описывая день открытия Лицея, выставил директора в крайнем смущении. Малиновский был необыкновенно скромен и проникнут важностью церемонии, в первый раз в жизни говорил с государем и должен был произнести речь, которая десятки раз была переправлена предварительною цензурою; так мудрено ли, что он был смущен и дивно ли, что природа не дала ему голоса лихого батальонного командира перед фронтом». Из всего этого следует только, что Малиновский был личною обаятельнейшей: ни чужих речей не умел читать; ни перед царем заискивать, а умел поставить порученное дело так, что за полтора века слава Лицея не померкла. Еще разрабатывая устав, Малиновский добился, чтобы строго-настрого запретили в Лицее телесные наказания. Это совершенно необычное для той поры установление было внесено в устав. Впоследствии Николай I ввел порку и для воспитанников Лицея — «в виде исключения», конечно.

Малиновский был для лицейских первого набора отцом родным, — без малейшего преувеличения. Он не бранил, не наказывал, не пугал — он ласково журил виноватого. Он не насиловал зубрежкой и не угрожал «мерами» — он выявлял способности и не «давил», если таковых не оказывалось. В его записной книжке под заголовком «О неустрашимости в бедах и твердости духа» значится: «Решимость разумного человека ни сколь не поколеблется от страха, что бы ни произошло». На другом листке он формулирует свой этический принцип: «Войну объявить лицемерию. Ценить выше малое внутреннее добро против великого наружного — даже уничтожить сие как полушку против фальшивой серебряной гривны, и пятак медный выше фальшивого рубля и червонца». Строже всего в Лицее относился он к своему сыну — Ивану и всегда готов был отстаивать правоту товарищей перед ним. Разве только в записной книжке, которую вел для одного себя, он мог поместить суждение о воспитанниках, не слишком лестное (о Пушкине, например). А в общении с ними он был мягок и ласков, навсегда запечатлев след добра в душе Пушкина. Даже слово «повеса», мелькающее в записях Малиновского о Пушкине, не стоит понимать как осуждение.

Тяжко сложилась директорская пора Малиновского. Сперва грянула война 1812 года, когда нужно было думать не столько об учении, сколько о прокормлении и безопасности воспитанников (№ 15). 26 ноября 1812 г. он докладывал министру: «Здоровье воспитанников сохраняется в вожделенном состоянии, больница почти всегда пуста. Прогулка, баня и хорошая пища сберегает их от расслабления и припадков. В доме наблюдается чистота и порядок». В том же 1812-м умерла жена Малиновского, оставив на его попечении малолетних детей. Горестно закончил свой путь этот, быть может, самый влиятельный из наставников Пушкина. «Безмерные и постоянные его труды, — пишет А. Е. Розен, — ослабили его зрение, расстроили его здоровье (...) в 1814 г., пробыв два года директором, скончался на месте должности, в такой бедности, что родной брат похоронил его...»

Несчастье налетело на Лицей внезапно, среди бела дня. 4 марта Василий Федорович еще председательствовал на Конференции (по-нынешнему — педсовете) Лицея. Обсуждались новые должностные инструкции директора, комнатных надзирателей, проект «Правил поведения воспитанников». 16-го началась у него «нервная горячка». 23 марта, благословив родных детей и детей приемных — лицейских и простившись с сослуживцами, скончался он на 49-м году жизни. В программе автобиографии Пушкина, отразившей самые важные события юности, — два слова: «Смерть Малиновского».

24 марта к 6 вечера у гроба директора собрался Лицей. Этот день навсегда запомнился Пушкину. Скажем о нем подробнее. Гроб вынесли из директорского дома и поставили на дроги. Перед ними чиновник нес орден покойного. Четыре служителя в черном платье вели лошадей, еще двое поддерживали гроб. За ними — отряд полицейских драгун; потом швейцар в траурном облачении. Далее строем шли воспитанники Лицея под присмотром надзирателя; потом — духовенство и церковный хор. Так двигалась процессия до царскосельской заставы, откуда гроб повезли в Петербург. На другой день в церкви Охтинского кладбища собрались министр Разумовский, все служащие Лицея и пятеро воспитанников, в их числе Александр



Пушкин. Здесь в час последнего прощания они с Иваном Малиновским поклялись в вечной дружбе. Медный крест, наклоненный к надломленной гранитной колонне — скромный памятник, поставленный на скудные средства осиротевшей семьи, — отметил могилу лицейского директора на Охтинском кладбище. К 150-летию Лицея долголетний директор лицейского музея и редкий знаток пушкинского времени Маргарита Петровна Руденская отыскала заброшенную могилу Малиновского и добилась установления там мемориальной доски.

\* \* \*

*Александр Петрович Куницын (1783—1840)* был самым вольнодумным, самым образованным, самым смелым, а, возможно, и самым одаренным из лицейских педагогов. Неверно только говорить, что был он самым любимым. Симпатии лицеистов были безоговорочно отданы В. Ф. Малиновскому, А. И. Галичу, отчасти Н. Ф. Кошанскому, де Будри, а позже многие (но не Пушкин!) полюбили нового директора Е. А. Энгельгардта. Куницын бывал суховат, резок с глупцами, невеждами и лентяями, не прочь подчас действовать «волевыми» методами, т. е., попросту говоря, заставить вызубрить из своих лекций то, что ученикам послабее логически усвоить не удавалось. Когда Пушкин в 1825 г. возвращался душой и мыслью к 1811-му и вспоминал Куницына:

Куницыну дань сердца и вина!  
Он создал нас, он воспитал наш пламень,  
Поставлен им краеугольный камень,  
Им чистая лампада возжена...

то прежде всего он имел в виду великие принципы вольнолюбия, ненависти к деспотизму, духовной и нравственной свободы, которые внушил своим питомцам Александр Петрович. Этот краеугольный камень для Пушкина оказался воистину неразрушим. Личные же отношения лицейских с Куницыным были довольно далекими и большого значения не имели...

Родился Александр Петрович в селе Кой Кашинского уезда Тверской губернии. Первоначальное

образование получил в духовном училище того же уезда и в Тверской семинарии. Успехи его были награждены зачислением в Педагогический институт в Санкт-Петербурге в 1803 г.; как одного из лучших студентов Куницына отправили в Геттинген, где другом его и однокашником стал будущий декабрист и теоретик декабризма Николай Иванович Тургенев. Геттингеном Куницын не ограничился: он слушал юристов и дипломатов в Парижском университете и в Гейдельберге и возвратился домой в начале 1811 г. с огромным запасом сведений, собственных мыслей и с молодым жаром свободолюбия, теоретически обоснованного. Сразу же он был утвержден адъюнкт\*-профессором нравственных наук в Царскосельский Лицей. Занятия он, как и профессор географии и истории Кайданов, начал даже до официального открытия Лицея — 10 октября. Новое во всех отношениях учреждение получило нового во всех отношениях профессора, полного страстного стремления к действительному, а не бумажно-формальному просвещению юношества. Когда Куницыну поручили произнести вступительную речь-лекцию на торжественном открытии Лицея, он приготовил ее по всем правилам ораторского искусства и вложил в нее весь пыл своей веры в просвещение, в торжество свободной мысли, а если чуть-чуть вчитаться, то и своей ненависти к тиранам. При этом у молодого Куницына был звенящий ораторский голос, и речь его не могла не наэлектризовать атмосферу. Правда, легко возразить: для кого блистал красноречием Куницын? Для царя? Тот от ораторских речей ни на шаг не сдвинется, а лишь примет решение: то ли похвалить, то ли устранить оратора (в данном случае похвалил). Для 11—13-летних малышей — не студентов, а школьников? Оратор обращался именно к ним, но они, казалось, ведь не способны были тогда еще понять столь сложной речи. Вот здесь, видимо, ошибка. Кое-кто из лицеистов, может быть, в самом деле ничего не понял. Но в том строю стояли Пушкин, Кюхельбекер, Пущин, Горчаков — талантливые отроки, готовые воспринимать умное слово и логику развития мысли уже в 1811 году!

\* Нечто вроде «пом»-профессора или и.о. профессора.

Пуцин вспоминал: «Смело, бодро выступил профессор политических наук А. П. Куницын и начал не читать, а говорить об обязанностях гражданина и воина. Публика при появлении нового оратора, под влиянием предшествовавшего впечатления (т. е. речи Малиновского.— В. К.), испугалась и вооружилась терпением; но по мере того как раздавался его чистый, звучный и внятный голос, все оживились, и к концу его замечательной речи слушатели уже не были опрокинуты к спинкам кресел, а в наклонном положении к говорившему: верный знак общего внимания и одобрения! В продолжение всей речи ни разу не было упомянуто о государе...» Впечатление было огромное. Оно осталось до конца дней — не только у Пуцина, но и у Пушкина:

Вы помните: когда возник Лицей,  
Как царь для нас открыл чертог царицын,  
И мы пришли. И встретил нас Куницын  
Приветствием меж царственных гостей.

К счастью, речь Куницына сохранилась. Мы печатаем ее почти полностью (№ 7).

Курс лицейских лекций Куницына охватывал двенадцать циклов: логика, психология, этика, право естественное, право народное, право гражданское русское, право уголовное, финансовое и т. д. Все это составляло своего рода единство, ибо, по Куницыну, «наука только тогда имеет совершенный вид, когда все положения оной составляют непрерывную цепь и одно объясняется достаточно другим». Здесь были и начатки политической экономики, и анализ пороков крепостничества. «Крепостной человек,— отмечал Куницын, явно не ограничиваясь теоретической постановкой вопроса,— не имеет никакой собственности, ибо сам он не себе принадлежит. Не ему принадлежит дом, в котором он живет, скот, который он содержит, одежда, которую он носит, хлеб, которым он питается». Куницын не любил приводить конкретные факты и примеры: он считал, что сами тезисы его есть обобщение фактов, которые как бы оставались за кадром, составляя некий невидимый фундамент освобожденной теоретической мысли. Если говорить о центральной идее всех занятий Куницына, то она просматривается легко: человек рожден не для

подчинения тиранам, а для разумной, свободной жизни. В самом начале курса «Изображение политических наук» Куницын заявил: «Граждане независимые делаются подданными и состоят под законами верховной власти: но сие подданство не есть состояние кабалы. Люди, вступая в общество, желают свободы и благосостояния, а не рабства и нищеты; они подвергаются верховной власти на том только условии, чтобы она избирала и употребляла средства для их безопасности и благосостояния; они предлагают свои силы в распоряжение общества, но с тем только, чтобы они обращены были на общую, и, следовательно также, на их собственную пользу».

Исследователи давно подметили, что некоторые положения лекций Куницына непосредственно отразились в самом раннем лицейском творчестве Пушкина. Например, излюбленная мысль Куницына: «Каждое управление законно, которое учреждается законным образом». А вот из «Бовы» (1814)

Царь Дадон венец со скипетром  
Не прямой достал дорогою,  
Но убив царя законного

Вряд ли Пушкин здесь намекал на сомнительный путь к власти Александра I — участника заговора против отца. Естественнее другое — перед нами прямой след лекций Куницына. Еще пример. У Куницына: «Когда употребляется кто-либо от своевластия к другим целям, а не для цели государства; то таковое злоупотребление верховной власти называется тиранством». У Пушкина:

Царь Дадон не Слабоумного  
Был достоин злого прозвища,  
Но тирана неусьпного

Ненавистью к тиранству, столь полно проявившейся на всех этапах творчества Пушкина, поэт в начале жизни обязан именно Куницыну. Чуть позже Лицея, в оде «Вольность» читается едва ли не прямое переложение лекций Куницына (во многом близких политической программе Н. И. Тургенева. См. гл. IV).

Всякий раз убеждаешься в точности и конкретности слов Пушкина: «чистая лампада» добра и правды

была возжена Куницыным! Однако все же создается впечатление, что Пушкин оценил Куницына по достоинству несколько позже встречи с ним. На первых курсах даровитейший лектор и талантливейший ученик существовали как бы в разных плоскостях. 19 ноября 1812 г., к примеру, Куницын составил «Список воспитанников Лицея с показанием их способностей, прилежания и успехов по логике и нравственной философии». Пушкину отведено там только 19-е место. 1 февраля 1814 г. составлена аттестация воспитанников почти за два года, в которой Куницын с излишней категоричностью (вообще ему присущей) судит о Пушкине: «Он способен только к таким предметам, которые требуют малого напряжения, а потому успехи его очень не велики, особливо по части логики». С логикой у Пушкина, как мы знаем, оказалось все в порядке. Близкие отношения, таким образом, не завязались. Но это объясняется исключительно характером Александра Петровича — он был чужд эмоций, холоден и рассудочен. Однако и этот вывод не безусловен. Человек очень близкий к Пушкину, П. А. Плетнев, например, считал, что Куницын «при уме быстром, пронизательном, обогащенном разнообразными познаниями, отличался характером твердым и благородным». Тот же Плетнев писал о Пушкине: «Природа, кроме поэтического таланта, наградила его изумительной памятью и пронизательностью. Ни одно чтение, ни один разговор, ни одна минута размышления не пропадали для него на целую жизнь. Его голова, как хранилище разнообразных сокровищ, полна была материалами для предприятий всякого рода. По-видимому рассеянный и невнимательный, он из преподавания своих профессоров уносил более, нежели товарищи». Куницын не понял, что рассеяние Пушкина только видимое, и в Лицее они не сошлись.

Через два года после окончания Пушкиным Лицея — в 1819 г. — Н. И. Тургенев и А. П. Куницын задумали организацию вольного общества при Союзе благоденствия для издания журнала «Россиянин XIX века». Сохранился черновой список предполагаемых членов общества — среди них Пушкин. Как писал П. А. Плетнев, поэт «о лекциях Куницына вспоминал всегда с восхищением и лично к нему до смерти своей

сохранил неизменное уважение». На сей счет имеется и собственноручный пушкинский документ. 11 января 1835 г. Пушкин подарил лицейскому профессору свой исторический труд — «Историю Пугачева» с надписью: «Александр Петровичу Куницыну от Автора в знак глубокого уважения и благодарности»...

Единого учебного пособия по нравственным наукам не существовало. Куницын вынужден был давать ученикам переписывать свои лекции, заполненные высказываниями Монтескье, Канта, Адама Смита. Это было неудобно и трудоемко. Вот почему в 1816 г. Куницын подал письменное прошение в Конференцию Лицея с просьбой взаимообразно ссудить его средствами для напечатания рукописи, систематизирующей «обозрение связи политических наук». Долг свой Лицею он собирался возратить «доставлением воспитанникам Лицея и благородного пансиона потребного числа книг». Деньги были даны, и в 1817 г. вышло в свет «Краткое изображение взаимной связи государственных сведений». В 1818 и 1819 гг. вышли два тома «Право естественное, частное и публичное», в 1819 г. «Разные литературные, до наук, относящиеся статьи...» В этих книгах были все те же положения, прорвавшиеся через цензурное сито: «Сохранение свободы есть общая цель всех людей, которую могут они достигнуть только соблюдением взаимных прав и точным исполнением обязанностей... Каждый человек внутренне свободен и зависит только от законов разума, и потому другие люди не должны употреблять его средством для своих целей. Кто нарушает свободу другого, то поступает противу его природы; и, как природа людей, несмотря на различия их состояния, одинакова, то всякое нападение, чинимое несправедливо на человека, возбуждает в нас негодование. Сие служит доказательством тому, что справедливость людям естественна». («Право естественное»).

В 1820 г. Куницын покинул Лицей, получив кафедру во вновь созданном Петербургском университете и должность начальника учебного отделения в дежурстве Пажеского и Кадетского корпусов.

Книгу Куницына «Право естественное» встретили одобрительно — даже собирались поднести в дар императору. Но в 1820—1821 гг. все переменялось:

в университете и в министерстве просвещения возобладали силы реакционные и люди бездарные (что, как правило, совпадает): М. Л. Магницкий, Д. П. Рунич, Д. А. Кавелин, И. С. Лаваль. Был учинен настоящий разгром университета, и в центре внимания (иначе и быть не могло) оказалась книга Куницына.

А. И. Тургенев писал Вяземскому 30 марта 1821 г.: «Один из наших арзамасцев, Кавелин сделался совершенным паясом паяса Магницкого: кидает своей грязью в убитого Куницына, обвиняет его в своей вине, то есть в том, что взбунтовались ученики его пансиона (Благородного пансиона при Главном педагогическом институте. — В. К.) и утверждает, что политическую экономию должно основать на евангелии».

На заседании Ученого комитета Д. П. Рунич говорил, что книга «Право естественное» по духу ее и учению не просто опасна, но и разрушительна, ибо она есть не что иное, как «сбор пагубных лжеумствований, которые, к несчастью довольно известный Руссо ввел в моду и кои взволновали и еще волнуют горячие головы поборников прав человека и гражданина». Как образец, послуживший Куницыну, был помянут — ни больше ни меньше — Марат, «искренний и практический последователь этой науки». Мракобес Магницкий жаловался в 1823 г. министру духовных дел и народного просвещения, что «в профессоре Куницыне справедливо устрашал нас в свое время нечестивый догмат Марата: «власть державная получает свое начало от народа». Вот откуда в «Послании цензору» (1822) точного в деталях Пушкина появились строки:

А ты, глупец и трус, что делаешь ты с нами?  
Где должно б умствовать, ты хлопаешь глазами;  
Не понимая нас, мараешь и дерешь;  
Ты черным белое по прыхоти зовешь:  
Сатиру пасквилем, поэзию развратом,  
Глас правды мятежом, Куницына Маратом.

В 1821 г. появилось и официальное постановление о книге Куницына: «По принятым за основание ложным началам и выводимому из них весьма вредному учению, противоречащему истинам христианства и клонящимся к ниспровержению всех связей семейственных и государственных, книгу сию, как вредную,

запретить повсюду к преподаванию по ней и притом принять меры к прекращению во всех учебных заведениях преподавания естественного права по началам столь разрушительным, каковы оказались в книге Куницына». Весь тираж (1000 экз.) был изъят у книгопродавцев и даже у частных лиц и сожжен, а сам Александр Петрович уволен со всех постов в министерстве просвещения. Некоторое время он жил частными лекциями, которые в числе прочих слушали будущие декабристы: Пестель, братья Муравьевы, Поджио, Федор Глинка...

Куницын болезненно пережил удар. Было два дальнейших пути. Один — пойти по пути практического воплощения самых радикальных из высказанных им мыслей, т. е. примкнуть к декабристам. Второй — промолчать и, не меняя взглядов, изменить форму их выражения. Куницын выбрал второй путь. Не отступившись, он и не высказывал оппозиционных суждений. Постепенно возвращалась возможность служить. С 1826 участвовал в составлении и напечатании Полного собрания законов (2-ю и 3-ю книги гражданских законов составлял лично); в 30-х годах собирал духовные узаконения, закончив эту работу к 1836 г.; в 1838 стал председателем комитета по надзору за печатанием Полного собрания законов; наконец, в 1838 г. получил относительно высокий пост директора департамента духовных дел иностранных вероисповеданий. «1 июля 1840 г., — говорится в некрологе А. П. Куницына, — внезапный удар прервал его 30-летнюю деятельность». Куницын никогда не имел семьи. Оплакали и похоронили его друзья.

Последний, «официозный» период не затмил того важного и полезного, что совершил Александр Петрович в Лицее и сразу после него. Верно сказал второй директор Лицея Е. А. Энгельгардт в письме к лицеисту адмиралу Матюшкину: «А. Куницын умел учить и добру учил». В формировании мировоззрения Пушкина его наука сыграла огромную роль.

\* \* \*

*Николай Федорович Кошанский (1781—1831).* Если Куницын образовал ум и нравственные устои лицеиста Пушкина, то Кошанский был первым, кто



расширил его познания в античной филологии и в русской словесности. Когда П. А. Плетнев однажды в стихах спросил друга и соученика Пушкина Антона Дельвига: «О, Дельвиг, где учился ты языку богов», Дельвиг шутя ответил: «У Кошанского». В этой шутке доля правды велика. Несомненно Кошанский способствовал появлению великого национального поэта в России.

Воздадим же ему «за благо» коротким биографическим рассказом.

Сын обедневшего московского дворянина, не сохранившего ни имения, ни крепостных, Кошанский усердием и способностями получил отменное образование, овладев в совершенстве языками древнеславянским, французским, латинским, греческим, английским. Кошанский закончил Московский университет сразу по двум факультетам — философскому и юридическому.

Он вступил на литературную стезю как раз в то время, когда в Москве, переезжая из Немецкой слободы к Харитонью, с Молчановки на Арбат, рос и развивался его будущий гениальный ученик. Но круг Кошанского (в отличие от Малиновского) был далек от светских знакомых Сергея Львовича Пушкина.

В 1800—1804 г. Николай Федорович в основном переводил с французского галантные романы, да сотрудничал в журнале «Новости русской литературы». В 1805 г. он выпустил в свет «Таблицы латинской грамматики», в 1806 г. — «Начальные правила российской грамматики». В 1805 г. сдал он экзамен на степень магистра философии и, успев по поручению попечителя университета просвещенного Михаила Никитовича Муравьева перевести знаменитую археологию Миллена, собрался для совершенствования познаний в чужие края. Он имел в виду изучать археологию и изящные искусства в Италии и укрепляться в различных языках, приготавливаясь к профессорскому званию. Поездка эта не осуществилась из-за политических бурь в Европе. Пришлось Кошанскому ограничиться изучением художественных сокровищ Петербурга.

Высокий, стройный, с приятными чертами лица, мягкостью и торжественностью голоса, приветливо-

стью во взгляде при разнообразии и глубине познаний, он словно создан был для профессорской кафедры. Многие мемуаристы свидетельствуют, что таков вообще был тогда тип московской профессуры.

В 1807 г. Кошанский, выдержав экзамен на звание доктора философии, выпустил в свет и свой самый значительный труд того времени: «Руководство к познанию древностей по Милленю, в пользу учащихся при московском университете» — первое практическое руководство на русском языке для изучения эпохи античности. Работоспособность молодого Кошанского исключительна: одновременно он преподает в высших классах московской гимназии, в Екатерининском институте; служит секретарем при цензурном комитете и в комитете испытаний для получения чиновничьих классов. Все это не мешало ему сотрудничать в «Вестнике Европы» и «Русском вестнике», «Московских ведомостях» — писать стихи и выполнять переводы. В те же годы выходили переиздания его латинских и русских грамматик, а к 1811 г. подготовлена и напечатана новая прекрасная работа «Цветы греческой поэзии, с текстом, сравненным и исправленным, с замечаниями и объяснениями историческими, критическими, эстетическими, и с российским переводом».

С таким вот багажом прибыл Кошанский в Лицей. Собственно, прослышав о новом начинании в Царском Селе, он сам туда попросился. Он писал министру Разумовскому: «...Дерзаю поручить колеблющуюся судьбу мою в высокое покровительство вашего сиятельства. Воспитываясь с юных лет в Московском университете, проходил я все ученые степени по должному испытанию и, занимаясь наукой, не помышлял об участи. С 1806 г., произведен будучи доктором философии, посвятил себя по назначению совета и по склонности моей, теории изящных искусств, собирал сведения, издавал некоторые опыты занятий и никакого счастья не желал более, как быть полезным месту моего образования. Ныне, оставаясь в бездействии для университета (там не оказалось вакансий. — В. К.) и видя перед собою мрачную неизвестность, я страшусь будущего. Быть может, судьба повлечет меня на другое поприще, новое и сомнитель-

ное. Сие состояние неизвестности осмеливает меня прибегнуть к Высокому покровителю российских муз и ласкать себя надеждою, что Ваше сиятельство, положив основание моему счастью, и довершит оное». После этого витиеватого образца эпистолярного красноречия Кошанскому было отдано предпочтение перед другими кандидатами в замещении кафедры латинского и русского языков. К чести Кошанского — лицейское его жалованье было вдвое меньше того, что он в общей сложности зарабатывал на своих прежних должностях.

17 августа 1811 г. молодой преподаватель Лицея был уже на новом месте и принялся деятельно помогать директору во всех хлопотах. Он закупал в Петербурге книги для классов; составлял расписание занятий для профессоров и воспитанников. Избранный секретарем профессорской конференции, Кошанский стал по существу, если применить современный термин, заведующим учебной частью Лицея. В первые два-три года перед профессором русской и латинской словесности стояла нелегкая (так до конца и не выполненная) задача как-то уравнивать знания воспитанников, поскольку разрыв между Пушкиным и, скажем, Данзасом был слишком велик. Кошанский принялся за начальные правила, не убоившись зевоты лучших учеников. Однако сразу же начались и увлекательные чтения вслух лучших образцов русских стихов и прозы; и даже делались попытки вовлечь воспитанников в сочинительство. Иной раз Кошанский вводил в текст лекции короткие притчи и рассказы собственного сочинения, занимавшие слушателей. Вот скажем, история, где даже прославление монарха отнюдь не заслоняет общей благородной мысли. «Государь, прогуливаясь в Царском Селе вокруг большого пруда, заметил, что лебеди играют, плещутся в воде и хотят лететь, но летать не могут. Он позвал садовника и спросил: что это значит? — Лебеди летать не могут, государь, у них обрезаны по одному крылу, чтобы не разлетелись. — Этого не делать, — сказал (будто бы) Александр I, — когда им хорошо, они сами здесь жить будут; а дурно — пусть летят куда хотят. — После сего большая часть лебедей разлетелась в Павловск и в Гатчину, но к осени

действительно почти все возвратились». Здесь есть и поэзия, и нравственный урок, показывающие направление мыслей Кошанского.

Все лицейские годы Кошанский отдавал много сил подготовке учебников для практических занятий по латинскому языку и книг для чтения.

В 1812 г. вышли в свет «Басни Федра с исправленным оригиналом и замечаниями»; в 1814 г. он переиздает свою давнюю латинскую грамматику (она выдержала еще 9 изданий); в 1815 г. появился знаменитый, любимый Пушкиным «Корнелий Непот. Жизни славных мужей Греции, очищенный текст с замечаниями и двумя словарями». Наконец, в 1816—1817 гг. Кошанский собрал и напечатал материалы лекций, которые читал лицеистам: «Ручная книга Древней классической словесности, содержащая I Археологию, II Обзорение классических авторов, III Мифологию, IV Древности греческие и римские...»

Беспрестанно цитируя Пушкина: «Мы все учились понемногу // чему-нибудь и как-нибудь» и его же фразу о «недостатках проклятого моего воспитания» (из письма к брату), мы подчас понимаем слова поэта слишком прямолинейно. Нет, Пушкин не кокетничал, об этом и речи быть не может, но он, как всякий другой, негодовал на *собственную* леность в юности, сожалел об утраченных возможностях еще более глубокого познания и систематического учения. Он имел все основания многое получить от лицейских учителей, да и получил в сущности. Достаточно вспомнить, например, его полную осведомленность в античных сюжетах или в славяно-росских древностях. Тем, что он стал одним из образованнейших людей века, Пушкин обязан не только собственной гениальности и самообразованию, но и Лицею, а в нем прежде всего Куницыну и Кошанскому.

Отношение Кошанского к Пушкину было отнюдь не безоблачно положительным в первые лицейские годы (№ 10). Почитайте внимательно эту характеристику и вы убедитесь, что Кошанский кое-что уловил верно. Ведь это было время, когда Пушкин, по собственному признанию, «поэме редкой не предпочел бы мячик меткой». И если в дальнейшем появилась некая «полоса отчуждения» между ними, отразившаяся в

стихотворении «Моему Аристарху» (№ 36), то это связано с принципиально разными установками в области словесности и с юным задором Пушкина. Кошанский был «классик и педант», он стремился научить лицейстов *правилам стихосложения* и не догадывался, что один из них Гений, который выше всяких правил. Много позже в «Общей реторике» (1829) Кошанский так и напишет о пушкинской строке: «Это стих гения», но ни в 1811-м, ни в 1814-м он бы еще этого не сказал. Вспомним, что ставшее нарицательным имя Аристарх подразумевает критика серьезного, оппонента опасного. «Аристарх» — Кошанский требовал сочинительства по правилам и священного трепета перед законами стиха, а гениальный юноша ему отвечал:

Не думай, цензор мой утрюмый,  
Что я, беснуясь по ночам,  
Окован стихотворной думой,  
Покою жертвую стихам;  
Что, бегая по всем углам,  
Ерошу волосы клоками...

Иначе говоря, солидность и строгость учителя вошли в естественное противоречие с беспечностью и озорством ученика. Но разве бесполезна была строгость?

Систематичность в обучении — вообще характерная черта Кошанского-педагога. Уже 15 марта 1812 г. он написал в отчете: «Из латинской грамматики пройдено: склонения, роды имен и спряжения правильных глаголов. Из российской: повторена этимология и весь синтаксис, причем каждое правило объясняемо было приличными и сообразными с их понятием примерами». Может быть примеры были не всегда сообразны с «их» — воспитанников — тогдашними представлениями, но тем, кто хотел знать и умел учиться, образование давалось преотличное. 19 ноября 1812 г. Кошанский продолжает свой отчет: «Из российской грамматики пройдено: сочинение (*syntaxis*) и ударение (*prosodia*). По части словесности читаны избранные места из од Ломоносова и Державина и лучшие из басен Хемницера, Дмитриева и Крылова. Сие чтение сопровождается было приличным разбором, сообразным с летами и понятием воспитанников. Лучшие из стихотворений выучивае-

мы были наизусть. Из риторики показаны основания периодов и различные роды их сопряжений с лучшими примерами. По части латинской: повторены спряжения правильных глаголов, делаем был грамматический разбор и приступлено к самым легким переводам». В составленном Кошанским списке воспитанников по успехам Пушкин занимает 19-е место. Однако с годами в классе Кошанского Пушкин поднимался все выше: 15 декабря 1813 г. он был уже 14-м. Да это и естественно, поскольку усложнялась программа: «В российском классе пройдено: 1-е: О слоге и родах его; 2-е: О достоинствах и недостатках слога; 3-е: Славянская грамматика; сверх сего гг. воспитанники делали опыты в сочинении небольших рассуждений. В латинском прочтена жизнь Мильтиада из Корнелия Непота, читаны правила синтаксиса и деланы переводы».

Когда умер Малиновский, место его, в соответствии с лицейской иерархией, было временно предоставлено Кошанскому. Но уже в начале мая Николай Федорович, заболевший «нервною горячкою», вынужден был на долгое время оставить Лицей. Брат перевез его в Петербург для лечения (Кошанский никогда не был женат и прожил жизнь одиноко). Болезнь его, вызванная излишним, в разные времена столь распространенным поклонением богу Бахусу, продолжалась полтора года. Только в декабре 1815 г. он возвратился к занятиям. В его отсутствие лицеисты пережили трудное время «междоцарствия» или «безначалия», утешаясь, правда, тем, что на кафедре российской и латинской словесности Кошанского заменил добрейший Александр Иванович Галич. О нем речь впереди, а сейчас скажем лишь, что если Пушкин-лицеист недооценивал Кошанского, споря с ним стихами и поведением в классе, то Пушкин-поэт вспоминал о нем с благодарностью (например в неоконченной статье о Дельвиге в начале 1830-х годов).

Кошанский выпустил своих первых учеников и прослужил в Лицее до 1828 г. Лицеисты последующих выпусков, готовясь к лекциям Кошанского, упрашивали его привезти с собою из Петербурга какое-нибудь новое произведение Пушкина и почитать им вслух вместо занятий скучной латынью. Просьба никогда не встречала отказа.

Историк Лицея и его выпускник Я. К. Грот рассказывает: «Читать с воспитанниками Пушкина еще не было принято и в Лицее; его мы читали сами иногда во время классов, украдкой. Тем не менее однако ж Кошанский раз привез нам на лекцию только что полученную от товарищей Пушкина рукопись 19 октября 1825 года («Роняет лес багряный свой убор») и прочел нам это стихотворение с особенным чувством, прибавляя к каждой строфе свои пояснения. Только там, где речь шла о заблуждениях поэта, он довольствовался многозначительной мимикой, которая вообще входила в его приемы. Особенно при стихах: «Наставникам, хранившим юность нашу... Не помня зла, за благо воздадим», он дал нам почувствовать, что и Пушкин не во всем заслуживает подражания. Легко понять, какое впечатление произвел на нас профессор этим чтением. После урока мы принялись переписывать драгоценные стихи о родном Лицее и тотчас выучили их наизусть».

Перед нами трогательное доказательство того, что строки о наставниках, пусть и не во всем соглашаясь с поэтом, прочитал один из них. Хрестоматийные теперь стихи здесь оказываются живым поклоном ученика учителю.

Видно, Николай Федорович помягчел с годами и душевно полюбил творения своего нерадивого ученика и «поэтического оппонента». Есть и другие доказательства его любви и преклонения перед Пушкиным. Все последние годы жизни работал он над учебниками «Общая реторика» и «Частная реторика». В «Общей реторике» (первое издание — 1829 г., второе — 1830 г.) как единственный поэтический пример «плавности слога» автор приводит надпись Пушкина к портрету Жуковского:

Его стихов пленительная сладость  
Пройдет веков завистливую даль,  
И внемля им, вздохнет о славе младость,  
Утешится безмолвная печаль  
И резвая задумается радость

и комментирует так: «третий стих — живое чувство пылкой юности; четвертый стих трогателен как поэзия Жуковского, а пятый стих так пленителен своею

плавностию, и так ярко освещен прелестию идей и правдой, что нельзя не назвать его стихом гения».

«Реторики» были единственной гордостью и радостью Кошанского. «Общую реторику» он еще увидел в печати, «Частную...» — нет. Мнения об этих учебниках теории литературы высказывались противоречивые, но одно не подлежит сомнению: учитель Пушкина был знающим и преданным своему делу человеком.

В 1823 г. Кошанский был, помимо Лицея, назначен в Комитет для рассмотрения учебных книг. В 1828 г. он вышел в отставку с полным пенсионом за выслугу 25 лет. Тогда же принял он на себя обязанности по Императорскому человеколюбивому обществу, став Директором института слепых на Литейной ул. в Петербурге. При институте он и жил. Скончался Николай Федорович Кошанский от холеры 22 декабря 1831 г., во время эпидемии. Он похоронен на Смоленском кладбище.

\* \* \*

*Александр Иванович Галич (1783—1848)*. Это был особого рода учитель. Если Кошанский и Куницын соблюдали некую дистанцию в обращении с лицейскими, оставаясь наставниками, а не друзьями их, то Галич держался как добрый товарищ и даже опускался до панибратства и полного растворения в жизни своих приятелей-учеников. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть два послания Пушкина к Галичу.

В 1815 г. Пушкин обращался к нему:

Тебя зову, мудрец ленивый,  
В приют поэзии счастливый,  
Под отдаленный неги кров.  
Давно в моем уединенье,  
В кругу бутылок и друзей,  
Не зрели кружки мы твоей,  
Подруги долгих наслаждений  
Острот и хохота гостей.

.....  
О Галич, Галич! поспешай!  
Тебя зовут и сон ленивый,  
И друг ни скромный, ни спесивый,  
И кубок, полный через край!

Лицейские пиры были довольно скромными и не нужно думать, что строй бутылок оказывался



таким уж длинным. Но Галича из Петербурга всегда ждали с нетерпением. У него в комнате и происходили шумные собрания лицейских питомцев муз — это помогало избежать надзора.

Однако не только в шумной компании, но и в душевной беседе Галич был незаменим:

Один в каморке тесной  
Вечерней тишиной  
Хочу, мудрец любезный,  
Беседовать с тобой.

.....  
Беги, беги столицы,  
О Галич мой, сюда!  
Здесь, розовой денницы  
Не видя никогда,  
Ленясь под одеялом,  
С Тибурским мудрецом  
Мы часто за бокалом  
Проснемся — и заснем.

Тибурский мудрец — это Гораций. Так что совместные чтения и легкие беседы весьма характерны для занятий Галича с лицейскими... Бывший лицеист, адмирал Ф.Ф. Матюшкин вспоминал, как Галич «обыкновенно привозил с собою какую-нибудь полезную книгу и заставлял при себе одного из воспитанников читать ее вслух...».

Родился будущий адъюнкт-профессор Лицея Галич в Трубчевске Орловской губернии. Дед его — приходский священник, отец — дьячок. Настоящая фамилия их Говоровы, но в семинарии был обычаем менять фамилии и Александр Иванович сперва стал Никифоровым, а потом — уже в Педагогическом институте — Галичем. В 1803 г., закончив семинарию, он отправился на медные отцовские деньги в петербургскую Учительскую гимназию, которая и стала несколько лет спустя Педагогическим институтом. В 1808 г., имея в виду создание в ближайшие годы Петербургского университета, решили послать за рубежи для приготовления к профессорскому званию нескольких лучших студентов — среди них оказались и два будущих лицейских педагога: латинист и русист Галич и математик Карцов. Впитывая в Гельмштадте и Геттингене (где жил целый год) философию

любимого своего Шеллинга, Галич помышлял о долгом европейском путешествии. И действительно, при первой возможности, он с товарищем пешком отправился в путь, обойдя старым способом Уленшпигеля Австрию, Францию, Англию; нуждался невероятно, у них был общий выходной костюм — когда один «выходил в свет», другой волей-неволей оставался дома. В Вене явился Галич к русскому консулу с просьбой о вспомоществовании и надеясь, что, заняв денег, продолжит странствия. Но не тут-то было: денег ему не дали вовсе, а отправили на казенный счет домой.

В 1813 г. Галич вернулся в Петербург. Преподавал он историю философии, логику, психологию, этику, метафизику. Был Галич человек благородный, блестящий юмором, нрава кроткого; к интригам оказался совсем неспособным. Предложение преподавать и в Лицее нагрянуло на него внезапно — в связи с болезнью Кошанского.

Со школьниками ему приходилось туго, он привык к аудитории, но не к классу — его не слушались ни в какую. От него брали не латинские герундии, а понятия о любви и дружбе. Потратив все время на беседы и чтение вслух русской книжки, Александр Иванович, бывало, спохватывался, раскрывая Корнелия Непота — книгу, подготовленную Кошанским: «а теперь, господа, потреплем старика». Это выражение стало поговоркой у лицейских. Когда читаете в последней строфе 2-й главы «Евгения Онегина»:

О ты, чья память сохранит  
Мои летучие творенья,  
Чья благосклонная рука  
Потреплет лавры старика!

вспоминайте доброго Галича. Как вспоминал его в тюремной одиночке декабрист Вильгельм Кюхельбекер, записавший в дневник 2 февраля 1834 г.: «примусь опять за Гомера, пора, — как говаривал Галич, — потрепать старика». Об отношении юнцов к Галичу не забыл и друг Пушкина С. А. Соболевский (ученик Галича по Благородному пансиону в Петербурге): «С добрым Галичем мы делали разные фарсы и всегда дружественные: мы, так сказать, с ним заодно драчили начальство».

Словом, Галич вздохнул с облегчением, когда Кошанский выздоровел. Лицейсты скучали без Галича и даже надеялись, что он воротится. Единственная встреча Пушкина с Галичем после Лицея (по крайней мере та, что пушкинистам известна) произошла 16 марта 1834 г. Пушкин записал в дневнике: «Вчера было совещание литературное у Греча об издании русского *Conversation's Lexikon* \*. Нас было человек со сто, большею частью неизвестных мне русских великих людей (...) Тут я встретил доброго Галича и очень ему обрадовался. Он был некогда моим профессором и ободрял меня на поприще, мною избранном. Он заставил меня написать для экзамена 1814 года мои „Воспоминания в Царском Селе“». Одна такая лаконичная запись Пушкина по нынешним меркам пушкиноведения целой книги о Галиче заслуживает. В самом деле: здесь и благодарность за науку, и память о поощрении к творчеству (на уроке у Галича Пушкин осенью 1814 г. читал свою сказку «Бова»), и упоминание о том, что без Галича могло и не быть стихотворения, которое сделало Пушкина признанным преемником Державина (№ 29).

С 1819 г. экстраординарный профессор Галич занимал кафедру философии в Петербургском университете. Тогда же выпустил книгу «История философских систем». Такие люди, как Галич, всегда попадают «под колесо» в трудные моменты нападков мракобесия на литературу и науку. В августе 1821 г. попечитель Петербургского университета Д. П. Рунич объявил его лекции (как и еще нескольких профессоров) «обдуманной системой неверия и правил зловерных и разрушительных». На заседании специальной комиссии ему был задан вопрос: «излагая разные системы философов, зачем их не опроверг?» Книга его, оказывается, не что иное как «тлетворный яд или заряженный пистолет».

«Я сам,— говорил Рунич,— если бы не был истинным христианином и если бы благодать свыше меня не осенила, я сам не отвечаю за свои поползновения при чтении книги Галича». Право, все это было бы смешно, если бы не было так грустно: избавлялись

---

\* Энциклопедический лексикон.

от лучших профессоров, отбрасывали назад русскую науку, отравляли студентов смрадом мракобесия. «Вы явно предпочитаете,— обвиняли Галича,— язычество христианству, распутную философию девственной невесте Христовой церкви, безбожного Канта Христу, а Шеллинга духу Христову». «Безбожие», «измена государю и отечеству» — этого не то что для лишения кафедры, но и для виселицы бы хватило. Высказав Александру Ивановичу все эти поносительные обвинения, комиссия приказала ему удалиться в другую комнату и написать письменные показания. Ответ оказался вполне в духе Галича — человека податливого, не самой сильной воли, твердо верившего, что плетью обуха не перешибешь, и не намеренного метать бисер перед свиньями. Галич написал: «Сознавая невозможность опровергнуть предложенные мне вопросные пункты, прошу не помянуть грехов юности и неведения». Рунич обрадовался «покаянию» и, назвав Галича «заблудшей овцой», риторически спросил: «Могу ли после этого бросить в вас камень». От «овцы» Галич отмежевался, заявив: «не овцой, ваше превосходительство, а паче бараном или козлищем».

Кажется, после этого Галича заставили принести церковное покаяние. Во всяком случае, до Пушкина такой слух дошел, потому что во «Втором послании к цензору» (1824), обличая гасителя просвещения министра Голицына, злобного реакционера, члена Главного управления училищ Магницкого и его подпевалу Кавелина, Пушкин написал:

В угодность господу, себе во утешенье,  
Усердно задушить старался просвещенье

.....  
И помогал ему Магницкий благородный,  
Муж твердый в правилах, душою превосходный,  
И даже бедный мой Кавелин-дурачок,  
Креститель Галича, Магницкого дьячок.  
И вот, за все грехи, в чьи пакостные руки  
Вы были вверены, печальные науки!

Остается только — в который раз — удивляться, как умудрялся Пушкин в своем ссылочном далеке быть точно осведомленным о петербургских событиях и реагировать на них со всей силой своего сарказма. Само собой, он не мог пройти мимо «крещения» Галича и от души ему сочувствовал.

Не выказав ни смущения, ни желания отразить удары, Галич тем самым смягчил свою участь. Велено было, отстранив от преподавания, оставить его при университете с тем, чтобы он был «употреблен при случае для какой-нибудь нефилософской службы». Он много писал и печатал: «Опыт науки об изящном» \* (1825); «Черты умозрительной философии» (1829); «Теория красноречия для всех родов прозаических сочинений» (1830); «Логика» (1831); «Картина человека» (1834). Но самую главную свою книгу «Философия истории человечества» Галич издать не мог. Только на дому, собирая друзей, он читал по ней лекции.

В 1837 г. Галича вовсе уволили из университета, лишив жалованья. Между тем, у него была семья, хотя вечные нелады с женой дожимали (он философски называл ее Ксантиппой — по имени суровой подруги философа Сократа). Пришлось наниматься на канцелярскую работу. «Горька участь человека, — сетовал Галич, — когда его дух сознает, что он может делать больше, чем рыться в канцелярских бумагах и пресмыкаться в архивной пыли, хотя и получает за то жалованье. Горек хлеб, когда его дают тебе из сострадания и отказывают в том, на какой ты имеешь право».

В 1840 г. Галича подстерегло еще одно несчастье: на даче между Царским Селом и Павловском сгорела его библиотека и все рукописи, а среди них — перебеленная, приготовленная к цензуре «Философия истории человечества». «Дети моей мысли умерли, — сказал он. — Жизнь моя потеряла цель и смысл. Мне пора умереть». Это произошло в 1848 г. Скончавшийся от холеры, Александр Иванович похоронен в Царском Селе.

### «ВРЕМЯ НЕЗАБВЕННОЕ»

Полуокно (лицейские комнаты были устроены так, что каждому доставалось по пол-окна) кельи

\* Об этой книге дружественно отозвался Е. А. Баратынский в письме к Пушкину в 1826 г.

Пушкина смотрело в сторону дворца. Обычный вид из него вызывал радостные чувства:

Я слышу топот, слышу ржанье:  
Блеснув узорным чепраком,  
В блестящем ментика сиянье  
Гусар промчался под окном.

Но летом 1812 г. картина открывалась иная:

Сыны Бородина, о кульмские герои!  
Я видел, как на брань летели ваши строи;  
Душой восторженной за братьями спешил...

«Жизнь лицейская сливается с политической эпохой народной жизни русской,— единственно верными словами описал душевное состояние лицейских Иван Пущин более 40 лет спустя,— приготовлялась гроза двенадцатого года. Эти события сильно отразились на нашем детстве. Началось с того, что мы провожали все гвардейские полки, потому что они проходили мимо самого Лицея; мы всегда были тут при их появлении, выходили даже во время классов, напутствовали воинов сердечною молитвой, обнимались с родными и знакомыми — усатые гренадеры из рядов благословляли нас крестом. Не одна слеза тут пролита (...)

Когда начались военные действия, всякое воскресенье кто-нибудь из родных привозил реляции; Кошанский читал их нам громогласно в зале. Газетная комната никогда не была пуста в часы, свободные от классов: читались наперерыв русские и иностранные журналы при неумолкаемых толках и прениях; всему живо сочувствовалось у нас: опасения сменялись восторгами при малейшем проблеске к лучшему. Профессора приходили к нам и научали нас следить за ходом дел и событий, объясняя иное, нам недопустное».

Воспитанники Малиновский и Кюхельбекер рвались в армию — едва удалось директору остановить их. В стихах к лицейской годовщине (1836) запечатлены те дни:

Вы помните: текла за ратью рать,  
Со старшими мы братьями прощались  
И в сень наук с досадой возвращались,  
Завидуя тому, кто умирать  
Шел мимо нас...

Вспомнив впоследствии пушкинские строки, И. В. Малиновский подтверждал: «Да, именно так, и после провода одной из ратей воспитанники до того одушевились патриотизмом, что готовясь к французской лекции, побросали грамматику под лавки, под столы».

Между тем и самому Лицею грозила опасность. Вплоть до оставления французами Москвы сохранялась неясность—куда повернет неприятель. Армия Витгенштейна, поставленная русским командованием как заслон на пути в Петербург, была малочисленна и остановить Наполеона до его страшного поражения под Москвой и в самой Москве не могла. Между тем исторические уроки уже были восприняты: наполеоновские полчища дотла разграбили Рим, Милан, Венецию, в Берлине даже триумфальную колесницу с Бранденбургских ворот умудрились снять. 17 июля М. И. Кутузов был избран начальником Петербургского ополчения. Петербург готовил эвакуацию ценностей: паковались архивы, картины Эрмитажа, дворцовые драгоценности; собирались вывезти даже статуи Петра I и Суворова. Часть книг императорской публичной библиотеки была уложена в ящики и отправлена водою на север. Бриг с ящиками зимовал на реке Свири, и, когда книги возвратились, выяснилось, что они основательно подмочены. Было получено указание подготовить к эвакуации из столицы в случае необходимости весь состав воспитанников учебных заведений военного и гражданского ведомства. Соответствующее предписание министр просвещения А. К. Разумовский передал директору Лицея В. Ф. Малиновскому. Это и вызвало переписку, которую мы печатаем (№ 13—14), и деловые приготовления (№ 15). Отправиться предполагалось в Або, куда собирался и двор. Все это отпало в октябре 1812 г., когда французы оставили Москву и проиграли Витгенштейну сражение под Лепелем.

Великие потрясения Отечественной войны вместе со всем русским народом были пережиты и Пушкиным. Об этом надо помнить, рассматривая жизнь его и творчество в целом. Все, что в последующем написал Пушкин на тему войны 1812 года, есть не только результат исторических разысканий и размышлений,

но и прямых воспоминаний. Это мемуары, но скрытые в рамках самых различных жанров.

Один из блестящих толкователей Пушкина Б. В. Томашевский справедливо замечает: «...дальнейшее развитие событий все более и более вскрывало исторический смысл совершившегося. И на всем протяжении жизни Пушкина последствия Отечественной войны продолжали сказываться. Поэтому тема Отечественной войны стала одной из центральных тем всего пушкинского творчества. Наиболее глубокую оценку событий Отечественной войны мы находим в позднейших произведениях Пушкина, относящихся к 30-м годам. Но отклики на войну всегда связаны у Пушкина с отзывом на то или иное событие русской жизни, современное тем произведениям, в которых он касается темы Отечественной войны. Размышления Пушкина о войне 1812 года никогда не были ретроспективными суждениями историка, это всегда отклики на запросы современности».

С тех пор, как 17 июня в Петербурге получено было неофициальное известие о переходе через Неман французских войск, лицеисты все чаще стали играть в войну (предводительствовал Илличевский) и прилежнее заниматься фехтованием. 15 июля Александр I обратился с речью к московскому дворянству и купечеству в Слободском дворце. В пушкинском «Рославле» читаем: «Вдруг известие о нашествии и воззвание государя поразили нас. Москва взволновалась. Появились престонародные листки графа Растиопчина; народ ожесточился».

Русские войска отступали, и буря негодования бушевала летом 1812 года против действий командующего Барклая де Толли. 8 августа на место Барклая был назначен Кутузов — таково было народное требование, скрепя сердце принятое Александром I. Между тем, один из лицейских, Вильгельм Кюхельбекер, был протеже и даже дальний родственник Барклая. В августе мать Кюхельбекера прислала сыну письмо: «Благодарю тебя за твои политические известия, ты легко представишь, что здесь говорят много вздора, из которого кое-что и верно, хотя многое преувеличено. Я напишу тебе о генерале Барклае только то, что совершенно достоверно и что скоро подтвердится



⟨...⟩ Император предоставил ему выбор: возвратиться в Петербург и снова исполнять обязанности военного министра или оставаться при армии. Барклай, совершенно естественно, выбрал последнее и командует первой частью главной армии... Если бы была хоть мысль об измене или о чем-нибудь, что ему можно было вменить в вину — разве император поступил бы так? Однако Барклай теперь дает доказательство того, что любит свое отечество, так как по собственной воле служит в качестве подчиненного, тогда как он сам был главнокомандующим. Впрочем, пишу это для тебя, — учись не быть никогда поспешным в суждениях и не сразу соглашаться с теми, которые порицают людей».

Кюхельбекер, понятное дело, познакомил с письмом товарищей. Так что тема сложного противостояния Барклая и Кутузова, тема непонятого вождя, неправо обвиненного народной молвой в измене, не в 1831 г. возникла у Пушкина, когда писал он «Перед гробницею святой» и не в 1835—1836 гг., когда писал «Полководца» (№17), «Объяснение» (№ 18) и когда сказал «вот зачинатель Барклай, // И вот совершитель Кутузов» \*, а тогда, в 1812-м, когда читали в Лицее письмо Юстины Яковлевны Кюхельбекер, вслушиваясь в отзвуки военного гула. Другое дело, что в 1830-х годах Пушкин был совершенно иной, обогащенный мудростью и опытом жизни, в стихотворение «Полководец» он вложил и собственное мироощущение непонятого поэта. Но жизнь Пушкина — великое единство, и мемуарный характер «Полководца» сбрасывать со счетов нельзя.

«Мудрая воздержанность Барклая де Толли не могла быть оценена в то время, — свидетельствует поэт-декабрист, участник событий Ф. Н. Глинка. — Его война отступательная была собственно война завлекательная. Но общий голос армии требовал иного ⟨...⟩ Народ... втайне чувствовал, что (хотя было все) недоставало еще кого-то — недоставало полководца русского».

---

\* Эти слова сказаны Пушкиным, когда он увидел в мастерской скульптора фигуры Барклая и Кутузова. Статуи поставлены были у Казанского собора в 1837 г. Пушкин уже не узнал этого.

Вчитайтесь в «Полководца» и вы заметите — существует сходство позиций в стихотворении «Полководец» и в письме матери Кюхельбекера: только преданный отечеству человек станет служить на низшей должности, если у него есть возможность поступить иначе; Барклаю вредит в общественном мнении клевета недоброжелателей. Неизвестно, сложилось ли у Пушкина положительное отношение к Барклаю уже в Лицее — скорее всего нет, но с письмом Ю. Я. Кюхельбекер он несомненно был знаком и помнил о нем в 1835 г., когда писал «Полководца». Имя Барклая появляется и в 10-й главе «Онегина» (1830):

Гроза двенадцатого года  
Настала — кто тут нам помог?  
Остервенение народа,  
Барклай, зима иль русский бог?

Окончательное суждение по этому вопросу Пушкин высказал в «Объяснении», написанном в ответ на атаки любителей противопоставить русских национальных героев (в данном случае — Кутузова) людям нерусского происхождения, честно и смело сражавшимся за Россию.

Пожар Москвы был для лицеистов-москвичей и личной драмой: только что, казалось, они ее покинули — прекрасную, златоглавую, и вот ее нет более. Со слезами приняли эту весть лицеисты 7 сентября 1812 г., когда она дошла до них. Героиня «Рославлева» скажет много лет спустя: «О, мне можно гордиться именем россиянки! Вселенная изумится великой жертве! Теперь и падение наше мне не страшно, честь наша спасена; никогда Европа не осмелится уже бороться с народом, который рубит сам себе руки и жжет свою столицу». А вот и устами самого Пушкина:

Нет, не пошла Москва моя  
К нему с повинной головою.  
Не праздник, не приемный дар,  
Она готовила пожар  
Нетерпеливому герою.

И в стихотворении «Герой» (1830):

...Москва пустынно блещет,  
Его приемля, — и молчит...

Многие, многие впечатления проведенных в Лицее военных лет отлились потом в несмыываемые стихотворные строки. Пушкин узнал, например, из газет об участии в сражении двух сыновей генерала Раевского. Это откликнулось в посвящении «Кавказского пленника» другу юности Николаю Раевскому-младшему:

...вслед отца-героя  
В поля кровавые, под тучи вражьих стрел,  
Младенец избранный, ты гордо полетел.

Не забыл он и иных впечатлений — сладостного чувства наступившей победы. Из «Метели»: «Между тем война со славою была кончена. Полки наши возвращались из-за границы. Народ бежал им навстречу (...) Офицеры, ушедшие в поход почти отроками, возвращались, возмужав на бранном воздухе, обвешанные крестами. Солдаты весело разговаривали между собою, вмешивая поминутно в речь немецкие и французские слова. Время незабвенное! Время славы и восторга! Как сильно билось русское сердце при слове *отечество!* Как сладки были слезы свидания!»

Колокольным звоном встретили Царское Село и Лицей весть о взятии Парижа весной 1814 года. А летом в Царском Селе появились лейб-гвардии гусары. Это про них в «Метели»...

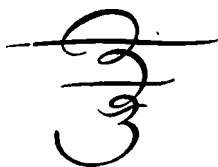
Тех, кто «славен славою двенадцатого года», воспел Пушкин в прекрасных стихах и не менее прекрасной прозе: Кутузова, Барклая, Раевского, Дениса Давыдова и других героев. Даже царю досталась, пусть сквозь усмешку, но все-таки похвала:

Он человек! им властвует мгновенье.  
Он раб молвы, сомнений и страстей;  
Простим ему неправое гоненье:  
Он взял Париж, он основал Лицей.

Конечно, это горькая шутка, но неподалеку от нее — истина: два события, или, лучше сказать, два явления в жизни и памяти поэта, Лицей и Отечественная война, стояли рядом.

Сильнейшие наши впечатления — суть впечатления юношеские. Лицейское ощущение сражений, урат и победы всегда лежало в основе представ-

лений Пушкина о войне и любви к Отечеству. Потом оно только обогащалось и усложнялось, но не терялось никогда. Декабристы называли себя в переносном смысле «детьми 1812 года». Напряжение всех сил народа, тяжелое отступление, затем освобождение родной земли и заграничный поход обнажили не только все лучшее в народе, но и все худшее в царизме. Вот почему декабристы — «дети войны 1812 года». Но дети той войны без кавычек, в прямом значении — это Пушкин и его товарищи. Детское или отроческое восприятие всеобщего бедствия — стойкое, оно не стирается из памяти во всю жизнь. Мы это знаем по себе: те, кому в 1980-х за 50, — дети Великой Отечественной войны 1941—1945 годов. Здесь — ключ к пушкинскому неутихающему интересу к «эпохе нам достопамятной», как говорил он, и к бурям, совпавшим с его поздним детством и ранней юностью.



1

1811

Дядя Василий Львович.— Дмитриев. Дашков. Блудов. Война с Ш. Ан. Ник.— Светская жизнь.— *Лицей*. Открытие. Государь. Малиновский, Куницын, Аракчев.— Начальники наши.— Мое положение.— Философические мысли.— Мартинизм.— Мы прогоняем Пилецкого.

1812 год

1813

Государыня в Сарском Селе. Гр. Кочубей. Смерть Малиновского — безначалие, Чачков, Фролов — 15 лет.

1814

Экзамен, Галич, Державин — стихотворство — смерть.

Известие о взятии Парижа.— Смерть Малиновского. Безначалие.— Больница. Приезд матери. Приезд отца. Стихи etc.— Отношение к товарищам. Мое тще-славию.

1815

Экзамен

А. С. Пушкин. Первая программа записок. 1830(?).

## 2

Всепресветлейший, державнейший великий  
государь император Александр Павлович,  
самодержец всероссийский, государь всемилости-  
вейший!

Просит служащий в комиссариатском штате  
7-го класса  
Сергей Львов сын Пушкин  
о нижеследующем

Герб нашего рода Пушкиных внесен в гербовник и с оного герба брат мой родной, гвардии поручик Василий Львович Пушкин в 1802 году получил копию, а как нужно сыну моему иметь из герольдии о дворянстве свидетельство о законном рождении оного сына моего, всеподданнейше прошу

*К сему*

Дабы высочайшим вашего императорского величества указом повелено было сие мое прошение в Герольдии принять и сыну моему Александру выдать свидетельство о дворянстве.

Всемиловитвейший государь! прошу Вашего императорского величества о сем моем прошении решение учинить...

*Прошение С. Л. Пушкина императору. 1811.*

## 3

Свидетельствую сим, что недоросль Александр Пушкин есть действительно законный сын служащего в комиссариатском штате 7-го класса Сергея Львовича Пушкина.

марта ... дня 1811

*Министр юстиции Дмитриев*

## 4

## СВИДЕТЕЛЬСТВО

По указу Его Императорского величества Герольдия определила: дать сие комиссариатского штата 7-го класса Сергея Пушкина сыну Александру Пушкину

в том, что он происходит от древнего дворянского рода Пушкиных, коего герб внесен в общий дворянских родов гербовник и высочайше утверждён

Марта 23 дня 1811 года

Подлинное свидетельство получил Штата комиссарятского 7-го класса Сергей Пушкин.

## 5

### *И. И. Пущин.*

---

#### ИЗ «ЗАПИСОК О ПУШКИНЕ»

1811 года, в августе, числа решительно не помню, дед мой, адмирал Пущин, повез меня и двоюродного моего брата Петра, тоже Пущина, к тогдашнему министру народного просвещения гр. А. К. Разумовскому. Старик, с лишком восьмидесятилетний, хотел непременно сам представить своих внучат, записанных по его же просьбе в число кандидатов Лицея, нового заведения, которое самым своим названием поражало публику в России,—не все тогда имели понятие о колоннадах и ротондах в афинских садах, где греческие философы научно беседовали с своими учениками. Это замечание мое до того справедливо, что потом даже, в 1817 году, когда после выпуска мы, шестеро, назначенные в гвардию, были в лицейских мундирах на параде гвардейского корпуса, подъезжает к нам гр. Милорадович, тогдашний корпусный командир, с вопросом: что мы за люди и какой это мундир? Услышав наш ответ, он несколько задумался и потом очень важно сказал окружавшим его: «Да, это не то, что университет, не то, что кадетский корпус, не гимназия, не семинария — это... Лицей!» — поклонился, повернул лошадь и ускакал.—Надобно сознаться, что определение очень забавно, хотя далеко не точно.

Дедушка наш Петр Иванович насилу вошел на лестницу, в зале тотчас сел, а мы с Петром стали по обе стороны возле него, глядя на нашу братью, уже частью тут собранную. Знакомых у нас никого не было. Старик, не видя появления министра, начинал сердиться. Подозвал дежурного чиновника и объявил

ему, что андреевскому кавалеру не приходится ждать, что ему нужен Алексей Кириллович, а не туалет его. Чиновник исчез, и тотчас старика нашего с нами повели во внутренние комнаты, где он нас поручил благосклонному вниманию министра, рассыпавшегося между тем в извинениях. Скоро наш адмирал отправился домой, а мы, под покровом дяди Рябинина, приехавшего сменить деда, остались в зале, которая почти вся наполнилась вновь наехавшими нашими будущими однокашниками с их провожатыми.

У меня разбежались глаза: кажется, я не был из застенчивого десятка, но тут как-то потерялся — глядел на всех и никого не видал. Вошел какой-то чиновник с бумагой в руке и начал выкликать по фамилиям. — Я слышу: Ал. Пушкин! — выступает живой мальчик, курчавый, быстроглазый, тоже несколько сконфуженный. По сходству ли фамилий или по чему другому, несознательно сближающему, только я его заметил с первого взгляда. Еще вглядывался в Горчакова, который был тогда необыкновенно милостивиден. При этом передвижении мы все несколько приободрились, начали ходить в ожидании представления министру и начала экзамена. Не припомню, кто, только чуть ли не В. Л. Пушкин, привезший Александра, подозвал меня и познакомил с племянником. Я узнал от него, что он живет у дяди на Мойке, недалеко от нас. Мы положили часто видаться. <...>

Между тем, когда я достоверно узнал, что и Пушкин вступает в Лицей, то на другой же день отправился к нему, как к ближайшему соседу. С этой поры установилась и постепенно росла наша дружба, основанная на чувстве какой-то безотчетной симпатии. Родные мои тогда жили на даче, а я только туда ездил; большую же часть времени проводил в городе, где у профессора Лоди занимался разными предметами, чтобы не даром пропадало время до вступления моего в Лицей. При всякой возможности я отыскивал Пушкина, иногда с ним гулял в Летнем саду; эти свидания вошли в обычай, так что если несколько дней меня не видеть, Василий Львович, бывало, мне пеняет: он тоже привык ко мне, полюбил меня. <...>



## 6

№ 14. Александр Пушкин. В грамматическом познании русского языка — очень хорошо, в грамматическом познании французского языка — хорошо, в грамматическом познании немецкого языка — не учился, в арифметике — до тройного правила, в познании общих свойств тел — хорошо, в начальных основаниях географии и в начальных основаниях истории — имеет сведения.

*Из «Списка кандидатам, удостоенным  
к поступлению в число воспитанников Лицея».  
Август 1811.*

## 7

РЕЧЬ А. П. КУНИЦЫНА  
ПРИ ОТКРЫТИИ ЦАРСКОСЕЛЬСКОГО ЛИЦЕЯ

Образование ваше доньше было одним из важнейших занятий родителей ваших. Заботы их умножались с вашими летами(...). В то время, когда сии заботы и попечения утомляли их внимание, раздался глас Отечества, в недра свои вас призывающего. Из родительских объятий вы поступаете под кров сего священного храма наук. Отечество приемлет на себя обязанность быть блюстителем воспитания вашего, дабы тем сильнее действовать на образование ваших нравов. Его нежные старания возбудят в вас чувство благодарности; ревность к наукам ознаменует вашу признательность.

Здесь сообщены будут вам сведения, нужные для гражданина, необходимые для государственного человека, полезные для воина. — Наука общежития есть первый предмет воспитания. Под сим словом разумеется не искусство блистать наружными качествами, которое нередко бывает благовидною причиною грубого невежества; но истинное образование ума и сердца. Вам раскрыт будет состав гражданского общества; разбирая части сего многочисленного здания,

вы увидите, что ни подданные без повиновения, ни граждане без точного исполнения должностей своих, ни общество без единодушия членов его благоденствовать не могут. Если граждане вознерадеют о должностях своих и общественные пользы подчинят видам своего корыстолюбия, то общественное благо разрушится и в своем падении ниспровергнет частное благосостояние. Многолетняя история разительными примерами докажет вам сию истину; она оживит перед вами минувшие века, воскресит погибшие царства, воззовет на суд буйных и беспечных граждан и, указывая на развалины государств, погибших от их разномыслия, предаст имена их вечному поношению. Сии наставления покажут вам существо гражданских обязанностей. Но познания ваши должны быть несравненно обширнее; ибо вы будете иметь непосредственное влияние на благо целого общества.

Государственный человек должен знать все, что только прикасается к кругу его действия; его прозорливость простирается далее пределов, останавливающих взоры частных людей. Стоя при подножии престола, он обзревает состояние граждан, измеряет их нужды и недостатки, предваряет несчастья, им угрожающие, или прекращает постигнувшие их бедствия. Будучи принужден непрерывно сражаться с предрассудками и страстями народа, он старается проникнуть сердце человеческое, дабы исторгнуть самый корень пороков, ослабляющих общество; сообразуясь с природою человека, он предпочитает тихие меры насильственным и употребляет последние только, когда первые недостаточны; никогда не отвергает он народного вопля; ибо глас народа есть глас божий. Соединяя частные пользы с государственными, он заставляет каждого стремиться к общественной цели. Граждане охотно следуют его манованиям, не примечая действия его власти.

Но представьте на сем месте человека без познаний, которому известны государственные должности только по имени; вы увидите, как горестно его положение. Не зная первоначальных причин благоденствия и упадка государств, он не в состоянии дать постоянного направления делам общественным; при каждом шаге заблуждается, при каждом действии перемениет свои

виды. Исправляя одну погрешность, он делает другую; искореняя одно зло, полагает основание другому; вместо существенных выгод стремится за посторонними, тогда как бы надлежало пользоваться счастливыми открытиями прежних веков, он силится изобретать и делает опыты несчастные. Утомленный тщетными трудами, терзаемый совестью, гонимый всеобщим негодованием, он предается на волю случая или делается рабом чужих предрассудков.

Таким образом, невежество, порожденное нерадением и предрассудками, с наступлением каждого века представляет зрелище прежних погрешностей и бедствий. Подобно безрассудному пловцу, оно мчится на скалы, окруженные печальными остатками многократных кораблекрушений. В то время, когда надлежало бы пользоваться вихрями грозных туч, оно предается их стремлению и, усмотрев разверзающуюся бездну, ищет пристанища там, где море не имеет пределов.

Но, может быть, обстоятельства, может быть, самые ваши склонности приведут вас на поле чести и вы будете действовать оружием. — С успехами гражданских обществ способ вести войну совершенно изменился; знания военного человека распространились наипаче с того времени, когда огнестрельное оружие заступило место пращей и луков; для него уже недовольно собственного опыта, который может только объяснить и дополнить всеобщие правила. Не дикая смелость, не свирепое ожесточение, не зверская лютость решит ныне единоборство народов; но счастливые соображения и глубокие сведения в воинском искусстве. Без надлежащего руководства даже самая храбрость простых ратников бывает им пагубна, и многочисленное ополчение без воинского искусства есть жертва искусному неприятелю. Несмотря на сие, победа определяется ныне не количеством неприятельских трупов, но следствиями оной; не тот почитается ныне победителем, кто занял поле сражения, дымящееся кровию, и соединил победные песни со стонами умирающих; но кто приобрел выгоды, заставившие поднять оружие. Успехи в войне при-

уготовляются ныне во время мира. Знать государственные пользы, предвидеть препятствия в достижении оных со стороны соседственных народов, исчислять поступки врагов, открывать их намерения, подрывать их тайные пружины, на действие которых они наиболее полагаются—в сем состоит истинная тактика, достойная государственного человека и воина.

Соединив сии сведения, вы соделаетесь способными к тому и другому виду государственной службы; от вашего произвола будет зависеть, следовать ли на шумное поле брани или в тиши мира заниматься благом Отечества. Но главным основанием ваших познаний должна быть истинная добродетель. Приготовляясь быть хранителем законов, научитесь прежде сами почитать оные; ибо закон, нарушаемый блюстителями онога, не имеет святости в глазах народа.

Государственный человек, будучи возвышен над прочими, обращает на себя взоры своих сограждан; его слова и поступки служат для них правилом. Если нравы его беспорочны, то он может образовать народную нравственность более собственным примером, нежели властью. Но если порочные склонности овладели его сердцем, то он ослабит гражданские добродетели и без умысла соделается врагом общества. Ни заслуги его предков, ни отличные дарования, ни глубокие сведения не защитят его перед лицом правосудия. Жалким образом обманется тот из вас, кто, опираясь на знаменитость своих предков, вознерадеет о добродетелях, увенчавших их имена бессмертием—блистательные дела родоначальников, освещающая добродетели и пороки их потомков, делают первые более привлекательными, а последние более отвратительными. Отечество, благословляя память великих мужей, отвергает их недостойных потомков. С горестию, с чувством сострадания обсекает оно бесплодные отрасли священных деревьев, которые сладкими плодами обогащали предшествовавшие поколения.

И хотя бы можно было присвоить отличие не по достоянию; но можно ли присвоить неизъяснимое

удовольствие, проистекающее от ощущения собственных достоинств? То спокойствие совести, которое составляет удел совершенной добродетели, ту приятную уверенность в беспритворном уважении своих сограждан, которая рождается из представления пользы, доставленной обществу? Почести без заслуг, отличия без дарования, украшения без добродетели наполняют горестию благородное сердце. Какая польза гордиться титлами, приобретенными не по достоинству, когда во взорах каждого видны укоризна или презрение, хула или нареkanie, ненависть или проклятие? Для того ли должно искать отличий, чтобы, достигнувши оных, страшиться бесславия? Лучше остаться в неизвестности, чем прославиться громким падением.

Так думали и действовали древние Россы, прославленные веками; вы должны последовать их великому примеру. Среди сих пустынных лесов, внимавших некогда победоносному российскому оружию, вам поведаны будут славные дела героев, поражавших враждебные строи. На сих зыбких равнинах вам показаны будут яркие следы ваших родоначальников, которые стремились на защиту царя и Отечества — окруженные примерами добродетели, вы ли не воспламенитесь к ней любовью? Вы ли не будете приуготовляться служить Отечеству? наслаждаясь благоденствием, устроенным для вас трудами и благоразумием предков, вы ли не будете хранить и усугублять оное для ваших преемников? Сладкая надежда родителей! Вы ли не устращитесь быть последними в вашем роде? Вы ли захотите смешаться с толпою людей обыкновенных, пресмыкающихся в неизвестности и каждый день поглощаемых волнами забвения? Нет! да не развратит мысль сия вашего воображения! Любовь к славе и Отечеству должны быть вашими руководителями!

Но при сих высоких добродетелях сохраните сию невинность, которая блистает на лицах ваших, сие простосердечие, которое побеждает хитрость и коварство, сию откровенность, которая предполагает беспорочную совесть, сию кротость, которая изображает

спокойствие души, необуреваемой сильными страстями, сию скромность, которая служит прозрачною завесою отличным талантам.

Когда совершите вы поприще наук, Отечество снова призовет ваших родителей в сие святилище и не обинуясь скажет им: се дети ваши, мои возлюбленные чада; они оправдали мою надежду, желания ваши исполнились: они готовы служить вам подпорою, готовы защищать славу мою; они достойны быть блюстителями моего благоденствия. Примите сей залог вашей нежности и благословляйте того, кто устрояет общий жребий россиян. Да будет окончание вашего образования столь же торжественно, как и начало оно! Исполните лестную надежду, на вас возлагаемую, и время вашего воспитания не будет потеряно.

19 октября 1811.

## 8

### А. П. Куницын

---

#### ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЛЕКЦИЯ ПО ЕСТЕСТВЕННОМУ ПРАВУ

##### *О разделении права естественного*

В естественном праве люди рассматриваются или как существа независимые и равные между собою по правам и обязанностям или зависимые от единой верховной власти. В первом случае они состоят под законом собственного рассудка и под защитой собственной только частной силы; во втором, напротив того, верховная власть определяет их права и принимает оные под свою защиту. По сему различию право естественное разделяется на право частное и публичное. Частное право рассуждает: I о врожденных и приобретенных правах человека; II об общественном семейственном праве. Публичное право рассуждает: I об отношениях членов государства, следовательно,

об отношениях между верховной властью и подданными, также об отношениях между частными гражданами. Сия часть оного называется правом естественным государственным. II. Право публичное рассуждает об отношениях независимых народов и в сем смысле называется оно правом естественным народным. Итак, естественное право разделяется на четыре главных отделения. В первом содержится право естественное, частное в тесном смысле, во втором — право семейственное, в третьем — право государственное и в четвертом — право народное.

### *О различии права и нравоучения*

Хотя право и нравоучение проистекают из одного источника, однако ж имеют между собой существенное различие: I. Право предписывает нам не употреблять других как простые средства к достижению наших целей, т. е. не поступать с ними, как мы поступаем с вещами; нравоучение, напротив того, требует исполнения не только сей отрицательной обязанности, но еще повелевает нам деятельным образом споспешествовать благу других. II. Право простирается на внешнее наше поведение и требует только того, чтобы внешние наши деяния сообразны были с его предписаниями, не принимая в уважение побудительных причин; нравоучение вникает в наше внутреннее расположение и требует, чтобы самые наши мышления сообразны были с его предписаниями, оно признает только те деяния добрыми, к исполнению которых нравственный закон служил нам побуждением; напротив того, деяния, основанные на корысти, оно не включает в число добродетелей. III. Исполнение закона нравственного не подлежит никакому условию; во всех обстоятельствах должно поступать сходственно с оным; исполнение права не только может быть оставлено, но даже зависит от произвола каждого.

## 9

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ЛИЦЕИСТОВ,  
утвержденное министром в 1-й год,  
во вторую половину учебного курса

Часы	Понедельник	Вторник	Среда
7	<i>Все дни:</i> Вставать; одеваться; молиться Богу и повторять уроки		
8	Латин. яз.	Франц. яз.	Франц. яз.
9	Латин. яз.	Франц. яз.	Франц. яз.
10	<i>Все дни:</i> Завтрак и прогулка		
11	Математ.	Латин. яз.	Латин. яз.
12	Немец. яз.	Рус. яз.	Рус. яз.
1	<i>Все дни:</i> Прогулка и повторение уроков		
2	<i>Все дни:</i> ОБЕД		
3	Логика	Чистопис.	Матем.
4	Франц. яз.	Географ.	Логика
5	Франц. яз.	История	Латин. яз.
6	<i>Все дни:</i> Чай. Прогулка и гимнастические упражнения		
7	Франц. яз.	Франц. яз.	Матем.
9	<i>Все дни:</i> УЖИН		
Часы	Четверг	Пятница	Суббота
7	<i>Все дни:</i> Вставать; одеваться; молиться Богу и повторять уроки		
8	Немец. яз.	Немец. яз.	Немец. яз.
9	Немец. яз.	Немец. яз.	Немец. яз.
10	<i>Все дни:</i> Завтрак и прогулка		
11	Латин. яз.	Матем.	Франц. яз.
12	Рус. яз.	Немец. яз.	Франц. яз.
1	прогулка и повторение уроков		
2	<i>Все дни:</i> ОБЕД		
3	Чистопис.	Чистопис.	Рисование
4	Географ.	Географ.	Рисов.
5	История	История	Закон божий
6	<i>Все дни:</i> Чай. Прогулка и гимнастические упражнения		
7	Немец. яз.	Немец. яз.	Баня
9	<i>Все дни:</i> УЖИН		



## 10

ОТЗЫВЫ ПЕДАГОГОВ О ПУШКИНЕ  
1811—1812 гг.

Он проникателен и даже умен. Крайне прилежен, и его приметные успехи столь же плод его рассудка, сколь и его счастливой памяти, которые определяют ему место среди первых в классе по французскому языку.

*Рапорт проф. французской словесности  
Д. И. де Будри. Ноябрь — декабрь 1811.*

Дарований очень хороших, довольно прилежен, успехов очень хороших.

*Из «Ведомости...», составленной  
проф. историч. наук И. К. Кайдановым.  
1 марта 1812.*

Ветрен и легкомыслен, искусен в французском языке и рисовании, в арифметике ленится и отстает.

*В. Ф. Малиновский. Март 1812.*

Александр Пушкин больше имеет понятливости, нежели памяти, более имеет вкуса к изящному, нежели прилежания к основательному, почему малое затруднение может остановить его; но не удержать: ибо он, побуждаемый соревнованием и чувством собственной пользы, желает сравниться с первыми питомцами. Успехи его в латинском хороши; в русском не столько тверды, сколько блистательны.

*Проф. Н. Ф. Кошанский. Список воспитанников.  
15 марта 1812.*

*В росс. и лат. яз.: 1) Успехи в латинском хороши; в русском не столько тверды, сколько блистательны. 2) Слабого прилежания. 3) Одарен понятливостью и вкусом. Во франц. яз.: 1) Считается между первыми. 2) Весьма прилежен. 3) Одарен понятливостью и прониканием. В нем. яз.: 1) Мало успехов. 2) Не прилежен. 3) Хороших дарований. В логике: 1) Хорошие успехи.*

2) Неприлежен. 3) Весьма понятен. *В арифмет.:* 1) Посредственные успехи. 2) Ленив. 3) Не плохих дарований. *В географии и истории:* 1) Очень хорошие успехи. 2) Довольно прилежен. 3) Очень хороших дарований. *В рисовании:* 1) Медленные успехи. 2) Прилежен, но нетерпелив. 3) Очень способен. *В чистописании:* 1) Посредственные успехи. 2) Прилежен. 3) Способен.

*Табель об успехах, прилежании и дарованиях лицеистов. 19 марта 1812.*

Кажется, он никогда не занимался немецким до поступления в лицей и, кажется, отнюдь не желает делать этого и сейчас; между тем, если бы он захотел на это решиться, он сделал бы успехи самые быстрые, будучи очень одаренным проникательностью и памятью.

*Рапорт проф. немецкой словесности  
Ф. М. Гауеншильда. 31 марта 1812.*

Довольно хорошие его успехи должно приписать более его дарованиям, нежели прилежанию. На вопросы отвечает более удовлетворительно, по рассеянности же своей требует строгого надзора, и тогда можно ожидать от него прекраснейших успехов.

*И. К. Кайданов. 1 ноября 1812.*

Пушкин 6-го числа (ноября 1812 г.—В. К.) в суждении своем об уроках сказал: признаюсь, что логики я, право, не понимаю, да и многие, даже лучшие меня оной не знают, потому что логические селогизм (так! — В. К.) весьма для него невнятны. 16 числа весьма оскорбительно шутил с Мясоедовым на счет 4-го Департамента, зная, что его отец там служит, произнося какие-то стихи, коих мне повторить не хотел, при увещевании же сделал слабое признание, а раскаяния не видно было. 18-го толкал Пуцина и Мясоедова, повторял им слова, что если они будут

жаловаться, то сами останутся виноватыми, ибо я, говорит, вывертеться умею. 20-го. В классе рисовальном называл г. Горчакова вольной польской дамой \*. 21-го за обедом вдруг начал громко говорить, что Вольховский г. Инспектора боится и, видно, оттого, что боится потерять свое доброе имя, а мы, говорит, шалуны, его увещаниям смеемся. После начал исчислять с присовокупившимся г. Корсаковым сделанные г. Инспектором родителям некоторых товарищей обиды, а после обеда и других к составлению клеветы на г. Инспектора подстрекнул. Вообще г. Пушкин вел себя все следующие дни весьма смело и ветрено. 23-го, когда я у г. Дельвига в классе г. профессора Гауеншильда отнимал бранное на г. Инспектора сочинение, в то время г. Пушкин с непристойною вспыльчивостию говорит мне громко: «Как вы смеете брать наши бумаги,— стало быть и письма наши из ящика будете брать». Присутствие г. Профессора, вероятно, удержало его от худшего еще поступка, ибо приметен был гнев его. 30-го числа к вечеру г. Кошанскому изъяснял какие-то дела С-Петербургских модных французских лавок, кои называются Маршандю Мод \*\*, я не слышал сам сего разговора, а только пришел в то время, когда г. Кошанский сказал ему: «Я повыше вас, а право не вздумаю такого вздора, да и вряд ли кому оный придет в голову». Спрашивал я других воспитанников, но никто не мог мне его разговор повторить — по скромности, как видно.

*Гувернер И. Пилецкий. Ноябрь 1812.*

Он стал гораздо более прилежным, чем раньше, и его успехи постоянно укрепляются.

*Рапорт Д. И. де Будри. 18 ноября 1812.*

Очень ленив, в классе невнимателен и нескромен, способностей не плохих, имеет остроту, но, к сожалению

---

\* Против этого места на полях помета директора Лицея В. Ф. Малиновского: «худо». (Вероятно, Пушкин употребил бранное слово.— В. К.).

\*\* Искажненное фр.— «модная торговля».

нию, только для пустословия, успеваает весьма посредственно.

*Рапорт проф. математики  
Я. И. Карцова. 19 ноября 1812.*

Пушкин (Александр), 13-ти лет. Имеет более блистательные, нежели основательные дарования, более пылкий и тонкий, нежели глубокий ум. Прилежание его к учению посредственно, ибо трудолюбие еще не сделалось его добродетелью. Читав множество французских книг, но без выбора, приличного его возрасту, наполнил он память свою многими удачными местами известных авторов; довольно начитан и в русской словесности, знает много басен и стихков. Знания его вообще поверхностны, хотя начинает несколько привыкать к основательному размышлению. Самолюбие вместе с честолюбием, делающие его иногда застенчивым, чувствительность с сердцем, жаркие порывы вспыльчивости, легкомысленность и особенная словоохотность с остроумием ему свойственны. Между тем приметно в нем и добродушие, познавая свои слабости, он охотно принимает советы с некоторым успехом. Его словоохотность и остроумие восприняли новый и лучший вид с счастливою переменою образа его мыслей, но в характере его вообще мало постоянства и твердости.

*М. С. Пилецкий-Урбанович, надзиратель  
по нравственной части. 19 ноября 1812.*

С огорчением вижу, что этот ученик, одаренный в высшей степени пронизательностью и памятью, упорствует в равнодушии к моему предмету.

*Рапорт Ф. М. Гауеншильда. 19 ноября 1812.*

Мало постоянства и твердости в его нраве, словоохотен, остроумен, приметно в нем и добродушие, но вспыльчив с гневом, легкомыслен.

*М. С. Пилецкий-Урбанович. Ноябрь —  
декабрь 1812.*

## 11

## ТАБЕЛЬ,

составленная из поданных ведомостей гг. профессоров, адъюнкт-профессоров и учителей: 1) об успехах 2) прилежании 3) о дарованиях воспитанников Императорского лицея, какие оказали они с 19 марта по ноябрь 1812 года

## Пушкин

В законе божием —	Все слушали прилежно, охотно и внимательно.
В русском и латинском языках	Более понятливости и вкуса, нежели прилежания, но есть соревнование. Успехи хороши довольноно.
Во французском языке	Стал прилежнее и успехи постоянные. 2-й ученик *.
В немецком языке	При всей остроте и памяти нимало не успевает.
У адъюнкт-профессора Д. Рененкампа (по словесности нем. и франц.)	Худые успехи, без способностей, без прилежания и без охоты, испорченного воспитания.
В логике и нравственности	Весьма понятен, замысловат и остроумен, но не прилежен вовсе и успехи не значущие.
В математике	Острота, но для пустословия, очень ленив и в классе нескромен, успехи посредственные.

\* 1-й — А. М. Горчаков.

В географии и истории	Более дарования, нежели прилежания, рассеян. Успехи довольно хороши.
В рисовании	Отличных дарований, но тороплив и неосмотрителен, успехи не ощутительны...
В чистописании	Способен и прилежен
В фехтовании	Довольно хорошо
По нравственной части	Мало постоянства и твердости, словоохотен, остроумен, приметно и добродушие, но вспыльчив с гневом и легкомыслен

## 12

*И. И. Пущин*

## ИЗ «ЗАПИСОК О ПУШКИНЕ»

Жизнь наша лицейская сливается с политической эпохой народной жизни русской; приготавлилась гроза 1812 года. Эти события сильно отразились на нашем детстве. Началось с того, что мы провожали все гвардейские полки, потому что они проходили мимо самого Лицея; мы всегда были тут, при их появлении, выходили даже во время классов, напутствовали воинов сердечною молитвой, обнимались с родными и знакомыми; усатые гренадеры из рядов благословляли нас крестом. Не одна слеза тут пролита!

Сыны Бородина, о кульмские герои!  
Я видел, как на брань летели ваши строи;  
Душой торжественной за братьями летел...

Так вспоминал Пушкин это время в 1815 году в стихах на возвращение императора из Парижа.

Когда начались военные действия, всякое воскресенье кто-нибудь из родных привозил реляции; Ко-

шанский читал нам их громогласно в зале. Газетная комната никогда не была пуста в часы, свободные от классов; читались наперерыв русские и иностранные журналы, при неумолкаемых толках и прениях; всему живо сочувствовалось у нас: опасения сменялись восторгами при малейшем проблеске к лучшему. Профессора приходили к нам и научали нас следить за ходом дел и событий, объясняя иное, нам не доступное.

Таким образом, мы скоро сжились, свыклись. Образовалась товарищеская семья, в этой семье — свои кружки; в этих кружках начали обозначаться, больше или меньше, личности каждого; близко узнали мы друг друга, никогда не разлучаясь; тут образовались связи на всю жизнь.

1858

13

*Секретно*

Господину Директору  
Императорского Царскосельского Лицея

Как в настоящих обстоятельствах легко случиться может, что назначено будет отправить воспитанников Лицея на время в другую губернию, то необходимо принять заблаговременно нужные для сего меры; посему приказываю вам заняться: 1-е — снабжением воспитанников теплою дорожною одеждою; 2-е — расписанием чиновников и служителей, кои необходимо должны следовать за воспитанниками и тех, кои могут остаться здесь или в Царском селе; 3-е — заготовлением потребного числа ящиков и проч. для укладки посуды, нужнейших книг, постелей, белья и других вещей, воспитанникам принадлежащих, кои признается необходимым увезти. Обо всем, что вы найдете нужным по сему предмету предпринять, я буду ожидать предварительно ваших представлений;

равным образом имеете представить мне на утверждение вещи, какие за нужное признаете купить?

*Министр Нар. просвещения  
гр. Алексей Разумовский*

№ 3218

Сентября 14 дня 1812

14

Господину Министру Народного просвещения  
От Директора Императ. Царскосельского Лицея

На предписание Вашего сиятельства от 14 сентября № 3218-м честь имею донести, что Правление по журналу № 40-й статье 2-й покупке нужной для воспитанников в дорогу теплой одежды и других необходимых при том вещей поручило уже помощнику надзирателя по хозяйственной части г-ну Золотареву, который по лавкам в С-Петербурге их сторговал; но в Лицей до разрешения Вашего Сиятельства оные потребности еще не взяты. Сим вещам представляю при сем, на благоусмотрение и утверждение, реестр.

Для составления Расписания чиновников и служителей Лицея, необходимо долженствующим следовать за воспитанниками и могущим остаться делается соображение и вслед за сим список о них будет Вашему сиятельству представлен.

Ящики для укладки посуды и прочего сделать уже приказано. Хотя сие предписание В. С. от 14-го числа получено 19 пополудни, но Правление приложит все меры, дабы успеть окончанием начатых распоряжений к отъезду, как можно благовременнее.

*Директор Малиновский  
Секретарь Люценко*

Сентября 19 дня 1812

№ 312



## 15

## РЕЕСТР

о необходимо нужных для воспитанников вещах,  
из коих некоторые уже сторгованы

	Кол-во вещей	Примерная цена	
		руб.	коп.
Тулупов, покрытых полукитайкою	30	600	—
Рейтузов суконных или шаровар (взято сукна)	—	405	—
Сапогов просторных	30 пар	300	—
Теплых кенег *	30 пар	60	—
Чулков шерстяных	30 пар	67	50
Рукавичек с варишками	30 пар	54	—
Ременных поясов с пряжками (готовых не имеется)	30	30	—
Больших чемоданов для платья (не заказаны по дороговизне)	6	150	—
Жестяной дорожной посуды с чаш- ками и тарелками на 36 персон (не заказаны по дороговизне) (270)	—	—	—
Кож дорожных складных	3	7	50
Колпаков бумажных	30	52	50
Цыновок хороших	30	30	—
Парусины толстой	25	37	50
Мешков из толстого холста	20	20	—
Сукна, из коего шиты фуражки, для пришивки ушек	—	18	—

\* Кенги (кенги) — род галош, теплая обувь, надеваемая поверх сапог.

## 16

Господину Директору  
Императорского Царскосельского Лицея

По рапорту вашему № 312, находя действительно нужными в случае отправления воспитанников Лицея вещи, означенные в реестре, при рапорте приложенном, предписываю сделать распоряжение о немедленной покупке готовых вещей и изготовлении тех, которые еще заказать должно. Дорожную посуду я почитаю необходимою, почему не оставьте купить оную; на место же чемоданов для платья можно заказать хорошие ящики, которые обойдутся дешевле и в коих платье столь же удобно положить можно, как и в чемоданах.

Впрочем, как все вещи сии заготовляются токмо на случай отправления воспитанников, то должно купить и заказать оные не иначе как с условием, что если они употреблены не будут, то возьмутся продавцами обратно за цену, которую при покупке наперед назначить можно. Разумеется, что из сего исключаются ящики и вещи, не могущие служить другому употреблению.

№ 3280

С-Пбург сентября 22 дня

1812 года

Министр Народного просвещения  
гр. А. Разумовский

## 17

## ПОЛКОВОДЕЦ

У русского царя в чертогах есть палата:  
Она не золотом, не бархатом богата;  
Не в ней алмаз венца хранится за стеклом;  
Но сверху донизу, во всю длину, кругом,  
Своею кистью свободной и широкой  
Ее разрисовал художник быстрокой.

Тут нет ни сельских нимф, ни девственных  
мадонн,  
 Ни фавнов с чашами, ни полногрудых жен,  
 Ни плясок, ни охот,— а всё плащи, да шпаги,  
 Да лица, полные воинственной отваги.  
 Толпою тесною художник поместил  
 Сюда начальников народных наших сил,  
 Покрытых славою чудесного похода  
 И вечной памятью двенадцатого года.  
 Нередко медленно меж ими я брожу  
 И на знакомые их образы гляжу,  
 И, мнится, слышу их воинственные клики.  
 Из них уж многих нет; другие, коих лики  
 Еще так молоды на ярком полотне,  
 Уже состарились и никнут в тишине  
 Главою лавровой...

Но в сей толпе суровой  
 Один меня влечет всех больше. С думой новой  
 Всегда остановлюсь пред ним— и не свожу  
 С него моих очей. Чем долее гляжу,  
 Тем более томим я грустию тяжелой.

Он писан во весь рост. Чело, как череп голый,  
 Высоко лоснится, и, мнится, залегла  
 Там грусть великая. Крутом— густая мгла;  
 За ним— военный стан. Спокойный и угрюмый,  
 Он, кажется, глядит с презрительною думой.  
 Свою ли точно мысль художник обнажил,  
 Когда он таковым его изобразил,  
 Или невольное то было вдохновенье,—  
 Но Доу дал ему такое выраженье.

О вождь несчастливый!.. Суров был жребий  
твой:

Всё в жертву ты принес земле тебе чужой.  
 Непроницаемый для взгляда черни дикой,  
 В молчанье шел один ты с мыслию великой,  
 И, в имени твоём звук чуждый не взлюбя,  
 Своими криками преследуя тебя,  
 Народ, таинственно спасаемый тобою,  
 Ругался над твоей священной сединою.

И тот, чей острый ум тебя и постигал,  
 В угоду им тебя лукаво порицал...  
 И долго, укреплен могущим убежденьем,  
 Ты был непоколебим пред общим заблужденьем;  
 И на полупути был должен наконец  
 Безмолвно уступить и лавровый венец,  
 И власть, и замысел, обдуманнный глубоко,—  
 И в полковых рядах сокрыться одиноко.  
 Там, устарелый вождь, как ратник молодой,  
 Свинца веселый свист заслышавший впервой,  
 Бросался ты в огонь, ища желанной смерти,—  
 Вотще! —

.....  
 .....

О люди! жалкий род, достойный слез и смеха!  
 Жрецы минутного, поклонники успеха!  
 Как часто мимо вас проходит человек,  
 Над кем ругается слепой и буйный век,  
 Но чей высокий лик в грядущем поколенье  
 Поэта приведет в восторг и в умиленье!

1835

А. С. Пушкин

## 18

## ОБЪЯСНЕНИЕ

Одно стихотворение, напечатанное в моем журнале, навлекло на меня обвинение, в котором долгом полагаю оправдаться. Это стихотворение заключает в себе несколько грустных размышлений о заслуженном полководце, который в великий 1812 год прошел первую половину поприща и взял на свою долю все невзгоды отступления, всю ответственность за неизбежные уронны, предоставляя своему бессмертному преемнику славу отпора, побед и полного торжества. Я не мог подумать, чтобы тут можно было увидеть намерение оскорбить чувство народной гордости и старание унижить священную славу Кутузова; однако ж меня в том обвинили.

Слава Кутузова неразрывно соединена со славою России, с памятью о величайшем событии новейшей истории. Его титул: спаситель России; его памятник: скала святой Елены! Имя его не только священо для нас, но не должны ли мы еще радоваться, мы, русские, что оно звучит русским звуком?

И мог ли Барклай-де-Толли совершить им начатое поприще? Мог ли он остановиться и предложить сражение у курганов Бородина? Мог ли он после ужасной битвы, где равен был неравный спор, отдать Москву Наполеону и стать в бездействии на равнинах Тарутинских? Нет! (Не говорю уже о превосходстве военного гения.) Один Кутузов мог предложить Бородинское сражение; один Кутузов мог отдать Москву неприятелю, один Кутузов мог оставаться в этом мудром деятельном бездействии, усыпляя Наполеона на пожарище Москвы и выжидая роковой минуты: ибо Кутузов один обличен был в народную доверенность, которую так чудно он оправдал!

Неужели должны мы быть неблагодарны к заслугам Барклая-де-Толли, потому что Кутузов велик?(<...>)

Слава Кутузова не имеет нужды в похвале чьей бы то ни было, а мнение стихотворца не может ни возвысить, ни унижить того, кто низложил Наполеона и вознес Россию на ту ступень, на которой она явилась в 1813 году. Но не могу не огорчиться, когда в смиренной хвале моей вождю, забытому Жуковским, соотечественники мои могли подозревать низкую и преступную сатиру — на того, кто некогда внушил мне следующие стихи, конечно недостойные великой тени, но искренние и излиянные из души.

Перед гробницею святой  
Стою с поникшею главою...  
Всё спит кругом; одни лампы  
Во мраке храма золотят  
Столбов гранитные громады  
И их знамен нависший ряд.

Под ними спит сей властелин,  
Сей идол северных дружин,  
Маститый страж страны державной,

Смиритель всех ее врагов,  
Сей остальной из стаи славной  
Екатерининских орлов.

В твоём гробу восторг живет!  
Он русский глас нам издает;  
Он нам твердит о той године,  
Когда народной веры глас  
Воззвал к святой твоей седине:  
«Иди, спасай!» Ты встал — и спас...

и проч.

1836

А. С. Пушкин

## 19

Александр Пушкин. Легкомыслен, ветрен, не опрятен, нерадив; впрочем добродушен, усерден, учтив, имеет особенную страсть к поэзии.

*Гувернер Г. С. Чириков. Свойства и поведение воспитанников Императорского Лицея.  
30 сентября 1813.*

## 20

### К НАТАЛЬЕ

Так и мне узнать случилось,  
Что за птица Купидон;  
Сердце страстное пленилось;  
Признаюсь — и я влюблен!  
Пролетело счастья время,  
Как, любви не зная бремя,  
Я живал да попевал,  
Как в театре и на балах,  
На гуляньях иль в воксалах  
Легким зэфиром летал;  
Как, смеясь во зло Амуру,  
Я писал карикатуру  
На любезный женский пол;

Но напрасно я смеялся,  
Наконец и сам попался,  
Сам, увы! с ума сошел.

(...)

1813

А. С. Пушкин.

## 21

У него есть понимание и даже ум. Он очень искусен, и его заметные успехи являются столько же плодом его суждения, как и его счастливой памяти, что предоставляет ему место среди первых учеников в классе по французскому языку.

*Д. И. де Будри. Рапорт  
на имя директора Лицея. 1813.*

Александр Пушкин. При малом прилежании оказывает очень хорошие успехи, и сие должно приписать только одним прекрасным его дарованиям. В поведении резв, но менее противу прежнего.

*И. К. Кайданов. Ведомость о дарованиях,  
прилежании и успехах воспитанников...  
от 1 ноября 1812 по 1 генв. 1814 г.*

Слаб и успехов приметных не оказал.

*Рапорт Я. И. Карцова. 1814.*

Легкомыслен, ветрен и иногда вспыльчив; впрочем весьма обходителен, остроумен и бережлив. К стихотворству имеет особенную склонность; подает надежду к исправлению.

*Гувернер Г. С. Чириков. 23 сентября 1814.*

## 22

Императорский Царскосельский Лицей имеет честь уведомить, что 4 и 8 числа будущего января месяца, от 10 часов утра до 3 пополудни имеет быть в оном

публичное испытание воспитанников первого приема, по случаю перевода их из младшего в старший возраст.

22 декабря 1814.

## 23

### К ДРУГУ СТИХОТВОРЦУ

(...)

Арист, не тот поэт, кто рифмы плетсть умеет  
И, перьями скрыпя, бумаги не жалеет.  
Хорошие стихи не так легко писать,  
Как Витгенштейну французов побеждать.  
Меж тем как Дмитриев, Державин, Ломоносов,  
Певцы бессмертные, и честь и слава россов,  
Питают здравый ум и вместе учат нас,  
Сколь много гибнет книг, на свет едва родясь!  
Творенья громкие Рифматова, Графова,  
С тяжелым Бибрусом гниют у Глазунова;  
Никто не вспомнит их, не станет вздор читать,  
И Фебова на них проклятия печать.

Положим, что, на Пинд взобравшись счастливо  
Поэтом можешь ты назваться справедливо:  
Все с удовольствием тогда тебя прочтут.  
Но мнишь ли, что к тебе рекой уже текут  
За то, что ты поэт, несметные богатства,  
Что ты уже берешь на откуп государства,  
В железных сундуках червонцы хоронишь  
И, лежа на боку, покойно ешь и спишь?  
Не так, любезный друг, писатели богаты;  
Судьбой им не даны ни мраморны палаты,  
Ни чистым золотом набиты сундуки:  
Лачужка под землей, высоки чердаки —  
Вот пышны их дворцы, великолепны залы,  
Поэтов — хвалят все, питают — лишь журналы;  
Катится мимо их Фортуны колесо;  
Родился наг и наг ступает в гроб Руссо;  
Камознс с нищими постелю разделяет;



Костров на чердаке безвестно умирает,  
Руками чуждыми могиле предан он:  
Их жизнь — ряд горестей, гремяща слава — сон.

⟨...⟩

1814

А. С. Пушкин

## 24

*От издателя* ⟨В. В. Измайлова⟩. Просим сочинителя присланной в «Вестник Европы» пьесы под названием «К другу стихотворцу», как всех других сочинителей, объявить нам свое имя, ибо мы поставили себе законом: не печатать тех сочинений, которых авторы не сообщили нам своего имени и адреса. Но смеем уверить, что мы не употребим во зло право издателя и не откроем тайны имени, когда автору угодно скрыть его от публики.

*Вестник Европы. 18 апреля 1814 (№ 8).*

## 25

К СЕСТРЕ

⟨...⟩

Увы, в монастыре,  
При бледном свеч сиянье,  
Один пишу к сестре.  
Всё тихо в мрачной келье:  
Защелка на дверях,  
Молчанье, враг веселий,  
И скука на часах!  
Стул ветхий, необитый,  
И шаткая постель,  
Сосуд, водой налитый,  
Соломенна свирель —  
Вот всё, что пред собою  
Я вижу, пробужден.  
Фантазия, тобою  
Одной я награжден...

⟨...⟩

Увлечен в даль судьбою,  
Я вдруг в глухих стенах,  
Как Леты на берегах,  
Явился заключенным,  
Навеки погребенным,  
И скрыпнули врата,  
Сомкнувшись за мною,  
И мира красота  
Оделась черной мглою!..  
С тех пор гляжу на свет,  
Как узник из темницы  
На яркий блеск денницы.  
Светило ль дня взойдет,  
Луч кинув позлащенный  
Сквозь узкое окно,  
Но сердце помраченно  
Не радуется оно.  
Иль позднею порою,  
Как луч на небесах,  
Покрытых чернотою,  
Темнеет в облаках,—  
С унынием встречаю  
Я сумрачную тень  
И с вздохом провожаю  
Скрывающийся день!..  
Сквозь слез смотрю в решетки,  
Перебирая четки.

Но время протечет,  
И с каменных ворот  
Падут, падут затворы,  
И в пышный Петроград  
Через долины, горы  
Ретивые примчат;  
Спеша на новоселье,  
Оставлю темну келью,  
Поля, сады свои ⟨...⟩

## 26

## ОПЫТНОСТЬ

Кто с минуту переможет  
Хладным разумом любовь,  
Бремя тягостных оков  
Ей на крылья не возложит,  
Пусть не смейся, не резвись,  
С строгой мудростью дружись;  
Но с рассудком вновь заступишь,  
Хоть не рад, но дверь отворишь,  
Как проказливый Эрот  
Постучится у ворот.

Испытал я сам собою  
Истину сих правых слов.  
«Добрый путь! прости, любовь!  
За богинею слепую,  
Не за Хлоей, полечу,  
Счастье, счастье ухвачу!» —  
Мнил я в гордости безумной,  
Вдруг услышал хохот шумный,  
Оглянулся... и Эрот  
Постучался у ворот.

Нет! Мне, видно, не придется  
С богом сим в размолвке жить,  
И покамест жизни нить  
Старой Паркой там прядется,  
Пусть владеет мною он!  
Веселиться — мой закон.  
Смерть откроет гроб ужасный,  
Потемнеют взоры ясны.  
И не стукнется Эрот  
У могильных уж ворот!

## 27

## БОВА

Часто, часто я беседовал  
С болтуном страны Эллинския  
И не смел осиплым голосом  
С Шапеленом и с Рифматовым  
Воспевать героев севера.  
Несравненного Виргилия  
Я читал и перечитывал,  
Не стараясь подражать ему  
В нежных чувствах и гармонии.  
Разбирал я немца Клопштока  
И не мог понять премудрого!  
Не хотел я воспевать, как он;  
Я хочу, чтоб меня поняли  
Все от мала до великого.  
За Мильтоном и Камознсом  
Опасался я без крил парить:  
Не дерзал в стихах бессмысленных  
Херувимов жарить пушками,  
С сатаною обитать в раю,  
Иль святую богородицу  
Вместе славить с Афродитою.  
Не бывал я греховодником!  
Но вчера, в архивах роясь,  
Отыскал я книжку славную,  
Золотую, незабвенную,  
Катехизис остроумия,  
Словом: Жанну Орлеанскую.  
Прочитал,—и в восхищении  
Про Бову пою царевича.

О Вольтер! о муж единственный!  
Ты, которого во Франции  
Почитали богом неким,  
В Риме дьяволом, антихристом,  
Обезьяною в Саксонии!  
Ты, который на Радищева

Кинул было взор с улыбкою,  
Будь теперь моею музою!  
Петь я тоже вознамерился,  
Но сравняюсь ли с Радищевым?

⟨...⟩

1814

*А. С. Пушкин*

28

MON PORTRAIT

Vous me demandez mon portrait,  
Mais peint d'après nature;  
Mon cher, il sera bientôt fait,  
Quoique en miniature.

Je suis un jeune polisson,  
Encore dans les classes;  
Point sot, je le dis sans façon  
Et sans fades grimaces.

Onc il ne fut de babillard,  
Ni docteur en Sorbonne—  
Plus ennuyeux et plus braillard,  
Que moi-même en personne.

Ma taille à celles des plus longs  
Ne peut être égalée;  
J'ai le teint frais, les cheveux blonds  
Et la tête bouclée.

J'aime et le monde et son fracas,  
Je hais la solitude;  
J'abhorre et noises, et débats,  
Et tant soit peu l'étude.

Spectacles, bals me plaisent fort,  
Et d'après ma pensée.  
Je dirais ce que j'aime encore...  
Si n'étais au Lycée.

Après celà, mon cher ami,  
L'on peut me reconnaître:  
Oui! tel que le bon Dieu me fit,  
Je veux toujours paraître.

Vrai démon pour l'espièglerie,  
Vrai singe par sa mine,  
Beaucoup et trop d'étourderie.  
Ma foi, voilà Pouchkine.

1814

А. С. Пушкин

Перевод:

МОЙ ПОРТРЕТ

Вы просите у меня мой портрет,  
Но списанный с натуры;  
Дорогой мой, он сейчас же будет готов,  
Но только в миниатюре.

Я молодой повеса,  
Еще на школьной скамье;  
Не глуп, говорю без стеснения  
И без жеманного кривлянья.

Никогда не было болтуна,  
Ни доктора Сорбонны —  
Надоедливее и крикливее,  
Чем я, собственной своей персоной.

По росту я с самыми долговязыми  
Вряд ли могу равняться;  
У меня свежий цвет лица, русые волосы  
И кудрявая голова.

Я люблю толпу и ее шум,  
Одиночество ненавижу;  
Мне претят ссоры и споры,  
А отчасти и учение.

Спектакли, балы мне очень нравятся,  
И, коли уж признаваться,  
Я сказал бы, что еще люблю...  
Если бы не был в Лицее.

По всему этому, мой милый друг,  
Меня можно узнать.  
Да, таким, как бог меня сотворил,  
Я хочу всегда казаться.

Сущий бес в проказах,  
Сущая обезьяна лицом,  
Много, слишком много ветрености—  
Вот каков Пушкин.

## 29

## ВОСПОМИНАНИЯ В ЦАРСКОМ СЕЛЕ

Навис покров угрюмой ночи  
На своде дремлющих небес;  
В безмолвной тишине почили дол и рощи,  
В седом тумане дальний лес;  
Чуть слышится ручей, бегущий в сень дубравы,  
Чуть дышит ветерок, уснувший на листьях,  
И тихая луна, как лебедь величавый,  
Плывет в сребристых облаках.

С холмов кремнистых водопады  
Стекают бисерной рекой,  
Там в тихом озере плескаются няяды  
Его ленивою волной;  
А там в безмолвии огромные чертоги,  
На своды опершись, несутся к облакам.  
Не здесь ли мирны дни вели земные боги?  
Не се ль Минервы росской храм?

Не се ль Элизиум полночный,  
Прекрасный Царскосельский сад,  
Где, льва сразив, почил орел России мощный  
На лоне мира и отрад?  
Промчались навсегда те времена златые,  
Когда под скипетром великия жены  
Венчалась славою счастливая Россия,  
Цветя под кровом тишины!

Здесь каждый шаг в душе рождает  
Воспоминая прежних лет;  
Возрев вокруг себя, со вздохом росс вещает:  
«Исчезло всё, великой нет!»  
И, в думу углублен, над злачными берегами  
Сидит в безмолвии, склоня ветрам слух.  
Протекишие лета мелькают пред очами,  
И в тихом восхищенье дух.

Он видит: окружен волнами,  
Над твердой, мшистою скалой  
Вознесся памятник. Ширяся крылами,  
Над ним сидит орел молодой.  
И цепи тяжкие, и стрелы громовые  
Вкруг грозного столпа трикратно обвились;  
Кругом подножия, шумя, валы седые  
В блестящей пене улеглись.

В тени густой угрюмых сосен  
Воздвигся памятник простой.  
О, сколь он для тебя, кагульский брег, поносен!  
И славен родине драгой!  
Бессмертны вы вовек, о росски исполины,  
В боях воспитанны средь бранных непогод!  
О вас, сподвижники, друзья Екатерины,  
Пройдет молва из рода в род.

О, громкий век военных споров,  
Свидетель славы россиян!  
Ты видел, как Орлов, Румянцев и Суворов,  
Потомки грозные славян,  
Перуном Зевсовым победу похищали;  
Их смелым подвигам страхась дивился мир;  
Державин и Петров героям песнь бряцали  
Струнами громозвучных лир.

И ты промчался, незабвенный!  
И вскоре новый век узрел  
И брани новые, и ужасы военны;  
Страдать — есть смертного удел.  
Блеснул кровавый меч в неукротимой длани  
Коварством, дерзостью венчанного царя;  
Восстал вселенной бич — и вскоре новой брани  
Зарделась грозная заря.



И быстрым понеслись потоком  
Враги на русские поля.  
Пред ними мрачна степь лежит во сне глубоком,  
Дымится кровию земля;  
И села мирные, и грады в мгле пылают,  
И небо заревом оделось вокруг,  
Леса дремучие бегущих укрывают,  
И праздный в поле ржавит плуг.

Идут — их силе нет препоны,  
Все рушат, все ввергают в прах,  
И тени бледные погибших чад Беллоны,  
В воздушных съединясь полках,  
В могилу мрачную нисходят непрерывно  
Иль бродят по лесам в безмолвии ночи...  
Но клики раздались!.. идут в дали туманной! —  
Звучат кольчуги и мечи!..

Страшись, о рать иноплеменных!  
России двинулись сыны;  
Восстал и стар и млад; летят на дерзновенных,  
Сердца их мщеньем зажжены.  
Вострепещи, тиран! уж близок час паденья!  
Ты в каждом ратнике узришь богатыря,  
Их цель иль победить, иль пасть в пылу сраженья  
За Русь, за святость алтаря.

Ретивы кони бранью пышут,  
Усеян ратниками дол,  
За строем строй течет, все мезью, славой дышат,  
Восторг во грудь их перешел.  
Летят на грозный пир; мечам добычи ищут,  
И се — пылает брань; на холмах гром гремит,  
В сгущенном воздухе с мечами стрелы свищут,  
И брызжет кровь на щит.

Сразились. Русский — победитель!  
И вспять бежит надменный галл;  
Но сильного в боях небесный вседержитель  
Лучом последним увенчал,  
Не здесь его сразил воитель поседелый;  
О бородинские кровавые поля!  
Не вы неистовству и гордости пределы!  
Увы! на башнях галл Кремля!..

Края Москвы, края родные,  
 Где на заре цветущих лет  
 Часы беспечности я тратил золотые,  
 Не зная горестей и бед,  
 И вы их видели, врагов моей отчизны!  
 И вас багрила кровь и пламень пожирал!  
 И в жертву не принес я мщенья вам и жизни;  
 Вотще лишь гневом дух пылал!..

Где ты, краса Москвы стоголовой,  
 Родимой прелесть стороны?  
 Где прежде взору град являлся величавый,  
 Развалины теперь одни;  
 Москва, сколь русскому твой зрак унылый страшен!  
 Исчезли здания вельможей и царей,  
 Всё пламень истребил. Венцы затмились башен,  
 Чертоги пали богачей.

И там, где роскошь обитала  
 В сенистых рощах и садах,  
 Где мирт благоухал и липа трепетала,  
 Там ныне угли, пепел, прах.  
 В часы безмолвные прекрасной, летней ночи  
 Веселье шумное туда не полетит,  
 Не блещут уж в огнях берега и светлы рощи;  
 Всё мертво, всё молчит.

Утешься, мать градов России,  
 Возри на гибель прищлеца.  
 Отяготела днесь на их надменны выи  
 Десница мстящая творца.  
 Взгляни: они бегут, озреться не дерзают,  
 Их кровь не престаёт в снегах реками течь;  
 Бегут—и в тьме ночной их глад и смерть сретают,  
 А с тыла гонит русский меч.

О вы, которых трепетали  
 Европы сильны племена,  
 О галлы хищные! и вы в могилы пали.  
 О страх! о грозны времена!  
 Где ты, любимый сын и счастья и Беллоны,  
 Презревший правды глас, и веру, и закон,  
 В гордыне возмечтав мечом низвергнуть троны?  
 Исчез, как утром страшный сон!

В Париже росс! — где факел мщенья?  
Поникни, Галлия, главой.  
Но что я вижу? Росс с улыбкой примиренья  
Грядет с оливою златой.  
Еще военный гром грохочет в отдаленье,  
Москва в унынии, как степь в полнощной мгле,  
А он — несет врагу не гибель, но спасенье  
И благотворный мир земле.

О скальд России вдохновенный,  
Воспевший ратных грозный строй,  
В кругу товарищей, с душой воспламененной,  
Греми на арфе золотой!  
Да снова стройный глас героям в честь прольется,  
И струны гордые посыпят огонь в сердца,  
И ратник молодой вскипит и содрогнется  
При звуках бранного певца.

1814

А. С. Пушкин

## 30

Державина видел я только однажды в жизни, но никогда того не забуду. Это было в 1815 году, на публичном экзамене в Лицее. Как узнали мы, что Державин будет к нам, все мы взволновались. Дельвиг вышел на лестницу, чтоб дожидаться его и поцеловать ему руку, руку, написавшую «Водопад». Державин приехал. Он вошел в сени, и Дельвиг услышал, как он спросил у швейцара: где, братец, здесь нужник? Этот прозаический вопрос разочаровал Дельвига, который отменил свое намерение и возвратился в залу. Дельвиг это рассказывал мне с удивительным простодушием и веселостию. Державин был очень стар. Он был в мундире и в плисовых сапогах. Экзамен наш очень его утомил. Он сидел, подперши голову рукою. Лицо его было бессмысленно, глаза мутны, губы отвислы: портрет его (где представлен он в колпаке и халате) очень похож. Он дремал до тех пор, пока не начался экзамен в русской словесности. Тут он оживился, глаза заблестали; он преобразился весь. Разумеется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поми-

нотно хвалили его стихи. Он слушал с живостью необыкновенной. Наконец вызвали меня. Я прочел мои «Воспоминания в Царском Селе», стоя в двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния души моей: когда дошел я до стиха, где упоминаю имя Державина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с упоительным восторгом...

Не помню, как я кончил свое чтение, не помню, куда убежал. Державин был в восхищении; он меня требовал, хотел меня обнять... Меня искали, но не нашли...

*А. С. Пушкин. Воспоминания. Державин. 1835.*

## 31

*И. И. Пущин.*

ИЗ «ЗАПИСОК О ПУШКИНЕ»

На публичном нашем экзамене Державин, державным своим благословением, увенчал юного нашего поэта. Мы все, друзья-товарищи его, гордились этим торжеством. Пушкин тогда читал свои «Воспоминания в Царском Селе». В этих великолепных стихах затронуто все живое для русского сердца. Читал Пушкин с необыкновенным оживлением.

Слушая знакомые стихи, мороз по коже пробегал у меня. Когда же патриарх наших певцов в восторге, со слезами на глазах бросился целовать его и осенил кудрявую его голову, мы все, под каким-то неведомым влиянием, благоговейно молчали. Хотели сами обнять нашего певца, его не было: он убежал!.. Все это уже рассказано в печати. (...)

1858.

## 32

К ПУЩИНУ

(...)

Дай бог, чтоб я, с друзьями  
Встречая сотый май,  
Покрытый сединами,

Сказал тебе стихами:  
Вот кубок; наливай!

1815            А. С. Пушкин

## 33

## МЕЧТАТЕЛЬ

(...)

Нашел в глуши я мирный кров  
И дни веду смиренно;  
Дана мне лира от богов,  
Поэту дар бесценный;  
И муза верная со мной:  
Хвала тебе, богиня!  
Тобою красен домик мой  
И дикая пустыня.

На слабом утре дней златых  
Певца ты осенила,  
Венком из миртов молодых  
Чело его покрыла,  
И, горним светом озарясь,  
Влетела в скромну келью  
И чуть дышала, преклонясь  
Над детской колыбелью.

О, будь мне спутницей младой  
До самых врат могилы!  
Летай с мечтаньем надо мной,  
Расправя легки крылы;  
Гоните мрачную печаль,  
Пленяйте ум... обманом,  
И милой жизни светлу даль  
Кажите за туманом!

И тих мой будет поздний час;  
И смерти добрый гений  
Шепнет, у двери постучась:  
«Пора в жилище теней!..»

Так в зимний вечер сладкий сон  
Приходит в мирны сени,  
Венчаный маком и склонен  
На посох томной лени...

1815

*А. С. Пушкин*

## 34

## МОЯ ЭПИТАФИЯ

Здесь Пушкин погребен; он с музой молодою,  
С любовью, леностью провел веселый век;  
Не делал доброго, однако ж был душою,  
Ей-богу, добрый человек.

1815

*А. С. Пушкин*

## 35

## К ДЕЛЬВИГУ

Послушай, муз невинных  
Лукавый духовник:  
Жилец полей пустынных,  
Поэтов грешный лик  
Умножил я собою,  
И я главой поник  
Пред милою мечтою;  
Мой дядюшка-поэт  
На то мне дал совет  
И с музами сосватал.  
Сначала я шалил,  
Шутя стихи кроил,  
А там их напечатал,  
И вот теперь я брат  
Бестолкову пустому,  
Тому, сему, другому,  
Да я ж и виноват!

Спасибо за посланье —  
Но что мне пользы в том?

На грешника потом  
Ведь станут в посмеянье  
Указывать перстом!  
Изменник! с Аполлоном  
Ты, видно, заодно;  
А мне прослыть Прадоном  
Отныне суждено.  
Везде беды застану!  
Увы, мне, метроману,  
Куда сокроюсь я?  
Предатели-друзья  
Невинное творенье  
Украдкой в город шлют  
И плод уединенья  
Тисненью предают,—  
Бумагу убивают!  
Поэта окружают  
С улыбкой остряки.  
«Ах, сударь! мне сказали,  
Вы пишете стишки;  
Увидеть их нельзя ли?  
Вы в них изображали,  
Конечно, ручейки,  
Конечно, василечек,  
Иль тихий ветерочек,  
И рощи, и цветки...»

О Дельвиг! начертали  
Мне музы мой удел;  
Но ты ль мои печали  
Умножить захотел?  
В объятиях Морфея  
Беспечный дух лелея,  
Еще хоть год один  
Позволь мне полениться  
И негой насладиться,—  
Я, право, неги сын!  
А там, хоть нет охоты,  
Но придут уж заботы  
Со всех ко мне сторон:  
И буду принужден  
С журналами сражаться,

С газетой торговаться,  
С Графовым восхищаться...  
Помилуй, Аполлон!

1815

А. С. Пушкин

## 36

## МОЕМУ АРИСТАРХУ

(...)

Помилуй, сжался надо мной —  
Не нужны мне твои уроки.  
Я знаю сам свои пороки,  
Конечно, беден гений мой:  
За рифмой часто холостой,  
На зло законам сочетанья,  
Бегут трестопные толпой  
На *аю*, *ает* и на *ой*.  
Еще немногие признанья:  
Я ставлю (кто же без греха?)  
Пустые часто восклицанья,  
И сряду лишних три стиха;  
Нехорошо, но оправданья  
Нельзя ли скромно принести?  
Мои летучие посланья  
В потомстве будут ли цвести?  
Не думай, цензор мой угрюмый,  
Что я, беснуясь по ночам,  
Окован стихотворной думой,  
Покою жертвую стихам;  
Что, бегая по всем углам,  
Ерошу волосы клоками,  
Подобно Фебовым жрецам  
Сверкаю грозными очами,  
Едва дыша, нахмуря взор,  
И, засветив свою лампаду,  
За шаткий стол, кряхтя, засяду,  
Сижусь, сижу три ночи сряду  
И высижусь — трестопный вздор.  
Так пишет (молвить не в укор)  
Конюший дряхлого Пегаса  
Свистов, Хлыстов или Графов,



Служитель отставной Парнаса,  
Родитель стареньких стихов,  
И од не слишком громозвучных,  
И сказочек довольно скучных.

Люблю я праздность и покой,  
И мне досуг совсем не бремя;  
И есть и пить найду я время.  
Когда ж нечаянной порой  
Стихи кропать найдет охота,  
На славу Дружбы иль Эрота,—  
Тотчас я труд окончу свой.  
Сижу ли с добрыми друзьями,  
Лежу ль в постеле пуховой,  
Брожу ль над тихими водами  
В дубраве темной и глухой,  
Задумаюсь, взмахну руками,  
На рифмах вдруг заговорю—  
И никого уж не морю  
Моими резвыми стихами...  
Но ежели когда-нибудь,  
Желая в неге отдохнуть,  
Расположась перед камином,  
Один, свободным господином,  
Поймаю прежнюю мысль мою,—  
То не для имени поэта  
Мараю два иль три куплета  
И их вполголоса пою.

Но знаешь ли, о мой гонитель,  
Как я беседую с тобой?  
Беспечный Пинда посетитель,  
Я с музой нежусь молодой...  
Уж утра яркое светило  
Поля и рощи озарило;  
Давно пропели петухи,  
Вполглаза дремля и зевая,  
Шапеля в песнях призывая,  
Пищу короткие стихи,  
Среди приятного забвенья  
Склонясь в подушку головой,  
И в простоте, без украшения,  
Мои слагаю извиненья  
Немного сонною рукой.

Под сенью лени неизвестной  
 Так нежился певец прелестный,  
 Когда Вер-Вера воспевал  
 Или с улыбкой рисовал  
 В непринужденном упоенье  
 Уединенный свой чердак.  
 В таком ленивом положенье  
 Стихи текут и так и сяк.  
 Возможно ли в свое творенье,  
 Уняв веселых мыслей шум,  
 Тогда вперять холодный ум,  
 Отделкой портить небылицы,  
 Плоды бродящих резвых дум,  
 И сокращать свои страницы?

⟨...⟩

1815

А. С. Пушкин

### 37

ДНЕВНИК. 1815

29 ноября.

Итак я счастлив был, итак я наслаждался,  
 Отрадой тихою, восторгом упивался...  
 И где веселья быстрый день?  
 Промчался летом сновиденья,  
 Увяла прелесть наслажденья,  
 И снова вокруг меня угрюмой скуки тень!..

Я счастлив был!.. нет, я вчера не был счастлив;  
 поутру я мучился ожиданьем, с неописанным вол-  
 неньем стоя под окошком, смотрел на снежную доро-  
 гу—ее не видно было! Наконец я потерял надежду,  
 вдруг нечаянно встречаюсь с нею на лестнице,— слад-  
 кая минута!..

---

Он пел любовь, но был печален глас,  
 Увы! он знал любви одну лишь муку!

Жуковский.

Как она мила была! как черное платье пристало к милой Бакуниной!

Но я не видел ее 18 часов — ах! какое положение, какая мука! — — —

Но я был счастлив 5 минут — —

10 декабря.

Вчера написал я третью главу «Фатама, или Разума человеческого: Право естественное». Читал ее С.С. и вечером с товарищами тушил свечки и лампы в зале. Прекрасное занятие для философа! — Поутру читал «Жизнь Вольтера».

Начал я комедию — не знаю, кончу ли ее. Третьего дни хотел я начать ироическую поэму «Игорь и Ольга», а написал эпиграмму на Шаховского, Шихматова и Шишкова, — вот она:

Угрюмых тройка есть певцов:  
Шихматов, Шаховской, Шишков.  
Уму есть тройка супостатов:  
Шишков наш, Шаховской, Шихматов.  
Но кто глупей из тройки злой?  
Шишков, Шихматов, Шаховской!

Летом напишу я «Картину Царского Села».

1. Картина сада.
2. Дворец. *День в Царском Селе.*
3. Утреннее гулянье.
4. Полуденное гулянье.
5. Вечернее гулянье.
6. *Жители Царского Села.*

Вот главные предметы всedневных моих записок. Но это еще *будущее*.

17 декабря.

Вчера провел я вечер с Иконниковым.

Хотите ли видеть странного человека, чудака, — посмотрите на Иконникова. Поступки его — поступки сумасшедшего; вы входите в его комнату, видите высокого, худого человека, в черном сертуке,

с шеей, окутанной черным изорванным платком. Лицо бледное, волосы не острижены, не расчесаны; он стоит задумавшись, кулаком нюхает табак из коробочки, он дико смотрит на вас — вы ему близкий знакомый, вы ему родственник или друг — он вас не узнает, вы подходите, зовете его по имени, говорите свое имя — он вскрикивает, кидается на шею, целует, жмет руку, хохочет задушевым голосом, кланяется, садится, начинает речь, не доканчивает, трет себе лоб, ерошит голову, вздыхает. Перед ним карафин воды; он наливает стакан и пьет, наливает другой, третий, четвертый, спрашивает еще воды и еще пьет, говорит о своем бедном положении. Он не имеет ни денег, ни места, ни покровительства, ходит пешком из Петербурга в Царское Село, чтобы осведомиться о каком-то месте, которое обещал ему какой-то шарлатан. Он беден, горд и дерзок, рассыпается в благодареньях за ничтожную услугу или простую учтивость, неблагодарен и даже сердится за благодеянье, ему оказанное, легкомыслен до чрезвычайности, мнителен, чувствителен и честолюбив. Иконников имеет дарованья, пишет изрядно стихи и любит поэзию; вы читаете ему свою пиесу — наотрез говорит он: такое-то место глупо, без смысла, низко; зато за самые посредственные стихи кидается вам на шею и называет вас гением. Иногда он учтив до бесконечности, в другое время груб нестерпимо. Его любят — иногда, смешит он часто, а жалок почти всегда.

*А. С. Пушкин*

## 38

### *И. И. Пущин.*

ИЗ «ЗАПИСОК О ПУШКИНЕ»

Пушкин, с самого начала, был раздражительнее многих и потому не возбуждал общей симпатии: это удел эксцентрического существа среди людей. Не то чтобы он разыгрывал какую-нибудь роль между нами или поражал какими-нибудь особенными странностями, как это было в иных; но иногда неуместными

шутками, неловкими колкостями сам ставил себя в затруднительное положение, не умея потом из него выйти. Это вело его к новым промахам, которые никогда не ускальзывают в школьных сношениях. Я, как сосед (с другой стороны его номера была глухая стена), часто, когда все уже засыпали, толковал с ним вполголоса через перегородку о каком-нибудь вздорном случае того дня; тут я видел ясно, что он по щекотливости всякому вздору приписывал какую-то важность, и это его волновало. Вместе мы, как умели, сглаживали некоторые шероховатости, хотя не всегда это удавалось. В нем была смесь излишней смелости с застенчивостью, и то и другое невпопад, что тем самым ему вредило. Бывало, вместе промахнемся, сам вывернешься, а он никак не сумеет этого уладить. Главное, ему недоставало того, что называется *тактом*, это — капитал, необходимый в товарищеском быту, где мудрено, почти невозможно, при совершенно бесцеремонном обращении уберечься от некоторых неприятных столкновений повседневной жизни. Все это вместе было причиной, что вообще не вдруг отозвались ему на его привязанность к лицейскому кружку, которая с первой поры зародилась в нем, не проявляясь, впрочем, свойственную ей иногда пошлостью. Чтоб полюбить его настоящим образом, нужно было взглянуть на него с тем полным благорасположением, которое знает и видит все неровности характера и другие недостатки, мирится с ними и кончает тем, что полюбит даже и их в друге-товарище. Между нами как-то это скоро и незаметно устроилось. (...)

При самом начале — он наш поэт. Как теперь вижу тот послеобеденный класс Кошанского, когда, окончив лекцию несколько раньше урочного часа, профессор сказал: «Теперь, господа, будем пробовать перья: опишите мне, пожалуйста, розу стихами». Наши стихи вообще не клеились, а Пушкин мигом прочел два четверостишия, которые всех нас восхитили. Жаль, что не могу припомнить этого первого поэтического его лепета. Кошанский взял рукопись к себе. Это было чуть ли не в 1811 году, и никак не позже первых месяцев 12-го. (...)

Пушкин потом постоянно и деятельно участвовал во всех лицейских журналах, импровизировал так

называемые народные песни, точил на всех эпитаграммы и проч. Естественно, он был во главе литературного движения, сначала в стенах Лицея, потом и вне его, в некоторых современных московских изданиях. <...>

<...> надо сказать: все профессора смотрели с благоговением на растущий талант Пушкина. В математическом классе вызвал его раз Карцов к доске и задал алгебраическую задачу. Пушкин долго переминался с ноги на ногу и все писал молча какие-то формулы. Карцов спросил его наконец: «Что ж вышло? Чему равняется икс?» Пушкин, улыбаясь, ответил: *нулю!* «Хорошо! У вас, Пушкин, в моем классе все кончается нулем. Садитесь на свое место и пишите стихи». Спасибо и Карцову, что он из математического фанатизма не вел войны с его поэзией. Пушкин охотнее всех других классов занимался в классе Куницына, и то совершенно по-своему: уроков никогда не повторял, мало что записывал, а чтобы переписывать тетради профессоров (печатных руководств тогда еще не существовало), у него и в обычае не было; все делалось без подготовки, с листа. <...>

<...> У дворцовой гауптвахты, перед вечерней зарей, обыкновенно играла полковая музыка. Это привлекало гуляющих в саду, разумеется, и нас, *неизбежный Лицей*, как называли иные нашу шумную, движущуюся толпу. Иногда мы проходили к музыке дворцовым коридором, в который между другими помещениями был выход и из комнат, занимаемых фрейлинами императрицы Елизаветы Алексеевны. Этих фрейлин было тогда три: Плюскова, Валуева и княжна Волконская. У Волконской была премиленькая горничная Наташа. Случалось, встретясь с нею в темных переходах коридора, и полюбезничать; она многих из нас знала, да и кто не знал Лицея, который мозолил глаза всем в саду?

Однажды идем мы, растянувшись по этому коридору маленькими группами. Пушкин, на беду, был один, слышит в темноте шорох платья, воображает, что непременно Наташа, бросается поцеловать ее самым невинным образом. Как нарочно, в эту минуту отворяется дверь из комнаты и освещает сцену: перед ним сама княжна Волконская. Что делать ему? Бежать без оглядки; но этого мало, надобно поправить дело,

а дело неладно! Он тотчас рассказал мне про это, присоединясь к нам, стоявшим у оркестра. Я ему посоветовал открыться Энгельгардту и просить его защиты. Пушкин никак не соглашался довериться директору и хотел написать княжне извинительное письмо. Между тем она успела пожаловаться брату своему П. М. Волконскому, а Волконский — государю.

Государь на другой день приходит к Энгельгардту. «Что ж это будет? — говорит царь. — Твои воспитанники не только снимают через забор мои наливные яблоки, бьют сторожей (...), но теперь уже не дают проходу фрейлинам жены моей». Энгельгардт, своим путем, знал о неловкой выходке Пушкина, может быть, и от самого Петра Михайловича, который мог сообщить ему это в тот же вечер. Он нашелся и отвечал императору Александру: «Вы меня предупредили, государь, я искал случая принести вашему величеству повинную за Пушкина; он, бедный, в отчаянии: приходил за моим позволением письменно просить княжну, чтоб она великодушно простила ему это неумышленное оскорбление». Тут Энгельгардт рассказал подробности дела, стараясь всячески смягчить вину Пушкина, и присовокупил, что сделал уже ему строгий выговор и просит разрешения насчет письма. На это ходатайство Энгельгардта государь сказал: «Пусть пищет, уж так и быть, я беру на себя адвокатство за Пушкина; но скажи ему, чтоб это было в последний раз. Старая дева, быть может, в восторге от ошибки молодого человека, между нами говоря», — шепнул император, улыбаясь, Энгельгардту. Пожал ему руку и пошел догонять императрицу, которую из окна увидел в саду.

Таким образом, дело кончилось необыкновенно хорошо. Мы все были рады такой развязке, жалея Пушкина и очень хорошо понимая, что каждый из нас легко мог попасть в такую беду. Я, с своей стороны, старался доказать ему, что Энгельгардт тут действовал отлично: он никак не сознавал этого, все уверяя меня, что Энгельгардт, защищая его, сам себя защищал. Много мы спорили; для меня оставалось неразрешенною загадкой, почему все внимания директора и жены его отвергались Пушкиным; он никак не хотел видеть его в настоящем свете, избегая всякого

сближения с ним. Эта несправедливость Пушкина к Энгельгардту, которого я душой полюбил, сильно меня волновала. Тут крылось что-нибудь, чего он никак не хотел мне сказать; наконец я перестал настаивать, предоставляя все времени. Оно одно может вразумить в таком непонятном упорстве. <...>

1858

39

*С. Д. Комовский.*

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ДЕТСТВЕ ПУШКИНА

А. С. Пушкин, при поступлении в Императорский Царскосельский Лицей, отличался в особенности необыкновенною своею памятью и превосходным знанием французского языка и словесности. Ему стоило только прочесть раза два страницу какого-нибудь стихотворения, и он мог уже повторить оное наизусть без малейшей ошибки. Будучи еще двенадцати лет от роду, он не только знал на память все лучшие творения французских поэтов, но даже сам писал довольно хорошие стихи на этом языке. Упражнения в словесности французской и российской были всегда любимыми занятиями Пушкина, в коих он наиболее успевал. Кроме того, он охотно учился и наукам историческим, но не любил политических и ненавидел математические; почему всегда находился в числе последних воспитанников второго разряда и при выпуске из Лицея получил чин 10-го класса. Не только в часы отдыха от учения в рекреационной зале, на прогулках в очаровательных садах Царского Села, но нередко в классах и даже во время молитвы, Пушкину приходили в голову разные политические вымыслы, и тогда лицо его то помрачалось, то прояснялось, смотря по роду дум, кои занимали его в сии минуты вдохновения. Вообще он жил более в мире фантазии. Набрасывая же свои мысли на бумагу, везде, где мог, а всего чаще во время математических уроков, от нетерпения он грыз обыкновенно перо и, насупя брови, на-



дувши губы, с огненным взглядом читал про себя написанное.

Пушкин вообще был не очень словоохотлив и на вопросы товарищей своих отвечал обыкновенно лаконически. Любимейшие разговоры его были о литературе и об авторах, особенно с теми из товарищей, кои тоже писали стихи, как, например, барон Дельвиг, Илличевский, Кюхельбекер (но над неудачною страстью последнего к поэзии он любил часто подшучивать).

Из лицейских профессоров и гувернеров никто в особенности Пушкина не любил и ничем не отличал от других воспитанников. Все, однако ж, с удовольствием слушали его сатиры и эпиграммы насчет других. Так, например, профессор математики Карцов от души смеялся его пиитическим шуткам над лицейским доктором Пешелем, который, в свою очередь, охотно слушал его же насмешки над профессором математики. Один только профессор российской и латинской словесности Кошанский, заметя необыкновенную и преимущественную склонность Пушкина к поэзии, сначала всячески старался отвлечь и удержать его от писания стихов, частью, быть может, потому что сам писал и печатал стихи, в которых боялся соперничества, провидя в воспитаннике своем возникающего вновь Гения. Но когда будущий успех сего нового таланта сделался слишком очевидным, тогда тот же самый профессор употребил все средства, чтобы, ознакомив его, как можно лучше, с теориею языка отечественного и с классическою словесностию древних, разделить со временем литературную славу своего ученика. (...)

Вне Лицея он знаком был только с семейством знаменитого историографа нашего Карамзина, к коему во всю жизнь питал особенное уважение, и с некоторыми гусарами, жившими в то время в Царском Селе (как-то: Каверин, Молоствов, Соломирский, Сабуров и др.). Вместе с сими последними Пушкин любил подчас, тайно от своего начальства, приносить некоторые жертвы Бахусу и Венере, волочась за хорошенькими актрисами графа В. Толстого и за субретками приезжавших туда на лето семейств; причем проявлялись в нем вся пылкость и сладострастие африкан-

ской его крови. Одно прикосновение его к руке танцующей производило в нем такое электрическое действие, что невольно обращало на него всеобщее внимание во время танцев.

Но первую платоническую, истинно пиитическую любовь возбудила в Пушкине сестра одного из лицейских товарищей его (фрейлина Е. П. Бакунина). Она часто навещала брата и всегда приезжала на лицейские балы. Прелестное лицо ее, дивный стан и очаровательное обращение произвели всеобщий восторг во всей лицейской молодежи. Пушкин, с пламенным чувством молодого поэта, живыми красками изобразил ее волшебную красоту в стихотворении своем под названием «К живописцу». Стихи сии очень удачно положены были на ноты лицейским товарищем его Яковлевым и постоянно петы не только в Лицее, но и долго по выходе из оною. Вообще воспоминания Пушкина о счастливых днях детства были причиною, что он во всех своих стихотворениях, и до конца жизни, всегда с особым удовольствием отзывался о Лицее, о Царском Селе и о товарищах своих по месту воспитания. Это тем замечательнее, что учебные подвиги его, как выше объяснено, не очень были блистательны.

1851

## 40

*М. А. Корф.*

---

### ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

В Лицее он решительно ничему не учился, но как и тогда уже блистал своим дивным талантом, а начальство боялось его едких эпиграмм, то на его эпикурейскую жизнь смотрели сквозь пальцы, и она отозвалась ему только при конце лицейского поприща выпуском его одним из последних. Между товарищами, кроме тех, которые, пописывая сами стихи, искали его одобрения и, так сказать, покровительства, он не пользовался особенной приязнью. Как в школе всякий имеет свой собрикет, то мы его прозвали

«французом», и хотя это было, конечно, более вследствие особенного знания им французского языка, однако, если вспомнить тогдашнюю, в самую эпоху нашествия французов, ненависть ко всему, носившему их имя, то ясно, что это прозвание не заключало в себе ничего лестного. Вспыльчивый до бешенства, с необузданными африканскими (как его происхождение по матери) страстями, вечно рассеянный, вечно погруженный в поэтические свои мечтания, избалованный от детства похвалою и льстецами, которые есть в каждом кругу, Пушкин ни на школьной скамье, ни после, в свете, не имел ничего привлекательного в своем обращении. Беседы ровной, систематической, связной у него совсем не было; были только вспышки: резкая острота, злая насмешка, какая-нибудь внезапная поэтическая мысль, но все это только изредка и урывками, большею же частью или тривиальные общие места, или рассеянное молчание, прерываемое иногда, при умном слове другого, диким смехом, чем-то вроде лошадиного ржания. {...}

Устав о Лицее сочинял Сперанский, тогда государственный секретарь и на высшем апогее доверия к нему императора Александра. У нас в руках подлинное письмо его о том к старику Масальскому, отцу нынешнего литератора, от 4 февраля 1815 года. Упавший Сперанский оканчивал тогда свое заточение в селе своем Великополье близ Новгорода, и на вопрос Масальского, в какое бы заведение поместить ему сына, отвечал советом отдать мальчика в Лицей, прибавляя: «Училище сие образовано и устав его написан мною, хотя и присвоили себе работу сию другие. Не без самолюбия скажу, что оно соединяет в себе несравненно более выгод, нежели все наши университеты».

— Помещение для Лицея отведено было собственно во дворце по особенной совсем причине, именно потому, что и весь Лицей образован был для воспитания в нем царских братьев великих князей: Николая и Михаила Павловичей. Начальная о том идея не получила своего осуществления только потому, что при самом открытии Лицея, т. е. в конце 1811 г., отношения наши к Наполеону представлялись уже в самых грозных красках и мысли Императора Александра

приняли другое направление. Это я имел счастье неоднократно слышать сам и от императора Николая Павловича и от великого князя Михаила Павловича. Его величество называл меня иногда в шутку: «mon camarade manqué». \*

— В. Ф. Малиновский был человек добрый и с образованием, хотя несколько семинарским, но слишком простодушный, без всякой людскости, слабый и вообще не созданный для управления какою-нибудь частью, тем более высшим учебным заведением. Значение свое он получил, кажется, от того, что был женат на дочери известного протоиерея Андрея Афанасьевича Самборского, сперва священника при церкви нашего посольства в Лондоне, потом законоучителя и духовника великих князей Александра и Константина Павловичей и наконец духовника великой княгини Александры Павловны, по вступлении ее в брак с эрцгерцогом палатином венгерским. Есть впрочем вся вероятность думать, что и в выборе Малиновского не обошлось без участия тогдашнего государственного секретаря Сперанского, который издавна был очень близок к Самборским и в их доме впервые познакомился с тою, которая после сделалась его женою: сиротою бедного английского пастора Стивенса.

— Лицей содержался богато только сначала, но после ничуть не богаче других тогдашних учебных заведений и, конечно, беднее нежели, в то время, пажеский корпус. Вначале нам сделали прекрасные синие мундиры из тонкого сукна, с теперешним воротником, и при них белые панталоны в обтяжку с ботфортами и треугольными шляпами, и сверх того для будней синие форменные сюртуки с красными воротниками. Но когда настала война 1812 года с ее огромными расходами, заставившими, вероятно, сократить и штатную сумму Лицея, все это стало постепенно отпадать. Сперва, вместо белых панталон с ботфортами, явились серые брюки; потом, вместо треугольных шляп, фуражки; наконец, вместо форменных синих сюртуков, серые статского покроя, чем

\* мой несостоявшийся одноклассник (фр.)

особенно мы очень обижались, потому что такая же форма была тогда и для малолетних придворных певчих вне службы. Впоследствии хотя и восстановились синие форменные сюртуки, но все прочее осталось как порешил роковой 1812-й год, а сверх того, казенное платье было так плохо и шилось на такие долгие сроки, что все, кому сколько-нибудь дозволили средства, имели свое, прочие же и в дворцовую церковь являлись в заплатках. Стол — за обедом три, а в праздники четыре, и за ужином два блюда — никогда не был хорошим, а иногда бывал и чрезвычайно дурным, хотя одно время готовил его, чем очень хвастались, повар, служивший некогда Суворову (...)

— Лицей был устроен на ногу высшего, окончательного училища, а принимали туда, по уставу, мальчиков от 10-ти до 14-ти лет, с самыми ничтожными предварительными сведениями. Нам нужны были сперва *начальные* учителя, а дали тотчас *профессоров*, которые, притом, сами никогда нигде еще не преподавали. Нас надобно было разделить, по летам и по знаниям, на классы, а посадили *всех вместе* и читали, например, немецкую литературу тому, кто едва знал немецкую азбуку. Нас — по крайней мере в последние три года — надлежало специально готовить к будущему нашему назначению, а вместо того, до самого конца, для всех продолжался какой-то *общий* курс, полугимназический и полууниверситетский, *обо всем на свете*: математика с дифференциалами и интегралами, астрономия в широком размере, церковная история, даже высшее богословие — все это занимало у нас столько же, иногда и более времени, нежели правоведение и другие науки политические. Лицей был в то время не университетом, не гимназией, не начальным училищем, а какою-то безобразною смесью *всего этого вместе* и, вопреки мнению Сперанского, смею думать, что он был заведением не соответствовавшим ни своей *особенной*, ни вообще *какой-нибудь* цели (...)

— Кто не хотел учиться, тот мог вполне предаваться самой изысканной лени, но кто и хотел, тому не много открывалось способов, при неопытности, неспособности или равнодушии большей части пре-

подавателей, которые столько же далеки были от исполнения устава, сколько и вообще от всякой рациональной системы преподавания. В следующие курсы, когда они пообтерлись на нас, дело пошло, я думаю, складнее: но, несмотря на то, наш выпуск, более всех запущенный, по результатам своим вышел едва ли не лучше всех других, по крайней мере несравненно лучше всех современных ему училищ. Одного имени Пушкина довольно, чтобы обессмертить этот выпуск; но и кроме Пушкина, мы, из ограниченного числа 29-ти воспитанников, поставили по несколько очень достойных людей почти на все пути общественной жизни. Как это сделалось, трудно дать ясный отчет: по крайней мере ни наставникам нашим, ни надзирателям не может быть приписана слава такого результата. Мы мало учились в классах, но много в чтении и в беседе, при беспрестанном трении умов, при совершенном отсечении от нас всякого внешнего рассеяния. Основательного, глубокого, в наших познаниях было, конечно, не много; но поверхностно мы имели идею обо всем, и были очень богаты блестящим *всезнанием*, которым так легко и теперь, а тогда было еще легче, отыгрываться в России. Многому мы, разумеется, должны были доучиваться уже после Лицея, особенно у кого была собственная охота к науке и кто, как например я, оставил школьную скамью в 17 лет.(...)

— Эффект войны 1812 г. на лицейстов был действительно необыкновенный. Не говоря уже о жадности, с которою пожиралась и комментировалась каждая реляция, не могу не вспомнить горячих слез, которые мы проливали над Бородинскою битвою, выдававшуюся тогда за победу, но в которой мы инстинктивно видели другое, и над падением Москвы. Как гордился бывало я, видя почти в каждой реляции имя генерал-адъютанта барона Корфа, одного из отличнейших в то время кавалерийских генералов, и какое взамен слез пошло у нас общее ликованье, когда французы двинулись из Москвы! Впрочем, стихи Пушкина:

Вы помните: текла за ратью рать;  
Со старшими мы братьями прощались, и пр.

были не поэтической прикрасою. Весною и летом 1812 года почти ежедневно шли через Царское Село

войска и нас особенно поражал вид тогдашней дружины с крестами на шапках и иррегулярных казачьих полков с бородами. Под осень нас самих стали собирать в поход. Предполагалось, в опасении неприятельского нашествия и на северную столицу, перевести Лицей куда-то дальше на север, кажется в Архангельскую губернию, или в Петрозаводск. Явился Мальгин примерять нам китайчатые тулупы на овечьем меху; но победы Витгенштейна скоро возвратили нас опять к нашим форменным шинелям и поход не состоялся(...)

— Живо помню праздник, данный в Павловске, по возвращении императора Александра из Парижа, в нарочно устроенном для того императрицею-матерью при «розовом павильоне» большом зале. Сперва был балет на лугу перед этим павильоном, где декорации образовались из живой зелени, а задняя стена представляла окрестности Парижа и Монмартр с его ветряными мельницами, работы славного декоратора Гонзаго. Потом был бал в сказанной большой зале, убранной сверху до низу чудесными розовыми гирляндами — произведением воспитанниц Смольного монастыря, — теми же самыми гирляндами, которые и теперь еще, старые и поблеклые, украшают старую и полуразвалившуюся залу... Наш «Агамемнон», низложитель Наполеона, миротворец Европы, сиял во всем величии, какое только доступно человеку; кругом его блестящая молодежь, в эполетах и аксельбантах, едва только возвратившаяся из Парижа с самыми свежими лаврами, пожатými не на одном только поле битв, и среди этой пестрой, ликующей толпы счастливая Мать, гордящаяся своим Сыном и его Россиею... Как все это свежо еще в моей памяти, даже до красного кавалергардского мундира, в котором танцевал государь, — и где все это осталось после сорока лет!.. Нас, скромных зрителей, привели из Царского Села полюбоваться этими диковинками, разумеется, пешком. На балет мы смотрели из сада, на бал — с окружавшей (и теперь еще окружающей) залу галереи. Потом повели обратно, точно так же пешком, без чаю, без яблочка, без стакана воды. Еще сохранилась в моей памяти от этого праздника одна, совершенно противоположная сцена, оставившая сильное впечатление в моем отроческом уме. Несмотря на наш поход и на присут-

ствие при празднике все время на ногах, мы пробыли тут до самого конца. Когда царская фамилия удалась, подъезд наполнился множеством важных лиц в мундирах, в звездах, в пудре, ожидавших своих карет, и для нас начался новый спектакль — разъезд. Вдруг из этой толпы вельмож раздается по несколько раз зов одного и того же голоса: «холоп! холоп!!!»... Как дико и странно звучал этот клич из времен царей с бородами, в сравнении с тем утонченным европейским праздником, которого мы только что были свидетелями!{...}

— Император Александр был при нас в Лицее всего только *два раза*: при открытии Лицея и при нашем выпуске. Когда определили директором Энгельгардта, к которому государь питал в то время особое благоволение и с которым часто разговаривал, тогда и новый директор и мы, по его словам, долго питали надежду на высочайшее посещение, но она не сбылась. Зато мы очень часто встречали государя в саду и еще чаще видали его проходящим мимо наших окон к дому г-жи Вельо; наконец, видели его и всякое воскресенье в придворной церкви, где для Лицея было отведено особое место за левым крылосом, впереди остальной публики. Но он никогда не говорил с нами, ни в массе, ни с кем-либо порознь. Бывало только в летние вечера 1816 и 1817 гг., при Энгельгардте, когда мы имели уже постоянный хор и певали у директора на балконе, государь подходил к садовой решетке близ лестницы у дворцовой церкви и, облокотясь на нее, слушал по несколько минут наше пение.

1854.



# Глава третья



1816 • 1817

Простите, игры первых лет!  
Я изменился, я поэт...

1830

Поэзия бывает исключительною страстию немногих, родившихся поэтами; она объемлет и поглощает все наблюдения, все усилия, все впечатления их жизни...

1825

В программе автобиографических записок (гл. 2, № 1) обратите внимание на слово «Безначалие». После смерти Малиновского Лицеум управлял преподаватель немецкой словесности Гауеншильд — личность во всех отношениях непривлекательная, лицейским ненавистная. В конце концов его вынуждены были убрать. После короткого «царствования» инспектора С. С. Фролова в январе 1816 г. во главе Лицея был поставлен Егор Антонович Энгельгардт, до того бывший директором Петербургского педагогического института. Это был человек глубоко порядочный, образованный, небесталанный, верный своему делу и детям, вверенным его попечению. Но сразу же возникло первое противоречие: перед ним оказались не дети, а юноши, спешившие в жизнь, но не за парту. Кое-кто был настолько предан первому директору, что не хотел принять нового, другие вообще не склонны были признавать педагогическую власть над собой. И всё же большинство воспитанников Энгельгардт кротостью и воспитательными приемами «приручил». Но не Пушкина. Лишенный воображения, не воспринимавший юмора, а тем более — иронии, Егор Антонович видел в остроумии Пушкина цинизм, а в насмешках — злую душу. Поэтические его успехи директор всерьез не принимал. Вот и появилась такая характеристика (не официальная, а в бумагах Энгельгардта): «Ум

Пушкина, не имея ни пронизательности, ни глубины,— совершенно поверхностный, французский ум. Это еще самое лучшее, что можно сказать о Пушкине. Его сердце холодно и пусто, в нем нет ни *любви*, ни *религии*: может быть, оно так пусто, как еще никогда не бывало юношеское сердце. Нежные и юношеские чувства унижены в нем воображением, оскверненным всеми эротическими произведениями французской литературы, которые он при поступлении в Лицей знал почти наизусть, как достойное приобретение первоначального воспитания». Насчет религии Энгельгардт, в общем, был прав. Об этом в 1817 г. написал в альбом Илличевскому сам Пушкин:

Ах! ведает мой добрый гений,  
 Что предпочел бы я скорей  
 Бессмертию души моей  
 Бессмертие своих творений.

А что касается любви — вот тут-то Егору Антоновичу не дано было понять юношеское сердце. Как раз в то время, когда записывал в черновой блокнот новый директор свою убийственную характеристику, Пушкин первой нежной любовью полюбил сестру соученика — Е. П. Бакунину. В черновых строках восьмой главы «Онегина» остановлены эти мгновения:

Когда тревожить начинала  
 Мне сердце смутная печаль,  
 Когда таинственная даль  
 Мои мечтанья увлекала...

Семейство Бакуниных провело в Царском все лето 1816 г., а к осени вернулось в Петербург. Ближайший лицейский друг Пушкина Антон Дельвиг писал родным 6 октября 1816 г.: «Сад сетует, не видя прелестных петербургских дам, которые целое лето жили в Царском Селе, и срывает с себя зеленую одежду. Мы ходим под шумом опустошенных деревьев и забавляем себя прошедшим и будущим. Так мы по нескольку часов слушали громкую музыку гусарского полка, теперь все молчит и отвечает грустными и пустынными видами нашему сердцу». Пушкин в те же дни написал одну из лучших своих лицейских элегий

«Осеннее утро» (№ 4), обращенную к Бакуниной. Более десяти лицейских произведений — в основном элегии 1816 г. — посвящено Бакуниной. «Первая любовь всегда дело чувствительности: чем она глупее, тем больше оставляет по себе чудесных воспоминаний» — так вспомнил об этих днях Пушкин в 1830 г. Как далеко это было от «оскверненного воображения», в котором упрекнул шестнадцатилетнего Пушкина Энгельгардт!

В бессмертие творений Энгельгардт не верил. Он верил в плоды наук и еще в верховую езду и плавание, которые ввел в Лицее в качестве обязательных предметов, наняв специально для этого берейтора и матроса. Школьные рамки для возмужавшего гения становились тесными. Между тем появился новый циркуляр бюрократического свойства: «Ведомости об успехах воспитанников подавать постоянно и в означенные сроки и означать в оных успехи и прилежание в науках, равно как и поведение цифрами, приняв в основание 1, для отличных успехов; 2, очень хороших; 3, хороших; 4, посредственных и 0 за выражение отсутствия всякого знания, успехов, равно для означения дурного поведения». Так что рассказанная Пушкиным история о том, как математик упрекнул поэта: «У вас, Пушкин, в моем классе все кончается нулем», — имеет не столько математический, сколько конкретный бюрократический смысл.

Лето и осень 1816 г. скрапивались для Пушкина возможностью постоянно бывать у Карамзиных и быть свидетелем создания, а то и слушателем глав «Истории государства Российского» (№ 6). Остальное время проходило в творчестве (отнодь не ученическом), в общении с друзьями, любовных мечтаниях о Е. П. Бакуниной. Но все же Лицей, так много доброго давший лицеистам, для многих изживал сам себя. Это поняло и начальство, решившее ускорить выпуск, перенеся его с октября на май. Экзамены обставлялись серьезно. Было решено, что испытания по всем предметам, изучавшимся на протяжении шести лет, пройдут в зале Конференции Лицея с 15 мая до 1 июня, с 8 утра до 12 дня и, после перерыва, с 4 до 8 вечера. Учащиеся присутствовали на экзаменах постоянно, слушая ответы друг друга; профессорам

вменялось в обязанность пригласить на экзамены ученых из Петербурга по их разумению и выбору. 15 мая сдавали латинский язык; 16-го — закон божий; 17-го — российскую словесность; 18-го — немецкую; 19-го — французскую; 21-го — географию и статистику иностранную; 22-го — историю всеобщую и в особенности трех последних веков; 23-го — политическую экономию и финансы; 24-го — право естественное и публичное; 25-го — право гражданское и уголовное; 26-го — географию и статистику отечественную; 28-го — чистую математику; 29-го — прикладную математику; 30-го — полевую и долговременную фортификацию и часть артиллерии; 31-го — физику. За всеми частными испытаниями последовал общий публичный экзамен. Народу на нем собралось много, в том числе взволнованные родители учеников — с непрерывным участием Сергея Львовича. По результатам экзаменов должны были быть определены предпочтения при назначении на службу.

Пожалуй, только одному из лицейских было все равно, как сложится карьера: призвание ведь уже сложилось, и это было ясно ему самому:

Равны мне писари, уланы,  
Равны законы, кивера,  
Не рвусь я грудью в капитаны  
И не ползу в ассессора.

Вообще говоря, Пушкин все же высказал свое пожелание: поступить в гусарский полк. Но Сергей Львович на гвардейское обмундирование поспешил и соглашался только на поступление сына в армейскую часть. Остальное Пушкину уже было все равно. Но распределяющие по должностям, не приняв во внимание неординарных особенностей Александра Пушкина, нам теперь столь ясных, определили его во второй разряд окончивших с чином 10-го класса (коллежский секретарь) для прохождения службы по министерству иностранных дел. Имя его в списке выпускников — четвертое с конца. 9 июня в Лицее состоялся выпускной акт в присутствии государя, самолично раздавшего медали и похвальные листы. Все закончилось довольно скромно — пением «Прощальной песни», сочиненной Дельвигом на музыку

лицейского преподавателя Теппера. На другой день бывших лицейстов распустили по домам. Тем, кто победнее, и среди них Пушкину, пошили первую чиновничью экипировку на казенный счет...

Всего в Лицее, по подсчетам пушкинистов, поэт написал 132 стихотворения; сначала Пушкин собирался включить в свой первый сборник 41 из них; но сборник не вышел ни в 1818-м, ни в 1820-м, как намечалось, а в 1825—26 гг., когда Пушкин получил возможность, наконец, готовить к печати свою первую книгу лирики, он внес большую правку, оставил из лицейских опытов всего лишь несколько: «Пробуждение» (Мечты, мечты, // где ваша сладость); «Друзьям» («Богами вам еще даны...»); «Гроб Анакреона» («Всё в таинственном молчанье...»); «Певец» («Слышали ль вы за рощей глас ночной...»); «Амур и Гименей» («Сегодня, добрые мужья...»); «Разлука» («В последний раз, в сени уединенья...»); «Лицинию» («Лициний, зришь ли ты: на быстрой колеснице...»); «Шишкову» («Шалун, увенчанный Эратой и Венерой»); Дельвигу («Любовью, дружеством и ленью...») и другие. Эти стихи в совокупности с теми, что Пушкин по разным соображениям не перепечатывал, составляют такое богатство лирики, которого не знала до него русская поэзия. Вот что такое лицейские годы в его творчестве!

Как мы знаем, на переводном — с младшего на старший курс — лицейском экзамене в январе 1815 г. Державин старческим взором разглядел и угасающим слухом расслышал своего преемника, «второго Державина», как он сказал. После экзамена был обед, где присутствовал и Сергей Львович. Министр заметил польщенному отцу Пушкина: «Я желал бы образовать вашего сына в прозе». На что Державин с жаром возразил: «Оставьте его поэтом». То же ощущение «оставить поэтом» возникало по отношению к Пушкину и у Жуковского, также считавшегося преемником Державина — пока не появился Пушкин. Жуковский, познакомившись с Пушкиным, писал Вяземскому: «Это надежда нашей словесности. Боюсь только, чтобы он, вообразив себя зрелым, не помешал себе созреть! Нам всем надобно соединиться, чтобы помочь вырасти этому будущему гиганту, который всех нас перерастет. Ему надобно непременно учиться и

учиться не так, как мы учились! Боюсь я за него этого убийственного Лицея — там учат дурно. Учение, худо предлагаемое, теряет прелесть для молодой, пылкой души, которой приятнее творить, нежели трудиться и собирать материал для солидного здания. Он истощит себя». Хотя Жуковский несправедлив к Лицею, он справедлив к Пушкину. Лицей — это необходимо подчеркнуть еще раз — необычайно много давший Пушкину, истощил себя для поэта чуть раньше окончания курса. Пушкин уходил в жизнь.

\* \* \*

Способность и стремление *вспоминать* — одна из важных черт Пушкина-поэта, неразделимого с Пушкиным-человеком. В сущности, этой особенности Пушкина посвящен весь наш сборник. Но если спросить, где зародилась, где развилась, где напиталась соками поэзии, реальной жизни, истории эта страсть к сопоставлению прошлого, настоящего и будущего, — ответ окажется один: в Царском Селе. Как мы знаем, юноша Пушкин рвался из лицейского заточения на вольный путь жизни. Это друг его, тихий и меланхолический Дельвиг, сразу же после Лицея написал:

Не мило мне на новоселье,  
Здесь все уныло, там — цвело.  
Одно и есть мое веселье —  
Увидеть Царское Село.

Пушкин, как видно из письма Вяземскому (№ 1), дожидаться не мог, когда отворится тяжелая дверь кельи. Но уже в 1819 г. он сладким воспоминанием улетал в места, «где с первой юностью младенчество сливалось»; а позже — в 1825 г. создал великие стихи — гимн дружескому воспоминанию — «Роняет лес багряный свой убор...» (№ 14). И все последующие строфы к лицейским годовщинам — вплоть до последней, предсмертной (№ 21) — разве все это не воспоминание?

Лицейские воспоминания были светлыми и звали жить, любить и трудиться, не то что многие удары последующих лет, вызвавшие к жизни «Воспоминание» (1828).

Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,  
Теснится тяжких дум избыток;  
Воспоминание безмолвно предо мной  
Свой длинный развивает свиток;

И с отвращением читая жизнь мою,  
Я трепещу и проклиная,  
И горько жалуясь, и горько слезы лью,  
Но строк печальных не смываю.

И вскоре же, в 1829-м побывав на «месте своего воспитания» — в Лицее:

Я думал о тебе, предел благословенный,  
Воображал сии сады.

Воображал сей день счастливый,  
Когда средь вас возник Лицей,  
И слышал наших игр я снова шум игривый  
И вижу вновь семью друзей.

Прочитайте эти стихи полностью и вы увидите, как изменился тон, колорит воспоминаний, — темные и глухие в 1828-м, они стали светлыми и звонкими в 1829-м. Этим преображением чувств Пушкин обязан паломничеству в Царское Село. Уж тем одним был бы бессмертен Лицей, что такие творения вызвал он к бытию.

В конце прошлого — начале нынешнего века в Царском Селе жил и трудился прекрасный поэт и критик, «последний из царскосельских лебедей», Иннокентий Федорович Анненский. Сам воздух этого города был напоен пушкинской темой. Анненский писал:

«Именно здесь в этих гармонических чередованиях тени и блеска; лазури и золота; воды, зелени и мрамора; старины и жизни, в этом изящном сочетании природы с искусством Пушкин еще на пороге юношеского возраста мог найти все элементы той строгой красоты, которой он остался навсегда верен и в очертаниях образов, и в естественности переходов, и в изяществе контрастов (...), и даже в строгости ритмов (...)

Вы скажете: он видел после Кавказ, море, степи. Не обесценивая впечатлений южного периода, я позволил бы себе заметить, что Пушкин любовался грандиозными картинами гор и волн после того, как глаз

его воспитался на спокойно и изящно-величавых контурах царскосельских садов. Этого мало: в Царском Селе поэта окружали памятники нашего недавнего прошлого, в нем еще жил своей грандиозной и блестящей красотой наш восемнадцатый век, и Пушкин должен был тем живее чувствовать славу и обаяние недавних подвигов русского оружия, что его первые царскосельские годы совпали с событиями Отечественной войны. Не отсюда ли, не из этих ли садов, не от этих ли памятников, простых и строгих, но много говоривших сердцу впечатлительного юноши, идут те *величавые* образы, которые так бесконечно разнообразны на страницах его поэзии?»

*Воспоминания* о Лицее и лицейских товарищах, написанные в разные годы, составляют основное содержание пушкинских стихов, вошедших в документальную подборку к 3-й главе. Здесь же некоторые свидетельства последних лицейских лет — письмо его к Вяземскому; письма лицеистов Илличевского и Горчакова; сюда же показалось не лишним включить донесения правительственных агентов о вредоносности лицейского духа — они освещают проблему Лицея, так сказать, «от противного», обнаруживая огромную прогрессивную роль этого учреждения и немалое мужество его руководителей.





## 1

⟨...⟩ Что сказать вам о нашем уединении? Никогда Лицей (или Ликей, только, ради бога, не *Лицея*) не казался мне так несносным, как в нынешнее время. Уверяю вас, что уединенье в самом деле вещь очень глупая, назло всем философам и поэтам, которые притворяются, будто бы живали в деревнях и влюблены в безмолвие и тишину ⟨...⟩

Правда, время нашего выпуска приближается; остался год еще. Но целый год еще плюсов, минусов, прав, налогов, высокого, прекрасного!.. целый год еще дремать перед кафедрой... это ужасно. Право, с радостью согласился бы я двенадцать раз перечитать все 12 песен пресловутой «Россиады», даже с присовокупленьем к тому и премудрой критики Мерзлякова, с тем только, чтобы граф Разумовский сократил время моего заточенья.— Безбожно молодого человека держать взаперти и не позволять ему участвовать даже и в невинном удовольствии погреть покойную Академию и Беседу губителей русского слова. Но делать нечего.

Не всем быть можно в ровной доле,  
И жребий с жребием не схож.—

От скуки часто пишу я стихи довольно скучные (а иногда и очень скучные), часто читаю стихотворения, которые их не лучше, недавно говел и исповедовался— всё это вовсе незабавно. Любезный арзамасец! утешьте нас своими посланиями— и обещаю вам если не вечное блаженство, то по крайней мере искреннюю благодарность всего Лицея.⟨...⟩

Пушкин— П. А. Вяземскому. 27 марта 1816 г.  
Из Царского Села в Москву.

## 2

Кстати о Пушкине: он пишет теперь комедию в пяти действиях, в стихах, под названием *Философ*. План довольно удачен — и начало: то есть 1-е действие, до сих пор только написанное, обещает нечто хорошее, — стихи и говорить нечего, а острых слов сколько хочешь! Дай только бог ему терпения и постоянства, что редко бывает в молодых писателях; они то же, что мотыльки, которые недолго на одном цветке покоятся, — которые также прекрасны и также, к несчастью, не постоянны; дай бог ему кончить ее — это первый большой *outrage*, начатый им, — *outrage*, которым он хочет открыть свое поприще на выходе из Лицея. Дай бог ему успеха — лучи славы его будут отсвечиваться в его товарищах.

А. Д. Илличевский — П. Н. Фуссу.  
16 января 1816.

## 3

## К ЖУКОВСКОМУ

Благослови, поэт!.. В тиши парнасской сени  
Я с трепетом склонил пред музами колени,  
Опасною тропой с надеждой полетел,  
Мне жребий вынул Феб, и лира мой удел.  
Страшусь, неопытный, бесславного паденья,  
Но пылкого смирить не в силах я влеченья,  
Не грозный приговор на гибель внемлю я:  
Сокрытого в веках священный судия,  
Страж верный прошлых лет, наперсник муз любимый  
И бледной зависти предмет неколебимый  
Приветливым меня вниманьем ободрил;  
И Дмитрев слабый дар с улыбкой похвалил;  
И славный старец наш, царей певец избранный,  
Крылатым гением и грацией венчанный,  
В слезах обнял меня дрожащею рукой  
И счастье мне предрек, незнаемое мной.  
И ты, природою на песни обреченный!  
Не ты ль мне руку дал в завет любви священный?

Могу ль забыть я час, когда перед тобой  
Безмолвный я стоял, и молнийной струей  
Душа к возвышенной душе твоей летела  
И, тайно съединясь, в восторгах пламенела,—  
Нет, нет! решился я — без страха в трудный путь,  
Отважной верою исполнилася грядь.

(...)

1816

А. С. Пушкин

4

ОСЕННЕЕ УТРО

Поднялся шум; свирелью полевой  
Оглашено мое уединенье,  
И с образом любовницы драгой  
Последнее слетело сновиденье.  
С небес уже скатилась ночи тень,  
Взошла заря, блистает бледный день —  
А вокруг меня глухое запустенье...  
Уж нет ее... я был у берегов,  
Где милая ходила в вечер ясный;  
На берегу, на зелени лугов  
Я не нашел чуть видимых следов,  
Оставленных ногой ее прекрасной.  
Задумчиво бродя в глуши лесов,  
Произносил я имя несравненной;  
Я звал ее — и глас уединенный  
Пустых долин позвал ее в дали.  
К ручью пришел, мечтами привлеченный;  
Его струи медлительно текли,  
Не трепетал в них образ незабвенный.  
Уж нет ее!.. До сладостной весны  
Простился я с блаженством и с душою.  
Уж осени холодною рукою  
Главы берез и лип обнажены,  
Она шумит в дубравах опустелых;  
Там день и ночь кружится желтый лист,  
Стоит туман на волнах охладелых,  
И слышится мгновенный ветра свист.  
Поля, холмы, знакомые дубравы!

Хранители священной тишины!  
 Свидетели моей тоски, забавы!  
 Забыты вы... до сладостной весны!

1816

А. С. Пушкин

## 5

Так как мы уже заговорили о поэзии, то скажу вам, что ваши знакомцы по журналам, т. е. наши домашние поэты что-то умолкли, сам Пушкин заленился, видно и на него действует погода. Очень часто ходит он к Карамзину, к нему очень хорошо расположен; не худо было бы, если бы там, в храме вкуса и познаний, он бы почерпнул что-нибудь новое и прекрасное и ознакомил бы на досуге в прекрасных стихах; на нынешнее лето, кажется, надежды мало, да и вообще оно не очень плодородно в Лицее. Все поэты наши дремлют до радостного утра. Пушкина пьесы с три должны быть на днях напечатаны в Вестнике Европы; он давно уже их отправил. В числе трех «Гроб Анакреона», который, я думаю, вам понравится. Недавно составилось из наших поэтов и нескольких рифмачей род маленького общества, которое собирается раз в неделю, обыкновенно в субботу и, садясь в кружок, при чашке кофе, каждый читает маленькие стишки на предмет или, лучше, на слово заданное в прежнем заседании.

А. М. Горчаков — А. Н. Пещурову.  
 10 июля 1816.

## 6

Пушкин свободное время свое во все лето проводил у Карамзина, так что ему стихи на ум не приходили, но так как Карамзин сегодня уезжает совсем, то есть надежда, что в скором времени мы услышим знакомый и приятный голос домашней лиры.

А. М. Горчаков — А. Н. Пещурову  
 20 сент. 1816

## 7

Жуковский прислал Пушкину своего «Певца на Кремле» (которого вы теперь, вероятно уже имеете или читали) с надписью «Поэту товарищу Ал. Серг. Пушкину от сочинителя».

А. М. Горчаков — А. Н. Пещурову  
7 марта 1817

## 8

КНЯЗЮ А. М. ГОРЧАКОВУ

Встречаюсь я с осмнадцатой весной.  
В последний раз, быть может, я с тобой,  
Задумчиво внимая шум дубравный,  
Над озером иду рука с рукой.  
Где вы, лета беспечности недавной?  
С надеждами во цвете юных лет,  
Мой милый друг, мы входим в новый свет;  
Но там удел назначен нам не равный,  
И розно наш оставим в жизни след.  
Тебе рукой Фортуны своенравной  
Указан путь и счастливый и славный,—  
Моя стезя печальна и темна;

⟨...⟩

А мой удел... но пасмурным туманом  
Зачем же мне грядущее скрывать?  
Увы! нельзя мне вечным жить обманом  
И счастья тень, забывшись, обнимать.  
Вся жизнь моя — печальный мрак ненастья.

⟨...⟩

Твоя заря — заря весны прекрасной;  
Моя ж, мой друг, — осенняя заря.  
Я знал любовь, но я не знал надежды,  
Страдал один, в безмолвии любил.  
Безумный сон покинул томны вежды,  
Но мрачные я грезы не забыл.  
Душа полна невольной, грустной думой;

Мне кажется: на жизненном пиру  
Один с тоской явлюсь я, гость угрюмый,  
Явлюсь на час — и одинок умру.  
И не придет друг сердца незабвенный  
В последний миг мой томный взор сомкнуть,  
И не придет на холм уединенный  
В последний раз любовию вздохнуть!  
Ужель моя пройдет пустынно младость?  
Иль мне чужда счастливая любовь?  
Ужель умру, не ведая, что радость?  
Зачем же жизнь дана мне от богов?  
Чего мне ждать? В рядах забытый воин,  
Среди толпы затерянный певец,  
Каких наград я в будущем достоин  
И счастья какой возьму венец?

Но что?.. Стыжусь!.. Нет, ропот — униженье.  
Нет, праведно богов определенье!  
Ужель лишь мне не ведать ясных дней?  
Нет! и в слезах сокрыто наслажденье,  
И в жизни сей мне будет утешенье  
Мой скромный дар и счастье друзей.

1817

А. С. Пушкин

## 9

## ТОВАРИЩАМ

Промчались годы заточенья;  
Недолго, мирные друзья,  
Нам видеть кров уединенья  
И Царскосельские поля.  
Разлука ждет нас у порогу,  
Зовет нас дальний света шум,  
И каждый смотрит на дорогу  
С волненьем гордых, юных дум.  
Иной, под кивер спрятав ум,  
Уже в воинственном наряде  
Гусарской саблею махнул —  
В крещенской утренней прохладе  
Красиво мерзнет на параде,  
А греться едет в караул;

Другой, рожденный быть вельможей,  
Не честь, а почести любя,  
У плута знатного в прихожей  
Покорным плутом зрит себя;  
Лишь я, судьбе во всем послушный,  
Счастливой лени верный сын,  
Душой беспечный, равнодушный,  
Я тихо задремал один...  
Равны мне писари, уланы,  
Равны законы, кивера,  
Не рвусь я грудью в капитаны  
И не ползу в ассессора;  
Друзья! немного снисхожденья —  
Оставьте красный мне колпак,  
Пока его за прегрешенья  
Не променял я на шишак,  
Пока ленивому возможно,  
Не опасаясь грозных бед,  
Еще рукой неосторожной  
В июле распахнуть жилет.

1817

А. С. Пушкин

## 10

## СВИДЕТЕЛЬСТВО

Воспитанник Императорского Царскосельского Лицея Александр Пушкин в течение шестилетнего курса обучался в сем заведении и оказал успехи: в Законе Божиим и Священной истории, в Логике и Нравственной философии, в Праве естественном, Частном и Публичном, в Российском гражданском и уголовном *хорошие*; в Латинской словесности, в Государственной экономии и финансах *весьма хорошие*; в Российской и Французской словесности, также в Фехтованье *превосходные*; сверх того занимался Историею, Географиею, Статистикою, Математикою и Немецким языком. Во уверение чего и дано ему от

Конференции Императорского Царскосельского Лицея свидетельство с приложением печати.

*Царское Село июня 9-го дня 1817 года*  
*Директор Лицея Егор Энгельгардт*  
*Конференц-секретарь*  
*профессор Александр Куницын.*

## 11

## ЦАРСКОЕ СЕЛО

Хранитель милых чувств и прошлых наслаждений,  
 О ты, певцу дубрав давно знакомый гений,  
 Воспоминание, рисуй передо мной  
 Волшебные места, где я живу душой,  
 Леса, где я любил, где чувство развивалось,  
 Где с первой юностью младенчество сливалось  
 И где, взлелеянный природой, и мечтой,  
 Я знал поэзию, веселость и покой.  
 Веди, веди меня под липовые сени,  
 Всегда любезные моей свободной лени,  
 На берег озера, на тихий скат холмов!..  
 Да вновь увижу я ковры густых лугов,  
 И дряхлый пук дерев, и светлую долину,  
 И злачных берегов знакомую картину,  
 И в тихом озере, средь блестящих зыбей,  
 Станицу гордую спокойных лебедей.

Другой пускай поет героев и войну,  
 Я скромно возлюбил живую тишину,  
 И, чуждый призраку брестательному славы,  
 Вам, Царского Села прекрасные дубравы,  
 Отныне посвятил безвестный музы друг  
 И песни мирные и сладостный досуг.



## 12

## МУЗА

В младенчестве моем она меня любила  
И семиствольную цевницу мне вручила.  
Она внимала мне с улыбкой—и слегка,  
По звонким скважинам пустого тростника,  
Уже наигрывал я слабыми перстами  
И гимны важные, внушенные богами,  
И песни мирные фригийских пастухов.  
С утра до вечера в немой тени дубов  
Прилежно я внимал урокам девы тайной,  
И, радуя меня наградою случайной,  
Откинув локоны от милого чела,  
Сама из рук моих свирель она брала:  
Тростник был оживлен божественным дыханьем  
И сердце наполнял святым очарованьем.

1821

А. С. Пушкин

## 13

Вы помните ль то розовое поле,  
Друзья мои, где красною весной,  
Оставляя класс, резвились мы на воле  
И тешились отважною борьбой?  
Граф Брогльо был отважнее, сильнее,  
Комовский же—проворнее, хитрее;  
Не скоро мог решиться жаркий бой.  
Где вы, лета забавы молодой?

1821

А. С. Пушкин. *Гаврииллада.*  
*Из ранних редакций.*

## 14

19 ОКТЯБРЯ

Роняет лес багряный свой убор,  
Сребрит мороз увянувшее поле,  
Проглянет день как будто поневоле  
И скроется за край окружающих гор.

Пылай, камин, в моей пустынной келье;  
А ты, вино, осенней стужи друг,  
Пролей мне в грудь отрадное похмелье,  
Минутное забвенье горьких мук.

Печален я: со мною друга нет,  
С кем долгую запил бы я разлуку,  
Кому бы мог пожать от сердца руку  
И пожелать веселых много лет.  
Я пью один; вотще воображенье  
Вокруг меня товарищей зовет;  
Знакомое не слышно приближенье,  
И милого душа моя не ждет.

Я пью один, и на берегах Невы  
Меня друзья сегодня именуют...  
Но многие ль и там из вас пируют?  
Еще кого не досчитались вы?  
Кто изменил пленительной привычке?  
Кого от вас увлек холодный свет?  
Чей глас умолк на братской переключке?  
Кто не пришел? Кого меж вами нет?

Он не пришел, кудрявый наш певец,  
С огнем в очах, с гитарой сладкогласной:  
Под миртами Италии прекрасной  
Он тихо спит, и дружеский резец  
Не начертал над русскою могилой  
Слов несколько на языке родном,  
Чтоб некогда нашел привет унылый  
Сын севера, бродя в краю чужом.

Сидишь ли ты в кругу своих друзей,  
Чужих небес любовник беспокойный?  
Иль снова ты проходишь тропик знойный  
И вечный лед полуночных морей?  
Счастливым путь!.. С лицейского порога  
Ты на корабль перешагнул шутя,  
И с той поры в морях твоя дорога,  
О, волн и бурь любимое дитя!

Ты сохранил в блуждающей судьбе  
Прекрасных лет первоначальны нравы:  
Лицейский шум, лицейские забавы  
Средь бурных волн мечталися тебе;  
Ты простирал из-за моря нам руку,  
Ты нас одних в молодой душе носил  
И повторял: «На долгую разлуку  
Нас тайный рок, быть может, осудил!»

Друзья мои, прекрасен наш союз!  
Он, как душа, неразделим и вечен—  
Неколебим, свободен и беспечен,  
Срастался он под сенью дружных муз.  
Куда бы нас ни бросила судьбина  
И счастье куда б ни повело,  
Всё те же мы: нам целый мир чужбина;  
Отечество нам Царское Село.

Из края в край преследуем грозой,  
Запутанный в сетях судьбы суровой,  
Я с трепетом на лоно дружбы новой,  
Устав, приник ласкающей главой...  
С мольбой моей печальной и мятежной,  
С доверчивой надеждой первых лет,  
Друзьям иным душой предался нежной;  
Но горек был небратский их привет.

И ныне здесь, в забытой сей глуши,  
В обители пустынных вьюг и хлада,  
Мне сладкая готовилась отрада:  
Троих из вас, друзей моей души,  
Здесь обнял я. Поэта дом опальный,  
О Пушкин мой, ты первый посетил;  
Ты усладил изгнанья день печальный,  
Ты в день его Лицея превратил.

Ты, Горчаков, счастливец с первых дней,  
Хвала тебе—фортуны блеск холодный  
Не изменил души твоей свободной:  
Всё тот же ты для чести и друзей.  
Нам разный путь судьбой назначен строгий;  
Ступая в жизнь, мы быстро разошлись:  
Но невзначай проселочной дорогой  
Мы встретились и братски обнялись.

Когда постиг меня судьбины гнев,  
Для всех чужой, как сирота бездомный,  
Под бурею главою поник я томной  
И ждал тебя, вещун пермесских дев,  
И ты пришел, сын лени вдохновенный,  
О Дельвиг мой: твой голос пробудил  
Сердечный жар, так долго усыпленный,  
И бодро я судьбу благословил.

С младенчества дух песен в нас горел,  
И дивное волненье мы познали;  
С младенчества две музы к нам летали,  
И сладок был их лаской наш удел:  
Но я любил уже рукоплесканья,  
Ты, гордый, пел для муз и для души;  
Свой дар, как жизнь, я тратил без вниманья,  
Ты гений свой воспитывал в тиши.

Служенье муз не терпит суеты;  
Прекрасное должно быть величаво:  
Но юность нам советует лукаво,  
И шумные нас радуют мечты...  
Опомнимся — но поздно! и уныло  
Глядим назад, следов не видя там.  
Скажи, Вильгельм, не то ль и с нами было,  
Мой брат родной по музе, по судьбам?

Пора, пора! душевных наших мук  
Не стоит мир; оставим заблужденья!  
Сокроем жизнь под сень уединенья!  
Я жду тебя, мой запоздалый друг —  
Приди; огнем волшебного рассказа  
Сердечные преданья оживи;  
Поговорим о бурных днях Кавказа,  
О Шиллере, о славе, о любви.

Пора и мне... пируйте, о друзья!  
Предчувствую отрадное свиданье;  
Запомните ж поэта предсказанье:  
Промчится год, и с вами снова я,  
Исполнится завет моих мечтаний;  
Промчится год, и я явлюся к вам!  
О, сколько слез и сколько восклицаний,  
И сколько чаш, подъятых к небесам!

И первую полней, друзья, полней!  
И всю до дна в честь нашего союза!  
Благослови, ликующая муза,  
Благослови: да здравствует Лицей!  
Наставникам, хранившим юность нашу,  
Всем честию, и мертвым и живым,  
К устам подъяв признательную чашу,  
Не помня зла, за благо воздадим.

Полней, полней! и, сердцем возгоря,  
Опять до дна, до капли выпивайте!  
Но за кого? о други, угадайте...  
Ура, наш царь! так! выпьем за царя.  
Он человек! им властвует мгновенье.  
Он раб молвы, сомнений и страстей;  
Простим ему неправоe гоненье:  
Он взял Париж, он основал Лицей.

Пируйте же, пока еще мы тут!  
Увы, наш круг час от часу редеет;  
Кто в гробе спит, кто, дальний, сиротеет;  
Судьба глядит, мы вянем; дни бегут;  
Невидимо склоняясь и хладея,  
Мы близимся к началу своему...  
Кому ж из нас под старость день Лицея  
Торжествовать придется одному?

Несчастный друг! среди новых поколений  
Докучный гость и лишний, и чужой,  
Он вспомнит нас и дни соединений,  
Закрыв глаза дрожащею рукой...  
Пускай же он с отрадой, хоть печальной,  
Тогда сей день за чашей проведет,  
Как ныне я, затворник ваш опальный,  
Его провел без горя и забот.

1825

А. С. Пушкин

ИЗ РАННИХ РЕДАКЦИЙ

1

Товарищи! сегодня праздник наш.  
Заветный срок! сегодня там, далече,  
На пир любви, на сладостное вече  
Стеклися вы при звоне мирных чаш.

Вы собрались, мгновенно молодея,  
Усталый дух в минувшем обновить,  
Поговорить на языке Лицея  
И с жизнью вновь свободно пошалить.

## 2

На пир любви душой стремлюся я...  
Вот вижу вас, вот милых обнимаю.  
Я праздника порядок учреждаю...  
Я вдохновен, о, слушайте, друзья:  
Чтоб тридцать мест нас ожидали снова!  
Садитесь, как вы садились там,  
Когда места в сени святого крова  
Отличие предписывало нам.

## 3

Спартанскою душой пленяя нас,  
Воспитанный сурово Минервой,  
Пушкой опять Вольховский сядет первый,  
Последним я, иль Брольо, иль Данзас.  
Но многие не явятся меж нами...  
Пушкой, друзья, пустеет место их.  
Они придут; конечно, над водами  
Иль на холме под сенью лип густых

## 4

Они твердят томительный урок,  
Или роман украдкой пожирают,  
Или стихи влюбленные слагают,  
И позабыт полуденный звонок.  
Они придут! — за праздные приборы  
Усядутся; напелят свой стакан,  
В нестройный хор сольются разговоры,  
И загремит веселый наш пеан.

## 15

19 ОКТЯБРЯ 1827

Бог помочь вам, друзья мои,  
В заботах жизни, царской службы,  
И на пирах разгульной дружбы,  
И в сладких таинствах любви!

Бог помочь вам, друзья мои,  
И в бурях, и в житейском горе,  
В краю чужом, в пустынном море  
И в мрачных пропастях земли!

*А. С. Пушкин*

16

19 ОКТЯБРЯ 1828

Усердно помолившись богу,  
Лицею прокричав ура,  
Прощайте, братцы: мне в дорогу,  
А вам в постель уже пора.

*А. С. Пушкин*

17

\* \* \*

Зорю бьют... из рук моих  
Ветхий Данте выпадает,  
На устах начатый стих  
Недочитанный затих —  
Дух далече улетает.  
Звук привычный, звук живой,  
Сколь ты часто раздавался  
Там, где тихо развивался  
Я давнишнею порой.

1829

*А. С. Пушкин*

18

ВОСПОМИНАНИЯ В ЦАРСКОМ СЕЛЕ

Воспоминаньями смущенный,  
Исполнен сладкою тоской,  
Сады прекрасные, под сумрак ваш священный

Вхожу с поникшею главой.  
Так отрок Библии, безумный расточитель,  
До капли истощив раскаянья фиал,  
Увидев наконец родимую обитель,  
Главой поник и зарыдал.

В пылу восторгов скоротечных,  
В бесплодном вихре суеты,  
О, много расточил сокровищ я сердечных  
За недоступные мечты,  
И долго я блуждал, и часто, утомленный,  
Раскаяньем горя, предчувствуя беды,  
Я думал о тебе, предел благословенный,  
Воображал сии сады.

Воображал сей день счастливый,  
Когда средь вас возник Лицей,  
И слышал наших игр я снова шум игривый  
И вижу вновь семью друзей.  
Вновь нежным отроком, то пылким, то ленивым  
Мечтанья смутные в груди моей тая,  
Скитаясь по лугам, по рощам молчаливым,  
Поэтом забываюсь я.

И въявь я вижу пред собою  
Дней прошлых гордые следы.  
Еще исполнены великою женою,  
Ее любимые сады  
Стоят населены чертогами, вратами,  
Столпами, башнями, кумирами богов,  
И славой мраморной, и медными хвалами  
Екатерининских орлов.

Садятся призраки героев  
У посвященных им столпов,  
Глядите: вот герой, стеснитель ратных строев,  
Перун кагульских берегов.  
Вот, вот могучий вождь полуночного флага,  
Пред кем морей пожар и плавал и летал.  
Вот верный брат его, герой Архипелага,  
Вот наваринский Ганнибал.



Среди святых воспоминаний  
Я с детских лет здесь возростал,  
А глухо между тем поток народной брани  
Уж бесновался и роптал.  
Отчизну обняла кровавая забота,  
Россия двинулась, и мимо нас волной  
Шли тучи конные, брадатая пехота  
И пушек медных светлый строй.

---

На юных ратников взирали,  
Ловили брани дальний звук,  
И детские лета и ..... проклинали  
И узы строгие наук.  
И многих не пришло. При звуке песней новых  
Почили славные в полях Бородина,  
На кульмских высотах, в лесах Литвы суровых,  
Вблизи Монмартра .....

1829

А. С. Пушкин

## 19

## I

В те дни, когда в садах Лицея  
Я безмятежно расцветал,  
Читал охотно Апулея,  
А Цицерона не читал,  
В те дни в таинственных долинах,  
Весной, при кликах лебединых,  
Близ вод, сиявших в тишине,  
Являться муза стала мне.  
Моя студенческая келья  
Вдруг озарилась: муза в ней  
Открыла пир молодых затей,  
Воспела детские веселья,  
И славу нашей старины,  
И сердца трепетные сны.

## II

И свет ее с улыбкой встретил;  
Успех нас первый окрылил;  
Старик Державин нас заметил  
И, в гроб сходя, благословил.

⟨...⟩

«Евгений Онегин». Глава 8.

ИЗ РАННИХ РЕДАКЦИЙ

## I

В те дни, когда в садах Лицея  
Я безмятежно расцветал,  
Читал охотно Елисея,  
А Цицерона проклинал,  
В те дни, как я поэме редкой  
Не предпочел бы мячик меткой,  
Считал схоластику за вздор  
И прыгал в сад через забор,  
Когда порой бывал прилежен,  
Порой ленив, порой упрям,  
Порой лукав, порою прям,  
Порой смирен, порой мятежен,  
Порой печален, молчалив,  
Порой сердечно говорлив,

## II

Когда в забвеньи перед классом  
Порой терял я взор и слух,  
И говорить старался басом,  
И стриг над губой первый пух,  
В те дни... в те дни, когда впервые  
Заметил я черты живые  
Прелестной девы и любовь  
Младую взволновала кровь  
И я, тоскуя безнадежно,  
Томясь обманом пылких снов,  
Везде искал ее следов,  
Об ней задумывался нежно,  
Весь день минутной встречи ждал  
И счастье тайных мук узнал,

## III

В те дни — во мгле дубравных сводов  
Близ вод, текущих в тишине,  
В углах лицейских переходов  
Являться муза стала мне.  
Моя студенческая келья,  
Доселе чуждая веселья,  
Вдруг озарилась! Муза в ней  
Открыла пир своих затей;  
Простите, хладные науки!  
Простите, игры первых лет!  
Я изменился, я поэт,  
В душе моей едины звуки  
Переливаются, живут,  
В размеры сладкие бегут.

## IV

И, первой нежностью томима,  
Мне муза пела, пела вновь  
(*Amorem sanat aetas prima*) \*  
Всё про любовь да про любовь.  
Я вторил ей — молодые други  
В освобожденные досуги  
Любили слушать голос мой.  
Они, пристрастною душой  
Ревнуя к братскому союзу,  
Мне первой поднесли венец,  
Чтоб им украсил их певец  
Свою застенчивую музу.  
О, торжество невинных дней!  
Твой сладок сон душе моей.

## V

И свет ее с улыбкой встретил,  
Успех нас первый окрылил,  
Старик Державин нас заметил  
И, в гроб сходя, благословил.  
И Дмитрев не был наш хулитель;

---

\* Пусть юный возраст поет о любви (лат.).

И быта русского хранитель,  
 Скрижаль оставля, нам внимал  
 И музу робкую ласкал.  
 И ты, глубоко вдохновенный  
 Всего прекрасного певец,  
 Ты, идол девственных сердец,  
 Не ты ль, пристрастьем увлеченный,  
 Не ты ль мне руку подавал  
 И к славе чистой призывал.

В те дни, когда в садах Лицея  
 Я безмятежно расцветал,  
 Читал украдкой Апулея,  
 А над Виргилием зевал,  
 Когда ленился и проказил,  
 По кровле и в окошко лазил,  
 И забывал латинский класс  
 Для алых уст и черных глаз;  
 Когда тревожить начинала  
 Мне сердце смутная печаль,  
 Когда таинственная даль  
 Мои мечтанья увлекала,  
 И летом ..... для дня  
 Будили радостно меня,

Когда французом называли  
 Меня задорные друзья,  
 Когда педанты предрекали,  
 Что ввек повесой буду я,  
 Когда по розовому полю  
 Резвились и бесились вволю,  
 Когда в тени густых аллей  
 Я слушал клики лебедей,  
 На воды светлые взирая,  
 Или когда среди равнин

.....

Кагульский мрамор навеща  
 .....

## 20

\* \* \*

Чем чаще празднует Лицей  
Свою святую годовщину,  
Тем робче старый круг друзей  
В семью стесняется едину,  
Тем реже он; тем праздник наш  
В своем веселии мрачнее;  
Тем глуше звон заздравных чаш  
И наши песни тем грустнее.

Так дуновенья бурь земных  
И нас нечаянно касались,  
И мы средь пиршеств молодых  
Душою часто омрачались;  
Мы возмужали; рок судил  
И нам житейски испытанья,  
И смерти дух средь нас ходил  
И назначал свои закланья.

Шесть мест упраздненных стоят,  
Шести друзей не узрим боле,  
Они разбросанные спят —  
Кто здесь, кто там на ратном поле,  
Кто дома, кто в земле чужой,  
Кого недуг, кого печали  
Свели во мрак земли сырой,  
И надо всеми мы рыдали.

И мнится, очередь за мной,  
Зовет меня мой Дельвиг милый,  
Товарищ юности живой,  
Товарищ юности унылой,  
Товарищ песен молодых,  
Пиров и чистых помышлений,  
Туда, в толпу теней родных  
Навек от нас утекший гений.

Тесней, о милые друзья,  
Тесней наш верный круг составим,  
Почившим песнь окончил я,  
Живых надеждою поздравим,  
Надеждой некогда опять  
В пиру лицейском очутиться,  
Всех остальных еще обнять  
И новых жертв уж не страшиться.

1831

А. С. Пушкин

*ИЗ РАННИХ РЕДАКЦИЙ.*

*Вторая строфа*

Давно ль, друзья... но двадцать лет  
Тому прошло; и что же вижу?  
Того царя в живых уж нет;  
Мы жгли Москву; был плен Парижу;  
Угас в тюрьме Наполеон;  
Воскресла греков древних слава;  
С престола пал другой Бурбон;  
Отбунтовала вновь Варшава.

21

\* \* \*

Была пора: наш праздник молодой  
Сиял, шумел и розами венчался,  
И с песнями бокалов звон мешался,  
И тесною сидели мы толпой.  
Тогда, душой беспечные невежды,  
Мы жили все и легче и смелей,  
Мы пили все за здравие надежды  
И юности и всех ее затей.

Теперь не то: разгульный праздник наш  
С приходом лет, как мы, перебесился,  
Он присмирел, утих, остепенился,  
Стал глуше звон его заздравных чаш;

Меж нами речь не так игриво льется,  
Просторнее, грустнее мы сидим,  
И реже смех средь песен раздается,  
И чаще мы вздыхаем и молчим.

Всему пора: уж двадцать пятый раз  
Мы празднуем Лицея день заветный.  
Прошли года чредою незаметной,  
И как они переменили нас!  
Недаром — нет! — промчалась четверть века!  
Не сетуйте: таков судьбы закон;  
Вращается весь мир вокруг человека,—  
Ужель один недвижим будет он?

Припомните, о други, с той поры,  
Когда наш круг судьбы соединили,  
Чему, чему свидетели мы были!  
Игралища таинственной игры,  
Метались смущенные народы;  
И высились и падали цари;  
И кровь людей то славы, то свободы,  
То гордости багрила алтари.

Вы помните: когда возник Лицей,  
Как царь для нас открыл чертог царицын,  
И мы пришли. И встретил нас Куницын  
Приветствием меж царственных гостей.  
Тогда гроза двенадцатого года  
Еще спала. Еще Наполеон  
Не испытал великого народа —  
Еще грозил и колебался он.

Вы помните: текла за ратью рать,  
Со старшими мы братьями прощались  
И в сень наук с досадой возвращались,  
Завидуя тому, кто умирать  
Шел мимо нас... И племена сразились,  
Русь обняла кичливого врага,  
И заревом московским озарились  
Его полкам готовые снега.

Вы помните, как наш Агамемнон  
 Из пленного Парижа к нам примчался.  
 Какой восторг тогда пред ним раздался!  
 Как был велик, как был прекрасен он,  
 Народов друг, спаситель их свободы!  
 Вы помните — как оживились вдруг  
 Сии сады, сии живые воды,  
 Где проводил он славный свой досуг.

И нет его — и Русь оставил он,  
 Вознесену им над миром изумленным,  
 И на скале изгнанником забвенным,  
 Всему чужой, угас Наполеон.  
 И новый царь, суровый и могучий,  
 На рубеже Европы бодро стал,  
 И над землей сошлись новы тучи,  
 И ураган их.....

1836

А. С. Пушкин

## 22

## НЕЧТО О ЦАРСКОСЕЛЬСКОМ ЛИЦЕЕ И О ДУХЕ ОНОГО

Что значит Лицейский дух.— Откуда и как он произошел.— Какие его последствия и влияние на общество.— Средства к другому направлению юных умов и водворению истинных монархических правил.

1. Что значит Лицейский дух. В свете называется Лицейским духом, когда молодой человек не уважает старших, обходится фамильярно с начальниками, высокомерно с равными, презрительно с низшими, исключая тех случаев, когда для фанфаронады надобно показаться любителем равенства. Молодой вертопрах должен при сем порицать насмешливо все поступки особ, занимающих значительные места, все меры правительства, знать наизусть или сам быть сочинителем эпиграмм, пасквилей и песен предосудительных на русском языке, а на французском — знать все самые дерзкие и возмутительные стихи и места самые сильные из революционных сочинений.



Сверх того он должен толковать о конституциях, палатах, выборах, парламентах; казаться неверующим христианским догматам и более всего представляться филантропом и Русским патриотом. К тому принадлежит также обязанность насмеяться над выправкою и обучением войск, и в сей цели выдуманно ими слово шагистика. Пророчество перемен, хула всех мер или презрительное молчание, когда хвалят что-нибудь, суть отличительные черты сих господ в обществах. Верноподданный значит укоризну на их языке, европеец и либерал — почетные названия. Какая-то насмешливая утрюмость вечно затемняет чело сих юношей и оно проясняется только в часы буйной веселости.

Вот образчик молодых и даже многих не молодых людей, которых у нас довольно число. У лицейских воспитанников, их друзей и приверженцев этот характер называется в свете: Лицейский дух. Для возмужалых людей прибрано другое название: *Mépris souverain pour le genre humain* \*, а в сокращении *mépris*; для третьего разряда, т. е. сильных крикунов, — просто либерал. Например: каков тебе кажется такой-то? Хорош, но с Лицейским душком, или: хорош, но *mépris* или прямо: либерал.

2. (...) Во время самой сильной ферментации умов, в 1811 году новозаведенный Лицей наполнился юношеством из хороших фамилий. Молодым людям преподавали науки хорошие профессора, их одевали чисто, помещали в великолепных комнатах, кормили прекрасно, — но никто не позаботился, даже не подумал, что этому новому рассаднику должно было дать свет и влажность в одинаковой пропорции и не оставлять одни произрастения расти в тени, а другие — на солнце, одни на тучной, другие на бесплодной земле. Все это предоставлено было случаю. Никто не взял на себя труда испытать нравственность каждого ученика (а их было весьма не много), узнать, в чем он имеет недостаток, какую главную страсть, какой образ мыслей, какие понятия о вещах, чтобы, истребляя

\* Глубочайшее презрение к роду человеческому (фр.)

вредное в самом начале, развить понятия в пользу настоящего образа правления и к сей цели направлять все воспитание юношества, назначенного занимать важные места и по своему образованию давать тон между молодыми людьми. Это именно ускользнуло от наставников,—впрочем, людей добрых и благомысленных.

В Царском Селе стоял Гусарский полк, там жилось летом множество семейств, приезжало множество гостей из столицы,—и молодые люди постепенно начали получать идеи либеральные, которые кружили в свете. Должно заметить, что тогда было в тоне посещать молодых людей в Лицее; они даже потихоньку (т.е. без позволения, но явно) ходили на вечеринки в дома, уезжали в Петербург, куликали с офицерами и посещали многих людей в Петербурге, игравших значительные роли, которых я не хочу называть. В Лицее начали читать все запрещенные книги, там находился архив всех рукописей, ходивших тайно по рукам, и, наконец, пришло к тому, что если надлежало отыскать что-либо запрещенное, то прямо относились в Лицей.

После войны с французами (в 1816 и 1817 годах) образовалось общество под названием Арзамасского. Оно было ни литературное, ни политическое в тесном значении сих слов, но в настоящем своем существовании клонилось само собой и к той, и к другой цели. Оно сперва имело в намерении пресечь интриги в словесности и в драматургии, поддерживать истинные таланты и язвить самозванцев-словесников. Члены общества были неизвестны или хотя известны всем, но не объявляли о себе публике; но общество было явное. Оно было шуточное, забавное, и во всяком случае принесло бы более пользы, нежели вреда, если б было направляемо кем-нибудь к своей настоящей цели. Но как никто о сем не заботился, то Арзамасское общество без умысла принесло вред, особенно Лицею. Сие общество составляли люди, из коих почти все, за исключением двух или трех, были отличного образования, шли в свете по блестящему пути и почти все были или дети членов Новиковской мартинистской

секты, или воспитанники ее членов, или товарищи и друзья и родственники сих воспитанников. Дух времени истребил мистику, но либерализм цвел во всей красе! Вскоре это общество сообщило свой дух большей части юношества и, покровительствуя Пушкина и других Лицейских юношей, раздуло без умысла искры и превратило их в пламень. Не упоминаю о членах Арзамасского общества, ибо многие из них вовсе переменили образ мыслей и стоят на высоких степенях.

И так, не науки и не образ преподавания оных виновны в укоренении либерального духа между Лицейскими воспитанниками. Во-первых, политические науки преподавались в Лицее весьма поверхностно и мало; во-вторых, едва несколько слушали прилежно курс политических наук, и те именно вышли не либералы, как, например, Корф и другие; либеральничали те, которые весьма дурно учились и, будучи школьниками, уже хотели быть сочинителями, судьями всего, — одним словом, созревшими. Профессоры Кайданов, Кошанский, Куницын, — все люди добрые, образованные и благонамеренные; они почли бы себе за грех и за преступление толковать своим ученикам то, чего не должно. Но направление (*impulsion*) политическое было уже дано извне, и профессору, беседуя с учениками только в классах, не только не могли переделать их нравственности, но даже затруднялись с юношами, которые делали им беспрестанно свои вопросы, почерпнутые из политических брошюр и запрещенных книг. Весьма вероятно, что составившееся в 1816 году Тайное общество, распространив вскоре круг своего действия на Петербург, имело умышленное и сильное влияние на Лицей. Начальники Лицея, под предлогом благородного обхождения, позволяли юношеству безнаказанно своевольничать, а на нравственность и образ мыслей не обращали ни малейшего внимания. И как с одной стороны правительство не заботилось, а с другой стороны частные люди заботились о делании либералов, то дух времени превозмог — и либерализм укоренился в Лицее, в самом мерзком виде. Вот как возник и распространил-

ся Лицейский дух, который грешно назвать либерализмом! Во всех учебных заведениях подражали Лицею, и молодые люди, воспитанные дома, за честь поставляли дружить с Лицейскими и подражать им.<...>

1826

Ф. В. Булгарин

## 23

<...> Царскосельский Лицей существует только по имени: он мало-помалу превратился в Военно-Сиротское Отделение. Воспитанники не имеют никаких книг, кроме учебных, не смеют ничем заниматься в свободное от классов время; не смеют даже оставаться в своих комнатах, а должны гулять кучею или провождать время в праздности в общей зале. От этого в их комнатах чисто, да зато и в головах не будет ни пылинки. Не спорю, что им в прежнее время давали много воли, что некоторых из них избаловали; но за то и какую пользу принесло сие заведение! Двенадцать человек из Лицея служат в Канцелярии государя. Во всех Министерствах, во многих военных частях — лучшие чиновники суть Лицейские воспитанники. Барон Корф, князь Горчаков, Вальховский, Саврасов, Ломоносов, двое Комовских, трое Безаков, Малиновский, Маслов и много, много еще молодых отличных людей служат доказательством, что прежний Лицей был, конечно, первый из наших Институтов. — Когда говорят о Лицее, то враги его всегда вспоминают о 14-м декабре. Да помилуйте! Сколько там было Лицейских? — Один Пуццин, да сумасшедший Кюхельбекер. И так, за этих двух вырожденков и за шалости Пушкина предать анафеме все заведение? А сколько там было из Корпусов Пажеского, Сухопутного, Морского? — Что из этого следует? — Может быть, что при нынешнем положении Лицея не выпустят из него ни Пуццина, ни Кюхельбекера. Это может быть, но достоверно то, что не будет и тех отличных людей, о которых я говорил выше.

*Секретный агент — фон-Фоку. 6 августа 1828.*

## 24

(...) Вы имели случай удостовериться лично, как в совершенной невозможности, при настоящем состоянии моего здоровья, воспользоваться столь лестным предложением Вашего комитета — присутствовать в Москве при открытии памятника незабвенному нашему поэту, так и в искренно-сердечном моем сожалении — не быть 26 мая при этом народном торжестве.

Впрочем и старческое мое *ныне* там присутствие ни к чему полезному не могло бы послужить, а только наделало бы еще кое-какие лишние хлопоты, и здоровье мое более бы потрясло.

Другое дело, если бы еще при помощи волшебной музыки Пушкина, я мог (хотя бы *на один день*) из 81-летнего старика преобразиться в 18-летнего *юношу* (...) О! тогда я поспешил бы под живыми впечатлениями рассказать всю лицейскую жизнь нашего друга:

Как Пушкин привез с собою из Москвы огромный запас любимой им тогда французской литературы, начал — ребяческую охоту свою — писать одни французские стихи — переводить мало-помалу на чисто русскую, очищенную им самим почву. Затем, едва познакомившись с юною своею музою, как сам он поощрял и других товарищей своих писать: русские басни (Яковлева), русские эпиграммы (Илличевского), терпеливо выслушивал тяжеловесные стихи гекзаметрами (барона Дельвига), и снисходительно улыбался Клопштокским (!) стихам неуклюжего нашего Кюхельбекера.

Сам же поэт наш, удаляясь нередко в уединенные залы Лицея или в тенистые аллеи сада, грозно насупя брови и губы, с искусанным от досады пером во рту как бы *усиленно* (!) боролся иногда с прихотливою кокеткою музою, а между тем, мы все видели и слышали потом, как всегда легкий стих его вылетал подобно «*пуху от уст Эола*»!

Вообще, несмотря на пылкую, африканскую природу, Пушкин сумел приобрести всеобщую любовь

своих товарищей и уважение наставников, исключая — быть может — математика и немца, у коих он не очень охотно учился.

Если все эти сведения, о коих впрочем много уже было и писано и печатано, могут быть интересны, хотя для *некоторых* еще из почитателей великого нашего поэта, то я буду очень рад, что невольное мое отсутствие от предстоящего торжества останется не без всякого следа с моей стороны...

С. Д. Комовский — Ф. П. Корнилову  
(члену комитета  
по сооружению памятника Пушкину).  
Май, 1880.

# Глава четвертая



1817•1820

До капли наслажденье пей,  
Живи беспечен, равнодушен!  
Мгновенью жизни будь послушен,  
Будь молод в юности твоей!

1819

На лире скромной, благородной  
Земных богов я не хвалил  
И силе в гордости свободной  
Кадилом лести не кадил.  
Свободу лишь учася славить,  
Стихами жертвуя лишь ей,  
Я не рожден царей забавить  
Стыдливой музою моей.

.....  
Любовь и тайная свобода  
Внушали сердцу гимн простой,  
И неподкупный голос мой  
Был эхо русского народа.

1818

«С неутомимой жаждой изведать мир и общество, открывавшиеся перед ним, ринулся Пушкин в свет...» — так начинается рассказ о послелицейском времени биограф поэта П. В. Анненков (в своей второй книге — «Пушкин в александровскую эпоху»). Жажда была в самом деле неутомимая и неутолимая — под стать темпераменту того, кто жаждал. «Гениальность Пушкина проявлялась и в его отношении к людям, — справедливо замечает современный исследователь. — Он умел ценить чужие мнения, он умел критически отнестись к своим собственным. Он вечно находился в развитии, в движении. Круг его литературных знакомств постоянно расширялся. Он сторонился лишь продажных перьев да бездарности»\*.

\* Гиллельсон М. И. Молодой Пушкин и Арзамасское братство. Л., 1974, с. 182.

И потому три года, проведенные молодым Пушкиным в Петербурге, оказались калейдоскопичными, до мыслимого предела наполненными поэтическими свершениями, дружбами, знакомствами, развлечениями, кутежами, театральными и иными впечатлениями. Но все же, если искать в этом потоке главное направление, оно заключено в строках второго эпиграфа, открывающего главу. Любовь и свобода — два эти понятия вдохновляли Пушкина при переходе от юных лет к зрелости, соединяясь вместе как *любовь к свободе*. Но по существу неразделим на отдельные нити клубок его впечатлений тех лет: в театре ведь говорили и о революциях, и о тиранах; за карточным столом — о военных поселениях; в дружеском веселье и кажущейся праздности литературного общества «Арзамас» то и дело отзывались отголоски серьезнейших литературных и политических событий; «Зеленая лампа» — «подруга бдений и пиров» — соединяла в себе общественно-философский кружок с молодой озорной компанией; в салоне Олениных не только об античном искусстве беседовали, но молодежь танцевала и веселилась; наконец, и в первом по значению для Пушкина в то время петербургском доме, у Тургеневых на Фонтанке, поэта ждало бесконечное разнообразие новостей и предметов обсуждения. Пушкин воспринимал всё это в единстве ощущений, внутренней борьбе с самим собой, в бесконечных спорах, доходивших до ссор и кончавшихся примирениями.

Между тем почти четыре года, начиная с последнего лицейского, он работал над «Русланом и Людмилой», читая песнь за песней на субботах у Жуковского. Он как бы ковал потихоньку тот поэтический меч, против которого оказались бессильны и враги, и соперники, и само время. Когда писал в стихах, обращенных к А. И. Тургеневу:

Не вызывай меня ты боле  
К навек оставленным трудам,  
Ни к поэтической неволе,  
Ни к обработанным стихам.  
Что нужды, если и с ошибкой  
И слабо иногда пою?  
Пускай Нинета лишь улыбкой  
Любовь беспечную мою  
Воспламенит и успокоит!



А труд и холоден и пуст;  
Поэма никогда не стоит  
Улыбки сладострастных уст,

то шутил и мило рисовался. Поэма дорого стоила. Плетнев вспоминал: «Большую часть дня, утром писал он свою поэму, а большую часть ночи проводил в обществе, довольствуясь кратковременным сном в промежутке сих занятий». Он закончил последнюю, шестую песнь за полтора месяца до конца петербургской жизни—в ночь на 26 марта 1820 г., а 26-го вечером прочитал ее у Жуковского и получил портрет старшего поэта с надписью «Победителю-ученику от побежденного учителя...». В «Руслане» он вступил в соперничество с Жуковским, пародируя балладу «Двенадцать спящих дев» и вместе участь у ее автора. Победили пушкинская молодость и пушкинский гений. Это был бой «на чужой территории» — правда, не врага, а друга-учителя, и Пушкин выиграл поэтическое сражение. Анненков не совсем объективен, когда говорит: «Так в течение трех лет шумной петербургской своей жизни Пушкин находил приют для мысли и души своей в одной этой поэме, возвращался к самому себе и чувствовал свое призвание через посредство одного этого труда!» Биограф намеренно «забывает» об оде «Вольность», «Деревне», «К Чаадаеву», нозлях и других стихах, но постоянным приложением поэтического труда в те годы был действительно «Руслан». Уже к концу 1818 года были готовы четыре песни (2000 строк)\*, а потом, за 15 месяцев, написаны еще 900. Ни над одним своим произведением, исключая «Онегина», Пушкин так долго не трудился.

Поэма вобрала в себя весь предшествующий, лицейский творческий и книжный опыт, да и петербургские впечатления (чтение «Истории...» Карамзина, например). Но она стала и рубежом для будущего великого наступления, своего рода «фондом» сюжетов, образов, стилей, откуда щедро черпал потом Пушкин, невиданно его обогащая и разнообразя. «Руслан» сделал Пушкина Пушкиным.

\* Для сравнения: в «Онегине» 4000 с небольшим.

Именно в «Руслане» отыскивают исследователи истоки последующих творений. Сравнивали замок Наины с дворцом, описанным в «Бахчисарайском фонтане»; Финна («В пещере старец, ясный вид...») с Пименом из «Бориса Годунова»; в Фарлафе («смело в грязь с коня калмыцкого свалюсь...») видели нечто от будущего Зарецкого; ситуация мудрый Финн — порывистый Руслан отчасти повторилась в «Цыганах» (старый цыган — Алеко); битва с печенегами несомненно была прообразом Полтавского боя (сравните: «то был Руслан как божий гром» и «он весь как божия гроза»); выражение «то был Рогдай, воитель смелый» откликнулось в «Египетских ночах» («и первый Флавий, воин смелый»), «и князь его простил» — в «Анджело» («и дук его простил»); «Народ... в страхе ждет небесной казни» — в «Медном всаднике» («Народ // зрит божий гнев и казни ждет»). В приключениях отважного Руслана, смело ринувшегося в неизвестность на поиски невесты, видели прообраз трудного пути Петра Андреевича Гринева, также стремившегося выручить свою суженую; монолог «О поле, поле...» отозвался в «Черепе». А уж об «Онегине» и говорить нечего, там и повествовательная интонация, и весь рассказ «полусмешной, полупечальный, простонародный, идеальный» есть развитие, на высшем уровне, руслановых традиций. Примеров фразеологического сходства тоже немало: «Княжна ушла. Пропал и след» — «А где, бог весть. Пропал и след»; «Не знаю, скрыт судьбы закон» — «нет нүжды, прав судьбы закон» и т. д.

Пусть, как говорит Анненков, Пушкин писал поэму в своей маленькой комнатке на Фонтанке, в Коломне «после пирушек, литературных вечеров, походов всякого рода... всегда готовый на всякую проказу по первому вызову», но в поэму вложен огромный вдохновенный труд гения. Перемаранные, зачеркнутые и вновь восстановленные строфы — дело обычное для Пушкина зрелого, характерны и для «Руслана». Там же, у Анненкова, находим и вполне справедливый вывод: «Ни одна из поэм не стоила Пушкину стольких усилий, как та, которою он начинал свое поприще и которая, по-видимому, не должна была очень затруднять автора: только необычайная

отделка всех ее частей могла бы изобличить тайну ее произведений, но об этом никто не догадывался: тогда вообще думали, что Пушкину достается все даром. Дни и ночи необычайного труда положены были на эту полушутливую, полусерьезную, фантастическую сказочку, и мы знаем, что даже основная ее мысль, идея и содержание достались Пушкину после долгих и долгих исканий»...

Еще в этот период были две поездки в Михайловское, где родились гневная, блестящая «Деревня» (№ 22) — плод петербургских теоретических рассуждений, соединенных с псковским практическим наблюдением, и тихое стихотворение «Домовому» (№ 21), в котором возникает понятие о доме—обители покоя и отдыха от тревог души и века... И наконец все завершилось образцом вольнолюбивой, тираноборческой, невиданно открытой политической лирики — «К Чаадаеву» \* (вслед за некоторыми исследователями хотелось бы отнести его к 1820 году — именно как итог).

\* \* \*

Невольно калейдоскопичным, как сама жизнь Пушкина в петербургские годы, получился и документальный монтаж к 4-й главе. Вслед за документами о службе и отпуске дается стихотворная самооценка петербургских жизненных треволений, потом следуют мемуары, которые, как ни интересны и содержательны сами по себе, лишь подчеркивают, насколько глубже понимал себя сам Пушкин, чем даже любящие (брат Лев, Пуцин), дружественные (И. И. Лажечников, Ф. Н. Глинка) и тем более брюзжащегонедоброжелательные (Корф) люди. Дальше располагаются «Деревня» (1819) и «К Чаадаеву» (1820?), а также фрагмент десятой главы «Евгения Онегина», посвященный петербургским вольнодумцам того времени, которым вскоре суждено было войти в историю под именем декабристов. Затем помещается все, что связано с «Русланом и Людмилой», — автобио-

---

\* Революционный пафос этих стихов столь очевиден, что, не имея автографа, их даже приписывали К. Ф. Рылеву.

графические строфы поэмы, полемика вокруг нее и последующий ответ Пушкина (это хотя и несколько более поздний материал, но по содержанию относящийся к четвертой главе). Завершают подборку история высылки Пушкина на юг, его стихотворные воспоминания различных лет о петербургском времени и его неотосланное письмо к Александру I, также говорящее о 1817—1820 гг.

В очерках, предваряющих документы, коснемся лишь взаимоотношений Пушкина с Николаем Тургеневым, реальных фактов, вызвавших к жизни «Деревню», а также одного сюжета, почерпнутого поэтом в Петербурге в 1818—1819 гг.

### «ОДНУ РОССИЮ В МИРЕ ВИДЯ...»

У Тургеневых на Фонтанке (дом князя А. Н. Голицына, теперь № 20) Пушкин сразу после Лицея появился самым естественным образом — это была семья московских друзей отца и дяди. Старший брат, Александр Иванович (о нем см. «Друзья Пушкина»), более всех способствовал поступлению Пушкина в Лицей, не раз к нему туда наведывался и опекал потом всю жизнь. Младший\*, Николай (1789—1871), незадолго перед «освобождением» Пушкина из лицейской кельи воротился из чужих краев, полный жажды деятельности на благо отечества и на страх деспотизму.

Перед отъездом из Берлина на родину 24 сент. 1816 г. Н. И. Тургенев писал брату: «Можно ли мне будет привыкнуть еще раз смотреть на такие вещи, которые бы я и в аду не хотел видеть, но которые на всяком шагу в России встречаются? Можно ли будет хладнокровно опять видеть наяву то, о чем европейцы узнают только из путешествий по Африке? Можно ли будет без сердечной горечи видеть то, что я всего более люблю и уважаю, русский народ, в рабстве и унижении?» И еще там же: «Ни о чем никогда не думаю, как о России. Я думаю, если придется когда-либо

\* В то время самый младший, Сергей Иванович (1790—1827), служил во Франции на дипломатической службе, и его переписка с братом Николаем — один из важнейших источников всех наших сведений.

сойти с ума, думаю, что на этом пункте и помешаюсь. Прости, брат. Желай счастья отечеству и храни в сердце самую пламенную любовь к нему». Можно только удивляться, как Пушкин, этих строк никогда не читавший, почти текстуально повторил их в своей характеристике Тургенева («Одну Россию в мире видя...»). Первые впечатления Николая Ивановича на родине были тягостные: «Все, что я здесь вижу, состояние администрации, патриотизма и патриотов и т. п., все это весьма меня печалит и тем сильнее, что не нахожу даже подобных или одинаковых мнений в других. Невежество, в особенности эгоизм, одержат всех. Все хлопочут, все стараются, но все каждый для себя, в особенности — никто для блага общего». И вывод: «мраку здесь много, много».

Александр Иванович трепетал за брата и предостерегал от поспешных действий: «Он возвратился сюда с либеральными идеями, которые желал бы немедленно употребить в пользу отечества; но над бедным отечеством столько уже было всякого рода операций, что новому оператору надо быть еще осторожнее, ибо одно уже прикосновение к больному месту весьма чувствительно».

Братья были очень разные: Александр — говорливый, не жаловавший систематический труд, склонный к шутке при всех обстоятельствах, к светскому времяпровождению и даже отчасти легкомысленный. Николай — остроумный, сосредоточенный, замкнутый (он от рождения был хром и страдал от этого), необычайно работоспособный, одержимый идеей освобождения и благоденствия российского крестьянства и готовый на самоотвержение во имя народа. Но оба были широко образованы и равно не принимали «дикого барства». Для Пушкина общение с ними — с Николаем Ивановичем особенно (они сошлись «на ты») — было школой жизни и школой социальных наук.

Без «уроков» Тургенева не могло быть ни оды «Вольность», ни «Деревни»... В 1821 г. Пушкин писал А. И. Тургеневу: «без Карамзиных, без вас двух... соскочишься и не в Кишиневе».

Уже в декабре 1817 г. Сергей Иванович в Париже знал, что в доме братьев появился необычайно одаренный юноша-поэт. «Мне пишут,— пометил он в дневнике,— о Пушкине как о развивающемся таланте. Ах, да поспешат ему вдохнуть либеральность (об этом и заботились братья.—В. К.) и вместо оплакиваний самого себя пусть первая песнь его будет: свобода». Сохранилось и письмо Николая Ивановича, о котором тут речь: «У нас есть теперь молодой поэт Пушкин, который точно стоит удивления по чистоте слога, воображению и вкусу, и все это в 18 лет от роду». В юном Пушкине Тургенев неожиданно для себя нашел не только поэта, но и глубоко мыслящего, острого собеседника. 13 октября 1818 г. Николай Иванович счел нужным рассказать брату: «Сравнивая недавно наш век с веком Екатерины, мы нашли, что тогда было более умных и истинно смелых людей, чем теперь. Беда, как мы в просвещении пойдем назад. По крайней мере идти недалеко... «Мы на первой станции образованности»,— сказал я недавно молодому Пушкину.— «Да, отвечал он, мы в Черной Грязи» \*.

Как молния реагирующий на все новое, все волнующее его, Пушкин, наслушавшись уроков Тургенева, спешил чувствовать и действовать: он вовсе не хотел служить царской администрации, нарочито манкируя должностью в ведомстве иностранных дел. Это Николаю Ивановичу не нравилось: доктрина его была направлена прежде всего, а поначалу исключительно, на освобождение крестьян; взрывать администрацию изнутри, а тем более опускаться до мальчишеских выходов он не собирался. Много позже, когда Николай Иванович был уже далеко от родины, брат напомнил ему: «Случай между тобой и Ал. Пушкиным, которого ты все ругал и увещевал раз в своей комнате за его тогдашние эпиграммы и пр. против правительства, что он сначала вздумал вызвать тебя на дуэль, а после письмом просил у тебя прощения, и что ты не раз давал ему чувствовать, что нельзя брать ни за что жалованье у правительства и ругать того, кто дает его». Сам он уже немало пользы принес и на

\* Так называлась первая станция на почтовом тракте Москва — Петербург. Здесь, конечно, иносказание.

официальном посту — в качестве члена ученого бюро Министерства финансов. В 1817 г. он служил помощником статс-секретаря департамента экономики Государственного совета. Особенно чужда Николаю Тургеневу была всякая мысль о терроре; он надеялся добиться освобождения крестьян путем давления просвещенного дворянства на царя; в последующем допускал ограничение власти монарха, да республиканские институты, но цареубийство казалось ему чудовищным преступлением. Пушкину же (повидимому, безосновательно) приписывали одну из самых злых тогдашних эпиграмм: «кишкой последнего попа последнего царя удавим», и это ужасало Тургенева. Пушкин горячился — вплоть до того, что, как с ним часто бывало тогда, вызвал Николая Ивановича на дуэль. Тот наставлял Пушкина на свой путь — и не без успеха.

Свидетельством тургеневского влияния пушкинисты справедливо считают прежде всего оду «Вольность», написанную скорее всего уже в конце 1817 г. (хотя спор о дате не завершен). Еще до образования основной декабристской организации Союз благоденствия (1818) Н. И. Тургенев и М. Ф. Орлов пытались создать в Петербурге тайное общество. Много лет спустя в книге «Россия и русские» Тургенев вспоминал: «Поглощенный заботами о крепостном праве, я мало занимался «политическими свободами» и конституцией, хотя относился к ним далеко не безразлично. Я имел определенные взгляды по основным вопросам государственного строя — народное представительство, свободу прессы, равенство перед законом (читайте оду «Вольность». — В. К.), законодательную, судебную власти, и я никогда не отказался бы приложить все свои силы, даже пожертвовать собой, чтобы добиться гарантии этих великих свобод, но только после уничтожения рабства...» Отражением программы Тургенева, какой он представлял ее себе в 1817 году, и явилась ода «Вольность». Но программа эта была художественно переосмыслена, преображена и отнюдь не буквально воспринята Пушкиным:

Увы! куда ни брошу взор —  
Везде бичи, везде железы,  
Законов гибельный позор,

Неволи немощные слезы;  
 Везде неправедная Власть  
 В сгущенной мгле предрассуждений  
 Воссела — Рабства грозный Гений  
 И Славы роковая страсть.

Лишь там над царскою главою  
 Народов не легло страданье,  
 Где крепко с Вольностью святой  
 Законов мощных сочетанье;  
 Где всем простерт их твердый щит,  
 Где сжатый верными руками  
 Граждан над равными главами  
 Их меч без выбора скользит

И преступленье свысока  
 Сражает праведным размахом;  
 Где не подкупна их рука  
 Ни алчной скупостью, ни страхом.  
 Владыки! вам венец и трон  
 Дает Закон — а не природа;  
 Стоите выше вы народа,  
 Но вечный выше вас Закон.

«Вольность» увидела свет только в «Полярной звезде» А. И. Герцена в 1856 г. и... напугала Александра П. «Под влиянием Жуковского, — говорил он, — мы хорошо относились к Пушкину. Но с появлением оды на свободу мнение наше изменилось».

В 1818 г. Тургенев попытался хотя бы в собственном имении в Симбирской губернии воплотить часть своих мечтаний: «Ярем он барщины старинной оброком легким заменил» — в буквальном смысле. Правда, насчет раба, благословившего судьбу, это уже пушкинская ирония. В деревне он ввел целый ряд реформ: назначил трех старейшин из крестьян для разрешения споров; положил денежное жалованье ткачам, работающим в имении Тургеневых на ткацкой фабрике, а также дворовым людям; провинившихся крестьян приказал наказывать штрафом, а не розгами. Отчет о поездке — в письме Сергею Ивановичу: «Я нашел, что работа крестьян на господина посредством барщины есть почти то же самое, что работа негров на плантации с тою только разницею, что негры работают, вероятно, каждый день, а крестьяне наши только три дня в неделю, хотя, впрочем, есть и такие помещики, которые заставляют мужиков работать 4, 5 и даже 6 раз в неделю. Увидев барщину и в на-



шем Тургеневе, после многих опытов, и перемарав несколько листов бумаги, я решился барщину уничтожить и сделать с крестьянами условие, вследствие коего они обязываются платить нам 10 000 в год (прежде мы получали от 10 до 15 и 16 000). Сверх того они платят 1000 руб. на содержание дворовых людей, попа и лекаря, с которым я заключил контракт на два года». Лекарь, заметим, должен был лечить крестьян, и ему был выделен помощник для поголовной прививки против оспы. Тургенев не случайно позаботился о дворовых. Этот слой крепостных находился на особом положении. Николай Иванович писал об этом: «Кроме крестьян существует у нас класс людей, который еще яснее носит на себе печать рабства, а именно *дворовые люди*. Здесь мы узнаем в полной мере все печальные последствия крепостного состояния: ложь, обман, к которым всегда прибегает слабый против сильного, и, наконец, величайшая испорченность нравов».

Через несколько лет Николай Иванович снова посетил Тургеневку и рассказывал: «Мужиков нашел я в несколько лучшем положении, и именно в отношении к скоту и сие потому, что я распродал весь господский скот крестьянам, а частью роздал даром, да и продажа была дешевая (...) Я сделал некоторую помощь деньгами: роздал более 1000 рублей, но из сих денег мало досталось настоящим крестьянам, большую часть получили сироты и обремененные детьми вдовы. Ребятишки не только от меня не бегали — напротив, все за мною бегали (...) По тому, что я там видел и слышал, Симбирская губерния есть одна из замечательнейших по жестокости и по злоупотреблениям насчет крепостных людей». И в следующем письме: «Не знаю что будет! Часто крестьяне приходят в расстройство делающимися у них покражами лошадей (...) От сих несчастий ничто крестьян спасти не может. Оброк, который мы берем с крестьян, совсем не так мал, как думает матушка и другие. На пашне мы не получили бы на этот год никакого дохода, а оброк получили. Если и на следующий год будет неурожай, то надобно будет половину оброка сложить на один год. От сильных рекрутских наборов много горестей и бедствий в деревне. Нет почти

ни одного семейства не имеющих родственников самых близких в солдатах».

В 1818 г. вышло из печати и теоретическое обоснование всех дел и мыслей Николая Ивановича — книга «Опыт теории налогов». На первой ее странице говорилось: «Сочинитель, принимая на себя все издержки печатания сей книги, предоставляет деньги, которые будут выручаться за продажу оной, в пользу содержащихся в тюрьме крестьян за недоимки в платеже налогов».

Если русский помещик испокон веков звал своих крепостных и дворню хамами, то братья Тургеневы поставили все с головы на ноги: в их представлении хама те, кто ест выращенный крестьянами хлеб и попирает их же достоинство. В начале 1818 г. Николай писал Сергею: «Наш образ мыслей, основанный на любви к отечеству, на любви к справедливости и чистой совести, не может, конечно, нравиться хамам и хаменкам. Презрение, возможное их уничтожение может быть только нашим ответом. Все эти хамамы, пресмыкаясь в подлости и потворстве, переменяв тысячу раз свой образ мыслей, погрязнут наконец в пыли, прейдут заклеянные печатью отвержения от собратства людей честных, но истина останется истинною, патриотизм останется священным идеалом людей благородных». «Мне приятно было слышать, — записал Н. И. Тургенев в дневнике, — что мое слово *хам* употребляется некоторыми. Авторское самолюбие».

Своего однокашника по Геттингену, лицейского наставника Пушкина А. П. Куницына Николай Тургенев уговорил написать статью для журнала «Сын отечества» «О положении иностранных крестьян». Программу статьи они сочиняли вместе. Это острейшее и блестящее по форме выступление было последним легальным словом об отмене крепостного права. После статьи Куницына ничего не велено было печатать: поиграли, и будет. Тогда Тургенев подал царю записку «Нечто о крепостном состоянии в России», содержащую анализ всех форм угнетения и проект преобразований.

В начале 1819 г. Тургенев задумал журнал «Россианин XIX века», в число будущих сотрудников которого включил А. П. Куницына, Пушкина,

И. И. Пущина. Тургенев надеялся, что наряду с политическим, экономическим, юридическим осмыслением пагубности крепостного рабства в журнале будет и осмысление художественное. «Если бы слабый луч не таился еще в сердце моем,— писал он П. А. Вяземскому,— то я давно бы не смотрел на этот снег и на эту нравственную стужу, которую надо бы описать не Хераскову, а вам или Пушкину».

Он настоятельно рекомендовал: 1) подтвердить закон Павла I о трехдневной барщине с присовокуплением, что крестьянин, работающий три дня в неделю на помещика, более никакими повинностями ему не обязан; 2) не допускать к работе детей от 10 до 12 лет; 3) обязать помещиков ежегодно представлять предводителю дворянства точные сведения о повинностях крестьян. Все это были, само собой, полумеры. Но Николай Иванович наивно надеялся на благоразумие императора, который не раз обещал постепенные реформы.

Сила воздействия образа мыслей Николая Ивановича и самой светлой личности его на Пушкина в 1817—1820 гг. не должна остаться недооцененной. Николай Иванович видел в нем будущего певца дорогих братьям Тургеневым идеалов.

Вообще говоря, Николай Иванович очень умело находил своих единомышленников—с этой точки зрения он был одним из опаснейших для царя заговорщиков. 27 марта 1820 г. он писал, например, П. Я. Чаадаеву: «Вчерашний разговор утвердил еще более во мне то мнение, что вы много можете споспешествовать распространению здравых идей об освобождении крестьян. Сделайте, почтеннейший, из сего святого дела главный предмет ваших занятий, ваших размышлений». Не без влияния Тургенева освободили своих крестьян будущие декабристы М. С. Лунин, И. Д. Якушкин...

10 июля 1819 г. Пушкин после болезни уехал в деревню, вооруженный всеми теми представлениями, о которых мы вкратце рассказали. Стихотворение «Деревня», подготовленное, как мы теперь говорим, идейно, должно было родиться поэтически. Для этого надо было, чтобы огниво ударило о кремень. Таким кремнем оказались ужасы помещичьего само-

управства, которые Пушкин увидел сам или о которых услышал в Псковской губернии. Они произвели на него столь сильное впечатление, что и через 15 лет он не забыл о них (№ 23)...

Генерал-губернатор рижский, псковский, лифляндский, эстляндский и курляндский маркиз Ф. О. Паулуччи докладывал по начальству: «В Псковской губернии помещичьи крестьяне по совершенно беззащитному положению своему внушают искреннее участие. Отечественное законодательство предоставило их с весьма малым ограничением произволу помещиков, которые, большей частью вышед в малый чин в государственной службе, потому что по непросвещению своему не могут надеяться занять когда-либо важных степеней, возвращаются в свои поместья и стараются над бедными, подвластными им поселянами поселить страх, заменяющий им в глуши деревни уважение света».

Почти все свое время псковские крестьяне проводили на помещичьей барщине. Собственные наделы их не кормили, да и обрабатывать их было некому и некогда; кустарные промыслы хирели. Еще в 1812 г. крестьяне дворянина Бухвостова слезно жаловались, что владельцы привели их «в крайнее разорение и дома отобрали от некоторых, себе построили сельцы и некоторых взяли в господские дворы, а имущество отобрали в свои пользы». Порховский помещик Кашталинский в 1818 г. увеличил оброк с 11 до 25 тысяч и потребовал уплаты за два года вперед с дополнительными натуральными и денежными платежами. Угрозами и насилием он вынудил крепостных уплатить сразу 61 746 руб. Отчаявшиеся бедняки послали ходяков в Петербург и в Царское Село к «царю-батюшке». Крестьяне Кашталинского несколько раз силой останавливали экипаж царя, когда он пересекал Псковскую губернию, умоляя «отобрать» их у помещика и «принять в казну». Часть их укрылась в псковских лесах, покинув свои деревни. Для вида власти кое-что предприняли: в усадьбу Кашталинского была введена воинская команда, имение передано в опеку. Но едва крестьяне чуть-чуть поуспокоились, все вернулось к прежнему положению: Кашталинский оказался неуязвим.

Крестьянские семьи безжалостно разлучали, продавая баб и мужиков поодиночке на фабрики и заводы. Сосед и знакомый Пушкиных Н. С. Креницын продал на чугунный завод Берда 50 мужчин и 39 женщин. Между прочим, по инициативе Н. И. Тургенева в Государственном совете обсуждался вопрос о запрещении продажи крестьян без земли. Приняли «соломоново решение»: не запрещать.

В 1819 г. совсем неподалеку от Михайловского помещик забил крестьянина насмерть. На суде (в числе свидетелей был двоюродный дед Пушкина П. А. Ганнибал) выяснилось, что «села Жирного помещик Александр Александров сын Баранов (...) крепостного своего крестьянина деревни Липотяги Григория Иванова наказывал немилосердным образом батожами, от чего под наказанием тот Иванов в то же время и умер. Сверх того, тем Барановым еще два крестьянина так сильно наказываемы были, что находятся в отчаянности...» Четыре часа Иванова секли розгами несколько крепостных под надзором самого помещика, который то добавлял дубинкой, то поколачивал нерадивых слуг, слабо бивших. Пять раз подвозили тележки со свежими розгами, меняя сломанные пучки. Сенат Баранова оправдал, передав на покаяние властям духовным.

Как раз в те дни, когда Пушкин жил в Михайловском, в Великолукском уезде Псковской губернии слушалось дело о смерти крепостного человека помещицы Абрютиной. Четыре раза наказывала его хозяйка кнутом, «после чего приказала надеть на шею рогатку, а на ноги железы. «А сверх того и руки прикрепить к ножным кандалам крестообразно и цепью приковать к стене и давать ему ежедневно фунт хлеба с водой». В таком положении крестьянин продержался три дня, и умер в мучениях. Дело тянулось до 1824 г., когда помещицу оправдал Сенат. Не лучше крепостников вела себя и местная администрация. Порховский земский исправник Андреев, вымогая деньги при допросах, «вешал, привязавши за персты тонкой веревкой с наложенными на ноги и на шею колодками», бил розгами и батогами до беспамятства.

Ужасное впечатление произвела на Пушкина «деятельность» владельца села Богдановское, доброго знакомого материнской семьи, милейшего по видимости человека Д. Н. Философова. Владелец крепостного гарема, он не отпускал несчастных девушек от себя ни на шаг, путешествуя с ними в Петербург и даже к Святым местам. «Там девы юные цветут для прихоти развратного злодея» — это совершенно точная зарисовка положения дел в Богдановском.

В 15 верстах от Михайловского располагалось имение псковского предводителя дворянства А. И. Львова (его посещения отмечают Н. О. и С. Л. Пушкины в письмах к дочери). Между прочим, в 1826 г. этот Львов давал полицейскому агенту Бошняку (см. гл. VIII) сведения о Пушкине. Но гораздо ранее сыновья Львова «прославились» гнусным надругательством над крепостными девушками. Один из них отдал крестьянку, отказавшуюся с ним сожительствовать, на расправу псам, и они ее растерзали. Еще несколько примеров: помещик Горяинов ввел в своем имении (близ г. Острова) право первой ночи; в 1814 г. убит отчаявшимися крестьянами псковский землевладелец Окунев; тогда же подожгли дом помещика Худякова...

Теперь перечитайте «Деревню», и вы увидите, как сумел ее автор соединить учение Н. И. Тургенева с опытами жизни. Художественное исследование крепостничества, так и не попавшее в журнал «Россиянин XIX века», потому что он не вышел в свет, оказалось едва ли не убедительнее всех иных способов доказательства. «Витийства грозный дар» был не только у тех, которые «витийством... знамениты», но и у самого Пушкина. Не забудем при этом и первую, идиллическую часть антикрепостнического гимна свободе, представляющую собой топографически точное, любовное описание Михайловского. Здесь нет никакого противоречия: Пушкин полюбил эту землю — «приют спокойствия, трудов и вдохновенья», — ее людей, ее природу и с тех пор считал Псковщину своей второй родиной.

\* \* \*

7 августа 1819 г. А. И. Тургенев сообщал в Москву И. И. Дмитриеву, что Пушкин «в деревне на все лето и отдыхает от парнасских своих подвигов. Поэма у него почти вся в голове. Есть, вероятно, и на бумаге, но вряд ли для чтения». Уже 14 августа с 5-й песнью «Руслана» и «Деревней» Пушкин, не усидев до конца лета в Михайловском, вернулся в Петербург. А. И. Тургенев, встретивший поэта в Царском Селе у Карамзиных, поспешил поведать об этом в письме Вяземскому: «...явился обритый Пушкин из деревни и с пятою песнью. Здесь я его еще не видел, а там он как бес мелькнул, хотел возвратиться со мною и исчез в темноте ночи как привидение». Неделю спустя Александр Иванович вновь был с Пушкиным в Царском, а оттуда отправились они в Павловск к Жуковскому, исполнявшему свои преподавательские обязанности при дворе. «Мы разбудили Жуковского, — рассказывает Александр Иванович. — Пушкин начал представлять обезьяну и собачью комедию и тешил нас до двух часов утра...»

Между тем «Деревня» распространялась в списках с огромной быстротой. Николай Иванович отзывался о ней высоко, ибо она запечатлела любимую его идею: уничтожение крепостного права прежде всех иных реформ. Он так разъяснял это брату Сергею: «Но у нас есть рабство, которое не должно и следов даже оставить, прежде нежели народ российский получит свободу политическую: сперва все должны быть равны в правах человеческих. Это равенство важнее и существеннее всякого другого». Так что «рабство, падшее по манию царя» у Пушкина есть лишь тургеневское стремление к постепенности преобразований, но отнюдь не, хоть в малой степени, приверженность к монархическому строю. Старший брат был, как всегда, умереннее — его даже испугал вопль негодования, услышанный в «Деревне». «Прислал ли я тебе «Деревню» Пушкина? — спрашивал он Вяземского. — Есть сильные и прекрасные стихи, но и преувеличения насчет псковского хамства (...) (Мы видели выше, что даже при желании преувеличить было трудно, хотя А. И. Тургенев и считал, что Пушкин «пересолил

самое негодование». — В. К.) — Что из этой головы лезет! Жаль, если он ее не сносит! Он читал нам пятую песню своей поэмы, в деревне сочиненную. Здесь возобновил он прежний род жизни. Волос уж нет, и он ходит бледный, но не унылый». Прежняя бурная жизнь в самом деле продолжалась, хотя Пушкин непостижимым для посторонних образом сочетал ее с систематическими трудами. «Беснующийся Пушкин печатает уже свои мелочи, как уверяют меня книгопродавцы, ибо его мельком вижу только в театре, куда он заглядывает в свободное от зверей время. В прочем же жизнь его проходит у приема билетов, по которым пускают смотреть привезенных сюда зверей, между коими тигр есть самый смиренный. Он влюбился в приемщицу билетов и сделался ее cavalier servant\*, наблюдает, между тем, природу зверей и замечает оттенки от скотов, которых смотрит gratis\*\*».

Стихи Пушкина, которые даже близко нельзя было подпускать к цензуре («Деревня» была полностью напечатана только Герценом в Англии в 1856 г.), ходили как летучие листки по Петербургу. Рассказывают, что Александр I потребовал показать ему что-нибудь пушкинское, ему дали «Деревню», но в тот момент самодержец желал играть в «кошки-мышки»: он попросил передать Пушкину благодарность за патриотические чувства. Сподвижник Герцена Николай Платонович Огарев сорок лет спустя так оценил значение «Вольности» и «Деревни» в истории русской литературы: «Кто во время оно не знал этих стихотворений? Какой юноша, какой отрок не переписывал? Толчок, данный литературе вольнолюбивым направлением ее высшего представителя, был так силен, что с тех пор, и даже сквозь все царствование Николая, русская литература не смела быть рабскою и продажною».

Пока все было относительно спокойно, приближался к развязке «Руслан». 25 февраля 1820 г. Александр Иванович писал Вяземскому: «Племянник (так называли младшего поэта Пушкина в отличие от дядюшки.— В. К.) почти кончил свою поэму, и

\* Верный рыцарь (фр.)

\*\* Бесплатно (фр.)



на днях я два раза слушал ее. Пора в печать. Я надеюсь от печати и другой пользы, личной для него: увидев себя в числе напечатанных и, следовательно, уважаемых авторов, он и сам станет уважать себя и несколько остепенится. Теперь его знают только по мелким стихам и по крупным шалостям, но по выходе в печать его поэмы будут искать в нем если не парик академический, то, по крайней мере, не первостепенного повесу. А кто знает, может быть, и схватят в Академию? Тогда и поминай как звали». Однако выхода поэмы из печати Пушкин не дождался. Момент, когда Пушкину пришлось «по манию царя» покинуть Петербург, был уже не за горами.

Николай Иванович тем временем принимал активнейшее участие в работе Коренной думы (высшего совета) декабристского Союза благоденствия. Видя безнадежность своих упований на реформы от имени императора, он в январе — феврале 1820 г. склонялся уже к будущей республике в России. «Le président — sans phrases» — «Президента без дальних толков» — так сказал он на одном из заседаний. Между тем ему стало известно, что некоторые резкие стихи Пушкина дошли до правительства. 20 апреля он написал в Париж: «О помещении Пушкина\* теперь, кажется, нельзя думать. Некоторые из его стихов дошли до Милорадовича, и он на него в претензии. Надеяться должно, что это ничем не кончится». Но твердой уверенности в благополучном конце быть не могло: Николай Иванович знал, какой взрывчатой силой обладают строки Пушкина, прочитанные у Тургеневых на Фонтанке в марте 1820 г. В начале апреля генерал-губернатор Петербурга Милорадович приказал срочно достать ему для прочтения оду «Вольность», эпиграммы и другие мелкие стихотворения Пушкина. Полиция расстаралась и добыла, что смогла, но, по-видимому, не все. 14 апреля Милорадович получил от недавно еще столь дружелюбного к Пушкину самодержца приказание сделать у поэта обыск и арестовать его самого. Сыщик Фогель явился к Пушкину в его отсутствие и тщетно попробовал

---

\* Братья Тургеневы, почуяв грозу, пытались хлопотать о месте для Пушкина на дипломатической службе за границей.

подкупить верного слугу Никиту Козлова. На другой день Пушкин явился к Милорадовичу и написал ему в особой тетради все свои вольнолюбивые стихи (кроме эпиграммы на Аракчеева). Прощение, объявленное Пушкину Милорадовичем, оказалось преждевременным. Александр I еще некоторое время выбирал между Соловками и Сибирью, но личная просьба Карамзина оказалась, по-видимому, решающей. На царя, должно быть, произвело впечатление редкое событие: на аудиенцию во дворец прибыл придворный историограф при мундире и всех регалиях, чтобы попросить о сущей мелочи — смягчении участи какого-то юнца-поэта. Карамзин довольно сдержанно передал весь эпизод в письме к И. И. Дмитриеву: «Над здешним поэтом Пушкиным если не туча, то по крайней мере облако и громоносное (это между нами): служба под знаменем либералистов, он написал и распустил стихи на вольность, эпиграммы на властителей и проч. и проч. Это узнала полиция etc. Опасаются последствий. Хотя я уже давно, истощив все способы образумить эту беспутную голову, предал несчастного Року и Немезиде, однако ж из жалости к таланту замолвил слово, взяв с него обещание уняться».

21 апреля Александр Тургенев — Вяземскому: «Пушкин прочитал мне письмо к тебе, и я увидел, что он едва намекнул о беде, в которую попался и из которой спасен моим добрым гением и добрыми приятелями. Но этот предмет не для переписки». «Либералист» Николай Тургенев принимал во всей истории живейшее участие. 23 апреля он, несколько сглаживая ситуацию, сообщал о ней Сергею: «Пушкина дело кончилось очень хорошо. У него требовали его оды и стихов. Он написал их в кабинете графа Милорадовича. Как сей последний, так и сам государь сказали, что это ему не повредит и по службе. Он теперь собирается ехать с молодым Раевским в Киев и в Крым». 5 мая участь Пушкина была решена. «Он отправляется курьером к Инзову и остается при нем. Мы постараемся отобрать от него поэму, прочтем и предадим бессмертию, то есть тиснению. Он стал тише и даже скромнее; et pour ne pas se compromettre\* даже и меня в публике избе-

\* Чтобы себя не компрометировать. (фр.)

гает»,—поспешил Александр Иванович обрадовать Вяземского.

Вероятно, в тот же день Сергей Львович Пушкин в присутствии ему стилие благодарил одного из ходатаев — В. А. Жуковского: «Любезный Василий Андреевич! Я знаю всё, чем я обязан вам, Николаю Михайловичу, Тургеневу, и пр. Никогда не буду в силах изъяснить вам моей благодарности (...) Тяжело, мой друг! мне очень тяжело. Слезы мешают писать. Как же я бы мог благодарить вас лично. В семье моей я один о сем знаю, но пожалуйста уверьте Николая Михайловича, что я ценю его дружбу...»

6 мая Пушкин выехал из Петербурга. К этому дню относится последнее сообщение о нем одного брата Тургенева другому в тот период, о котором мы рассказываем: «Пушкин завтра едет к Инзову,—пишет Александр Сергею в Константинополь.—Государь велел написать всю его историю, но он будет считаться при Каподистрии» (см. № 37). С Александром Ивановичем Пушкин свиделся через 11 лет, с Николаем Ивановичем не довелось ему встретиться больше никогда.

\* \* \*

В январе 1821 г. Союз благоденствия перестал существовать — на смену ему вскоре пришли Северное и Южное общества декабристов. К первому из них принадлежал и Николай Иванович Тургенев. Но все более и более расходился он со многими товарищами по борьбе и разуверялся в возможности реальных достижений. В начале 1824 г. он выехал за границу, намереваясь скоро вернуться и уж никак не подозревая, что пути в Петербург будут ему заказаны на тридцать с лишним лет.

После 14 декабря Николай Тургенев был объявлен к розыску как государственный преступник. Он, «одну Россию в мире видевший», был как громом поражен: «Я обвиняюсь в измене, я государственный преступник. Я читаю, перечитываю слова сии и не верю глазам своим, но должен верить». В «Оправдательной записке» он писал: «Нет устава, по которому можно судить о виновности сего общества. Если нет предмета преступления, то нет и преступника». Николай I не

склонен был вдаваться в юридические тонкости. Он потребовал у английского правительства (Николай Иванович находился тогда в Лондоне) выдачи государственного преступника. В 1826 г. разнесся слух, что Тургенев арестован англичанами и отправлен морем в Россию. Вяземский сообщал Пушкину 31 июля: «Александр Тургенев ускакал в Дрезден к брату своему Сергею, который сильно и опасно занемог от беспокойства по брате Николае. Несчастные». Эти вести чрезвычайно взволновали Пушкина. Само море, сам бог Нептун, по чьим волнам повезут или повезли уже мирнейшего Николая Ивановича на верную смерть, вызывал гнев поэта. Он саркастически вопрошал Вяземского, приславшего ему свое стихотворение «Море»:

Так море, древний душегубец,  
Воспламеняет гений твой?  
Ты славись лирой золотой  
Нептуна грозного трезубец.

Не славь его. В наш гнусный век  
Седой Нептун Земли союзник  
На всех стихиях человек —  
Тиран, предатель или узник\*.

К счастью, «Нептун помог»: Николай Иванович выдан не был. Он остался политическим эмигрантом на долгие годы и вскоре переехал из Англии во Францию. Но Сергей Иванович не выдержал напряжения и ужаса: он так и не оправился от душевной болезни и скончался на руках Николая в Париже 1 июня 1827 г.

Обвинения Николаю Тургеневу были предъявлены следующие: 1) принадлежность к тайному обществу Союза благоденствия; 2) участие в совещании Коренной думы этого общества в 1820 г. и обсуждение вопроса о предпочтительности монарха или президента как главы государства, причем он высказался за президента; 3) участие в московском съезде 1821 г.; 4) участие в Северном обществе. Тургенев был отнесен к первому разряду преступников и приговорен к смертной казни отсечением головы (этой категории

\* Незадолго до смерти, 15 января 1837 г., Пушкин прочитал эти стихи Александру Ивановичу. Тот записал их и переслал брату в Париж.

смерть была заменена лишением прав дворянства и вечной каторгой). В приговоре особо было отмечено, что, удалясь за границу, Тургенев «к оправданию не явился».

В 1833 г. Николай Иванович женился во Франции на дочери ветерана наполеоновских войн Гаэтана Виариса — Кларе. У него был единственный сын, довольно известный скульптор, Петр Николаевич. В 1857 г. Тургенев совершил поездку на любимую свою родину, где ему возвращены были чины и ордена; в московском Новодевичьем монастыре он посетил могилу старшего брата Александра Ивановича. В Москве же с расспросами о всенародно признанном великом русском поэте, которого знал он курчавым бунтующим юношей, приступил к нему молодой журналист Петр Бартенев: не сохранил ли писем, рукописей Пушкина. Николай Иванович ответил: «у меня никаких писем Пушкина не было и нет. Есть стихи, его рукою написанные, например ода «Вольность», которую он в половине сочинил в моей комнате, ночью докончил и на другой день принес ко мне написанную на большом листе». Умер Тургенев 27 октября 1871 г. 82 лет от роду на своей вилле Вербуа близ Парижа. В 1913 г. Петр Николаевич пожертвовал весь архив отца и его братьев Академии наук в Петербурге. Этот огромный архив и теперь служит источником множества работ по истории и культуре XIX столетия, и по сию пору богатства его не исчерпаны.

Великий писатель Иван Сергеевич Тургенев писал в некрологе о своем старшем родственнике: «Из возможных благ, доступных людям, многие достались на его долю: он вкусил вполне счастье семейной жизни, преданной дружбы; он узнал, он осязал исполнение своих заветных дум (т. е. отмену крепостного права.— В. К.). Будем надеяться, что и для тех из них, которые еще не исполнились и которым посвятил свой последний труд (книгу «Россия и русские»), со временем также настанет черед и что совершение их обрадует его хотя в могиле новою зарею счастья, которое оно принесет столь любимому им русскому народу».

Добавим к этому, что на долю Николая Тургенева выпало и еще одно безмерное счастье: его хорошо знал, любил и глубоко уважал Александр Пушкин.

## «В СВОЕЙ КРАСЕ НАДМЕННОЙ И СУРОВОЙ...»

Одна строка из письма матери Пушкина Надежды Осиповны к его сестре Ольге Сергеевне заставила возвратиться к этой истории, еще в начале века раскопанной пушкинистами, в частности непревзойденным знатоком «частностей» пушкинской биографии Николаем Осиповичем Лернером. Вот эта строка (17 декабря 1834 г.): «В дороге я встретила вдову Стройновскую, которая сопровождала тело своего мужа до Тульчина». Вот, собственно, и все. Но из этого выходит, что Надежда Осиповна была со Стройновской давно знакома. Значит, знал ее, почти несомненно, и Пушкин. И уж, во всяком случае, ему была известна ее история и судьба. Это придает делу несколько иной оборот. А какому, собственно, делу, вы спросите?

Петербургский период был для Пушкина кладезем будущих сюжетов, образов, жизненных впечатлений, прототипов, наконец. Давно известно, что в «Домике в Коломне» описаны жанровые сцены Петербурга 1818—1820 годов. Вот послушайте:

## IX

⟨...⟩

...Жила-была вдова,

Тому лет восемь\*, бедная старушка,

С одною дочерью. У Покрова

Стояла их смиренная лачужка

За самой будкой. Вижу, как теперь,

Светелку, три окна, крыльцо и дверь. ⟨...⟩

## XX

⟨...⟩ Я живу

Теперь не там, но верно мечтою

Люблю летать, заснувши наяву,

В Коломну, к Покрову—и в воскресенье

Там слушать русское богослуженье.

\* «Домик...» написан в 1830 г.: получается не восемь, а минимум десять. Мистификация для Пушкина характерная и, несомненно, намеренная. Строфы, о которых пойдет речь, поэт предполагал напечатать в виде отдельной публикации. Наталья Николаевна переписала их по его просьбе. Список сохранился.

Теперь внимание:

### XXI

Туда, я помню, ездила всегда  
Графиня... (звали как, не помню, право)  
Она была богата, молода;  
Входила в церковь с шумом, величаво;  
Молилась гордо (где была горда!)  
Бывало, грешен! всё гляжу направо,  
Всё на нее. Параша перед ней  
Казалась, бедная, еще бедней.

### XXII

Порой графиня на нее небрежно  
Бросала важный взор свой. Но она  
Молилась богу тихо и прилежно  
И не казалась им развлечена.  
Смиренье в ней изображалось нежно;  
Графиня же была погружена  
В самой себе, в волшебстве моды новой,  
В своей красе надменной и суровой.

### XXIII

Она казалась хладный идеал  
Тщеславия. Его б вы в ней узнали;  
Но сквозь надменность эту я читал  
Иную повесть: долгие печали,  
Смиренье жалоб... В них-то я вникал,  
Невольный взор они-то привлекали...  
Но это знать графиня не могла  
И, верно, в список жертв меня внесла.

Теперь, когда мы знаем, что *он знал* печальную повесть Екатерины Александровны Стройновской, своей ровесницы, совсем недавно еще Катеньки Буткевич, соседки Пушкиных по Коломне, в этих строках все более или менее ясно. Но если не знать, разве угадаешь такое?..

Петр Александрович Плетнев писал историку Лицея Я. К. Гроту в 1846 г.: «Домик в Коломне для меня с особенным значением. Пушкин, вышедши из Лицея, действительно жил в Коломне. Здесь я познакомился с ним. Описанная гордая графиня была девица Буткевич, вышедшая за 70-летнего старика графа Стройновского (ныне она уже за генералом Зуровым). Следовательно, каждый стих для меня

есть воспоминание или отрывок из жизни». Для Пушкина тоже было так. Н. О. Лернер довольно решительно утверждал, что Стройновская — прототип Татьяны Лариной в ее позднюю «генеральскую» пору. Конечно, с прототипами в «Евгении Онегине» все по-иному: их нет — по крайней мере «в чистом виде». Но какие-то черты, какие-то детали, какие-то истоки образа, наконец, восходят к конкретным лицам. Когда знакомишься с биографией Екатерины Александровны, становится ясно, что она имеет право на звание «прототип Татьяны» не меньшее, чем Е. К. Воронцова, А. П. Керн, и тем более Н. Д. Фонвизина или Д. Ф. Филельмон.

6 августа 1799 г. в семье генерал-лейтенанта командующего Белозерским полком Александра Дмитриевича Буткевича родилась дочь Екатерина. Как раз тогда Павел I и назначил суворовского воина генерала Буткевича шефом белозерцев. К тому времени генерал Буткевич был женат уже третьим браком (первая жена его умерла; со второй он развелся после бурных историй, оставив ей детей) на совсем юной Марии Семеновне Бинкевич. С 1795 г. по 1804 г. она родила ему восьмерых детей. Петербургский дом его находился в Коломне в приходе Покрова, на углу Большой Садовой и Фонтанки. С самого раннего возраста дочь Екатерина выказывала свой сильный характер: не принимала участия в детских играх, любила кататься только на «тройке», впрягая в сани братишку и двух сестренок (Лернер моментально находит аналогию: «дитя сама, в толпе детей играть и прыгать не хотела», но подождем с аналогиями). Когда исполнилось ей лет 16, т. е. совсем незадолго до появления на Фонтанке некоего лицеиста, в нее страстно влюбился молодой граф Александр Татищев. И она полюбила его горячо. Их считали женихом и невестой. Но когда подошло дело к развязке, старый граф Татищев решил, что генеральская дочь из многодетной небогатой (всего 600 душ) семьи сыну не пара. Дело разошлось. По понятиям того времени, Екатерина Александровна была чуть ли не опозорена — как покажешься в гостиных, если все только и делают, что судачат на твой счет. Старику Буткевичу поехать бы к Татищевым и, смиря гордость, поговорить, но он не смог сделать этого. Дочь, видно, характером в него



пошла — «где была горда», как заметил Пушкин. Не только кланяться отец не стал, но сыновьям графа Татищева тотчас отказал от дома. Необыкновенная красота «невыданной» невесты лишь увеличивала злорадство матушек и тетушек.

Тут-то всё круто переменялось. Позвали однажды трех девиц Буткевич в гости к родственникам и представили им семидесятилетнего сенатора, миллионера Валериана Венедиктовича Стройновского. Им, конечно, и невдомек было, что перед ними старец-женех. Но он явился именно с этой целью. Небывалая, на вид несколько холодноватая и правильная, но обещающая скрытый темперамент красота Екатерины Буткевич, ее стройная высокая фигура, врожденное благородство движений, заставляющее сравнивать ее с греческой богиней, давно уже пленили графа — тонкого знатока женских сердец и ножек. Блестяще образованный, сверх возможного богатый, ученый-медик, писатель\*, он пользовался, можно сказать, европейским уважением и в молодых годах бешеным успехом у женщин в Польше и в Австрии, где он жил. Долго ли, коротко — граф сделал предложение. «Согласие родителей было, казалось, обеспечено, но как добиться согласия невесты?» — риторически спрашивал в своих мемуарах племянник Екатерины Буткевич — Стройновской, сохранивший все эти подробности. А вот как: ее молила мать, а ей было все равно — и так хоть в петлю (Н. О. Лернер, как вы уже догадались, вспоминает: «Меня слезами заклинаний молила мать» и «для бедной Тани все были жребии равны»). Так вот, мать действительно со слезами и на коленях объяснила дочери все сложности положения семьи и уверила, что жертва ее будет на пользу отцу, сестрам и братьям. Екатерина Александровна холодно согласилась, не проронив ни слезинки. Генерал не поверил жене, когда она сообщила ему об этом. Он призвал дочь, обнял ее и думать запретил о подобных вещах. Однако Екатерина Александровна понимала, что делается у него на сердце, и виду не показала,

---

\* Между прочим, книга В. В. Стройновского «Об условиях помещиков с крестьянами» (Вильно, 1806) напугала правительство и одно время была запрещена.

будто приносит жертву: понравился ей галантный кавалер екатерининских времен — и все тут. Скоро дело было слажено.

В 1817 г., как раз когда лицеистов выпускали «на волю», состоялась свадьба в Коломне — в храме Покрова, что на углу Большой Садовой и Фонтанки. Екатерина Буткевич вышла из церкви графиней Стройновской. Вскоре после этого и встречал ее у Покрова, уже графинюю, молодой сын соседей и знакомых Пушкин. Знал ли, что творится на сердце у нее? Или непостижимым образом, один в целом свете, догадался? Перемолвились ли они словом когда-нибудь? Или только раскланивался Пушкин с нею, что несомненно, если вспомнить письмо Надежды Осиповны? Мы не знаем и гадать не будем...

Автор недавнего очерка о Стройновской Б. Матвеевский («Литературная Россия», 1985, № 47, 22 ноября) предполагает, что ей посвящены строки «Езерского»:

Вам должно знать, что мой чиновник  
 Был сочинитель и любовник.  
 Свои статьи печатал он  
 В «Соревнователе». Влюблен  
 Он был в Коломне по соседству...

К ней же Б. Матвеевский относит и четверостишие 1820 (?) г. К. А. Б.\*\*\* (предполагается: Катерине Александровне Буткевич):

Что можем наскоро стихами молвить ей?  
 Мне истина всего дороже.  
 Подумать не успею, скажу: ты всех милей;  
 Подумаю, я скажу всё то же.

Однако убедительных подтверждений этой версии пока нет. Да и в 1820 г. Катенька Буткевич уже три года как была Екатериной Александровной Стройновской.

Брак Стройновских, по-видимости, казался счастливым. Валериан Венедиктович умел увлечь жену блестящей беседой, воспоминаниями о бывших вельможах и чудаках; поразить необычайными разносторонними познаниями и чтением французских стихов. Были, конечно, у него и слабости, но вполне простибельные: любил сочинять ужасно длинные стихи по-польски с латино-французскими приме-

сями и с помощью друзей и знакомых переводить их на русский язык; еще обуревала его склонность всех лечить — не будучи практическим врачом, он выписывал бесконечные рецепты и трогательно справлялся, помогло ли. Впоследствии, когда, разорившись, он жил в деревне, хитрые крестьяне не без ловкости пользовались этой причудой старого барина.

Пробовал он вывозить жену в свет, но неудачно: она пользовалась слишком большим успехом. Первый же контрданс протанцевал с нею император Александр Павлович, а затем опасные балльные «львы» соперничали друг с другом за внимание молодой графини. С тех пор она сидела дома. Только в 1823 г. бог дал Стройновским единственного ребенка — дочь Ольгу. Болезненная, слабенькая, она доставила матери много радости, но немало и тяжелых минут. Вскоре после ее рождения удача и благополучие изменили графу. Он имел адвокатскую практику, зарабатывая этим много денег, и вот его обвинили в том, что как сенатор он потворствует в неправых делах людям, которым сам же небесплатно помогает как адвокат. Это означало крах карьеры. Граф был отставлен — хорошо еще, что без суда и следствия. Тут как раз он проиграл какую-то тяжбу — пришлось уплатить миллион. Продав петербургский дом, изумительное собрание картин и предметов роскоши, перебрались на жительство в новгородскую деревню. Граф по-прежнему занимался литературой, лечил с переменным успехом крестьян, хозяйничал. До бедности было, конечно, далеко, но петербургское изобилие все же осталось в прошлом...

«Домик в Коломне» был написан в Болдине 5—9 октября 1830 г.; всего за десять дней до этого Пушкин закончил девятую (теперь восьмую) главу «Евгения Онегина» — ту самую, где появляется Татьяна — жена генерала. Это совпадение дат (Н. О. Лернером не отмеченное) — за Стройновскую. Кстати, вывод этого исследователя не столь уж однозначен и заслуживает цитации, а, пожалуй, и поддержки: «Замысел «Евгения Онегина» (как и «Домика в Коломне») возник гораздо позже того времени, когда Пушкин жил в Коломне и ходил к Покрову, но впечатление, которое производила на него очаровательная графиня

Стройновская, не затерялось бесследно в его душевном опыте, и в недрах своего благородного, истинно братского сердца поэт сохранил прекрасный, трогательный образ, черты которого мы узнаем в самой любимой героине его поэзии» \*. Чтобы предостеречь читателя от очередной поспешной гипотезы, которым и без нее несть числа в пушкиноведении, приведем мнение еще одного авторитетного исследователя: «Изучение ряда предположительных прототипов Татьяны (а их было немало) убеждает в чисто художественной природе этого образа: «А та, с которой образован // Татьяны милый идеал» и пр.—литературная мистификация, призванная обострить у читателя чувство житейской подлинности событий, составляющих содержание романа» \*\*. Кто прав?

Теперь, когда мы избежали крайностей, доскажем биографию Екатерины Александровны. В 1831 г., когда по Новгородчине прокатились холерные бунты, она смело, верхом на лошади, словно амазонка, вместе с верными ей крестьянами, отразила нападение на усадьбу престарелого «самодеятельного» врачевателя. В декабре 1834 г. граф скончался \*\*\*. Он долго болел и на пожелания выздоровления отвечал: «это невозможно—как гореть лампе, у которой выгорело все масло?»

К удивлению многих, в том числе своих родных, Стройновская уже через год по любви вышла за будущего новгородского губернатора генерала Елпидофора Антиоховича Зурова (1798—1871). «Побьюсь об заклад,—шутила сестра Екатерины Александровны в январе 1836 г.,—что ее соблазнило имя,—иначе как объяснить ее брак? Женщина 40 лет, богатая, независимая, имеющая двенадцатилетнюю дочь—право, это смешно. Говорят, она все еще очень хороша, ее муж тоже богат». Александр Иванович Герцен, в 1841 г. посланный чиновником в Нов-

\* См. Лернер Н. О. Рассказы о Пушкине. Л., 1929, с. 93.

\*\* См. Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. Л., 1980, с. 373.

\*\*\* Эта дата уточняется письмом Надежды Осиповны—раньше указывался 1835 год.

город, представлялся Зурову и трудился под его началом. Генерал производил впечатление недалекого службиста и свободомыслием не блистал. Впрочем, сердцу не прикажешь. Дочь Стройновской Ольга Валериановна в 1842 г. вышла замуж за одного из князей Багратионов — Имеретинских. В 1845 г. князь умер, в 1852 г. скончалась за границей и дочь бывшей графини, оставив на попечение матери двоих маленьких сирот. Так, уже по-другому, но снова нелегко сложилась старость Екатерины Александровны Буткевич — Стройновской — Зуровой. Умерла она 19 октября 1867 г. Конечно, церковь Покрова, она забыть не могла, но подробности ее воспоминаний никогда не станут известны.



## 1

Государь Александр Павлович соизволил окончивших курс Царскосельского Лицея воспитанников кн. Александра Горчакова, Сергея Ломоносова, Николая Корсакова, барона Павла Гревеница, Вильгельма Кюхельбекера, Павла Юдина и Александра Пушкина, по засвидетельствовании Конференцией Лицея об окончании ими курса наук с успехом при похвальном поведении и добронравии, наградив первых пять чинами титулярных советников и последних двух чинами коллежских секретарей и, согласно желанию, их определить в коллегию иностранных дел (...)

Государю императору угодно было повелеть, на случай неимения вакансий, производить из них титулярным советникам каждому по 800 руб., а коллежским секретарям по 700 руб. в год из государственного казначейства вплоть до помещения их на места с жалованьем.

*Из Отношения статс-секретаря кн. А. Голицына  
к управляющему Министерством иностранных дел  
гр. К. В. Нессельроде,  
10 июня 1817 г., за № 1757.*

## 2

Вышед из Лицея, я почти тотчас уехал в Псковскую деревню моей матери. Помню, как обрадовался сельской жизни, русской бане, клубнике и проч., но всё это нравилось мне недолго. Я любил и доньне люблю шум и толпу и согласен с Вольтером в том, что деревня est le premier...

*А. С. Пушкин. Дневник, 19 ноября 1824.*

## 3

## ПРОШЕНИЕ ОБ ОТПУСКЕ

Всепресветлейший, Державнейший, Великий Государь Император Александр Павлович Самодержец Всероссийский, Государь всемилостивейший.

Просит ведомства Государственной Коллегии Иностранных Дел Коллежский Секретарь Александр Сергеев сын Пушкин о следующем.

Имею необходимую надобность отлучиться в Псковскую Губернию для приведения в порядок домашних моих дел, по чему всеподданнейше прошу к сему

Дабы Высочайшим Вашего Императорского Величества указом повелено было сие мое прошение в Государственную Коллегию Иностранных дел принять, и меня для приведения в порядок домашних моих дел, уволить в Псковскую губернию по 15 число будущего Сентября месяца.

Всемилоостивейший Государь! Прошу Вашего Императорского Величества о сем моем прошении решение учинить. Июля дня 1817 года. К поданию подлежит в Государственную Коллегию Иностранных дел. Прошение писал Титулярный Советник Котов. Коллежский секретарь Александр Сергеев сын Пушкин руку приложил.

*3 июля 1817.*

## 4

\* \* \*

Простите, верные дубравы!  
Прости, беспечный мир полей,  
И легкокрылые забавы  
Столь быстро улетевших дней!  
Прости, Тригорское, где радость  
Меня встречала столько раз!  
На то ль узнал я вашу сладость,  
Чтоб навсегда покинуть вас?  
От вас беру воспоминанье,  
А сердце оставляю вам.

Быть может (сладкое мечтанье!),  
Я к вашим возвращусь полям,  
Приду под липовые своды,  
На скат тригорского холма,  
Поклонник дружеской свободы,  
Веселья, граций и ума.

1817

А. С. Пушкин

## 5

## К ЩЕРБИНИНУ

Житье тому, любезный друг,  
Кто страстью глупою не болен,  
Кому влюбиться недосуг,  
Кто занят всем и всем доволен,  
Кто Наденьку, под вечерок,  
За тайным ужином ласкает  
И жирный страсбургский пирог  
Вином душистым запивает;  
Кто, удалив заботы прочь,  
Как верный сын пафосской веры,  
Проводит набожную ночь  
С молодой монашенкой Цитеры.  
Поутру сладко дремлет он,  
Читая листик «Инвалида»;  
Весь день веселью посвящен,  
А в ночь — вновь царствует Киприда.

И мы не так ли дни ведем,  
Щербинин, резвый друг забавы,  
С Амуром, шалостью, вином,  
Покамест молоды и здоровы?  
Но дни молодые пролетят,  
Веселье, нега нас покинут,  
Желаньям чувства изменят,  
Сердца иссохнут и остынут.  
Тогда — без песен, без подруг,  
Без наслаждений, без желаний —  
Найдем отраду, милый друг,  
*В туманном сне воспоминаний!*



Тогда, качая головой,  
Скажу тебе у двери гроба:  
«Ты помнишь Фанни, милый мой?»  
И тихо улыбнемся оба.

1819

А. С. Пушкин

## 6

## ПОСЛАНИЕ К кн. ГОРЧАКОВУ

Питомец мод, большого света друг,  
Обычаев блестящий наблюдатель,  
Ты мне велишь оставить мирный круг,  
Где, красоты беспечный обожатель,  
Я провожу незнаемый досуг;  
Как ты, мой друг, в неопытные лета,  
Опасною прельщенный суетой,  
Терял я жизнь, и чувства, и покой;  
Но угорел в чаду большого света  
И отдохнуть убрался я домой.  
И, признаюсь, мне во сто крат милее  
Младых повес счастливая семья,  
Где ум кипит, где в мыслях волен я,  
Где спорю вслух, где чувствую живее,  
И где мы все — прекрасного друзья,  
Чем вялые, бездушные собранья,  
Где ум хранит невольное молчанье,  
Где холодом сердца поражены,  
Где Бутурлин — невежд законодатель,  
Где Шеппинг — царь, а скука — председатель,  
Где глупостью единой все равны.  
Я помню их, детей самолюбивых,  
Злых без ума, без гордости спесивых,  
И, разглядев тиранов модных зал,  
Чуждаюсь их укоров и похвал!..  
Когда в кругу Лаис благочестивых  
Затянутый невежда-генерал  
Красавицам внимательным и сонным  
С трудом острит французский мадригал,  
Глядя на всех с нахальством благосклонным,  
И все вокруг и дремлют и молчат,

Крутят усы и шпорами бренчат,  
Да изредка с улыбкою зевают,—  
Тогда, мой друг, забытых шалунов  
Свобода, Вакх и музы угощают.  
Не слышу я бывало — острых слов,  
Политики смешного лепетанья,  
Не вижу я изношенных глупцов,  
Святых невежд, почетных подлецов  
И мистики придворного кривлянья!..

⟨...⟩

1819

А. С. Пушкин

7

Из «ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА»

### XIX

Мои богини! что вы? где вы?  
Внемлите мой печальный глас:  
Всё те же ль вы? другие ль девы,  
Сменив, не заменили вас?  
Услышу ль вновь я ваши хоры?  
Узрю ли русской Терпсихоры  
Душой исполненный полет?  
Иль взор унылый не найдет  
Знакомых лиц на сцене скучной,  
И, устремив на чуждый свет  
Разочарованный лорнет,  
Веселья зритель равнодушный,  
Безмолвно буду я зевать  
И о былом вспоминать?

Глава 1.

### XXIX

Во дни веселий и желаний  
Я был от балов без ума:  
Верней нет места для признаний  
И для вручения письма.

О вы, почтенные супруги!  
Вам предложу свои услуги;  
Прошу мою заметить речь:  
Я вас хочу предостеречь.  
Вы также, маменьки, поостроже  
За дочерьми смотрите вслед:  
Держите прямо свой лорнет!  
Не то... не то, избави боже!  
Я это потому пишу,  
Что уж давно я не грешу.

## XXX

Увы, на разные забавы  
Я много жизни погубил!  
Но если б не страдали нравы,  
Я балы б до сих пор любил.  
Люблю я бешеную младость,  
И тесноту, и блеск, и радость,  
И дам обдуманый наряд;  
Люблю их ножки; только вряд  
Найдете вы в России целой  
Три пары стройных женских ног (...)

Глава 1.

## XXII

Я знал красавиц недоступных,  
Холодных, чистых, как зима,  
Неумолимых, неподкупных,  
Непостижимых для ума;  
Дивился я их спеси модной,  
Их добродетели природной,  
И, признаюсь, от них бежал,  
И, мнится, с ужасом читал  
Над их бровями надпись ада:  
*Оставь надежду навсегда.*  
Внушать любовь для них беда,  
Пугать людей для них отрада.  
Быть может, на берегах Невы  
Подобных дам видали вы.

## XXIII

Среди поклонников послушных  
Других причудниц я видал,  
Самолюбиво равнодушных  
Для вздохов страстных и похвал.  
И что ж нашел я с изумленьем?  
Они, суровым поведеньем  
Пугая робкую любовь,  
Ее привлечь умели вновь,  
По крайней мере, сожаленьем,  
По крайней мере, звук речей  
Казался иногда нежней,  
И с легковерным ослепленьем  
Опять любовник молодой  
Бежал за милой суетой.

*Глава 3.*

## III

И я, в закон себе вменяя  
Страстей единый произвол,  
С толпою чувства разделяя,  
Я музу резвую привел  
На шум пиров и буйных споров,  
Грозы полуночных дозоров:  
И к ним в безумные пиры  
Она несла свои дары  
И как вакханочка резвилась,  
За чашей пела для гостей,  
И молодежь минувших дней  
За нею буйно волочилась,  
А я гордился меж друзей  
Подругой ветреной моей.

*Глава 8.*

*ИЗ РАННИХ РЕДАКЦИЙ*

\*

В начале жизни мною правил  
Прелестный, хитрый, слабый пол  
Тогда в закон себе я ставил  
Его единый произвол.

Душа лишь только разгоралась,  
И сердцу женщина являлась  
Каким-то чистым божеством.  
Владея чувствами, умом,  
Она сияла совершенством.  
Пред ней я таял в тишине:  
Ее любовь казалась мне  
Недосягаемым блаженством.  
Жить, умереть у милых ног —  
Иного я желать не мог.

\*

То вдруг ее я ненавидел,  
И трепетал, и слезы лил,  
С тоской и ужасом в ней видел  
Созданье злобных, тайных сил;  
Ее пронзительные взоры,  
Улыбка, голос, разговоры —  
Всё было в ней отравлено,  
Изменой злой напоено,  
Всё в ней алкало слёз и стона,  
Питалось кровию моей...  
То вдруг я мрамор видел в ней,  
Перед мольбой Пигмалиона  
Еще холодный и немой,  
Но вскоре жаркий и живой.

#### Глава 4.

Страсть к банку! ни дары свободы,  
Ни Феб, ни слава, ни пиры  
Не отвлекли б в минувши годы  
Меня от карточной игры;  
Задумчивый, всю ночь до света  
Бывал готов я в эти лета  
Допрашивать судьбы завет:  
Налево ляжет ли валет?  
Уж раздавался звон обеден,  
Среди разорванных колод  
Дремал усталый банкочет.  
А я, нахмурен, бодр и бледен;  
Надежды полн, закрыв глаза,  
Пускал на третьего туза.

#### Глава 2.

## 8

Милостивый государь мой

Александр Сергеевич

Санкт Петербургское Вольное Общество любителей Словесности, Наук и Художеств, в заседании своем вчерашнего числа избрав единогласно вас в свои действительные члены, возложило на меня приятную обязанность уведомить вас, милостивый государь мой, об оном.

Исполняя с особенным удовольствием такое поручение Общества, имею честь быть с совершенным почтением всегда

Вашим милостивого государя моего покорнейшим  
слугою

А. Измайлов, Председатель Общества.

*А. Е. Измайлов — Пушкину.  
26 июля 1818 г. Петербург.*

## 9

Л. С. Пушкин

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

(...) По выходе из Лицея Пушкин вполне воспользовался своею молодостью и независимостью. Его по очереди влекли к себе то большой свет, то шумные пиры, то закулисные тайны. Он жадно, бешено предавался всем наслаждениям. Круг его знакомства и связей был чрезвычайно обширен и разнообразен. Тут началась его дружба с Жуковским, не изменившая ему до последней минуты.

Поэзию Пушкин занимался мимоходом, в минуты вдохновения. Он в это время написал ряд мелких стихотворений, заключенный поэмою «Руслан и Людмила». Четырехстопный ямб с рифмою сделался и оставался его любимым размером. В это время Пушкин не постигал стихов нерифмованных и по этому

случаю смеялся над некоторыми сочинениями Жуковского. Он пародировал «Тленность» следующим образом:

Послушай, дедушка, мне каждый раз,  
Когда взгляну на этот замок Ретлер,  
Приходит в мысль: что, если это проза,  
Да и дурная?

Жуковский этому смеялся, но не уверил Пушкина, что это стихи.

Известность Пушкина, и литературная и личная, с каждым днем возрастала. Молодежь твердила наизусть его стихи, повторяла остроты его и рассказывала об нем анекдоты. Все это, как водится, было частью справедливо, частью вымышлено. Одно обстоятельство оставило Пушкину сильное впечатление. В это время находилась в Петербурге старая немка, по имени Киргоф. В число различных ее занятий входило и гадание. Однажды утром Пушкин зашел к ней с некоторыми товарищами. Г-жа Киргоф обратилась прямо к нему, говоря, что он человек замечательный. Рассказала вкратце его прошедшую и настоящую жизнь, потом начала предсказания сперва ежедневных обстоятельств, а потом важных эпох его будущего. Она сказала ему между прочим: «Вы сегодня будете иметь разговор о службе и получите письмо с деньгами». О службе Пушкин никогда не говорил и не думал; письма с деньгами получать ему было неоткуда. Деньги он мог иметь только от отца, но, живя у него в доме, он получил бы их, конечно, без письма. Пушкин не обратил большого внимания на предсказания гадальщицы. Вечером того дня, выходя из театра до окончания представления, он встретился на разъезде с генералом (А. Ф.) Орловым. Они разговорились. Орлов коснулся до службы и советовал Пушкину оставить свое министерство и надеть эполеты. Разговор продолжался довольно долго, по крайней мере, это был самый продолжительный из всех, которые он имел о сем предмете. Возвратясь домой, он нашел у себя письмо с деньгами. Оно было от одного лицейского товарища, который на другой день отправлялся за границу; он заезжал проститься с Пушкиным и заплатить ему какой-то картежный долг еще школьной их

шалости. Г-жа Киргоф предсказала Пушкину его изгнание на юг и на север, рассказала разные обстоятельства, с ним впоследствии сбывшиеся, предсказала его женитьбу и наконец преждевременную смерть, предупредивши, что должен ожидать ее от руки высокого белокурого человека. Пушкин, и без того несколько суеверный, был поражен постепенным исполнением этих предсказаний и часто об этом рассказывал.

1851—1852

## 10

### И. И. Пущин

ИЗ «ЗАПИСОК О ПУШКИНЕ»

Встреча моя с Пушкиным на новом нашем поприще имела свою знаменательность. Пока он гулял и отдыхал в Михайловском, я уже успел поступить в тайное общество: обстоятельства так расположили моей судьбой! {...}

Эта высокая цель жизни самой своей таинственностью и начертанием новых обязанностей резко и глубоко проникла душу мою; я как будто вдруг получил особенное значение в собственных своих глазах; стал внимательнее смотреть на жизнь во всех проявлениях буйной молодости, наблюдал за собою, как за частицей, хотя ничего не значащею, но входящею в состав того целого, которое рано или поздно должно было иметь благотворное свое действие.

Первая моя мысль была открыться Пушкину: он всегда согласно со мною мыслил о деле общем (respublica), по-своему проповедовал в нашем смысле — и изустно, и письменно, стихами и прозой. Не знаю, к счастью ли его или несчастью, он не был тогда в Петербурге, а то не ручаюсь, что в первых порывах, по исключительной дружбе моей к нему, я, может быть, увлек бы его с собою. Впоследствии, когда думалось мне исполнить эту мысль, я уже не решался вверить ему тайну, не мне одному принадлежавшую, где



малейшая неосторожность могла быть пагубна всему делу. Подвижность пылкого его нрава, сближение с людьми ненадежными пугали меня. К тому же в 1818 году, когда часть гвардии была в Москве по случаю приезда прусского короля, столько было опрометчивых действий одного члена общества, что признали необходимым делать выбор со всею строгостью и даже, несколько лет спустя, объявлено было об уничтожении общества, чтобы тем удалить неудачно принятых членов. На этом основании я присоединил к союзу одного Рылеева, несмотря на то, что всегда был окружен многими, разделяющими со мной мой образ мыслей.

Естественно, что Пушкин, увидя меня после первой нашей разлуки, заметил во мне некоторую перемену и начал подозревать, что я от него что-то скрываю. Особенно во время его болезни и продолжительного выздоровления, выдаясь чаще обыкновенного, он затруднял меня вопросами и расспросами, от которых я, как умел, отделялся, успокаивая его тем, что он лично, без всякого воображаемого им общества, действует как нельзя лучше для благой цели: тогда везде ходили по рукам, переписывались и читались наизусть его «Деревня», «Ода на свободу», «Ура! В Россию скачет...» и другие мелочи в том же духе. Не было живого человека, который не знал бы его стихов (...)

Нечего и говорить уже о разных его выходках, которые везде повторялись. Например, однажды в Царском Селе Захаржевского медвежонок сорвался с цепи от столба, на котором устроена была его будка, и побежал в сад, где мог встретиться глаз на глаз, в темной аллее, с императором, если бы на этот раз не встрепенулся его маленький шарло и не предостерег бы от этой опасной встречи. Медвежонок, разумеется, тотчас был истреблен, а Пушкин при этом случае не обинуясь говорил: «Нашелся один добрый человек, да и тот медведь!» Таким же образом он во всеуслышание в театре кричал: «Теперь самое безопасное время — по Неве идет лед». В переводе: нечего опасаться крепости. Конечно, болтовня эта — вздор; но этот вздор, похожий несколько на поддразнивание, переходил из уст в уста и порождал разные толки,

имевшие дальнейшее свое развитие; следовательно, и тут даже некоторым образом достигалась цель, которой он несознательно содействовал.

Между тем тот же Пушкин, либеральный по своим воззрениям, имел какую-то жалкую привычку изменять благородному своему характеру и очень часто сердил меня и вообще всех нас тем, что любил, например, вертеться у оркестра около Орлова, Чернышева, Киселева и других: они с покровительственной улыбкой выслушивали его шутки, остроты. Случалось из кресел сделать ему знак, он тотчас прибежит. Говоришь, бывало: «Что тебе за охота, любезный друг, возиться с этим народом; ни в одном из них ты не найдешь сочувствия и пр.». Он терпеливо выслушает, начнет щекотать, обнимать, что обыкновенно делал, когда немножко потеряется. Потом, смотришь,— Пушкин опять с тогдашними львами! (Анахронизм: тогда не существовало еще этого аристократического прозвища. Извините!)

Странное смещение в этом великолепном создании! Никогда не переставал я любить его; знаю, что и он платил мне тем же чувством; но невольно, из дружбы к нему, желалось, чтобы он наконец настоящим образом взглянул на себя и понял свое призвание. Видно, впрочем, что не могло и не должно было быть иначе; видно, нужна была и эта разработка, коловшая нам, слепым, глаза.

Не заключайте, пожалуйста, из этого ворчанья, чтобы я когда-нибудь был спартанцем, каким-нибудь Катонем; далеко от всего этого: всегда шалил, дурил и кутил с добрым товарищем. Пушкин сам увековечил это стихами ко мне, но при всей моей готовности к разгулу с ним, хотелось, чтобы он не переступал некоторых границ и не профанировал себя, если можно так выразиться, сближением с людьми, которые, по их положению в свете, могли волею и неволею набрасывать на него некоторого рода тень.

Между нами было и не без шалостей. Случалось, зайдет он ко мне. Вместо: «Здравствуй», я его спрашиваю: «От нее ко мне или от меня к ней?» Уж и это надо вам объяснить, если пуститься болтать.

В моем соседстве, на Мойке, жила Анжелика — прелесть полька!

На прочее завеса! \*

Возвратясь однажды с ученья, я нахожу на письменном столе развернутый большой лист бумаги. На этом листе нарисована пером знакомая мне комната, трюмо, две кушетки. На одной из кушеток сидит развалившись претолстая женщина, почти портрет безобразной тетки нашей Анжелики. У ног ее — *стрикс*, маленькая несносная собачонка.

Подписано: «От нее ко мне или от меня к ней?»

Не нужно было спрашивать, кто приходил. Кроме того, я понял, что этот раз Пушкин и ее не застал.

Очень жаль, что этот смело набросанный очерк в разгроме 1825 года не уцелел, как некоторые другие мелочи. Он стоил того, чтобы его литографировать.

Самое сильное нападение Пушкина на меня по поводу общества было, когда он встретился со мною у Н. И. Тургенева, где тогда собирались все желавшие участвовать в предполагаемом издании политического журнала. Тут, между прочим, были Куницын и наш лицейский товарищ Маслов. Мы сидели кругом большого стола. Маслов читал статью свою о статистике. В это время я слышу, что кто-то сзади берет меня за плечо. Оглядываюсь — Пушкин! «Ты что здесь делаешь? Наконец поймал тебя на самом деле», — шепнул он мне на ухо и прошел дальше. Кончилось чтение. Мы встали. Подхожу к Пушкину, здороваюсь с ним; подали чай, мы закурили сигарки и сели в уголок.

«Как же ты мне никогда не говорил, что знаком с Николаем Ивановичем? Верно, это ваше общество в сборе? Я совершенно нечаянно зашел сюда, гуляя в Летнем саду. Пожалуйста, не секретничай: право, любезный друг, это ни на что не похоже!»

Мне и на этот раз легко было без большого обмана доказать ему, что это совсем не собрание общества, им отыскиваемого, что он может спросить Маслова и что я сам тут совершенно неожиданно. «Ты знаешь, Пушкин, что я отнюдь не литератор, и, вероятно, удивляешься, что я попал некоторым образом в

\* Стих Пушкина

сотрудники журнала. Между тем это очень просто, как сейчас сам увидишь. На днях был у меня Николай Тургенев; разговорились мы с ним о необходимости и пользе издания в возможно свободном направлении; тогда это была преобладающая его мысль. Увидел он у меня на столе недавно появившуюся книгу «М-м Сталь. Взгляд на французскую революцию» и советовал мне попробовать написать что-нибудь об ней и из нее. Тут же пригласил меня в этот день вечером быть у него,— вот я и здесь!»

Не знаю настоящим образом, до какой степени это объяснение, совершенно справедливое, удовлетворило Пушкина; только вслед за сим у нас переменялся разговор, и мы вошли в общий круг. Глядя на него, я долго думал: не должен ли я в самом деле предложить ему соединиться с нами? От него зависело принять или отвергнуть мое предложение. Между тем тут же невольно являлся вопрос: почему же, помимо меня, никто из близко знакомых ему старших наших членов не думал об нем? Значит, их останавливало почти то же, что меня пугало; образ его мыслей всем хорошо был известен, но не было полного к нему доверия.

Преследуемый мыслию, что у меня есть тайна от Пушкина и что, может быть, этим самым я лишаю общество полезного деятеля, почти решался броситься к нему и все высказать, зажмуря глаза на последствия. В постоянной борьбе с самим собою, как нарочно, вскоре случилось мне встретить Сергея Львовича на Невском проспекте.

«Как вы, Сергей Львович? Что наш Александр?»

«Вы когда его видели?»

«Несколько дней тому назад у Тургенева».

Я заметил, что Сергей Львович что-то мрачен.

«Мне ничего лучшего не остается, как разорваться на части для восстановления репутации моего милого сына. Видно, вы не знаете последнюю его проказу».

Тут рассказал мне что-то, право, не помню, что именно, да и припоминать не хочется.

«Забудьте этот вздор, почтенный Сергей Львович! Вы знаете, что Александру многое можно простить, он окупает свои шалости неотъемлемыми достоинствами, которых нельзя не любить».

Отец пожал мне руку и продолжал свой путь.

Я задумался, и, признаюсь, эта встреча, совершенно случайная, произвела свое впечатление: мысль о принятии Пушкина исчезла из моей головы. Я страдал за него, и подчас мне опять казалось, что, может быть, тайное общество сокровенным своим клеймом поможет ему повнимательней и построже взглянуть на самого себя, сделать некоторые изменения в ненормальном своем быту. Я знал, что он иногда скорбел о своих промахах, обличал их в близких наших откровенных беседах, но, видно, не пришла еще пора кипучей его природе утомониться. Как ни вертел я все это в уме и сердце, кончил тем, что сознал себя не вправе действовать по личному шаткому воззрению, без полного убеждения, в деле, ответственном перед целию самого союза.

После этого мы как-то не часто виделись. Круг знакомства нашего был совершенно разный. Пушкин кружился в большом свете, а я был как можно подальше от него. Летом маневры и другие служебные занятия увлекали меня из Петербурга. Все это, однако, не мешало нам, при всякой возможности, встречаться с прежнею дружбой и радоваться нашим встречам у лицейской братии, которой уже немного оставалось в Петербурге; большею частью свидания мои с Пушкиным были у домоседа Дельвига. (...)

1858

## 11

*П. А. Катенин.*

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Знакомство мое с А. С. Пушкиным началось летом в 1817 году. Был я в театре, Семенова играла какую-то трагедию; кресла мои были с правой стороны во втором ряду; в антракте увидел я Гнедича, сидящего в третьем ряду несколько левее середины, и как знакомые люди мы с ним раскланялись издали. Не дожидаясь маленькой пиесы и проходя мимо меня, остано-

вился он, чтобы познакомиться с молодым человеком, шедшим с ним вместе.

— Вы его знаете по таланту,— сказал он мне,— это лицейский Пушкин.

Я сказал новому знакомому, что, к сожалению, послезавтра выступаю в поход, в Москву, куда шли тогда первые батальоны гвардейских полков; Пушкин отвечал, что и он вскоре отъезжает в чужие края; мы пожелали друг другу счастливого пути и разошлись.

Из Москвы возвратился я через год; все офицеры жили тогда в верхнем этаже казарм, на углу Большой Миллионной и Зимней Канавки. Молодой товарищ мой, Д. П. Зыков, по какому-то случаю у себя угощал завтраком; пришел ко мне слуга доложить, что меня ожидает гость: Пушкин. Зная только графа В. В. Мусина-Пушкина, я подумал: не он ли?

— Нет,— отвечал слуга,— молоденькой, небольшой ростом; тут я догадался и по галерее пошел к себе.

Гость встретил меня в дверях, подавая в руки толстым концом свою палку и говоря:

— Я пришел к вам, как Диоген к Антисфену: побей, но выучи.

— Ученого учить — портить,— отвечал я, взял его за руку и повел в комнаты; через четверть часа все церемонии кончились, разговор оживился, время не приметно прошло, я пригласил остаться отобедать; пришли еще кой-кто, так что новый знакомец ушел уже поздним вечером. Желая быть учтивым и расплатиться визитом, я спросил: где он живет? но ни в первый день, ни после, никогда не мог от него узнать; он упорно избегал посещений. Сам, напротив, полюбив меня с первого разу, очень часто запросто посещал, и едва ли эта первая эпоха нашего знакомства была не самая лучшая и для обоих приятная.

Помнится, с самого начала спросил он, каковы мне кажутся его стихотворения. Я, по неизлечимой болезни говорить правду, сказал, что легкое дарование приметно во всех, но хорошим почитаю только одно, и то коротенькое: «Мечты, мечты! Где ваша сладость?» По счастью, выбор мой сошелся с убеждением самого автора; он вполне согласился, прибавя, что все прочие предаст вечному забвению, и, кажется, сдержал слово, ибо они появились опять в свет уже после смерти его,

как прибавление в конце, под названием «Лицейских стихотворений».

В то же время работал он над первым из своих крупных произведений и отрывок за отрывком прочитал мне две или три песни «Руслана и Людмилы». Без сомнения, сия поэма была уже гораздо выше ученических опытов; но и в ней еще много незрелого, и тут случилось мне в первый раз заметить в покойнике нечто, может быть, укоренившееся в нем едва ли в пользу его славы на будущее время: он сознавался в ошибках, но не исправлял их. Очень помню, что я заметил ему место, когда Руслан, потеряв меч, приезжает на старинное побоище, покрытое мертвыми телами и оружием, и между ними ищет себе меча; вдруг застонало, зашевелилось мертвое поле,—но Руслан не нашел себе меча по руке и поехал далее. Такой ничтожный конец после такого пышного начала крайне удивил меня; мне вспомнился стих Горация, как гора родила мышь, и я спросил у Пушкина, над кем он шутит? Он бесспорно согласился, что дело не хорошо, но, не придумав ничего лучшего, оставил как есть, в надежде, что никто не заметит, и просил меня никому не сказывать. Я отвечал, что буду молчать по дружбе, но моя скромность поможет ему ненадолго, и когда-нибудь догадаются многие. Он и в том не спорил, только надеялся, что время не скоро придет, и, может быть, не ошибся.

1852

12

А. М. Каратыгина.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Пушкины и графиня Ивелич на страстной неделе говорили вместе с нами в церкви театрального училища (на Офицерской улице, близ Большого театра).

Помню, как графиня Екатерина Марковна рассказывала мне, что Саша Пушкин, видя меня глубоко растроганною за всеобщую великую пятницу, при выносе святой плащаницы, просил сестру свою, Ольгу

Сергеевну, напомнить мне, что ему очень больно видеть мою горечь, тем более что спаситель воскрес; о чем же мне плакать? {...}

В «Онегине» Пушкин жестоко нападает на альбомы провинциальных барышень и великосветских барынь:

...Разрозненные томы  
Из библиотеки чертей...—

но в то время альбом был такой же неизбежной принадлежностью каждой барышни, как во времена наших бабушек — опахала. Я завела себе хорошенький альбом еще в бытность мою в пансионе. Бережливости ради я обложила его сафьяновый переплет листом чистой бумаги. Впоследствии эту обертку и я сама и мои подруги испестрили разными росчерками, «пробами пера», карикатурными рожицами.

Раз, бывши в гостях у графини Ивелич, Пушкин увидал мой альбом и принялся его рассматривать; потом начал приставать к графине, чтобы она тайком от меня одолжила ему этот альбом на несколько времени, обещая написать в него стихи и что-нибудь нарисовать...

Графиня уступила его просьбам, Пушкин сдержал свое обещание: исписал несколько страниц очень милыми стихами и что-то нарисовал.

Грустно мне каяться в моем вандализме: впоследствии я затеряла этот альбом, не придавая ни стихам, ни рисункам Пушкина никакого значения!.. Так, увы, в большинстве случаев относятся современники гениальных писателей к их автографам: не дорожат ими, не сберегают их, тогда как потомство вполне справедливо считает бесценным малейший лоскут бумаги, к которому прикасалась рука творца «Руслана», «Онегина», «Кавказского пленника».

Но стихами и рисунками в моем альбоме Пушкин не ограничился. Он имел терпение скопировать все росчерки и наброски пером на бумажной обложке переплета: подлинную взял себе, а копию подменил ее, и так искусно, что мы с графиней долгое время не замечали этого «подлога».

— Зачем вы это сделали? — спрашивали мы его.

— Старую обложку я оставил себе на память! — смеялся милый шалун.



Наконец он познакомился с нами и стал довольно часто посещать нас. Мы с матушкой от души его полюбили. Угрюмый и молчаливый в многочисленном обществе, «Саша Пушкин», бывая у нас, смешил своею резвостью и ребяческою шаловливостью. Бывало, ни минуты не посидит спокойно на месте; вертится, прыгает, пересаживается, перероет рабочий ящик матушки, спутает клубки гаруса в моем вышиванье, разбросает карты в гранпасьянсе, раскладываемом матушкою...

— Да уймешься ли ты, стрекоза! — крикнет, бывало, моя Евгения Ивановна, — перестань, наконец!

Саша минуты на две приутихнет, а там опять начинает проказничать. Как-то матушка пригрозила наказать неугомонного Сашу: «остричь ему ногти», — так называла она его огромные, отпущенные на руках ногти.

— Держи его за руку, — сказала она мне, взяв ножницы, — а я остригу!

Я взяла Пушкина за руку, но он поднял крик на весь дом, начал притворно всхлипывать, стонать, жаловаться, что его обижают, и до слез рассмешил нас... Одним словом, это был суций ребенок, но истинно благовоспитанный, — *enfant de bonne maison*.

В 1818 году, после жестокой горячки, ему обрили голову, и он носил парик. Это придавало какую-то оригинальность его типичной физиономии и не особенно ее красило.

Как-то в Большом театре он вошел к нам в ложу. Мы усадили его в полной уверенности, что здесь наш проказник будет сидеть смирно. Ничуть не бывало! В самой патетической сцене Пушкин, жалуясь на жару, снял с себя парик и начал им обмахиваться, как веером. Это рассмешило сидевших в соседних ложах, обратило на нас внимание и находившихся в креслах. Мы стали унимать шалуна, он же со стула соскользнул на пол и сел у нас в ногах, прячась за барьер; наконец кое-как надвинул парик на голову, как шапку: нельзя было без смеха глядеть на него! Так он и просидел на полу во все продолжение спектакля, отпуская шутки насчет пьесы и игры актеров. Можно ли было сердиться на этого забавника? (...)

И. И. Лажечников

## ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Только что я ступил в комнату, из передней вошли в нее три незнакомые лица. Один был очень молодой человек, худенький, небольшого роста, курчавый, с *арабским профилем*, во фраке. За ним выступали два молодца-красавца, кавалерийские гвардейские офицеры, погромыхивая своими шпорами и саблями. Один был адъютант; помнится, я видел его прежде в обществе любителей просвещения и благотворения; другой — фронтовой офицер. Статский подошел ко мне и сказал мне тихим, вкрадчивым голосом: «Позвольте вас спросить, здесь живет Денисевич?» — «Здесь, — отвечал я, — но он вышел куда-то, и я велю сейчас позвать его». Я только хотел это исполнить, как вошел сам Денисевич. При взгляде на воинственных ассистентов статского посетителя он, видимо, смутился, но вскоре оправился и принял также марциальную осанку. «Что вам угодно?» — сказал он статскому довольно сухо. «Вы это должны хорошо знать, — отвечал статский, — вы назначили мне быть у вас в восемь часов (тут он вынул часы); до восьми остается еще четверть часа. Мы имеем время выбрать оружие и назначить место...» Все это было сказано тихим, спокойным голосом, как будто дело шло о назначении приятельской пирушки. Денисевич мой покраснел как рак и, запутываясь в словах, отвечал: «Я не затем звал вас к себе... я хотел вам сказать, что молодому человеку, как вы, нехорошо кричать в театре, мешать своим соседям слушать пиесу, что это неприлично...» — «Вы эти наставления читали мне вчера при многих слушателях, — сказал более энергическим голосом статский, — я уж не школьник, и пришел переговорить с вами иначе. Для этого не нужно много слов: вот мои два секунданта; этот господин военный (тут указал он на меня), он не откажется, конечно, быть вашим свидетелем. Если вам угодно...» Денисевич не дал ему договорить. «Я не

могу с вами драться,— сказал он,— вы молодой человек, неизвестный, а я штаб-офицер...» При этом оба офицера засмеялись; я побледнел и затрясся от негодования, видя глупое и униженное положение, в которое поставил себя мой товарищ, хотя вся эта сцена была для меня загадкой. Статский продолжал твердым голосом: «Я русский дворянин, Пушкин: это засвидетельствуют мои спутники, и потому вам не стыдно иметь будет со мною дело».

При имени *Пушкина* блеснула в голове моей мысль, что передо мною стоит молодой поэт, таланту которого уж сам Жуковский поклонялся, корифей всей образованной молодежи Петербурга, и я спешил спросить его: «Не Александра ли Сергеевича имею честь видеть перед собою?»

— Меня так зовут,— сказал он, улыбаясь.

«Пушкину,— подумал я,— Пушкину, автору «Руслана и Людмилы», автору столько прекрасных мелких стихотворений, которые мы так восторженно затвердили, будущей надежде России, погибнуть от руки какого-нибудь Денисевича; или убить какого-нибудь Денисевича и жестоко пострадать... нет, этому не быть! Во что б ни стало, устрою мировую, хотя б и пришлось немного покривить душой».

— В таком случае,— сказал я по-французски, чтобы не понял нашего разговора Денисевич, который не знал этого языка,— позвольте мне принять живое участие в вашем деле с этим господином и потому прошу вас объяснить мне причину вашей ссоры.

Тут один из ассистентов рассказал мне, что Пушкин накануне был в театре, где, на беду, судьба посадила его рядом с Денисевичем. Играли пустую пиесу, играли, может быть, и дурно. Пушкин зевал, шикал, говорил громко: «Несносно!» Соседу его пиеса, по-видимому, очень нравилась. Сначала он молчал, потом, выведенный из терпения, сказал Пушкину, что он мешает ему слушать пиесу. Пушкин искоса взглянул на него и принялся шуметь по-прежнему. Тут Денисевич объявил своему неугомонному соседу, что попросит полицию вывести его из театра.

— Посмотрим,— отвечал хладнокровно Пушкин и продолжал повесничать.

Спектакль кончился, зрители начали расходиться. Тем и должна была бы кончиться ссора наших

противников. Но мой витязь не терял из виду своего незначительного соседа и остановил его в коридоре.

— Молодой человек,— сказал он, обращаясь к Пушкину, и вместе с этим поднял свой указательный палец,— вы мешали мне слушать пиесу... это неприлично, это невежливо.

— Да, я не старик,— отвечал Пушкин,— но, господин штаб-офицер, еще невежливее здесь и с таким жестом говорить мне это. Где вы живете?

Денисевич сказал свой адрес и назначил приехать к нему в восемь часов утра. Не был ли это настоящий вызов?..

— Буду,— отвечал Пушкин. Офицеры разных полков, услышав эти переговоры, обступили было противников; сделался шум в коридоре, но, по слову Пушкина, все затихло, и спорившие разошлись без дальнейших приключений.

Вы видите, что ассистент Пушкина не скрыл и его вины, объяснив мне вину его противника. Вот этот-то узел предстояло мне развязать, сберегая между тем голову и честь Пушкина.

— Позвольте переговорить с этим господином в другой комнате,— сказал я военным посетителям. Они кивнули мне в знак согласия. Когда я остался вдвоем с Денисевичем, я спросил его, так ли было дело в театре, как рассказал мне один из офицеров. Он отвечал, что дело было так. Тогда я начал доказывать ему всю необдуманность его поступков; представил ему, что он сам был кругом виноват, затеяв вновь ссору с молодым, неизвестным ему человеком, при выходе из театра, когда эта ссора кончилась ничем; говорил ему, как дерзка была его угроза пальцем и глупы его наставления, и что, сделав формальный вызов, чего он, конечно, не понял, надо было или драться, или извиниться. Я прибавил, что Пушкин сын знатного человека (что он известный поэт, этому господину было бы нипочем). Все убеждения мои сопровождал я описанием ужасных последствий этой истории, если она разом не будет порешена. «В противном случае,— сказал я,— иду сейчас к генералу нашему, тогда... ты знаешь его: он шутить не любит». Признаюсь, я потратил ораторского пороку довольно, и недаром. Денисевич убедился, что он виноват, и согласился

просить извинения. Тут, не дав опомниться майору, я ввел его в комнату, где дожидались нас Пушкин и его ассистенты, и сказал ему: «Господин Денисевич считает себя виноватым перед вами, Александр Сергеевич, и в опрометчивом движении, и в необдуманном слове при выходе из театра; он не имел намерения ими оскорбить вас».

— Надеюсь, это подтвердит сам господин Денисевич,— сказал Пушкин. Денисевич извинился... и протянул было Пушкину руку, но тот не подал ему своей, сказав только: «Извиняю»,—и удалился с своими спутниками, которые очень любезно простились со мною.

1856

## 14

*М. А. Корф*

---

### ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

(...) Начав еще в Лицее, он после, в свете, предался всем возможным распутствам и проводил дни и ночи в непрерывной цепи вакханалий и оргий, с первыми и самыми отъявленными тогдашними повесами. Должно удивляться, как здоровье и самый талант его выдерживали такой образ жизни, с которым естественно сопрягались частые любовные болезни, низводившие его не раз на край могилы. Пушкин не был создан ни для службы, ни для света, ни даже—думаю—для истинной дружбы. У него были только две стихии: удовлетворение плотским страстям и поэзия, и в обеих он ушел далеко. В нем не было ни внешней, ни внутренней религии, ни высших нравственных чувств; он полагал даже какое-то хвастовство в высшем цинизме по этим предметам: злые насмешки, часто в самых отвратительных картинах, над всеми религиозными верованиями и обрядами, над уважением к родителям, над всеми связями общественными и семейными, все это было ему нипочем, и я не сомне-

ваюсь, что для едкого слова он иногда говорил даже более и хуже, нежели думал и чувствовал. Ни несчастье, ни благотворения государя его не исправили: принимая одною рукою щедрые дары от монарха, он другою омокал перо для язвительной эпиграммы. Вечно без копейки, вечно в долгах, иногда и без порядочного фрака, с беспрестанными историями, с частыми дуэлями, в тесном знакомстве со всеми трактирщиками и девками, Пушкин представлял тип самого грязного разврата. Было время, когда он от Смирдина получал по червонцу за каждый стих; но эти червонцы скоро укатывались, а стихи, под которыми не стыдно было бы выставить славное его имя, единственная вещь, которою он дорожил в мире, — писались не всегда и не скоро. При всей наружной легкости этих прелестных произведений, или именно для такой легкости, он мучился над ними по часам, и в каждом стихе, почти в каждом слове было бесчисленное множество помарок. Сверх того, Пушкин писал только в минуты вдохновения, а они заставляли ждать себя иногда по месяцам. (...)

1854

## 15

(...) Болезнь остановила на время образ жизни, избранный мною. Я занемог гнилою горячкой. Лейтон за меня не отвечал. Семья моя была в отчаянье; но через шесть недель я выздоровел. Сия болезнь оставила во мне впечатление приятное. Друзья навещали меня довольно часто; их разговоры сокращали скучные вечера. Чувство выздоровления — одно из самых сладостных. Помню нетерпение, с которым ожидал я весны, хоть это время года обыкновенно наводит на меня тоску и даже вредит моему здоровью. Но душный воздух и закрытые окна так мне надоели во время болезни моей, что весна являлась моему воображению со всею поэтической своей прелестью. Это было в феврале 1818 года. Первые восемь томов «Русской истории» Карамзина вышли в свет. Я прочел их в моей постеле с жадностью и со вниманием. Появле-

ние сей книги (так и быть надлежало) наделало много шуму и произвело сильное впечатление, 3000 экземпляров разошлись в один месяц (чего никак не ожидал и сам Карамзин)—пример единственный в нашей земле. Все, даже светские женщины, бросились читать историю своего отечества, дотоле им неизвестную. Она была для них новым открытием. Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка — Колумбом. Несколько времени ни о чем ином не говорили. Когда, по моем выздоровлении, я снова явился в свет, толки были во всей силе. Признаюсь, они были в состоянии отучить всякого от охоты к славе. Ничего не могу вообразить глупей светских суждений, которые удалось мне слышать насчет духа и слова «Истории» Карамзина. Одна дама, впрочем весьма почтенная, при мне, открыв вторую часть, прочла вслух: «*Владимир усыновил Святополка, однако не любил его...*» *Однако!*.. Зачем не *но!* *Однако!* Как это глупо! чувствуете ли всю ничтожность вашего Карамзина? *Однако!*»—В журналах его не критиковали. Каченовский бросился на одно предисловие.

У нас никто не в состоянии исследовать огромное создание Карамзина — зато никто не сказал спасибо человеку, уединившемуся в ученый кабинет во время самых лестных успехов и посвятившему целых 12 лет жизни безмолвным и неутомимым трудам. *Ноты* «Русской истории» свидетельствуют обширную ученость Карамзина, приобретенную им уже в тех летах, когда для обыкновенных людей круг образования и познаний давно окончен и хлопоты по службе заменяют усилия к просвещению.— Молодые якобинцы негодовали; несколько отдельных размышлений в пользу самодержавия, красноречиво опровергнутые верным рассказом событий, казались им верхом варварства и унижения. Они забывали, что Карамзин печатал «Историю» свою в России; что государь, освободив его от цензуры, сим знаком доверенности некоторым образом налагал на Карамзина обязанность всевозможной скромности и умеренности. Он рассказывал со всею верностию историка, он везде ссылался на источники — чего же более требовать было от него? Повторяю, что «История государства Российского»

есть не только создание великого писателя, но и подвиг честного человека.

Некоторые из людей светских письменно критиковали Карамзина. Никита Муравьев, молодой человек, умный и пылкий, разобрал предисловие или введение: предисловие!.. Мих. Орлов в письме к Вяземскому пенял Карамзину, зачем в начале «Истории» не поместил он *какой-нибудь блестящей гипотезы о происхождении славян*, т. е. требовал романа в истории — ново и смело! Некоторые остряки за ужином переложили первые главы Тита Ливия слогом Карамзина. Римляне времен Тарквиния, не понимающие *спасительной пользы самодержавия*, и Брут, осуждающий на смерть своих сынов, *ибо редко основатели республик славятся нежной чувствительностью*, — конечно, были очень смешны. Мне приписали одну из лучших русских эпиграмм; это не лучшая черта моей жизни.

А. С. Пушкин. Воспоминания. Карамзин. 1824(?)

## 16

### П. А. Вяземский

из «СТАРОЙ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ»

Пушкин, в медовые месяцы вступления своего в свет, был маленько приворожен ею (кн. Голицыной). Надолго ли, неизвестно, но, во всяком случае, неправдоподобно. В сочинениях его встречаются стихи, на имя ее написанные, если не страстные, то довольно воодушевленные. Правда, в тех же сочинениях есть и обратная сторона медали. Едва ли не к княгине относится следующая заметка по поводу появления в свет первых восьми томов «Истории Государства Российского»: «Одна дама, впрочем, весьма почтенная (в первоначальном тексте сказано милая), при мне, открыв 2-ю часть (Истории), прочла вслух: «*Владимир усыновил Святополка, однако не любил его... Однако! зачем не но? Как это глупо! Чувствуете ли вы всю ничтожность вашего Карамзина?*»

1860-е годы



## 17

...Кстати, замечательная черта. Однажды начал он при мне излагать свои любимые парадоксы. Оспори-вая его, я сказал: «Итак, вы рабство предпочитаете свободе». Карамзин вспыхнул и назвал меня своим клеветником. Я замолчал, уважая самый гнев прекрасной души. Разговор переменялся. Скоро Карамзину стало совестно, и, прощаясь со мною, как обыкновенно, упрекал меня, как бы сам извиняясь в своей горячности: «Вы сегодня сказали на меня то, чего ни Шихматов, ни Кутузов на меня не говорили». В течение шестилетнего знакомства только в этом случае упомянул он при мне о своих неприятелях, против которых не имел он, кажется, никакой злобы; не говорю уж о Шишкове, которого он просто любил. Однажды, отправляясь в Павловск и надевая свою ленту, он посмотрел на меня наискось и не мог удержаться от смеха. Я прыснул, и мы оба расхохотались...

*А. С. Пушкин. Воспоминания. Карамзин. 1824(?)*

## 18

Историю русскую должно будет преподавать по Карамзину. «История государства Российского» есть не только произведение великого писателя, но и подвиг честного человека. Россия слишком мало известна русским; сверх ее истории, ее статистика, ее законодательство требуют особенных кафедр. Изучение России должно будет преимущественно занять в окончательные годы умы молодых дворян, готовящихся служить отечеству верою и правдою, имея целию искренно и усердно соединиться с правительством в великом подвиге улучшения государственных постановлений, а не препятствовать ему, безумно упорствуя в тайном недоброжелательстве.

*А. С. Пушкин. О народном воспитании. 1826.*

## 19

## ПРОШЕНИЕ ОБ ОТПУСКЕ.

⟨...⟩ Имея необходимую надобность отлучиться по собственным делам моим в здешнюю Губернию на 28 дней, всеподданнейше прошу,

Дабы Высочайшим Вашего Императорского Величества Указом повелено было сие мое прошение в Государственную Коллегию Иностранных дел принять и меня в С.-Петербургскую Губернию на 28 дней уволить. ⟨...⟩

9 июля 1819.

## 20

N. N.

(В. В. ЭНГЕЛЬГАРДТУ)

Я ускользнул от Эскулапа  
Худой, обритый — но живой;  
Его мучительная лапа  
Не тяготеет надо мной.  
Здоровье, легкий друг Приапа,  
И сон, и сладостный покой,  
Как прежде, посетили снова  
Мой угол тесный и простой.

⟨...⟩

От суеты столицы праздной,  
От хладных прелестей Невы,  
От вредной сплетницы молвы,  
От скуки, столь разнообразной,  
Меня зовут холмы, луга,  
Тенисты клены огорода,  
Пустынной речки берега  
И деревенская свобода.  
Дай руку мне. Приеду я  
В начале мрачном сентября:  
С тобою пить мы будем снова,  
Открытым сердцем говоря  
Насчет глушца, вельможи злого,

Насчет холопа записного,  
Насчет небесного царя,  
А иногда насчет земного.

1819                    А. С. Пушкин

## 21

## ДОМОВОМУ

Поместья мирного незримый покровитель,  
Тебя молю, мой добрый домовой,  
Храни селенье, лес и дикий садик мой  
И скромную семьи моей обитель!  
Да не вредят полям опасный хлад дождей  
И ветра позднего осенние набеги;  
Да в пору благотворны снеги  
Покроют влажный тук полей!  
Останься, тайный страж, в наследственной сени,  
Постигни робостью полуночного вора  
И от недружеского взора  
Счастливым домик охраняй!  
Ходи вокруг его заботливым дозором,  
Люби мой малый сад и берег сонных вод,  
И сей укромный огород  
С калиткой ветхою, с обрушенным забором!  
Люби зеленый скат холмов,  
Луга, измятые моей бродящей ленью,  
Прохладу лип и кленов шумный кров —  
Они знакомы вдохновенью.

1819

А. С. Пушкин

## 22

## ДЕРЕВНЯ

Приветствую тебя, пустынный уголок,  
Приют спокойствия, трудов и вдохновенья,  
Где льется дней моих невидимый поток  
На лоне счастья и забвенья.

Я твой — я променял порочный двор Цирцей.  
Роскошные пиры, забавы, заблужденья  
На мирный шум дубров, на тишину полей,  
На праздность вольную, подругу размышленья

Я твой — люблю сей темный сад  
С его прохладой и дветами,  
Сей луг, уставленный душистыми скирдами,  
Где светлые ручьи в кустарниках шумят.  
Везде передо мной подвижные картины:  
Здесь вижу двух озер лазурные равнины,  
Где парус рыбака белеет иногда,  
За ними ряд холмов и нивы полосаты,  
Вдали рассыпанные хаты,  
На влажных берегах бродящие стада,  
Овины дымные и мельницы крилаты;  
Везде следы довольства и труда...

Я здесь, от суетных оков освобожденный,  
Учуся в Истине блаженство находить,  
Свободною душой Закон боготворить,  
Роптанью не внимать толпы непросвещенной,  
Участьем отвечать застенчивой Мольбе

И не завидовать судьбе  
Злодея иль глупца — в величии неправом.

Оракулы веков, здесь вопрошаю вас!

В уединенье величавом  
Слышнее ваш отрадный глас.  
Он гонит лени сон угрюмый,  
К трудам рождает жар во мне,  
И ваши творческие думы  
В душевной зреют глубине.

Но мысль ужасная здесь душу омрачает:

Среди цветущих нив и гор  
Друг человечества печально замечает  
Везде Невежества убийственный Позор.

Не видя слез, не внемля стона,  
На пагубу людей избранное Судьбой,  
Здесь Барство дикое, без чувства, без Закона,  
Присвоило себе насильственной лозой  
И труд, и собственность, и время земледельца.

Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам,  
Здесь Рабство тощее влачится по браздам  
Неумолимого Владельца.  
Здесь тягостный ярем до гроба все влекут,  
Надежд и склонностей в душе питать не смея,  
Здесь девы юные цветут  
Для прихоти бесчувственной злодея.  
Опора милая стареющих отцов,  
Младые сыновья, товарищи трудов,  
Из хижины родной идут собой умножить  
Дворовые толпы измученных рабов.  
О, если б голос мой умел сердца тревожить!  
Почто в груди моей горит бесплодный жар?  
И не дан мне судьбой витийства грозный дар?  
Увижу ль, о друзья! народ неугнетенный  
И Рабство, падшее по манию царя,  
И над отечеством Свободы просвещенной  
Взойдет ли наконец прекрасная Заря?

1819

А. С. Пушкин

## 23

(...) Помещик, описанный Радищевым, привел мне на память другого, бывшего мне знакомого лет 15 тому назад. Молодой мой образ мыслей и пылкость тогдашних чувствований отвратили меня от него и помешали мне изучить один из самых замечательных характеров, которые удалось мне встретить. Этот помещик был род маленького Людовика XI. Он был тиран, но тиран по системе и по убеждению, с целию, к которой двигался он с силою души необыкновенной и с презрением к человечеству, которого не думал и скрывать. Сделавшись помещиком двух тысяч душ, он нашел своих крестьян, как говорится, избалованными слабым и беспечным своим предшественником. Первым старанием его было общее и совершенное разорение. Он немедленно приступил к совершению своего предположения и в три года привел крестьян в жестокое положение. Крестьянин не имел никакой собственности. он пахал барскую сохою, за-

пряженной барскою клячею, скот его был весь продан, он садился за спартанскую трапезу на барском дворе; дома не имел он ни штей, ни хлеба. Одежда, обувь выдавалась ему от господина, — словом, статья Радищева кажется картиною хозяйства моего помещика. Как бы вы думали? Мучитель имел виды филантропические. Приучив своих крестьян к нужде, терпению и труду, он думал постепенно их обогатить, возратить им собственность, даровать им права! Судьба не позволила ему исполнить его предначертания. Он был убит своими крестьянами во время пожара.

*А. С. Пушкин. Путешествие из Москвы в Петербург.  
1833—1835.*

## 24

## К ЧААДАЕВУ

Любви, надежды, тихой славы  
Недолго нежил нас обман,  
Исчезли юные забавы,  
Как сон, как утренний туман;  
Но в нас горит еще желанье,  
Под гнетом власти роковой  
Нетерпеливою душой  
Отчизны внемлем призыванье.  
Мы ждем с томленьем упованья  
Минуты вольности святой,  
Как ждет любовник молодой  
Минуты верного свиданья.  
Пока свободою горим,  
Пока сердца для чести живы,  
Мой друг, отчизне посвятим  
Души прекрасные порывы!  
Товарищ, верь: взойдет она,  
Звезда пленительного счастья,  
Россия вспрянет ото сна,  
И на обломках самовластья  
Напишут наши имена!

1820 (?)

А. С. Пушкин

## 25

Друг Марса, Вакха и Венеры,  
Тут Лунин дерзко предлагал  
Свои решительные меры  
И вдохновенно бормотал.  
Читал свои Ноэли Пушкин,  
Меланхолический Якушкин,  
Казалось, молча обнажал  
Цареубийственный кинжал.  
Одну Россию в мире видя,  
Преследуя свой идеал,  
Хромой Тургенев им внимал  
И, плети рабства ненавидя,  
Предвидел в сей толпе дворян  
Освободителей крестьян.

*«Евгений Онегин». Десятая глава.*

## 26

Иной наш брат, украинец, подумает, что в столице-то, а особливо в Петербурге, в присутствии двора, под глазами государя, соблюдается на особе его уважение и дается пример преданности... Какой-то мальчишка Пушкин, питомец лицейский, в *благодарность*, написал презельную оду, где досталось фамилии Романовых вообще, а государь Александр назван кочующим деспотом... К чему мы идем?

*В. Н. Каразин. Дневник. Ноябрь 1819.*

## 27

Что скажем о нынешнем воспитании (...) Натверживание молодым людям сумасбродных книг под именем божественной философии и пр., навязывание им Библии нисколько не сделало их лучшими, а заставило смеяться над религиею или на нее

досадовать. Такое лицемерное воспитание (...) умножает только людей развращенных. В самом Лицее Царскосельском государь воспитывает себе и отечеству недоброжелателей... Это доказывают почти все вышедшие оттуда. Говорят, что один из них, Пушкин, по высочайшему повелению секретно наказан. Но из воспитанников более или менее есть почти всякий Пушкин, и все они связаны каким-то подозрительным союзом, похожим на масонство, некоторые же и в действительные ложи вступили... Кто сочинители эпиграмм на двуглавого орла, на Стурдзу, в которой высочайшее лицо названо весьма непристойно и пр. Это лицейские питомцы! Кто знакомится с публикою соблазнительными стихотворениями в летах, где честность и скромность наиболее приличны... они же.

*Из доноса В. Н. Каразина гр. В. П. Кочубею  
31 марта 1820.*

## 28

9 мая 1820 года в 11 часов пополудни. Запишу, и для чего же не записать: сегодня, сейчас, слышал я от А. Ф. Лабзина следующую катреню, якобы соч(иненную) также Пушкиным.

Православный государь!  
Наших бед виновник.  
Полно, братцы!.. Он не царь —  
Много, что полковник.

Последнее полустишие кто-то иначе пересказывал. Смысл тот: «Плохой царь, но славный полковник».

*В. Н. Каразин. Дневник. 9 мая 1820.*

## 29

Сиятельнейший граф, милостивый государь!

Я очень сожалел, что не мог иметь лестной для меня чести видеть ваше сиятельство в последний



раз: я хотел было показать места в нескольких номерах наших журналов, имеющие отношение к высылке Пушкина <...> Безумная эта молодежь хочет блеснуть своим неуважением правительства.

В IV № «Соревнователя» на стр. 70-й Кюхельбекер, взяв эпитафией из Жуковского:

И им \* не разорвать венка  
Который взяло дарованье!..

воскликает к своему лицейскому сверстнику

О Дельвиг, Дельвиг! что награда  
И дел высоких и стихов?  
Таланту что и где отрада  
Среди злодеев и глупцов?

Хотя надпись сей пьесы просто «Поэты», но цель ее очень видна из многих мест <...>

Поелику эта пьеса была читана, в обществе непосредственно после того, как высылка Пушкина сделалась гласною, то и очевидно, что она *по сему случаю* написана.

В IV № «Невского зрителя» Пушкин прощается с Кюхельбекером. Между прочим:

Прости, где б ни был я: в огне ли смертной битвы  
При мирных ли брегах родимого ручья  
Святому братству верен я!

Сия пьеса, которую ваше сиятельство найдете на стр. 66-й упомянутого журнала, чтобы отвлечь внимание цензуры, подписана якобы 9-м июня 1817-го года.

Нравственность этого *святого братства и союза* (о котором я предварял) вы изволите увидеть и на других №№ при сем приложенных <...>

Чтобы не утомлять Ваше сиятельство более сими вздорами, вообразите, что все это пишут и печатают не развратники, запечатленные уже общим мнением,

\* Т. е. государю, министрам и так далее (прим. Каразина).

но молодые люди, едва вышедшие из царских училищ и подумайте о следствиях такого воспитания. Я на это, на это только ищущу обратить внимание ваше.

*В. Н. Каразин — гр. В. П. Кочубею. С.-Петербург.  
4 июня 1820.*

## 30

Поэма моя на исходе — думаю кончить последнюю песнь на этих днях. Она мне надоела — потому и не присылаю тебе отрывков.

*Пушкин — П. А. Вяземскому. 28 марта 1820 г.  
Из Петербурга в Варшаву*

## 31

ИЗ ПОЭМЫ «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»

Для вас, души моей царицы,  
Красавицы, для вас одних  
Времен минувших небылицы,  
В часы досугов золотых,  
Под шепот старины болтливой,  
Рукою верной я писал;  
Примите ж вы мой труд игривый!  
Ничьих не требуя похвал,  
Счастлив уж я надеждой сладкой,  
Что дева с трепетом любви  
Посмотрит, может быть, украдкой  
На песни грешные мои.

*Посвящение*

Напрасно вы в тени таились  
Для мирных, счастливых друзей,  
Стихи мои! Вы не сокрылись  
От гневных зависти очей.  
Уж бледный критик, ей в услугу,  
Вопрос мне сделал роковой:

Зачем Русланову подругу,  
Как бы на смех ее супругу,  
Зову и девой и княжной?  
Ты видишь, добрый мой читатель,  
Тут злобы черную печать!  
Скажи, Зоил, скажи, предатель,  
Ну как и что мне отвечать?  
Красней, несчастный, бог с тобою!  
Красней, я спорить не хочу;  
Довольный тем, что прав душою,  
В смиренной кротости молчу.

*Песнь третья.*

Я каждый день, восстав от сна,  
Благодарю сердечно бога  
За то, что в наши времена  
Волшебников не так уж много.  
К тому же — честь и слава им! —  
Женитьбы наши безопасны...  
Их замыслы не так ужасны  
Мужьям, девицам молодым.  
Но есть волшебники другие,  
Которых ненавижу я:  
Улыбка, очи голубые  
И голос милый — о друзья!  
Не верьте им: они лукавы!  
Страшитесь, подражая мне,  
Их упоительной отравы,  
И почивайте в тишине.

*Песнь четвертая.*

Ты мне велишь, о друг мой нежный,  
На лире легкой и небрежной  
Старинны были напевать  
И музе верной посвящать  
Часы бесценного досуга...  
Ты знаешь, милая подруга:  
Поссорясь с ветреной молвой,  
Твой друг, блаженством упоенный,  
Забыл и труд уединенный,  
И звуки лиры дорогой.

От гармонической забавы  
Я, негой упоен, отвык...  
Дышу тобой — и гордой славы  
Невнятен мне призывный клик!  
Меня покинул тайный гений  
И вымыслов, и сладких дум;  
Любовь и жажда наслаждений  
Одни преследуют мой ум.  
Но ты велишь, но ты любила  
Рассказы прежние мои,  
Преданья славы и любви;  
Мой богатырь, моя Людмила,  
Владимир, ведьма, Черномор,  
И Финна верные печали  
Твое мечтанье занимали;  
Ты, слушая мой легкий вздор,  
С улыбкой иногда дремала;  
Но иногда свой нежный взор  
Нежнее на певца бросала...  
Решусь; влюбленный говорун,  
Касаюсь вновь ленивых струн;  
Сажусь у ног твоих и снова  
Бренчу про витязя младого.

*Песнь шестая.*

Так, мира житель равнодушный,  
На лоне праздной тишины  
Я славил лирою послушной  
Преданья темной старины.  
Я пел — и забывал обиды  
Слепого счастья и врагов,  
Измены ветреной Дориды  
И сплетни шумные глупцов.  
На крыльях вымысла носимый,  
Ум улетал за край земной;  
И между тем грозы незримой  
Сбиралась туча надо мной!..  
Я погибал... Святой хранитель  
Первоначальных, бурных дней,  
О дружба, нежный утешитель  
Болезненной души моей!  
Ты умолила непогоду;

Ты сердцу возвратила мир;  
Ты сохранила мне свободу,  
Кипящей младости кумир! (...)

1817—1820

Эпиграф.

ИЗ РАННИХ РЕДАКЦИЙ

Как я люблю мою княжну,  
Мою прекрасную Людмилу,  
В печалях сердца тишину,  
Невинной страсти огонь и силу,  
Затеи, ветреность, покой,  
Улыбку сквозь немые слезы...  
И с этим юности златой  
Все нежны прелести, все розы!..  
Бог весть, увижу ль наконец  
Моей Людмилы образец!  
К ней вечно сердцем улетаю...  
Но с нетерпеньем ожидаю  
Судьбой сужденной мне княжны  
(Подруги милой, не жены,  
Жены я вовсе не желаю).  
Но вы, Людмилы наших дней,  
Поверьте совести моей,  
Душой открытой вам желаю  
Такого точно жениха,  
Какого здесь изображаю  
По воле легкого стиха...

*Песнь пятая.*

32

ИЗ КРИТИЧЕСКИХ ОТЗЫВОВ О «РУСЛАНЕ И ЛЮДМИЛЕ»

I

Возможно ли просвещенному, или хоть немного сведущему человеку терпеть, когда ему предлагают новую поэму, писанную в подражание *Еруслану*

*Лазаревичу?* Извольте же заглянуть в 15 и 16 № *Сына Отечества*. Там неизвестный пиит *на образчик* выставляет нам отрывок из поэмы своей *Людмила и Руслан* (не Еруслан ли?). Не знаю, что будет содержать целая поэма; но образчик хоть кого выведет из терпения. Пиит оживляет *мужичка сам с нготь, а борода с локоть, придает ему еще бесконечные усы*, показывает нам ведьму, шапочку невидимку и проч. Но вот что всего драгоценнее: Руслан наезжает в поле на побитую рать, видит богатырскую голову, под которою лежит меч-кладенец; голова с ним разглагольствует, сражается... Живо помню, как все это, бывало, я слушал от няньки моей; теперь на старости сподобился вновь то же самое услышать от поэтов нынешнего времени!.. Для большей точности или чтобы лучше выразить всю прелесть *старинного* нашего песнословия, поэт и в выражениях уподобился Ерусланову рассказчику, например:

...Шутите вы со мною —  
Всех *удаблю* вас бороною!..

Каково? —

...Объехал голову кругом  
И стал *пред носом* молчаливо.  
*Щекотит* ноздри копием...

Картина, достойная Кирши Данилова! Далее: чихнула голова, за нею и эхо чихает... Вот что говорит рыцарь:

Я еду, еду, не свищу,  
А как наеду, не спущу...

Потом витязь ударяет голову *в щеку* тяжелой *рукавицей*... Но увольте меня от подробностей, и позвольте спросить: если бы в Московское благородное собрание как-нибудь втерся (предполагаю невозможное возможным) гость с бороною, в армяке, в лаптях, и закричал бы зычным голосом: *здорово, ребята!* Неужели бы стали таким проказником любоваться? (...)

*Житель Бутырской слободы*  
(*Бутырский старец*).—*Вестник Европы*, 1820, июнь.

## II

Это Шемякин суд! — Выражение: *это чихает* очень затруднило Бутырских жителей; вообще же должно заметить, что они не скоро находят смысл выражений истинно стихотворных. Старику не нравится выражение Руслана:

Я еду, еду, не свищу,  
А как наеду, не спущу!

Что же скажет он о Богдановиче, у которого Греческая (!!!) Царевна плачет как *дура*, едет на *щучке шегардой*, называет дракона змеем *Горыничем*, *чудом-юдом* и проч.?.. Еще бы можно более поговорить о просвещении Бутырских жителей, но я боюсь утомить ваших читателей {...}

«...ев». К издателю «Сына отечества». —  
Сын отечества, 1820, ч. 63, № 31.

## III

От чудесного и характеров существ сверхъестественных перейдем к *характерам* героев, в Поэме действующих. И в этой части, одной из труднейших, молодой Стихотворец наш торжествует. Конечно, в маленькой Поэме его только шесть лиц: *Руслан, Людмила, Владимир, Рогдай, Ратмир и Фарлаф*; конечно, легче отделать и выдержать шесть характеров, нежели двадцать; зато славнее для Поэта изобразить шесть характеров хорошо, нежели пятьдесят дурно. Он остерегся от легкого, но сухого и холодного, способа познакомить читателей с своими героями, изображая их портреты и силуэты, как делает Тацит в Истории, Вольтер в Поэме. Он помнит, что ни Гомер, ни Виргилий не рисовали их, и, по следам своих великих учителей, умел выставить героев в *действии*, показать их образ мыслей в речах, дать каждому особенную, ему только приличную физиономию, которая против воли обнаруживается в решительные минуты опасности, несчастья, сильной страсти. Герои Пушкина не выходят из природы, действуют прилично, ровно, не похоже один на другого, но согласно с их

особенным характером. Характеры их от начала до конца выдержаны (<...>)

В *слоге* юного поэта, уже теперь занимающего почтенное место между первоклассными отечественными нашими писателями, видна верная рука, водимая вкусом: нет ничего неясного, неопределенного, запутанного, тяжелого. Почти везде точность выражений, с разборчивостью поставленных; стихи, пленяющие легкостью, свежестью, простотою и сладостью, кажется, что они не стоили никакой работы, а сами собой скатывались с лебединого пера нашего поэта. Он никогда не прибегает к натянутым, холодным риторическим фигурам, сим сокровищам писателей без дарования, которые, не находя в душе своей потребного жара для оживотворения их мертвых произведений, поневоле прибегают к сим неестественным украшениям и блестящим безделкам. (<...>)

А. Ф. Воейков. Разбор поэмы:  
*Руслан и Людмила*. — *Сын отечества*, 1820, ч. 64,  
№ 35, 36.

#### IV

Вы разбирали одно из лучших произведений Литературы сего года; позвольте вас попросить объяснить некоторые места, о которых вы ничего не говорите. Я уверен, что вы возьмете на себя труд отвечать на мои вопросы. Начнем с первой Песни. (<...>)

Зачем Финн дожидался Руслана? Зачем он рассказывает Руслану свою историю, и как может Руслан в таком несчастном положении с *жадностью* *внимать рассказы* (или по-русски *рассказам*) старца?

Зачем Руслан *присвистывает*, отправляясь в путь; показывает ли это огорченного человека? Зачем Фарлаф с своею трусостью поехал искать Людмилы? Иные скажут: затем, чтобы упасть в грязный ров. (<...>)

Зачем маленький карло с большою бородою (что между прочим совсем не забавно) приходил к Людмиле? Как Людмиле пришла в голову странная мысль схватить с колдуна шапку (впрочем в испуге чего не наделаешь?) и как колдун позволил ей это



сделать? Каким образом Руслан бросил Рогдая, как ребенка, в воду, когда

Они схватились на конях;

.....  
Их члены злобой съединенны;

Объяты молча, костенеют, и проч.

Не знаю, как Орловский нарисовал бы это. <...>

Зачем Черномор, доставши чудесный меч, положил его на поле, под головою брата; не лучше ли бы было взять его домой? — Зачем будить 12 спящих дев и поселять их в какую-то степь, куда, не знаю как, заехал Ратмир? Долго ли он пробыл там? Куда поехал? Зачем сделался рыбаком? Кто такая его новая подруга? Вероятно-ли, что Руслан победил Черномора и пришед в отчаяние, не находя Людмилы, махал до тех пор мечом, что сшиб шапку с лежащей на земле супруги? Зачем карло не вылез из котомки убитого Руслана? Что предвещает сон Руслана? <...>

Зачем, разбирая Руслана и Людмилу, говорить об Илиаде и Энеиде? Что есть общего между ними? Как писать (и кажется серьезно), что речи Владимира, Руслана и Финна и проч., нейдут в сравнение с Гомеровыми? Вот вещи, которых я не понимаю и которых многие другие также не понимают.

*NN. Письмо к сочинителю Критики на поэму Руслан и Людмила. — Сын отечества, 1820, ч. 64, № 38.*

## V

...Бедный поэт! Не успел он еще отдохнуть от тяжкого нападения г-на В., как является NN с полною котомкою вопросов, из которых один хитрее другого! — Оба господа сии вероятно вступят в ученую переписку, и ваш счастливый Журнал выбран цирком, на коем происходит будет сей *assaut d'esprit!* \* — Спешим, Милостивый Государь, поздравить вас с сею радостью. — Какой свет излиется на Российскую Словесность из вопросов г-на NN, из ответов г-на В.! — Но разделяя сию приятную надежду со всеми лю-

\* Поединок остроумия (фр.)

бителями Русского слова, мы с другой стороны не можем не пожалеть о Сочинителе Поэмы, который, при первом почти шаге на Парнас, встречает таких судей! Вопрос за вопросом,—удар за ударом—ах, Милостивый Государь! —какой молодой Стихотворец может выдержать такой строгий допрос, как мы читали в письме г-на NN.

— Иной подумает, что дело идет не о Поэме, а об уголовном преступлении. <...>

<...> «Зачем Руслан присвистывает, отправляясь в путь?

Дурная привычка, г. NN! больше ничего. Не забудьте, пожалуйста, что вы читаете сказку, да к тому ж еще *шуточную* (как весьма остроумно заметил Г.В. в своей критике): зачем же Руслану не присвистывать?—Может быть, рыцари тогдашнего времени, вместо употребляемых ныне английских хлыстиков, присвистывали на лошадей? Если б автор сказал, что Руслан просвистал арию из какой-нибудь Оперы, то это, конечно, показалось бы странным в его положении, но присвистнуть, право, ему можно позволить! <...>

«Как Людмиле пришла в голову странная мысль, «схватить с колдуна шапку? (впрочем в испуге чего не наделаешь)».—

Так точно, г. NN! Другой причины не было, и нам очень приятно видеть, что вы сами собой успели разрешить сей важный вопрос! <...>

«Зачем карло не вылез из котомки убитого Руслана?»

И нам сие сначала показалось весьма странным; но впоследствии времени, мы узнали от достоверных особ, что карло не вылез из котомки затем, что он никак *не мог* вылезть. Руслан, прежде смерти, крепко-накрепко затянул котомку ремнем, оставив небольшое отверстие, чрез которое карло мог просовывать одну только голову. Мы весьма рады, что судьба доставила нам случай узнать о сем важном обстоятельстве, и долгом считаем довести оное до всеобщего сведения. <...>

К. Григорий Б-в. Замечание на письмо  
к Сочинителю Критики  
на поэму Руслан и Людмила.—  
Сын отечества, 1820, ч. 65, № 41.

## VI

Чрезвычайная легкость и плавность стихов — отменная версификация составили бы существенное достоинство сего произведения, если бы пиитические красоты, в нем заключающиеся, не были перемешаны с низкими сравнениями, безобразным волшебством, сладострастными картинами и такими выражениями, которые оскорбляют хороший вкус. Поэт умел устлать для читателя путь цветами. Не спору, что это дорога к обогащению нашей Словесности; но она не поведет к образованию и облагородствованию вкуса. Черномор и все его братья и сестры свиты Вельзевула могут нравиться более грубому, необразованному народу. Должно отдать справедливость г. Пушкину; какую смело и роскошною рукой раскидывает он красоты Поэзии? в стихах его то живость, то легкость — кажется, будто они выливались у него сами собою. Так велико и неприметно искусство! — Им одушевлены описываемые предметы, многия картины — прекрасны. Все показывает в нем Поэта. При всем том надобно жалеть, что дарование не избрало для себя более благородного и возвышенного предмета, а обратилось на такой, который мог занимать тогда только, когда ум и знания были еще в младенчестве. Кто бы подумал до появления сего произведения, что, при нынешнем состоянии просвещения, старинная сказка Еруслан Лазаревич найдет себе подражателей? <...>

<...> Поэма Руслан и Людмила могла бы почесться народным старинным рассказом, если бы борода Черномора и голова брата его — существовали хотя в изустных преданиях. Поэт сотворил их сам, подражая только оным, и представил никем нечитанные и неслыханные чудеса. Он желал идти по следам Ариоста, но не имея столь возвышенных дарований, вместо действия целого мира, который является у сего Поэта-Гения, изобразил четыре или пять лиц, сделал из всего чудесную смесь смешного с простонародным, нежным и разными картинами. Он редко возвышается. Один только *пустынник* у него великое лицо, и хотя представлен посторонним, но им движется все действие: жизнь его, открытие им *живой и мертвой* воды, которую он черпал в *девственных* волнах: все

останавливало мое внимание и заставляло ему удивляться. Руслан крепко спит, у него у сонного похищают Людмилу; он хорошо рубится с Рогдаем, когда еще не было причины к бою; они съехались, как и расстались, поехав оба искать Людмилу. Впрочем Руслан томится, вздыхает и обнаруживает нежные чувства, как *Селадон*. Без совета пустынного он, кажется, оставил бы Людмилу, и на свадебном с нею пиру он уже сердился и щипал себе усы; без помощи пустынного, лежать бы ему убитым от Фарлафа. Он не опомнился с первого удара; три раза молодец-богатырь в *перчатках*, Фарлаф, вонзал в него хладную сталь. Самого Руслана один только великий подвиг — удар по щеке головы рукавицей; с бородою карла-Черномора он, имея и чудесный меч, не мог вдруг сладить, и только утомил его, державшись за бороду, и таким образом летая с ним по воздуху: — *превосходная картина!* достойно в то время и занятие Руслана: он щипал из бороды волосы. Чудесно — дух устает и предлагает сам себя в волю героя, которого носил в атмосфере. Таково главное лицо Поэмы! Людмила *мила*, особенно когда визжит и подымает кулак на Черномора. Рогдай не возбуждает никакого участия; он стбит, чтоб быть похищенным Русалкой. *Ратмир прекрасен*, после как его омыли красавицы в Русской бане. Лицо Фарлафа списано с натуры. Напрасно только Поэт называет его героем доблестным, скромным среди мечей — это совсем не смешно; Фарлаф везде изображен по Русской пословице: «блудлив как кошка, а труслив как заяц». Ему покровительствует Наина — ведьма, которая превращается в *змея и кошку*. Противоборствующие силы Руслану представлены чрезвычайными. Какое гигантское воображение! Что за голова, что за борода?.. (...)

— *Невский зритель*, 1820, № 7.

## VII

(...) Остановимся несколько времени на том произведении нашего поэта, которым совершилось первое знакомство русской публики с ее любимцем.

Если в своих последующих творениях почти во все создания своей фантазии вплетает Пушкин индивидуальность своего характера и образа мыслей, то здесь является он часто *творцом-поэтом*. Он не ищет передать нам свое особенное воззрение на мир, судьбу, жизнь и человека; но просто созидает нам новую судьбу, новую жизнь, свой новый мир, населяя его существами новыми, отличными, принадлежащими исключительно его творческому воображению. Оттого ни одна из его поэм не имеет той полноты и оконченности, какую замечаем в Руслане. Оттого каждая песнь, каждая сцена, каждое отступление живет самобытно и полно; оттого каждая часть так необходимо вплетается в состав целого создания, что нельзя ничего прибавить или выбросить, не разрушив совершенно его гармонии. (...)

*И. В. Киреевский. Нечто о характере поэзии Пушкина.—Московский вестник, 1828, ч. 8, № 6.*

## 33

*А. С. Пушкин.*

## ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ ПОЭМЫ

Автору было двадцать лет от роду, когда кончил он Руслана и Людмилу. Он начал свою поэму, будучи еще воспитанником Царскосельского лицея, и продолжал ее среди самой рассеянной жизни. Этим до некоторой степени можно извинить ее недостатки.

При ее появлении в 1820 году тогдашние журналы наполнились критиками более или менее снисходительными\*. Самая пространная писана

\* Одна из них подала повод к эпиграмме, приписываемой К\*\*\*:

Напрасно говорят, что критика легка:  
Я критику читал Руслана и Людмилы:  
Хоть у меня довольно силы.  
Но для меня она ужасно как тяжка.

*Причм. Пушкина,*

г. В. и помещена в «Сыне отечества». Вслед за нею появились вопросы неизвестного. Приведем из них некоторые.

«Начнем с первой песни. *Commençons par le commencement:* \*

Зачем Финн дожидался Руслана?

Зачем он рассказывает свою историю, и как может Руслан в таком несчастном положении с *жадностью* *внимать рассказы* (или по-русски *рассказам*) старца?

Зачем Руслан *присвистывает*, отправляясь в путь? Показывает ли это огорченного человека? Зачем Фарлаф с своею трусостью поехал искать Людмилы? Иные скажут: затем, чтобы упасть в грязный ров: *et puis on en rit et cela fait toujours plaisir.* \*\*

Справедливо ли сравнение, стр. 43, которое вы так хвалите? случалось ли вам это видеть?

Зачем маленький карло с большою бородою (что между прочим, совсем не забавно) приходил к Людмиле? Как Людмиле пришла в голову странная мысль схватить с колдуна шапку (впрочем, в испуге чего не наделаешь?) и как колдун позволил ей это сделать?

Каким образом Руслан бросил Рогдая как ребенка в воду, когда

Они схватились на конях;  
 .....  
 Их члены злобой сведены;  
 Объяты, молча, костенеют, и проч.?

Не знаю, как Орловский нарисовал бы это.

Зачем Руслан говорит, увидевши поле битвы (которое совершенный *hors d'oeuvre* \*\*\*), зачем говорит он:

О поле, поле! кто тебя  
 Усеял мертвыми костями?  
 .....  
 Зачем же, поле, смолкло ты  
 И поросло травой забвенья?..  
 Времен от вечной темноты,  
 Быть может, нет и мне спасенья! и проч.?

\* Начнем сначала (фр.)

\*\* и затем над этим смеются, а это всегда доставляет удовольствие (фр.)

\*\*\* посторонний предмет (фр.)

Так ли говорили русские богатыри? И похож ли Руслан, говорящий о *траве забвенья и вечной темноте времен*, на Руслана, который чрез минуту после восклицает с *важностью сердитой*:

Молчи, пустая голова!

.....  
Хоть лоб широк, да мозгу мало!

Я еду, еду, не свищу,

А как наеду, не спущу!

.....Знай наших! и проч.?

Зачем Черномор, доставши чудесный меч, положил его на поле, под голову брата; не лучше ли бы было взять его домой?

Зачем будить двенадцать спящих дев и поселять их в какую-то степь, куда, не знаю как, заехал Ратмир? Долго ли он пробыл там? Куда поехал? Зачем сделался рыбаком? Кто такая его новая подруга? Вероятно ли, что Руслан, победив Черномора и пришед в отчаяние, не найдя Людмилы, махал до тех пор мечом, что сшиб шапку с лежащей на земле супруги?

Зачем карло не вылез из котомки убитого Руслана? Что предвещает сон Руслана? Зачем это множество точек после стихов:

.....  
Шатры белеют на холмах?

Зачем, разбирая Руслана и Людмилу, говорить об Илиаде и Энеиде? Что есть общего между ними? Как писать (и, кажется, серьезно), что речи Владимира, Руслана, Финна и проч. нейдут в сравнение с Гомеровыми? Вот вещи, которых я не понимаю и которых многие другие также не понимают. Если вы нам объясните их, то мы скажем: *cujusvis hominis est errare: nullius, nisi insipientis, in errore perseverare (Philippis., XII, 2)*» \*

Tes pourquoi, dit le dieu, ne finiront jamais. \*\*

Конечно, многие обвинения сего допроса осно-

\* каждому человеку свойственно ошибаться; только глупцу — упорствовать в ошибке (XII Филиппика Цицерона) (лат.)

\*\* твоим «почему», сказал бог, никогда не будет конца. (фр.)

вательны, особенно последний. Некто взял на себя труд отвечать на оные. Его антикритика остроумна и забавна.

Впрочем, нашлись рецензенты совсем иного разбора. Например, в «Вестнике Европы», № 11, 1820, мы находим следующую благонамеренную статью.

«Теперь прошу обратить ваше внимание на новый ужасный предмет, который, как у Камознса Мыс бурь, выходит из недр морских и показывается посреди океана российской словесности. Пожалуйте напечатать мое письмо: быть может, люди, которые грозят нашему терпению новым бедствием, опомнятся, рассмеются — и оставят намерение сделаться изобретателями нового рода русских сочинений.

Дело вот в чем: вам известно, что мы от предков получили небольшое бедное наследство литературы, т. е. *сказки и песни народные*. Что об них сказать? Если мы бережем старинные монеты, даже самые безобразные, то не должны ли тщательно хранить и остатки словесности наших предков? Без всякого сомнения! Мы любим вспоминать все, относящееся к нашему младенчеству, к тому счастливому времени детства, когда какая-нибудь песня или сказка служила нам невинною забавой и составляла всё богатство познаний. Видите сами, что я не прочь от собирания и изыскания русских сказок и песен; но когда узнал я, что наши словесники приняли старинные песни совсем с другой стороны, громко закричали о величии, плавности, силе, красотах, богатстве наших старинных песен, начали переводить их на немецкий язык и, наконец, так влюбились в *сказки и песни*, что в стихотворениях XIX века заблистали *Ерусланы и Бовы* на новый манер,—то я вам слуга покорный!

Чего доброго ждать от повторения более жалких, нежели смешных, лепетаний?.. Чего ждать, когда наши поэты начинают пародировать *Киришу Данилова*?

Возможно ли просвещенному или хоть немного сведущему человеку терпеть, когда ему предлагают новую поэму, писанную в подражание *Еруслану Лазаревичу*? Извольте же заглянуть в 15 и 16 № *Сына отечества*. Там неизвестный пиит на образчик представляет нам отрывок из поэмы своей *Людмила*



и Руслан (не Еруслан ли?). Не знаю, что будет содержать целая поэма; но образчик хоть кого выведет из терпения. Пиит оживляет *мужичка сам с нготь, а борода с локоть*, придает ему еще *бесконечные усы* (С. от.,\* стр. 121), показывает нам ведьму, шапочку-невидимку и проч. Но вот, что всего драгоценнее: Руслан наезжает в поле на побитую рать, видит богатырскую голову, под которою лежит меч-кладенец: *голова с ним разглагольствует, сражается...* Живо помню, как все это, бывало, я слушал от няньки моей; теперь на старости сподобился вновь то же самое услышать от поэтов нынешнего времени!.. Для большей точности, или чтобы лучше выразить всю прелесть *старинного* нашего песнословия, поэт и в выражениях уподобился Ерусланову рассказчику, например:

...Шутите вы со мною —  
Всех *удавлю* вас бородою!..

Каково?..

...Объехал голову кругом  
И стал *пред носом* молчаливо,  
*Щекотит* ноздри копием...

Картина, достойная Кириши Данилова! Далее: *чихнула* голова, за нею и эхо *чихает*... Вот что говорит рыцарь:

Я еду, еду, не свищу,  
А как наеду, не спущу...

Потом витязь ударяет в *щеку* тяжелой *рукавицей*... Но увольте меня от подробного описания, и позвольте спросить: если бы в Московское благородное собрание как-нибудь втерся (предполагаю невозможное возможным) гость с бородою, в армяке, в лаптях и закричал бы зычным голосом: *здорово, ребята!* Неужели бы стали таким проказником любоваться! Бога ради, позвольте мне, старику, сказать публике, посредством вашего журнала, чтобы она каждый раз жмурила глаза при появлении подобных странностей. Зачем допускать, чтобы плоские шутки старины снова появлялись между нами! Шутка грубая, не одо-

\* *Сын отечества*

бряемая вкусом просвещенным, отвратительна, а ни мало не смешна и не забавна. Dixi» \*.

Долг искренности требует также упомянуть и о мнении одного из *увенчанных, первоклассных отечественных писателей*, который, прочитав Руслана и Людмилу, сказал: я тут не вижу ни мыслей, ни чувства; вижу только чувственность. Другой (а может, быть, и тот же) *увенчанный, первоклассный отечественный писатель* приветствовал сей первый опыт молодого поэта следующим стихом:

Мать дочери велит на эту сказку плюнуть.

12 февраля, 1828.

### 34

«Руслана и Людмилу» вообще приняли благо-склонно. Кроме одной статьи в «Вестнике Европы», в которой ее побранили весьма неосновательно, и весьма дельных «вопросов», изобличающих слабость создания поэмы, кажется, не было об ней сказано худого слова. Никто не заметил даже, что она холодна. Обвиняли ее в безнравственности за некоторые слегка сладострастные описания, за стихи, мною выпущенные во втором издании:

О, страшный вид! волшебник хилый  
Ласкает сморщенной рукой etc.

За вступление не помню которой песни:

Напрасно вы в тени таились etc.

и за пародию «Двенадцати спящих дев»; за последнее можно было меня пожурить порядком, как за недостаток эфетического чувства. Непростительно было (особенно в мои лета) пародировать, в угождение черни, девственное, поэтическое создание. Прочие упреки были довольно пустые. Есть ли в «Руслане» хоть одно место, которое в вольности шуток могло быть сравнено с шалостями хоть, например,

\* Я сказал (лат.)

Ариоста, о котором поминутно твердили мне? Да и выпущенное мною место было очень, очень смягченное подражание Ариосту (Orlando, canto V, o. VIII) \* (...)

Перечитывая самые branчивые критики, я нахожу их столь забавными, что не понимаю, как я мог на них досадовать; кажется, если б хотел я над ними посмеяться, то ничего не мог бы лучшего придумать, как только их перепечатать безо всякого замечания. Однако ж я видел, что самое глупое ругательство получает вес от волшебного влияния типографии. Нам всё еще *печатный лист кажется святым*. Мы всё думаем: как может это быть глупо или несправедливо? ведь это напечатано!

А. С. Пушкин. Опровержение на критики. 1830.

## 35

### Ф. Н. Глинка.

#### ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Раз утром выхожу я из своей квартиры (на Театральной площади) и вижу Пушкина, идущего мне навстречу. Он был, как и всегда, бодр и свеж; но обычная (по крайней мере, при встречах со мною) улыбка не играла на его лице, и легкий оттенок бледности замечался на щеках.

— Я к вам.

— А я от себя!

И мы пошли вдоль площади. Пушкин заговорил первый:

— Я шел к вам посоветоваться. Вот видите: слух о моих и не моих (под моим именем) пьесах, разбежавшихся по рукам, дошел до правительства. Вчера, когда я возвратился поздно домой, мой старый дядька объявил, что приходил в квартиру какой-то неизвестный человек и давал ему *пятьдесят* рублей,

\* Орландо, песнь V, октава VIII (ит.)

прося дать ему почитать моих сочинений и уверял, что скоро принесет их назад. Но мой верный старик не согласился, а я взял да и сжег все мои бумаги.

При этом рассказе я тотчас узнал Фогеля с его проделками.

— Теперь,— продолжал Пушкин, немного озабоченный,— меня требуют к Милорадовичу! Я знаю его по публике, но не знаю, как и что будет и с чего с ним взяться... Вот я и шел посоветоваться с вами.

Мы остановились и обсуждали дело со всех сторон. В заключение я сказал ему:

— Идите прямо к Милорадовичу, не смущаясь и без всякого опасения. Он не поэт; но в душе и рыцарских его выходках у него много романтизма и поэзии: его не понимают! Идите и положитесь безусловно на благородство его души: он не употребит во зло вашей доверенности.

Тут, еще поговорив немного, мы расстались: Пушкин пошел к Милорадовичу, а мне путь лежал в другое место.

Часа через три явился и я к Милорадовичу, при котором, как при генерал-губернаторе, состоял я, по высочайшему повелению, по особым поручениям, в чине полковника гвардии. Лишь только ступил я на порог кабинета, Милорадович, лежавший на своем зеленом диване, окутанный дорогими шальями, закричал мне навстречу:

— Знаешь, душа моя! (это его поговорка) у меня сейчас был Пушкин! Мне ведь велено взять его и забрать все его бумаги; но я счел более *деликатным* (это тоже любимое его выражение) пригласить его к себе и уж от него самого вытребовать бумаги. Вот он и явился, очень спокоен, с светлым лицом, и когда я спросил о бумагах, он отвечал: «Граф! все мои стихи сожжены! — у меня ничего не найдется на квартире; но если вам угодно, все найдется *здесь* (указал пальцем на свой лоб). Прикажите подать бумаги, я напишу все, что когда-либо написано мною (разумеется, кроме печатного) с *отметкою*, что мое и что разошлось *под моим именем*. Подали бумаги. Пушкин сел и писал, писал... и написал *целую тетрадь*... Вон она (указывая на стол у окна), полюбуйся!.. Завтра я отвезу

ее государю. А знаешь ли—Пушкин пленил меня своим благородным тоном и манерою (это тоже его словцо) обхождения. <...>

На другой день я постарался прийти к Милорадовичу поранее и поджидал возвращения его от государя. Он возвратился, и первым словом его было:

— Ну, вот дело Пушкина и решено!

Разоблачившись потом от мундирной формы, он продолжал:

— Я вошел к государю с своим сокровищем, подал ему *тетрадь* и сказал: «Здесь все, что разбрелось в публике, но вам, государь, лучше этого не читать!» Государь улыбнулся на мою заботливость. Потом я рассказал подробно, как у нас дело было. Государь слушал внимательно, а наконец спросил: «А что ж ты сделал с *автором?*» — «Я?..— сказал Милорадович,— я объявил ему от имени вашего величества *прощение!*..» Тут мне показалось,— продолжал Милорадович,— что государь слегка нахмурился. Помолчав немного, государь с живостью сказал: «*Не рано ли?!*» Потом, еще подумав, прибавил: «Ну коли уж так, то мы распорядимся иначе: снарядить Пушкина в дорогу, выдать ему прогоны и, с соответствующим чином и с соблюдением возможной благовидности, отправить его на службу на юг».

1866

## 36

Ф. Н. ГЛИНКЕ

Когда средь оргий жизни шумной  
Меня постигнул остракизм,  
Увидел я толпы безумной  
Презренный, робкий эгоизм.  
Без слез оставил я с досадой  
Венки пиров и блеск Афин,  
Но голос твой мне был отрадой,  
Великодушный гражданин!  
Пускай судьба определила  
Гоненья грозные мне вновь,

Пускай мне дружба изменила,  
Как изменяла мне любовь,  
В моем изгнанье позабуду  
Несправедливость их обид:  
Они ничтожны — если буду  
Тобой оправдан, Аристид.  
1822  
А. С. Пушкин

## 37

Г. Пушкин, воспитанник Царскосельского Лицея, причисленный к департаменту иностранных дел, будет иметь честь передать сие вашему превосходительству.

Письмо это имеет целью просить вас принять этого молодого человека под ваше покровительство и просить вашего благосклонного попечения.

Позвольте мне сообщить вам о нем некоторые подробности.

Исполненный горестей в продолжение всего своего детства, молодой Пушкин оставил родительский дом, не испытывая сожаления. Лишенный сыновней привязанности, он мог иметь лишь одно чувство — страстное желание независимости. Этот ученик уже рано проявил гениальность необыкновенную. Успехи его в Лицее были быстры. Его ум вызывал удивление, но характер его, кажется, ускользнул от взора наставников.

Он вступил в свет сильный пламенным воображением, но слабый полным отсутствием тех внутренних чувств, которые служат заменой принципов, пока опыт не успеет дать нам истинного воспитания.

Нет той крайности, в которую бы не впадал этот несчастный молодой человек — как нет и того совершенства, которого не мог бы он достигнуть высоким превосходством своих дарований.

Поэтическим произведениям своим он обязан известному рода славою, значительными заблуждениями и друзьями, достойными уважения, которые открывают ему, наконец, путь к спасению, если это еще не поздно и если он решится ему последовать.

Несколько поэтических пьес, в особенности же ода на вольность, обратили на Пушкина внимание правительства.

При величайших красотах мысли и слога, это последнее произведение запечатлено опасными принципами, навеянными направлением времени или, лучше сказать, той анархической доктриной, которую по недобросовестности называют системою человеческих прав, свободы и независимости народов.

Тем не менее, гг. Карамзин и Жуковский, осведомившись об опасностях, которым подвергся молодой поэт, поспешили предложить ему свои советы, привели его к признанию своих заблуждений и к тому, что он дал торжественное обещание отречься от них навсегда.

Г. Пушкин кажется исправившимся, если верить его слезам и обещаниям. Однако, эти его покровители полагают, что его раскаяние искренне, и что, удалив его на некоторое время из Петербурга, доставив ему занятие и окружив добрыми приметами, можно сделать из него прекрасного слугу государству или, по крайней мере, писателя первой величины.

Отвечая на его мольбы, император уполномочивает меня дать молодому Пушкину отпуск и рекомендовать его вам. Он будет прикомандирован к вашей особе, генерал, и будет заниматься в вашей канцелярии как сверхштатный. Судьба его будет зависеть от успехов ваших добрых советов.

Соблаговолите же дать ему их. Соблаговолите просветить его неопытность, повторяя ему, что все достоинства ума без достоинств сердца почти всегда составляют преимущество гибельное и что слишком много примеров убеждают нас в том, что люди, одаренные прекрасными дарованиями, но не искавшие в религии и нравственности предохранения от опасных уклонений, были причиною несчастий как своих собственных, так и своих сограждан.

Г. Пушкин, кажется, желает избрать дипломатическое поприще и начал его в департаменте.

Не желаю ничего лучшего как дать ему место при себе, но он получит эту милость не иначе, как через ваше посредство и когда вы скажете, что он ее достоин.

Вы не ожидали такого поручения. Если оно будет для вас стеснительно, то пеняйте на то доброе и заслуженное мнение, которое о вас имеют.

Примите и проч.

*И. А. Каподистрия — И. Н. Инзову  
С. Петербург, 5 мая 1820. (фр.)*

На подлинном рукою Александра I: «Быть по сему»

## 38

Погасло дневное светило;  
 На море синее вечерний пал туман.  
 Шумы, шуми, послушное ветрило,  
 Волнуйся подо мной, угрюмый океан.  
 Я вижу берег отдаленный,  
 Земли полуденной волшебные края;  
 С волненьем и тоской туда стремлюся я,  
 Воспоминаям упоенный...  
 И чувствую: в очах родились слезы вновь;  
 Душа кипит и замирает;  
 Мечта знакомая вокруг меня летает;  
 Я вспомнил прежних лет безумную любовь,  
 И всё, чем я страдал, и всё, что сердцу мило,  
 Желаний и надежд томительный обман...  
 Шумы, шуми, послушное ветрило,  
 Волнуйся подо мной, угрюмый океан.  
 Лети, корабль, носи меня к пределам дальным  
 По грозной прихоти обманчивых морей,  
 Но только не к брегам печальным  
 Туманной родины моей,  
 Страны, где пламенем страстей  
 Впервые чувства разгорались,  
 Где музы нежные мне тайно улыбались,  
 Где рано в бурях отцвела  
 Моя потерянная младость,  
 Где легкокрылая мне изменила радость  
 И сердце хладное страданью предала.  
 Искатель новых впечатлений,  
 Я вас бежал, отечески края;  
 Я вас бежал, питомцы наслаждений,  
 Минутной младости минутные друзья;



И вы, наперсницы порочных заблуждений,  
Которым без любви я жертвовал собой,  
Покоем, славою, свободой и душой,  
И вы забыты мной, изменницы младые,  
Подруги тайные моей весны златая,  
И вы забыты мной... Но прежних сердца ран,  
Глубоких ран любви, ничто не излечило...

Шумы, шуми, послушное ветрило,  
Волнуйся подо мной, угрюмый океан...

1820

А. С. Пушкин

## 39

\* \* \*

Мне вас не жаль, года весны моей,  
Протекшие в мечтах любви напрасной,  
Мне вас не жаль, о тайнства ночей,  
Воспетые цевницей сладострастной,

Мне вас не жаль, неверные друзья,  
Венки пиров и чаши круговые,—  
Мне вас не жаль, изменницы младые,—  
Задумчивый, забав чуждаюсь я.

Но где же вы, минуты умиленья,  
Младых надежд, сердечной тишины?  
Где прежний жар и слезы вдохновенья?  
Придите вновь, года моей весны!

1820

А. С. Пушкин

## 40

〈...〉

В изгнанье скучном, каждый час  
Горя завистливым желаньем,  
Я к вам лечу воспоминаньем,  
Воображаю, вижу вас:  
Горишь ли ты, лампада наша,  
Подруга бдений и пиров?

Кипишь ли ты, золотая чаша,  
В руках веселых остряков?  
Где ты, приют гостеприимный,  
Приют любви и вольных муз,  
Где с ними клятвою взаимной  
Скрепили вечный мы союз,  
Где дружбы знали мы блаженство,  
Где в колпаке за круглый стол  
Садилось милое равенство,  
Где своенравный произвол  
Менял бутылки, разговоры,  
Рассказы, песни шалуна,  
И разгорались наши споры  
Огнем и шуток и вина?  
Услышу ль я, мои поэты,  
Богов торжественный язык?

(...)

1821

*А. С. Пушкин*

## 41

Необдуманнные речи, сатирические стихи обратили на меня внимание в обществе, распространились сплетни, будто я был отвезен в тайную канцелярию и высечен.

До меня позже всех дошли эти сплетни, сделавшиеся общим достоянием, я почувствовал себя опозоренным в общественном мнении, я впал в отчаяние, дрался на дуэли — мне было 20 лет в 1820 — я размышлял, не следует ли мне покончить с собой или убить — В.

В первом случае я только подтвердил бы сплетни, меня бесчестившие, во втором — я не отомстил бы за себя, потому что оскорбления не было, я совершил бы преступление, я принес бы в жертву мнению света, которое я презираю, человека, от которого зависело всё и дарования которого невольно внушали мне почтение.

Таковы были мои размышления. Я поделился ими с одним другом, и он вполне согласился со мной. — Он посоветовал мне предпринять шаги перед властями

в целях реабилитации — я чувствовал бесполезность этого.

Я решил тогда вкладывать в свои речи и писания столько неприличия, столько дерзости, что власть вынуждена была бы наконец отнестись ко мне, как к преступнику; я надеялся на Сибирь или на крепость, как на средство к восстановлению чести (...) (фр.)

*Пушкин — Александру I.*

*Начало июля — сентябрь (до 22) 1825 г.  
Из Михайловского в Петербург. (Черновое)*

## 42

### ВОСПОМИНАНИЕ

*(Окончание стихотворения в черновой редакции)*

Я вижу в праздности, в неистовых пирах,  
В безумстве гибельной свободы,  
В неволе, бедности, изгнании, в степях  
Мои утраченные годы.  
Я слышу вновь друзей предательский привет  
На играх Вакха и Киприды,  
Вновь сердцу моему наносит хладный свет  
Неотразимые обиды.  
Я слышу вокруг меня жужжанье клеветы,  
Решенья глупости лукавой,  
И шепот зависти, и легкой суеты  
Укор веселый и кровавый.  
И нет отрады мне (...)

1828

*А. С. Пушкин*

## Глава пятая



1820

... непреклонным вдохновеньем  
И бурной юностью моей,  
И страстью воли, и гоненьем.  
Я стал известен меж людей.

1822

Растолкуй мне теперь, почему полуденный берег и Бахчисарай имеют для меня прелесть неизъяснимую? Отчего так сильно во мне желание вновь посетить места, оставленные мною с таким равнодушием? или воспоминание самая сильная способность души нашей, и им очаровано всё, что подвластно ему?

1824

Неполных пять месяцев жизни Пушкина станут предметом рассмотрения в 5-й главе, но за это время поэт пережил столько, увидел столько, запомнил столько, что творческие отзвуки южных — в особенности крымских (таврических) впечатлений до самой смерти раздавались в его душе. Правда, ловишь себя на мысли, что и Лицей, и Петербург, и псковские места, и тверские, и Болдино, и Урал — все запечатлело в поэтических трудах и в самой жизни Пушкина след неизгладимый. Такое уж это было всеотзывчивое сердце и такой всеохватный разум! Но южное путешествие 1820 г., совершенное совсем еще молодым Пушкиным, узнавшим уже в Петербурге и счастье любви, и горечь страдания, и одиночество гонения, услышавшего первые трубные звуки славы и шепот завистников-невежд, — это путешествие было для него искрометно-блестящим, но и переменчивым как само южное море, к которому он приехал.

Один из первых собирателей всех возможных сведений о поэте П. И. Бартенев писал: «На перекладной, в красной рубашке и опояске, в поярковой шляпе скакал Пушкин по так называемому белорусскому тракту в Могилев и Киев».

Он думал, что едет не так уж и надолго и, несомненно, был в добром настроении, которое нередко возникает у путешественников, соединенном еще у него с чувством оставшейся позади опасности. Перед самым отъездом Пушкин зашел проститься к Чаадаеву: «Мой милый, я заходил к тебе, но ты спал; стоило ли будить тебя из-за такой безделицы». С собой у него был важный документ:

По указу Его Величества государя императора Александра Павловича и прочая, и прочая и прочая. Показатель сего, Ведомства государственной коллегии иностранных дел коллежский секретарь Александр Пушкин отправлен по надобности службы к главному попечителю колонистов южного края г. генерал-лейтенанту Инзову; посему для свободного проезда сей пашпорт из оной коллегии дан ему.

*В Санкт-Петербурге мая 5-го дня  
1820-го года \**

Даже о «командировочных» позаботились: выдана была целая тысяча рублей. Вдобавок Пушкин, видимо, знал уже, что друзья договорились о будущем его на ближайшие месяцы: в письмах братьев Тургеневых и Карамзина о ссылке поэта мелькает слово «Крым». Туда собиралось семейство славного генерала Раевского, командовавшего 4-м корпусом 1-й армии с главной квартирой в Киеве. Младший сын генерала был другом Пушкина, оказавшим ему «услуги незабвенные» — мы до сих пор в подробностях не знаем какие, но в их числе была и поездка в Крым. Жившая тогда с матерью в Петербурге старшая дочь Раевского Екатерина Николаевна знала обо всех договоренностях — во всяком случае, она на другой день после отъезда поэта огорчалась, что приходится отсылать письмо к отцу почтой, «потому что мама забыла послать его с Пушкиным». Скорее всего, Пушкин

---

\* Этот документ — подлинник — приобрел в Париже коллекционер С. Лифарь и подарил Пушкинскому дому.

даже посетил в Петербурге жену и дочерей генерала и договорился о встрече в Крыму. Дело в том, что генерал, вместе с младшим сыном и двумя младшими дочерьми Марией и Софьей, отправлялся в Крым из Киева с продолжительным заездом на кавказские минеральные воды для лечения (там ждал его старший сын Александр), а уж потом должен был соединиться с женой и двумя старшими дочерьми, Екатериной и Еленой, на южном, или полуденном, как всюду называет его Пушкин, берегу Крыма. Этот план полностью воплотился в жизнь, о чем можно узнать из первого документа 5-й главы — письма Пушкина к брату Льву Сергеевичу.

Вообще, надо сказать, что, начиная с южного путешествия, читатель приобретает несравненный первоисточник и ориентир в биографии поэта — его собственные, временами очень подробные и конкретные письма. На их фоне легче воспринимать автобиографический элемент в стихах и прозе. Хотя с этим последним, как уже говорилось, приходится обращаться с предельной осторожностью — как летопись душевной жизни Пушкина стихи его незаменимы, но если попытаться уловить в них веши его, так сказать, житейской биографии, то вопросов возникает куда больше, чем будет дано прямых ответов. Все это не следует забывать и по отношению к предлагаемым документально-художественным монтажа́м.

Итак, в Екатеринослав Пушкин приехал через Киев, где обедал у Раевских, окончательно договорившись о «плане наступления» на доброго Инзова, который один только мог дать согласие на поездку «прикомандированного» к нему поэта. Все должно было решиться в личном разговоре Раевского с Инзовым. Пока что Пушкин один (17 или 18 мая) по почтовой дороге, проложенной вблизи Днепра, прибыл в Екатеринослав и вручил Инзову официальные документы — письмо статс-секретаря графа И. А. Каподистрии (гл. IV, № 37), извещение петербургского начальства о назначении Инзова полномочным наместником Бессарабии с резиденцией в Кишиневе, и — свою судьбу.

В ожидании Раевских Пушкин поселился на приднепровской окраине Мандрыковке в старенькой

хатенке еврейского бедняка. Сохранились мемуарные свидетельства о Екатеринославе (теперь — Днепропетровск) того времени: «Екатеринослав тогда представлял... более вид какой-то голландской колонии, нежели губернского города. Одна главная улица тянулась на несколько верст, шириной шагов двести, так что изобиловала простором не только для садов и огородов, но даже и для пастбищ скота на улице, чем жители пользовались без малейшего стеснения». Потемкинский дворец, некогда прекрасный, стал уже разваливаться; начатый строительством храм, который должен был размерами и великолепием превзойти чуть ли не собор св. Петра в Риме, так и остался с одним фундаментом. Известный мемуарист Ф. Ф. Вигель, побывав в Екатеринославе, писал: «На вершине горы под именем площади находится просторное пустое поле, с трудом мог я разглядеть на нем нечто выходящее из земли: то были выведенные три или четыре сажени кирпичных стен собора. В расстоянии четверти версты отсюда находится Потемкинский дворец. Все это было без полов, без окон, без дверей и дождь капал сверху сквозь дырявую деревянную крышу». Инзов так отзывался об этом: «Екатеринослав город скромный. Хотя по развалинам прежнего величия и славы нехотя вспомнишь и скажешь: суета суетств! Вот следы затей человеческих!»

Всего 11—12 дней пробыл Пушкин в Екатеринославе, но этот город должен быть отмечен как место рождения замысла поэмы о «Братьях-разбойниках». 11 ноября 1823 г. Пушкин вспоминал в письме к Вяземскому: «Истинное происшествие подало мне повод написать этот отрывок. В 1820-м году, в бытность мою в Екатеринославе, два разбойника, скованные вместе, переплыли через Днепр и спаслись. Их отдых на островке, потопление одного из стражей мною не выдумань (...). Отрывок мой написан в конце 1821 года». П. И. Бартенев рассказывает, что в Кишиневе кто-то усомнился в самой возможности для двоих скованных людей переплыть реку. Тогда Пушкин кликнул своего слугу Никиту и велел рассказать, как они с ним действительно видели это в Екатеринославе. Между прочим, Вяземский усмотрел в «Братьях-разбойниках» не один лишь сюжет, но и куда

более расширительный смысл. Он сообщил об этом Тургеневу: «Я поблагодарил его и за то, что он не отнимает у нас, бедных заключенных, надежду плавать с кандалами на ногах». Вяземский был, конечно, прав.

В наше время днепропетровский исследователь В. Я. Рогов предпринял не только исторический, но и, так сказать, топографический анализ побега заключенных, описанного Пушкиным в «Братьях-разбойниках». Читатель может обратиться к его работе (см. Примечания), а мы отправимся с Пушкиным.

26 мая в Екатеринослав приехала путешествующая часть семьи Раевских, и два генерала быстро договорились об отпуске коллежского секретаря. И. Н. Инзов сообщал петербургскому почт-директору К. Я. Булгакову: «Расстроенное его здоровье в столь молодые лета и неприятное положение, в котором он, по молодости, находится, требовали, с одной стороны, помощи, а с другой—безвредной рассеянности, а потому отпустил я его с генералом Раевским, который в проезд свой через Екатеринослав охотно взял его с собою. При okazji прошу сказать об оном графу И. А. Каподистрии. Я надеюсь, что за сие меня не побранит и не назовет баловством: он—малый, право, добрый, жаль только, что скоро кончил курс наук; одна ученая скорлупа останется навсегда скорлупою»...

13 лет спустя в 1833 г. в Симбирске местный губернатор А. М. Загряжский подарит Пушкину «Генеральную карту Екатеринославской губернии с показанием почтовых и больших проезжих дорог, станций и расстояния оными верст» (говорили, что этот экземпляр карты принадлежал самому Александру I), и по карте Пушкин за несколько минут мысленно воссоздаст свой давний путь 1820 года...

\* \* \*

28 мая Раевские с Пушкиным выехали из Екатеринослава по дороге на Кубань и далее—на горячие, кислые, железные воды Северного Кавказа. Поэту пришлось лечь в коляску больным—сказалось холодное днепровское купанье. У нас нет точного пушкинского описания дальнейшего пути, зато есть



другая немалая ценность — путевой дневник, «итинерарий», как тогда говорили, генерала Раевского в письме к дочери Екатерине. В нем — ни слова о Пушкине, зато описана вся поездка изо дня в день, а, при внимательном чтении, можно обнаружить и темы разговоров, необычайно важных для поэта. Сообщим только, что сперва Пушкин ехал в коляске с Николаем Николаевичем — младшим, а затем генерал, позаботившись о больном, взял его к себе в карету. Так что, читая письма, помните, что рядом с генералом был поэт.

В этих письмах, казалось бы, описательно-этнографических, сказывается, однако же, и характер генерала — мужественный, прямой, благородный и открытый добру и правде. Проявляется в них его высокая по тому времени культура и его нежная забота о семье. Все это помогает восстановить ту благотворную для Пушкина нравственную и бытовую атмосферу, в которой довелось ему прожить лето и начало осени 1820 г.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПУТЕВОГО ДНЕВНИКА (ПИСЬМА)  
ГЕНЕРАЛА РАЕВСКОГО К ДОЧЕРИ ЕКАТЕРИНЕ  
НИКОЛАЕВНЕ \*

«В Екатеринославле переночевал, позавтракал и поехал по Мариупольской дороге. В 70 верстах переправился через Днепр при деревне Нейенбург, — немецкая колония в цветущем положении, уже более 30 лет тут поселенная. Тут Днепр только что перешел свои пороги, посреди его — каменные острова с лесом, весьма возвышенные, берега также местами лесные; словом, виды необыкновенно живописные, я мало видал в моем путешествии, кои бы мог сравнить с оными.

За рекой мы углубились в степи, ровные, одинакие, без всякой перемены и предмета, на котором бы мог взор путешествующего остановиться, земли, способные к плодородию, но безводные и потому мало заселенные. Они отличаются от тех, что мы с тобой видали, множеством травы, ковылем называемой, которую и скот пасущийся в пищу не употребляет, как будто бы почитает единственное их украшение.

\* См. «Архив Раевских». Т. 1. Спб. 1908, с. 516—525.

Надобно признаться, что при восходе или заходе солнца, когда смотришь на траву против оногo, то представляется тебе чистого серебра волнующееся море.

Близ Мариуполя открыли глаза наши Азовское море. Мариуполь, как и Таганрог, не имеет пристани, но суда пристают по глубине ближе к берегу. 40 лет как населен он одними греками, торгуют много хлебом, скотом, в 120-ти верстах от Таганрога, окружены землями плодородными, а хлеб, то есть пшеница и в теперешнее дешевое время продается до 16 рублей (...)

В Таганрог приехал я утром. Город на хорошем месте, строением бедный, много домов, покрытых соломой, но торговлей богат и обыкновенно вдвое приносит правительству против Одессы (...) Ночевал и поутру отправился в Ростов, что прежде было предместьем крепости Святого Димитрия. Крепость сия есть то место, где 37 лет тому назад жил почти год с матушкой (...)

За крепостью есть другой форштат, или город армянский, Нахичевань называемый, пространный, многолюдный и торговлей весьма богатый. Образ жизни, строенье лица, одеянье все оригинальное. Мы его проехали и прибыли на ночлег в станицу Аксай на устье реки Аксай, вверх по которой в 35-ти верстах перенесена столица донских казаков и названа Новым Черкасском. В Аксаях должен был я переправляться через Дон; послал тотчас письмо с казаком к атаману Денисову, что буду назавтра к нему обедать и куда всей гурьбой наутро отправился. Новый Черкасск, заложенный Платовым,—город весьма обширный, регулярный, но еще мало населенный, на высоком степном месте, на берегу реки Аксай, которая теперь в половодье разливами соединяется с Доном, но различить их весьма можно по разности цвета воды. Пообедав, выпросил шлюпку и поехали назад водой. Вообрази ты себе берег нагорный, с разнообразными долинами, холмами, рощами, виноградными садами и застроенный беспрерывными дачами на расстоянии сорока верст, в степном уголку земного шара,—ты можешь легко представить чувство смотрящего на сии картины человека, коего сердце приятным чувствам открыто быть может. Мои все были в восхищении, и я был бы также, когда бы вы были со мной

и здоровы. На пути (...) мы вышли на берег (...) потом сели в шлюпку и приехали уже ночью довольно поздно в Аксай.

На другой день рано, отправив кареты на большом судне на другой берег, до коего было 18 верст, сели опять в шлюпку и поехали в старый Черкасск. Сей разжалованный город в станицу еще более обыкновенного залит водою. В нем осталось домов до 700, в том числе несколько старых фамилий чиновников, другие перевезены в Черкасск. Но церковей не перевезли и их богатства, но не могли увезть памяти, что это первое было гнездо донских казаков. Словом, старый Черкасск останется вечно монументом как для русских, так и для иностранных путешественников. Обойдя все, что там есть достойного, отправились мы на левый берег Дона и приплыли в Азию в одно время с нашими каретами.

Тут кончу, друг мой Катенька, первое описание мое; продолжение впредь, я устал писать, ты устанешь читать,—отдохнешь, опять примешься за чтение, а я за перо.

Прощайте, милые дочки, обнимаю вас.

---

### Продолжение

Мы вышли на левый берег Дона, сели в кареты и пустились в путь, 200 верст ехали землями, принадлежащими Донскому войску, кои в мое время, равно и 170 верст Кавказской губернии до называемой *Донской крепости* составляли степь безводную и необитаемую, и на всем сем расстоянии, кроме одних землянок, ничего не было, ныне же нашел я большие селенья, колодцы, пруды и все необходимо нужное для жизни проезжающего.

На другой день приехал в Ставрополь, уездный город, на высоком и приятном месте и лучшем для здоровья жителей всей Кавказской губернии. В нем нашел я каменные казенные и купеческие дома, сады плодovитые и не малое число обывателей, словом, преобразованный край, в который едущего ничего, кроме отдаленности, страшить не должно. Сильная гроза и дождь заставили меня остановиться ночевать за сорок верст от Георгиевска, куда я отправил кухню, и на другой день приехал на готовый обед в дом

генерала Сталя, начальника Кавказской линии. Тут я обедал, ходил по городу, но не нашел и следа моего жилища и места рождения брата твоего Александра; запасся всем нужным, переночевал и на другой день приехал на Горячие воды в нанятый для меня дом.

Воды горячие истекают из горы, называемой Мечук, над рекой Подкумком лежащей; самый низкий ключ, не менее 6 или 7 сажень вышины, истекает от подошвы небольшой долины, в которой все селение расположено на две улицы; я заметил до 60 домов, домиков и лачужек, и как сего недостаточно для приезжающих, то нанимают калмыцкие кибитки, палатки и располагаются лагерями, где кому полюбится, и как будто подделываются нестройной здесь природе. Ванны старые, хотя стоят казне довольно дорого, ни вида, ни выгод не имеют, новые же представляют и то и другое и возможную чистоту и опрятность. Вид из оных наименее приятный на Бештовую гору или Пятигорию, ибо по оной бывшее тут в древности княжество называлось. Я расположил мою жизнь следующим образом: встаю в 5 часов, иду купаться, возвратясь через час пью кофий, читаю, гуляю, обедаю в 1-м часу, опять читаю, гуляю, купаюсь, в 7-м пью чай, опять гуляю и ложимся спать.

Сестры купаются по одному разу, а когда жарко — по два, в воде кисло-серной, теплотою как парное молоко, единственно для забавы, я в горячей, имеющей свыше 38 градусов, и часто прихожу заблаговременно пользоваться с галерей видом наименее приятных гор и забавным сего селения и жителей, каррикатурных экипажей, пестроты одеяний; смесь калмыков, черкес, татар, здешних казаков, здешних жителей и приезжих — все это под вечер движется, встречается, расходится, сходится и все до безделицы с галерей новых ванн глазам вашим открыто.

Мы ездили в называемую неправильно *шотландскую* колонию, ибо их только две фамилии, кои миссионеры Лондонского библейского общества, остальные же разные немцы.

Ездили мы на благодетельный железный горячий ключ, на Бештовой горе находящийся. При первом хорошем дне положено ехать верхом на шпиге Бештового, с которого верст на сто открывается во все стороны. В первых числах переселюсь на

Железные воды, где, пробыв две недели, поеду на Кислые, и там только решительно могу сказать о пользе здешнего моего лечения, теперь же, кроме надежды, ничего иметь положительного нельзя. Железные воды делают чудеса во всяком роде расслабления, как и в том случае, в каком и ты, мой друг, находишься; я для тебя полную имею на них надежду. Кислые же, полагаю, и для Аленушки могут быть полезны; употребление же всех оных испытав на себе, могу быть путеводителем. Возьму заблаговременно все меры для приятности жизни, и нам, кроме пользы здоровья, верно будет весело. Прощай, милая моя Катенька, хотя письмо адресую в Киев, но надеюсь, что оно найдет вас в Крыму, куда явлюсь я в половине августа молодец молодец.

*29 июня* Горячие воды.

(...) сам же я переезжаю через пять дней на Горячие Железные воды на две недели, оттоль на Кислые также недели на две, а оттоле в Крым.

О себе, друг мой Катенька, ничего еще сказать не могу; рюматизм не чувствую, но это может только в здешнем климате, а избавился ли их, это покажет время... Жизнь наша та же: ездили мы на Бештовую высокую гору, ходим, спим, пьем, купаемся, играем в карты, словом кое-как убиваем время. Нынче Петров день, вечером будет маленький фейерверк. Все это хорошо, когда нет ничего лучшего.

Прощай, милая Катенька, обнимаю тебя, мой друг.

*6 июля* Железные воды бештовские. Вот четвертый день, как мы здесь, милая Катенька; купаемся, и я немного пью воду... Здесь мы в лагере как цыгане, на половине высокой горы. 10 калмыцких кибиток, 30 солдат, 30 казаков, генерал Марков, сенатор Волконский, три гвардейских офицера и нынче приезжающий Карагеоргий составляют колонию. Места так мало, что 100 шагов сделать негде—или лезть в пропасть или лезть на стену. Но картину пред собой имею прекрасную, т.е. гору Бештовую, которая между нами и водами, которые мы оставили. Купаюсь три раза, ем один раз, играю в бостон—вот физическое упражнение—а душою с вами. Большое будет для меня удовольствие узнать, что вы из Петербурга

выехали. Я к вам пишу всякую неделю, т. е. всякую почту, а вы не вздумали делать то же. Я сердит. Прощай.

\* \* \*

Итак, совершив в начале июня переезд по Кубани по маршруту Аксай—Кагальницкая—Донская крепость—Ставрополь и наглядевшись вдоволь на бытовым уклад казачества (поэт вел об этом записи, но они не сохранились), Пушкин и Раевские приехали к минеральным источникам Кавказа. Долгое время исследователи спорили о том, когда именно прибыл генеральский конный поезд в Горячие воды (нынешний Пятигорск). Но вот в конце 1970-х годов В. Я. Рогов находит в архиве еще одно письмо генерала к дочери:

*«Июня 7 Константиногорск \**

Другой день на водах, милая моя Катенька. Как бы я был весел, если бы вы были со мной! Хотя б я спокойствие имел на счет ваш! Но где вы? — не знаю. Какова ты, сестра твоя, когда узнаю о вас — неизвестен! Будете ль вы в Крым, в шестеро суток — и у вас. Описывать тебе ничего не стану. Не потому, чтоб тебе не было завидно, но потому что ничего не видать. Здесь дожди, а прежде по три месяца ни одного не бывало. Прощай, друг мой. Обнимаю тебя, а Аленушку также».

Так что сомнений нет — Пушкин жил в Константиновской крепости, где Александр Николаевич нанял для отца дом, с 6 июня 1820 г. На второй день после приезда Николай Николаевич младший написал матери: «Здесь приятное общество: мой брат, Фурнье \*\* и Пушкин». В письмах генерала уже предстала перед читателем общая картина жизни на водах — еще не лермонтовских, а пушкинских — в 1820 г. Дополнительные штрихи черпаем из «Путешествия

---

\* Город Горячеводск (Горячие воды) вырос из Константиновской крепости, основанной в 1780 г. В Пятигорск он переименован в 1830 г.

\*\* Преподаватель-француз в семье Раевских; Пушкин был с ним в приятельских отношениях.

в Арзрум». В 1829 г. Пушкин по пути на театр военных действий заехал в те места, где был некогда с Раевскими (№ 10).

Как-то Пушкин и младшие Раевские отправились в горы на мыс, образованный слиянием рек Ольховки и Березовки. Там их потчевали в духане форелью, только что выловленной старым инвалидом-казакон, ковылявшим на своей деревяшке. На груди у него был Георгиевский крест, и приезжие господа поинтересовались, за что он его получил. Конечно, последующее — лишь предание, одна из бесконечных легенд о Пушкине. Но в ней, похоже, — дым не без огня.

«Давным-давно это было, — начал старый воин, — так давно, что вас никого еще на свете не было — тогда только что начали садиться на Кубани запорожцы. Раньше того, на Кубани же, выше Урупа, оселась и наша станица. Житье было привольное, да только без винтовки, с позволения сказать, и до ветру нельзя было выйти. Так, по ночам, по берегу Кубани, мы держали чати, как бы сказать бекеты\*, чтоб он, татарин, невзначай не нагрязнул с того берега. Так вот, ваши благородия, сижу я так-то ночью — моя черга была, сказать как бы, мой черед: сижу я как-то в секрете, поглядываю на реку, а ночь, сказать бы, была темнее темного, ничего не видно — только слышно как вода в реке с камышами шепчется. И вдруг это, ваши благородия, что-то пролетело в воздухе, словно птица, да мне прямо на шею. Не успел я вскочить, оно поволокло меня, да прямо в Кубань. Это меня, значит, словно овцу, арканом захлестнули и поволокли — и крикнуть не успел. Дивь только, как я не захлебнулся в воде! Слышу, уж я на том берегу, и мне рот кляпом забивают. Забили — дивь только, как я не задохнулся». Дальше, как давно догадался читатель, будет трогательный рассказ о любви русского пленного и черноглазой черкешенки, о том, как она, плача и рыдая, своими руками распилила ему кандалы, чтоб мог он бежать, о том, как звал-умолял ее с ним в Россию, а она отвечала: «Нельзя мне; я родилась в горах и умру в горах». Выслушав рассказ георгиевского кавалера, Пушкин будто бы спросил: «А хороша была девушка-то?» «Уж так-то хороша, ваша милость, что и сказать не умею», — ответил старый

\* т. е. пикеты.

казак. Само собой, герой «Кавказского пленника» совсем не тот, что в этом рассказе, и многие подробности иные, но, вероятно, какая-то встреча, чей-то рассказ, ставший первоначальным импульсом для поэта, все же существовал. Некоторые строки черновика как бы подтверждают рассказ инвалида (только напомним о трансформации героя):

Его настигнул враг летучий.  
 Несчастный пал на чуждый брег.  
 И слабого питомца нег  
 К горам повлек аркан могучий.

Ведь не зря же, обращаясь к Н. Н. Р. (т. е. Николаю Раевскому-младшему), автор в посвящении написал:

Ты здесь найдешь воспоминанья,  
 Быть может, милых сердцу дней.

Мария Николаевна Раевская всегда считала, что с нее рисовал Пушкин портрет своей черкешенки. Кажется, автор и сам в том признавался в беседе с поэтом В. И. Туманским. Как бы то ни было, верную картину рисует П. И. Бартенев: «Они всем обществом уезжали на гору Бештау пить железные, тогда еще малоизвестные воды и жили там в калмыцких кибитках и палатках; разнообразные прогулки, ночи под открытым южным небом, и кругом причудливые картины гор, новые нравы, невиданные племена, аулы, сакли и верблюды, дикая вольность горских черкесов, а в нескольких часах пути упорная жестокая война с громким именем Ермолова — все это должно было чрезвычайно как понравиться молодому Пушкину». Гораздо позже, в 1831 г., Пушкин замыслил план поэмы «Русская девушка и черкес», где должно было все повернуться наоборот: пленник-черкес полюбил русскую девушку и просит ее:

Полюби меня, девица  
 Нет  
 Что же скажет вся станица?  
 Я с другим обручена.  
 Твой жених теперь далече.

«Роман на кавказских водах», начатый Пушкиным в 1831 г., также сюжетно продолжает «Кавказского пленника» — одному из героев, как предполагал Пушкин, суждено пережить тяготы черкесского плена. Есть в этом произведении и иная связь с поездкой 1820 г. В то время Константиновскую крепость,



Кислые воды и Горячие воды охранял 3-й батальон Тенгинского пехотного полка. Им командовал майор Иван Курило. Одновременно он был кордонным начальником укрепленной линии вдоль Горячих вод, «смотрителем кислых минеральных вод», почтмейстером, председателем строительной комиссии для устройства ванн. Курило (Курилов) оказался одним из персонажей «Романа...» Имеется такая подготовительная запись: «Гранев, Курилов и Хохленко сидят у кисло-серного источника — Курилов рассказывает черкесский набег». Немало таких историй выслушал Пушкин летом 1820 г. на Кавказе...

В 1836 г. Пушкин напечатал в «Современнике» повесть адыга Султана Казы-Гирея «Долина Ажигугая» со своим послесловием: «Вот явление, неожиданное в нашей литературе! Сын полудикого Кавказа становится в ряды наших писателей; черкес изъясняется на русском языке свободно, сильно и живописно...»

Гоголь писал о Пушкине: «Исполинский, покрытый вечным снегом Кавказ, среди знойных долин поразил его; он, можно сказать, вызвал силу души его и разорвал последние цепи, которые еще тяготели на свободных мыслях. Его пленила вольная поэтическая жизнь дерзких горцев, их схватки, их быстрые неотразимые набеги; и с этих пор кисть его приобрела тот широкий размах, ту быстроту и смелость, которая так дивила и поражала только что начинавшую читать Россию. Рисует ли он боевую схватку чеченца с казаком — слог его молния; он так же блещет, как сверкающие сабли, и летит быстрее самой битвы. Он один только певец Кавказа: он влюблен в него всею душой и чувствами; он проникнут и напитан его чудными окрестностями, южным небом...»

5 августа Раевские с Пушкиным под охраной казачьего отряда в 60 сабель покинули Кавказ, направляясь по правому берегу Кубани через Прочный окоп, Темижбек, Кавказскую, Усть-Лабу и Екатеринодар и далее — на Тамань.

В «Отрывках из Путешествия Онегина» (черновая редакция) сказано об этом:

Простите, снежных гор вершины,  
И вы, кубанские равнины;  
Он едет к берегам иным,  
Он прибыл из Тамани в Крым.

\* \* \*

Знакомство с Крымом для Пушкина началось давно — быть может, с тех пор, когда в Царское Село завезли тополя с южного берега древней Тавриды...

Крым обладает волшебной особенностью — цепко держать в объятиях воспоминаний человека, туда хоть однажды попавшего. Пушкин не был исключением — всю жизнь он стремился вернуться в Тавриду, да так и не успел. Кажется, даже из загробного далека душа его будет рваться на южный берег:

Так, если удаляться можно  
Оттоль, где вечный свет горит,  
Где счастье вечно, непреложно,  
Мой дух к Юрзуфу прилетит.

Этому неоконченному стихотворению («Таврида», 1822) предпослан эпиграф из Гете — «Gib meine Jugend mir zurück» (Верни мне мою юность). Юность оказалась невозвратной. Пушкину больше быть в Крыму не довелось, но «его молвой наполнен сей предел» — легенды и были на тему «Пушкин и Крым» составляют целую литературу...

12 августа вечером путешественники, миновав Темрюк, Пересыпь, Сенную, прибыли в заштатный городишко Тамань (бывшую крепость Фанагорию). Ближайшие двое суток после этого море сильно штормило, и в Керчь — древнюю Пантикапею — удалось отправиться только 15-го числа. В письме к брату (1820) и в «Отрывке из письма к Д.» (1824) Пушкин сам описал все путешествие и свое праздничное ощущение Крыма. Это была — именно в Крыму, а не на Кавказе — как бы граница между прошлым и будущим поэта. Недаром при переезде из Феодосии в Гурзуф на брандвахтерном бриге он написал элегию «Погасло дневное светило», которая как бы обозначила переход Рубикона: первые ее строки посвящены Крыму, а большая часть — прощанию с Петербургом (поэтому мы и отнесли ее к предыдущей главе — № 38).

«В ночь перед Гурзуфом, — вспоминала М. Н. Раевская, — Пушкин расхаживал по палубе в задумчивости и что-то бормоча про себя». Это «что-то» была элегия.

Каждое крымское впечатление было сильно и незабываемо. Через три года, например, на полях черновой рукописи первой главы «Евгения Онегина»

появилось абсолютно точное — художники дивятся зрительной памяти поэта — изображение знаменитой скалы «Ворота Карадага», увиденной Пушкиным с моря под вечер 18 августа 1820 г. Три года помнить и нарисовать с абсолютной художнической точностью — для этого надо обладать не только памятью рисовальщика, но и памятью сердца. Не напрасно Пушкин потом сказал о Крыме: «Там колыбель моего Онегина».

Гурзуф (бывшая греческая колония Юрзувита), где генерал Раевский встретился с женою и двумя старшими дочерьми, был маленькой деревушкой с узенькими улочками и глиняными саклями, окруженными тенистыми садами. Гурзуф уместился в тесной долине между Яйлой и Аю-Дагом, орошаемой речкой Аундой (ее более раннее название Сюнарпутан). Огромный гурзуфский парк доходил до речушки Салгир. В стороне от татарских хижин возвышался казавшийся очень большим, лишенный обитателей, дом герцога де Ришелье. Там расположилась отдыхать воссоединившаяся наконец дружная семья Раевских (кроме старшего сына — тот остался на Кавказе). Герцог, построив свой крымский дворец, прожил в нем лишь несколько недель в 1811 г. — и с той поры дом стоял совершенно пустым. Со стороны гор он выглядел двухэтажным с бельведером, а с моря — вросшим в землю (весь первый этаж был в сущности подвалом). Второй этаж состоял тогда из галереи, занимавшей все строение, если не считать четырех небольших комнат — по две на каждом конце, в которых столько окон и дверей, что сразу понятно: архитектор заботился о видах из дворца, а не об удобствах людей, в нем живущих. Над галереей, под чердаком — большой кабинет. Пушкин с Николаем Раевским поселились в одной из комнат второго этажа. Один из путешественников рассказывал об этом дворце: «Замок этот доказывает, что хозяину не следует строить заочно, а, может быть, и то, что самый отменно хороший человек может иметь отменно дурной вкус в архитектуре». Другой путешественник, англичанин, до того удивился дому Ришелье, что предпочел поселиться в сакле. Здесь, в странном доме дюка (герцога) Ришелье, рядом с оливковой рощей протекли «счастливейшие минуты жизни» нашего поэта, как сам он говорил.

Бесконечные прогулки к морю и в окрестности, работа над «Кавказским пленником», чтение, занятия вместе с Николаем Раевским английским языком, дружеские вечера в доме, — на это уходило все время.

Легко узнать пейзаж Гурзуфа и руины генуэзской крепости на утесе над бухтой:

Когда луна сияет над заливом,  
 Пойду бродить на берегу морском  
 И созерцать в забвеньи горделивом  
 Развалины, поникшие челом.  
 Старик Сатурн в полете молчаливом  
 Снедает их...  
 И волны бьют вокруг валов обгорелых  
 Вкруг ветхих стен и башен опустелых.

Есть и другое описание крепости (1821).

Как я любил над блестящим заливом  
 Развалины, венчаные плещем

Или в «Тавриде»:

Счастливым край, где блещут воды,  
 Лаская пышные брега,  
 И светлой роскошью природы  
 Озарены холмы, луга,  
 Где скал нахмуренные своды...

Знатоки Крыма легко узнают дорогу на Артек в последних строчках «Бахчисарайского фонтана»:

Всё чувство путника манит,  
 Когда, в час утра безмятежный,  
 В горах, дорогою прибрежной,  
 Привычный конь его бежит  
 И зеленеющая влага  
 Пред ним и блещет, и шумит  
 Вокруг утесов Аю-дага...

В «Онегине» он честно признался, что творила с ним на крымском берегу муза:

Как часто по брегам Тавриды  
 Она меня во мгле ночной  
 Водила слушать шум морской,  
 Немолчный шепот Нереиды,  
 Глубокий, вечный хор валов,  
 Хвалебный гимн отцу миров.

За три гурзуфские недели была закончена элегия «Погасло дневное светило», написано стихотворение «Увы, зачем она блистает», набросаны черновики «Мне вас не жаль, года весны моей» и «Зачем безвременную скуку». Такого душевного спокойствия и творческой свободы дотоле не испытывал Пушкин.

Некоторые пушкинисты склонны решительно отвергать гурзуфскую легенду о соловье, записанную в 1850-х годах и переложенную Н. А. Некрасовым в стихи:

К поэту летал соловей по ночам,  
Как в небо луна выплывала,  
И вместе с поэтом он пел — и, певцам  
Внимая, природа смолкала.  
Потом соловей — повествует народ —  
Летал сюда каждое лето:  
И свищет, и плачет, и словно зовет  
К забытому другу поэта!  
Но умер поэт — прилетать перестал  
Пернатый певец... Полный горя,  
С тех пор кипарис сиротою стоял,  
Внимая лишь ропоту моря...

Не в одной книге всерьез говорится, что не было такого стойкого в своих привязанностях соловья, перекликавшегося по ночам с пушкинским кипарисом. А может, все-таки был соловей, но не всем дано его расслышать?

Из Гурзуфа трудно уезжать было Пушкину, нелегко его покидать и теперь — даже в сборнике документов о жизни поэта. Эти три недели далеко продвинули его духовное развитие. Но все же это были три недели из 37 лет. Надобно спешить вперед...

\* \* \*

Примерно 5-го сентября старый генерал с сыном и Пушкиным покинули Гурзуф, направляясь верхами в западном направлении. Дамская часть семейства Раевских вскоре выехала в Симферополь, где потом все снова соединились. Всадники, миновав Ай-Данильский лес и осмотрев Никитский сад, уже тогда весьма любопытный, не останавливаясь, проехали непримечательную деревушку под названием Ялта, поднялись на Аутку (туда, где теперь стоит дом Чехова) и через Ореанду, Кореиз и Гаспру спустились

вниз к Мисхору и Алушке. Здесь ночевали в татарской сакле. На другой день за Алушкой преодолели опасный переезд, который, как пишут путешественники, «одним помышлением о нем наводит трепет». Там скалы, заграждая путь, угрожающе нависали над головою путников, пробирававшихся по краю обрыва. Потом, поднявшись тропою через Кокереиз, вступили на громадную высеченную в скалах Чертову лестницу — одно из чудес Крыма. Лестница эта имеет 600 метров в длину и множество крутых поворотов.

Через селение Байдары добрались до Георгиевского монастыря — одной из главных целей путешествия. На самом краю крутого обрыва, по которому для схода вниз сделана лестница, лепились несколько монашеских келий и церковь рядом с ними. Все эти постройки рук человеческих объединены террасой как бы висящей над пропастью. Над кельями — осыпающиеся пещеры, где в давние времена спасались отшельники, да бездонное небо.

В монастыре Пушкин и Раевские застали всего 10—15 человек. Верстах в трех от монастыря — мыс Феолент, где, если верить древней легенде, расположен был храм богини Артемиды (Дианы). Жрица храма Ифигения собиралась принести в жертву богам своего неузнанного брата Ореста, но верный друг Пилад и божий промысел спасли несчастного: Ифигения узнала брата и отменила казнь.

В 1824 г. Пушкин в Михайловском с живым интересом прочитал книгу И. М. Муравьева-Апостола «Путешествие по Тавриде в 1820 г.», где в специальной главе опровергалась сама возможность существования древнего храма на мысе Феолент. Автор книги писал: «Рассмотрев прилежно источники, коими руководствуются новейшие отыскиватели храма Ифигении в Тавриде, мы находим, что все они ссылаются на митографов \*, на поэтов, пышные свидетельства, конечно, и многочисленные; но увы! весьма слабые, когда они не озарены светильником критики, различающей вымысел от исторической истины». Ответом на это чтение и было своеобразное письмо-очерк, обращенное к Дельвигу и напечатанное в альманахе

\* Митограф — «записыватель мифов».

«Северные цветы» на 1826 год (№ 21). Опровержению версии Муравьева-Апостола посвящено стихотворение «К чему холодные сомненья...», включенное в то же письмо. Стихотворение, написанное в Михайловском, в свою очередь, имеет конкретного адресата — П. Я. Чаадаева. Когда будете читать концовку этого стихотворения (на камне, дружбой освященном // пишу я наши имена), не забудьте сопоставить его с давним посланием Чаадаеву:

Россия вспрянет ото сна,  
И на обломках самовластья  
Напишут наши имена!

Наивно было бы предполагать, будто бы Пушкин в самом деле расписался на развалинах храма и только море смыло его автограф. Все дело в том, что судьбу Ореста разделял неразлучный и самоотверженный друг Пилад — вот и Пушкин мысленно поставил на развалинах храма свое имя рядом с именем вернейшего друга, да еще протянул нить к посланию 1820(?) года тому же адресату.

Переночевали в монастыре; по узкой тропе через Шупи, Мангуп, Каракез, а далее по широкой удобной дороге отправились в Бахчисарай. По-видимому, в Севастополе Пушкин не был, хотя некоторую долю сомнения исследователи еще недавно оставляли на сей счет. Все-таки тяготы пути не прошли бесследно — в Бахчисарай поэт приехал с новым приступом лихорадки. Это было, скорее всего, 7 сентября. Совершив небольшую экскурсию по дворцу ханов, ханскому кладбищу и по городу, генерал и его молодые спутники отдохнули во дворце и наутро отправились в Симферополь. Так что в Бахчисарае, который теперь в немалой мере славен именем Пушкина, поэт пробыл одни сутки или чуть долее.

Бахчисарай, бывший центр Крымского ханства, насчитывал в пушкинское время 11 тысяч жителей. Торгово-промышленная часть города состояла из одной улицы длиною версты три. По обеим ее сторонам располагались низенькие строения, в которых при открытых дверях и окнах на столах и скамьях, поджавши под себя ноги, сидели купцы и ремесленники, занимаясь каждый своим делом. Особенно

славился Бахчисарай изделиями из сафьяна и ножами прочной стали. Ханский дворец, сожженный последним ханом, был восстановлен усилиями Потемкина в связи с посещением Екатерины II в 1787 г. При этом заботились не столько об исторической точности, сколько об удобствах императрицы. В частности, с первого этажа на второй прорубили дополнительную лестницу, при этом образовался какой-то лишний проем — его и заполнили новым построенным фонтаном слез. Традиционную доску с изречениями для него делать не стали, а перенесли с другого прекрасного фонтана, давно устроенного около мавзолея возлюбленной Крым-Гирей-хана Дилары-Бекеч. Прежний фонтан, а с перенесением доски — новый, назывался Сельсебийль — «райский источник». Мавзолей Дилары-Бекеч, по преданию, родом грузинки, стоит у ограды кладбища напротив дворца на высокой садовой террасе. Об этой девушке И. М. Муравьев-Апостол говорит в книге, вызвавшей столько воспоминаний у Пушкина: «...силой прелестей своих она повелевала тому, кому все здесь повиновалось, но не долго: упал райский цвет в самое утро жизни своей и безотрадный Керим соорудил любезный памятник сей, дабы ежедневно ходить в оный и утешаться слезами над прахом незабвенной». Вот близ этого памятника и находился фонтан Сельсебийль, питавшийся горными ключами и отличавшийся изумительной чистотой воды. Одна из надписей на фонтане гласила: «Кто станет утолять жажду, тому фонтан языком своим прожурчит хронограмму\*: приди пей воду чистую, она принесет исцеление». Фонтан Дилары-Бекеч около сторевшего дворца был построен в 1762 г., мавзолей — в 1764-м. Но уже к концу 1780-х годов в народных легендах имя грузинки Дилары-Бекеч вытеснилось именем польской девушки Потоцкой, якобы похищенной для хана и помещенной в его гарем. Дальше рассказывать легенду не стоит — Пушкин сделал это в своей поэме. Выпишем только слова В. Г. Белинского, раскрывающие самую суть пушкинской обработки легенды: «В диком татарине, пресыщенном гаремной любовью,

\* Если поставить рядом порядковые номера первых букв всех слов надписи, получится дата сооружения фонтана.



вдруг вспыхивает высокое чувство к женщине, которая чужда всего, что составляет прелесть владыки и что может пленять вкус азиатского варвара (...) Сам не понимая как, почему и для чего, он уважает святыню этой незащитной красоты, он — варвар, для которого взаимность женщины никогда не была необходимым условием истинного наслаждения — он ведет себя в отношении к ней почти как палладин средних веков.

И для нее смягчает он  
Гарема строгие законы...

...Итак, мысль поэмы — перерождение, если не просвещение, дикой души через высокое чувство любви. Мысль верная и глубокая». Как часто бывало у Пушкина, соединение слышанного прежде (легенду о Потоцкой и фонтане слез ему рассказали еще в Петербурге) и увиденного в реальности разбудило творческую жажду и привело к замыслу «Бахчисарайского фонтана».

Однако с возникновением «Бахчисарайского фонтана» все обстоит в тысячу раз сложнее, чем выглядит в беглом пересказе событий. Дело в том, что с замыслом поэмы связана биографическая, личная тайна Пушкина — одна из немногих, которую он не только хотел, но и сумел уберечь от любопытства современников и потомков. 8 февраля 1824 г. он писал А. Бестужеву из Одессы: «Радуюсь, что мой «Фонтан» шумит. Недостаток плана не моя вина. Я суеверно перекладывал в стихи рассказ молодой женщины.

Aux douces loix des vers je pliais les accents  
De sa bouche aimable et naïve.\*

Впрочем, я писал его единственно для себя, а печатаю потому, что деньги были нужны». В другом письме к А. Бестужеву (29 июня 1824 г.) Пушкин возмутился тем, что вопреки его просьбе в Петербурге напечатали три последние строки элегии «Редет облаков летучая гряда» (№ 13), которые заведомо не предназначались для печати: «Бог тебя простит! но ты острамил меня в нынешней «Звезде» — напечатав три последние стиха моей элегии; черт дернул меня напи-

\* К нежным законам стиха я приносивлял звуки // Ее милых и бесхитростных уст (цитата из оды А. Шенье «Юная узница»).

сать еще кстати о «Бахчисарайском фонтане» какие-то чувствительные строчки и припомнить тут же элегическую мою красавицу. Вообрази мое отчаяние, когда увидел их напечатанными. Журнал может попасть в ее руки. Что ж она подумает, видя с какой охотой беседую об ней с *одним из петербургских моих приятелей*(...) Признаюсь, одной мыслию этой женщины дорожу я более, чем мнениями всех журналов на свете и всей нашей публики». Кто эта молодая женщина и вообще нет ли тут мистификации? Над этим размышляют пушкинисты более столетия. Вот строки «Бахчисарайского фонтана», которые имеет в виду Пушкин:

Чью тень, о други, видел я?  
Скажите мне: чей образ нежный  
Тогда преследовал меня,  
Неотразимый, неизбежный?

П. И. Бартенев, кажется, был первым, кто задался вопросом «чью же тень?»: «К воспоминаниям о жизни в Гурзуфе несомненно относится тот женский образ, который беспрестанно является в стихах Пушкина, чуть только он вспомнит о Тавриде, который занимал его воображение три года сряду, преследовал его до самой Одессы и там только сменился другим. В этом нельзя не убедиться, внимательно следя за стихами того времени. Но то была святыня души его, которую он строго чтит и берег от чужих взоров и которая послужила внутреннею основой всех тогдашних созданий его гения». Перечитайте, как говорят, «под этим углом зрения» крымские (и последующие — о Крыме) стихи в подборке к этой главе: прекрасное и всем наизусть известное онегинское «отступление о ножках»; строки «Тавриды» («За нею по наклону гор // я шел дорогой неизвестной»); «Нереиду»; «Кто видел край, где роскошью природы» — с прямым признанием («где я любил, изгнанник неизвестный»); стихи о прощании: «Увы, зачем она блистает» («Смотрю на все ее движенья, // Внимаю каждый звук речей, // И миг единый разлученья // Ужасен для души моей»); и, наконец, К\*\*\* «Тогда изгнаньем и могилой, // Несчастный, будешь ты готов // Купить хоть слово девы милой, // Хоть легкий шум ее шагов». Этого вполне



«С младенчества  
дух песен  
в нас горел...»

Н. О. Пушкина.  
Ксавье де Местр. 1800-е гг.

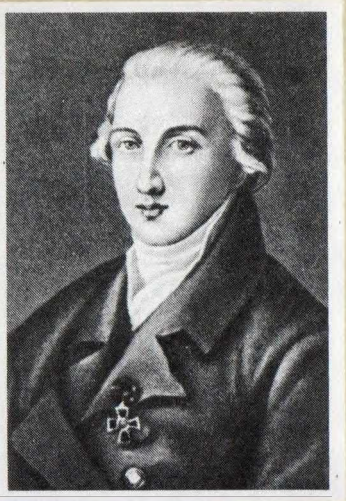


С. Л. Пушкин.  
К. Гампелън. 1824.





Пушкин-ребенок.  
*Неизвестный художник. 1801—1802.*

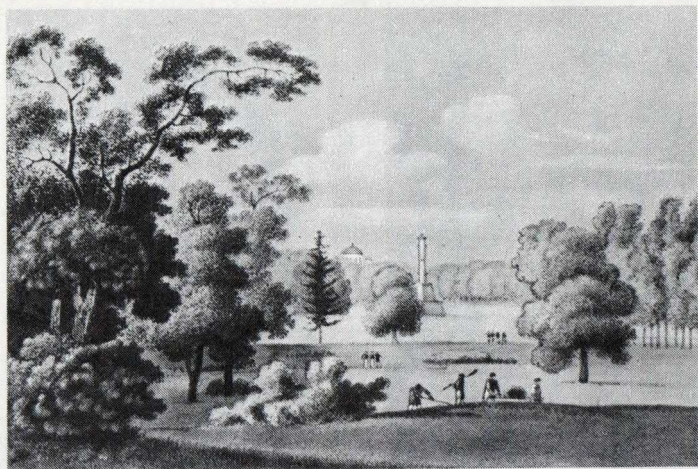


В. Ф. Малиновский.  
*Неизвестный художник.*

Царское Село.  
*А. Е. Мартынов. 1821—1822.*

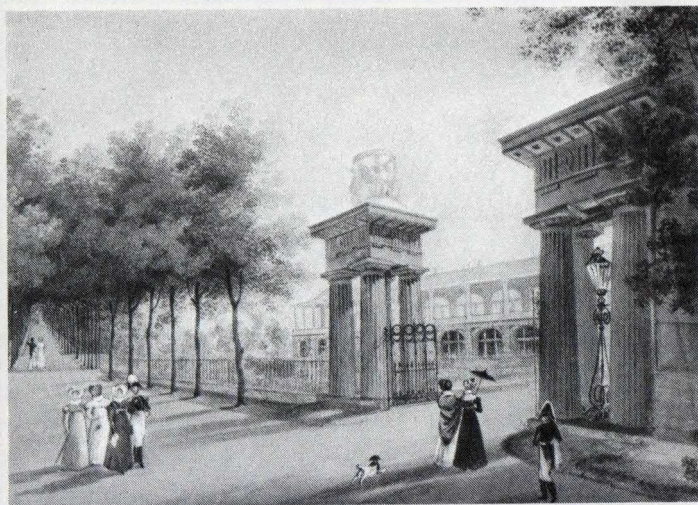






Царскосельский парк.  
А. Е. Мартынов. 1821—1822.

Царское Село. Вид на Камеронову галерею.  
Неизвестный художник. 1820-е гг.



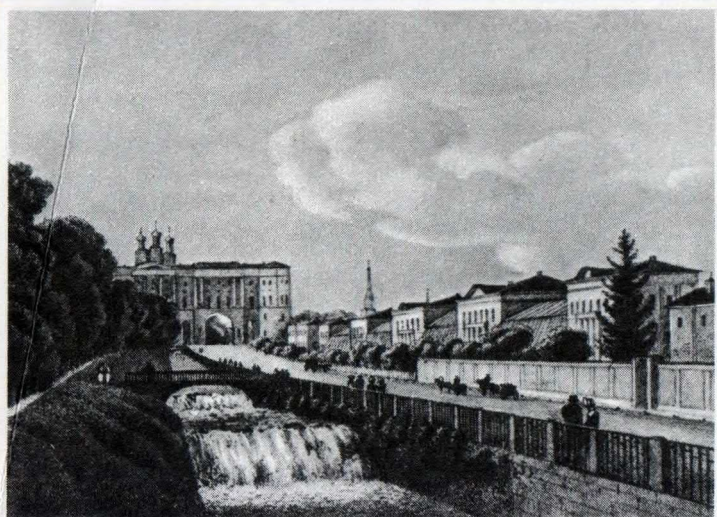


Е. А. Энгельгардт.  
*Неизвестный художник.*



Пушкин.  
*Е. И. Гейтман. 1822.*

Царское Село. Садовая улица и здание Лицея.  
*А. Е. Мартынов. 1821—1822.*







Е. П. Бакунина.  
Автопортрет. 1816.

Павловск. Вид на Большой дворец.  
А. Е. Мартынов. 1821—1822.





Пушкин на лицейском акте.

*И. Е. Репин. 1911*

Н. И. Тургенев.

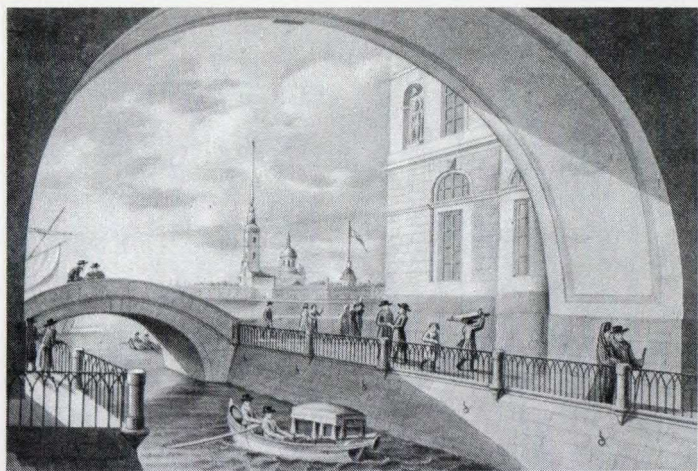
*А. Зенфельдет с оригинала  
Антонена. 1827.*

Е. А. Стройновская.

*Неизвестный художник.  
Первая пол. 19 в.*

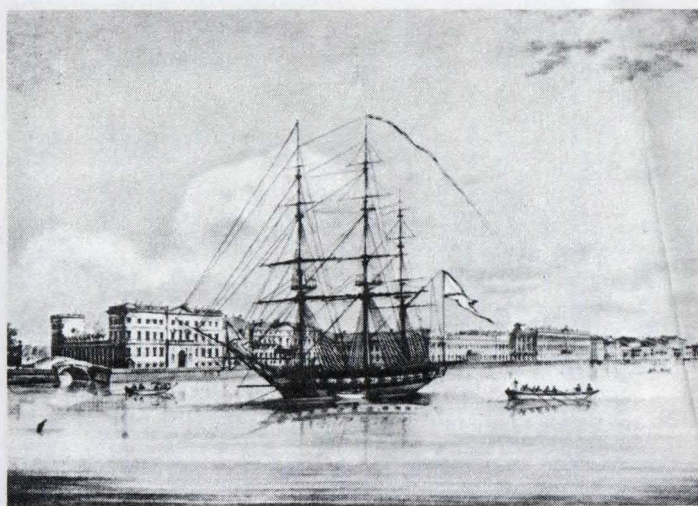


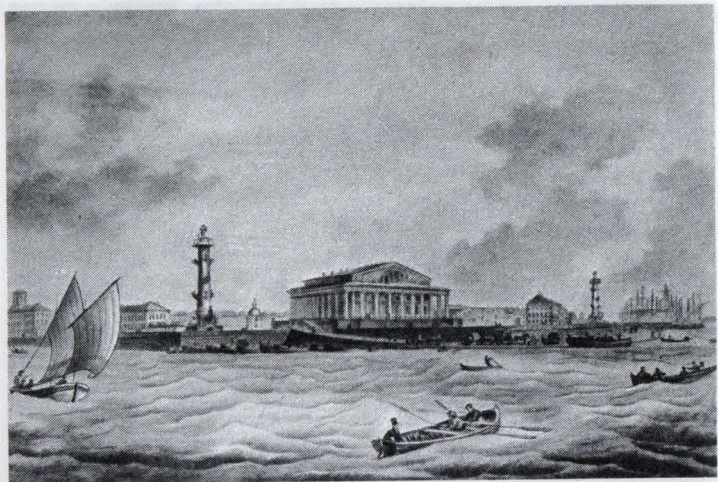




Петербург. Зимняя канавка.  
И. Урениус. 1815.

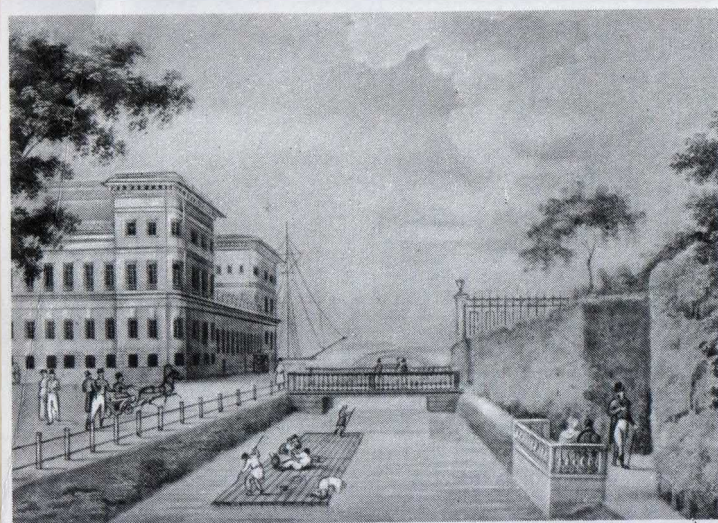
Вид на Неву и Дворцовую набережную.  
К. П. Бегров по рис. К. Сабата и С. Шифляра. 1820-е гг.



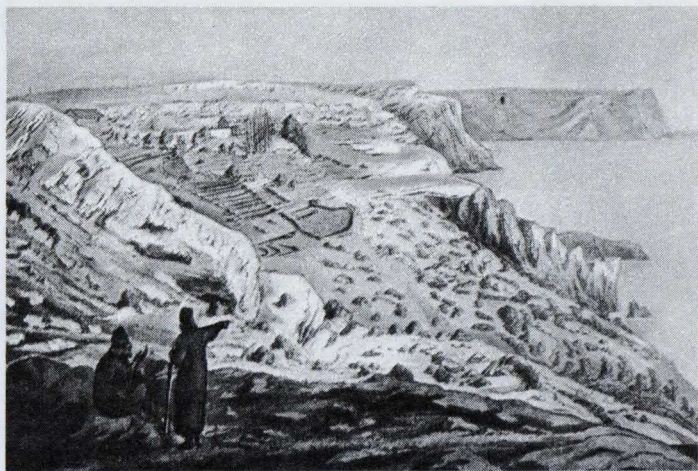


Стрелка Васильевского острова.  
Неизвестный художник. 1820-е гг.

Вид на Лебяжью канавку.  
Неизвестный художник. 1820-е гг.

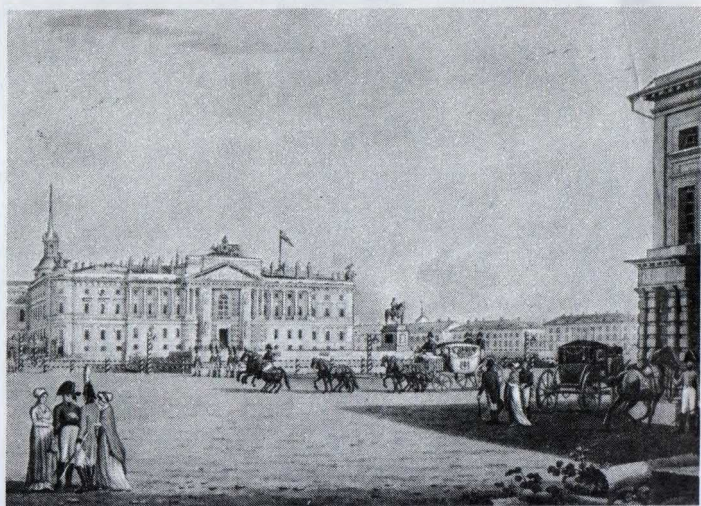






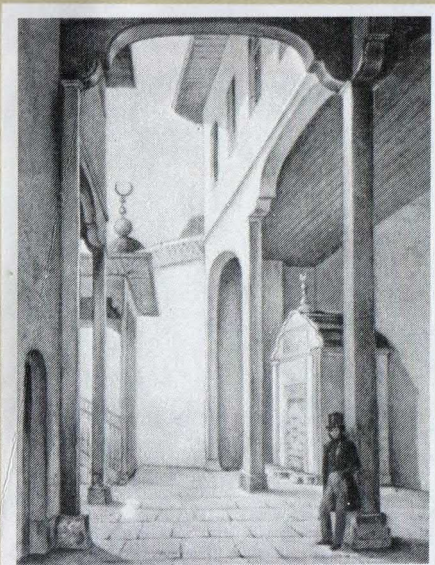
Георгиевский монастырь.  
X. Гейслер. 1798.

Вид на Михайловский замок.  
Б. Патерсен. 1800-е гг.





Крым. Гурзуф.  
К. И. Рабус. 1827.



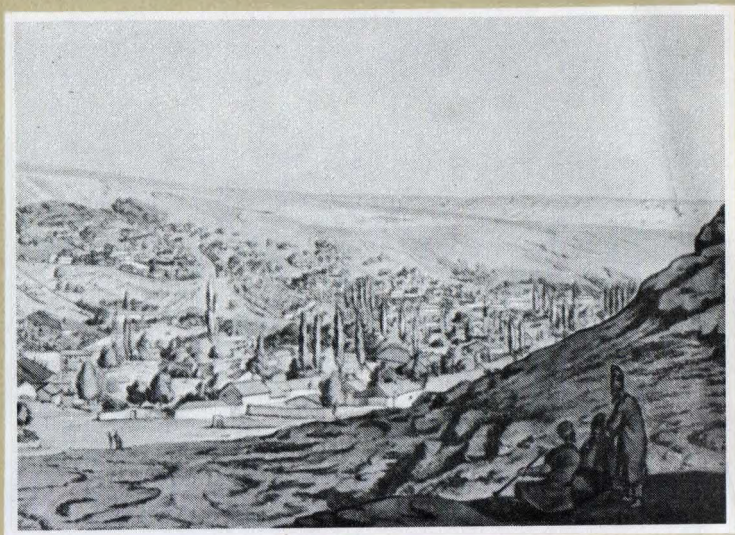
Пушкин  
в Бахчисарайском дворце.  
Г. Г. и Н. Г. Чернецовы. 1837.





В. Ф. Раевский.  
1863 г.

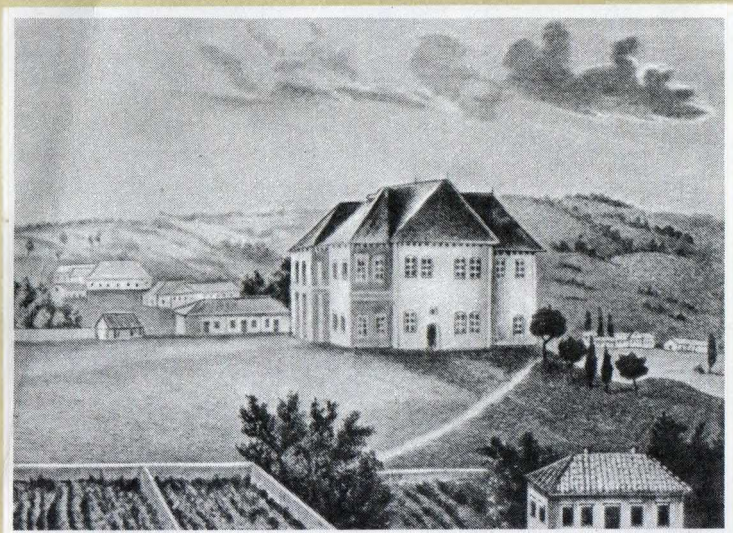
Бахчисарай.  
Х. Гейслер. 1798.



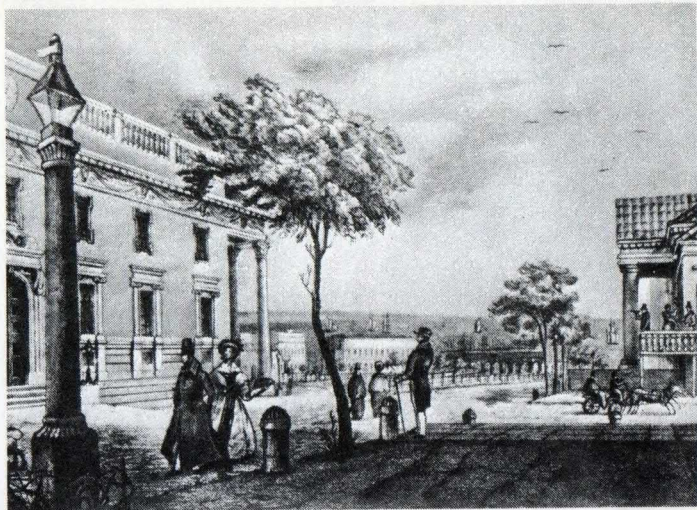


М. Ф. Орлов.  
*П. де Росси. 1810-е гг.*

Кишинев. Дом Инзова.  
*С рис. М. Ростовского.*

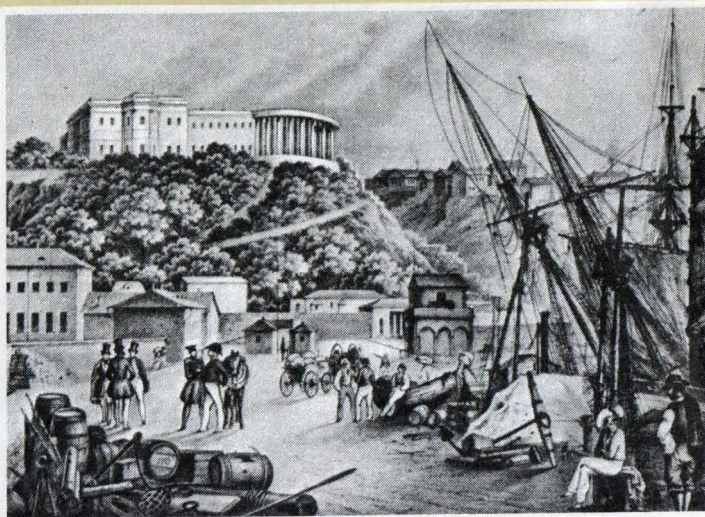






Одесса. Театр.  
П. Мейер с ориг. К. Бассоли 1830-е гг.

Одесса. Гавань.  
Ф. Гросс. 1840-е гг.





Е. К. Воронцова.  
Ж. Э. Тельчер. 1830(?).



М. С. Воронцов.  
К. Гампельн. 1820-е гг.

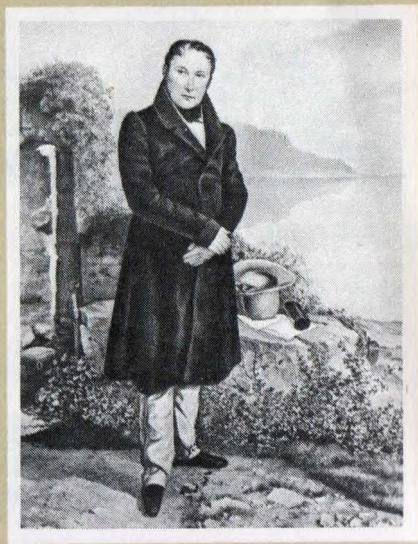


А. Ризнич (?).  
Неизвестный художник.





Пушкин и Пущин в Михайловском.  
Н. Н. Ге. 1875.



В. А. Жуковский.  
Г. Рейтерн. 1834.



«Я возмужал  
среди печальных бурь».

Виды Пскова.

С литографий И. Селезнева



достаточно, чтобы убедиться в правоте П. И. Бартенева. Но исследователям самого факта оказалось недостаточно: превращаясь в доброжелательных, но все же следователей, они ставят вопрос: кто она? Назывались по меньшей мере десять имен «кандидаток» в героини лирики Пушкина начала 1820-х годов. Но теперь — в который раз — перечитывая стихи, видишь, что те из них, кто не был летом 1820-го года в Гурзуфе, заведомо отпадают. Мария Николаевна Раевская (Волконская), как знает читатель, была убеждена, что строки «Я помню море пред грозою...» посвящены ей, но девочка-подросток не могла быть предметом некоторых других стихотворений этой сюиты, да и море изображено в «Онегине» не пристепное, а южное — у скал. Екатерина Николаевна Раевская (Орлова) никаких притязаний не высказывала, но за нее аргументировали пушкинисты. Напомним четыре аргумента: 1) она серьезно болела, и вся поездка в Крым была предпринята из-за ее болезни («Увы, зачем она блистает...») 2) в «Отрывке из письма к Д.» говорится: «Я прежде слышал о странном памятнике влюбленного хана. К\*\* поэтически описывала мне его...» — К\*\* расшифровывают как Катерина, хотя, кажется, возобладало мнение, что литера К\*\* вообще мистификация — отрывок предназначался для печати; 3) Пушкин заметил как-то, что Марина Мнишек в «Борисе Годунове» — настоящая Катерина Орлова; 4) существует такое письмо М. Ф. Орлова жене (1823): «...я вижу твой образ как образ милого друга и приближаюсь к тебе или воображаю тебя близкой всякий раз как вижу памятную звезду, которую ты мне указала. Будь уверена, что едва она восходит над горизонтом, я ловлю ее появление с моего балкона». Возвратимся еще раз к элегии «Редет облаков...» и станет ясно, что последний аргумент довольно веский\*. С именем Е. Н. Раевской-Орловой связывают в последнее время и другие стихи: «Я пережил свои желанья», «Дева», «Дионея».

Третья дочь Раевских Елена — очаровательная голубоглазая девушка, образованная, умная, но неизле-

\* Некоторые связывают эту элегию с именем Марии Николаевны Раевской. См. «Друзья Пушкина», т. 2.

чимо больная, также в доводах пушкиноведов занимала определенное место. Во-первых, в одном из греческих мифов Елена Спартанская превратилась в звезду, во-вторых, стихи «Увы, зачем она блистает...» естественнее всего отнести именно к ней. Добавим к этому еще одно соображение столь же ненадежного разряда — своего рода пародию на гипотезу. Письмо Пушкина о Крыме к брату (№1) открывается словами: «Начинаю с яиц Леды». Леда, жена царя Спарты, забеременев от бога Зевса, принявшего вид лебедя, произвела на свет два яйца — из одного вышла Елена Прекрасная. При большом воображении в словах Пушкина можно видеть шифр: «начинаю с Елены». Конечно, Лев Сергеевич не догадался бы, но сам-то поэт знал, о ком рассказывает. Разумеется, такого рода гипотезы недорого стоят. Подобные доводы не столь уж сложно выдвигать, труднее — с убежденностью на них настаивать.

В 1960 г. в сборнике «Пушкин. Исследования и материалы» (том III) появилась обширная работа Л. П. Гроссмана «У истоков Бахчисарайского фонтана», в котором известный пушкинист, автор многих книг и статей, обосновывает новую гипотезу: героиней крымской лирики и вдохновительницей «Бахчисарайского фонтана» была Софья Станиславовна Потоцкая (Киселева). Интересующихся аргументацией отсылаем к самой статье. Здесь же скажем: необычайно «соблазнительной» выглядит попытка соотнесения имен Потоцкой — реальной и Потоцкой из поэмы Пушкина. Этим сходством фамилий вполне может быть объяснен особый интерес петербургской знакомой Пушкина к легенде о польской девушке в гареме хана. Что касается роли С. С. Потоцкой в жизни поэта (и, соответственно, в крымской лирике), то она осталась недоказанной.

Пушкин не хотел, чтобы мы знали, кого именно любил он в 1820 г., о ком тосковал до 1823-го и кого не забывал и позже. Он сознательно «путал» даты под стихотворениями (например, «Увы, зачем...» печатал с датой «1819», а стихи 1824 г. о Крыме — с датой 1820), придумывал «подставные» инициалы, правил тексты стихов, старательно избегая «личностей». Так вправе ли мы теперь допытываться?

\* \* \*

8 сентября Пушкин был уже в Симферополе, где прожил, по последним изысканиям краеведов, до 17 числа. Через Перекоп, Борислав, Херсон, Николаев, Одессу он 21 сентября прибыл к месту своего служебного назначения — в Кишинев.

Память о Крыме, «любимая надежда» опять увидеть Гурзуф никогда не оставляла поэта. Туда отправил он в путешествие героя своего романа, да и в беловом тексте и в черновиках 1-й и 8-й глав мелькнули «холмы Тавриды, край прелестный». По меньшей мере дважды собирался в Крым сам. В Одессе, когда граф Воронцов купил у Ришелье его гурзуфское поместье и на бриге «Утеха» поплыл «праздновать новоселье», Пушкин уверен был, что позовут и его, но его не позвали (см. гл. VII). Тогда он написал послание-отказ А. Л. Давыдову, приглашавшему его в Крым («Нельзя, мой толстый Аристипп»):

...не могу с тобою плыть  
К брегам полуденной Тавриды...

В 1824 г., в Михайловском, были созданы «Виноград» и «Подражание турецкой песне» («О дева-роза, я в оковах...»). Конечно, наступил момент, когда Пушкин переменялся: Крым и все события 1820 г. отодвинулись в туманную даль воспоминаний (№ 23):

Смирились вы, моей весны  
Высокопарные мечтанья,  
И в поэтический бокал  
Воды я много подмешал.

Но вовсе крымские видения не исчезли. Последнее упоминание о Крыме было в ноябре 1836 г. Пушкин писал крымскому жителю Н. Б. Голицыну: «Как я завидую вашему прекрасному крымскому климату; письмо ваше разбудило во мне множество воспоминаний всякого рода. Там колыбель моего Онегина и вы, конечно, узнали некоторых лиц. Вы обещаете перевод в стихах моего Бахчисарайского фонтана\*. Уверен, что он вам удастся...» Когда писалось это письмо, прошла уже неделя, как получен был анонимный пасквиль...

\* на французский язык. — В. К.





## I

Милый брат, я виноват перед твоею дружбою, постараюсь загладить вину мою длинным письмом и подробными рассказами. Начинаю с яиц Леды. Приехав в Екатеринославль, я соскучился, поехал кататься по Днепру, выкупался и схватил горячку, по моему обыкновенью. Генерал Раевский, который ехал на Кавказ с сыном и двумя дочерьми, нашел меня в жидовской хате, в бреду, без лекаря, за кружкой оледенелого лимонада. Сын его (ты знаешь нашу тесную связь и важные услуги, для меня вечно незабвенные), сын его предложил мне путешествие к Кавказским водам, лекарь, который с ним ехал, обещал меня в дороге не уморить, Инзов благословил меня на счастливый путь — я лег в коляску больной; через неделю вылечился. Два месяца жил я на Кавказе; воды мне были очень нужны и чрезвычайно помогли, особенно серные горячие. Впрочем, купался в теплых кисло-серных, в железных и в кислых холодных. Все эти целебные ключи находятся не в дальнем расстоянье друг от друга, в последних отраслях Кавказских гор. Жалею, мой друг, что ты со мною вместе не видел великолепную цепь этих гор; ледяные их вершины, которые издали, на ясной заре, кажутся странными облаками, разноцветными и недвижными; жалею, что не всходил со мною на острый верх пятихолмного Бешту, Машука, Железной горы, Каменной и Змеиной. Кавказский край, знойная граница Азии, — любопытен во всех отношениях. Ермолов наполнил его своим именем и благотворным гением. Дикие черкесы напуганы; древняя дерзость их исчезает. Дороги становятся час от часу безопаснее, многочисленные конвои — излишними. Должно надеяться, что эта завоеванная сторона, до сих пор не приносив-

шая никакой существенной пользы России, скоро сблизит нас с персиянами безопасною торговлею, не будет нам преградою в будущих войнах — и, может быть, сбудется для нас химерический план Наполеона в рассуждении завоевания Индии. Видел я берега Кубани и сторожевые станицы — любовался нашими казаками. Вечно верхом; вечно готовы драться; в вечной предосторожности! Ехал в виду неприязненных полей свободных, горских народов. Вокруг нас ехали 60 казаков, за нами тащила заряженная пушка, с зажженным фитилем. Хотя черкесы нынче довольно смирны, но нельзя на них положиться; в надежде большого выкупа — они готовы напасть на известного русского генерала. И там, где бедный офицер безопасно скачет на перекладных, там высокопревосходительный легко может попасться на аркан какого-нибудь чеченца. Ты понимаешь, как эта тень опасности нравится мечтательному воображению. Когда-нибудь прочту тебе мои замечания на черноморских и донских казаков — теперь тебе не скажу об них ни слова. С полуострова Таманя, древнего Тмутараканского княжества, открылись мне берега Крыма. Морем приехали мы в Керчь. Здесь увижу я развалины Митридатова гроба, здесь увижу я следы Пантикапеи, думал я — на ближней горе посереде кладбища увидел я груды камней, утесов, грубо высеченных — заметил несколько ступеней, дело рук человеческих. Гроб ли это, древнее ли основание башни — не знаю. За несколько верст остановились мы на *Золотом холме*. Ряды камней, ров, почти сравнившийся с землею, — вот всё, что осталось от города *Пантикапеи*. Нет сомнения, что много драгоценного скрывается под землею, насыпанной веками; какой-то француз прислан из Петербурга для разысканий — но ему недостает ни денег, ни сведений, как у нас обыкновенно водится. Из Керчи приехали мы в *Кефу*, остановились у Броневского, человека почтенного по непорочной службе и по бедности. Теперь он под судом — и, подобно Старикку Виргилия, разводит сад на берегу моря, недалеко от города. Виноград и миндаль составляют его доход. Он не умный человек, но имеет большие сведения об Крыме, стороне важной и запущенной. Отсюда морем отправились мы мимо

полуденных берегов Тавриды, в *Юрзуф*, где находилось семейство Раевского. Ночью на корабле написал я Элегию, которую тебе присылаю; отошли ее *Гречу* без подписи. Корабль плыл перед горами, покрытыми тополами, виноградом, лаврами и кипарисами; везде мелькали татарские селения; он остановился в виду *Юрзуфа*. Там прожил я три недели. Мой друг, счастливейшие минуты жизни моей провел я посередине семейства почтенного Раевского. Я не видел в нем героя, славу русского войска, я в нем любил человека с ясным умом, с простой, прекрасной душою; снисходительного, попечительного друга, всегда милого, ласкового хозяина. Свидетель Екатерининского века, памятник 12 года; человек без предрассудков, с сильным характером и чувствительный, он невольно привяжет к себе всякого, кто только достоин понимать и ценить его высокие качества. Старший сын его будет более нежели известен. Все его дочери — прелесть, старшая — женщина необыкновенная. Суди, был ли я счастлив: свободная, беспечная жизнь в кругу милого семейства; жизнь, которую я так люблю и которой никогда не наслаждался, — счастливое, полуденное небо; прелестный край; природа, удовлетворяющая воображение, — горы, сады, море; друг мой, любимая моя надежда — увидеть опять полуденный берег и семейство Раевского. Будешь ли ты со мной? скоро ли соединимся? Теперь я один в пустынной для меня Молдавии. По крайней мере пиши ко мне — благодарю тебя за стихи; более благодарил бы тебя за прозу. Ради бога, почитай поэзию — доброй, умной старушкою, к которой можно иногда зайти, чтоб забыть на минуту сплетни, газеты и хлопоты жизни, повеселиться ее милым болтаньем и сказками; но влюбиться в нее — безрассудно. Михайло Орлов с восторгом повторяет ..... *русским безвестную!*.. я также. Прости, мой друг! обнимаю тебя. Уведомь меня об наших. Всё ли еще они в деревне. Мне деньги нужны, нужны! Прости. Обними же за меня Кюхельбекера и Дельвига. Видишь ли ты иногда молодого Молчанова? Пиши мне обо всей братье.

*Пушкин — Л. С. Пушкину. 24 сентября 1820 г.  
Из Кишинева в Петербург.*



## 2

Вот тебе и «Разбойники». Истинное происшествие подало мне повод написать этот отрывок. В 1820 году, в бытность мою в Екатеринославле, два разбойника, закованные вместе, переплыли через Днепр и спаслись. Их отдых на островке, потопление одного из стражей мною не выдуманы. Некоторые стихи напоминают перевод «Шильонского узника». Это несчастье для меня. Я с Жуковским сошелся нечаянно, отрывок мой написан в конце 1821 года.

*Пушкин — П. А. Вяземскому. 11 ноября 1823 г.  
Из Одессы в Москву.*

## 3

Не помню, кто заметил мне, что невероятно, чтоб скованные вместе разбойники могли переплыть реку. Всё это происшествие справедливо и случилось в 1820 году, в бытность мою в Екатеринославле.

*А. С. Пушкин. Опровержение на критики. 1830.*

## 4

М. Г., г. Редактор!

Согласно заметке, помещенной в № 389 вашей многоуважаемой газеты о предстоящем праздновании Россией столетней годовщины со дня рождения покойного поэта А. С. Пушкина, могу сообщить самые верные сведения о проживании покойного поэта в Екатеринославле, а именно: мой покойный отчим, князь Александр Никанорович Гирей (который умер 105 лет), говорил и указывал мне то место, где жил поэт; жил он в доме Краконины, перешедшем в сороковых годах дворянину Здановичу и находящемся на Мандрыковке, против усадьбы моего отчима, князя Гирея. Усадьба, где жил покойный А. С. Пушкин, прилегает к Днепру. В Мандрыковке, близ реки Днепра находилась тюрьма, из которой во время пребывания поэта

бежали два брата-арестанта, побочные дети помещика Засорина, о которых Александр Сергеевич и написал известную поэму «Братья-разбойники». Ныне усадьба принадлежит г. Кулабухову, у которого и имеются на все изложенное данные.

Пишущий эти строки от роду имеет 72 года. Дворянин.

Г. Мекленбурцов.  
4 февраля 1899. Екатеринослав.

## 5

С Пушкиным я не успел еще короче познакомиться, но замечаю однакож, что не испорченность сердца, но по молодости необузданная нравственностию пылкость ума, причиною его погрешностей; я постараюсь, чтобы советы мои не были бесплодны, и буду держать его более на глазах.

*И. Н. Инзов — И. А. Каподистрии. 21 мая 1820.  
Из Екатеринослава в Петербург.*

## 6

Забытый светом и молвою,  
Далече от берегов Невы,  
Теперь я вижу пред собою  
Кавказа гордые главы.  
Над их вершинами крутыми,  
На скате каменных стремнин,  
Питаюсь чувствами немymi  
И чудной прелестью картин  
Природы дикой и угрюмой;  
Душа, как прежде, каждый час  
Полна томительною думой —  
Но огнь поэзии погас.  
Ищу напрасно впечатлений:  
Она прошла, пора стихов,  
Пора любви, веселых снов,  
Пора сердечных вдохновений!

Восторгов краткий день протек —  
И скрылась от меня навек  
Богиня тихих песнопений...

1820

А. С. Пушкин.  
*Руслан и Людмила. Эпизод.*

## 7

〈...〉

Великолепные картины!  
Престолы вечные снегов,  
Очам казались их вершины  
Недвижной цепью облаков,  
И в их кругу колосс двуглавый,  
В венце блистая ледяном,  
Эльбрус огромный, величавый,  
Белел на небе голубом.  
Когда, с глухим сливаясь гулом,  
Предтеча бури, гром гремел,  
Как часто пленник над аулом  
Недвижим на горе сидел!  
У ног его дымились тучи,  
В степи взвивался прах летучий;  
Уже приюта между скал  
Елень испуганный искал;  
Орлы с утесов подымались  
И в небесах перекликались;  
Шум табунов, мычанье стад  
Уж гласом бури заглушались...  
И вдруг на доли дождь и град  
Из туч сквозь молний извергались;  
Волнами роя крутизны,  
Сдвигая камни вековые,  
Текли потоки дождевые —  
А пленник, с горной вышины,  
Один, за тучей громовою,  
Возврата солнечного ждал,  
Недосягаемый грозою,  
И бури немощному вою  
С какой-то радостью внимал.

1820

А. С. Пушкин.  
*Кавказский пленник.*

## 8

\* \* \*

Я видел Азии бесплодные пределы,  
Кавказа дальний край, долины обгорелы,  
Жилище дикое черкесских табунов,  
Подкумка знойный брег, пустынные вершины  
Обвитые венцом летучим облаков,  
И закубанские равнины!

Ужасный край чудес!.. там жаркие ручьи  
Кипят в утесах раскаленных,  
Благословенные струи!  
Надежда верная болезнью изнуренных.  
Мой взор встречал близ дивных берегов  
Увядших юношей, отступников пиров,  
На муки тайные Кипридой осужденных,  
И юных ратников на ранних костылях,  
И хилых стариков в печальных сединах.

1820

А. С. Пушкин.

## 9

\*

Уже пустыни сторож вечный,  
Стесненный холмами вокруг,  
Стоит Бешту остроконечный  
И зеленеющий Машук,  
Машук, податель струй целебных;  
Вокруг ручьев его волшебных  
Больных теснится бледный рой:  
Кто жертва чести боевой,  
Кто почечуя, кто Киприды;  
Страдалец мыслит жизни нить  
В волнах чудесных укрепить,  
Кокетка злых годов обиды  
На дне оставить, а старик  
Помолодеть — хотя на миг.

\*

Питая горьки размышленья,  
Среди печальной их семьи,  
Онегин взором сожаленья  
Глядит на дымные струи  
И мыслит, грустью отуманен:  
Зачем я пулей в грудь не ранен?  
Зачем не хилый я старик,  
Как этот бедный откупщик?  
Зачем, как тульский заседатель,  
Я не лежу в параличе?  
Зачем не чувствую в плече  
Хоть ревматизма?—ах, создатель!  
Я молод, жизнь во мне крепка;  
Чего мне ждать? тоска, тоска!..

*А. С. Пушкин.  
Путешествие Онегина.*

## 10

В Ставрополе увидел я на краю неба облака, поразившие мне взоры ровно за девять лет. Они были всё те же, всё на том же месте. Это — снежные вершины Кавказской цепи.

Из Георгиевска я заехал на Горячие воды. Здесь нашел я большую перемену. В мое время ванны находились в лачужках, наскоро построенных. Источники, большею частью в первобытном своем виде, били, дымились и стекали с гор по разным направлениям, оставляя по себе белые и красноватые следы. Мы черпали кипучую воду ковшиком из коры или дном разбитой бутылки. Нынче выстроены великолепные ванны и дома. Бульвар, обсаженный липками, проведен по склонению Машука. Везде чистенькие дорожки, зеленые лавочки, правильные цветники, мостики, павильоны. Ключи обделаны, выложены камнем; на стенах ванн прибиты предписания от полиции; везде порядок, чистота, красивость...

Признаюсь: Кавказские воды представляют ныне более удобностей; но мне было жаль их прежнего дикого состояния; мне было жаль крутых каменных

тропинок, кустарников и неогороженных пропастей, над которыми, бывало, я карабкался. С грустью оставил я воды и отправился обратно в Георгиевск. Скоро настала ночь. Чистое небо усеялось миллионами звезд. Я ехал берегом Подкумка. Здесь, бывало, сиживал со мною А. Раевский, прислушиваясь к мелодии вод. Величавый Бешту чернее и чернее рисовался в отдалении, окруженный горами, своими вассалами, и наконец исчез во мраке... <...>

*А. С. Пушкин. Путешествие в Арзрум.  
Глава первая. 1835.*

## 11

\* \* \*

Увы! зачем она блистает  
Минутной, нежной красотой?  
Она приметно увядает  
Во цвете юности живой...  
Увянет! Жизнью молодою  
Не долго наслаждаться ей;  
Не долго радовать собою  
Счастливым круг семьи своей,  
Беспечной, милой острою  
Беседы наши оживлять  
И тихой, ясною душою  
Страдальца душу усладить...  
Спешу в волненье дум тяжелых,  
Сокрыв уныние мое,  
Наслушаться речей веселых  
И наглядеться на нее;  
Смотрю на все ее движенья,  
Внимаю каждый звук речей,—  
И миг единый разлученья  
Ужасен для души моей.

## 12

К\*\*\*

Зачем безвременную скуку  
Зловещей думою питать,  
И неизбежную разлуку  
В унынье робком ожидать?  
И так уж близок день страданья!  
Один, в тиши пустых полей,  
Ты будешь звать воспоминанья  
Потерянных тобою дней.  
Тогда изгнаньем и могилой,  
Несчастный, будешь ты готов  
Купить хоть слово девы милой,  
Хоть легкий шум ее шагов.

1820

*А. С. Пушкин*

## 13

\* \* \*

Редает облаков летучая гряда;  
Звезда печальная, вечерняя звезда,  
Твой луч осеребрил увядшие равнины,  
И дремлющий залив, и черных скал вершины;  
Люблю твой слабый свет в небесной вышине:  
Он думы разбудил, уснувшие во мне:  
Я помню твой восход, знакомое светило,  
Над мирною страной, где всё для сердца мило,  
Где стройны тополы в долинах вознеслись,  
Где дремлет нежный мирт и темный кипарис,  
И сладостно шумят полуденные волны.  
Там некогда в горах, сердечной думы полный,  
Над морем я влачил задумчивую лень,  
Когда на хижины сходила ночи тень —  
И дева юная во мгле тебя искала  
И именем своим подругам называла.

1820

*А. С. Пушкин*

## 14

## НЕРЕИДА

Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду,  
 На утренней заре я видел nereиду.  
 Сокрытый меж дерев, едва я смел дохнуть:  
 Над ясной влагою полубогиня грудь  
 Младую, белую как лебедь, воздымала  
 И пену из власов струею выжимала.

1820

А. С. Пушкин

## 15

\* \* \*

Кто видел край, где роскошью природы  
 Оживлены дубравы и луга,  
 Где весело шумят и блещут воды  
 И мирные ласкают берега,  
 Где на холмы под лавровые своды  
 Не смеют лечь угрюмые снега?  
 Скажите мне: кто видел край прелестный,  
 Где я любил, изгнанник неизвестный?

Златой предел! любимый край Эльвины,  
 К тебе летят желанья мои!  
 Я помню скал прибрежные стремнины,  
 Я помню вод веселые струи,  
 И тень, и шум — и красные долины,  
 Где в тишине простых татар семьи  
 Среди забот и с дружбою взаимной  
 Под кровлею живут гостеприимной.

Всё живо там, всё там очей отрада,  
 Сады татар, селенья, города;  
 Отражена волнами скал громада,  
 В морской дали теряются суда,  
 Янтарь висит на лозах винограда;  
 В лугах шумят бродящие стада...  
 И зрит пловец — могила Митридата  
 Озарена сиянием заката.



И там, где мирт шумит над падшей урной,  
 Увижу ль вновь сквозь темные леса  
 И своды скал, и моря блеск лазурный,  
 И ясные, как радость, небеса?  
 Утихнет ли волненье жизни бурной?  
 Минувших лет воскреснет ли краса?  
 Приду ли вновь под сладостные тени  
 Душой уснуть на лоне мирной лени?

1821

А. С. Пушкин

## 16

## ТАВРИДА

〈...〉

Так, если удаляться можно  
 Оттоль, где вечный свет горит,  
 Где счастье вечно, непреложно,  
 Мой дух к Юрзуфу прилетит.  
 Счастливым край, где блещут воды,  
 Лаская пышные брега,  
 И светлой роскошью природы  
 Озарены холмы, луга,  
 Где скал нахмуренные своды  
 .....

Ты вновь со мною, наслажденье;  
 В душе утихло мрачных дум  
 Однообразное волненье!  
 Воскресли чувства, ясен ум.  
 Какой-то негой неизвестной,  
 Какой-то грустью полон я;  
 Одушевленные поля,  
 Холмы Тавриды, край прелестный,  
 Я снова посещаю вас,  
 Пью жадно воздух сладострастья,  
 И будто слышу близкий глас  
 Давно затерянного счастья.  
 .....

За нею по наклону гор  
 Я шел дорогой неизвестной,

И примечал мой робкий взор  
 Следы ноги ее прелестной.  
 Зачем не смел ее следов  
 Коснуться жаркими устами  
 .....

Нет, никогда среди бурных дней  
 Мятажной юности моей  
 Я не желал с таким волненьем  
 Лобзать уста младых Цирцей  
 И перси, полные томленьем.  
 .....

Один, один остался я.  
 Пиры, любовницы, друзья  
 Исчезли с легкими мечтами,  
 Померкла молодость моя  
 С ее неверными дарами.  
 Так свечи, в долгу ночь горев  
 Для резвых юношей и дев,  
 В конце безумных пирований  
 Бледнеют пред лучами дня.  
 .....

1822

А. С. Пушкин

## 17

## XXXII

Дианы грудь, ланиты Флоры  
 Прелестны, милые друзья!  
 Однако ножка Терпсихоры  
 Прелестней чем-то для меня.  
 Она, пророчествуя взгляду  
 Неоценимую награду,  
 Влечет условною красой  
 Желаний своевольный рой.  
 Люблю ее, мой друг Эльвина,  
 Под длинной скатертью столов,  
 Весной на мураве лугов,  
 Зимой на чугуне камина,  
 На зёркальном паркете зал,  
 У моря на граните скал.

## XXXIII

Я помню море пред грозою:  
Как я завидовал волнам,  
Бегущим бурной чередою  
С любовью лечь к ее ногам!  
Как я желал тогда с волнами  
Коснуться милых ног устами!  
Нет, никогда средь пылких дней  
Кипящей младости моей  
Я не желал с таким мученьем  
Лобзать уста молодых Армид,  
Иль розы пламенных ланит,  
Иль перси, полные томленьем;  
Нет, никогда порыв страстей  
Так не терзал души моей!

## XXXIV

Мне памятно другое время!  
В заветных иногда мечтах  
Держу я счастливое стремя...  
И ножку чувствую в руках;  
Опять кипит воображенье,  
Опять ее прикосновенье  
Зажгло в увядшем сердце кровь,  
Опять тоска, опять любовь!..  
Но полно прославлять надменных  
Болтливой лирою своей;  
Они не стоят ни страстей,  
Ни песен, ими вдохновенных:  
Слова и взор волшебниц сих  
Обманчивы... как ножки их.

*«Евгений Онегин». Глава 1.*

## 18

## ВСТУПЛЕНИЕ К ПОЭМЕ

Н. Н. Р.

Исполню я твое желанье,  
Начну обещанный рассказ.  
Давно, когда мне в первый раз  
Поведали сие преданье,

Мне стало грустно; пылкий ум  
Был омрачен невольной думой,  
Но скоро пылких оргий шум  
Развеселил мой сон угрюмый.  
О возраст ранний и живой,  
Как быстро легкой чередой  
Тогда сменялись впечатленья:  
Восторги — тихой тоской,  
Печаль — порывом упоенья!

1821

*А. С. Пушкин. Бахчисарайский фонтан.  
Из ранних редакций.*

19

⟨...⟩

Настала ночь; покрылись тенью  
Тавриды сладостной поля;  
Вдали, под тихой лавров сенью  
Я слышу пенье соловья;  
За хором звезд луна восходит;  
Она с безоблачных небес  
На доли, на холмы, на лес  
Сиянье томное наводит.  
Покрыты белой пеленой,  
Как тени легкие мелькая,  
По улицам Бахчисарая,  
Из дома в дом, одна к другой,  
Простых татар спешат супруги  
Делить вечерние досуги.  
Дворец утих; уснул гарем,  
Объятый негой безмятежной;  
Не прерывается ничем  
Спокойство ночи. ⟨...⟩

Опустошив огнем войны  
Кавказу близкие страны  
И села мирные России,  
В Тавриду возвратился хан  
И в память горестной Марии  
Воздвигнул мраморный фонтан,  
В углу дворца уединенный.

Над ним крестом осенена  
Магометанская луна  
(Символ, конечно, дерзновенный,  
Незнанья жалкая вина).  
Есть надпись: едкими годами  
Еще не сгладилась она.  
За чуждыми ее чертами  
Журчит во мраморе вода  
И каплет хладными слезами,  
Не умолкая никогда.  
Так плачет мать во дни печали  
О сыне, падшем на войне.  
Младые девы в той стране  
Преданье старины узнали,  
И мрачный памятник оне  
*Фонтаном слез* именовали.

Покинув север наконец,  
Пиры надолго забывая,  
Я посетил Бахчисарая  
В забвеньи дремлющий дворец.  
Среди безмолвных переходов  
Бродил я там, где, бич народов,  
Татарин буйный пировал  
И после ужасов набега  
В роскошной лени утопал.  
Еще поныне дышит нега  
В пустых покоях и садах;  
Играют воды, рдеют розы,  
И вьются виноградны лозы,  
И золото блещет на стенах.  
Я видел ветхие решетки,  
За коими, в своей весне,  
Янтарны разбирая четки,  
Вздыхали жены в тишине.  
Я видел ханское кладбище,  
Владык последнее жилище.  
Сии надгробные столбы,  
Венчанны мраморной чалмою,  
Казалось мне, завет судьбы  
Гласили внятною молвою.  
Где скрылись ханы? Где гарем?  
Кругом всё тихо, всё уныло,

Всё изменилось... но не тем  
 В то время сердце полно было:  
 Дыханье роз, фонтанов шум  
 Влекли к невольному забвенью,  
 Невольно предавался ум  
 Неизъяснимому волненью,  
 И по дворцу летучей тенью  
 Мелькала дева предо мной!..

.....  
 Чью тень, о други, видел я?  
 Скажите мне: чей образ нежный  
 Тогда преследовал меня,  
 Неотразимый, неизбежный?  
 Марии ль чистая душа  
 Являлась мне, или Зарема  
 Носилась, ревностью дыша,  
 Средь опустелого гарема?

Я помню столь же милый взгляд  
 И красоту еще земную,  
 Все думы сердца к ней летят,  
 Об ней в изгнании тоскую...  
 Безумец! полно! перестань,  
 Не оживляй тоски напрасной,  
 Мятежным снам любви несчастной  
 Заплачена тобою дань —  
 Опомнись; долго ль, узник томный,  
 Тебе оковы лобызать  
 И в свете лирою нескромной  
 Свое безумство разглашать?

Поклонник муз, поклонник мира,  
 Забыв и славу и любовь,  
 О, скоро вас увижу вновь,  
 Брега веселые Салгира!  
 Приду на склон приморских гор,  
 Воспоминаний тайных полный,—  
 И вновь таврические волны  
 Обрадуют мой жадный взор.  
 Волшебный край! очей отрада!  
 Всё живо там: холмы, леса,  
 Янтарь и яхонт винограда,

Долин приютная краса,  
И струй и тополей прохлада...  
Всё чувство путника манит,  
Когда, в час утра безмятежный,  
В горах, дорогою прибрежной,  
Привычный конь его бежит,  
И зеленеющая влага  
Пред ним и блещет, и шумит  
Вокруг утесов Аю-дага...

*А. С. Пушкин.*

1821—1823 *Бахчисарайский фонтан.*

## 20

### ФОНТАНУ БАХЧИСАРАЙСКОГО ДВОРЦА

Фонтан любви, фонтан живой!  
Принес я в дар тебе две розы.  
Люблю немолчный говор твой  
И поэтические слезы.

Твоя серебряная пыль  
Меня кропит росой хладной:  
Ах, лейся, лейся, ключ отрадный!  
Журчи, журчи свою мне былль...

Фонтан любви, фонтан печальный!  
И я твой мрамор вопрошал:  
Хвалу стране прочел я дальней;  
Но о Марии ты молчал...

Светило бледное гарема!  
И здесь ужель забвенно ты?  
Или Мария и Зарема  
Одни счастливые мечты?

Иль только сон воображенья  
В пустынной мгле нарисовал  
Свои минутные виденья,  
Души неясный идеал?

## 21

## ОТРЫВОК ИЗ ПИСЬМА к Д.

Из Азии переехали мы в Европу\* на корабле. Я тотчас отправился на так называемую *Митридагову гробницу* (развалины какой-то башни); там сорвал цветок для памяти и на другой день потерял без всякого сожаления. Развалины Пантикапеи не сильнее подействовали на мое воображение. Я видел следы улиц, полузаросший ров, старые кирпичи — и только. Из Феодосии до самого Юрзуфа ехал я морем. Всю ночь не спал. Луны не было, звезды блистали; передо мною, в тумане, тянулись полуденные горы... «Вот Чатырдаг», — сказал мне капитан. Я не различил его да и не любопытствовал. Перед светом я заснул. Между тем корабль остановился в виду Юрзуфа. Проснувшись, увидел я картину пленительную: разноцветные горы сияли; плоские кровли хижин татарских издали казались ульями, прилепленными к горам; тополи, как зеленые колонны, стройно возвышались между ими; справа огромный Аю-даг... и кругом это синее, чистое небо, и светлое море, и блеск и воздух полуденный...

В Юрзуфе жил я *сиднем*, купался в море и объедался виноградом; я тотчас привык к полуденной природе и наслаждался ею со всем равнодушием и беспечною неаполитанского *lazzarone*\*\*.

Я любил, проснувшись ночью, слушать шум моря — и заслушивался целые часы. В двух шагах от дома рос молодой кипарис; каждое утро я навещал его и к нему привязался чувством, похожим на дружество. Вот всё, что пребывание мое в Юрзуфе оставило у меня в памяти.

Я объехал полуденный берег, и путешествие М. оживило во мне много воспоминаний; но страшный переход его по скалам Кикенеиса не оставил ни малейшего следа в моей памяти. По Горной лестнице взобрались мы пешком, держа за хвост татарских лошадей наших. Это забавляло меня чрезвычайно и

---

\* Из Тамани в Керчь.

\*\* *нищий (ит.)*.



казалось каким-то таинственным, восточным обрядом. Мы переехали горы, и первый предмет, поразивший меня, была береза, северная береза! сердце мое сжалось: я начал уже тосковать о миллом полудне, хотя все еще находился в Тавриде, все еще видел и тополи и виноградные лозы. Георгиевский монастырь и его крутая лестница к морю оставили во мне сильное впечатление. Тут же видел я и баснословные развалины храма Дианы. Видно, мифологические предания счастливее для меня воспоминаний исторических; по крайней мере тут посетили меня рифмы. Я думал стихами. Вот они:

К чему холодные сомненья?  
Я верю: здесь был грозный храм,  
Где крови жаждущим богам  
Дымились жертвоприношенья;

Здесь успокоена была  
Вражда свирепой эвмениды:  
Здесь провозвестница Тавриды  
На брата руку занесла;  
На сих развалинах свершилось  
Святое дружбы торжество,  
И душ великих божество  
Своим созданьем возгордилось.

.....

Чадаев, помнишь ли бывшее?  
Давно ль с восторгом молодым  
Я мыслил имя роковое  
Предать развалинам иным?  
Но в сердце, бурями смиренном,  
Теперь и лень и тишина,  
И в умиленье вдохновенном,  
На камне, дружбой освященном,  
Пишу я наши имена.

В Бахчисарай приехал я больной. Я прежде слышал о странном памятнике влюбленного хана. К\*\* поэтически описывала мне его, называя *la fontaine des larmes\**. Вошед во дворец, увидел я испорченный

\* фонтан слез (фр.).

фонтан; из заржавой железной трубки по каплям падала вода. Я обошел дворец с большой досадою на небрежение, в котором он истлевают, и на полуевропейские переделки некоторых комнат. NN почти насильно повел меня по ветхой лестнице в развалины гарема и на ханское кладбище,

но не тем

В то время сердце полно было:

лихорадка меня мучила.

Что касается до памятника ханской любовницы, о котором говорит М., я об нем не вспомнил, когда писал свою поэму, а то бы непременно им воспользовался.

Растолкуй мне теперь, почему полуденный берег и Бахчисарай имеют для меня прелесть неизъяснимую? Отчего так сильно во мне желание вновь посетить места, оставленные мною с таким равнодушием? или воспоминание самая сильная способность души нашей, и им очаровано всё, что подвластно ему?

Декабрь 1824.

А. С. Пушкин

## 22

⟨...⟩

Как часто ласковая муза  
Мне услаждала путь немой  
Волшебством тайного рассказа!  
Как часто по скалам Кавказа  
Она Ленорой, при луне,  
Со мной скакала на коне!  
Как часто по брегам Тавриды  
Она меня во мгле ночной  
Водила слушать шум морской,  
Немолчный шепот Нереиды,  
Глубокий, вечный хор валов,  
Хвалебный гимн отцу миров.

«Евгений Онегин».

Глава 8, строфа IV.

## 23

Прекрасны вы, берега Тавриды,  
Когда вас видишь с корабля  
При свете утренней Киприды,  
Как вас впервой увидел я;  
Вы мне предстали в блеске брачном:  
На небе синем и прозрачном  
Сияли груды ваших гор,  
Долин, деревьев, сёл узор  
Разостлан был передо мною.  
А там, меж хижинок татар...  
Какой во мне проснулся жар!  
Какой волшебною тоскою  
Стеснялась пламенная грудь!  
Но, муза! прошлое забудь.

\*

Какие б чувства ни таились  
Тогда во мне — теперь их нет:  
Они прошли иль изменились...  
Мир вам, тревоги прошлых лет!  
В ту пору мне казались нужны  
Пустыни, волн края жемчужны,  
И моря шум, и груды скал,  
И гордой девы идеал,  
И безыменные страданья...  
Другие дни, другие сны;  
Смирились вы, моей весны  
Высокопарные мечтанья,  
И в поэтический бокал  
Воды я много подмешал.

\*

Иные нужны мне картины:  
Люблю песчаный косогор,  
Перед избушкой две рябины,  
Калитку, сломанный забор,  
На небе серенькие тучи,  
Перед гумном соломы кучи —  
Да пруд под сенью ив густых,  
Раздолье уток молодых;

Теперь мила мне балалайка  
Да пьяный топот трепака  
Перед порогом кабака.  
Мой идеал теперь — хозяйка,  
Мои желания — покой,  
*Да щей горшок, да сам большой.*

\*

Порой дождливою намедни  
Я, завернув на скотный двор...  
Тьфу! прозаические бредни,  
Фламандской школы пестрый сор!  
Таков ли был я, расцветая?  
Скажи, фонтан Бахчисарая!  
Такие ль мысли мне на ум  
Навел твой бесконечный шум,  
Когда безмолвно пред тобою  
Зарему я воображал...  
Средь пышных, опустелых зал,  
Спустя три года, вслед за мною,  
Скитаясь в той же стороне,  
Онегин, вспомнил обо мне.

*Путешествие Онегина.*

# Глава шестая



1821•1823

В уединении мой своенравный гений  
Познал и тихий труд, и жажду размышлений.

1821

Здесь, лирой северной пустыни оглашая,  
Скитался я в те дни, как на брега Дуная  
Великодушный грек свободу вызывал,  
И ни единый друг мне в мире не внимал;  
Но чуждые холмы, поля, и рощи сонны,  
И музы мирные мне были благосклонны.

1821

Определяя самую суть кишиневского периода в биографии Пушкина, один из крупнейших пушкинистов, П. Е. Щеголев, заметил: «Мысли политического характера давали тон всему настроению поэта в течение его кишиневской жизни». И конкретизировал: «Кишиневский период был эпохой наибольшего воздействия на поэта оппозиционных течений первой четверти прошлого века; мы не ошибемся, если скажем, что эти годы были поворотными в отношении Пушкина к движению, в котором принимали участие многие из его друзей... Ни в какой другой период Пушкина не занимали так сильно мысли и убеждения, разделявшиеся членами тайного общества и людьми радикально настроенными, никогда его так не волновали их чувства и настроения. В поэтических произведениях Пушкина, написанных в эти годы, мы найдем немало отражений политической атмосферы, окружающей поэта». Если в Петербурге Пушкин слышал революционные *разговоры* и принимал в них живое участие, то в Кишиневе он впервые увидел примеры революционных действий. Другой знаток пушкинской эпохи, М. А. Цявловский, говорил о «непрерывном и плодотворном взаимодействии политической революционной мысли декабристов и страстно свободолобивой поэзии Пушкина». Это взаимодействие, наметившееся еще в Петербурге, стало несомненным именно в Кишиневе (см., например, «Кинжал», № 9).

В самом деле, трудно было подыскать более неудачное место — с точки зрения властей, стремившихся «исправить» Пушкина, — чем Кишинев 1820—1823 годов. Здесь формировались под руководством отставного генерала русской службы Александра Ипсиланти силы национально-освободительной борьбы греческого народа; сюда стекались с весны 1821 г. беженцы из охваченных волнениями придунайских княжеств; здесь, в гуще разноплеменного, разноязыкого населения возникала питательная среда идей национального и социального равенства; сюда, на южную окраину российской империи, быстрее всего стекались вести о европейских революциях — неаполитанской, испанской, португальской.

Но самое важное — в Кишиневе располагался штаб 16-й дивизии 6-го корпуса 2-й армии русских войск. Дивизией командовал близкий петербургский знакомый Пушкина (член «Арзамаса» по кличке «Рейн») Михаил Федорович Орлов. Он, по крайней мере в кишиневские годы, принадлежал к числу наиболее решительных противников самодержавия и самоотверженных борцов за свободу — тех, кого с последнего месяца 1825 г. стали называть декабристами. Герою Отечественной войны 1812 г. генералу Орлову светила блестящая карьера «паркетного воина» в Петербурге, а он променял ее на скромную должность дивизионного командира в дальнем гарнизоне. Получить дивизию, которая после надлежащей подготовки станет оплотом революционных сил, было его мечтою. Конечно, лучше бы под Москвой, чтобы сократить путь к столицам, но на худой конец и на юге — не беда. Замысел Орлова осуществился. Сначала он стал начальником штаба 4-го корпуса в Киеве (командир — Н. Н. Раевский), а 10 июля 1820 г. выехал к месту новой службы — в Кишинев.

Современник-кишиневец Ф. П. Радченко вспоминал: «Надо заметить, что генерал Орлов, осыпанный всеми дарами фортуны и славою военною, не покорила себя ни предрассудками времени, ни обольщением почести. Он был всегда тот же: прям душою, чистосердечен, бескорыстен, но имел одну слабость — быть добрым, слабость, которая ввергнула его в большие неприятности. Главная же вина его состояла в том, что он в весьма короткое время приобрел неограниченную

доверенность солдат и ...стался слишком виден и слишком просвещен, чтобы не обратить на себя внимание подозрительного правительства». Орлов разработал для 16-й дивизии секретную инструкцию, в которой, в частности, говорилось: «Всякий полковой командир должен иметь в полку власть и силу, ибо на его единственной ответственности лежит порядок и устройство. Но из сего не следует, что он может быть тираном своих подчиненных, ибо подчиненные, такие же люди, как и он, служат не ему, а отечеству. Обыкновенно у нас думают, что тот и молодец, кто больше бьет. Оборони меня боже жить с такими молодцами. Я лучше сам откажусь от дивизии, чем иметь перед собою постоянное зрелище столь несчастных солдат и столь подлых начальников... Терзать солдат я не намерен».

Разумеется, Орлов высоко ставил и личную честь офицеров, постоянно унижаемую вышестоящими. Наслушавшись подобных речей, Пушкин как-то сказал, что он ценит солдатские георгиевские кресты выше офицерских, потому что первые по крайней мере освобождают от телесных наказаний\*. Гостивший у Орлова С. Г. Волконский в позднейших воспоминаниях утверждал: «Несколько недель, проведенных у Орлова, оказали сильное влияние на меня, развили во мне чувство гражданина, и я вступил в новую колею убеждений и действий». Это до известной степени должно быть отнесено и к Пушкину.

В Киеве Орлов познакомился с Екатериной Раевской и вскоре сделал предложение. После их свадьбы у Пушкина в Кишиневе появился словно дом родной, где он оказался в самой гуще декабристского движения и в то же время в семейной обстановке среди доброжелательных к нему людей. У Орлова Пушкин близко сошелся с членами Союза благоденствия, талантливыми политическими агитаторами и заслуженными офицерами К. А. Охотниковым и В. Ф. Раевским, а также с И. П. Липранди \*\*. Каждый по-своему,

---

\* По особому указу георгиевские кавалеры из солдат не подлежали телесным наказаниям.

\*\* Впоследствии Липранди стал секретным агентом правительства, но в 1820-х годах он был, видимо, искренне оппозиционен. Пушкин относился к нему с доверием дружбы.

они очень многое дали поэту для образования — и политического, и общего. У Липранди была большая библиотека, и в первые же дни Пушкин взял у него сочинения Овидия, которого предание считает бессарабским изгнанником (№ 32).

Под влиянием бесед у Орлова и Липранди Пушкин сделал как-то запись, по сей день поражающую исследователей непреходящей актуальностью:

«1. Невозможно, чтобы люди со временем не уразумели смешную жестокость войны, как они уразумели существо рабства, царской власти и т. д. Они увидят, что наше предназначение — есть, пить и быть свободными.

2. Так как конституции уже являются крупным шагом в человеческом сознании, и этот шаг не будет единственным, вызывая стремление к уменьшению числа войск в государстве, ибо принцип вооруженной силы прямо противоположен всякой конституционной идее, — то возможно, что менее чем через 100 лет не будет больше постоянных армий».

Будем надеяться, что Пушкин ошибся только в конкретной цифре!

23 ноября 1821 г. Е. Н. Раевская-Орлова писала брату Александру: «Мы очень часто видим Пушкина, который приходит спорить с мужем о всевозможных предметах. Его теперешний конек — вечный мир аббата Сен-Пьера. Он убежден, что правительства, совершенствуясь постепенно, водворят вечный и всеобщий мир...» Однако аббат Сен-Пьер был лишь одним из проводников великой идеи. Академик М. П. Алексеев, всесторонне исследовавший отрывок о вечном мире в пушкинских бумагах, обратил внимание на другой источник — трактат первого директора Лицея В. Ф. Малиновского «Рассуждение о мире и войне», хорошо известный лицеистам. Еще в 1813 г. Малиновский утверждал: «Война заключает в себе все бедствия, коим человек по природе своей может подвергнуться, соединяя всю свирепость зверей с искусством человеческого разума, устремленного на пагубу людей. Она есть адское чудовище, следы которого повсюду означаются кровию». Память Лицея соединялась с политическими впечатлениями 20-х годов. Через революционную войну к вечному миру — таково было мироощущение кишиневского Пушкина.»



## «ПАМЯТЬ КАМЕНКИ ЛЮБЯ...»

Прожив в Кишиневе с 21 сентября примерно по 15 ноября 1820 г., Пушкин получил приглашение посетить имение Давыдовых Каменка в Чигиринском уезде Киевской губернии. Чтобы было понятно, откуда возникла эта поездка, нужно напомнить, кто такие Давыдовы. Дело в том, что мать генерала Раевского Екатерина Николаевна вторым браком была замужем за Л. Д. Давыдовым. Два ее сына, Василий и Александр Львовичи, приходились таким образом единоутробными братьями генералу. Овдовев, Екатерина Николаевна жила с младшими сыновьями в имении Каменка на реке Тясмине. Имение было большое, живописно расположенное по обеим сторонам реки (пейзаж описан Пушкиным, см. гл. V, № 13). Берега Тясмина здесь довольно высокие; на одном участке они сближаются и образуют нависшие над водой скалистые утесы. Отсюда — название местности. Проезжая дорога пересекала надвое помещичью усадьбу с солидным барским домом, флигелями, службами и роскошный сад с искусственным глубоким гротом, предназначенным для пиров и всяческих увеселений (из грота открывался самый лучший вид на реку). Родственник Давыдовых, бывавший у них в имении в 1878—1884 гг. и любивший подолгу слушать плеск волн Тясмина, Петр Ильич Чайковский рассказывал о временах пушкинских по воспоминаниям старших: «Каменка в то время была великолепным барским имением с усадьбой на большую ногу; жили широко, по тогдашнему обычаю, с оркестрами, певчими и т. д.». Семья Раевских-Давыдовых была многочисленная, дружная — так что поездка в Каменку оказалась для Пушкина в известном смысле продолжением его кавказско-крымского путешествия.

Хозяйка усадьбы была знатная дама ушедших времен, осколок екатерининского века. Она, по праву старейшей и мудрейшей, управляла своими домашними и хозяйничала в огромном имении, насчитывавшем 822 крепостных (всего по Чигиринскому уезду у Давыдовых было до 2600 душ). В ноябре традиционно праздновали именины почтенной владелицы Каменки, матери братьев Давыдовых. Бывало, что даже из

Москвы съезжались гости к этому дню. Под этим именованным предлогом и собралось здесь в ноябре 1820 г. самое настоящее совещание декабристов — членов Союза благоденствия.

Приехали кишиневцы — Орлов и Охотников; неприменное участие в политических обсуждениях принимал Василий Давыдов — будущий каторжанин и ссыльный. Специально свернул в Каменку из Тульчина И. Д. Якушкин, чтобы пригласить Орлова как представителя южан на московский съезд Союза благоденствия в январе 1821 г. Существует легенда, будто Пушкин прикатил весь запыленный, в какой-то странной повозке — девочка, дочь Василия Львовича, даже убежала, испугавшись странного гостя. Здесь он вновь оказался в кругу участников тайного общества, не будучи его членом. Он и в Петербурге в доме Тургеневых, догадываясь о заговоре, тщетно допытывался истины у Пущина, а здесь, в Каменке, все стало еще яснее. Можно представить себе, какие чувства вызвала у Пушкина сцена, описанная в мемуарах Якушкина (№ 7).

Вот как оценивал положение поэта декабрист Д. И. Завалишин: «Пушкин не мог не сознавать, что было бы с его стороны вполне бесчестным уклоняться от действий, которые сам же всячески возбуждал, и от ответственности за оные. Можно наверное сказать, что по крайней мере 9/10, если не 99/100 тогдашней молодежи первые понятия о безверии, кощунстве и крайнем приложении принципа, что «цель оправдывает средства», то есть крайних революционных мерах, получили из его стихов... А в наше время был едва ли какой взрослый воспитанник, который не списывал и не выучивал наизусть этих стихотворений. Пушкин очень хорошо знал, к чему он возбуждал и знал, что возбужденные им стремятся от слов перейти к действию. Как же мог он отказать от него! Напротив, он всеми силами добивался быть принятым». Точку зрения Завалишина разделяет и Якушкин: «все его ненапечатанные сочинения: Деревня, Кинжал, Четверостишие к Аракчееву, Послание к Петру Чаадаеву и много других были не только всем известны, но в то время не было сколько-нибудь грамотного прапорщика в армии, который не знал бы их наизусть».

Больно и тяжело было ощущать Пушкину, что его намеренно отставляют от участия в *тайной* деятельности общества, в которой явно он своими стихами и разговорами давно участвует. Причины, в силу которых декабристы держали Пушкина на некотором отдалении, могли быть разными. Д. И. Завалишин приводит такой довод: «его заповедано было не принимать, зная крайнюю его изменчивость. Чем ближе кто его знал, тем более был уверен в этом крайнем его недостатке, имея множество фактов быстрых его переходов от одной крайности к другой и законное основание не доверять ему уже из одного его тщеславного стремления проникнуть в великосветский и придворный круг, чтобы сделаться там своим человеком». Такова была, так сказать, внутридекабристская легенда о Пушкине, столь же далекая от истины (и еще более живучая), чем, например, пущенный Федором Толстым петербургский слух, будто Пушкина высекли в тайной канцелярии. Великосветский круг если и интересовал поэта, то только как художника привлекает всякий пласт жизни и уж никак не более, чем будни крепостных или солдат.

Между тем легенда оказалась упрямой — некоторые декабристы, лично Пушкина не знавшие, говорили об этом еще резче и определеннее, чем Завалишин. Однако всегда были и иные версии: Пушкин приехал на юг поднадзорным, он был на виду у полиции и провокаторов — принять его, значит поставить интересы тайного общества под удар.

Но самым правдоподобным и, добавим, самым благородно-искренним было третье объяснение. В связи со столетним юбилеем поэта уже весьма пожилой сын покойного декабриста С. Г. Волконского Михаил писал пушкинисту академику Л. Н. Майкову: «Пушкин... был мне близок по отношению к отцу и к Раевскому, так что я всю жизнь считал его близким к себе человеком. Не знаю, говорил ли я вам, что моему отцу было поручено принять его в общество и что отец этого не исполнил. «Как мне решиться было на это, — говорил он мне не раз, — когда ему могла угрожать плаха, а теперь что его убили, я жалею об этом. Он был бы жив и в Сибири его поэзия встала бы на новый путь. И действительно, представьте себе Пуш-

кина в рудниках, Чите, на Петровском заводе и на поселении—что бы он создал там». Такой взгляд ближе южным декабристам, чем выраженный Д. И. Завалишиным; его разделяли и Орлов, и Пестель, которым Пушкин был *не чужой*. Откровенность бесед с ним Пестеля говорит и сама за себя (№ 12); вдобавок поручение Волконскому могли дать только руководители южной ветви Союза благоденствия, либо позже, когда Пушкин был уже в Одессе, руководители южного общества. И первый среди них—Пестель...

Все события испанской и неаполитанской революций обсуждались в Каменке не сами по себе, а применительно к будущей революции российской. В стихотворном послании В. Л. Давыдову из Кишинева Пушкин вспомнил вечера в Каменке,

Когда и ты и милый брат,  
 Перед камином надевая  
 Демократический халат,  
 Спасенья чашу наполняли  
 Беспенной мерзлою струей  
 И на здоровье *тех и той*  
 До дна, до капли выпивали!..  
 Но *те* в Неаполе шалят  
 А *та* едва ли там воскреснет...  
 Народы тишины хотят,  
 И долго их ярем не треснет.

*Те*—революционеры, *та*—конституция, за которую они борются. Общий итог европейских восстаний печально-разочаровывающий («долго их ярем не треснет»), но далее следует концовка, полная веры в русское революционное движение (*мы*—не *те*):

Ужель надежды луч исчез?  
 Но нет!—мы счастьем насладимся,  
 Кровавой чаши причастимся—  
 И я скажу: Христос воскрес.

Некоторые исследователи считали, что одно из самых мрачных и безысходных стихотворений, написанное в Каменке, отражает тоску Пушкина, отринутого друзьями-заговорщиками:

Я пережил свои желанья,  
 Я разлюбил свои мечты;  
 Остались мне одни страданья,  
 Плоды сердечной пустоты.

Под бурями судьбы жестокой  
Увял цветущий мой венец;  
Живу печальный, одинокий  
И жду, придет ли мой конец?

Так, поздним хладом пораженный,  
Как бури слышен зимний свист,  
Один на ветке обнаженной  
Трепещет запоздалый лист.

Возможно, здесь говорится и об остракизме, постигшем поэта в кругу друзей, и в значительной мере единомышленников. Но была и другая причина печалиться: осталась позади и по каким-то основаниям не оставляла более надежд крымская любовь Пушкина — не к Екатерине ли Раевской-Орловой? Если так, то понятно, как нелегко было ему в Каменке встречаться с нею перед ее официальной помолвкой с Орловым. Во всяком случае, крымские стихи-воспоминания, о которых говорилось в предыдущей главе, он записал именно в Каменке («Редеет облаков летучая гряда...», «Нереида»). Здесь он закончил «Кавказского пленника».

Вообще в Каменке Пушкину работалось прекрасно. По местному преданию, он целые дни проводил в библиотеке и бильярдной, расположенных в отдельном флигеле. Растянувшись на сукне бильярда, он, говорят, писал — по своему обыкновению на сотнях бумажных клочков. Рассказывали, что в его отсутствие хозяева велели запирать двери, чтобы кто-нибудь из слуг ненароком не выбросил черновики поэта.

Что же касается своей вынужденной, но гордой отдаленности от тайного общества, то, вполне вероятно, Пушкин имел в виду именно это, когда писал:

Когда же волны по берегам  
Ревут, кипят и пеной плещут,  
И гром гремит по небесам,  
И молнии во мраке блещут;  
Я удаляюсь от морей  
В гостеприимные дубровы;  
Земля мне кажется верней,  
И жалок мне рыбак суровый:  
Живет на утлом он челне,  
Игралище слепой пучины,  
А я в надежной тишине  
Внимаю шум ручья долины.

Испросив через Давыдовых разрешение Инзова «не спешить» в Кишинев (№ 5), Пушкин в январе 1821 г. отправляется со своими каменскими хозяевами в Киев, а после, не исключено, что и в Тульчин — главную квартиру 2-й армии и центр южного декабризма. Предполагается, что во время этой поездки произошла первая встреча поэта с Павлом Пестелем. Примерно 18 февраля Пушкин с Давыдовыми возвратились в Каменку. В самом конце февраля или в первых числах марта поэт, посетив Одессу, снова отправился в Кишинев и скоро писал оттуда В. Л. Давыдову:

Тебя, Раевских и Орлова,  
И память Каменки любя,  
Хочу сказать тебе два слова  
Про Кишинев и про себя...

\* \* \*

«Кишинев как нельзя более соответствовал характеру Пушкина, — подметил И. П. Липранди. — Ему по природе его нужно было разнообразие с решительными противоположностями, как встречал он их в продолжение почти трехлетнего пребывания своего в Кишиневе».

Пестрота кишиневская сказывалась и внешне: мундиры военных соседствовали с долгополыми кафтанам и высокими шапками молдавских бояр; вицмундиры чиновников — с засаленными лапсердаками торгового люда; шалевые пояса и остроконечные туфли греков — с широченными шароварами казаков и тирольскими шапочками немцев-колонистов. А разнообразие нравов и обычаев! Сохранилось воспоминание, правда, не из числа самых достоверных, о кишиневском житье Пушкина: «Тут в городском саду бывало гулянье, но только до 4-х часов, а вечером гулять было не принято, не так, как теперь — гуляют и ночью. Бывало, и Пушкин тут часто гуляет. Но всякий раз он переодевался в разные костюмы. Вот уже смотришь: Пушкин серб или молдаван, а одежду ему давали знакомые дамы. Издали нельзя и узнать, встретишь — спрашиваешь: «Что это с вами, Александр Сергеевич?» — «А вот я уже молдаван». А они,

молдаване, тогда рясы носили. В другой раз смотришь, уже Пушкин — турок. А когда же гуляет в обыкновенном виде, в шинели, то уже непременно одна пола на плече, другая тянется к земле, это он называл «по-генеральски». Вот другое, записанное воспоминание кишиневцев 1820-х годов, достоверное скорее не биографически, а этнографически: «Раз, помню, на Болгарии — так называлась местность, где теперь Вознесенская церковь, были на пасху игры. Танцевали под волынку местный танец джок. Приезжали смотреть на народ в каретах. Приехал и Пушкин, помню, в феске, обритый». И еще одно: «Разгуливая по городу в праздничные дни, он наткнулся на молдавские хоро-воды и без всякой церемонии присоединился к ним, не стесняясь присутствующими, которые, бывало, нарочно приходили смотреть Пушкина». Трудно отделить здесь воспоминания истинные от мнимых, привнесенных временем, когда Пушкин пользовался все-народной известностью, и мемуаристы «вспомнили», каков он был в Кишиневе. Но общее впечатление разнообразия национальных красок и знакомства поэта с народными обычаями и разноплеменным укладом возникает бесспорное. Оно подтверждается и стихотворным наброском Пушкина:

Теснится средь толпы еврей сребролюбивый.  
Под буркою казак, Кавказа властелин,  
Болтливый грек и турок молчаливый,  
И важный перс, и хитрый армянин

И в письме к А. И. Тургеневу: «В нашей Бессарабии в впечатлениях недостатку нет. Здесь такая каша, что хуже овсяного киселя».

Исследователи разыскали и записали не только уличные рассказы, но и предания, так сказать, интерьерные — от лиц, бывавших с Пушкиным в обществе. «Пушкин был небольшого роста, — записал француз-путешественник. — Его короткие и курчавые волосы окаймляли его лицо, всегда исполненное ума и часто озарявшееся светом гения, но выражение язвительной и дикарской иронии всегда господствовало на нем». Оставив на совести безвестного путешественника его физиогномические выводы, приведем рассказ о

вечернем времяпрепровождении Пушкина: «Он очень остроумно рисовал карикатуры. Каждый вечер, вооружившись мелом (в России принято записывать карты мелом), он обходил карточные столы и на всех углах их чертил с редким совершенством по сходству портреты-шаржи своих партнеров... Для окружавшего его общества это было неиссякаемым источником веселья. Он садился затем за игру, которую оставлял только для того, чтобы, поужинав, снова приняться за нее. Это бывало в 10 часов вечера и продолжалось до утра. Страсть к картам вместе с дуэлями заполняла его жизнь». Последний вывод настолько односторонен, что не требует опровержения. Были и карты, и дуэли, и увлечения кишиневскими покорительницами сердец. Но карты не занимали разума; дуэли, слава богу, обходились без кровопролития (кстати, за всю жизнь Пушкин никого не ранил на дуэли и сам не получил ни царапины — вплоть до рокового дня); увлечения не затрагивали глубин души. Но все это, конечно, впечатления внешние. Что касается вывода исследователей, с которого начата глава — декабристские, революционные влияния как определяющая особенность кишиневского периода — то он остается незыблемым. Особенно много волнений и тревог доставили Пушкину греческие события. Братья Ипсиланти приехали в Кишинев через месяц после Пушкина. Старший, Александр, как уже упоминалось, сражаясь в рядах русской армии, потерял правую руку под Дрезденом и в 1817 г. был произведен в генерал-майоры. Двое других служили адъютантами Н. Н. Раевского, со всей семьей которого — а через нее и с Пушкиным — были достаточно близки. Собрав в Бессарабии греческие повстанческие силы, гетеристы\* 23 февраля 1821 г. переправились через Прут в Валахию и открыли военные действия против турок. Все пишущие об этом справедливо отмечают тесную связь декабристов круга Орлова — Пестеля с греками-патриотами. Записку для императора о положении дел

\* Гетерия, или этерия, по-гречески Союз. Так называли себя борцы против турецкого ига в 1-й четверти XIX в.



в гетерии было поручено составить адъютанту командующего 2-й армией полковнику П. И. Пестелю; именно с этой целью приезжал он в Кишинев в апреле — мае 1821 г. Доклад Пестеля был направлен на то, чтобы со всей осторожностью, но все же побудить Александра I оказать содействие греческим патриотам, ведомым Ипсиланти. Однако позиция этого последнего напугала русские власти. Не мог же в самом деле самодержец всероссийский, все явственнее скатывавшийся в те годы на крайне реакционные позиции, помогать человеку, выпускавшему такие воззвания: «Сражайся за веру в Отечество! Настал час, мужественные эллины. Давно уже европейские народы, сражаясь за свои права и свободу, приглашали нас к подражанию... Итак, к оружию, друзья! Отечество нас призывает!»

Образ «безрукого князя» долго волновал Пушкина. Он даже всерьез собирался отправиться с ним или за ним в восставшую Грецию. «Недавно приехал в Кишинев,— писал он Дельвигу,— и скоро оставляю благословенную Бессарабию— есть страны благословеннее». В первой половине марта 1821 г. было написано обстоятельное письмо (по-видимому, В. Л. Давыдову — точно адресат не установлен) о греческих событиях, которое обнаруживает подход Пушкина ко всей проблеме в целом (№ 10). Как ни мечтал он вернуться в Петербург, но, выражая надежду на русскую поддержку восставших греков, писал С. И. Тургеневу: «если есть надежда на войну, ради Христа, оставьте меня в Бессарабии». Иногда Пушкин, казалось, верил в победу даже больше, чем сами греки. «Ничто еще не было так народно, как дело греков», — говорил он. В бумагах Пушкина остались следы замысла поэмы о греческом восстании:

Поля и горы ночь объемлет,  
В лесу под сению древес  
...Ипс(иланти) дремлет

Сохранилось еще несколько подобных набросков и планов. И в дальнейшем тема восставшей Греции и Ипсиланти не была забыта. Имя героя-генерала мель-

кает и в «Выстреле», и в «Кирджали», и в «Езерском»; в 10-й главе «Онегина» запечатлены кишиневские воспоминания:

Тряслися грозно Пиренеи—  
Волкан Неаполя пылал.  
Безрукий князь друзьям Мореи\*  
Из Кишинева уж мигал.

На полях рукописи первоначальных набросков «Братьев-разбойников» — головной портрет Александра Ипсиланти. На другой рукописи 1821 г. — характерные фигуры гетеристов.

Историки спорят о степени осведомленности южных декабристов, и в частности М. Ф. Орлова, о планах греческих повстанцев. Крайняя точка зрения даже предполагает, что Орлов собирался самостоятельно выступить с войсками к ним на помощь. Но все исследователи сходятся на том, что между российским дворянским революционным движением, приведшим к 14 декабря, и национально-освободительным восстанием за свободу Греции существовала тесная связь. Пушкин остро чувствовал это в «орловщине», как называли иногда 16-ю дивизию. Много было у поэта важных разговоров, впечатлений и встреч. Остановимся подробнее на одной, может быть, самой важной.

### «НЕ СКОРО ЖЕ МЫ УВИДИМ ЭТОГО СПАРТАНЦА»

В 9 часов вечера 5 февраля 1822 г. Пушкин постучался в дверь кишиневской квартиры майора Владимира Федосеевича Раевского. Об этом вечернем визите существуют точные в деталях воспоминания Раевского:

«Здравствуй, душа моя! — сказал Пушкин весьма торопливо и изменившимся голосом.

— Здравствуй, что нового?

— Новости есть, но дурные, вот почему я прибежал к тебе.

\* Южная Греция.

— Доброго я ничего ожидать не могу после бесчеловечных пыток Сабанеева\*. Но что такое?

— Вот что,— продолжал Пушкин,— Сабанеев уехал от генерала\*\*; дело шло о тебе. Я не охотник подслушивать, но слыша твое имя, часто повторяемое, признаюсь, согрешил, приложил ухо. Сабанеев утверждал, что тебя надо непременно арестовать, наш Инзушко, ты знаешь, как он тебя любит,— отстаивал тебя горячо. Долго еще продолжался разговор, я многого не дослышал, но из последних слов Сабанеева ясно уразумел: ничего нельзя открыть, пока ты не арестован.

— Спасибо,— сказал я Пушкину,— я это почти ожидал, но арестовать штаб-офицера по одним подозрениям отзывается турецкой расправою; впрочем, что будет— то будет...»

Благодаря Пушкину Раевский успел уничтожить бумаги, которые, попади они в руки властям, могли бы дать им сведения о многих тульчинских и кишиневских декабристах и существенным образом изменить их планы и судьбу движения. Гибель скольких людей предотвратил тогда Пушкин, даже трудно сосчитать. Это один из сильных аргументов в пользу той точки зрения, что Пушкин хотя и не принадлежал формально к тайным обществам, но по своим убеждениям, речам и, как видим, даже действиям тесно смыкался с ними. Во всяком случае, в Кишиневе это было так. Может быть, с известной долей преувеличения П. Е. Щеголев, первым открывший Раевского для читателя-пушкиниста, писал: «Среди массы кишиневских приятелей, приятных и веселых собутыльников, просто знакомых Раевский был одним из немногих людей, которых поэт дарил своей дружбой, и единственным человеком, который был достоин этой дружбы».

Однако кто же таков Владимир Федосеевич Раевский (генералу— не родственник) и почему стал он первой жертвой царских ищеек еще в 1822 г.? За что была ему уготована судьба узника одиночной камеры

---

\* Командир 6-го корпуса, куда входила 16-я дивизия Орлова, ярый враг передового офицерства— будущих декабристов.

\*\* И. Н. Инзова, в доме которого жил Пушкин.

(почти шесть лет) и сибирского ссыльного — фактически всю оставшуюся жизнь? Почему в официальных документах характеризовался он как «первый вольнодумец в армии и разрушитель дисциплины, известный начальству вольнодумством совершенно необузданным»?

Родился Владимир Федосеевич в 1795 г. в семье помещика среднего достатка в Курской губернии. Учился он с 1803 по 1811 г. в Московском университетском благородном пансионе, где у них с Пушкиным было немало общих знакомых. Достаточно сказать, что соучениками его оказались Николай Иванович Тургенев и Александр Сергеевич Грибоедов. В 1827 г. перед вынесением Раевскому окончательного приговора великий князь Михаил Павлович спросил его: «Где вы учились?» — «В Московском университетском благородном пансионе», — ответил обвиняемый. — «Вот, что я говорил, — явно обрадовался брат царя, — эти университеты, пансионы...» «Ваше высочество, — возразил тогда Раевский, — Пугачев не учился ни в пансионе, ни в университете». Он хорошо знал, что для царской фамилии Пугачев еще страшнее, чем Пестель и Рылеев. Из пансиона перешел в Дворянский полк при кадетском корпусе, откуда был выпущен в армию как раз накануне войны 1812 года. Его товарищ по полку, будущий узник-декабрист Г. С. Батеньков вспоминал о тех временах: «С ним проводили мы целые вечера в патриотических мечтаниях, ибо приближалась страшная эпоха 1812 года. Мы развивали друг другу свободные идеи и желания наши, так сказать, поощрялись ненавистью к фронтовой службе. С ним в первый раз осмелился я говорить о царе яко о человеке, и осуждать поступки с нами цесаревича... Идя на войну, мы расстались друзьями и обещали сойтись, дабы в то время, когда возмужаем, стараться привести идеи наши в действие». Сражения под Бородином, Спасским, Гремячем и многие другие ждали Владимира Федосеевича Раевского. После Бородине получил он золотую шпагу за храбрость, за Вязьму — чин подпоручика; 21 апреля 1813 г. стал за многие отличия поручиком, а 21 ноября 1814 г. — закончил войну в польских землях. С юности и до

глубокой старости Раевский писал стихи (это, конечно, тоже потом сблизило его с сосланным в Кишинев поэтом):

Не блеск пустых речей,  
 Не славы шаткой сила,  
 Не милости царей,  
 Не злато богачей—  
 Их ранняя могила  
 Во мраке погребет...  
 Нет, к счастью ведет  
 Путь чести благородной,  
 Где ум души свободной,  
 Где совести покой  
 Упрекам неподвластен,  
 С рассудком и душой  
 И с честью согласен!

«С честью согласен» и с совестью в ладу Раевский был всю жизнь, за что и поплатился жестоко и несправедливо. Он сразу же заметил глубокую пропасть между идеями патриотизма и свободолюбия, вынесенными лучшими русскими офицерами из Отечественной войны и заграничных походов, и тем мрачным режимом реакции, который в армии называли «аракчеевским духом». «Армия, избалованная победами и славою,—писал он,—вместо обещанных наград и льгот, подчинилась неслыханному угнетению (...) забивали солдат под палками; крепостной гнет крестьян продолжался, боевых офицеров выгоняли со службы (...) усиленное взыскание недоимок, увеличившихся войною, строгость цензуры, новые наборы рекрутов и проч. и проч. производили глухой ропот... Власть Аракчеева, ссылка Сперанского, неуважение знаменитых генералов сильно тревожили, волновали людей, которые ожидали обновления, улучшения, благоденствия, исцеления ран своего отечества... И вот причины, которые заставили нас высказаться так решительно и безбоязненно: дело шло о будущем России, об оживлении, спасении в настоящем».

Все помнят знаменитую пушкинскую эпиграмму на Аракчеева — одно из самых ненавистных властям и самых опасных для автора произведений:

Всей России притеснитель,  
 Губернаторов мучитель  
 И Совета он учитель,  
 А царю он — друг и брат.

Полон злобы, полон мести,  
 Без ума, без чувств, без чести,  
 Кто ж он? Преданный без лести.  
 .....грошевой солдат.

Легко увидеть смысловое совпадение (при всем литературном неравенстве) написанных примерно в одно и то же время стихов Пушкина и Раевского об Аракчееве:

Куда погибель, смерть и страх  
 Несешь по трупам искаженным?  
 Вельможа, друг царя надежный,  
 Личиной истины прямой  
 Покрыл порок корысти злой  
 И ухищренья дух мятежный

Уже в 1816 г. в Каменец-Подольске Раевский был членом тайного офицерского кружка; с конца 1818 г. он служил в 32-м егерском полку в Бессарабии, и в 1820 г. в Тульчине его приняли в Союз благоденствия. «В Тульчине находилась главная квартира 2-й армии,— рассказывал Раевский,— у меня было много знакомых, товарищей по университетскому благородному пансиону. В главной квартире было шумно, боевые офицеры еще служили... Аракчеев не успел еще придавить или задушить привычных гуманных и свободных митингов офицерских. Насмешки, толки, желанья и надежды не считались подозрительными и опасными».

Главной заботой Раевского в армии было просвещение солдат. В то время М. Ф. Орлов ввел в дивизии школы для нижних чинов по методу взаимного обучения (так называемые ланкастерские школы) и начальником этих школ 3 августа 1821 г. назначил майора Раевского. Владимир Федосеевич горячо верил в целебную духовную силу новой просветительской системы: «Если изобретение книгопечатания произвело в Европе такую великую революцию, только размножив распространение мыслей, то какой же революции следует ждать от распространения учебного метода, который стремится до бесконечности расширить круг мыслящих людей». Даже, в прописи, по которым Раевский обучал солдат грамоте, он включил имена тираноборцев, революционеров и республиканцев (например, Брута и Джорджа Вашингтона). Рас-

сказывал на уроках истории нижним чинам о бушевавших тогда европейских революциях. Однажды он привел такой короткий эпизод: «Квирога, будучи полковником, сделал в Мадриде революцию, и, когда въезжал в город, самые значительные дамы и весь народ вышли к нему навстречу и бросали цветы к ногам его». Заметим, что и Пушкин обращался к одному из кишиневских вольнодумцев (генералу П. С. Пуцину) со стихами:

В дыму, в крови, сквозь тучи стрел  
Теперь твоя дорога;  
Но ты предвидишь свой удел,  
Грядущий наш Квирога!

Сослуживец Раевского вспоминает о его трудах в те годы: «В начале 1821 г. произведен капитан Раевский в майоры на 25-м году от рождения и вместе с производством генерал Орлов поручил ему привести в действие ланкастерскую солдатскую и юнкерскую школы, основанные с большими задержками при дивизионной квартире. Доверенность столь отличного генерала, как Орлов, еще более как бы наэлектризовала деятельность и живые способности Раевского; скоро заслужил он полную доверенность и дружеское расположение генерала. Презренные люди смотрели с завистью, благородные с удовольствием на эту доверенность, тем более что характер Раевского был известен как правотою, так и дерзкою решимостию». В самом деле дерзкую решимость надо было иметь, чтобы вставлять в диктовки солдатам слова «самовластие, воля, свобода, конституция, равенство»; чтобы рассказывать о республике древнего Новгорода; чтобы объяснять: войны с иноземцами выигрывали не цари русские, а полководцы — Румянцев, Кутузов; чтобы рассуждать о рабстве и деспотизме. Раевский даже подготовил к чтению на занятии сатиру К. Ф. Рыльева «К временщику», но прочесть ее не успел — помешал арест. Ставя в пример своим слушателям восставших солдат Семеновского полка, Раевский говорил: «Вот, ребята, как должно защищать свою честь, и если кто вас будет наказывать, то выйдите 10 человек вперед и уничтожьте одного, спасете 200». Между тем подозрительная 16-я дивизия Орлова по приказу корпусного и армейского начальства была наводнена агентами и провокаторами. Они не даром ели хлеб: доносы так и

сыпались. В одном из них сообщалось: «В ланкастерской школе говорят, что кроме грамоты учат и толкуют о каком-то просвещении». В заключении последней, четвертой по счету, военно-судной комиссии по делу Раевского так оцениваются его цели и поступки: «Рассматривая и объясняя удачные действия революционеров, он, кажется, имел целию приготовить их (солдат) быть подражателями сих же преступных примеров. Предпочитая лучшим конституционное правление и разумея о нашем монархическом правлении как об управляемом деспотизмом, ясно обнаружил готовность содействовать к ниспровержению оного». В косноязычном документе в общем верно уловлено настроение майора Раевского. «Гражданин!—призывал он,—тут не слабые меры нужны, но решительность и внезапный удар». А на одном из своих четырех судилищ он говорил: «Если патриотизм преступление, я—преступник! Пусть члены суда подпишут мне самый ужасный приговор—я подпишу приговор, под именем патриотизма подразумеваю любовь к своему отечеству, основанную на своих обязанностях».

В домах Орлова и Липранди Раевский вел нескончаемые споры с Пушкиным. «Здесь не было карт и танцев,—вспоминал Липранди,—а шла иногда очень шумная беседа и всегда о чем-либо дельном, в особенности у Пушкина с Раевским, и этот последний, по моему мнению, очень способствовал к подстреканию Пушкина заняться положительно историей и в особенности географией. Я тем более убеждаюсь в этом, что Пушкин неоднократно после таких споров на другой или на третий день брал у меня книги, касавшиеся до предмета, о котором шла речь. Это иногда доходило до смешного, так, например, один раз как-то Пушкин ошибся и указал местность в одном из европейских государств не так. Раевский кликнул своего человека и приказал ему показать на висевшей на стене карте пункт, о котором шла речь, человек тотчас же исполнил. Пушкин смеялся более других, но на другой день взял Мальтебрюна\*. Пушкин, как вспыльчив ни был, но часто выслушивал от Раевского

\* К. Мальтебрюн (1775—1826)—географ и публицист, автор ряда трудов.



под веселую руку обоих довольно резкие выражения — и далеко не обижался, а напротив, казалось, искал выслушивать бойкую речь Раевского. В одном, сколько я помню, Пушкин не соглашался с Раевским, когда этот утверждал, что в русской литературе не должно приводить имена ни из мифологии, ни исторических лиц Древней Греции и Рима, — что у нас и то и другое есть свое и т. п.» Раевский в самом деле доходил до крайности в пристрастии к отечественным преданиям и истории, хотя, между прочим, как явствует из его занятий с солдатами, мог помянуть иной раз Брута или Кассия. Разумеется, собеседники более всего касались предметов общественных — они даже сочинили вдвоем памфлетную песню о новом Мальбруке, собравшемся в поход, да только она не сохранилась. «Раевский начал, — рассказывает Липранди, — можно сказать, дал только тему, которую стали развивать все тут бывшие, и Пушкин, которому хотя личности, долженствовавшие войти в эту переделку, и не были известны, а не менее того, он давал толчок, будучи как-то в особенно веселом расположении духа». Потом песня о новом Мальбруке фигурировала на суде Раевского в качестве одного из доказательств вины. Само отношение к спорам с Раевским весьма характерно для Пушкина, умевшего уважать знающих и остро мыслящих людей. Будь на месте Раевского кто-нибудь другой, ему бы не миновать дуэли за эпизод со слугой у географической карты.

Однако, как видно, не обходили спорщики и литературы. В судебных делах Раевского остался беллетристический отрывок, названный «Вечер в Кишиневе». Вся эта рукопись представляет собою спор некоего майора Р. с молодым человеком, обозначенным литерой Е., о раннем лицейском стихотворении Пушкина «Наполеон на Эльбе». Дело в том, что в антологии «Собрание образцовых сочинений и переводов в стихах», вышедшей в свет в самом начале 1822 г., это стихотворение было перепечатано. Майор Р., в котором трудно не узнать Раевского, спорит со своим собеседником. Вот как это выглядит:

Е. ...Послушай стихи. Они в духе твоего фаворита Шиллера.

Майор.— Ну, что за стихи?

Е. «Наполеон на Эльбе». В «Образцовых сочинениях...»

Майор. Если об Наполеоне, то я и в стихах буду слушать от нечего делать.

Е. *(начинает читать)*.

Вечерняя заря в пучине догорала,  
Над мрачной Эльбою носилась тишина,  
Сквозь тучи бледные тихонько пробегала  
Туманная луна;

Майор.— Не бледная ли луна сквозь тучи или туман?

Е.— Это новый оборот. У тебя нет вкуса. Слушай:

Уже на западе седой, одетый мглою,  
С равниной синих вод сливался небосклон.  
Один во тьме ночной над дикою скалою

Сидел Наполеон.

Майор.— Не ослышался ли я, повтори.

Е.— *(Повторяет)*.

Майор.— Ну, любезный, высоко ж взмостился Наполеон! На скале сидеть можно, но над скалою... Слишком странная фигура!

Е.— Ты несносен *(читает)*.

Он новую в мечтах Европе цепь ковал  
И, к дальним берегам возведши взор угрюмый,  
Свирепо прошептал:

«Вокруг меня всё мертвым сном почило,  
Легла в туман пучина бурных волн...»

Майор.— Ночью смотреть на другой берег! Шептать свирепо! *Ложится в туман* пучина волн. Это хаос букв! А грамматики вовсе нет! В настоящем времени и настоящее действие не говорится в прошедшем. *Почило* тут весьма неудачно.

Е.— ...Я перестану читать.

Майор.— Читай, читай!

Е.— *(читает)*

Я здесь один, мятежной думы полн...  
О, скоро ли, напелясь под рулями,  
Меня помчит покорная волна

Майор.— Видно, господин певец никогда не ездил по морю — волна не пенится под рулем — под носом.

Е.— *(читает)*

И спящих вод прервется тишина?  
Волнуйся, ночь, над эльбскими скалами!

М а й о р.— Повтори... Ну, любезный друг, ты хорошо читаешь, он хорошо пишет, но я слышать не могу. На Эльбе ни одной скалы нет!

Е.— Да это поэзия!

М а й о р.— Не у места, если б я сказал, что волны бурного моря плескаются о стены Кремля, или Везувий пламя извергает на Тверской! может быть, ирокезец стал слушать и ужасаться— а жители Москвы вспомнили бы «Лапландские жары и африканские снега». Уволь! Уволь, любезный друг».

Вот и весь сохранившийся в бумагах Раевского отрывок. После этого легче представить себе многочасовые споры Пушкина с Раевским о русской истории и русском стихе. В. П. Горчаков в своих воспоминаниях называет Раевского «большим юристом-грамматиком и географом», который, «владея сам стихом и поэтическими способностями, не мог подарить Пушкину ни одного ошибочного слова, хотя бы то наскоро сказанного, или почти неуловимого неправильного ударения в слове». В мемуарах Липранди «схвачен» момент еще одной острой дискуссии: «Помню очень хорошо между Пушкиным и В. Ф. Раевским горячий спор (как между ними другого и быть не могло) по поводу «режь меня, жги меня»; но не могу положительно сказать, кто из них утверждал, что *жги* принадлежит русской песне и что вместо *режь* слово *говори* имеет в пытке то же значение». Что же касается Наполеона, то после известия о его смерти (15 мая 1821 г.) Пушкин написал иное стихотворение, не только несравненно более совершенное по форме, но переосмысливающее роль французского императора — в определенной степени под влиянием Раевского. Дело, конечно, не в мелочных придирках к раннему лицейскому стихотворению, а в том, что Пушкин высоко ценил острый ум и компетентные суждения своего собеседника.

Вернемся теперь к 5 февраля 1822 г., когда Пушкин счастливо предупредил Раевского о неминуемом аресте. Вечер Раевский и Пушкин провели у майора Павла Липранди и расстались за полночь. Раевский в своих воспоминаниях рассказывает о том, что происходило с ним 6 февраля. «Возвратясь домой,

я лег и уснул спокойно. Я встал рано поутру, приказал затопить печь. Перебрал наскоро все свои бумаги и все, что нашел излишним, сжег (...) Двух часов не прошло, как дрожки остановились у моих дверей. Я не успел взглянуть в окно, а адъютант генерала Сабанеева, гвардии подполковник Радич был уже в моей комнате.

— Генерал просит вас к себе,— сказал он мне вместо доброго утра.

— Хорошо, я буду!

— Но, может быть, у вас дрожек нету, он прислал дрожки.

— Очень хорошо, я оденусь.

Я приказал подать трубку и позвал человека одеваться. Разговаривать с адъютантом о генерале было бы неуместно, хотя Радич был человек простой и добросовестный. Я оделся, сел вместе с ним в дрожки и поехал.

Этот роковой час 12-й решил участь всей остальной жизни моей. Мне был 27-й год. До сих пор жизнь моя, несмотря на ее превратности, шла если не спокойно, то по крайней мере согласно с моими склонностями и желаниями. Всегда в обществе вышних начальников, я привык понимать их. Война научила меня знать ничтожество людей, которым нередко вверена власть (...) Новые идеи, Европа в сильном политическом пароксизме, все содействовало чтобы освежить голову, подвести все страсти, понятия мои, убеждения мои к одному знаменателю».

8 февраля генерал Сабанеев доносил командующему армией: «Из дошедших ко мне сведений и показаний некоторых лиц 32-го Егерского полка майор Раевский был главной пружиной, ослабившей дисциплину по 16-й дивизии. Дабы положить преграду распространяемой Раевским заразы, я счел необходимым его арестовать и прекратить с ним всякое сношение; сверх того надеясь найти... употребляемые им в ланкастерской школе прописи, отобрал все находящиеся при нем бумаги, по рассмотрении коих буду иметь честь подробно донести вашему сиятельству. При сем полагаю долгом присовокупить, что поведение Раевского требует строжайшего исследования, а настоящее положение 16-й дивизии строгих и

деятельных мер, ведущих к восстановлению должного устройства и дисциплины.

Майор Раевский находится ныне под надзором в Кишиневе, но я бы полагал нужным перевести его в Тирасполь, на что ожидаю повеления вашего сиятельства».

К этому рапорту была приложена объяснительная записка: «Майор Раевский, командуя 9-ю ротой 32-го Егерского полка, внушал нижним чинам, что они ему не что иное как друзья и товарищи, и что если бы он забылся и в горячности своей сказал грубое слово, то имеют они право его схватить, связать и отвести к дивизионному командиру; словом, внушения его имели целью совершенное ослабление повиновения. Поцелуи, ласковые слова и тому подобные убеждения были те средства, посредством коих думал он успеть в злом намерении своем».

Вскоре после ареста майору предложили купить свободу ценой предательства. «Когда производилось надо мною следствие,—рассказывал Раевский,—ко мне приезжал начальник штаба 2-й армии генерал Киселев. Он объявил мне, что государь император приказал возвратить мне шпагу, если я открою, какое тайное общество существует в России под названием Союза Благоденствия. Естественно, я отвечал ему, что ничего не знаю, но если бы и знал, то самое предложение Вашего превосходительства так оскорбительно, что не решил бы открывать. Вы предлагаете мне шпагу за предательство». Между тем генерал Киселев действовал в точном соответствии с приказаниями из Петербурга: дело Раевского хотели использовать как нить, потянув за которую удастся распутать клубок заговора. Но, как говорил потом Раевский, «тайна оставалась тайной, и только 14 декабря 1825 г. она объяснилась на Сенатской площади». 31 июля 1822 г. Александр I высочайше повелеть соизволил: «Майора Раевского предать суду с тем, чтобы он был наряжен в 6-м корпусе в г. Тирасполе под наблюдением самого генерала Сабанеева... При рассмотрении сего дела обязан Аудиториат (военный суд.— В. К.), следуя правилам строгой ревизии, обратить особенное внимание не только на противозаконные действия самого подсудимого майора Раевского, но на всех прикосно-

венных лиц, более или менее причастных поступкам подсудимого. Равномерно рассмотреть общее с делом Раевского и следствие о поступках бывшего командира 16-й пехотной дивизии генерал-майора Орлова, как имеющих по некоторым пунктам связь с этим делом». «Надо было видеть, — пишет сослуживец арестованного, — с какою твердостью все время боролся Раевский против своего утеснителя (Сабанеева), против комиссии и ложных свидетелей. Нет, один он только может сообразить дело и рассказать все несправедливости, ибо посторонний так чувствовать не может, как тот, кого приносили в жертву политическим видам и развращенному мнению сатрапа». «Злодейство» было налицо, и царские ищeyки, взяв след, уже не выпустили Раевского до 1856 года!

Указание о переводе в Тирасполь было дано тотчас же. Четыре года провел Владимир Федосеевич в Тираспольской крепости в яростной борьбе со своими обвинителями. В декабре 1825 г. Пестель хотел, начав восстание, военною силой освободить Раевского, но это намерение не осуществилось. Раевский стал первым декабристом и под этим именем вошел в историю отечества.

\* \* \*

В Тираспольской крепости не имевший связи с внешним миром Раевский ухитрялся через охранявших его солдат и слугу, которого к нему допускали, узнавать о ходе следствия по своему делу. Лишенный пера и чернил, он тайно добывал их и писал стихи. Уверенный, что на свободу ему не выйти; что предстоит в далекой Сибири «влачить жизнь» «в жилище тунгуса иль бурята» (предсказание сбылось — с той только разницей, что он не влачил жизнь, а был деятелен и бодр в ссылке), Раевский как бы передавал в стихах завет свободному поэту — Пушкину. Он писал:

Сковала грудь мою, как лед,  
Уже темничная зараза.  
Холодный узник отдает  
Тебе сей лавр, Певец Кавказа!

.....  
Воспой простые предков нравы,  
Отчизны нашей век златой,

Природы дикой и святой  
 И прав естественных уставы.  
 Быть может, смелый голос твой  
 Дойдет до Кесаря молвою,  
 Быть может, с кротостью святою  
 Он бросит не суровый взор  
 На мой ужасный приговор  
 И примирит меня с судьбою.  
 Быть может, кончен жребий мой...

Через несколько лет Раевский вернулся к этому посланию, обращенному к Пушкину, и дописал такие строки:

Оставь другим певцам любовь!  
 Любовь ли петь, где брызжет кровь,  
 Где племя чуждое с улыбкой  
 Терзает нас кровавой пыткой,  
 Где слово, мысль, невольный взор  
 Влекут, как ясный заговор,  
 Как преступление на плаху,  
 И где народ, подвластный страху,  
 Не смеет шепотом роптать...

Здесь в поэтической концентрации высказаны любимейшие мысли Раевского: о гражданственности поэзии; о поддержке народа в борьбе против его угнетателей; близкая Рылееву идея о малозначительности любовной лирики в сравнении с гражданской («любовь ли петь, где брызжет кровь»)\*, очень важное для Раевского увлечение примерами и образами из отечественной истории («воспой простые предков нравы»). Если первый призыв тщетно было обращать к Пушкину, умевшему, как никто в русской поэзии, и в одном, и в разных произведениях сплачивать гражданские и личные мотивы, не противопоставляя их, то второй — о русских предках — был услышан и воплощен в жизнь. Исследователи пушкинского творчества видят ответ на обращение Раевского и в «Песне о

\* Сохранился прозаический набросок В. Ф. Раевского на ту же тему: «Любовь есть страсть минутная, влекущая за собой раскаяние. Но патриотизм как светильник жизни гражданской, сия таинственная сила управляет мною. Могу ли видеть порабощение народа, моих сограждан, печальные ризы сынов отечества, всеобщий ропот, боязнь и слезы слабых, бурное негодование и жесточные сильных, и не сострадать им?»

вещем Олеге», и в набросках поэмы «Вадим», и в замыслах произведения о Мстиславе, и даже в самом первом плане «Сказки о царе Салтане». С личной же судьбою Раевского, вполне вероятно, связано стихотворение «Узник». Но был и прямой поэтический ответ Пушкина на тюремное послание Раевского. Черновой текст его исключительным чутьем и упорным трудом пушкиниста М.А.Цявловского\* «проявлен» из-под зачеркнутых строк. После неоконченного наброска:

Не даром ты ко мне воззвал  
Из глубины глухой темницы,

Пушкин написал:

Не тем горжусь я, мой певец,  
Что привлекать умел стихами  
Вниманье пламенных сердец,  
Играя смехом и слезами,

Не тем горжусь, что иногда  
Мои коварные напевы  
Смирjali в мыслях юной девы  
Волнение страха и стыда,

Не тем, что у столба сатиры  
Разврат и злобу я казнил,  
И что грозящий голос лиры  
Неправду в ужас приводил,

Что непреклонным вдохновеньем  
И бурной юностью моей,  
и страстью воли, и гоненьем  
Я стал известен меж людей,—

Иная, высшая награда  
Была мне роком суждена —  
Самолюбивых дум отрада!  
Мечтанья суетного сна!..

М.А.Цявловский видит в последних двух строках упование Пушкина на бессмертие поэта в потомстве. Но, как бы то ни было, замечательное стихотворение не закончено, и о какой *высшей* награде говорил поэт, до конца не ясно.

Однако на этом поэтическая переключка Раевского и Пушкина не закончилась. Общий приятель их

\* См. библиографический список в примечаниях к 6-й гл.



И. П. Липранди вспоминал: «Около половины 1822 года (т. е. в июле.— В. К.) возвращаясь из Одессы, я остановился ночевать в Тирасполе у брата, тогда адъютанта Сабанеева. Раевский был арестован в Кишиневе на другой день после моего выезда в Херсон, Киев, Петербург, Москву и заключен в Тираспольскую крепость. Мне хотелось с ним видиться, тем более, что он и сам просил брата моего, что когда я буду проезжать, то чтобы как-нибудь доставить ему эту возможность. Брат советовал просить мне позволения у самого Сабанеева, который близко знал меня со Шведской войны, и отказа, может быть, и не было бы; но я, зная, как Раевский дерзко отделился в лицо Сабанеева на одном из допросов в Следственной комиссии, не хотел отнестись лично, прежде, нежели не попытаю сделать это через коменданта крепости, с которым я был хорошо знаком, а потому тотчас отправился в крепость. Раевский был уже переведен из каземата на гауптвахту, в особенную комнату, с строгим повелением никого к нему не допускать. Тайно сделать этого было нельзя, и комендант предложил мне, что так как разрешалось отпускать Раевского с унтер-офицером гулять по гласису (крепость весьма тесная), то, чтобы я сказал, в котором часу завтра поеду, то он через час, когда будет заря, передаст Раевскому, и он выйдет на то место, где дорога идет около самого гласиса. Я назвал час и на другой день застал Раевского с унтер-офицером, ему преданным\*, сидящим в назначенном месте. Я вышел из экипажа и провел с ним полчаса, опасаясь оставаться долее. Он дал мне пиесу в стихах, довольно длинную под заглавием «Певец в темнице» и поручил сказать Пушкину, что он пишет ему длинное послание, которое впоследствии я и передал Пушкину, когда он был уже в Одессе». «Длинное послание» до нас не дошло. Зато, к счастью, уцелели и «Певец в темнице» и ответные стихи Пушкина (надо только иметь в виду, что Пушкин, вполне вероятно, отвечал и на неведомое нам послание). Итак, это был последний заочный

\* Раевского любили и жалели охранявшие его солдаты и унтер-офицеры. Один из них переписывал и давал переписывать другим тюремные его стихотворения, повторяя: «это надобно знать всем».

диалог Раевского и Пушкина. Раевский в «Певце в темнице» говорит о самом себе, но обращается он к Пушкину:

О мира черного жилец!  
 Сочти все прошлые минуты,  
 Быть может, близок твой конец  
 И перелом судьбины лютой!  
 Ты знал ли радость?— светлый мир —  
 Души награду непорочной?  
 Что составляло твой кумир —  
 Добро иль гул хвалы непрочной?

\* \* \*

Мой век как тусклый метеор,  
 Сверкнул в полночи незримый.  
 И первый вопль, как приговор,  
 Мне был судьбы непримиримой.  
 Я неги не любил душой,  
 Не знал любви, как страсти нежной,  
 Не знал друзей, и разум мой  
 Встревожен мыслию мятежной.  
 Забавы детства презирал,  
 И я летел к известной цели,  
 Мечты мечтами истреблял,  
 Не зная мира и веселий.  
 Под тучей черной грозовой,  
 Под бурным вихрем истребленья,  
 Средь черни грубой, боевой,  
 Средь буйных капиц развращенья  
 Познал я жизни первый плод,  
 И там с каким-то черным чувством  
 Привык смотреть на смертный род,  
 Обезображенный искусством.  
 Как истукан, немой народ  
 Под игом дремлет в тайном страхе;  
 Над ним бичей кровавый род  
 И мысль и взор казнит на плахе

\* \* \*

К моей отчизне устремил  
 Я, общим злом пресытись, взоры,  
 С предчувством мрачным спросил  
 Сибирь, подземные затворы  
 И книгу Клии\* открывал,  
 Дыща к земле родной любовью;  
 Но хладный пот меня обьял —  
 Листы залиты были кровью!..

\* Муза истории.

Липранди продолжает воспоминания: «Дня через два по моем возвращении в Кишинев, Александр Сергеевич зашел ко мне вечером и очень много расспрашивал о Раевском с видимым участием. Начав читать «Певца в темнице», он заметил, что Раевский упорно хочет брать все из русской истории (...) и вдруг остановился. «Как это хорошо, как это сильно, мысль эта мне нигде не встречалась; она давно вертелась в моей голове; но это не в моем роде, это в роде Тираспольской крепости, а хорошо» и пр. Он продолжал читать, но, видимо, более серьезно. На вопрос мой, что ему так понравилось, он отвечал, чтобы я подождал (...) Никто не изображал еще так сильно тирана:

И мысль, и взор — казнит на плахе

Хорошо выражение и о династии: «Бичей кровавый род», — присовокупил он и прибавил, вздохнув: «После таких стихов не скоро мы увидим этого Спартанца». Так Александр Сергеевич иногда и прежде называл Раевского, а этот его — Овидиевым племянником».

Позже Пушкин ответил Раевскому — в сущности, по пунктам, если прочитать внимательно. Отрицанию в стихах Раевского («Я неги не любил...»; «не знал любви...»; «не знал друзей») у Пушкина противопоставлено утверждение. Однако «мрачный опыт» привел его к горьким разочарованиям и даже к согласию с певцом, заточенным в темницу:

Ты прав, мой друг, — напрасно я презрел  
Дары природы благосклонной.  
Я знал досуг, беспечный муз удел,  
И наслажденья лени сонной,

Красы Лаис, заветные пиры,  
И клики радости безумной,  
И мирных муз минутные дары,  
И лепетанье славы шумной.

Я дружбу знал — и жизни молодой  
Ей отдал ветреные годы,  
И верил ей за чашей круговой  
В часы веселий и свободы;

Я знал любовь, не мрачною тоской,  
Не безнадежным заблуждением,  
Я знал любовь прелестною мечтой,  
Очарованьем, упоеньем.

Младых бесед оставя блеск и шум,  
 Я знал и труд и вдохновенье,  
 И сладостно мне было жарких дум  
 Уединенное волненье.

Но все прошло!—остыла в сердце кровь,  
 В их нагоде я ныне вижу  
 И свет, и жизнь, и дружбу, и любовь,  
 И мрачный опыт ненавижу.

Свою печать утратил резвый нрав,  
 Душа час от часу немеет;  
 В ней чувств уж нет. Так легкий лист дубрав  
 В ключах кавказских каменеет.

Разоблачив пленительный кумир,  
 Я вижу призрак безобразный.  
 Но что ж теперь тревожит хладный мир  
 Души бесчувственной и праздной?

Ужели он казался прежде мне  
 Столь величавым и прекрасным,  
 Ужели в сей позорной глубине  
 Я наслаждался сердцем ясным!

Что ж видел в нем безумец молодой,  
 Чего искал, к чему стремился,  
 Кого ж, кого возвышенной душой  
 Боготворить не постыдился?

Я говорил пред хладною толпой  
 Языком Истины свободной,  
 Но для толпы ничтожной и глухой  
 Смешон глас сердца благородный.

Везде ярем, секира иль венец,  
 Везде злодей иль малодушный,  
 Тиран . . . . . льстец,  
 Иль предрассудков раб послушный.

Перечитывая это пронзительно откровенное, горькое и чуть ли не самое автобиографичное в то время стихотворение Пушкина, не будем забывать, что оно представляет собою ответ узнику Тираспольской тюрьмы Владимиру Раевскому. Мотив разочарования в светлых идеалах, как бы продолжение ответа Раевскому некоторые пушкинисты видят в знаменитейшем «Свободы сеятель пустынный» (гл. 7, № 1). В последней, незавершенной строфе в самом деле уже явно слышны мотивы будущего «Сеятеля...». Конечно, эти философские стихи шире всякого конкретного пово-

да, но все же вспомним: первым пострадавшим за идеи свободолюбия в Петербурге в преддекабристское время, первым и одиноким, как казалось, сеятелем свободы был Александр Пушкин; первым в таком же положении на юге стал Владимир Раевский.

\* \* \*

Пушкин и Раевский более никогда не увиделись. В ноябре 1822 г., как предполагают некоторые пушкинисты, поэт побывал в Тульчине со специальной целью — хлопотать за Раевского или, по крайней мере, разузнать о его деле. В 1824 г. генерал Сабанеев предлагал Пушкину, заезжавшему в Тирасполь, устроить встречу с Раевским. Но поэт понимал, чем это грозит Раевскому и чем может обернуться для него самого, и на такое свидание не решился. «Пушкин будто бы был несколько озадачен моим вопросом,— рассказывал Липранди,— и стал оправдываться тем, что он спешил, и кончил полным признанием, что в его положении ему нельзя было воспользоваться этим предложением...». Когда 11 января 1825 г. в Михайловское к Пушкину приехал И. И. Пущин, друзья вспомнили Раевского. «Незаметно коснулись опять подозрений насчет общества,— вспоминал Пущин.— Когда я ему сказал, что не я один поступил в это новое служение отечеству, он вскочил со стула и вскрикнул; «Верно, все это в связи с майором Раевским, которого пятый год держат в Тираспольской крепости и ничего не могут выпытать». Узнав о декабрьском восстании 1825 г., Пушкин в письме к Жуковскому перечислил свои связи с заговорщиками. Первая фраза в этом перечне: «Я был дружен с майором Раевским»...

Судьба Владимира Федосеевича сложилась трагически. Все ее перипетии теперь уже раскрыты исследователями. Первый декабрист вызволен из забвения. Сообщим читателям краткие сведения о дальнейшем его пути. Пять лет просидел он в одиночке — сначала в Тирасполе, потом в Петропавловской крепости, где разбирали его связи с южными декабристами, затем в крепости Замошь близ Варшавы. Самые различные предлагались приговоры судившими его четырьмя

коллегиями и тремя специальными комиссиями — от смертной казни до ссылки на покаяние в Соловецкий монастырь. Предложенное ему покаяние Раевский отверг, предпочтя новое расследование. В конце концов последняя комиссия во главе с великим князем Михаилом Павловичем решила: хоть и заслуживает он смертной казни, но довольно будет лишить его дворянского звания, чинов и орденов и сослать на поселение в Иркутскую губернию навечно. Местом ссылки было избрано село Олонки, где прожил Раевский без малого 45 лет. Он женился на местной крестьянке, родившей ему восьмерых детей. Обращаясь к одной из дочерей, он писал в 1846 г.:

Я эту жизнь провел не в ликованье.  
Ты видела, на розах ли я спал.  
Шесть лет темничною заразою дышал  
И двадцать лет в болезнях и изгнаньи,  
В трудах для вас, без меры, выше сил,  
Не падаю, иду вперед с надеждой,  
Что жизнью тревожной и мятежной  
Я вашу жизнь и счастье оплатил...

Успешно хлебопашествовал, огородничал: устроил парники, выращивая (в Сибири!) арбузы и дыни; купил мельницу, завел лошадей; крестьянское общество поручило ему, как грамотному и умелому человеку, вести общую торговлю; устроил школу для крестьянских детей.

Никогда он не примирялся с властью, никогда не признавал своей вины. «Ты хорошо понимаешь, — писал он другу юности Г. С. Батенькову, — что это не упорство, а уверенность, что за различие моих понятий, образа мыслей судить не следовало. Так я понимаю, это не фиксация, даже не конёк, а чистый расчет. Я уверен, что и четвертый суд (сославший его в Сибирь. — В. К.) сделал бы то же определение, как и первые три, т. е. или ничего или оправдал, если бы судил не заглазно. Не считая себя виновным и не оправдываясь, я доказывал справедливость моих понятий и просил доказательств, доводов, убеждений, потому что все действия и понятия мои почитал справедливыми, законными даже». С глубокой горечью он подводил итоги:

Где мой кумир и где моя  
Обетованная земля?  
Где труд тяжелый и бесплодный?

Он для людей давно пропал,  
Его никто не записал,  
И человек к груди холодной  
Тебя как друга не прижал.

Однако он ошибся: дела его записаны, все документы, связанные с его жизнью, собраны недавно в двухтомнике, вышедшем в Сибири; стали предметом исследований ряда ученых...

В воспоминаниях Раевского (1841) Пушкину посвящены всего несколько строк: «Пушкин в юности своем за Оду к свободе сослан был в г. Кишинев на службу и отдан на руки наместнику Бессарабской области генерал-лейтенанту Инзову. Он искал сближения со мною и вскоре был в самых искренних дружеских отношениях». В 1866 г. молодой пушкинист П. И. Бартенев обратился к Раевскому с просьбой вспомнить, что удастся, о великом поэте. Раевский ответил по-своему — весьма дружественной, но, пожалуй, несколько «снижающей» характеристикой, которую напрасно называли потом «отрицательной». Вот она: «Я знал Пушкина как молодого человека со способностями, с благородными наклонностями, живого, даже ветреного, но не так, как великого поэта, каким его признали на святой Руси за неимением ни Данта, ни Шекспира, ни Шиллера и прочих знаменитостей. Пушкина я любил по симпатии и его любви ко мне, самой искренней. В нем было много доброго и хорошего и очень мало дурного. Он был моложе меня 5-ю или 6-ю годами. Различие лет ничего не составляло. О смерти его я очень, очень сожалел и, конечно, столько же, если не более, сколько он о моем заточении и ссылке»... В 1858 г. Раевский съездил в центральную Россию: побывал в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, на родине своей — в Курской губернии. Из Москвы в Петербург ехал по железной дороге и молодо обрадовался невиданному изобретению. Но порядки нового царствования первый декабрист оценил по достоинству. В 1860 г. он писал Батенькову: «Государство, где существуют привилегированные и исключительные касты и личности выше законов, где частицы власти суть сила и произвол без контроля и ответственности, где законы практикуются только над сословием или стадом людей, доведенных до

скотоподобия, там не гомеопатические средства необходимы». Совершив поездку в столицы, Раевский воротился в Сибирь, где дождался до 8 июля 1872 г. Похоронен он на просторе за селом Олонки — как завещал.

Короткая дружба и общение с «первым декабристом» дали Пушкину необычайно много и без всякого сомнения повлияли на мирозерцание великого национального поэта.

---

Помимо посещения Каменки (в 1820 и 1822 гг.), Тульчина, Киева и Одессы Пушкин еще дважды отлучался из Кишинева на довольно длительные сроки. В июле — августе 1821 г. его пригласил приятель — Константин Ралли — погостить в своем имении Долна (верст 70—80 южнее Кишинева). Во время этой поездки, в лесу между Долной и Юрченами Пушкин повстречал цыганский табор, с которым связана поэма «Цыганы» (№ 22) и более позднее стихотворение (№ 25). Существует вполне вероятное предание, будто поэт некоторое время провел в таборе у цыганки Земфиры — отсюда и сюжет поэмы трактуется, до известной степени, автобиографически (№ 21).

Вторая поездка в декабре 1821 г. в Аккерман была предпринята для расследования дела о волнениях в Камчатском полку. М. Ф. Орлов поручил это расследование И. П. Липранди, а Пушкин попросил разрешения его сопровождать; поколебавшись, Инзов отпустил поэта. Генерал Орлов пытался уберечь от наказания солдат, восставших против изверга командира, некоего Брюхатова. Он сказал последнему: «На тебе эполеты блестящие, но ты не стоишь этих солдат». Но спасти нижних чинов не удалось: зачинщика наказали 81 ударом шпицрутенов, его помощники получили по 71 удару. Все они умерли через двое суток после экзекуции, но не выдали командира дивизии, пытавшегося им помочь. После этой истории командир корпуса Сабанеев подал рапорт об удалении Орлова из дивизии. Поездка с Пушкиным подробно описана в «Дневнике» И. П. Липранди (№ 52).

Позже, в январе 1824 г., уже из Одессы, поэт снова посетил с Липранди Бендеры, где искал остатки лагеря Карла XII и могилу гетмана Мазепы. В эпилоге



«Полтавы» (1828 г.) описаны Бендеры с обычной для Пушкина точностью в деталях:

В стране — где мельниц ряд крылатый  
Оградой мирной обступил  
Бендер пустынные раскаты,  
Где бродят буйволы рогагы  
Вокруг воинственных могил, —  
Останки разоренной сени,  
Три углубленные в земле  
И мхом поросшие ступени  
Гласят о шведском короле.  
С них отражал герой безумный,  
Один в толпе домашних слуг,  
Турецкой рати приступ шумный  
И спрятал шпагу под бунчук;  
И тщетно там пришлец унылый  
Искал бы гетманской могилы...

Эти строки — отражение поездки 1824 года.

Творчески бессарабские годы были для Пушкина необычайно полны. Если даже назвать одни только законченные поэмы и хрестоматийно известные стихотворения, то в этом списке окажутся «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Гавриилиада», «Братья-разбойники», «Царь Никита и сорок его дочерей», «Чаадаеву», «Кинжал», «Черная шаль», «Наполеон», «Гречанка верная! не плачь — он пал героем», «Война», «К Овидию», «В крови горит огонь желанья», «Гречанке» (Ты рождена воспламенять...), «Песнь о вещем Олеге», «Люблю ваш сумрак неизвестный», «Таврида», «В. Ф. Раевскому» (Недаром ты ко мне воззвал), «Послание цензору», «На языке, тебе невнятном», «Узник», «Горишь ли ты, лампада наша», «Адели», «Ф. Н. Глинке» (Когда средь оргий жизни шумной), «Кто, волны, вас остановил», «Улыбка уст, улыбка взоров». Но ведь были еще бесчисленные отрывки, наброски, планы, «Исторические замечания» и многое другое. Общий вывод неопровержим: Пушкин напряженно работал в Кишиневе, как никто умея сочетать самоотверженный труд с самыми различными интересами и встречами.

9 мая 1823 г. в Кишиневе Пушкин начал «Онегина»...

\* \* \*

Пушкин полюбил Молдавию, проведя в ней изгнанником три года. Все-таки он был не совсем справедлив, когда 26 декабря 1830 г. отвечал на письмо кишиневского друга Н. С. Алексеева: «Пребывание мое в Бессарабии доселе не оставило никаких следов, ни поэтических, ни прозаических. Дай срок, надеюсь, что когда-нибудь ты увидишь, что ничто мною не забыто». Между тем, давно уже были написаны и напечатаны «Цыганы»! Однако после письма Алексееву Пушкин в самом деле еще много раз возвращался к молдавским воспоминаниям: в стихотворениях «Цыганы» (№ 25), «Восстань, о Греция, восстань!», «В степях зеленых Буджака», в VIII и X главах «Онегина», в повести «Выстрел», в «Песнях западных славян», в поэме «Кирджали». Программа «Записок» относится к 1833 году (№ 1).

Получив уже разрешение остаться в Одессе, поэт писал брату 25 августа 1823 г.: «...кажется и хорошо — да новая печаль мне сжала грудь — мне стало жаль моих покинутых цепей. Приехал в Кишинев на несколько дней, провел их неизъяснимо элегически — и, выехав оттуда навсегда, — о Кишиневе я вздохнул».



1

Кишинев.— Приезд мой из Кавказа и Крыму — Орлов — Ипсиланти — Каменка — Фонт.— Греческая революция — Липранди — 12 год — mort de sa femme — le renégat\* — Паша арзрумский.

А. С. Пушкин. Вторая программа записок. 1833.

2

В лето 5 от Липецкого потопа — мы, превосходительный Рейн и жалобный Сверчок, на лужице города Кишинева, именуемой *Быком*, сидели и плакали, вспоминая *тебя*, о *Арзамас*, ибо благородные гуси величественно барахтались пред нашими глазами в мутных водах упомянутой речки. Живо представились им ваши отсутствующие превосходительства, и в полноте сердца своего положили они уведомить о себе членов православного братства, украшающего берега Мойки и Фонтанки.

Пушкин — Арзамасцам.

20-е числа сентября 1820 г. (?)

Из Кишинева в Петербург. (Черновое)

3

Вот уже восемь месяцев, как я веду странническую жизнь, почтенный Николай Иванович. Был я на Кавказе, в Крыму, в Молдавии и теперь нахожусь в

\* смерть его жены — ренегат (фр.).

Киевской губернии, в деревне Давыдовых, милых и умных отшельников, братьев генерала Раевского. Время мое протекает между аристократическими обедами и демагогическими спорами. Общество наше, теперь рассеянное, было недавно разнообразная и веселая смесь умов оригинальных, людей известных в нашей России, любопытных для незнакомого наблюдателя.— Женщин мало, много шампанского, много острых слов, много книг, немного стихов. Вы поверите легко, что, преданный мгновенью, мало заботился я о толках петербургских. Поэму мою, напечатанную под вашим отеческим надзором и поэтическим покровительством, я не получил—но сердечно благодарю вас за милое ваше попечение. Некоторые №-ра «Сына» доходили до меня. Видел я прекрасный перевод «Андромахи», которого читали вы мне в вашем эпикурейском кабинете, и вдохновенные строфы:

Уже в последний раз приветствовать я мнил

*и проч.*

Они оживили во мне воспоминанья об вас и чувство прекрасного, всегда драгоценное для моего сердца, но не примирили меня с критиками, которые нашел я в том же «Сыне отечества». Кто такой этот В., который хвалит мое целомудрие, укоряет меня в бесстыдстве, говорит мне: *красней, несчастный?* (что, между прочим, очень неучтиво), говорит, что *характеры* моей поэмы писаны *мрачными* красками этого нежного, чувствительного Корреджио и *смелою кистью Орловского*, который кисти в руки не берет и рисует только почтовые тройки да киргизских лошадей? Согласен со мнением неизвестного эпиграммиста—критика его для меня *ужасно как тяжка*. Допросчик умнее, а тот, кто взял на себя труд отвечать ему (благодарность и самолюбие в сторону), умнее всех их. В газетах читал я, что «Руслан», напечатанный для приятного препровожденья скучного времени, продается с превосходною картинкою—кого мне за нее благодарить? Друзья мои! надеюсь увидеть вас перед своей смертью. Покамест у меня еще поэма готова или почти готова. Прощайте—нюхайте гишпанского табаку и чихайте громче, еще громче.

*Пушкин.*

*Каменка, 4 декабря 1820.*

Где Жуковский, уехал ли он с ее высочеством? Обнимаю с братским лобзанием Дельвига и Кюхельбекера. Об них нет ни слуха ни духа — журнала его не видал; писем также.

Мой адрес: В Кишинев — Его превосходительству Ивану Никитичу Инзову.

*Пушкин — Н. И. Гнедичу. 4 декабря 1820 г.  
Из Каменки в Петербург.*

## 4

Милостивый государь, Иван Никитич. По позволению вашего превосходительства, Александр Сергеевич Пушкин (...) с генералом Орловым намерен был возвратиться в Кишинев; но, простудившись очень сильно, он до сих пор не в состоянии предпринять обратный путь. О чем долгом поставляю уведомить ваше превосходительство и притом уверить, что коль скоро Александр Сергеевич получит облегчение в своей болезни, не замедлит отправиться в Кишинев.

Возобновляя мою благодарность вашему превосходительству за позволение, которое вы г-ну Пушкину дали по просьбе моей, имею честь быть с совершенным почтением и преданностью вашего превосходительства покорный слуга...

*А. Л. Давыдов — И. Н. Инзову.  
15 декабря 1820. Из Каменки в Кишинев.*

## 5

Милостивый государь Александр Львович. До сего времени я был в опасении о г. Пушкине, боясь чтобы он, невзирая на жестокость бывших морозов с ветром и метелью не отправился в обратный путь и где-нибудь при неудобствах степных дорог не получил несчастья. Но получив почтеннейшее письмо ваше от 15 сего месяца, я спокоен и надеюсь, что ваше превосходительство не позволите ему предпринять путь, поколе не получит укрепления в силах.

При сем включаю копию с отношения г. екатеринославского гражданского губернатора о должных

г. Пушкиным деньгах. Оно давно уже получено, и я не могу на оное отвечать, не зная обстоятельств о сем деле со стороны г. Пушкина. Покорнейше прошу ваше п-во вручить ему оное и объявить, что я желаю получить от него насчет сего дела сведение, дабы сократить по сему случаю могущую быть переписку.

Поздравляя ваше п-во с наступающим новым годом, прошу принять душевное желание, чтобы провели оный с семейством вашим в полном удовольствии и утешении.

*И. Н. Инзов — А. Л. Давыдову.  
29 декабря 1820. Из Кишинева в Каменку.*

## 6

## XVI

...Но там, где ранее весна  
Блестит над Каменкой тенистой  
И над холмами Тульчина,  
Где витгенштейновы дружины  
Днепром подмытые равнины  
И степи Буга облегли,  
Дела иные уж пошли.  
Там Пестель — для тиранов  
И рать . . . . . набирал  
Холоднокровный генерал,  
И Муравьев, его склоняя,  
И полон дерзости и сил,  
Минуты вспышки торопил.

## XVII

Сначала эти заговоры  
Между Лафитом и Клико  
Лишь были дружеские споры,  
И не входила глубоко  
В сердца мятежная наука,  
Всё это было только скука,  
Безделье молодых умов,  
Забавы взрослых шалунов,  
Казалось .....

Узлы к узлам .....

И постепенно сетью тайной  
Россия .....  
Наш царь дремал .....  
.....

«Евгений Онегин». Глава 10.

7

*И. Д. Якушкин.*

ИЗ «ЗАПИСОК»

Приехав в Каменку, я полагал, что никого там не знаю, и был приятно удивлен, когда случившийся здесь А. С. Пушкин выбежал ко мне с распростертыми объятиями. Я познакомился с ним в последнюю мою поездку в Петербург у Петра Чаадаева, с которым он был дружен и к которому имел большое доверие. Василий Львович Давыдов, ревностный член Тайного общества, узнавши, что я от Орлова, принял меня более чем радушно. Он представил меня своей матери и своему брату генералу Раевскому как давнишнего короткого своего приятеля. С генералом был сын его полковник Александр Раевский. Через полчаса я был тут как дома. Орлов, Охотников и я, мы пробыли у Давыдова целую неделю. Пушкин, приехавший из Кишинева, где в это время он был в изгнании, и полковник Раевский прогостили тут столько же.

Мы всякий день обедали внизу у старушки матери. После обеда собирались в огромной гостиной, где всякий мог с кем и о чем хотел беседовать. Жена Ал. Львовича Давыдова, которого Пушкин так удачно назвал «рогоносец величавый», урожденная графиня Грамон, впоследствии вышедшая замуж за генерала Себестиани, была со всеми очень любезна. У нее была премиленькая дочь, девочка лет двенадцати. Пушкин вообразил себе, что он в нее влюблен, беспрестанно на нее заглядывался и, подходя к ней, шутил с ней очень неловко. Однажды за обедом он сидел возле меня и, покрасневшись, смотрел так ужасно на хорошенькую девочку, что она, бедная, не знала, что делать, и готова была заплакать; мне стало ее жалко, и я сказал

Пушкину вполголоса: «Посмотрите, что вы делаете; вашими нескромными взглядами вы совершенно смутили бедное дитя». — «Я хочу наказать кокетку, — отвечал он, — прежде она со мной любезничала, а теперь прикидывается жестокой и не хочет взглянуть на меня». С большим трудом удалось мне обратить все это в шутку и заставить его улыбнуться.

В общезнании Пушкин был до чрезвычайности неловок и при своей раздражительности легко обижался каким-нибудь словом, в котором решительно не было для него ничего обидного. Иногда он корчил лихача, вероятно, вспоминая Каверина и других своих приятелей-гусаров в Царском Селе; при этом он рассказывал про себя самые отчаянные анекдоты, и все вместе выходило как-то очень пошло. Зато заходил ли разговор о чем-нибудь дельном, Пушкин тотчас просветлялся. О произведениях словесности он судил верно и с особенным каким-то достоинством. Не говоря почти никогда о собственных своих сочинениях, он любил разбирать произведения современных поэтов и не только отдавал каждому из них справедливость, но и в каждом из них умел отыскать красоты, каких другие не заметили.

Я ему прочел его Noël \*: «Ура! в Россию скачет», и он очень удивился, как я его знаю (<...>)

Все вечера мы проводили на половине у Василья Львовича, и вечерние беседы наши для всех для нас были очень занимательны. Раевский, не принадлежа сам к Тайному обществу, но подозревая его существование, смотрел с напряженным любопытством на все происходящее вокруг него. Он не верил, чтоб я случайно заехал в Каменку, и ему хотелось знать причину моего прибытия. В последний вечер Орлов, В. Л. Давыдов, Охотников и я сговорились так действовать, чтобы сбить с толку Раевского насчет того, принадлежим ли мы к Тайному обществу или нет. Для большего порядка при наших прениях был выбран президентом Раевский. С полушутливым и полуважным видом он управлял общим разговором. Когда начинали очень шуметь, он звонил в колокольчик; никто не имел права говорить, не просив у него

\* нозль (фр.).



на то дозволения, и т. д. В последний этот вечер пребывания нашего в Каменке, после многих рассуждений о разных предметах, Орлов предложил вопрос, насколько было бы полезно учреждение Тайного общества в России. Сам он высказал все, что можно было сказать за и против Тайного общества. В. Л. Давыдов и Охотников были согласны с мнением Орлова; Пушкин с жаром доказывал всю пользу, которую могло бы принести Тайное общество России. Тут, испросив слово у президента, я старался доказать, что в России совершенно невозможно существование Тайного общества, которое могло бы быть хоть на сколько-нибудь полезно.

Раевский стал мне доказывать противное и исчислил все случаи, в которых Тайное общество могло бы действовать с успехом и пользой; в ответ на его выходку я ему сказал: «Мне нетрудно доказать вам, что вы шутите; я предложу вам вопрос: если бы теперь уже существовало Тайное общество, вы, наверное, к нему не присоединились бы?» — «Напротив, наверное бы присоединился», — отвечал он. «В таком случае давайте руку», — сказал я ему. И он протянул мне руку, после чего я расхохотался, сказав Раевскому: «Разумеется, все это только одна шутка».

Другие также смеялись, кроме А. Л., «рогоносца величавого», который дремал, и Пушкина, который был очень взволнован; он перед этим уверился, что Тайное общество или существует, или тут же получит свое начало и он будет его членом; но когда увидел, что из этого вышла только шутка, он встал, покрасневшись, и сказал со слезой на глазах: «Я никогда не был так несчастлив, как теперь; я уже видел жизнь мою облагороженною и высокую цель перед собой, и все это была только злая шутка». В эту минуту он был точно прекрасен. В 27-м году, когда он пришел проститься с А. Г. Муравьевой, ехавшей в Сибирь к своему мужу Никите, он сказал ей: «Я очень понимаю, почему эти господа не хотели принять меня в свое общество; я не стоил этой чести».

## 8

В кругу семей, в пирах счастливых  
Я гость унылый и чужой,  
Вдали друзей вольнолюбивых  
Теснимый хладною толпой.  
Певец любви, печальный странник,  
Забыв и лиру и покой,  
Лечу за милою мечтой.  
Где ж отдохну, молодой изгнанник,  
Забуду горечь и любовь,  
Меня покинет призрак ложный  
И сердца пыл неосторожный,  
Заброшу посох мой дорожный  
И равнодушен буду вновь?..  
А вы, товарищи молодые,  
Друзья, готовьте шумный пир,  
Готовьте чаши круговые,  
Венки цветов и гимны лир.

1821

А. С. Пушкин

## 9

## КИНЖАЛ

Лемносский бог тебя сковал  
Для рук бессмертной Немезиды,  
Свободы тайный страж, карающий кинжал,  
Последний судия позора и обиды.

Где Зевса гром молчит, где дремлет меч закона  
Свершитель ты проклятий и надежд,  
Ты кроешься под сенью трона,  
Под блеском праздничных одежд.

Как адский луч, как молния богов,  
Немое лезвие злодею в очи блещет,  
И, озираясь, он трепещет  
Среди своих пиров.

Везде его найдет удар нежданный твой:  
На суше, на морях, во храме, под шатрами,  
За потаенными замками,  
На ложе сна, в семье родной.

Шумит под Кесарем заветный Рубикон,  
Державный Рим упал, главой поник закон;  
Но Брут восстал вольнолюбивый:  
Ты Кесаря сразил — и, мертв, объемлет он  
Помпея мрамор горделивый.

Исчадь мятежей подъемлет злобный крик:  
Презренный, мрачный и кровавый,  
Над трупом вольности безглавой  
Палач уродливый возник.

Апостол гибели, усталому Аиду  
Перстом он жертвы назначал,  
Но вышний суд ему послал  
Тебя и деву Эвмениду.

О юный праведник, избранник роковой,  
О Занд, твой век угас на плахе;  
Но добродетели святой  
Остался глас в казненном прахе.

В твоей Германии ты вечной тенью стал,  
Грозя бедой преступной силе —  
И на торжественной могиле  
Горит без надписи кинжал.

1821

А. С. Пушкин

## 10

Уведомляю тебя о происшествиях, которые будут иметь следствия, важные не только для нашего края, но и для всей Европы.

Греция восстала и провозгласила свою свободу. Теодор Владимиреско, служивший некогда в войске покойного князя Ипсиланти, в начале февраля нынешнего года вышел из Бухареста с малым числом

вооруженных арнаутов и объявил, что греки не в силах более выносить притеснений и грабительств турецких начальников, что они решились освободить себя от ига незаконного, что намерены платить только подати, наложенные правительством. Сия прокламация встревожила всю Молдавию. Князь Суццо и русский консул напрасно хотели удержать распространение бунта — пандуры и арнауты отовсюду бежали к смелому Владимиреско, — и в несколько дней он уже начальствовал 7000 войска.

21 февраля генерал князь Александр Ипсиланти с двумя из своих братьев и с князем Георгием Кантакузеном — прибыл в Яссы из Кишинева, где оставил он мать, сестер и двух братий. Он был встречен тремястами арнаутов, князем Суццо и русским консулом и тотчас принял начальство города. Там издал он прокламации, которые быстро разлились повсюду, — в них сказано, что Феникс Греции воскреснет из своего пепла, что час гибели для Турции настал и проч., и что Великая держава одобряет подвиг великодушный! Греки стали стекаться толпами под его трое знамен, из которых одно трехцветно, на другом развевается крест, обвитый лаврами, с текстом *сим знаменем победиши*, на третьем изображен возрождающийся Феникс. — Я видел письмо одного инсургента: с жаром описывает он обряд освящения знамен и меча князя Ипсиланти, восторг духовенства и народа и прекрасные минуты Надежды и Свободы...

В Яссах всё спокойно. Семеро турков были приведены к Ипсиланти и тотчас казнены — странная новость со стороны европейского генерала. В Галацах турки в числе 100 человек были перерезаны; Двенадцать греков также убиты.

Известие о возмущении поразило Константинополь. Ожидают ужасов, но еще их нет. Трое бежавших греков находятся со вчерашнего дня в здешнем карантине. Они уничтожили многие ложные слухи. Старец Али принял христианскую веру и окрещен именем Константина; двухтысячный отряд его, который шел на соединение с сулиотами, уничтожен турецким войском.

Восторг умов дошел до высочайшей степени, все мысли устремлены к одному предмету — к незави-

симости древнего отечества. В Одессах я уже не застал любопытного зрелища: в лавках, на улицах, в трактирах — везде собирались толпы греков, все продавали за ничто имущество, покупали сабли, ружья, пистолеты, все говорили об Леониде, об Фемистокле, все шли в войско счастливца Ипсиланти. Жизнь, имения греков в его распоряжении. Сначала имел он два миллиона. Один *Паули* дал 600 тысяч пиастров с тем, чтоб ему их возвратить по восстановлении *Греции*. 10 000 греков записались в войско.

Ипсиланти идет на соединение с Владимиреско. Он называется Главнокомандующим северных греческих войск и уполномоченным Тайного Правительства. Должно знать, что уже тридцать лет составилось и распространилось тайное общество, коего целью было освобождение *Греции*. Члены общества разделены на три степени... Низшую степень составляла военная сила, вторую — граждане, члены сей степени имели право каждый приписать себе товарищей, — но не воинов, которых избирала только третья, высшая степень. Ты видишь простой ход и главную мысль сего общества, которого основатели еще неизвестны... Отдельная вера, отдельный язык, независимость книгопечатания, с одной стороны просвещение, с другой — глубокое невежество, — всё покровительствовало вольнолюбивым патриотам — все купцы, всё духовенство до последнего монаха считалось в обществе, которое ныне торжествует.

Вот тебе подробный отчет последних происшествий нашего края.

Странная картина! Два великих народа, давно падших в презрительное ничтожество, в одно время восстают из праха — и, возобновленные, являются на политическом поприще мира. Первый шаг Александра Ипсиланти прекрасен и блистателен. Он счастливо начал — и, мертвый или победитель, отныне он принадлежит истории — 28 лет, оторванная рука, цель великодушная! — завидная участь. Кинжал изменника опаснее для него сабли турков; Константин-паша после освобождения не совестней будет Клодовика или Владимира, ибо влияние молодого мстителя *Греции* должно его встревожить. Признаюсь, я бы советовал князю Ипсиланти предупредить престарелого

злодея: нравы той страны, где он теперь действует, оправдают политическое убийство.

Важный вопрос: что станет делать Россия; зайдем ли мы Молдавию и Валахию под видом миролюбивых посредников; перейдем ли мы за Дунай союзниками греков и врагами их врагов? Во всяком случае, буду уведомлять —

Пушкин — В. Л. Давыдову (?)  
*Первая половина марта 1821 (?)*  
*Из Кишинева в Каменку.*

## 11

⟨...⟩

Всё тот же я — как был и прежде,  
 С поклоном не хожу к невежде,  
 С Орловым спорю, мало пью,  
 Октавию — в слепой надежде —  
 Молебнов лести не пою.  
 И дружбе легкие посланья  
 Пишу без строгого страданья.

⟨...⟩

Вдохновительное письмо ваше, почтенный Николай Иванович, нашло меня в пустынях Молдавии: оно обрадовало и тронуло меня до глубины сердца. Благодарю за воспоминание, за дружбы, за хвалу, за упреки, за формат этого письма — всё показывает участие, которое принимает живая душа ваша во всем, что касается до меня. Платье, сшитое, по заказу вашему, на «Руслана и Людмилу», прекрасно; и вот уже четыре дни как печатные стихи, виньета и переплет детски утешают меня. Чувствительно благодарю почтенного Q; эти черты сладкое для меня доказательство его любезной благосклонности. — Не скоро увижу я вас; здешние обстоятельства пахнут додгой, долгою разлукой! молю Феба и казанскую богоматерь, чтоб возвратился я к вам с молодостью, воспоминаньями и еще новой поэмой: — та, которую недавно кончил, окрещена «Кавказским пленником». Вы ожидали многого, как видно из письма вашего, — найдете малое, очень малое. С вершин заоблач-

ных бесснежного Бешту видел я только в отдаленье ледяные главы Казбека и Эльбруса. Сцена моей поэмы должна бы находиться на берегах шумного Терека, на границах Грузии, в глухих ущельях Кавказа — я поставил моего героя в однообразных равнинах, где сам прожил два месяца — где возвышаются в дальнем расстоянии друг от друга четыре горы, отрасль последняя Кавказа; — во всей поэме не более 700 стихов — в скором времени пришлю вам ее — дабы сотворили вы с нею, что только будет угодно.

Кланяюсь всем знакомым, которые еще меня не забыли, — обнимаю друзей. С нетерпеньем ожидаю девятого тома «Русской истории». Что делает Николай Михайлович? здоровы ли он, жена и дети? Это почтенное семейство ужасно недостает моему сердцу. — Дельвигу пишу в вашем письме. Vale\*.

Пушкин — Н. И. Гнедичу.  
24 марта 1821 г. Из Кишинева в Петербург.

## 12

2 апреля. Вечер провел у Н. Г. — прелестная гречанка. Говорили об А. Ипсиланти; между пятью греками я один говорил как грек: все отчаивались в успехе предприятия *этерии*. Я твердо уверен, что Греция восторжествует, а 25 000 000 турков оставят цветущую страну Эллады законным наследникам Гомера и Фемистокла. С крайним сожалением узнал я, что Владимиреско не имеет другого достоинства, кроме храбрости необыкновенной. Храбрости достанет и у Ипсиланти.

3. Третьего дня хоронили мы здешнего митрополита: во всей церемонии более всего понравились мне жидаы: они наполняли тесные улицы, взбирались на кровли и составляли там живописные группы. Равнодушные изображалось на их лицах; со всем тем ни одной улыбки, ни одного нескромного движенья! Они боятся христиан и потому во сто крат благочестивее их.

\* Прощайте (лат.).





Оставля шумный круг безумцев молодых,  
В изгнании моем я не жалел об них;  
Вздыхнув, оставил я другие заблужденья,  
Врагов моих предал проклятию забвенья,  
И, сети разорвав, где бился я в плену,  
Для сердца новую вкушаю тишину.  
В уединении мой своенравный гений  
Познал и тихий труд, и жажду размышлений.  
Владею днем моим; с порядком дружен ум;  
Учусь удерживать вниманье долгих дум;  
Ищу вознаградить в объятиях свободы  
Мятежной младостью утраченные годы  
И в просвещении стать с веком наравне.  
Богини мира, вновь явились музы мне  
И независимым досугам улыбнулись;  
Цевницы брошенной уста мои коснулись;  
Старинный звук меня обрадовал: и вновь  
Пою мои мечты, природу и любовь,  
И дружбу верную, и милые предметы,  
Пленявшие меня в младенческие леты,  
В те дни, когда, еще не знаемый никем,  
Не зная ни забот, ни цели, ни систем,  
Я пеньем оглашал приют забав и лени  
И царскосельские хранительные сени.

⟨...⟩

1821

А. С. Пушкин

14

Несколько времени тому назад отправлен был к в. превосходительству молодой Пушкин. Не имея никаких известий о его службе и поведении желательного, особливо в нынешних обстоятельствах, узнать искреннее суждение ваше, милостивый государь мой, о сем юноше. Повинуется ли он теперь внушению от природы доброго сердца или порывам необузданного и вредного воображения.

*И. А. Каподистрия — И. Н. Инзову.  
14/26 апреля 1821. Из Лайбаха (Любляны) в Кишинев.*

## 15

Пушкин, живя в одном со мной доме, ведет себя хорошо и при настоящих смутных обстоятельствах не оказывает никакого участия в сих делах. Я занял его переводом на российский язык составленных по-французски молдавских законов и тем, равно другими упражнениями по службе, отнимаю способы к праздности. Он, побуждаясь тем же духом, коим исполнены все парнасские жители к ревностному подражанию некоторым писателям, в разговорах своих со мною обнаруживает иногда пиитические мысли. Но я уверен, что лета и время образумят его в сем случае и опытом заставят признать неосновательность умозаключений, посеянных чтением вредных сочинений и принятыми правилами нынешнего столетия.

*И. Н. Инзов — И. А. Каподистрии.  
28 апреля 1821. Из Кишинева в Лайбах (Люблян).*

## 16

Аминь, аминь! Чем кончу я рассказы?  
Навек забыв старинные проказы,  
Я пел тебя, крылатый Гавриил,  
Смиренных струн тебе я посвятил  
Усердное, спасительное пенье:  
Храни меня, внемли мое моленье!  
Досель я был еретиком в любви,  
Младых богинь безумный обожатель,  
Друг демона, повеса и предатель...  
Раскаянье мое благослови!  
Приемлю я намеренья благие,  
Переменюсь: Елену видел я;  
Она мила, как нежная Мария!  
Подвластна ей навек душа моя.  
Моим речам придай очарованье,  
Понравиться поведай тайну мне,  
В ее душе зажги любви желанье,  
Не то пойду молиться сатане!  
Но дни бегут, и время сединою  
Мою главу тишком посеребрят,

И важный брак с любезною женою  
Пред алтарем меня соединит.  
Иосифа прекрасный утешитель!  
Молю тебя, колена преклоня,  
О рогачей заступник и хранитель,  
Молю — тогда благослови меня,  
Даруй ты мне беспечность и смирение,  
Даруй ты мне терпенье вновь и вновь,  
Спокойный сон, в супруге уверенье,  
В семействе мир и к ближнему любовь!

1821

А. С. Пушкин. *Гавриилиада*.

## 17

4 мая был я принят в масоны.

А. С. Пушкин. *Дневник 1821*.

## 18

Не правда ли, что вы меня не забыли, хотя я ничего не писал и давно не получал об вас никакого известия? Мочи нет, почтенный Александр Иванович, как мне хочется недели две побывать в этом пакостном Петербурге: без Карамзиных, без вас двух, да еще без некоторых избранных, соскучишься и не в Кишиневе, а вдали камина княгини Голицыной замерзнешь и под небом Италии. В руке твои предаюся, отче! Вы, который сближены с жителями Каменного острова, не можете ли вы меня вытребовать на несколько дней (однако ж не более) с моего острова Пафмоса? Я привезу вам за то сочинение во вкусе Апокалипсиса и посвящу вам, христоробивому пастырю поэтического нашего стада; но сперва дайте знать минутным друзьям моей минутной младости, чтоб они прислали мне денег, чем они чрезвычайно обяжут *искателя новых впечатлений*. В нашей Бессарабии в впечатлениях недостатку нет. Здесь такая каша, что хуже овсяного киселя. (...)

Верьте, что, где б я ни был, душа моя, какова ни есть, принадлежит вам и тем, которых умел я любить. <...>

Если получу я позволение возвратиться, то не говорите ничего никому, и я упаду, как снег на голову.

*Пушкин — А. И. Тургеневу. 7 мая 1821 г.  
Из Кишинева в Петербург.*

## 19

9 мая. Вот уже ровно год, как я оставил Петербург. Третьего дня писал я к князю Ипсиланти, с молодым французом, который отправляется в греческое войско. — Вчера был у кн. Суццо.

Баранов умер. Жаль честного гражданина, умного человека.

26 мая. Поутру был у меня Алексеев. Обедал у Инзова. После обеда приехали ко мне Пуцин, Алексеев и Пестель; потом был я в здешнем остроге. NB. Тарас Кирилов. Вечер у Крупенских.

*А. С. Пушкин. Дневник 1821.*

## 20

К сведению г-на Дегильи, бывшего французского офицера.

Недостаточно быть трусом, нужно еще быть им в открытую.

Накануне паршивой дуэли на саблях не пишут на глазах у жены слезных посланий и завещания; не сочиняют нелепейших сказок для городских властей, чтобы избежать царапины; не компрометируют дважды своего секунданта\*.

Всё то, что случилось, я предвидел заранее и жалею, что не побился об заклад.

---

\* Ни генерала, который удостоивает принимать негодяя у себя в доме. (Прим. Пушкина.)

Теперь все кончено, но берегитесь.

Примите уверения в чувствах, какие вы заслуживаете.

Заметьте еще, что впредь, в случае надобности, я сумею осуществить свои права русского дворянина, раз вы ничего не смыслите в правах дуэли. (фр.)

*Пушкин — Дегильи.  
6 июня 1821 г. В Кишиневе.*

## 21

### 3. Ралли-Арборе.

#### ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Однажды,—рассказывала мне тетушка Катерина Захарьевна,—твой отец собрался посетить одно из отцовских имений—Долну. Между этим имением и другим, Юрченами, в лесу находится цыганская деревня. Цыгане этой деревни принадлежали твоему отцу. Вот, помню, однажды, Александр Сергеевич и поехал вместе с твоим отцом в Долну, а оттуда они потом поехали лесом в Юрчену, и конечно, посетили лесных цыган. Табор этот имел старика булибашу (старосту), известного своим авторитетом среди цыган; у старика булибаша была красавица дочь. Я прекрасно помню эту девушку, ее звали Земфирой; она была высокого роста, с большими черными глазами и выдающимися длинными косами. Одевалась Земфира по-мужски, носила цветные шаровары, баранью шапку, вышитую молдавскую рубаху и курила трубку. Была она действительно настоящая красавица, и богатое ожерелье из разных старых серебряных и золотых монет, окружавшее шею этой дикой красавицы, конечно, было даром не одного из ее поклонников. Александр Сергеевич до того был поражен красотой цыганки, что упросил твоего отца остаться на несколько дней в Юрчене. Они пробыли там более двух недель, так что отец мой даже обеспокоился и послал узнать, не приключилось ли чего с молодыми людьми. И вот, к

нашему общему удивлению, пришло из Долны известие, что отец твой и Александр Сергеевич ушли в цыганский табор, который откочевал к Варзарештам. По получении такого известия отец мой послал тотчас другого нарочного с письмом к брату Константину, и мы ждали с нетерпением ответа, который, помню, долгонько-таки опоздал. Наконец пришло письмо брата к отцу,— оно было написано по-гречески,— и отец, прочитавши его, объявил нам, что ничего особенного не случилось, но что Александр Сергеевич просто-напросто сходит с ума по цыганке Земфире. Недели через две наши молодые люди, наконец, вернулись. Брат рассказал нам, что Александр Сергеевич бросил его и настоящим-таки образом поселился в шатре булибаша. По целым дням он и Земфира бродили в стороне от табора, и брат видел их держащимися за руки и молча сидящими среди поля. Цыганка Земфира не знала по-русски, Александр Сергеевич не знал, конечно, ни слова на том цыганско-молдавском наречии, на котором говорила она, так что они оба по всему вероятно, объяснялись более пантомимами. Если бы не ревность Александра Сергеевича, который заподозрил Земфиру в некоторой склонности к одному молодому цыгану,— говорил брат,— то эта идиллия затянулась бы еще на долгое время, но ревность положила всему самый неожиданный конец. В одно раннее утро Александр Сергеевич проснулся в шатре булибаша один-одинешенек, Земфира исчезла из табора. Оказалось, что она бежала в Варзарешты, куда помчался за нею и Пушкин, однако ее там не оказалось, благодаря, конечно, цыганам, которые предупредили его. Так-то окончилась эта шалость Пушкина.

— Потом, когда Александр Сергеевич уехал от нас,— передавала мне после небольшой паузы тетюшка,— он прислал мне своих «Цыган» — прекрасно написанную поэму, и мы все много смеялись над пылкой фантазией поэта, создавшей из нашей Земфиры свою свободолобивую героиню; что же касается неисправимого эгоиста Алеко, то, по-моему, он был не прав; такому эгоисту вовсе не следовало идти в цыганский табор наших бедных юрченских дикарей. С Александром Сергеевичем я не говорила об этой его

*amourette*\*, да и он по приезде из деревни не промолвился ни одним словом про всю свою эскапад с цыганкой Земфирой. Отец твой писал Пушкину в Одессу про дальнейшую судьбу его героини; дело в том, что Земфиру зарезал ее возлюбленный цыган, и бедная его героиня действительно трагически покончила свою короткую жизнь.

На мои расспросы о политическом образе мыслей Пушкина тетушка всегда отвечала французской фразой: «*Oh, il était tout-à-fait rouge*!»\*\* Когда затевался какой-либо вопрос политического характера, Александра Сергеевича просили говорить по-французски. «*Pour que les domestiques ne comprennent pas*»\*\*\*,— прибавляла Екатерина Захарьевна. Так как в нашем доме была привычка говорить про все вещи по-гречески, но при Пушкине, который по-гречески не знал, все из вежливости говорили по-французски.

Александр Сергеевич был человек, скомпрометированный политически; он сам любил всегда, говоря о себе, цитировать следующую фразу какого-то французского поэта, которая *à la longue* была известна всем в нашем обществе и всегда повторялась, лишь только зайдет речь о Пушкине. Вот это двустишие, запиши его:

Il m'a dit: choisis d'être oppresseur ou victime,  
J'embrassai le malheur et lui laissai le crime!\*\*\*\*

— Тогда это двустишие у нас долго повторялось всеми. Неблагонамеренность Пушкина и его дружба с твоим отцом,— говорила мне тетушка,— были причиной тому, что твой отец был не на хорошем счету у правительства, и поэтому по службе он не пошел далеко; при губернаторе Федорове о нем даже запрос официальный, в котором указывалось на вредный образ мыслей бывшего друга Пушкина. Вследствие всего этого отец твой уехал потом за границу, где прожил много лет.

\* мимолетная любовь (фр.).

\*\* о, он весь пылал (фр.).

\*\*\* чтобы слуги не поняли (фр.).

\*\*\*\* Он сказал мне: выбирай, быть ли угнетателем или жертвой. Я выбрал несчастье, а ему оставил преступление! (фр.)

Таковы вкратце все те отрывки воспоминаний, которые сохранились в моей памяти из рассказов моей тетушки о великом русском поэте.

1856

## 22

### ЦЫГАНЫ

Цыганы шумною толпой  
По Бессарабии кочуют.  
Они сегодня над рекой  
В шатрах изодранных ночуют.  
Как вольность, весел их ночлег  
И мирный сон под небесами;  
Между колесами телег,  
Полузавешанных коврами,  
Горит огонь; семья кругом  
Готовит ужин; в чистом поле  
Пасутся кони; за шатром  
Ручной медведь лежит на воле;  
Всё живо посреди степей:  
Заботы мирные семей,  
Готовых с утром в путь недалний,  
И песни жен, и крик детей,  
И звон походной наковальни.  
Но вот на табор кочевой  
Нисходит сонное молчанье,  
И слышно в тишине степной  
Лишь лай собак да коней ржанье.  
Огни везде погашены,  
Спокойно всё: луна сияет  
Одна с небесной вышины  
И тихий табор озаряет.

<...>

Волшебной силой песнопенья  
В туманной памяти моей  
Так оживляются виденья  
То светлых, то печальных дней.



В стране, где долго, долго брани  
Ужасный гул не умолкал,  
Где повелительные грани  
Стамбулу русский указал,  
Где старый наш орел двуглавый  
Еще шумит минувшей славой,  
Встречал я посреди степей  
Над рубежами древних станов  
Телеги мирные цыганов,  
Смиренной вольности детей.  
За их ленивыми толпами  
В пустынях часто я бродил,  
Простую пищу их делил  
И засыпал пред их огнями.  
В походах медленных любил  
Их песен радостные гулы —  
И долго милой Мариулы  
Я имя нежное твердил.

Но счастья нет и между вами,  
Природы бедные сыны!..  
И под издранными шатрами  
Живут мучительные сны.  
И ваши сени кочевые  
В пустынях не спаслись от бед,  
И всюду страсти роковые,  
И от судеб защиты нет.

1824

*А. С. Пушкин*

## 23

\* \* \*

Я знаю край: там на берега  
Уединенно море плещет;  
Там редко падают снега,  
Безоблачно там солнце блещет  
На опаленные луга;  
Дубрав не видно — степь нагая  
Над морем стелется одна.

1827

*А. С. Пушкин*

## 24

## V

И, позабыв столицы дальней  
И блеск и шумные пиры,  
В глуши Молдавии печальной  
Она смиренные шатры  
Племен бродящих посещала,  
И между ими одичала,  
И позабыла речь богов  
Для скудных, странных языков  
Для песен степи, ей любезной...

*«Евгений Онегин». Глава 8.*

## 25

## ЦЫГАНЫ

*с английского*

Над лесистыми берегами,  
В час вечерней тишины,  
Шум и песни под шатрами,  
И огни разложены.

Здравствуй, счастливое племя!  
Узнаю твои костры:  
Я бы сам в иное время  
Провождал сии шатры.

Завтра с первыми лучами  
Ваш исчезнет вольный след,  
Вы уйдете — но за вами  
Не пойдет уж ваш поэт.

Он бродящие ночлеги  
И проказы старины  
Позабыл для сельской неги  
И домашней тишины.

1830

А. С. Пушкин

## 26

Кишинев Июля 9 дня 1821 года. Следуемые мне из Государственной Коллегии Иностранных дел в жалование за майскую и сентябрьскую прошлого 1820 года и за Генварскую сего года трети 700 р. ассигнациями оклада, всего за вычетом на гошпиталь и за уплатою в почтовый доход страховых за пересылку от С.-Петербурга до Кишинева остальные шестьсот восемьдесят пять рублей и серебром тридцать копеек получил.

Александр Пушкин

## 27

18 juillet. 1821. Nouvelle de la mort de Napoléon. Bal chez l'archevêque Armenien\*.

А. С. Пушкин. Дневник.

## 28

Извините, любезный наш Аристарх, если опять беспокою вас письмами и просьбами; сделайте одолжение — доставьте письмо, здесь прилагаемое, брату моему: молодой человек меня забыл и не прислал мне даже своего адреса.

Вчера видел я в «Сыне отечества» мое послание к Ч—у; уж эта мне цензура! Жаль мне, что слово *вольнлюбивый* ей не нравится: оно так хорошо выражает нынешнее *libéral*,\*\* оно прямо русское, и верно почтенный А. С. Шишков даст ему право гражданства в своем словаре, вместе с шаротыком и с топталищем. Там напечатано *глупца философа*; зачем

\* 18 июля. 1821. Известие о смерти Наполеона. Бал у армянского архиепископа (фр.).

\*\* либеральный (фр.).

глупца? стихи относятся к Американцу Толстому, который вовсе не глупец; но лишняя брань не беда. А скромное письмо мое насчет моего же письма — видно, не лезет сквозь цензуру? Плохо.

Дельвигу и Гнедичу пробовал я было писать — да они и в ус не дуют. Что б это значило: если просто забвение, то я им не пеняю: забвенье — естественный удел всякого отсутствующего; я бы и сам их забыл, если бы жил с эпикурейцами, в эпикурейском кабинете, и умел читать Гомера; но если они на меня сердятся или разочли, что письма их мне не нужны — так плохо.

Хотел было я прислать вам отрывок из моего «Кавказского пленника», да лень переписывать; хотите ли вы у меня купить весь кусок поэмы? длиною в 800 стихов; стих шириною — 4 стопы; разрезано на 2 песни. Дешево отдам, чтоб товар не залежался. Vale \*.

*Пушкин — Н. И. Гречу. 21 сентября 1821 г.  
Из Кишинева в Петербург.*

## 29

1821 года октября 22 дня, Присланные от Господина Статс-Секретаря Графа Нессельрода к Господину Исправляющему должность Полномочного Наместника Бессарабской Области Генерал-Лейтенанту Инзову принадлежащие мне из Государственной Коллегии Иностранных дел за майскую сего года треть в жалованье двести двадцать пять рублей ассигнациями и серебром восемьдесят пять копеек получил *Александр Пушкин*.

## 30

(...)касательно г-на Пушкина также донести е. и. в., в чем состоят и состояли его занятия со времени определения его к вам, как он вел себя, и почему не обратили вы внимания на занятия его по масонским

\* Будьте здоровы (лат.).

ложам? Повторяется вновь вашему превосходительству иметь за поведением и деяниями его самый ближайший и строгий надзор.

*П. М. Волконский — И. Н. Инзову. 19 ноября 1821.  
Из Петербурга в Кишинев.*

## 31

Г. Пушкин, состоящий при мне, ведет себя изрядно. Я занимаю его письменною корреспонденциею на французском языке и переводами с русского на французский, ибо по малой его опытности в делах, не могу доверять ему иных бумаг; относительно же занятия его по масонской ложе, то по неоткрытию таковой, не может быть оным, хотя бы и желание его к тому было. Впрочем, обращение с людьми иных свойств, мыслей и правил, чем те, коими молодость руководствуется, нередко производит ту счастливую перемену, что наконец почувствуют необходимость себя переиначить. Когда бы благодатное сие чувствование возбудилось и в г. Пушкине, то послужило бы ему в истинную пользу.

*И. Н. Инзов — П. М. Волконскому. 1 декабря 1821.  
Из Кишинева в Петербург.*

## 32

К ОВИДИЮ

⟨...⟩

Здесь долго светится небесная лазурь;  
Здесь кратко царствует жестокость зимних бурь.  
На скифских берегах переселенец новый,  
Сын юга, виноград блистает пурпуровый.  
Уж пасмурный декабрь на русские луга  
Слоями расстилал пушистые снега;  
Зима дышала там — а с внешней теплотою  
Здесь солнце ясное катилось надо мною;  
Младую зеленью пестрел увядший луг;

Свободные поля взрывал уж ранний плуг;  
 Чуть веял ветерок, под вечер холодея;  
 Едва прозрачный лед, над озером тускнея,  
 Кристаллом покрывал недвижные струи.  
 Я вспомнил опыты несмелые твои,  
 Сей день, замеченный крылатым вдохновеньем,  
 Когда ты в первый раз вверял с недоуменьем  
 Шаги свои волнам, окованным зимой...  
 И пб льду новому, казалось, предо мной  
 Скользила тень твоя, и жалобные звуки  
 Неслися издали, как томный стон разлуки...

Утешься: не увял Овидиев венец!  
 Увы, среди толпы затерянный певец,  
 Безвестен буду я для новых поколений,  
 И, жертва темная, умрет мой слабый гений  
 С печальной жизнью, с минутною молвой!..  
 Но если, обо мне потомок поздний мой  
 Узнав, придет искать в стране сей отдаленной  
 Близ праха славного мой след уединенный—  
 Брегов забвения оставя хладну сень,  
 К нему слетит моя признательная тень,  
 И будет мило мне его воспоминанье.  
 Да сохранится же заветное преданье:  
 Как ты, враждующей покорствуя судьбе,  
 Не славой—участью я равен был тебе.  
 Здесь, лирой северной пустыни оглашая,  
 Скитался я в те дни, как на берега Дуная  
 Великодушный грек свободу вызывал,  
 И ни единый друг мне в мире не внимал;  
 Но чуждые холмы, поля, и рощи сонны,  
 И музы мирные мне были благосклонны.

1821

А. С. Пушкин

## 33

## БАРАТЫНСКОМУ

*Из Бессарабии*

Сия пустынная страна  
 Священна для души поэта:  
 Она Державиным воспета  
 И славой русскою полна.

Еще донныне тень Назона  
Дунайских ищет берегов;  
Она летит на сладкий зов  
Питомцев муз и Аполлона,  
И с нею часто при луне  
Брожу вдоль берега крутого;  
Но, друг, обнять милее мне  
В тебе Овидия живого.

1822

А. С. Пушкин

## 34

Сперва хочу с тобою побраниться; как тебе не стыдно, мой милый, писать полурусское, полуфранцузское письмо, ты не московская кузина — во-вторых, письма твои слишком коротки — ты или не хочешь, или не можешь мне говорить открыто обо всем — жалею; болтливость братской дружбы была бы мне большим утешением. Представь себе, что до моей пустыни не доходит ни один дружний голос — что друзья мои как нарочно решились оправдать элегическую мою мизантропию — и это состояние несносно. Письмо, где говорил я тебе о Тавриде, не дошло до тебя — это меня бесит — я давал тебе несколько поручений самых важных в отношении ко мне — чёрт с ними; постараюсь сам быть у вас на несколько дней — тогда дела пойдут иначе. Ты говоришь, что Гнедич на меня сердит, он прав — я бы должен был к нему прибегнуть с моей новой поэмой — но у меня шла голова кругом — от него не получал я давно никакого известия; Гречу должно было писать — и при сей верной оказии предложил я ему «Пленника». К тому же ни Гнедич со мной, ни я с Гнедичем не будем торговаться и слишком наблюдать каждый свою выгоду, а с Гречем я стал бы бессовестно торговаться, как со всяким брадатым ценителем книжного ума. Спроси у Дельвига, здоров ли он, все ли слава богу, пьет и кушает — каково нашел мои стихи к нему и пр. О прочих дошли до меня темные известия. Посылаю

тебе мои стихи, напечатай их в «Сыне» (без подписи и без ошибок). (...)

*Пушкин — Л. С. Пушкину. 24 января 1822 г.  
Из Кишинева в Петербург.*

## 35

Не из притворной скромности прибавлю: *Vade, sed incultus, qualem decet exulis esse!*\* недостатки этой повести, поэмы или чего вам угодно так явны, что я долго не мог решиться ее напечатать. Поэту возвышенному, просвещенному ценителю поэтов, вам предаю моего «Кавказского пленника»; в награду за присылку прелестной вашей идиллии (о которой мы поговорим на досуге) завещаю вам скучные заботы издания; но дружба ваша меня избаловала. Назовите это стихотворение сказкой, повестью, поэмой или вовсе никак не называйте, издайте его в двух песнях или только в одной, с предисловием или без; отдаю вам его в полное распоряжение. *Vale.*

*Пушкин — Н. И. Гнедичу. 29 апреля 1822 г.  
Из Кишинева в Петербург.*

## 36

Милостивый государь  
Александр Александрович,

Давно собирался я напомнить вам о своем существовании. Почитая прелестные ваши дарования и, признаюсь, невольно любя едкость вашей остроты, хотел я связаться с вами на письме, не из одного самолюбия, но также из любви к истине. Вы предупредили меня. Письмо ваше так мило, что невозможно с вами скромничать. Знаю, что ему не совсем бы должно верить, но верю поневоле и благодарю вас, как представителя вкуса и верного стража и покровителя нашей словесности.

\* *Иди, хоть и неказистая с виду, как то подобает изгнанникам!*  
(лат.)



Посылаю вам мои бессарабские бредни и желаю, чтоб они вамгодились. Кланяйтесь от меня цензуре, старинной моей приятельнице; кажется, голубушка еще поумнела. Не понимаю, что могло встревожить ее целомудренность в моих элегических отрывках — однако должно нам настоять из одного честолюбия — отдаю их в полное ваше распоряжение. Предвижу препятствия в напечатании стихов к Овидию, но старушку можно и должно обмануть, ибо она очень глупа — по-видимому, ее настращали моим именем; не называйте меня, а поднесите ей мои стихи под именем кого вам угодно (например, услужливого Плетнева или какого-нибудь нежного путешественника, скитающегося по *Тавриде*), повторяю вам, она ужасно бестолкова, но впрочем довольно стоворчлива. Главное дело в том, чтоб имя мое до нее не дошло, и всё будет слажено.

С живейшим удовольствием увидел я в письме вашем несколько строк К. Ф. Рылеева, они порука мне в его дружестве и воспоминании. Обнимите его за меня, любезный Александр Александрович, как я вас обниму при нашем свидании.

*Пушкин — А. А. Бестужеву. 21 июня 1822 г.  
Из Кишинева в Петербург.*

## 37

После обеда во сне видел Кюхельбекера.  
1 июля день счастливый. Пушкин.

*А. С. Пушкин. Дневник. 1822.*

## 38

УЗНИК

Сижу за решеткой в темнице сырой.  
Вскормленный в неволе орел молодой,  
Мой грустный товарищ, махая крылом,  
Кровавую пищу клюет под окном,

Клюет, и бросает, и смотрит в окно,  
Как будто со мною задумал одно.  
Зовет меня взглядом и криком своим  
И вымолвить хочет: «Давай улетим!

Мы вольные птицы; пора, брат, пора!  
Туда, где за тучей белеет гора,  
Туда, где синеют морские края,  
Туда, где гуляем лишь ветер... да я!..»

1822

А. С. Пушкин

## 39

Посуди сам, сколько обрадовали меня знакомые караулки твоего пера. Почти три года имею про тебя только неверные известия стороною — а здесь не слышу живого слова европейского. Извини меня, если буду говорить с тобою про Толстого, мнение твое мне драгоценно. Ты говоришь, что стихи мои никуда не годятся. Знаю, но мое намерение было не заводить остроумную литературную войну, но резкой обидой отплатить за тайные обиды человека, с которым расстался я приятелем и которого с жаром защищал всякий раз, как представлялся тому случай. Ему показалось забавно сделать из меня неприятеля и сместить на мой счет письмами чердак князя Шаховского, я узнал обо всем, будучи уже сослан, и, почитая мщение одной из первых христианских добродетелей,— в бессилии своего бешенства закидал издали Толстого журнальной грязью. Уголовное обвинение, по твоим словам, выходит из пределов поэзии; я не согласен. Куда не достягает меч законов, туда достает бич сатиры. Горацянская сатира, тонкая, легкая и веселая, не устоит против угрюмой злости тяжелого пасквиля. Сам Вольтер это чувствовал. Ты упрекаешь меня в том, что из Кишинева, под эгидою ссылки, печатаю ругательства на человека, живущего в Москве. Но тогда я не сомневался в своем возвращении. Намерение мое было ехать в Москву, где только и могу совершенно очиститься. Столь явное нападение на графа Толстого не есть малодушие. Сказывают,

что он написал на меня что-то ужасное. Журналисты должны были принять отзыв человека, обруганного в их журнале. Можно подумать, что я с ними заодно, и это меня бесит. Впрочем, я свое дело сделал и с Толстым на бумаге более связываться не хочу. Я бы мог оправдаться перед тобой сильнее и яснее, но уважаю твои связи с человеком, который так мало на тебя походит. (...)

*Пушкин — П. А. Вяземскому. 1 сентября 1822 г.  
Из Кишинева в Москву.*

## 40

Вот что пишет наш Лафонтен к нашему Ливию: «Вчера я прочитал одним духом Кавказского пленника и от всего сердца пожелал молодому поэту долгие лета! Какая надежда! при самом начале уже две собственные поэмы, и какая сладость стихов! Всё живопись, чувство и остроумие!» Признаюсь, что прочитав это письмо, я прослезился от радости.

*В. Л. Пушкин — П. А. Вяземскому.  
19 сентября 1822. Из Москвы в Варшаву.*

## 41

КРИТИЧЕСКИЕ ОТЗЫВЫ О ПОЭМЕ  
«КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК»

## I

Певец Руслана и Людмилы дарит нас новым прекрасным произведением легкого, пламенного, красноречивого пера своего («Кавказский пленник»). Пребывание поэта в пиитической стране, видевшей страдания Прометея и прибытие аргонавтов греческих, в стране и ныне отличной воинственными, романтическими нравами своих жителей, побудило его воспеть дикие красоты ее, и оживить картину Кавказских гор повестью о происшествиях, какие нередко случаются

в тех местах. Любители *истинной* поэзии найдут в сем небольшом, изящном стихотворении приятную для себя пищу. {...}

{...} К сему изданию приложен портрет автора, в молодости с него рисованный, и весьма похожий. Издатели сей повести говорят: «думаем, что приятно сохранить юные черты поэта, которого первые произведения ознаменованы даром необыкновенным!»

— *Сын отечества*, 1822, ч. 80, № 35, сентябрь.

## II

Местные описания в *Кавказском пленнике* решительно можно назвать совершенством поэзии. Повествование может лучше обдумать стихотворец и с меньшими дарованиями против Пушкина; но его описания кавказского края навсегда останутся первыми, единственными. На них остался удивительный отпечаток видимой истины, понятной, так сказать, осязаемости мест, людей, их жизни и их занятий, чем мы не слишком богаты в нашей поэзии. Мы часто видим усилия людей, которые описывают, не в состоянии будучи сами дать себе отчета в местности, потому что они знакомы с нею по одному воображению. Описания в *Кавказском пленнике* превосходны не только по совершенству стихов, но потому особенно, что подобных им нельзя составить, не видав собственными глазами картин природы. Сверх того, сколько смелости в начертании оных, сколько искусства в отделке! Краски и тени, т. е. слова и расстановка их, переменяются, смотря по различию предметов. Стихотворец то отважен, то гибок, подобно разнообразной природе этого дикого Азиатского края. {...}

Мы не останавливаемся на красоте каждого стиха порознь. Такой разбор заставил бы нас утомить читателей однообразными восклицаниями.

П. Плетнев. «Кавказский Пленник».

— «Соревнователь просвещения», 1822, № 10, октябрь.

## III

(...) Автор повести Кавказский Пленник (по примеру Бейрона в *Child-Harold* \*, хотел передать читателю впечатления, действовавшие на него в путешествии. *Описательная поэма, Описательное послание* придают невольно утомительное однообразие рассказу. Автор на сцене представляет всегда какое-то принужденное и холодное лицо: между им и читателем выгоднее для взаимной пользы иметь посредника. Пушкин, созерцая высоты поэтического Кавказа, поражен был поэзией природы дикой, величественной, поэзией нравов и обыкновений народа грубого, но смелого, воинственного, красивого; и как поэт, не мог пребыть в молчании, когда все говорило воображению его, душе и чувствованиям языком новым и сильным. Содержание настоящей повести просто и, может быть, слишком естественно: для читателя ее много занимательного в описании, но мало в действии. Жаль, что автор не приложил более изобретения в драматической части своей поэмы: она была бы полнее и оживленнее. Характер Пленника нов в поэзии нашей, но сознаться должно, что он не всегда выдержан и, так сказать, не твердою рукою дорисован; впрочем, достоинство его не умаляется от некоторого сходства с героем Бейрона. Британский поэт не воображению обязан характером, приданным его герою. Не входя в исследование мнения почти общего, что Бейрон себя списывал в изображении *Child-Harold*, утвердить можно, что подобные лица часто встречаются взору наблюдателя в нынешнем положении общества. Преизбыток силы, жизни внутренней, которая в честолюбивых потребностях своих не может удовлетворяться уступками внешней жизни, щедрой для одних умеренных желаний так называемого благоразумия; необходимые последствия подобной распри: волнение без цели, деятельность, пожирающая, неприкладываемая к существенному; упования, никогда не совершаемые и вечно возникающие с новым стремлением — должны неминуемо посеять в душе тот неистребимый зародыш скуки, приторности, пресыщения.

\* Чайльд-Гарольд (англ.).

которые знаменуют характер *Child-Harold*, *Кавказского пленника* и им подобных. Впрочем, повторяем: сей характер изображен во всей полноте в одном произведении Байрона: у нашего поэта он только означен слегка; мы почти должны угадывать намерение автора и мысленно пополнять недоконченное в его творении. Не лишнее однако же притом заметить, что в самом том месте, где он знакомит нас с характером своего героя, встречаются пропуски, которые, может быть, и утаивают от нас многие черты, необходимые для совершеннейшего изображения. Сделаем еще одно замечание. Автор представляет героя своего равнодушным, охлажденным, но не бесчеловечным, и мы с неудовольствием видим, что он, избавленный от плена рукою страстной черкешенки, которая после этого подвига приносит на жертву жизнь уже для нее без цели и с коюю разорвала она последнюю связь, не посвящает памяти ее ни одной признательной мысли, ни одного сострадательного чувствования.

Прощальным взором  
 Объемлет он в последний раз  
 Пустой аул с его забором,  
 Поля, где пленный стадо пас,  
 Стремнины, где влачил оковы,  
 Ручей, где в полдень отдыхал,  
 Когда в горах черкес суровый  
 Свободы песню запевал.

Стихи хорошие, но не соответствующие естественному ожиданию читателя, коего живое участие в несчастном жребии Черкешенки служит осуждением забвению Пленника и автора. <...>

П. А. Вяземский. О «Кавказском пленнике», повести А. Пушкина. — *Сын отечества*, 1822, ч. 82, № 49, декабрь.

#### IV

<...>Кавказский пленник, менее всех остальных поэм удовлетворяющий справедливым требованиям искусства, несмотря на то богаче всех силою и глубиной чувствований. Кавказским пленником начи-

нается второй период пушкинской поэзии, который можно назвать отголоском лиры Байрона. <...>

*И. В. Киреевский. Нечто о характере поэзии Пушкина.—Московский вестник, 1828, ч. 8, № 6.*

## 42

Сия повесть, снисходительно принятая публикою, обязана своим успехом верному, хотя слегка означенному, изображению Кавказа и горских нравов. Автор также соглашается с общим голосом критиков, справедливо осудивших характер пленника, некоторые отдельные черты и проч.

*А. С. Пушкин. Предисловие ко второму изданию поэмы «Кавказский пленник». 1828.*

## 43

«Кавказский пленник» — первый неудачный опыт характера, с которым я насилу сладил; он был принят лучше всего, что я ни написал, благодаря некоторым элегическим и описательным стихам. Но зато Николай и Александр Раевские и я, мы вдоволь над ним насмеялись.

*А. С. Пушкин. Опровержение на критики. 1830.*

## 44

Как тебе не стыдно не прислать своего адреса; я бы давно тебе написал. Благодарю тебя, милый Вяземский! пусть утешит тебя бог за то, что ты меня утешил. Ты не можешь себе представить, как приятно читать о себе суждение умного человека. До сих пор, читая рецензии Воейкова, Каченовского и проч.—мне казалось, что подслушиваю у калитки литературные толки приятельниц Варюшки и Буянова. Всё,

что ты говоришь о романтической поэзии, прелестно, ты хорошо сделал, что первый возвысил за нее голос — французская болезнь умертвила б нашу отроческую словесность.〈...〉

〈...〉Стихи мои ищут тебя по всей России — я ждал тебя осенью в Одессу и к тебе бы приехал — да мне всё идет наперекор. Не знаю, нынешний год увижусь ли с тобою. Пиши мне покамест, если по почте, так осторожнее, а по *оказии* что хочешь — да нельзя ли твоих стихов? мочи нет хочется; 〈...〉 Еще слово об «Кавказском пленнике». Ты говоришь, душа моя, что он суккин сын за то, что не горюет о черкешенке, но что говорить ему — *всё понял он* выражает всё; мысль об ней должна была овладеть его душою и соединиться со всеми его мыслями — это разумеется — иначе быть нельзя; не надобно всё высказывать — это есть тайна занимательности. Другим досадно, что *пленник* не кинулся в реку вытаскивать мою черкешенку — да, сунься-ка; я плавал в кавказских реках, — тут утонешь сам, а ни черта не сыщешь; мой пленник умный человек, рассудительный, он не влюблен в черкешенку — он прав, что не утопился. Прощай, моя радость.

*Пушкин — П. А. Вяземскому. 6 февраля 1823 г.  
Из Кишинева в Москву.*

## 45

Граф,

Будучи причислен по повелению его величества к его превосходительству бессарабскому генерал-губернатору, я не могу без особого разрешения приехать в Петербург, куда меня призывают дела моего семейства, с коим я не виделся уже три года. Осмеливаюсь обратиться к вашему превосходительству с ходатайством о предоставлении мне отпуска на два или три месяца.

Имею честь быть с глубочайшим почтением и величайшим уважением, граф, вашего сиятельства всенижайший и всепокорнейший слуга Александр Пушкин. (фр.)

*Пушкин — К. В. Нессельроде. 13 января 1823 г.  
Из Кишинева в Петербург.*



## 46

Находящийся при вашем превосходительстве коллежский секретарь Пушкин отнесся ко мне письменно об испрошении ему отпуска для свидания с семейством.

Вследствие доклада моего о сем государю его величество соизволил приказать мне уведомить г-на Пушкина чрез посредство вашего превосходительства, что он ныне желаемого позволения получить не может.

О чем поспешая известить ваше превосходительство etc., etc.

К. В. Нессельроде — И. Н. Инзову. 27 марта 1823.  
Из Петербурга в Кишинев.

## 47

Благоразумный Левинька!

Благодарю за письмо — жалею, что прочие не дошли — пишу тебе, окруженный деньгами, афишками, стихами, прозой, журналами, письмами, — и всё то благо, всё добро. Пиши мне о Дидло, об Черкешенке Истоминой, за которой я когда-то волочился, подобно Кавказскому пленнику. Бестужев прислал мне «Звезду» — эта книга достойна всякого внимания; жалею, что Баратынский поскупился — я надеялся на него. Каковы стихи к Овидию? душа моя, и «Руслан», и «Пленник», и «Noël» \*, и всё дрянь в сравнении с ними. Ради бога, люби две звездочки, они обещают достойного соперника знаменитому Панаеву, знаменитому Рылееву и прочим знаменитым нашим поэтам. «Мечта воина» привела в задумчивость воина, что служит в иностранной коллегии и находится ныне в бесарабской канцелярии. Эта «Мечта» напечатана с ошибочного списка — призванье вместо взыванье, *тревожных дум*, слово, употребляемое знаменитым Рылеевым, но которое по-русски ни-

\* «Ноэль», святочная песнь (фр.).

чего не значит. *Воспоминание и брата и друзей* стих трогательный, а в «Звезде» просто плоский. Но всё это не беда; были бы деньги. Я рад, что Глинке полюбились мои стихи — это была моя цель. В отношении его я не Фемистокл; мы с ним приятели и еще не ссорились за мальчика. Гнедич у меня перебивает лавочку —

Увы, напрасно ждал тебя жених печальный

и проч. — непростительно прелестно. Знал бы своего Гомера, а то и нам не будет места на Парнасе. Дельвиг, Дельвиг! пиши ко мне и прозой и стихами; благословляю и поздравляю тебя — добился ты наконец до точности языка — единственной вещи, которой у тебя не доставало. *En avant! marche.* \*

Приехал ли царь? впрочем, это я узнаю прежде, чем ты мне ответишь. Ты собираешься в Москву — там увидишь ты моих друзей — напости им обо мне; также и родне моей, которая, впрочем, мало заботится о судьбе племянника, находящегося в *опале*: может быть, они правы — да и я не виноват...

Прощай, душа моя! Если увидимся, то-то зацелую, заговорю и зачитаю. Я ведь тебе писал, что Кюхельбекерно мне на чужой стороне. А где Кюхельбекер?

Ты мне пишешь об NN: *en voilà assez. Assez* так *assez*; \*\* а я всё при своем мнении.

Ты не приказываешь жаловаться на погоду — в августе месяце — так и быть — а ведь неприятно сидеть взаперти, когда гулять хочется. Прощай еще раз.

Пушкин — Л. С. Пушкину. 30 января 1823 г.  
Из Кишинева в Петербург.

Мои надежды не сбылись: мне нынешний год нельзя будет приехать ни в Москву, ни в Петербург. Если летом ты поедешь в Одессу, не завернешь ли по дороге в Кишинев? я познакомлю тебя с героями

\* Вперед! марш (фр.).

\*\* довольно о нем. Довольно, так довольно (фр.).

Скулян и Секу, сподвижниками Иордаки, и с гречанкою, которая целовалась с Байроном.

Правда ли, что говорят о Катенине? мне никто ничего не пишет—Москва, Петербург и Арзамас совершенно забыли меня. <...>

*Пушкин — П. А. Вяземскому. 5 апреля 1823 г.  
Из Кишинева в Москву.*

## 49

С удивлением слышу я, что ты считаешь меня врагом освобождающейся Греции и поборником турецкого рабства. Видно, слова мои были тебе странно перетолкованы. Но что бы тебе ни говорили, ты не должен был верить, чтобы когда-нибудь сердце мое недоброжелательствовало благородным усилиям возрождающегося народа. Жалея, что принужден оправдываться перед тобою, повторю и здесь то, что случилось мне говорить касательно греков.

Люди по большей части самолюбивы, беспонятны, легкомысленны, невежественны, упрямы; старая истина, которую всё-таки не худо повторить. Они редко терпят противуречие, никогда не прощают неуважения; они легко увлекаются пышными словами, охотно повторяют всякую новость; и, к ней привыкнув, уже не могут с нею расстаться.\*

Когда что-нибудь является общим мнением, то глупость общая вредит ему столь же, сколько единодушные ее поддерживают. Греки между европейцами имеют гораздо более вредных поборников, нежели благоразумных друзей. Ничто еще не было столь *народно*, как дело греков, хотя многие в их политическом отношении были важнее для Европы.

*Пушкин — В. Л. Давыдову(?).  
Июнь 1823 г. — июль 1824 г.  
Кишинев — Одесса. (Черновое).*

\* Этот абзац отчеркнут; по-видимому, Пушкин предполагал перенести его в другое место.

## 50

В. П. Горчаков

## ИЗ ДНЕВНИКА

В числе многих особенно обратил мое внимание вошедший молодой человек небольшого роста, но довольно плечистый и сильный, с быстрым и наблюдательным взором, необыкновенно живой в своих приемах, часто смеющийся в избытке непринужденной веселости и вдруг неожиданно переходящий к думе, возбуждающей участие. Очерки лица его были неправильны и некрасивы, но выражение думы до того было увлекательно, что невольно хотелось бы спросить: что с тобою? Какая грусть мрачит твою душу? Одежду незнакомца составлял черный фрак, застегнутый на все пуговицы, и такого же цвета шаровары.

Кто бы это, подумал я, и тут же узнал от Алексеева, что это Пушкин, знаменитый уже певец Руслана и Людмилы. После первого акта какой-то драмы, весьма дурно игранный, Пушкин подошел к нам; в разговоре с Алексеевым он доверчиво обращался ко мне, как бы желая познакомиться; но это сближение было прервано поднятием занавеса. (...) Вслед за этим, без дальних околичностей, мы как-то сблизились разговором, вспомнили наших петербургских артистов, вспомнили Семенову, Колосову. Воспоминания Пушкина согреты были неподдельным чувством воспоминания первоначальных дней его петербургской жизни, и при этом снова яркую улыбку сменила грустная дума. В этом расположении Пушкин отошел от нас и, пробираясь между стульев, со всею ловкостью и изысканной вежливостью светского человека, остановился пред какой-то дамою; я невольно следил за ним и не мог не заметить, что мрачность его исчезла, ее сменил звонкий смех, соединенный с непрерывною речью, оживляемой всею пышностью восторжений. Пушкин беспрерывно краснел и смеялся; прекрасные его зубы выказывались во всем блеске, улыбка не угасала.

На другой день, после первого свидания в театре, мы встретились с Пушкиным у брата моего генерала,

гвардии полковника Федора Федоровича Орлова, которого благосклонный прием и воинственная наружность совершенно меня очаровали. Я смотрел на Орлова, как на что-то сказочное; то он напоминал мне бояр времен Петра, то древних русских витязей; а его Георгиевский крест, взятый с боя с потерей ноги по колено, невольно вселял уважение. Но притом я не мог не заметить в Орлове странного сочетания умильной скромности с самой разгульной удалью боевой его жизни. Тут же я познакомился с двумя Давыдовыми, родными братьями по матери нашего незабвенного подвижника XII года, Николая Николаевича Раевского. Судя по наружным приемам, эти два брата Давыдовы ничего не имели между собою общего: Александр Львович отличался изысканностью маркиза, Василий щеголял каким-то особым приемом простолюдина; но каждый по-своему обошелся со мною приветливо. Давыдовы, как и Орлов, ожидая возвращения Михаила Федоровича, жили в его доме, принимали гостей, хозяйничали и на первый же день моего знакомства радушно пригласили меня обедать. Все они дружески обращались с Пушкиным; но выражение приязни Александра Львовича сбивалось на покровительство, что, как мне казалось, весьма не нравилось Пушкину.

В это утро много было говорено о так названной Пушкиным молдавской песне «Черная шаль», на днях им только написанной. Не зная самой песни, я не мог участвовать в разговоре; Пушкин это заметил, и по просьбе моей и Орлова обещал мне прочесть ее; но, повторив вразрыв некоторые строфы, вдруг схватил рапиру и начал играть ею; припрыгивал, становился в позу, как бы вызывая противника. В эту минуту вошел Друганов. Пушкин, едва дав ему поздороваться с нами, стал предлагать ему биться, Друганов отказывался. Пушкин настоятельно требовал и, как резвый ребенок, стал шутя затрогивать его рапирой. Друганов отвел рапиру рукою, Пушкин не унимался; Друганов начинал сердиться. Чтоб предупредить раздор новых моих знакомцев, я снова попросил Пушкина прочесть мне молдавскую песню. Пушкин охотно согласился, бросил рапиру и начал читать с большим одушевлением; каждая строфа занимала его, и, казалось, он вполне был доволен своим новорожденным творени-

ем. При этом я не могу не вспомнить одно мое придиричливое замечание: как же, заметил я, вы говорите: *в глазах потемнело я весь изнемог*, и потом: *«вхожу в отдаленный покой»*.

— Так что ж,—прервал Пушкин с быстротою молнии, вспыхнув сам, как зарница,—это не значит, что я ослеп.

Сознание мое, что это замечание придиричиво, что оно почти шутка, погасило мгновенный взрыв Пушкина, и мы пожали друг другу руки. При этом Пушкин, смеясь, начал мне рассказывать, как один из кишиневских армян сердится на него за эту песню. «Да за что же?» — спросил я. «Он думает,—отвечал Пушкин, прерывая смехом слова свои,—что это я написал на его счет».(...)

Семейству князя Ипсиланти везде оказывали особое уважение как семейству господаря, уважаемому нашим правительством. Встретив князя на одном из первых балов в генеральском мундире нашем, мне показалось странным, отчего в первое мое знакомство я его видел в венгерке; но мне объяснили, что князь Александр состоит по кавалерии не в должности, намерен оставить службу и потому позволяет себе некоторые отступления; к тому же венгерка более приближается к родовому наряду греков, и тут же я узнал, что князь служил с честью в войсках наших и отличался замечательной храбростью. При этом рассказе Пушкин стоял рядом со мной; он с особым вниманием взглянул на Ипсиланти; Пушкин уважал отвагу и смелость как выражение душевной силы.

Говоря о балах в Кишиневе, я должен сказать, что Пушкин охотно принимал приглашения на все праздники и вечера, и все его звали. На этих балах он участвовал в неразлучных с ними занятиях — любил карты и танцы.

Игру Пушкин любил как удалство, заключая в ней что-то особенно привлекательное и тем как бы оправдывая полноту свойства русского, для которого удалство вообще есть лучший элемент существования. Танцы любил как общественный проводник сердечных восторжений. Да и верно, с каждого вечера Пушкин собирал новые восторги и делался новым поклонником новых, хотя мнимых, богинь своего сердца.

Нередко мне случалось слышать: «Что за прелесть! жить без нее не могу!» — а на завтра подобную прелесть сменяли другие. Что делать — таков юноша, таков поэт: его душа по призванию ищет любви и, обманутая туманным призраком, стремится к новым впечатлениям, как путник к блудящим огням необозримой пустыни.〈...〉

Вскоре по возвращении моем из Москвы в Кишинев генерал Орлов уехал в Киев для женитьбы на дочери Н. Н. Раевского. Начальство над дивизией принял бригадный генерал Пуцин.

Обязательное обращение Павла Сергеевича Пуци-на, его образованный ум и постоянная любезность в коротком обществе невольно сближали с ним многих; мне же, как служащему, по обязанностям службы часто приходилось бывать у генерала. Пушкин, как знакомый, нередко навещал Павла Сергеевича, и так почти ежедневно мы с Пушкиным бывали вместе. Еще же нередко по вечерам мы сходились у подполковника Липранди, который своею особенностью не мог не привлекать Пушкина.

В приемах, действиях, рассказах и образе жизни подполковника много было чего-то поэтического, — не говоря уже о его способностях, остроте ума и сведениях. Липранди поражал нас то изысканною роскошью, то вдруг каким-то презрением к самым необходимым потребностям жизни, словом, он как-то умел соединять прихотливую роскошь с недостатками. Последнее было слишком знакомо Пушкину. Не имея навыка к расчетливой и умеренной жизни и стесняемый ограниченностью средств, Пушкин также по временам должен был во многом себе отказывать.

Молодость и почти кочевая жизнь Пушкина, видимо, облегчали затруднения; к тому же с каждым днем Пушкин ожидал перемены своего назначения; ему казалось, что удаление его в южный край России не могло долго продолжаться.

Нередко при воспоминании о царскосельской своей жизни Пушкин как бы в действительности переселялся в то общество, где расцвела первоначальная поэтическая жизнь его со всеми ее призраками и очарованием. В эти минуты Пушкин иногда скорбел; и среди этой скорби воля рассудка уступала впечатлению

юного сердца; но Пушкин недолго вполне оставался юношею, опыт уже холодел над ним; это влияние опыта, смиряя порывы, с каждым днем уменьшая его беспечность, заселяло в нем новые силы.

Конец 1840-х гг.

## 51

### А. Ф. Вельтман.

#### ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Встречая Пушкина в обществе и у товарищей, я никак не умел с ним сблизиться; для других в обществе он мог казаться ровен, но для меня он казался недоступен. Я даже удалялся от него, и сколько я могу понять теперь тайное, безотчетное для меня тогда чувство, я боялся, чтобы кто-нибудь из товарищей не сказал ему при мне: «Пушкин, вот и он пописывает у нас стишки».

Слава Пушкина в Кишиневе гремела только в кругу русских; молдавский образованный класс знал только, что поэт есть такой человек, который пишет «поэзии». Пушкин заметнее других, носящих фрак, был только потому, что принадлежал, по их мнению, к свите наместника; в обществе же женщин шитый мундир, статность, красота играли значительнее роль, нежели слава, приобретенная гусиным пером. Однако ж живым нравом и остротой ума Пушкин вскоре покори́л и внимание молдавского общества; все оригинально-странное не ушло от его колючих эпиграмм, несмотря на то что он их бросал в разговоры как будто только по одной привычке: память молодежи их ловила на лету и носилась с ними по городу. {...}

Я уже сказал, что Пушкин, по приезде, жил в доме наместника. Кажется, в 1822 году было сильное землетрясение в Кишиневе; стены дома треснули, раздались в нескольких местах; генерал Инзов принужден был выехать из дома, но Пушкин остался в нижнем этаже. Тогда в Пушкине было еще несколько



странностей, быть может, неизбежных спутников гениальной молодости. Он носил ногти длиннее ногтей китайских ученых. Пробуждаясь от сна, он сидел голый в постеле и стрелял из пистолета в стену. Но уединение посреди развалин наскучило ему, и он переехал жить к Алексееву. Утро посвящал он вдохновенной прогулке за город, с карандашом и листом бумаги; по возвращении лист был исписан стихами, но из этого разбросанного жемчуга он выбирал только крупный, не более десяти жемчужин; из них-то составлялись роскошные нити событий в поэмах: «Кавказский пленник», «Разбойники», начало «Онегина» и мелкие произведения, напечатанные и ненапечатанные. Во время этих-то прогулок он писал «К Овидию» (...)

Вероятно, никто не имеет такого полного сборника всех сочинений Пушкина, как Алексеев. Разумеется, многие не могут быть изданы по отношениям.

Чаще всего я видал Пушкина у Липранди, человека вполне оригинального по острому уму и жизни. К нему собиралась вся военная молодежь, в кругу которой жил более Пушкин. Живая, веселая беседа, экарте и иногда, для разнообразия, «направо и налево», чтоб сквитать выигрыш. Иногда забавы были ученого рода. В Кишинев приехал известный физик Стойкович. Узнав, что он будет обедать в одном доме, куда были приглашены Липранди и Раевский, они сговорились поставить в тупик физика. Перед обедом из первой попавшейся «Физики» заучили они все значительные термины, набрались глубоких сведений и явились невинными за стол. Исполдволь склонили они разговор о предметах, касающихся физики, заспорили между собою, вовлекли в спор Стойковича и вдруг нахлынули на него с вопросами и смутили физика, не ожидавшего таких познаний в военных.

Читателям «Евгения Онегина» известна фамилия Ларин. Ларин—родня Илье Ларину, походному пьяному шуту, который потешал нас в Кишиневе. Отставной унтер-цейгвахтер Ильи Ларин, подобно Кохрену, был бродяга и исходил всю Россию кругом не по страсти путешествовать, но по страсти к разнообразию для снискания пищи и особенно питья между военною молодежью. Не имея ровно ничего, он не хотел быть нищим, но хотел быть везде гостем.

Прибыв пешком в какой-нибудь город, он узнавал имена офицеров и, внезапно входя в двери с дубиной в руках, протягивал первому руку и говорил громогласно: «Здравствуй, малявка! Ну, братец, как ты поживаешь? А, суконка, узнал ли ты Ларина, всесветного барина?» Подобное явление, разумеется, производило хохот, а Ларин между тем без церемоний садился, пил и ел все, что только стояло на столе, и, вмешиваясь в разговор, всех смешил самым серьезным образом. Покуда странность его была новостью, он жил в обществе офицеров, переходя гостить от одного к другому; но когда начинали уже ездить на нем верхом и не обращали внимания на его хозяйские требования, он вдруг исчезал из города и шел далее незваным гостем. Ларин явился в Кишинев во время Пушкина как будто для того, чтоб избавить его от затруднения выдумывать фамилию для одного из лиц «Евгения Онегина».

Чья голова невидимо теплится перед истиной, тот редко проходит чрез толпу мирно; раздраженный неуважением людей к своему божеству, как человек, он так же забывается, грозно осуждает чужие поступки и, как древний диар, заступает за правоту своего приговора: на поле дело решается божьим судом... Верстах в двух от Кишинева, на запад, есть урочище посреди холмов, называемое Малиной,— только не от русского слова *малина*: здесь городские виноградные и фруктовые сады. Это место как будто посвящено обычаем «полю». Подъехав к саду, лежащему в вершине лоцины, противники восходят на гору по извивающейся между виноградными кустами тропинке. На лугу, под сенью яблонь и шелковиц, близ дубовой рощицы, стряпчие вымеряют поле, а между тем подсудимые сбрасывают с себя платье и становятся на место. Здесь два раза «полевал» и Пушкин, но, к счастью, дело не доходило даже до первой крови, и после первых выстрелов его противники предлагали мир, а он принимал его. Я не был стряпчим, но был свидетелем издали одного «поля», и признаюсь, что Пушкин не боялся пули точно так же, как и жала критики. В то время как в него целили, казалось, что он, улыбаясь сатирически и смотря на дуло, замышлял злую эпиграмму на стрельца и на промах.

Пушкин так был пылок и раздражителен от каждого неприятного слова, так дорожил чистотой мнения о себе, что однажды в обществе одна дама, не поняв его шутки, сказала ему дерзость. «Вы должны отвечать за дерзость жены своей», — сказал он ее мужу. Но боярин равнодушно объяснил, что он не отвечает за поступки жены своей. «Так я вас заставлю знать честь и отвечать за нее», — вскричал Пушкин, и неприятность, сделанная Пушкину женою, отозвалась на муже. Этим все и заключилось; только с тех пор долго бояре дичились Пушкина. <...>

1837

52

### И. П. Липранди

#### ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Период времени пребывания Пушкина в Кишиневе, относительно общества, должен делиться на две части: *первая*, с сентября 1820 г., когда он приехал, до мая 1821-го, когда Кишинев начал наводняться, по случаю гетерии, боярами из Придунайских княжеств, преимущественно из Молдавии, и несколькими семействами фанариотов из Константинополя и других мест Турции. *Вторая* часть — с мая 1821 по июль 1823 года, когда Пушкин оставил Кишинев и переехал в Одессу. Оба периода представляют большую между собой разницу относительно общества. Очень справедливо сказано, что кишиневское общество слагалось «из трех довольно резких отделов». В первом — мир чиновный; второй — составляли молдаванские бояре, одни находились на службе, другие — зажиточные помещики; и наконец, третий, «самый замечательный» отдел — из людей военных<...>.

В декабре 1821 года, по поручению генерала Орлова, я должен был произвести следствие в 31-м и 32-м егерских полках. Первый находился в Измаиле, второй в Аккермане. Пушкин изъявил желание мне сопутствовать, но, по неизвестным причинам, Инзов не отпускал его. Пушкин обратился к Орлову, и этот

выпросил позволения. Мы отправились прежде в Аккерман, так как там мне достаточно было для выполнения поручения нескольких часов. В Бендерах, так интересовавших Пушкина по многим причинам (как это скажу после), он хотел остановиться, но был вечер, и мне нельзя было потерять несколько часов, а потому и положили приехать в другой раз. Первая от Бендер станция, Каушаны, опять взбудоражила Пушкина: это бывшая до 1806 года столица буджацких ханов. Спутник мой никак не хотел мне верить, что тут нет никаких следов, все разнесено, не то что в Бакчи-Сарае; года через полтора, как видно будет далее, он мог убедиться и сам в том, что ему все говорили; до того же времени оставался беспокойным. Развалины древней башни в Паланке, мимо которых мы проезжали днем, интересовали его гораздо менее.

В Аккермане мы заехали прямо к полковому командиру Андрею Григорьевичу Непенину (старому моему соратнику и бывшему в 1812 и 1815 годах адъютантом у князя Щербатова) и поспели к самому обеду, где Пушкин встретил своего петербургского знакомца подполковника Кюрто, кажется, бывшего его учителем фехтования и месяца за два назначенного комендантом Аккерманского замка на место полковника фон Троифа. Обед кончился поздно, идти в замок было уже незачем, к тому же было и снежно, дождливо. Вечер проведен был очень весело. Старик Кюрто, француз, был презабавен. Об Овидии не было и помину. Кюрто звал всех на другой день к себе обедать.

Рано утром я отправился по поручению к ротам, оставя Пушкина еще спящим; но когда возвратился, то он ушел уже к коменданту, куда вскоре последовали и мы. Пушкин в это время ходил с Кюрто осматривать замок, сложенный из башен различных эпох, но мы не долго их прождали. Все обедавшие не прочь были, как говорится, погулять, и хозяин подавал пример гостям своим. Пушкин то любезничал с пятью здоровенными и не первой уже молодости дочерьми хозяина, которых он увидел в первый раз, то подходил к столикам, на которых играли в вист, и, как охотник, держал пари, то брал свободную колоду и, стоя у стола, предлагал кому-нибудь срезать (в штос); звонкий его смех слышен был во всех углах. Далеко за

полночь возвратились мы домой. Поутру мне хотелось повидаться со швейцарцем Тарданом, учредившим колонию в д. Шабо, в трех верстах на юг от Аккермана. Пушкин поехал со мной. Тардан очень ему понравился, а Пушкин Тардану, удовлетворявшему бесчисленным вопросам моего спутника. Мы пробыли часа два и взяли Тардана с собой обедать к Непенину. Отобедав, выехали в шесть часов в Измаил.

В этот раз Пушкин в Овидиополь не ездил, да было бы и весьма трудно в декабре месяце, при тогдашних переправах, которые в хорошую погоду совершались в сутки один только раз. В эту поездку Пушкин не проводил ночи на прибрежной Аккерманской башне, смотря на Овидиополь, — как свидетельствовал уездный учитель. Может быть, это было в следующем году, когда я уезжал на пять месяцев из Бессарабии, но и в таком случае мне пришлось бы узнать о том.

До Татар-Бунара не было между нами произнесено имени Овидия, хотя разговор не умолкал: я должен был удовлетворять вопросы о последних войнах и некоторых лицах, участвовавших в оных, так и о некоторых бессарабских, которых не вполне еще узнал. Непенин ему не понравился, о причине тому скажу в своем месте. В Татар-Бунар мы приехали с рассветом и остановились отдохнуть и пообедать. Пока нам варили курицу, я ходил к фонтану, а Пушкин что-то писал, по обычаю, на маленьких лоскутках бумаги и как ни попало складывал их по карманам, вынимал опять, просматривал и т. д. Я его не спрашивал, что он записывает, а он, зная, что я не сторонник до стихов, ничего не говорил. Помню очень хорошо, что он жалел, что не захватил с собою какого-то тома Овидия; я засмеялся и сказал, что я вдвое жалею, что не захватил у Непенина чего-нибудь поесть; он тоже засмеялся и проговорил какую-то латинскую пословицу. Услышав из моих расспросов о посаде Вилково, лежащем при самом устье левого берега Дуная (Килийского, самого северного из рукавов) и славящемся ловлею сельдей, что со второй станции есть поворот на Килию, от которой идет туда дорога, он неотступно желал, чтобы заехали туда, и даже несколько надулся; но я ему доказал, что теперь этого сделать никак нельзя, что к послезавтраму два баталиона стянута в Измаил для моего опроса, а завертывая в Вилково, мы потеряем более суток, ибо в

настоящее время года и при темноте от Килии до посада по дороге, или, лучше сказать, по тропинке, идущей по самым обрывам берега Дуная, ночью ехать невозможно. Он скоро сознал это, опять повеселел, и мы отправились. {...}

В Измаил, или, правильнее, в Тучков, мы приехали в 10 часов вечера и заехали прямо к Славичу, негоцианту, которому я дал слово всегда у него останавливаться. Нас приняли с славянским радушием. Напившись чаю и тотчас сытно поужинав в своей комнате, измученные, разместились мы на диванах. Я вышел по делам рано, оставив Пушкина еще спящим; часа через два возвратился: он был уже как свой в семействе Славича и отказался ехать со мной обедать к коменданту генерал-лейтенанту Сандерсу (участнику под Ларгой и при Кагуле, большому оригиналу); я поехал один и возвратился уже в полночь. Пушкин еще не спал и сообщил мне, что он со Славичем обошел всю береговую часть крепости и, как теперь помню, что он удивлялся, каким образом Де-Рибас во время суворовского штурма мог со стороны Дуная взобраться на эту каменную стену и пр. Подробности штурма ему были хорошо известны. Тогда же сообщил он, что свояченица хозяина продиктовала ему какую-то славянскую песню; но беда в том, что в ней есть слова иллирийского наречия, которых он не понимает, а она, кроме своего родного и итальянского языка, других не знает, но что завтра кого-то найдут и растолкуют. В десять часов утра, когда я совсем был уже готов идти для исполнения служебного поручения, вошел ко мне лейтенант И. П. Гамалей; я свел его с Пушкиным, а сам отправился к собранным ротам; кончив, я возвратился, чтобы взять Пушкина и ехать обедать к начальнику карантин Жукову; но Пушкин и Гамалей опять ушли осматривать город и пр. В этот день я возвратился в полночь, застал Пушкина на диване с поджатыми ногами, окруженного множеством лоскутков бумаги.

— Не добрались ли вы до папильотков Ирены? (сваяченицы) — спросил я его. Он засмеялся, подобрал все кое-как, положил под подушку и рассказал мне, что Гамалей возил его опять в крепость; потом на место, где зимует флотилия, в карантин; а после обеда хозяин водил их в кассино; наконец, ужинали, и

Гамалей недавно ушел вместе с другим лейтенантом, Щербачевым: оба очень понравились Пушкину. Опорожнив графин систовского вина, мы уснули. Пушкин проснулся ранее меня. Открыв глаза, я увидел, что он сидел на вчерашнем месте, в том же положении, совершенно еще не одетый, и лоскутки бумаги около него. В этот момент он держал в руках перо, которым как бы бил такт, читая что-то; то понижал, то подымал голову. Увидев меня проснувшимся же, он собрал свои лоскутки, стал одеваться, и потом нам принесли чай и кофе. Часу в одиннадцатом пришли Гамалей и Щербачев, и Пушкин опять отправился с ними, как я узнал, вначале — в крепостную церковь, где есть надписи некоторым из убитых на штурме. Я остался дома и занялся рапортами; окончив, отдал переписывать пришедшему писарю, потом пошел к генералу С. А. Тучкову — основателю города. Почтенный старец этот, тогда еще в сильной опале, неотменно пожелал видеть Пушкина и просил сказать Славичу, что и он будет к нему на щи. Все уже собрались, но Пушкин и его два спутника пришли к самому обеду. Пушкин был очарован умом и любезностью Сергея Алексеевича Тучкова, который обещал что-то ему показать, и отправился с ним после обеда к нему. Пушкин возвратился только в 10 часов, но видно было, что он был как-то не в духе. После ужина, когда мы вошли к себе, я его спросил о причине его пасмурности; но он мне отвечал неудовлетворительно, заметив, что если бы можно, то он остался бы здесь на месяц, чтобы просмотреть все то, что ему показывал генерал. «У него все классики и выписки из них», — сказал мне Пушкин. Мы начали шутить насчет классических форм Ирены, и Пушкин сознался, что в настоящее время едва ли эти последние не лучше. Мы легли. Он сказал мне, что с полчаса посидит, чтобы кое-что записать для памяти. Я уснул. В полдень наша повозка была уже у крыльца. Позавтракав, мы поскакали и через пять часов были в Болграде, где прямо заехали к управлявшему болгарскими колониями, майору Малевинскому. Пушкин считался при Инзове, следовательно, Малевинский, видевший, как обращается с ним Инзов, оказывал всю предупредительность. Мы напились чаю, и нас оставляли ночевать(...) «По крайней мере поужина-

ем», — сказал я ему. Пушкин нашел это дельным. В 11 часов, в ужасную темноту, мы отправились; я курил; Пушкин что-то приговаривал. Подъезжая ко второй станции, к Гречени, он дремал; но когда я ему сказал: жаль, что темно, он бы увидел влево Кагульское поле, при этом слове он встрепенулся, и первое его слово было: «Жаль, что не ночевали, днем бы увидели». Тут я опять убедился, что он вычитал все подробности этой битвы, проговорил какие-то стихи и потом заметил, что Ларга должна быть вправо, и пр. Через две станции от Гречени мы приехали в Готешти. Здесь мы толковали, что происхождение этого названия должно быть от какого-нибудь племени готов. Начало рассветать, когда я ему показал, через Прут, молдавский городок Фальчи. Не отвечая, он задумался, и на вопрос: «Не об Иренице ли?» — он засмеялся и потом сказал, что он где-то читал о Фальчи, но теперь не может вспомнить; когда же я ему назвал Кантемира, он вдруг припомнил все, но находил только, что происхождение Фальчи от тайфал, тут живших, находит очень натянутым. Я его спросил, как он думает, что тайфалы — не то ли же самое, что бессы, которые жили за несколько веков тут же, и что, на готском или германском языке, тайфал, пожалуй, то же, что по-славянски бессы. «А пожалуй», — отвечал он. Географическо-исторический разговор наш кончился приездом на станцию Леки. Я привожу этот разговор единственно только для того, чтобы показать, что Александр Сергеевич хотя и поверхностно еще, но и тогда уже знал историю этих мест, чтоб не впасть в ошибку насчет места ссылки Овидия.

В г. Леово мы въехали к подполковнику Катасанову, командиру казачьего полка. Он был на кордонах; нас принял адъютант, с ним живший. Было 10 ч. утра. Напившись чаю, мы хотели тотчас выехать, но он нас не отпустил, сказав, что через час будет готов обед. Мы очень легко согласились на это. Потолковали о слухах из Молдавии; через полчаса явилась закуска: икра, балык и еще кое-что. Довольно уставши, мы выпили по порядочной рюмке водки и напали на соленья; Пушкин был большой охотник до балыка. Обед состоял только из двух блюд: супа и жаркого, но зато вдоволь прекрасного донского вина. Желание Пушкина выпить кофе удовлетворено быть вскоре не могло,



и он был заменен дульчецей. Когда мы уже сели в каруцу, нам подали еще вина и хозяин, ехавший верхом, проводил нас за город. Я показал Пушкину Троянов вал, когда мы проезжали через него; он одинаково со мной не разделял мнения, чтобы это был памятник владычества римлян в этих местах. Прошло, конечно, полчаса времени, что мы оставили Леово, как вдруг Александр Сергеевич разразился ужасным хохотом, так, что вначале я подумал, не болезненный ли какой с ним припадок. «Что такое так веселит вас?» — спросил я его. Приостановившись немного, он отвечал мне, что заметил ли я, каким образом нас угостили, и опять тот же хохот. Я решительно ничего не понимал и ничего особенного в обеде не заметил. Наконец, он объяснил мне, что суп был из куропаток, с крупно накрошенным картофелем, а жаркое из курицы. «Я люблю казаков за то, что они своеобразничают и не придерживаются во вкусе общепринятым правилам. У нас, да и у всех, сварили бы суп из курицы, а куропатку бы зажарили, а у них наоборот!» — и опять залился хохотом. На этот раз и я смеялся; действительно, я не заметил этого, потому ли, что более свыгчен с причудливым приготовлением в военное время. Пушкин заключил тем, что это, однако же, вкусно, и впоследствии в Кишиневе сообщил Тардифу. В 9 часов вечера, 23 декабря, мы были дома.〈...〉

Здесь нахожу нужным заметить, что в эту поездку из Кишинева, через Аккерман, Измаил и Леово, мы не встречали ни одного цыганского табора. Может быть, если только Пушкин ездил вторично между февралем и июлем 1822 года, когда меня не было в Бессарабии, то он мог их встретить в Буджацких степях, которые, впрочем, редко посещаются таборами; болгарские и немецкие колонии им враждебны. Цыгане снуют более, начиная от Бендер, на север, и их всегда можно было видеть около Кишинева. Любимое их расположение было за садами малины (так называемая виноградная долина в двух верстах от Кишинева, куда мы часто ездили в сад отставного израненного егерского поручика Кобылянского, которому Охотников, обязанный жизнью в одном из сражений 1813 года, кажется под Герлицем, купил и подарил его). Затем другие таборы располагались у Рышконовки и у

Прункуловой мельницы, также под самым Кишиневом. Но Пушкин их мог очень часто встречать и прежде, нежели был в Бессарабии, а именно в поездку свою с Раевским на Кавказ, в Новороссийском крае: там таборы были часты. Они кочевали от берегов Прута далеко на восток. Не думаю, чтоб Пушкин до прибытия своего в Бессарабию не имел случая, при своей наблюдательности, изучить их. Пылкое воображение и поэтический дар создали остальное(...).

Не только Пушкина, одаренного самым пламенным воображением, но и каждого из нас, внезапно перенесшегося в край, вовсе не схожий с тем, что мы видели в Европе, должно было занимать все встречающееся в Кишиневе, особенно в эпоху 1821 года. Впечатления эти, несомненно, должны были действовать сильнее на молодого поэта, нежели на всех других. Он ловил то, что более его поражало, и мы видим подражание одной из помянутых песен: «Жги меня, режь меня...» — и т. д. (...)

Я знал Александра Сергеевича вспыльчивым, иногда до иступления; но в минуту опасности, словом, когда он становился лицом к лицу со смертью, когда человек обнаруживает себя вполне, Пушкин обладал в высшей степени невозмутимостью, при полном сознании своей запальчивости, виновности, но не выражал ее. Когда дело дошло до барьера, к нему он являлся холодным как лед. На моем веку, в бурное время до 1820 года, мне случалось не только что видеть множество таких встреч, но не раз и самому находиться в таком же положении, а подобной природы, как у Пушкина в таких случаях, я встречал очень немного. Эти две крайности, в той степени, как они соединились у Александра Сергеевича, должны быть чрезвычайно редки. К сему должно еще присоединить, что первый взрыв его горячности не был недоступным до его рассудка. Вот чему я был близким свидетелем.

В конце октября 1820 года брат генерала М. Ф. Орлова, л.-гв. уланского полка полковник Федор Федорович, потерявший ногу, кажется, под Бауценом или Герлицем, приехал на несколько дней в Кишинев. Удаливость его было известно. Однажды, после обеда, он подошел ко мне и к полковнику А. П. Алексеву и

находил, что будет гораздо приятнее куда-нибудь отправиться, нежели слушать разговор «брatца с Охотниковым о политической экономии!». Мы охотно приняли его предложение, и он заметил, что надо бы подобрать еще кого-нибудь; ушел в гостиную к Михайле Федоровичу и вышел оттуда под руку с Пушкиным. Мы отправились без определенной цели, куда идти: предложение Алексеева идти к нему было единогласно отвергнуто, и решили идти в бильярдную Гольды. Здесь не было ни души. Спрошен был портер. Орлов и Алексеев продолжали играть на бильярде на интерес и в придачу на третью партию вазу жженки. Ваза скоро была подана. Оба гусара порешили пить круговой; я воспротивился, более для Пушкина, ибо я был привычен и находил даже это лучше, нежели не очередно. Алексеев предложил на голоса; я успел сказать Пушкину, чтобы он не соглашался, но он пристал к первым двум, и потому приступили к круговой. Первая ваза кое-как сошла с рук, но вторая сильно подействовала, в особенности на Пушкина; я оказался крепче других. Пушкин развеселился, начал подходить к бортам бильярда и мешать игре. Орлов назвал его школьником, а Алексеев присовокупил, что школьников проучивают... Пушкин рванулся от меня и, перепутав шары, не остался в долгу и на слова; кончилось тем, что он вызвал обоих, а меня пригласил в секунданты. В десять часов утра должны были собраться у меня. Было близко полночи. Я пригласил Пушкина ночевать к себе. Дорогой он уже опомнился и начал бранить себя за свою арабскую кровь, и когда я ему представил, что главное в этом деле то, что причина не совсем хорошая и что надо как-нибудь замаять; «Ни за что! — произнес он, остановившись. — Я докажу им, что я не школьник!» — «Оно все так, — отвечал я ему, — но все-таки будут знать, что всему виной жженка, а притом я нахожу, что и бой не ровный». — «Как не ровный?» — опять остановившись, спросил он меня. Чтобы скорей разрешить его недоумение и затронуть его самолюбие, я присовокупил: «Не ровный потому, что может быть из тысячи полковников двумя меньше, да еще и каких ничего не значит, а вы двадцати двух лет уже известны», — и т. п. Он молчал. Подходя уже к дому, он произнес: «Скверно, гадко; да как же кончить?» — «Очень легко, — ска-

зал я, — вы первый начали смешивать их игру; они вам что-то сказали, а вы им вдвое, и наконец, не они, а вы их вызвали. Следовательно, если они придут не с тем, чтобы становиться к барьеру, а с предложением помириться, то ведь честь ваша не пострадает». Он долго молчал и наконец сказал по-французски: «Это басни: они никогда не согласятся; Алексеев, может быть, — он семейный, но Теодор никогда: он обрек себя на натуральную смерть, то все-таки лучше умереть от пули Пушкина или убить его, нежели играть жизнью с кем-нибудь другим». Я не отчаивался в успехе. Закусив, я уложил Пушкина, а сам, не спавши, дождался утра и в осьмом часу поехал к Орлову. Мне сказали, что он только что выехал. Это меня несколько озадачило. Я опасался, чтобы он не попал ко мне без меня: я поспешил к Алексееву. Проезжая мимо своей квартиры, увидел я, что у дверей нет экипажа, который с радостью увидел у подъезда Алексеева, а еще более, и так же неожиданно, обрадовался, когда едва я показался в двери, как они оба в один голос объявили, что сейчас собирались ко мне посоветоваться, как бы окончить глупую вчерашнюю историю. «Очень легко, — отвечал я им, — приезжайте в 10 часов, как условились, ко мне; Пушкин будет, и вы прямо скажете, чтобы он, так как и вы, позабыл вчерашнюю жженку». Они охотно согласились. Но Орлов не доверял, что Пушкин согласится. Возвратясь к себе, я нашел Пушкина вставшим и с свежей головой, обдумавшим вчерашнее столкновение. На сообщенный ему результат моего свидания он взял меня за руку и просил, чтобы я ему сказал откровенно: не пострадает ли его честь, если он согласится оставить дело? Я повторил ему сказанное накануне, что не они, а он их вызвал, и они просят мира: «Так чего же больше хотите?» Он согласился, но мне все казалось, что он не доверял, в особенности Орлову, чтобы этот отложил такой прекрасный случай подраться; но когда я ему передал, что Федор Федорович не хотел бы делом этим сделать неприятное брату, — Пушкин, казалось, успокоился. Видимо, он страдал только потому, что столкновение случилось за бильярдом, при жженке: «А не то славно бы подрался; ей-богу, славно!» Через полчаса приехали Орлов и Алексеев. Все было

сделано, как сказано; все трое были очень довольны; но мне кажется, все не в той степени, как был рад я, что не дошло до кровавой развязки: я всегда ненавидел роль секунданта и предпочитал действовать сам. За обедом в этот день у Алексеева Пушкин был очень весел и, возвращаясь, благодарил меня, объявив, что если когда представится такой же случай, то чтобы я не отказал ему в советах — и пр. (...)

К числу некоторых противоречий в его вседневной жизни я присовокуплю еще одну замечательную черту, которую, как казалось, я мог подметить в нем: это неограниченное самолюбие, самоуверенность, но с тою резкою особенностью, что оно не составляло основы его характера, ибо там, где была речь о поэзии, он входил в жаркий спор, не отступая от своего мнения; конечно, об этом предмете в Кишиневе он мог только говорить с А. Ф. Вельтманом и В. Ф. Раевским, а также еще с В. П. Горчаковым и Н. С. Алексеевым, но с этими последними мне не случалось его слышать: они были безусловными поклонниками непогрешимости его поэзии, следовательно, и столкновения по этому предмету быть не могло. Другой предмет, в котором Пушкин никогда не уступал, это готовность на все опасности. Тут, по крайней мере в моих глазах, он был неподражаем, как выше было уже замечено. В других же случаях этот яро самопризнающий свой поэтический дар и всегдашнюю готовность стать лицом со смертью смирялся, когда шел разговор о каких-либо науках, в особенности географии и истории, и легким, ловким спором как бы вызывал противника на обогащение себя сведениями; этому не раз был я также свидетелем. В таких беседах, особенно с В. Ф. Раевским, Пушкин хладнокровно переносил иногда довольно резкие выходки со стороны противника и, занятый только мыслью обогатить себя сведениями, продолжал обсуждение предмета. Очень правильно замечено в статье, что «беседы у Орлова и пр. заставили Пушкина пристальней глядеть на самого себя и в то же время вообще направляли его мысли к занятиям умственным». По моему мнению, беседы его, независимо от Орлова, но с Вельтманом, Раевским,

Охотниковым и некоторыми другими много тому содействовали; они, так сказать, дали толчок к дальнейшему развитию научно-умственных способностей Пушкина, по предметам серьезных наук.

Относительно самолюбия Пушкина к своему поэтическому дару, то оно проявлялось во всех случаях пребывания его в Кишиневе и в Одессе: не говоря уже о том, что он сам любил сравнивать себя с Овидием, но он любил, когда кто хвалил его сочинения и прочитывал ему из них стих или два (...)

Я уже имел случай сказать, что Александр Сергеевич всегда восхищался подвигом, в котором жизнь ставилась, как он выражался, на карту. Он с особенным вниманием слушал рассказы о военных эпизодах; лицо его краснело и изображало жадность узнать какой-либо особенный случай самоотвержения; глаза его блистали, и вдруг часто он задумывался. Не могу судить о степени его славы и поэзии, но могу утвердительно сказать, что он создан был для поприща военного, и на нем, конечно, он был бы лицом замечательным; но, с другой стороны, едва ли к нему не подходят слова императрицы Екатерины II, сказавшей, что она «в самом младшем чине пала бы в первом же сражении на поле славы». (...)

1866

## 53

### П. И. Долгоруков.

#### ИЗ ДНЕВНИКА

*Кишинев. 11 января 1822.* Сегодняшнее заседание прошло без большого шума. Обедал у Инзова. Во время стола слушали рассказы Пушкина, который не умолкал ни на минуту, пил беспрестанно вино и после стола дурачил нашего экзекутора. Жаль молодого человека. Он с дарованиями; но рассудок, кажется, никогда не будет иметь приличного ему места в сей пылкой головушке, а нравственности и требовать нечего. Может ли человек, отвергающий правила веры и общественного порядка, быть истинно

добродетелен? — не думаю. Пушкин прислан сюда, просто сказать, жить под присмотром. Он перестал писать стихи, — но этого мало. Ему надобно было переделать себя и в отношении к осторожности, внушаемой настоящим положением, а это усилие, встречая беспрестанный отпор со стороны его свойства, живого и пылкого, едва ли когда ему, разве токмо по проществу молодости, удастся. Вместо того чтобы прийти в себя и восчувствовать, сколько мало правила, им принятые, терпимы быть могут в обществе, он всегда готов у наместника, на улице, на площади всякому на свете доказать, что тот подлец, кто не желает перемены правительства в России. Любимый разговор его основан на ругательствах и насмешках, и самая даже любезность стягивается в ироническую улыбку.

*8 марта 1822.* Пушкину объявлен домовый арест за то, что прибил одного знатного молдавана, не хотевшего с ним выйти на поединок. Сцена, как сказывают, происходила в доме вице-губернатора, который вместе с бригадным командиром Пуциным приглашены были к наместнику для объяснения по сему предмету. (...)

*9 марта.* (...) Погода сегодня была прекрасная, и наместник до обеда занимался в своей маленькой оранжерее, которую он прошлую осенью выстроил у большого дома, оставленного им по случаю бывшего 5 ноября сильного землетрясения. Я между тем прогуливался с Стойковичем, Худобашевым и Манделем, и мы заходили к Пушкину, который скорыми шагами размеривал свою комнатку, обрадовался, увидя нас, смеялся беспрестанно и спрашивал, надолго ли его засадили. У дверей поставлен часовой. Его, однако ж, пускают в сад и на двор, и, исключая молдаван, всякий может с ним видеться.

Историю нашего молодого поэта рассказывают следующим образом. За несколько времени перед сим имел он поединок с шефом 31-го Егерского полка Старовым. Поссорились они за дрянь, и оба выстрелили на воздух. Происшествие тогда же разнеслось по городу, и скоро об нем забыли, исключая двух или трех молдаван, у которых оно осталось в памяти.

В прошедшее воскресенье на маленькой вечеринке у молдаванки Богдан дочь ее г-жа Балш, вмешавшись в разговоры и суждения насчет удовлетворения, какое требовать должен брат ее мужа Янко Балш за причиненные ему побои, сказала Пушкину, вызвавшемуся отмстить честь обиженного: «Вы и себя-то плохо защищаете» и пр. Пушкин, любя страстно женский пол, а в особенности, как полагают, г-жу Балш, забыл на ту минуту все, бросился к мужу ее Теодарашке Балш, который играл в карты, и объявил, что ему надобно за жену драться. Сей не знал, на что ему решиться. Но когда сама жена стала жаловаться на Пушкина, то и его забрало в очередь. Полетели ругательства. Молдаван расвирепел, называл Пушкина трусом, ссылочным и пр. Сцена, как рассказывали мне очевидцы, была ужаснейшая. Балш кричал, содомил, старуха Богдан упала в обморок, беременной вице-губернаторше приключилась истерика, гости разбрелись по углам, люди кинулись помогать лекарю, который тотчас явился со спиртами и каплями,— оставалось ждать еще ужаснейшей развязки, но генерал Пуцин успел все привести в порядок и, схватив Пушкина, увез с собою. Об этом немедленно донесли наместнику, который тотчас велел помирить ссорящихся. Вчера поутру свели их в доме вице-губернатора. Балш начал просить прощения, извиняясь похмельем, но Пушкин, вместо милости и пощады, выхватил заряженный пистолет и, показывая оный, сказал Балшу: «Вот как я хотел с вами разделаться. Здесь уже не место». При сих словах, положив пистолет обратно в карман, он ударил его в щеку. Их тотчас розняли, и Пушкин потом приехал к генералу, который мыл ему голову в кабинете и после обеда отправил его с адъютантом под арест.

*1 апреля.* Пушкин спорил за столом с наместником на счет нынешней нравственности и образа жизни. Он защищал новые правила, новые обычаи, Инзов, напротив, воздавал хвалу старым и доказывал их превосходство. {...}

*7 апреля.* Диспут у генерала между Стойковичем и Пушкиным насчет грамматических несогласий в русском языке. Пушкин утверждал, что висящий меч,



спящий человек не означает полного, совершенного действия. Стойкович полагал, напротив, что глагол: висящий, спящий, подразумевает слова: который висит, который спит. Далее рассуждали они о несовершенствах нашего правописания. Например, двенадцать, седло и пр. тому подобные слова надлежало бы писать без буквы «ять», ибо говорят двенадесять, осёдлость. Давнопрошедшее писывал, хаживал должно производить от глаголов писывать, хаживать, а не писать и ходить, поелику слово писывал означает действие многократно совершенное, каковое не заключается в начальном наклонении глагола писать. Пушкин приводил свои доводы с жаром, Стойкович с умеренностью, и, к счастью, не дошло у них ни до каких колкостей.

*15 апреля.* ...Пушкин рассуждал за столом о нравственности нашего века, отчего русские своего языка гнушаются, отчизне цены не знают, порочил невежество духовенства; говорил с жаром, но ничего не выпустил нового. Мы все слушали со вниманием.

*30 апреля.* (...) Пушкин и Эйсмонт спорили за столом на счет рабства наших крестьян. Первый утверждал с горячностью, что он никогда крепостных за собою людей иметь не будет, потому что не ручается составить их благополучие, и всякого владеющего крестьянами почитает бесчестным, исключая отца своего, который хотя честен, но не имеет на этот счет одинаких с ним правил. Эйсмонт ловил Пушкина на словах, но не мог выдержать с ним равенства в состязании. Что принадлежит до наместника, то он слушал и принимался также опровергать его, но слабо и более шутками, нежели доводами сильными и убедительными. Я не осуждаю с своей стороны таких диспутов, соглашусь даже и в том, что многие замечания Пушкина справедливы, да и большая часть благомыслящих и просвещенных людей молча сознаются, что деспотизм мелких наших помещиков делает стыд человечеству и законам, но не одобряю привычки трактовать о таких предметах на русском языке.

ке.— Пушкин ругает правительство, помещиков, говорит остро, убедительно, а за стульями слушают и внимают соблазнительным мыслям и суждениям...

27 мая. За столом у наместника Пушкин, составляя, так сказать, душу нашего собрания, рассказывал по обыкновению разные анекдоты, потом начал рассуждать о Наполеонове походе, о тогдашних политических переворотах в Европе, и, переходя от одного обстоятельства к другому, вдруг отпустил нам следующий силлогизм: «Прежде народы восставали один против другого, теперь король Неаполитанский воюет с народом, Прусский воюет с народом, Гишпанский — тоже; нетрудно расчесть, чья сторона возьмет верх». Глубокое молчание после этих слов. Оно продолжалось несколько минут, и Инзов перервал его, повернув разговор на другие предметы.

30 июля. Наместник ездил сегодня на охоту с ружьем и собакою. В отсутствие его накрыт был стол для домашних, за которым и я обедал с Пушкиным. Сей последний, видя себя на просторе, начал с любимого своего текста о правительстве в России. Охота взяла переводчика Смирнова спорить с ним, и чем более он опровергал его, тем более Пушкин разгорался, бесился и выходил из терпения. Наконец полетели ругательства на все сословия. Штатские чиновники подлецы и воры, генералы скоты большею частию, один класс земледельцев почтенный. На дворян русских особенно нападал Пушкин. Их надобно всех повесить, а если б это было, то он с удовольствием затягивал бы петли.

1822

54

Ф. Ф. Вигель

ИЗ «ЗАПИСОК»

С первой минуты прибывшего совсем без денег молодого человека Инзов поместил у себя жителством, поил, кормил его, оказывал ласки, и так

осталось до самой минуты последней их разлуки. Никто так глубоко не умел чувствовать оказываемые ему одолжения, как Пушкин, хоть между прочими пороками, коим не был он причастен, накидывал он на себя и неблагодарность. Его веселый, острый ум оживил, осветил пустынное уединение старца. С попечителем своим, более чем с начальником, сделался он смел и шутлив, никогда не дерзок; а тот готов был все ему простить. Была сорока, забавница целомудренного Инзова; Пушкин нашел средство выгучить ее многим неблагопристойным словам, и несчастная тотчас осуждена была на заточение; но и тут старик не умел серьезно рассердиться. Иногда же, когда дитя его распроказничается, то более для предупреждения неприятных последствий, чем для наказания, сажал он его под арест, то есть несколько дней не выпускал его из комнаты. Надобно было послушать, с каким нежным участием и Пушкин отзывался о нем.

«Зачем он меня оставил? — говорил мне Инзов, — ведь он послан был не к генерал-губернатору, а к попечителю колоний; никакого другого повеления об нем с тех пор не было; я бы мог, но не хотел ему препятствовать. Конечно, в Кишиневе иногда бывало ему скучно; но разве я мешал его отлучкам, его путешествиям на Кавказ, в Крым, в Киев, продолжавшимся несколько месяцев, иногда более полугода? Разве отсюда не мог он ездить в Одессу, когда бы захотел, и жить в ней, сколько угодно? А с Воронцовым, право, несдобровать ему».

Такие печальные предчувствия родительского сердца, хотя я и не верил им, трогали меня. Я писал к Пушкину, что непростительно ему будет, если он не приедет потешить старика, умолял его именем всех женщин, которых любил он в Кишиневе, навестить нас. И он в половине марта приехал недели на две, остановился у Алексеева и многих, разумеется, в том числе и меня, обрадовал своим приездом (...)

# Глава седьмая



1823 • 1824

Певец Давид был ростом мал,  
Но повалил же Голиаф...

1824

И тайну сердца своего,  
Заветный клад и слез и счастья,  
Хранит безмолвно между тем  
И им не делится ни с кем.

1827

После ареста Раевского и удаления Орлова из 16-й дивизии Кишинев становился небезопасным для Пушкина; о возвращении в Петербург и думать было нечего. 5 апреля Пушкин, тоскуя, звал Вяземского: «Мои надежды не сбылись: мне нынешний год нельзя будет приехать ни в Москву, ни в Петербург. Если летом ты поедешь в Одессу, не завернешь ли по дороге в Кишинев?». Между тем, 7 мая 1823 г. Александр I подписал рескрипт об освобождении И. Н. Инзова от обязанностей полномочного наместника Бессарабии (слишком мягко!) и о назначении графа М. С. Воронцова генерал-губернатором Новороссийского края и наместником Бессарабской области. Резиденцией губернаторства Воронцов выбрал Одессу. Петербургские друзья Пушкина и первый среди них Александр Иванович Тургенев решили хлопотать о переводе Пушкина от Инзова к Воронцову — из Кишинева в Одессу. Ход этих стараний Тургенева отражен в его переписке с П. А. Вяземским, жившим тогда в Москве.

Тургенев — Вяземскому, 9 мая: «Граф Воронцов сделан Новороссийским и Бессарабским генерал-губернатором. Не знаю еще отойдет ли к нему и *бессарабский?*\*»

\* Т. е. Пушкин.

Вяземский — Тургеневу, 31 мая: «Говорили ли вы Воронцову о Пушкине? Непременно надобно бы ему взять его к себе. Похлопочите, добрые люди! Тем более, что Пушкин точно хочет остепениться, а скука и досада — плохие советники».

Еще не получив этого письма, Тургенев сообщал Вяземскому (1 июня): «Я говорил с Нессельроде и с графом Воронцовым о Пушкине. Он берет его к себе от Инзова и будет употреблять, чтобы спасти его нравственность, а таланту даст досуг и силу развиться».

К 15 июня все было окончательно решено. Тургенев передавал подробности: «О Пушкине вот как было. Зная политику и опасения сильных сего мира, следовательно и Воронцова, я не хотел говорить ему, а сказал Нессельроде в виде сомнения: у кого он должен быть: у Воронцова или у Инзова. Граф Нессельроде утвердил первого, а я присоветовал ему сказать о сем Воронцову. Сказано — сделано. Я после и сам два раза говорил Воронцову, истолковал ему Пушкина и что нужно для его спасения. Кажется, это пойдет на лад. Меценат, климат, море, исторические воспоминания — все есть; за талантом дело не станет, лишь бы не захлебнулся. Впрочем я одного боюсь: тебя послали в Варшаву, откуда тебя выслали, Батюшкова — в Италию — с ума сошел; что-то будет с Пушкиным?»

Разрешение Нессельроде оказалось необходимым, потому что Пушкин числился по ведомству иностранных дел и без санкции управляющего министерством его нельзя было никуда перевести. Формально ни Инзов, ни потом Воронцов не были вольны распоряжаться судьбой поэта. Это обстоятельство и вынудило год спустя Воронцова затеять долгую переписку с Нессельроде об удалении Пушкина из Одессы. Но весной 1823 г. Воронцов был настроен благодушно: он год как оставался не у дел, прослав либералом, и вдруг столь блестящее назначение на один из важнейших постов в государстве! Теперь можно было и вновь чуть-чуть поиграть в либерализм, взяв под свое покровительство шалопая-поэта, который по молодости и малоопытности ничем не казался опасен. Очень скоро граф горько пожалел о своей «доброте». Что касается Тургенева, то он как всегда хлопотал от души, но не учел одного: понятия «меценат» и «Пуш-

кин» заведомо были несовместны; впрочем, из последней фразы письма от 15 июня видно, что Тургенев в глубине души и сам опасался плохого исхода.

Как бы то ни было, лечившийся на водах в Одессе Пушкин совершенно неожиданно узнал о перемене судьбы своей (№ 2). И точно, перемена была необходима. В частности и потому, что те формы протеста, оппозиции, подготовки к революционному взрыву, которые наблюдал Пушкин в Кишиневе и Каменке и в которых сам принимал некоторое участие, требовали перемен. Арест Раевского прозвучал сигналом тревоги. Дальнейшие приготовления южных декабристов были скрыты от Пушкина. В Одессе он встречался со многими декабристами — С. Г. Волконским, Н. В. Басаргиным, С. П. Трубецким, — но сдержанность их была абсолютной и умолчание словно висело в воздухе. Ничего общего с бурными открытыми спорами в Каменке и у Орловых! Не случайно, пережив глубокое разочарование, он вскоре в Одессе написал стихотворение «Свободы сеятель пустынный...» (№ 1), определившее важное изменение в его мироощущении и поведении. С этого стихотворения не случайно начинается монтаж документов 7-й главы.

Лучшее описание Одессы — то, что дано в «Путешествии Онегина» (№ 3). Пушкин шутя называл ее летом песочницей, а зимой чернильницей. «Ничто не предвещает вам близости большого торгового города, — удивлялся один из путешественников, подъезжая к Одессе. — Кругом обширная степь, поросшая дикими травами, ненаселенность, напоминающая эпоху, когда еще борзый татарский конь привольно топтал сии безликие поля. Но, проезжая еще несколько верст, вы вдруг тонете, задыхаетесь в волнах песка! Начинаются пыльные пригороды Одессы — Пересыпь».

Бурно разраставшийся торговый порт Одесса был привлекателен для Пушкина во многих отношениях: море — вдохновитель его поэтического воображения; общество, невиданно разнообразное и образованное по сравнению с кишиневским; «информация», как теперь бы сказали, — несравненно более свежая и богатая, нежели в Кишиневе; театр, в котором гастролировала тогда неплохая итальянская опера, у театра

кафе, откуда в антрактах приносили мороженое, и публика лакомилась им, устраиваясь на разбросанных вокруг театра камнях; гостиница Отона с ресторацией и игорной залой; лицей, множество частных пансионатов, куда окрестные помещики привозили отпрысков и т. д. и т. п. Все здесь дышало морем и югом. Но город был все же чопорнее Кишинева: Пушкину пришлось часто сменять архалук и феску на сюртук и шляпу. Только железную палицу он, кажется, удержал, часто с ней появляясь.

Но это не отменяло и других особенностей: городок тогда был невелик, ужасающе пылен из-за нехватки воды — ее в засушливые годы везли из Днепра и продавали по рублю бочка. Щедрый домохозяева отпускали своим квартирантам по ведру воды в сутки на семейство. Пересыпь и Молдованка были по существу пригородными селами, отделявшимися от города пустырями. Знаменитый бульвар только начали благоустраивать во времена Пушкина; сажали ставшие вскоре одесской достопримечательностью акации. Осенью одесские пески превращались в одесскую непролазную грязь. Некоторые улицы огораживались цепями, запрещающими проезд. Но все равно экипажи то и дело застревали и приходилось вытаскивать их при помощи волов. Город пересекали грязные овраги с ветхими мостиками. За городскими пределами появились первые оазисы: дачи Ришелье, Ланжерона, Рено (по малофонтанской дороге).

Домики в городе были в основном низенькие, среди них выделялся своей импозантностью дом 30-летнего негоцианта сербского происхождения Ивана Ризнича на Херсонской улице. Ризнич исполнял, кроме всего прочего, должность директора театра. В театре с ним, одним из первых в Одессе, познакомился приезжий чиновник канцелярии Воронцова поэт Пушкин. Собственно, немного знал он Ризнича и по своим первым приездам в Одессу. Получивший превосходное образование в итальянских университетах, Ризнич сначала открыл банкирскую контору в Генуе, а потом переселился в Одессу и занялся выгодной торговлей пшеницей. В 1822 г. Иван Ризнич отправился в Вену и весной 1823 г. возвратился с женой — двадцатилетней Амалией полунемецкого-полуйтальянского происхожде-

ния, родом из Флоренции. Полгода с ними вместе жила и ее мать. Пушкин не мог не влюбиться в прекрасную Амалию — она была вызывающе красива, умна и заметно отличалась даже на одесском фоне. Сослуживец и приятель Пушкина поэт В. И. Туманский писал: «замужние наши женщины (выключая прекрасную и любезную госпожу Ризнич) дичатся людей». Высока ростом, стройна, с пламенными очами, удивительной по форме и белизне шеей, необыкновенно длинной черной косой Амалия Ризнич покорила всю Одессу. Даже большой римский нос и большие ступни, которые она всегда прикрывала длинным шлейфом, не помешали ей прослыть первой красавицей. Когда она появлялась на улице в мужской шляпе и оригинальном наряде полуамазонки, все взоры устремлялись на нее. Дом Ризнич стал притягательным салоном для одесского общества. Амалия Ризнич говорила только по-французски и по-итальянски, русская речь в доме на Херсонской была редкостью. Пушкин в ее глазах был не поэтом, а блестящим и остроумнейшим из всех собеседников, владевшим тонкостями французской светской речи. Ну и поклонником, конечно, которого Амалия сразу же отличила в толпе соискателей ее благосклонности. А он, говорили, увивался вокруг нее *као маче* (сербск.) — «как котенок». Но безраздельно вниманием прелестной Амалии овладеть не удавалось — может быть, даже более удачливым воздыхателем оказался помещик, член одесской городской думы Александр Собаньский. В главном одесском светском салоне, у Воронцовых, Амалия принята, по-видимому, не была, или по крайней мере приглашалась лишь на широкие общие приемы, но не на интимные вечера. Зато у Ризничей вечно теснилась молодежь, гремела музыка, велась довольно крупная игра, которой не гнушалась и хозяйка. Здесь расставляла Амалия сети своего очарования, которых мало кто мог избежать. Ризнич, однако, был бдителен: он приставил к жене старого слугу, который вместе с матерью Амалии гарантировал надежность семейного очага. Увы, Амалия была больна чахоткой, ей оставалось недолго жить. 19 июля 1824 г. Ризнич сообщал в частном письме: «У меня тоже большое несчастье со здоровьем моей жены.



После ее родов ей становилось все хуже и хуже. Изнурительная лихорадка, непрерывный кашель, харканье кровью внушали мне самое острое беспокойство. Меня заставляли верить и надеяться, что хорошее время года принесет какое-нибудь облегчение, но к несчастью случилось наоборот. Едва пришла весна, припадки сделались сильнее. Тогда доктора объявили, что категорически и не теряя времени, она должна оставить этот климат, так как иначе они не могли бы поручиться, что она переживет лето. Само собой разумеется, я не мог выбирать и стремительно решился на отъезд. Действительно, я отправил ее вместе с ребенком и, проводив ее до Броды, вынужден был вернуться сюда из-за моих дел, а она отправилась своей дорогой. Она поедет в Швейцарию, а осенью я присоединюсь к ней и отправлюсь с ней в Италию провести зиму. Лишь бы только бог помог ей восстановить здоровье!»

Возможно, Ризнич отчасти лицемерил (отъезд Амалии, говорят, связан был с разрывом супругов), но здоровье ее в самом деле было очень плохо. Уехала она с сыном и тремя слугами в первых числах мая 1824 г. Собаньский бросился за ней, настиг, проводил до Вены. Но там они расстались навсегда. Другой поклонник последовал за ней и в Италию. Не исключено, что и Пушкин, если бы ему удалось осуществить свой план бегства морем в 1824 г., попытался бы отыскать Амалию («Ты звал меня, я был окован»,— так обращался он к морю). В мае 1825 г., оставленная мужем без средств, измученная болезнью, Амалия Ризнич умерла в Италии. Супруг ее вскоре вторично женился. До Пушкина в Михайловском весть о смерти Амалии дошла 25 июля 1826 г. В рукописи его есть помета «Усл. о см. 25», которую большинство исследователей расшифровывают: «услышал о смерти Амалии Ризнич 25 числа». 29-м июля помечена элегия «Под небом голубым...».

Собственно, этим почти исчерпываются конкретные сведения об Амалии Ризнич и отношениях Пушкина с нею. Остальное — стихи, рисунки на полях рукописей, да еще запись в «донжуанском списке»: «Амалия». Однако стихи, как всегда, толкуются неоднозначно. Даже элегия «Простишь ли мне ревнивые

мечты» (№ 7), традиционно относимая к Ризнич, по мнению такого авторитетного пушкиниста, как П. Е. Щеголев, с ней вряд ли связана. Главный довод: в элегии скорее говорится о женщине, незамужней, нежели о почтенной супруге негоцианта. В последнее время выдвинуты и другие доводы: элегия, быть может, вообще не носит автобиографического характера, а восходит лишь к некоторым литературным образцам. Достоверно к Ризнич относятся строфы «Онегина» («негоциантка молодая»), «Под небом голубым...» и «Для берегов отчизны дальней...». Но перечитайте «Под небом голубым...» и вы увидите, что через три года от былой страсти ничего не осталось:

Из равнодушных уст я слышал смерти весть  
И равнодушно ей внимал я...

Что касается одного из изумительных лирических созданий Пушкина — «Для берегов отчизны дальней...», то оно было вызвано к жизни особым настроением болдинской осени 1830 г.: Пушкин прощался с прошлым, готовясь к неизведанному будущему — прошлое предстало перед его глазами, словно приближенное в бинокль. Кстати сказать, Щеголев оспаривал отнесение и этого стихотворения к Ризнич (один из вариантов первых строк: «для берегов чужбины дальней // ты покидала край родной»), но скорее всего в данном случае речь шла все же именно о ней. Кстати, если вслушаться в звукопись первой строки, то возникнет звуковой образ: «Ризнич».

Рукописи первой и второй глав «Евгения Онегина» испещрены «южными» профилями молодой женщины с большими черными глазами и тяжелым узлом уложенной в прическу косы. Над этими главами поэт работал летом и осенью 1823 г. — так и датируется его увлечение Ризнич. Летом 1826 г. на полях пятой главы в последний раз мелькает профиль «негоциантки молодой» — Пушкин узнал о ее кончине и написал элегию. По-видимому, впадают в преувеличение те исследователи, которые считают Амалию Ризнич одним из самых сильных и самых глубоких впечатлений сердечной жизни Пушкина. Чувство к ней было недолгим, хоть, может быть, и сильным, и неизгладимых следов не оставило. Однако не только

дотошные потомки, но и наблюдательные современники связывали имена Пушкина и Ризнич. В. И. Туманский написал сонет «На кончину Р\*... (посвящается А. С. Пушкину)»:

Ты на земле была любви подруга:  
Твои уста дышали слаще роз,  
В живых очах, не созданных для слёз,  
Горела страсть, блистало небо юга.  
К твоим стопам с горячностью друга  
Склонялся мир — твои оковы нёс.  
Но Гименей, как северный мороз,  
Убил цветок полуденного луга.  
И где ж теперь поклонников твоих  
Блестящий рой? Где страстные рыдания?  
Взгляни: к другим уж их влекут желанья,  
Уж новый огонь волнует душу их,  
И для тебя сей голос струн чужих  
Единственный завет воспоминанья!

Не знавшая языка страны, где, в общем-то случайно, пробыла один год, не понимавшая ни ее жизни, ни ее людей, хоть и отличавшаяся острым умом, необыкновенной красотой и притягательной экстравагантностью, Амалия Ризнич не могла оказать значительного воздействия на душу великого русского поэта. Она увлекла его на какое-то время, но увлечение прошло, а остались только три-четыре стихотворения, куда более значительные, чем сам эпизод, вызвавший их к жизни. Не будь этого, вряд ли кто вспомнил бы через полтора столетия Амалию Ризнич...

### «МОГУЧЕЙ СТРАСТЬЮ ОЧАРОВАН...»

Пушкин надежно утаил от нас свою петербургскую любовь — а она по-видимому была; он запутал нас, заставив бесплодно гадать, к кому именно обращены крымские строки и «Бахчисарайский фонтан». Он сделал все от него зависящее, чтобы скрыть от посторонних глаз свою любовь одесскую — уничтожал письма, тщательно вычеркивал даже полунамеки из печатающихся стихов, никому даже словом об этом не обмолвился. Но случилось так, что пушкинисты, а вслед за ними и все читатели эту — и в самом деле одну из важнейших — его тайну проведали. П. В. Анненков, чьи работы о Пушкине выходили при жизни многих

людей, знавших поэта, с величайшей осторожностью намекает: «Предания эпохи упоминают еще о женщине, превосходившей всех других по власти, с которой она управляла мыслью и существованием поэта. Пушкин нигде о ней не упоминает, как бы желая сохранить про себя тайну этой любви. Она обнаруживается у него только многочисленными профилями прекрасной женской головки, спокойного, благородного, величавого типа, которые идут почти по всем его бумагам из одесского периода жизни». Анненков не решился даже инициалами обозначить имя незнакомки. Последующие пушкинисты не были столь щепетильны. Речь, конечно, идет о Елизавете Ксаверьевне Воронцовой. Достаточно точно установлен список стихотворений, обращенных поэтом в разные годы к Воронцовой (№ 15—26); разгаданы многие обстоятельства, связанные с этой любовью; написаны исследования, пусть и талантливые и глубоко научные с точки зрения привлеченных данных, однако в некоторых вопросах уводящие за грань дозволенных предположений о личной жизни поэта...

Но чувство было подлинное, незабываемое (хотя и отошедшее потом в прошлое), и обойти его в биографии Пушкина невозможно...

Елизавета Ксаверьевна Воронцова (8 сентября 1792 — 15 апреля 1880) была младшей из трех дочерей польского помещика Ксаверия Браницкого и Александры Васильевны Энгельгардт — любимой племянницы всесильного Потемкина. В 1774 г. Браницкому было пожаловано прекрасное имение в Белой Церкви под Киевом. Элиза довольно долго не выходила замуж, переживая сестер, пока в 1819 г. к ней не посватался герой войны 1812 г., отпрыск старинного, прославленного заслугами перед отечеством рода граф Михаил Семенович Воронцов (1782—1856). Императрица писала послу России в Лондоне Семену Романовичу Воронцову о его будущей невестке: «Молодая графиня соединяет все качества выдающегося характера, к которому присоединяются все прелести красоты и ума: она создана, чтобы сделать счастливым уважаемого человека, который соединит с ней свою судьбу». Елизавета Ксаверьевна, конечно, была прирожденная царица большого света, но долгие

девические годы она провела в деревне. И это наложило на саму ее светскость неизъяснимый отпечаток простоты в обращении и благородства. Дальний родственник Воронцовой, будущий соперник Пушкина в борьбе за сердце графини, А. Н. Раевский влюбился в нее с первого взгляда: «она очень приятна, у нее меткий, хотя и не очень широкий ум, а ее характер — самый очаровательный... Ровность ее светлого настроения поистине удивительна». Скептик и циник Ф. Ф. Вигель не удержался от комплиментов Воронцовой: «Ей было уже за тридцать лет, а она имела всё право казаться еще самою молоденькою... С врожденным польским легкомыслием и кокетством желала она нравиться, и никто лучше ее в том не успевал. Молода была она душою, молода и наружностью. В ней не было того, что называют красотой, но быстрый, нежный взгляд ее миленьких небольших глаз пронзал насквозь; улыбка ее уст, которой подобной я не видал, казалось, так и призывает поцелуи». Долгие годы Елизавета Ксаверьевна сохраняла очарование, поражавшее современников. Узнавший ее много позже Пушкина В. А. Соллогуб восхищался: «В ней было много привлекательного. Даже в годах преклонных она сияла неувядаемой женственностью, оставалась изящной и молодой по чувству ко всему доброму и прекрасному. В ней соединялись два условия обворожительности: как полька по роду Браницких она всегда оставалась грациозною; как русская по роду Потемкиных, она всегда поражала сановитостью. Собственно красавицею она никогда не была, но никакая красавица не могла бы с нею сравниться. Ее ум, ее тонкое образование, деятельность неутомимая и прелесть обхождения отсвечивались в ней врожденным чувством женской грации, не исчезнувшей даже и в самых преклонных годах...»

Свадьба Воронцовых состоялась в Париже 2 мая 1819 г. Несколько месяцев молодые странствовали по Уэльсу и Англии — второй родине графа, где продолжал служить его отец и навсегда поселилась сестра, выйдя замуж за лорда Пемброка. Затем через Париж и Вену полу-милорд повез жену в Петербург. Конец 1819 и часть 1820 чета провела в русской столице, но круг их знакомств был далек тогда от пушкинского и

юноша-поэт мог видеть молодую Воронцову разве что в театре.

В Одессе Елизавета Ксаверьевна появилась несколько позже Пушкина — 6 сентября 1823 г. В ближайшие после этого дни Пушкин с нею познакомился, но вскоре Елизавета Ксаверьевна удалилась от общества — 23 октября она родила сына Семена будущего наследника всех имений и титула Воронцовых. Когда Воронцова возвратилась к светской жизни, граф и графиня принимали гостей чуть ли не всякий день. В. И. Туманский рассказывал: «Балы, вечера и другие забавы у нас продолжаются по-прежнему: мы много резвились на маскараде, который сделала для нас графиня и на котором сама умно и щеголевато дурачилась, т.е. имела прелестное карикатурное платье и всех в нем интриговала». В самом деле, 12 декабря у Воронцовых был большой бал, 25 декабря — обед для множества приглашенных, 31 декабря — маскарад, 12 февраля снова маскарад... Особенно легко чувствовали себя гости в отсутствие графа, который пробыл в Кишиневе с 25 января по 9 февраля.

Т. Г. Цявловская, совмещавшая в себе непревзойденного знатока «воронцовской темы» и крупнейшего специалиста по рисункам Пушкина, прослеживает, как на полях рукописей «Евгения Онегина» и других черновиков, сменяя друг друга, появляются 32 профиля Елизаветы Ксаверьевны\*. Как бы то ни было, чувство Пушкина к Воронцовой зародилось зимой 1823—1824 гг. и не осталось вовсе безответным. 12 февраля приехал из Киева в Одессу влюбленный в Воронцову Александр Раевский и вскоре возник даже не треугольник, а четырехугольник сложных отношений. Проницательный Вигель вспоминал, видимо, достоверно: «Еще зимой чутьем слышал я опасность для Пушкина, не позволяя себе давать ему советов, но раз, шутя, сказал ему, что по африканскому происхождению его все мне хочется сравнить его с Отелло, а Раевского с неверным другом Яго. Он только что засмеялся». С Воронцовой видется доводилось редко, а наедине и по давню: она ведь всегда была на

\* Прометей. Т. X., 1974.

людях. В мае (23-го) Пушкин был послан в издательскую командировку на борьбу с саранчой, но уже 28-го возвратился, и к этому времени Т. Г. Цявловская относит встречи его с Воронцовой в уединенном гроте близ дачи Рено (№ 16). В. Ф. Вяземская осторожно пишет мужу о Пушкине (27 июня 1824 г.): «он очень занят и особенно очень влюблен, чтобы заниматься чем-нибудь кроме своего Онегина».

«Лучший из одесских хуторов, — рассказывает современник, — есть хутор коммерции советника Рено, находящийся в пяти верстах от города. Высокий берег как стена окружает сию прекрасную дачу, служа преградой ветрам, почти непрерывно дующим в Херсонской губернии. Сквозь ветви, ограничивающие эту панораму, синее открытое море, где извилистый ряд прибрежных скал дробят исполинские волны (...) Рено удачно воспользовался скалами, обнимающими его владение. Посреди скал устроена купальня. Она имеет вид большой раковины, приставшей к утесам».

В черновиках Пушкина описание вполне конкретно:

Есть у моря под ветхою скалою  
Уединенная пещера  
Она полна прохладной темнотой...

И еще вариант:

Пещера дикая видна.  
Она полна прохлады влажной.  
В ней плещут волны — и всегда  
Не умолкает гул протяжный.

П. И. Бартенев, лично знавший Елизавету Ксавьерьевну в старости, записал в своей рабочей тетради: «После известной его эпиграммы на ее мужа (в которой потом сам он раскаивался\*), конечно, обращались с ним очень сухо. Перед каждым обедом, к которому собирались по несколько человек, княгиня\*\*-хозяйка обходила гостей и говорила каждому что-нибудь любезное. Однажды она прошла мимо

\* Оценка эта произвольна — скорее, напротив, Пушкин никогда не примирился с Воронцовым.

\*\* М. С. Воронцов был возведен в княжеское достоинство в 1854 г. У Бартенева — анахронизм.

Пушкина, не говоря ни слова, и тут же обратилась к кому-то с вопросом: «Что нынче дают в театре?» Не успел спрошенный раскрыть рот для ответа, как подскочил Пушкин и положила руку на сердце (что он дельвал, особенно когда отпускал остроты) с улыбкою сказал: «La sposa fidele, contessa» \*. Та отвернулась и воскликнула: «Quelle impertinence!» («Какая наглость!»). Насколько правдива эта запись, трудно сказать — скорее она приближается к бесконечным анекдотам о Пушкине. Но надо помнить, что П. И. Бартенев принадлежал к ревностным собирателям фактов, которые легли в основу многих наших представлений о жизни поэта. К тому же информаторы Бартенева — прежде всего князь и княгиня Вяземские знали Пушкина, может быть, как никто другой...

В середине июня семейство Воронцовых отправлялось в Крым — праздновать новоселье в купленном гурзуфском имении и закладку Алушкинского, всем теперь известного, дворца. Еще зимой Пушкин был уверен, что попадет в число приглашенных и посетит любимый полуденный берег. Он звал и Вяземского с собой: «Что если б ты заехал к нам на Юг нынче весною? Мы бы провели лето в Крыму, куда собирается пропасть дельного народа, женщин и мужчин». Его демонстративно не пригласили, что выглядело как откровенное оскорбление. С этим эпизодом связано стихотворение «Кораблю», на котором уезжала Елизавета Ксавьеревна (№ 15). Третья строка, которая в окончательном тексте выглядит: «И сохрани залог бесценный» имела вариант: «О, возврати залог бесценный». Сохранились обрывки строк недописанной строфы: «Пускай она услышит// Привет...» или: «Привет// услышит в пристани она». 24 июля Елизавета Ксавьеревна возвратилась в Одессу. 29-го Пушкина вызвал градоначальник и объявил о немедленной высылке его из Одессы. В те несколько дней, которые ему еще оставались, он, как полагает Т. Г. Цявловская, виделся с Воронцовой. Елизавета Ксавьеревна вместе с Вяземской, жившей тогда в Одессе, по-видимому, поддерживали неудавшийся проект бегства Пушкина

\* «Верную жену», графиня (ит.). Итальянская опера под таким названием существует на самом деле.



за границу. Причину он сам высказал в стихотворении «К морю» (№ 56): «Могучей страстью очарован, // у берегов остался я». 31 июля Пушкин уехал в Псков.

\* \* \*

Возможно, что они более никогда не встречались или, что вернее, виделись один-два раза на людях в 1827—1828, а также летом 1832 г. в Петербурге, где семья Воронцовых провела две недели по пути из Англии в Одессу. Елизавета Ксаверьевна познакомилась тогда с женой Пушкина. Встреча эта уже не могла ничего изменить, если она вообще не легенда. Но вплоть до 1830 г., когда в Болдине Пушкин прощался с прошлым, он посвящал ей изумительные по силе чувства и тонкости его выражения стихи. Прочитайте их одно за другим и вы почувствуете больше, чем скажут любые исследования.

Сестра поэта рассказывала, как в Михайловском Пушкин, получив письмо из Одессы с такой же печатью, как на его перстне (у Е. К. Воронцовой оставался точно такой же — парный), долго не выходил из своей комнаты (№ 19). Такое письмо он получил, например, 5 сентября 1824 г. и записал в черновой тетради «U. l. d. E. W.» (т. е. «Une lettre de Elise Worontsoff»). Но и эта, казалось бы, совершенно темная запись показалась ему слишком прозрачной, и он (в черновой тетради!) зачеркнул буквы «E. W.». Все же и этого оказалось мало, чтобы помешать проникнуть в тайну: исследователи расшифровали пушкинское сокращение, как и многое другое, что он хотел скрыть.

С перстнем-талисманом, который подарила ему Елизавета Ксаверьевна, он никогда не разлучался (№ 23). В 1835 г. он нарисовал свои пальцы с кольцом-талисманом на одном из них. После кончины поэта перстень взял на память Жуковский и тоже не разлучался с кольцом, носил его на пальце. В 1838 г. Жуковский был в Англии (сопровождая наследника престола) одновременно с Воронцовыми. Бартенев записывает: «Она тотчас узнала свой подарок на руке Жуковского». Как и Пушкин, Жуковский пользовался перстнем для запечатывания писем. В 1838 г. в Англии

племянник Воронцова Пемброк исполнял романс «Талисман». Вяземский, бывший на этом вечере, отметил в записной книжке: «Сегодня Герберт пел *Талисман*, вывезенный сюда и на английские буквы переложенный... Он и не знал, что поет про волшебницу тетку, которую на днях сюда ожидают с мужем». После смерти Жуковского талисман перешел к его сыну Павлу Васильевичу, а тот в 1875 г. подарил кольцо правомочному наследнику Пушкина в русской литературе Ивану Сергеевичу Тургеневу. Сохранилась запись рассказа Тургенева о талисмани: «У меня тоже есть подлинная драгоценность — это перстень Пушкина, подаренный ему кн. Воронцовой и вызвавший с его стороны ответ в виде великолепных строф известного всем «Талисмана». Я очень горжусь обладанием пушкинским перстнем и придаю ему так же, как и Пушкин, большое значение. После моей смерти я бы желал, чтобы этот перстень был передан графу Льву Николаевичу Толстому, как высшему представителю русской современной литературы, с тем, чтобы, когда настанет и его час, гр. Толстой передал бы мой перстень, по своему выбору, достойнейшему последователю пушкинских традиций между новейшими писателями». Тургенев не раз предоставлял талисман для экспонирования на пушкинских выставках. Когда Тургенев скончался, его наследница Полина Виардо к 50-летию со дня гибели Пушкина преподнесла перстень в дар не Толстому, а Пушкинскому музею Александровского лицея. Отсюда перстень был украден, и след его пропал. «В собрании Всесоюзного музея Пушкина,— пишет автор книги «Портреты и судьбы» Л. П. Февчук,— кроме футляра сохранились слепки и отпечатки камня, вправленного в перстень, на воске и сургуче, а также фотографии витрины с личными вещами Пушкина, представленной на выставке 1899 года в Петербурге, где виден перстень-талисман в раскрытом футляре». Не о талисмани ли написал Пушкин и эти удивительные по обнаженности чувства и глубине печали строки:

Ничто, ничто моих не радует очей,  
И ни единый дар возлюбленной моей,  
Святой залог любви, утеха грусти нежной—  
Не лечит ран любви безумной, безнадежной.

\* \* \*

В 1825 г. Пушкин создал еще два стихотворения «воронцовского цикла» — «Желание славы» (№ 20), которое, если прочитать его, зная обстоятельства жизни поэта, насквозь автобиографично и, несомненно, посвящено все той же Е. В. В нем тоска и отчаяние поэта словно переплавляются в чеканный стих, ибо какая же слава могла быть у Пушкина («Чтоб именем моим // твой слух был поражен всечасно»), как не поэтическая? И еще: «...Все в жертву памяти твоей» (№ 21). Т. Г. Цявловская справедливо считает, что речь в нем идет не об умершей возлюбленной (Ризнич?), но о живой, забывшей или забывающей любившего ее поэта. «Памяти твоей» по тогдашним языковым меркам равнозначно: «Памяти о тебе». Т. Г. Цявловская замечает: «Это одно из самых сильных любовных стихотворений Пушкина по напряженному чувству, по порыву (ни одного глагола)».

Нередко и в последующие годы появляются в рукописях Пушкина то инициалы «EW», то знакомый профиль. «Он изображал и профиль ее, и голову,— пишет Цявловская в специальной работе о рисунках Пушкина,— и фигуру — стоящей, сидящей, уходящей, с вырисованной узкой пяткой из-под платья,— и руку, играющую на клавикордах с длинными изогнутыми пальцами». Последние известные изображения относятся к 1829 г.: одно — на Кавказе рядом с портретом Марии Волконской; еще два — в ушаковском альбоме. 6 ноября 1827 г. ночью через три года после первого стихотворения о заветном перстне («Храни меня мой талисман», № 23), появляется второе — «Талисман» (№ 24). Если первое — заклинание, почти молитва о любви, то второе — скорее воспоминание (относительно спокойное) о минувшем счастье. Необязательно, как это предлагает Т. Г. Цявловская, связывать дату стихотворения с присутствием Воронцовой в Петербурге — так или иначе, она всегда присутствовала в памяти Пушкина. Имя «Элиза» попало и в «донжуанский список», вписанный в ушаковский альбом в 1829 г. Одно из последних, так сказать, поэтически зафиксированных воспоминаний — болдинское (1830) «Прощание» (№ 26):

Прими же, дальная подруга,  
 Прощанье сердца моего,  
 Как овдовевшая супруга,  
 Как друг, обнявший молча друга  
 Пред заточением его.

В последних двух строках возникает как бы «воспоминание в воспоминании» — на этот раз о последней встрече с Вильгельмом Кюхельбекером перед заточением его в крепость. Но в них возможен намек и на изгнание из Одессы в 1824 г. Так через огромную полосу жизни Пушкина — с 1823 по 1830 год прошел поэтический и зримый образ, быть может, самой большой в его жизни любви — к Елизавете Ксаверьевне Воронцовой. Никому больше не посвящено так много стихотворений, исполненных такой поразительной, не слабеющей с годами силы переживания...

В 1834 г. Пушкин получил письмо (№ 26а) из Одессы от некоей Е. Вибельман с просьбой принять каким-нибудь своим произведением участие в альманахе «Подарок бедным», задуманном Новороссийским женским обществом призрения бедных. Председателем общества была Е. К. Воронцова — она и скрылась за непонятным псевдонимом. Впрочем, уже совпадение все тех же инициалов Е. W. сразу же заставило пушкинистов заподозрить истинного автора. Откуда появилось само имя Вибельман (написанное очень неразборчиво) так и неясно. Некоторые исследователи видели в нем переделку шуточного прозвища *belvetril*, которое Пушкин дал Воронцовой, любившей повторять стихи: «Не белеют ли ветрила, // не плывут ли корабли». Но, во всяком случае, впервые публикуя этот документ в 1903 г., И. А. Шляпкин высказал предположение об истинном авторе. Потом появились различные другие гипотезы — довольно обычное для пушкинистики явление, когда естественное и правильное первое объяснение вытесняется надуманным и усложненным. В конце концов прибегли к графической экспертизе и выяснили, что начертания букв в известных письмах Воронцовой и в имени Вибельман полностью совпадают. Наконец, Б. В. Томашевский высказал любопытное соображение, что в фамилии этой как бы в разбивку набросаны буквы, которые, если их поставить в правильном порядке, образуют

имя Elisa W. Но для установления авторства этого и не нужно... Достаточно взглянуть на первые строки, чтобы увидеть в письме большее, нежели деловую просьбу. Воронцова попросту опасается, что Пушкин забыл или готов забыть ее и сомневается, должна ли она писать к нему: «...будет ли мое письмо встречено приветливой улыбкой или же тем скучающим взглядом, каким с первых же слов начинают искать в конце страницы имя навязчивого автора». Очень интересно в конце письма признание роли воспоминаний в жизни человеческой (оно сродни пушкинскому): «прошу вас, в оправдание моей назойливости и возврата к прошлому, принять во внимание, что воспоминания — это богатства старости, и что ваша старинная знакомая придает большую цену этому богатству». Дорогостоят и упоминание о «городе, в котором вы жили и который благодаря вашему имени войдет в историю»! После этого единственного сохранившегося письма Воронцовой к Пушкину ей оставалось жить и вспоминать еще около пятидесяти лет, Пушкину — три с небольшим года...

Поэт ответил «госпоже Вибельман» коротким письмом с обещанием исполнить просьбу (№ 266). Между прочим, этот ответ, найденный лишь в 1956 г. в краковском архиве племянницы Воронцовой Екатерины Браницкой, начинается открытым обращением: «Милостивая государыня Елизавета Ксаверьевна...», что позволяет прекратить рассуждения на тему о том, кто была таинственная Вибельман. Пушкин в самом деле послал в Одессу фрагмент «Русалки», но к выходу сборника опоздал, а рукопись его до сих пор не обнаружена.

Одесская газета «Journal d'Odessa» была одной из немногих, решившихся отозваться скорбным словом на смерть Пушкина. Секретарь Воронцова писал редактору газеты 12 февраля 1837 г.: «Статья, помещенная... по случаю смерти Пушкина принята была всеми, а в особенности графиней Воронцовой, с восхищением. Так как, вероятно, она же, т. е. статья сия, будет помещена в «Одесском вестнике», то я спешу повергнуть перед вами мысль, родившуюся у графини Елизаветы Ксаверьевны, т. е. что большая часть стихотворений Пушкина созданы были в Одессе, во время

его здесь пребывания. Мысль сия достойна быть обработанною. Впрочем, бог знает, что скажут в Петербурге». С высоты нашего сегодняшнего представления Воронцова плохо знала пушкинские стихи. Но тогда даже сам интерес ее к созданному поэтом заслуживает быть отмеченным.

В 1860-х г.г. П.И.Бартенев был приглашен сыном Воронцовых Семеном Михайловичем разбирать огромный семейный архив и опубликовать, что найдет нужным. Результатом этой работы явились 40 томов бесценных исторических материалов. Познакомился первый пушкинист и с вдовой генерал-фельдмаршала княгиней Елизаветой Ксаверьевной. Он потом рассказывал: «По кончине фельдмаршала Воронцова его вдова, подобно многим другим вдовам, принялась разбирать его переписку, долго этим занималась и производила уничтожения. Тут же она разбирала и свои собственные бумаги. Попалась небольшая связка с письмами Пушкина, и княгиня их истребила; но домоправитель ее (впоследствии и секретарь) Григорий Иванович Тумачевский, помогавший ей в разборе бумаг, помнит в одном пушкинском письме выражение: *Que fait votre lourdant de mari* \*. В глубокой старости Елизавета Ксаверьевна восхищалась сочинениями Пушкина: ей прочитывали их почти каждый день, и такое чтение продолжалось целые годы». Приведем запись Бартенева на ту же тему в несколько иной редакции: «Воронцова до конца своей долгой жизни сохраняла о Пушкине теплое воспоминание и ежедневно читала его сочинения. Когда зрение совсем ей изменило, она приказывала читать их себе вслух и притом сподряд, так что, кончались все томы, чтение возобновлялось с первого тома. Она сама была одарена тонким художественным чувством и не могла забыть очарований пушкинской беседы. С ними соединились для нее воспоминания молодости».

Есть и другой вариант судьбы пушкинских писем: к моменту встречи с Бартеневым они были еще у княгини; он не решился попросить их (хотя Елизавета Ксаверьевна охотно и подробно говорила о Пушкине и Раевском), а перед смертью она их уничтожила.

\* Что делает ваш солдафон супруг (фр.).

\* \* \*

К сожалению, история любви Пушкина к Воронцовой, тайну которой он так целомудренно и ревниво берег, стала предметом не только обычных литературоведческих исследований, но и посмертных пересудов, превышающих предел дозволенного тактом и необходимого для того, чтобы при помощи биографических фактов объяснить творчество писателя. Начала положила Вера Федоровна Вяземская, сообщившая П. И. Бартеневу неправдоподобные, анекдотические «подробности» об отношениях Пушкина с Е. К. Воронцовой. Бартенева трудно заподозрить в фальсификации: вероятнее всего память и элементарный такт изменили княгине Вяземской. Трудно себе представить слишком откровенные рассказы Пушкина даже очень близкой знакомой. Вот, значит, как давно существуют дурные анекдоты о жизни Пушкина, одно время весьма распространенные. Немногим деликатнее отозвался о Воронцовой С. А. Соболевский. Узнав, что П. И. Бартенев собирается в Одессу, он написал ему: «купайтесь в Черном и чернильном морях и расспрашивайте княгиню как она жила с Пушкиным». Может быть и не стоило вспоминать об этих бестактностях, если бы исследователи в наше время не пошли еще дальше. Писатель И. А. Новиков, изучая материал для своего романа «Пушкин на юге», пришел к выводу, что одна из дочерей Воронцовых на самом деле была дочерью Пушкина. Новиков даже сделал специальный доклад на эту тему. Версию о ребенке Пушкина разработала и поддержала в обширной, богатейшей по привлеченному материалу статье «Храни меня, мой талисман...» Т. Г. Цявловская. Они оба словно забыли на какое-то время, что есть пределы вмешательства биографа в личную жизнь поэта даже спустя сто и более лет со дня его смерти. Причем далеко идущие выводы столь интимного характера делаются на основании стихов Пушкина! Но ведь это нарушает самый основной принцип использования поэтических произведений как биографического источника: из них можно узнать о чувствах, о состоянии души, но отнюдь не оперировать ими в доказательство фактов.

Пушкин сделал все, что мог, чтобы тайна его любви к Елизавете Ксаверьевне не дошла ни до современников, ни до потомков. Пристальное изучение документов, мемуаров и художественных творений (как косвенного источника!) раскрыло одесскую ситуацию миллионам читателей и друзей Пушкина. Будем же бережно и осторожно обращаться с доставшейся нам тайной.

### «ВОРОНЦОВ — ВАНДАЛ, ПРИДВОРНЫЙ ХАМ И МЕЛКИЙ ЭГОИСТ»

Пушкин рад был перемене судьбы своей, переезжая из Кишинева в Одессу. Об этом говорят и письмо к брату (№ 2) и благодарность Тургеневу (№ 27). Граф Воронцов, не зная Пушкина, легко уступил настояниям петербургских друзей поэта и принял его на службу. Исследователи спорят о том, с каких пор возникло у Воронцова неприязненное чувство к Пушкину, но если сопоставить эти два характера — прямой, вспыльчивый, независимый, чуждый всякого притворства и всякой дипломатии — Пушкина, лицемерно-либеральный, холодный, пресмыкательский к высшим, дипломатически обточенный — Воронцова, то легко понять, что и одной недели они не могли ужиться. Кто в конечном счете выиграл в этом соревновании прямоты и лицемерия говорить не приходится: само имя графа Воронцова, хоть он превратился из «полу-генерала» в полного, а из графа в светлейшего князя, само имя его осталось бы в истории написанным мелким шрифтом, если бы не одесская встреча с поэтом в 1823—1824 гг. Вот уж поистине:

Певец Давид был ростом мал,  
Но повалил же Голиафа,  
Который был и генерал,  
И, положусь, не проще графа.

Повалил и сохранил имя его в памяти потомства. «Я не твердо уповаю на рыцарство Воронцова», — осторожно намекал Пушкину Вяземский. Но среди суждений современников есть и более опреде-



ленные: «Граф Воронцов очень любезен, когда захочет, но по упорно-мстительному его нраву, не дай бог попасться ему в когти, когда он на кого думает иметь право быть в претензии, хотя бы то было и без всякого основания» (А. К. Боде). Между прочим, дальше следует еще более неприглядная характеристика четы Воронцовых, трудно сказать в какой степени справедливая: «Графиня Воронцова женщина светская, очень любезная и лобит заняться любовниками, на что ее муж вовсе не в претензии; напротив того он покровительствует их, потому что это доставляет ему свободу заняться беспрепятственно любовницами». С. Г. Волконский определял характер Воронцова как человека «ненасытного в тщеславии, не терпящего совместничества, неблагодарного к тем, которые оказывали ему услуги, неразборчивого в средствах для достижения своей цели и мстительного донельзя против тех, которые или стоят на его пути, или, действуя по совести, не хотят быть его рабами». Эта характеристика очень точно соответствует ситуации Воронцов — Пушкин. Существует и более поздняя, посмертная характеристика Воронцова: «Князь любил строгую исполнительность по службе и вообще не допускал, чтобы прекословили или противодействовали его видам или намерениям. В этом отношении он был совершенный деспот; неудовольствие свое высказывал всегда сдержанно и скорее язвительными намеками, но мнение о лице, не исполнившем его виды или не понявшем его приказания, устанавливалось надолго в памяти князя...» Словом, сказано же: он был «мелкий эгоист»! Ближе всех к истине, как всегда, был Пушкин, сказавший о Воронцове: «Он холоден ко всему, что не он...». И еще: «Он видел во мне коллежского секретаря, а я, признаюсь, думаю о себе что-то другое».

Но и Пушкин упрощал ситуацию, когда позже говорил в Михайловском Пушкину, будто обязан удалением козням графа Воронцова из ревности, «некоторым смелым бумагам по службе, эпиграммам на управление и неосторожным частым разговорам о религии». Нет, дело было не столько в ревности и в атеистических беседах, сколько в политике и в той игре судьбами людей во имя собственных амбиций и

мелких выгод карьеры, которая столь характерна для сановников, «типичным представителем» которых был Воронцов (милорд Уоронцов, как называл его Пушкин). «Чем ненавистнее был ему человек,— пишет еще один мемуарист (Б. М. Маркевич),— тем приветливее обходился он с ним; чем глубже вырывалась им яма, в которую готовился он пихнуть своего недоброхота, тем дружелюбнее жал он его руку в своей. Тонко рассчитанный и издавека заготовленный удар падал всегда на голову жертвы в ту минуту, когда она менее всего ожидала такового».

Воронцов хотел выслужиться во что бы то ни стало: давно уже следовало быть ему «полным генералом» (т.е. генералом от инфантерии), а его в конце 1823 г. вновь обошли производством. 6 марта 1824 г. он, смиряя гордость, жалуется П. Д. Киселеву: «Будучи вынужденным коснуться вопроса о производстве 12 декабря, я сказал в письме своем (императору) несколько слов по этому поводу (о чем я никогда не говорил ни слова даже своей жене), я не могу не видеть в данном случае последствий того впечатления, которое внушили государю: произведя в следующий чин 16 человек, не остановились бы как раз перед моим именем без какого-либо подобного основания». Любой ценой нужно было доказать свою преданность— в частности и очищением Одессы от личностей подозрительных.

2 мая был подписан высочайший рескрипт генерал-губернатору Новороссии:

Граф Михайло Семенович!

Я имею сведения, что в Одессу стекаются из разных мест и в особенности из польских губерний и даже из военнослужащих без позволения своего начальства многие такие лица, кои с намерением или по своему легкомыслию занимаются лишь одними неосновательными и противными толками, могущими иметь на слабые умы вредное влияние (...) Будучи уверен в усердии и попечительности вашей о благе общем, я не сомневаюсь, что вы обратите на сей предмет особенное свое внимание и примете строгие меры, дабы подобные беспорядки (...) не могли иметь место в столь важном торговом городе какова Одесса (...) Пребываю в прочем к вам благосклонный Александр».

Монарх тоже не обошелся без яда: упоминание о польских губерниях не случайно — здесь намек на полупольское происхождение жены Воронцова и предупреждение: быть осторожным в выборе окружающих. Граф тотчас ответил доносом, замаскированным под название «Всеподданнейший рапорт»: «Приняв надлежащие меры во исполнение высочайшей воли вашего императорского величества, изображенной на всемилостивейшем ко мне рескрипте от 2 мая, я долгом поставляю всеподданнейше донести, что в числе военных чиновников, в Одессе находящихся, проживает здесь полковник 6-го Егерского полка Раевский, который не имеет отпуска именно в Одессу». Здесь тоже убивается несколько зайцев: дается ответ на рескрипт; наводится тень еще на одного поклонника Елизаветы Ксаверьевны; предлагается удалить не кого-нибудь, а дальнего родственника Воронцовых. Но почему во «всеподданнейшем рапорте» ни слова о Пушкине? Потому что о его высылке уже давно ведется переписка, и Воронцов надеется на успех своих дипломатических маневров...

Одним из заведомо провокационных, да еще и рассчитанных на *громкий скандал* способов избавиться от Пушкина была его командировка на борьбу с саранчой. Дело даже не в том, что Воронцов, как пишут некоторые мемуаристы, поручал инспекцию мелким чиновникам. Это не так, поручение было ответственное, ибо бедствие от засухи, неурожая и особенно саранчи в 1823—1824 гг. в Новороссийском крае выглядело ужасающе. 18 марта Комитет министров даже разрешил приостановить все дорожные работы в крае, чтобы освободить крестьян для борьбы с саранчой; Воронцов прибег и к помощи воинских частей. В Крыму тучи саранчи остановили течение реки Салгир, жители некоторых домов вблизи Симферополя вынуждены были оставить свои жилища, переполненные саранчой. Так что инспекционные поездки чиновников канцелярии Воронцова вызывались реальной необходимостью. Но Пушкин не был и быть не мог таким чиновником. 700 рублей жалованья в год он воспринимал как «паек ссыльного невольника», как своего рода компенсацию за то, что, отлученный от столиц, он не может с выгодой печатать свои

произведения. Впрочем, все это с полной ясностью сказано в черновом (по-видимому, не отправленном) письме к начальнику канцелярии генерал-губернатора А.И.Казначееву (№39). Писал Пушкин и самому Воронцову.

Сравнительно недавно введенные в научный оборот воспоминания (№41) говорят о том, что, получив поручение, поэт большей частью предписанного ему маршрута (№40) пренебрег. Выехав 23 мая, он 28-го был уже в Одессе. Если бы Пушкин исполнил предписание в точности, то ему пришлось бы отсутствовать целый месяц (кстати, за это время Е.К.Воронцова уехала бы из Одессы — так что мотив мелкой подлости из ревности тоже не исключен). Что касается знаменитого стихотворного «отчета о командировке», якобы сочиненного Пушкиным: («Саранча летела-летела»), то никаких серьезных подтверждений этому не имеется. Не исключено, конечно, что Пушкин сказал подобный экспромт, а кто-то его записал, но письменно он, разумеется, таким образом не «отчитывался». Зато воспоминание об этой поездке совершенно определенно слышится в «Полтаве»:

И падшими вся степь покрылась  
Как роєм черной саранчи.

Со слов своих родителей, чрезвычайно осведомленных об одесских делах Пушкина, князь П.П.Вяземский впоследствии писал о поездке «на саранчу»: «В этом предложении новороссийского генерал-губернатора он увидел злейшую иронию над поэтом-сатириком, принижение честолюбивого дворянства и вероятно паче всего одурачение Ловеласа, подготовившего свое торжество». Насчет «иронии над поэтом-сатириком» Вяземский, видимо, ошибается. Он, конечно, намекает на знаменитые эпиграммы («Полумилорд...», «Поэт Давид» и др.), но, как показали последние исследования, они написаны не до, а после поездки (между 22 мая и 8 июня) — в ответ на явное издевательство Воронцова. «Он начал вдруг обходиться со мною с непристойным неуважением», — отметил Пушкин в письме к А.И.Тургеневу 14 июля Уни-

жения Пушкин никому не прощал: эпиграмматический ответ его был скорым и убийственным:

Полу-милорд, полу-купец,  
Полу-мудрец, полу-невежда,  
Полу-подлец, но есть надежда,  
Что будет полным наконец \*

Здесь в каждой строке столько неприятнейших для Воронцова уколов, что хватило бы на целую сатиру. «Полу-милорд» — английское воспитание Воронцова оторвало его от российской действительности и сделало «полурусским». «Полу-купец» — развивая экономику Новороссийского края, Воронцов не забывал и собственных интересов. Богатейший землевладелец хотел стать еще и торговцем и промышленником; более того, Воронцов позаботился и о деловых интересах на юге графа Нессельроде — это помогало успешнее продвигать в Петербурге важные бумаги и, в частности, добиться высылки Пушкина. Один из современников подметил: «Сила... которою граф Воронцов поддерживал свое положение, заключалась главным образом в многочисленной и систематической переписке, которую вел он как с самим государем, так и с разными правительственными лицами в Петербурге. Он добивался своего не путем официальных бумаг, а частными письмами». Но самый страшный удар — все эти «полу» вместе взятые! Ведь это был прозрачный намек на то, что Воронцову никак не удастся стать полным генералом. «Совокупность различных выходов графа, наведенного другими врагами Пушкина, зажгла эту яркую надпись к портрету», — писал приятель Пушкина В. П. Горчаков. Не будь Воронцов на таком огромном иерархическом расстоянии от Пушкина, ему, пожалуй, после такой эпиграммы пришла бы мысль о дуэли. Но... «певец... был ростом мал»!

\* Есть еще один, тоже авторский, вариант эпиграммы:

Полугерой, полуневежда,  
К тому ж еще полуподлец!..  
Но тут, однако ж, есть надежда,  
Что полный будет наконец.

Была тогда же начата и третья эпиграмма-памфлет, метившая в Воронцова (закончена в 1825 г. в Михайловском):

Сказали раз царю, что наконец  
Мятежный вождь, Риэго, был удушен.  
«Я очень рад,— сказал усердный льстец,—  
От одного мерзавца мир избавлен».  
Все смолкнули, все потупили взор,  
Всех рассмешил проворный приговор.  
Риэго был пред Фердинандом грешен,  
Согласен я. Но он за то повешен.  
Пристойно ли, скажите, сторяча  
Ругаться нам над жертвой палача?  
Сам государь такого добротства  
Не захотел улыбкой наградить.  
Льстецы, льстецы! Старайтесь сохранить  
И в подлости осанку благородства.

При чем здесь Воронцов? Дело в том, что у этой истории совершенно точная дата — 1 октября 1823 г. и хорошо известные действующие лица — Александр I и М. С. Воронцов. В начале октября 1823 г., обеспокоенный волнениями во 2-й армии, особенно в 16-й дивизии, царь лично пожаловал в Тульчин для смотра войск. Во время обеда с генералитетом и офицерами ему принесли письмо из Франции об аресте \* Риэго — вождя испанской революции. Все промолчали при этом известии, и лишь один Воронцов в усердии подхалима вскричал: «Какое счастливое известие!» Бывший на том обеде декабрист Н. В. Басаргин писал в воспоминаниях: «Эта выходка так была неуместна, что ответом этим он много потерял тогда в общем мнении. И в самом деле, зная, какая участь ожидала бедного Риэго, жестоко было радоваться этому известию». «Полу-невежда» тогда переборщил в угодничестве. Как бы то ни было, нечिनловый певец одержал над могущественным полутероем победу полную и безусловную.

\* Дописывая эпиграмму в 1825 г., Пушкин несколько изменил ситуацию (Риэго был казнен в Мадриде 26 октября 1823 г.).

В последнее время исследователями (см. Временник пушкинской комиссии 1981. М., 1985) оспаривается точность воспоминаний Басаргина. Предполагают, что Александр I несколько позже узнал о пленении и казни Риэго, но это не меняет «антиворонцовской» направленности стихотворения Пушкина.

По-видимому, несколько позже, в Михайловском (точная дата неизвестна) была закончена еще одна начатая в Одессе эпиграмма-басня на Воронцова:

Не знаю где, но не у нас,  
Достопочтенный лорд Мидас \*,  
С душой посредственной и низкой,  
Чтоб не упасть дорогой склизкой,  
Ползком прополз в известный чин  
И стал известный господин.  
Еще два слова об Мидасе:  
Он не хранил в своем запасе  
Глубоких замыслов и дум;  
Имел он не блестящий ум,  
Душой не слишком был отважен;  
Зато был сух, учтив и важен.  
Льстецы героя моего,  
Не зная, как хвалить его,  
Провозгласить решились тонким...

Эпиграмме в публикации предпослано такое замечание: «Тонкость не доказывает еще ума. Глупцы и даже сумасшедшие бывают удивительно тонки. Прибавить можно, что тонкость редко соединяется с гением, обыкновенно простодушным, и с великим характером, всегда откровенным». Так в последний раз досталось «лорду Мидасу». Между прочим, после смерти Пушкина Воронцов лицемерно сокрушался, что нет уж с нами «певца Бахчисарая», и даже нанес визит соболезнования Наталье Николаевне.

Наряду с ревностью и вольными разговорами Пушкин считал причиной своего исключения со службы и удаления из Одессы одно неосторожное письмо. Адресат его с полной точностью не установлен: скорее всего Вяземский \*\*, но не исключено, что Кюхельбекер или кто-нибудь еще из друзей. Вот крамольный отрывок (остальная часть не сохранилась): «читая Шекспира и Библию, святой дух иногда мне по сердцу, но предпочитаю Гете и Шекспира. Ты хочешь

\* Фригийский царь, славившийся огромным богатством; выражение «Мидасовы уши» означает глупость и невежество, которые нельзя скрыть.

\*\* В пользу Вяземского, в частности, и такой факт: в майском письме 1824 г. Петр Андреевич предупреждал Пушкина: «Сделай милость, будь осторожен на язык и на перо. Не играй своим будущим».

знать, что я делаю: пишу пестрые строфы романтической поэмы («Цыганы». — В. К.) и беру уроки чистого афеизма». Атеистические убеждения — это была страшная крамола по тем временам, и в принципе перлюстрации такого письма хватило бы для отставки и высылки. Но Воронцов начал кампанию задолго до мая 1824 г. (когда скорее всего написано письмо) и не намерен был успокаиваться до избавления от Пушкина.

\* \* \*

Документы, связанные с высылкой Пушкина, последовательно представлены в подборке (№ 46 и др.). Это переписка, так сказать, официальная. Но была и другая — та, что вели между собой обеспокоенные друзья поэта — А. И. Тургенев, П. А. Вяземский, В. Ф. Вяземская (она, как помните, жила в Одессе с 7 июня 1824 г.). 13 июня Вера Федоровна сообщала тревожные вести о Пушкине: «Я делаю все, что могу, чтобы успокоить его, браню его от твоего имени, уверяя его, что, разумеется, ты первый признал бы его виноватым, так как только ветреник мог так набедокурить. Он захотел выставить в смешном виде важную для него особу — и сделал это; это стало известно, и, как и следовало ожидать, на него не смогли больше смотреть благосклонно».

Сам Пушкин еще 24—25 июня пожаловался Вяземскому на невыносимую для него обстановку в Одессе: «Я поссорился с Воронцовым и завел с ним полемическую переписку (до нас не дошедшую. — В. К.), которая кончилась с моей стороны просьбою в отставку. Но чем кончат власти, еще неизвестно».

Тургенев — Вяземскому 1 июля 1824 г.: «Граф Воронцов прислал представление об увольнении Пушкина. Желая *coûte que coûte* \* оставить его при нем, я ездил к Нессельроде, но узнал от него, что это уже невозможно; что уже несколько раз, и давно, граф Воронцов представлял о *sem et pour cause* \*\*; что надобно искать другого мецената-начальника. Долго вчера я толковал о том с Севериным, и мысль наша

\* во что бы то ни стало (фр.)

\*\* и не без основания (фр.)



остановилась на Паулуччи, тем более, что Пушкин — и псковский помещик. Виноват один Пушкин. Графиня его отличала, отличает как заслуживает талант его, но он рвется в беду свою. Больно и досадно! Куда с ним деваться?» Д. П. Северин — знакомец Пушкина по «Арзамасу», видный чиновник Коллегии иностранных дел, приближенный к Нессельроде; Ф. О. Паулуччи — генерал-губернатор Псковского края, под его покровительство надеялся Тургенев «пристроить» Пушкина. В целом же это письмо скорее отражает картину, представленную Воронцовым в письме в Петербург, чем точку зрения поэта, не терпящего какого бы то ни было покровительства. Впрочем, для выяснения истинной обстановки в Одессе в 1824 г. и столетия не хватило — что спрашивать с доброжелательного ходатая Тургенева.

7 июля Вяземский, вооружившись сведениями, полученными от жены, и правильно домыслив остальное, писал Тургеневу: «Но, видно, дело так повернули, что не он просится: это неясно! Грешно, если над ним уже промышляют и лукавят».

Однако даже 10 июля ничто, на взгляд Вяземской, не предвещало беды, еще не грозила никакая буря, разве что буря в буквальном смысле — морская. В. Ф. Вяземская — мужу: «Я провела вчера под проливным дождем около часу на берегу моря в обществе Пушкина, наблюдая за кораблем в схватке с штормом. Грот-мачта была сломана, экипаж высадился на две шлюпки, которые так страшно бросало, что я не могла удержаться от крика». Но Вяземский в Москве в тот же день был осведомлен несколько лучше: «Эх он шалун! Мне страх на него досадно. Да и не на его одного! Мне кажется по тому, что пишут мне из Петербурга, что это дело криво там представлено. Грешно тем, которые не уважают дарования даже и в безумном! Дарование все священо, хоть оно и в мутном сосуде!»

Вяземская верила, что не мог же Воронцов до эпиграмм писать доносы на Пушкина — слишком высока была светская репутация «полу-милорда». Однако все же Вяземская подозревала, что за этим стоит нечто ей неизвестное. 19 июля она недоуменно разъясняла: «Он провинился лишь ребячествами, да еще тем, что обнаружил справедливую досаду на то, что его по-

слали искать местопребывание саранчи, — и то ведь он повиновался. Он был там и по возвращении попросил отставки, потому что почувствовал себя оскорбленным. Вот и все».

Хлопоты, начатые Тургеневым, подвигались туго. 15 июля он отвечал Вяземскому: «Письмо твое от 7 июля получил. О Пушкине ничего еще не знаю, ибо не видел ни Нессельроде, ни Северина. Последний совершенно отказался принимать участие в его деле, да ему и делать нечего. Решит, вероятно, сам государь. Нессельроде может только надумать. Спрошу его при первом свидании. Вчера пронесся здесь слух, что Пушкин застрелился, но из Одессы этого со вчерашней почтой не пишут, да и ты бы от жены лучше знал». Теперь уже трудно установить, откуда пошел слух о самоубийстве, но, во всяком случае, накал ссоры между Воронцовым и Пушкиным был очень сильным. Вера Федоровна успокоила Вяземского уже после отъезда Пушкина из Одессы: «Пушкин не застрелился и никогда не застрелится, разве только от тоски этой зимой в деревне».

Еще 27 июля у Пушкина была надежда, что если и дадут отставку, то оставят его на житье в Одессе. Вызов к градоначальнику Гурьеву 29-го числа положил конец всяким иллюзиям: его выслали, если не в 24, то в 48 часов. Мы теперь знаем переписку Воронцова с Петербургом и предписание генерал-губернатора Гурьеву. Пушкин обо всем этом не знал и не узнал до самой смерти...

Много лет спустя Вера Федоровна рассказывала Бартеневу: «когда решена была его высылка из Одессы, он прибежал впопыхах с дачи Воронцовых, весь растерянный, без шляпы и перчаток, так что за ними посылали человека». Видимо, в Петербурге «информация просочилась», потому что в самый день отъезда Пушкина из Одессы (т. е. еще не имея вестей) Вяземский спешил оповестить Тургенева: «Из Петербурга пишут, что он выключен из службы и велено ему жить у отца в деревне. Правда ли? И проедет ли он через Москву? Надобно было дарование уважить. Грустно и досадно!» Тургенев отвечал 5 августа: «Ты уже знаешь, что Пушкин отставлен, ему велено жить в деревне отца его под надзором Паулуччи. Это не по одному представлению графа Воронцова, но и по другому делу, о котором скажу на словах. О приезде

его туда еще ничего не слышно». «Другое дело» — конечно, перлюстрированное «атеистическое» письмо.

В то время Пушкин уже шестой день был в дороге. Попытка послушаться и уехать за море не удалась. Вяземская, а скорее всего и Воронцова, как говорилось, тщетно пытались помочь ему в исполнении задуманного. Это навлекло неудовольствие графа Воронцова уже и на Вяземскую. Как выясняется из письма московского почт-директора А. Я. Булгакова брату, «Воронцов желал, чтобы сношения с Вяземскою прекратились у графини, он очень сердит на них обеих, особливо на княгиню, за Пушкина шалуна-поэта, да и поделом. Вяземская хотела поддержать его бегство из Одессы, искала для него денег и способы отправить его морем. Это ли не безрассудство». Свои сведения Булгаков получил, так сказать, из первоисточника — от самого М. С. Воронцова. Тот хотел искоренить в Одессе даже память о Пушкине, а для этого прежде всего необходимо было распоститься с Вяземской. Он дипломатически изъяснял Булгакову: «Что касается княгини Вяземской, то скажу Вам (но между нами), что наша страна еще недостаточно цивилизована, чтобы оценить ее блестящий и острый ум, которым мы до сих пор еще ошеломлены. И затем, мы считаем, так сказать, неприличным ее затем поддерживать попытки бегства, задуманные этим сумасшедшим и озорником Пушкиным, когда получился приказ отправить его в Псков. Вы гораздо достойнее нас наслаждаться ее обществом, чем мы, и мы вам его предоставляем с удовольствием...»

Вера Федоровна проводила Пушкина и горестно с ним распрощалась. На другой день, 2 августа, она рассказала об этом в письме Петру Андреевичу: «Приходится начать письмо с того, что меня занимает сейчас более всего — со ссылки и отъезда Пушкина, которого я только что проводила до верха моей огромной горы, нежно поцеловала и о котором я плакала, как о брате, потому что последние недели мы были с ним совсем как брат с сестрой. Я была единственной поверенной его огорчений и свидетелем его слабости, так как он был в отчаянии от того, что покидает Одессу, в особенности из некоего чувства, которое разрослось в нем за последние дни как это бывает. Не говори ничего об этом, при свидании мы потолкуем об этом менее туманно, есть основания

прекратить этот разговор. Молчи, хотя это очень целомудренно и серьезно лишь с его стороны (...). Я уверена, что ты не покинешь его в несчастии, но пиши и изъясняйся в своих письмах так, как если бы ты был его худшим недругом; ты всегда считал себя слишком бесхитростным, чтобы это делать, но принеси эту жертву дружбе, потому что единственная радость, которая останется бедному Пушкину, похороненному в глуши уездного города Порхова в Псковской губернии, это получать изредка известия, чтоб не умереть окончательно нравственной смертью. Полюбопытствуй, хорошо ли его приняли родители; упрекать его в чем-либо было бы бессмысленно; в чем, впрочем, можно было бы упрекнуть его, раз он не знает за собой иной вины, как то что он подал в отставку?».

С болью в душе покинул Пушкин Одессу. Все, что может представиться теперь светлым и легким в ореоле великой поэзии,—все это было оплачено им сполна кровью собственного сердца. Не поэтом-романтиком, завернувшимся в байронов плащ и принявшим позу страдальца, провел он одесский год, но обыкновенным человеком, одаренным необыкновенным даром — переплавлять в гениальные строки движения ранимой души. В этом смысле вся лирика, все поэмы, всё, что написал Пушкин, как теперь говорят, автобиографично.

В Одессе в 1823—1824 гг. окончательно отделан «Бахчисарайский фонтан»; закончена первая, создана вторая и начата третья (письмо Татьяны) главы «Онегина»; написаны «Цыганы». Из стихотворений назовем важнейшие: «Надеждой сладостной младенчески дыша»; «Демон»; «Простишь ли мне ревнивые мечты»; «Свободы сеятель пустынный»; «Желание славы» (черновой, первый вариант); «Недвижный страж дремал на царственном пороге»; «Все кончено, меж нами связи нет»; «Чаадаеву» («К чему холодные сомненья»); «Ночь»; «Приют любви, он вечно полн»; «Зачем ты послан был...»; «Кораблю»; «К морю» (первоначальная редакция). А сколько еще эпиграмм, неоконченных замыслов, писем!

Можно кончить тем, что одесский год был исключительно богатым в творческой жизни поэта, но какой год был для него иным?..



## 1

\* \* \*

*Изъиде сеятель сеяти семена своя.*

Свободы сеятель пустынный,  
Я вышел рано, до звезды;  
Рукою чистой и безвинной  
В порабощенные бразды  
Бросал живительное семя —  
Но потерял я только время,  
Благие мысли и труды...

Паситесь, мирные народы!  
Вас не разбудит чести клич.  
К чему стадам дары свободы?  
Их должно резать или стричь.  
Наследство их из рода в роды  
Ярмо с гремящими да бич.

1823

А.С. Пушкин

## 2

Мне хочется, душа моя, написать тебе целый роман — три последние месяца моей жизни. Вот в чем дело: здоровье мое давно требовало морских ванн, я насилу уломал Инзова, чтоб он отпустил меня в Одессу — я оставил мою Молдавию и явился в Европу. Ресторация и итальянская опера напомнили мне старину и, ей-богу, обновили мне душу. Между тем приезжает Воронцов, принимает меня очень ласково, объявляет мне, что я перехожу под его начальство, что

остаюсь в Одессе — кажется и хорошо — да новая печаль мне сжала грудь — мне стало жаль моих покинутых цепей. Приехал в Кишинев на несколько дней, провел их неизъяснимо элегически — и, выехав оттуда навсегда, — о Кишиневе я вздохнул. Теперь я опять в Одессе и всё еще не могу привыкнуть к европейскому образу жизни — впрочем, я нигде не бываю, кроме в театре. Здесь Туманский. Он добрый малый, да иногда врет — например, он пишет в Петербург письмо, где говорит между прочим обо мне: Пушкин открыл мне немедленно свое сердце и portefeuille\* — любовь и пр... — фраза, достойная В. Козлова; дело в том, что я прочел ему отрывки из «Бахчисарайского фонтана» (новой моей поэмы), сказав, что я не желал бы ее напечатать, потому что многие места относятся к одной женщине, в которую я был очень долго и очень глупо влюблен, и что роль Петрарки мне не по нутру. Туманский принял это за сердечную доверенность и посвящает меня в Шаликовы — помогите! — Здесь еще Раич. Знаешь ли ты его? Будет Родзянка-предатель — жду его с нетерпением. Пиши же мне в Одессу — да поговорим о деле.

Изъясни отцу моему, что я без его денег жить не могу. Жить пером мне невозможно при нынешней цензуре; ремеслу же столярному я не обучался; в учителя не могу идти; хоть я знаю закон божий и 4 первые правила — но служу и не по своей воле — и в отставку идти невозможно. — Всё и все меня обманывают — на кого же, кажется, надеяться, если не на ближних и родных. На хлебах у Воронцова я не стану жить — не хочу и полно — крайность может довести до крайности — мне больно видеть равнодушные отца моего к моему состоянию, хоть письма его очень любезны. Это напоминает мне Петербург — когда, больной, в осеннюю грязь или в трескучие морозы я брал извозчика от Аничкова моста, он вечно бранился за 80 коп. (которых верно б ни ты, ни я не пожалели для слуги). Прощай, душа моя — у меня хандра — и это письмо не развеселило меня.

*Пушкин — Л. С. Пушкину, 25 августа 1823.  
Из Одессы в Петербург.*

\* портфель (фр.).

## 3 — 4

Я жил тогда в Одессе пыльной...  
Там долго ясны небеса,  
Там хлопотливо торг обильной  
Свои подьемлет паруса;  
Там всё Европой дышит, веет,  
Всё блещет югом и пестреет  
Разнообразием живой.  
Язык Италии златой  
Звучит по улице веселой,  
Где ходит гордый славянин,  
Француз, испанец, армянин,  
И грек, и молдаван тяжелый,  
И сын египетской земли,  
Корсар в отставке, Морали.

\*

Одессу звучными стихами  
Наш друг Туманский описал,  
Но он пристрастными глазами  
В то время на нее взирал.  
Приехав, он прямым поэтом  
Пошел бродить с своим лорнетом  
Один над морем — и потом  
Очаровательным пером  
Сады одесские прославил.  
Всё хорошо, но дело в том,  
Что степь нагая там кругом;  
Кой-где недавний труд заставил  
Младые ветви в знойный день  
Давать насильственную тень.

\*

А где, бишь, мой рассказ несвязный?  
В Одессе пыльной, я сказал.  
Я б мог сказать: в Одессе грязной —  
И тут бы, право, не солгал.  
В году недель пять-шесть Одесса,  
По воле бурного Зевеса,  
Потоплена, запружена,  
В густой грязи погружена.  
Все дома на аршин загрязнут,

Лишь на ходулях пешеход  
По улице дерзает вброд;  
Кареты, люди тонут, вязнут,  
И в дрожках вол, рога склоня,  
Сменяет хилого коня.

\*

Но уж дробит камня́ молот,  
И скоро звонкой мостовой  
Покроется спасенный город,  
Как будто кованой броней.  
Однако в сей Одессе влажной  
Еще есть недостаток важной;  
Чего б вы думали?— воды.  
Потребны тяжкие труды...  
Что ж? это небольшое горе,  
Особенно, когда вино  
Без пошрины привезено.  
Но солнце южное, но море...  
Чего ж вам более, друзья?  
Благословенные края!

\*

Бывало, пушка зоревая  
Лишь только грянет с корабля,  
С крутого берега сбегая,  
Уж к морю отправляюсь я.  
Потом за трубкой раскаленной,  
Волной соленой оживленной,  
Как мусульман в своем раю,  
С восточной гущей кофе пью.  
Иду гулять. Уж благосклонный  
Открыт Casino\*; чашек звон  
Там раздается; на балкон  
Маркёр выходит полусонный  
С метлой в руках, и у крыльца  
Уже сошлись два купца.

\*

Глядишь — и площадь запестрела,  
Всё оживилось; здесь и там  
Бегут за делом и без дела,  
Однако больше по делам.

---

\* Казино (фр.).



Дитя расчета и отваги,  
Идет купец взглянуть на флаги,  
Проведать, шлют ли небеса  
Ему знакомы паруса.  
Какие новые товары  
Вступили нынче в карантин?  
Пришли ли бочки жданных вин?  
И что чума? и где пожары?  
И нет ли голода, войны  
Или подобной новизны?

\*

Но мы, ребята без печали,  
Среди заботливых купцов,  
Мы только устриц ожидали  
От цареградских берегов.  
Что устрицы? пришли! О радость!  
Летит обжорливая младость  
Глотать из раковин морских  
Затворниц жирных и живых,  
Слегка обрызнутых лимоном.  
Шум, споры — легкое вино  
Из погребов принесено  
На стол услужливым Отоном;\*  
Часы летят, а грозный счет  
Меж тем невидимо растет.

\*

Но уж темнеет вечер синий,  
Пора нам в оперу скорей:  
Там упоительный Россини,  
Европы баловень — Орфей.  
Не внемля критике суровой,  
Он вечно тот же, вечно новой,  
Он звуки льет — они кипят,  
Они текут, они горят  
Как поцелуи молодые,  
Все в неге, в пламени любви,  
Как зашипевшего Аи  
Струя и брызги золотые...  
Но, господа, позволено ль  
С вином равнять do-re-mi-sol?

---

Известный ресторатор в Одессе.

\*

А только ль там очарований?  
 А разыскательный лорнет?  
 А закулисные свиданья?  
 А prima donna\*, а балет? <...>

\*

Финал гремит; пустеет зала;  
 Шумя, торопится разъезд;  
 Толпа на площадь побежала  
 При блеске фонарей и звезд,  
 Сыны Авзонии счастливой  
 Слегка поют мотив игривой,  
 Его невольно затвердив,  
 А мы ревом речитатив.  
 Но поздно. Тихо спит Одесса;  
 И бездыханна и тепла  
 Немая ночь. Луна взошла,  
 Прозрачно-легкая завеса  
 Объемлет небо. Всё молчит;  
 Лишь море Черное шумит...

\*

Итак, я жил тогда в Одессе...

### *Путешествие Онегина.*

*ИЗ РАННИХ РЕДАКЦИЙ*

Итак, я жил тогда в Одессе  
 Средь новоизбранных друзей,  
 Забыв о сумрачном повесе,  
 Герое повести моей.  
 Онегин никогда со мною  
 Не хвастал дружбой почтовою,  
 А я, счастливый человек,  
 Не переписывался ввек  
 Ни с кем. Каким же изумленьем,  
 Судите, был я поражен,  
 Когда ко мне явился он  
 Неприглашенным привиденьем,  
 Как громко ахнули друзья  
 И как обрадовался я!

<...>

\* примадонна (итал.).

## СТИХИ К АМАЛИИ РИЗНИЧ

## 5

&lt;...&gt;

А ложа, где, красой блистая,  
Негоциантка молодая,  
Самолюбива и томна,  
Толпой рабов окружена?  
Она и внемлет и не внемлет  
И каватине, и мольбам,  
И шутке с лестью пополам...  
А муж — в углу за нею дремлет,  
Впросонках фора закричит,  
Зевнет и — снова захрапит.

&lt;...&gt;

*Путешествие Онегина.*

## 6

## НОЧЬ

Мой голос для тебя и ласковый и томный  
Тревожит позднее молчанье ночи темной.  
Близ ложа моего печальная свеча  
Горит; мои стихи, сливаясь и журча,  
Текут, ручьи любви, текут, полны тобою.  
Во тьме твои глаза блистают предо мною,  
Мне улыбаются, и звуки слышу я:  
Мой друг, мой нежный друг... люблю... твоя... твоя!..

1823

*А. С. Пушкин.*

## 7

\* \* \*

Простишь ли мне ревнивые мечты,  
Моей любви безумное волненье?  
Ты мне верна: зачем же любишь ты  
Всегда пугать мое воображенье?

Окружена поклонников толпой,  
Зачем для всех казаться хочешь милой,  
И всех дарит надеждою пустой  
Твой чудный взор, то нежный, то унылый?  
Мной овладев, мне разум омрачив,  
Уверена в любви моей несчастной,  
Не видишь ты, когда в толпе их страстной,  
Беседы чужд, один и молчалив,  
Терзаюсь я досадою одинокой;  
Ни слова мне, ни взгляда... друг жестокой!  
Хочу ль бежать,—с боязнию и мольбой  
Твои глаза не следуют за мной.  
Заводит ли красавица другая  
Двусмысленный со мною разговор—  
Спокойна ты; веселый твой укор  
Меня мертвит, любви не выражая.  
Скажи еще: соперник вечный мой,  
Наедине застав меня с тобой,  
Зачем тебя приветствует лукаво?..  
Что ж он тебе? Скажи, какое право  
Имеет он бледнеть и ревновать?..  
В нескромный час меж вечера и света,  
Без матери, одна, полуодета,  
Зачем его должна ты принимать?..  
Но я любим... Наедине со мною  
Ты так нежна! Лобзания твои  
Так пламенны! Слова твоей любви  
Так искренно полны твоей душою!  
Тебе смешны мучения мои;  
Но я любим, тебя я понимаю.  
Мой милый друг, не мучь меня, молю:  
Не знаешь ты, как сильно я люблю,  
Не знаешь ты, как тяжело я страдаю.

1823

А. С. Пушкин

Всё кончено: меж нами связи нет,  
В последний раз обняв твои колени,  
Произносил я горестные пени.

Всё кончено — я слышу твой ответ.  
Обманывать себя не стану вновь,  
Тебя тоской преследовать не буду,  
Прошедшее, быть может, позабуду —  
Не для меня сотворена любовь.  
Ты молода: душа твоя прекрасна,  
И многими любима будешь ты.

1824

А. С. Пушкин

## 9

## XV

Да, да, ведь ревности припадка —  
Болезнь, так точно как чума,  
Как черный сплин, как лихорадка,  
Как повреждение ума.  
Она горячкой пламенеет,  
Она свой жар, свой бред имеет,  
Сны злые, призраки свои.  
Помилуй бог, друзья мои!  
Мучительней нет в мире казни  
Ее терзаний роковых.  
Поверьте мне: кто вынес их,  
Тот уж конечно без боязни  
Взойдет на пламенный костер  
Иль шею склонит под топор.

## XVI

Я не хочу пустой укорой  
Могилы возмущать покой;  
Тебя уж нет, о ты, которой  
Я в бурях жизни молодой  
Обязан опытом ужасным  
И рая мигом сладострастным.  
Как учат слабое дитя,  
Ты душу нежную, мутя,  
Учила горести глубокой.  
Ты негой волновала кровь,

Ты воспалила в ней любовь  
И пламя ревности жестокой;  
Но он прошел, сей тяжкий день:  
Почий, мучительная тень!

«Евгений Онегин». Глава 6.  
(Из ранних редакций)

## 10

\* \* \*

Под небом голубым страны своей родной  
Она томилась, увядала...  
Увяла наконец, и верно надо мной  
Младая тень уже летала;  
Но недоступная черта меж нами есть.  
Напрасно чувство возбуждал я:  
Из равнодушных уст я слышал смерти весть,  
И равнодушно ей внимал я.  
Так вот кого любил я пламенной душой  
С таким тяжелым напряженьем,  
С такою нежною, томительной тоской,  
С таким безумством и мученьем!  
Где муки, где любовь? Увы! в душе моей  
Для бедной, легковерной тени,  
Для сладкой памяти невозвратимых дней  
Не нахожу ни слез, ни пени.

1826

А. С. Пушкин

## 11

\* \* \*

Для берегов отчизны дальней  
Ты покидала край чужой;  
В час незабвенный, в час печальный  
Я долго плакал пред тобой.  
Мои хладеющие руки  
Тебя старались удержать;  
Томленье страшное разлуки  
Мой стон молил не прерывать.

Но ты от горького лобзанья  
Свои уста оторвала;  
Из края мрачного изгнанья  
Ты в край иной меня звала.  
Ты говорила: «В день свиданья  
Под небом вечно голубым,  
В тени олив, любви лобзанья  
Мы вновь, мой друг, соединим».

Но там, увы, где неба своды  
Сияют в блеске голубом,  
Где тень олив легла на воды,  
Заснула ты последним сном.  
Твоя краса, твои страданья  
Исчезли в урне гробовой—  
А с ними поцелуй свиданья...  
Но жду его; он за тобой...

1830

А. С. Пушкин.

## 12

## XLIX

Адриатические волны,  
О Брента! нет, увижу вас  
И вдохновенья снова полный,  
Услышу ваш волшебный глас!  
Он свят для внуков Аполлона;  
По гордой лире Альбиона  
Он мне знаком, он мне родной.  
Ночей Италии златой  
Я негой наслажусь на воле,  
С венецианкою молодой,  
То говорливой, то немой,  
Плывя в таинственной гондоле;  
С ней обретут уста мои  
Язык Петрарки и любви.

## L

Придет ли час моей свободы?  
 Пора, пора!—взываю к ней;  
 Брожу над морем, жду погоды,  
 Маню ветрила кораблей.  
 Под ризой бурь, с волнами споря,  
 По вольному распутью моря  
 Когда ж начну я вольный бег?  
 Пора покинуть скучный брег  
 Мне неприязненной стихии,  
 И средь полуденных зыбей,  
 Под небом Африки моей,  
 Вздыхать о сумрачной России,  
 Где я страдал, где я любил,  
 Где сердце я похоронил.

## LI

Онегин был готов со мною  
 Увидеть чуждые страны;

⟨...⟩

«Евгений Онегин». Глава 1.

## 13

Вот тебе, милый и почтенный Асмодей, последняя моя поэма. Я выбросил то, что цензура выбросила б и без меня, и то, что не хотел выставить перед публикою. Если эти бессвязные отрывки покажутся тебе достойными тиснения, то напечатай, да сделай милость, не уступай этой суке цензуре, отгрызайся за каждый стих и загрызи ее, если возможно, в мое воспоминание. Кроме тебя у меня там нет покровителей; еще просьба: припиши к «Бахчисараю» предисловие или послесловие ⟨...⟩ Что касается до моих занятий, я теперь пишу не роман, а роман в стихах — дьявольская разнища. Вроде «Дон-Жуана» — о печати и думать нечего; пишу спустя рукава. Цензура наша так свое нравна, что с нею невозможно и размерить круга сво-



его действия — лучше об ней и не думать — а если брать, так брать, не то, что и когтей марасть. (...)

Вообрази, что я еще не читал твоей статьи, победившей цензуру! вот каково жить по-азиатски, не читая журналов. Одесса город европейский — вот почему русских книг здесь и не водится.

*Пушкин — П. А. Вяземскому.  
4 ноября 1823 г. Из Одессы в Москву.*

## 14

Мой Дельвиг, я получил все твои письма и отвечал почти на все. Вчера повеяло мне жизнью лицейскою, слава и благодарение за то тебе и моему Пущину! Вам скучно, нам скучно: сказать ли вам сказку про белого быка? Душа моя, ты слишком мало пишешь, по крайней мере слишком мало печатаешь. Впрочем, я живу по-азиатски, не читая ваших журналов. На днях попались мне твои прелестные сонеты — прочел их с жадностью, восхищением и благодарностию за вдохновенное воспоминание дружбы нашей. Разделяю твои надежды на Языкова и давнюю любовь к непорочной музе Баратынского. Жду и не дождусь появления в свет ваших стихов; только их получу, заколю агнца, восхваляю господу — и украшу цветами свой шалаш (...). Ты просишь «Бахчисарайского фонтана». Он на днях отослан к Вяземскому. Это бессвязные отрывки, за которые ты меня пожоришь и всё-таки похвалишь. Пишу теперь новую поэму, в которой забалтываюсь донельзя. Бируков ее не увидит за то, что он фи-дитя, блажной дитя. Бог знает когда и мы прочитаем ее вместе — скучно, моя радость! вот припев моей жизни. Если б хоть брат Лев прискакал ко мне в Одессу! где он, что он? ничего не знаю. Друзья, друзья, пора променять мне почести изгнания на радость свидания. Правда ли, что едет к вам Россини и итальянская опера? — боже мой! это представители рая небесного. Умру с тоски и зависти.

*Пушкин — А. А. Дельвигу.  
16 ноября 1823 г. Из Одессы в Петербург.*

## СТИХИ К Е. К. ВОРОНЦОВОЙ

## 15

## КОРАБЛЮ

Морей красавец окриленный!  
Тебя зову — плыви, плыви  
И сохрани залог бесценный  
Мольбам, надеждам и любви.  
Ты, ветер, утренним дыханьем  
Счастливым парус напрягай,  
Волны незапным колыханьем  
Ее груди не утомляй.

1824

*А. С. Пушкин*

## 16

\* \* \*

Приют любви, он вечно полн  
Прохлады сумрачной и влажной.  
Там никогда стесненных волн  
Не умолкает гул протяжный.

1824

*А. С. Пушкин*

## 17

\* \* \*

Ненастный день потух; ненастной ночи мгла  
По небу стелется одеждою свинцовой;  
Как привидение, за роцею сосновой  
Луна туманная взошла...  
Всё мрачную тоску на душу мне наводит.  
Далеко, там, луна в сиянии восходит;  
Там воздух напоен вечерней теплотой;  
Там море движется роскошной пеленой  
Под голубыми небесами...

Вот время: по горе теперь идет она  
 К брегам, потопленным шумящими волнами;  
 Там, под заветными скалами,  
 Теперь она сидит печальна и одна...  
 Одна... никто пред ней не плачет, не тоскует;  
 Никто ее колен в забвенье не целует;  
 Одна... ничьим устам она не передает  
 Ни плеч, ни влажных уст, ни персей белоснежных.

.....  
 .....  
 .....  
 Никто ее любви небесной не достоин,  
 Не правда ль: ты одна... ты плачешь... я спокоен;  
 .....  
 Но если .....

1824

*А. С. Пушкин*

## 18

\* \* \*

Пускай увенчанный любовью красоты  
 В заветном золоте хранит ее черты  
 И письма тайные, награды долгой муки,  
 Но в тихие часы томительной разлуки  
 Ничто, ничто моих не радует очей,  
 И ни единый дар возлюбленной моей,  
 Святой залог любви, утеха грусти нежной—  
 Не лечит ран любви безумной, безнадежной.

1824

*А. С. Пушкин*

## 19

## СОЖЖЕННОЕ ПИСЬМО

Прощай, письмо любви! прощай: она велела.  
 Как долго медлил я! как долго не хотела  
 Рука предать огню все радости мои!..  
 Но полно, час настал: гори, письмо любви.

Готов я; ничему душа моя не внемлет.  
Уж пламя жадное листы твои приемлет...  
Минуту!.. вспыхнули... пылают... легкий дым,  
Виясь, теряется с молением моим.  
Уж перстня верного утрата впечатленье,  
Растопленный сургуч кипит... О провиденье!  
Свершилось! Темные свернулись листы;  
На легком пепле их заветные черты  
Белеют... Грудь моя стеснилась. Пепел милый,  
Отрада бедная в судьбе моей унылой,  
Останься век со мной на горестной груди...

1825

А. С. Пушкин

## 20

## ЖЕЛАНИЕ СЛАВЫ

Когда, любовью и негой упоенный,  
Безмолвно пред тобой коленопреклоненный,  
Я на тебя глядел и думал: ты моя,—  
Ты знаешь, милая, желал ли славы я;  
Ты знаешь: удален от ветреного света,  
Скучая суетным прозванием поэта,  
Устав от долгих бурь, я вовсе не внимал  
Жужжанью дальнему упреков и похвал.  
Могли ль меня молвы тревожить приговоры,  
Когда, склонив ко мне томительные взоры  
И руку на главу мне тихо наложив,  
Шептала ты: скажи, ты любишь, ты счастлив?  
Другую, как меня, скажи, любить не будешь?  
Ты никогда, мой друг, меня не позабудешь?  
А я стесненное молчание хранил,  
Я наслаждением весь полон был, я мнил,  
Что нет грядущего, что грозный день разлуки  
Не придет никогда... И что же? Слезы, муки,  
Измены, клевета, всё на главу мою  
Обрушилось вдруг... Что я, где я? Стою,  
Как путник, молнией постигнутый в пустыне,  
И всё передо мной затмилось! И ныне  
Я новым для меня желанием томим:

Желаю славы я, чтоб именем моим  
Твой слух был поражен всечасно, чтоб ты мною  
Окружена была, чтоб громкою молвою  
Всё, всё вокруг тебя звучало обо мне,  
Чтоб, гласу верному внимая в тишине,  
Ты помнила мои последние моленья  
В саду, во тьме ночной, в минуту разлученья.

1825

*А. С. Пушкин*

## 21

\* \* \*

Всё в жертву памяти твоей:  
И голос лиры вдохновенной,  
И слезы девы воспаленной,  
И трепет ревности моей,  
И славы блеск, и мрак изгнанья,  
И светлых мыслей красота,  
И мщенье, бурная мечта  
Ожесточенного страданья.

1825

*А. С. Пушкин*

## 22

В пещере тайной, в день гоненья,  
Читал я сладостный Коран,  
Внезапно ангел утешенья,  
Влетев, принес мне талисман.

Его таинственная сила  
.....

Слова святые начертила  
На нем безвестная рука

1825

*А. С. Пушкин*

## 23

\* \* \*

Храни меня, мой талисман,  
Храни меня во дни гоненья,  
Во дни раскаянья, волненья:  
Ты в день печали был мне дан.

Когда подымет океан  
Вокруг меня валы ревучи,  
Когда грозою грянут тучи,—  
Храни меня, мой талисман.

В уединенье чуждых стран,  
На лоне скучного покоя,  
В тревоге пламенного боя  
Храни меня, мой талисман.

Священный сладостный обман,  
Души волшебное светило...  
Оно сокрылось, изменило...  
Храни меня, мой талисман.

Пускай же ввек сердечных ран  
Не растравит воспоминанье.  
Прощай, надежда; спи, желанье;  
Храни меня, мой талисман.

1825

А. С. Пушкин

## 24

## ТАЛИСМАН

Там, где море вечно плещет  
На пустынные скалы,  
Где луна теплее блещет  
В сладкий час вечерней мглы,  
Где, в гаремах, наслаждаясь,  
Дни проводит мусульман,  
Там волшебница, ласкаясь,  
Мне вручила талисман.

И, ласкаясь, говорила:  
«Сохрани мой талисман:  
В нем таинственная сила!  
Он тебе любовью дан.  
От недуга, от могилы,  
В бурю, в грозный ураган,  
Головы твоей, мой милый,  
Не спасет мой талисман.

И богатствами Востока  
Он тебя не одарит,  
И поклонников пророка  
Он тебе не покорит;  
И тебя на лоно друга,  
От печальных чуждых стран,  
В край родной на север с юга  
Не умчит мой талисман...

Но когда коварны очи  
Очаруют вдруг тебя,  
Иль уста во мраке ночи  
Поцелуют не любя —  
Милый друг! от преступленья,  
От сердечных новых ран,  
От измены, от забвенья  
Сохрани мой талисман!»

1827

А. С. Пушкин

## 25

## АНГЕЛ

В дверях эдема ангел нежный  
Главой поникшею сиял,  
А демон, мрачный и мятежный,  
Над адской бездною летал.

Дух отрицанья, дух сомненья  
На духа чистого взирал  
И жар невольный умиленья  
Впервые смутно познавал.

«Прости,— он рек,— тебя я видел,  
И ты недаром мне сиял:  
Не всё я в небе ненавидел,  
Не всё я в мире презирал».

1827

*А. С. Пушкин*

## 26

## ПРОЩАНИЕ

В последний раз твой образ милый  
Дерзаю мысленно ласкать,  
Будить мечту сердечной силой  
И с негой робкой и унылой  
Твою любовь воспоминать.

Бегут, меняясь, наши лета,  
Меня всё, меня нас,  
Уж ты для своего поэта  
Могильным сумраком одета,  
И для тебя твой друг угас.

Прими же, дальная подруга,  
Прощанье сердца моего,  
Как овдовевшая супруга,  
Как друг, обнявший молча друга  
Пред заточением его.

1830

*А. С. Пушкин*

## 26а

Милостивый государь.

Право, не знаю, должна ли я писать вам и будет ли мое письмо встречено приветливой улыбкой, или же тем скучающим взглядом, каким с первых же слов начинают искать в конце страницы имя навязчивого автора.— Я опасаясь этого проявления чувства любопытства и безразличия, весьма, конечно понятного, но для меня, признаюсь, мучительного по той простой причине, что никто не может отнестись к себе беспри-



страстно.— Но всё равно; меня побуждает не личный интерес: благодеяние, о котором я прошу, предназначено для других, и потому я чувствую в себе смелость беспокоить вас; не сомневаюсь, что и вы уже готовы выслушать меня.— Крайняя нищета, угнетающая наш край и самый город, в котором вы жили и который благодаря вашему имени войдет в историю, дала случай проявиться в полной мере милосердию его обитателей.— Образовалось общество, поставившее себе задачей осуществление благородной цели, ради которой были принесены щедрые пожертвования. Бог благословил общественное усердие, много слез было осушено, многим беднякам была оказана помощь; но надо продолжить это дело, и для того, чтобы увеличить средства для оказания помощи, общество непрерывно возбуждает любопытство и использует развлечения.— Между прочим было сделано одно литературное предложение; кажется, оно осуществимо, судя по той горячности, с какою его стали развивать и поддерживать.— Мысль об альманахе в пользу бедных удостоилась одобрения лиц, влиятельных собственной помощью или помощью своих друзей. Из программы этого альманаха, которую я беру на себя смелость вам послать, вы, милостивый государь, увидите, как он будет составлен.— Теперь, когда столько лиц обращаются к нашим литературным светилам с призывом обогатить наш *Подарок бедным*, могу ли я не напомнить вам о наших прежних дружеских отношениях, воспоминание о которых вы, может быть, еще сохранили, и не попросить вас в память этого о поддержке и покровительстве, которые мог бы оказать ваш выдающийся талант нашей *Подбирательнице колосьев*.— Будьте же добры не слишком досадовать на меня, и, если мне необходимо выступить в защиту своего дела, прошу вас, в оправдание моей назойливости и возврата к прошлому, принять во внимание, что воспоминания— это богатство старости, и что ваша старинная знакомая придает большую цену этому богатству.

Примите, милостивый государь, мои самые усердные приветствия.

Е. Вибельман (фр.)

Е. К. Воронцова — Пушкину. 26 декабря 1833 г.  
Из Одессы в Петербург.

## 266

Графиня,

Вот несколько сцен из трагедии, которую я имел намерение написать. Я хотел положить к вашим ногам что-либо менее несовершенное; к несчастью, я уже распорядился всеми моими рукописями, но предпочел провиниться перед публикой, чем ослушаться ваших приказаний.

Осмелюсь ли, графиня, сказать вам о том мгновении счастья, которое я испытал, получив ваше письмо, при одной мысли, что вы не совсем забыли самого преданного из ваших рабов?

Остаюсь с уважением, графиня, вашим низжайшим и покорнейшим слугой Александр Пушкин. (фр.)

*Пушкин — Е. К. Воронцовой.*

*5 марта 1834 г.*

*Из Петербурга в Одессу.*

## 27

⟨...⟩ Я обнимаю вас из прозаической Одессы, не благодаря ни за что, но ценя в полной мере и ваше воспоминание и дружеское попечение, которому обязан я переменею своей судьбы. Надобно подобно мне провести три года в душном азиатском заточении, чтоб почувствовать цену и не вольного европейского воздуха. ⟨...⟩

*Пушкин — А. И. Тургеневу. 1 декабря 1823 г.*

*Из Одессы в Петербург.*

## 28

Так как я дождался оказии, то и буду писать тебе спустя рукава. Н. Раевский здесь. Он о тебе привез мне недостаточные известия; зачем ты с ним чинился и не поехал повидаться со мною? денег не было? после бы сочлись — а иначе бог знает когда сойдемся. Ты знаешь, что я дважды просил Ивана Ивановича о своем отпуске чрез его министров — и два раза воспослед-

ствовал всемилостивейший отказ. Осталось одно — писать прямо на его имя — такому-то, в Зимнем дворце, что против Петропавловской крепости, не то взять тихонько трость и шляпу и поехать посмотреть на Константинополь. Святая Русь мне становится невтерпеж. *Ubi bene ibi patria* \*. А мне *bene* там, где растет трин-трава, братцы. Были бы деньги, а где мне их взять? что до славы, то ею в России мудрено довольствоваться. Русская слава льстить может какому-нибудь В. Козлову, которому льстят и петербургские знакомства, а человек немного порядочный презирает и тех и других. *Mais pourquoi chantais-tu?*\*\* на сей вопрос Ламартина отвечаю — я пел, как булочник печет, портной шьет, Козлов пишет, лекарь морит — за деньги, за деньги, за деньги — таков я в наготе моего цинизма. Плетнев пишет мне, что «Бахчисарайский фонтан» у всех в руках. Благодарю вас, друзья мои, за ваше милостивое попечение о моей славе! благодарю в особенности Тургенева, моего благодетеля; благодарю Воейкова, моего высокого покровителя и знаменитого друга! Остается узнать, раскупится ли хоть один экземпляр печатный теми, у которых есть полные рукописи; но это безделица — поэт не должен думать о своем пропитании, а должен, как Корнилович, писать с надеждою сорвать улыбку прекрасного пола. Душа моя, меня тошнит с досады — на что ни взгляну, всё такая гадость, такая подлость, такая глупость — долго ли этому быть? (...) С Рылеевым мирюсь — «Войнаровский» полон жизни. Что Кюхля? Дельвигу буду писать, но, если не успею, скажи ему, чтоб он взял у Тургенева «Олега вещего» и напечатал. Может быть, я пришлю ему отрывки из «Онегина»; это лучшее мое произведение. Не верь Н. Раевскому, который бранит его — он ожидал от меня романтизма, нашел сатиру и цинизм и порядочно не расчухал.

*Пушкин — Л. С. Пушкину.*  
*Январь (после 12) — начало февраля 1824 г.*  
*Из Одессы в Петербург.*

\* Где хорошо, там и отечество (*лат.*).

\*\* Но почему ты пел? (*фр.*).

29

1824

8 février la nuit 1824. Joué avec Schachovskoy et Siniavin; perdu; soupé chez Comtesse Elise Woronzoff.\*

1824. 19/7 avril mort de Byron.\*\*

Mai 26. Voyage, vin de Hongrie.

Juillet 30 — Turco in Italia.

31 — départ.\*\*\*

30

*И. П. Липранди.*

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

В этот день мне случилось в первый раз обедать с Пушкиным у графа. Он сидел довольно далеко от меня и через стол часто переговаривался с Ольгой Станиславовной Нарышкиной (урожденной графиней Потockой, сестрой С. С. Киселевой); но разговор почему-то вовсе не одушевлялся. Графиня Воронцова и Башмакова (Варвара Аркадьевна, урожденная княжна Суворова) иногда вмешивались в разговор двумя-тремя словами. Пушкин был чрезвычайно сдержан и в мрачном настроении духа. Вставши из-за стола, мы с ним столкнулись, когда он отыскивал, между многими, свою шляпу, и на вопрос мой — куда? — «Отдохнуть! — отвечал он мне, присовокупив: — Это не обеды Бологовского, Орлова и даже...» — не окончил, вышел, сказав, что когда я приеду, то дал бы знать. В эту ночь

\* 8 февраля ночь играл с Шаховским и Синявиним; проиграл; ужинал у графини Элизы Воронцовой (фр.).

\*\* 1824. 19/7 апреля смерть Байрона (фр.).

\*\*\* Мая 26. Поездка, венгерское вино. Июля 30 — Турок в Италии. 31 — отъезд. (фр.).

я должен был возвратиться в Кишинев, чтобы через несколько дней опять приехать в Одессу. Получив от графа еще кой-какие поручения, я объездил некоторых лиц, что было необходимо по службе; в восемь часов возвратился домой и, проходя мимо номера Пушкина, зашел к нему. Я застал его в самом веселом расположении духа, без сюртука, сидящим на коленях у мавра Али. Этот мавр, родом из Туниса, был капитаном, то есть шкипером коммерческого или своего судна, человек очень веселого характера, лет тридцати пяти, среднего роста, плотный, с лицом загорелым и несколько рябоватым, но очень приятной физиономии. Али очень полюбил Пушкина, который не иначе называл его, как корсаром. Али говорил несколько по-французски и очень хорошо по-итальянски. Мой приход не переменял их положения; Пушкин мне рекомендовал его, присовокупив, что — «у меня лежит к нему душа: кто знает, может быть, мой дед с его предком были близкой родней». И вслед за сим начал его щекотать, чего мавр не выносил, а это забавляло Пушкина. Я пригласил его к себе пить чай, сказав, что, по обыкновению, оба Сафоновы, Лекс и еще кое-кто обещали проводить меня. Пушкин принял это с большим удовольствием, присовокупив, что это напомнит ему Кишинев, и вызвался привести с собой Али; я очень был рад, ибо любил этого рода людей. Лекс уже знал Али, бывавшего в канцелярии гр. Воронцова по какому-то делу. Господствующий разговор был о Кишиневе, где переменялось все; Александр Сергеевич находил, что положение его во всех отношениях было гораздо выносимее там, нежели в Одессе, и несколько раз принимался щекотать Али, говоря, что он составляет здесь для него единственное наслаждение. После веселого ужина я отправился, дав всем слово приехать к приближающейся масленице.

Дней через десять в десять часов утра я приехал опять в Одессу, вместе с Н. С. Алексеевым, и тотчас послал дать знать Пушкину. Человек возвратился с известием, что он еще спит, что пришел домой в пять часов утра из маскарада. Отправившись к графу и к некоторым еще другим лицам, я узнал, что маскарад был у графа. В час мы нашли Пушкина еще

в кровати, с поджатыми, по обыкновению, ногами и что-то пишушим. Он был очень не в духе от бывшего маскарада; рассказал некоторые эпизоды и в особенности был раздражен на (тогда коллежского асессора) барона Брунова (ныне нашего посла в Лондоне) и на улыбку довольствия графа. Так как первым условием маскарада было костюмироваться (Пушкин был в домино с маской), то Брунов костюмировался валетом червей и сплошь обшил себя червонными валетами. Подойдя к графу и к графине и подавая какие-то стихи на французском языке, он сказал что-то вроде, что: «Валет червей преподносит в дар королю сердец». Пушкин не переваривал этих слов. «Милорд (так иногда он называл графа) и чета его приняли это с большим удовольствием»,— и вдруг расхохотался и, обняв Алексеева, продолжал: «А вот кто потешил меня—так это Иван Васильевич» (Сабанеев), и рассказал нам, что граф и графиня неотступно просили Сабанеева тоже быть в каком-либо костюме. Как ни отговаривался Иван Васильевич и ни ссылался на свою фигуру, но должен был наконец обещать и сдержал свое слово—«Как подобает русскому»,—прибавил Пушкин. Генерал Сабанеев надел фрак, в котором фигура его, вообще взятая, не могла не быть смешной. Это было еще ничего, но он на шею и на фрак нацепил все имевшиеся у него иностранные ордена (а их было много, ибо, будучи начальником главного штаба главной армии в 1813 и 1814 годах, он получил оные от всех союзников и по нескольку) и ни одного русского. Пушкин был в восторге, что Сабанеев употребил иностранные ордена как маскарадный костюм. Восторг этот разделяли, однако же, не все, а иностранные консулы думали даже видеть в этом недоброжелательное намерение и как бы желание оскорбить значение их орденов в глазах русских.

В эту мою поездку в Одессу, где пробыл я неделю, я начал замечать, но безотчетно, что Пушкин был недоволен своим пребыванием относительно общества, в котором он, как говорится, более или менее вращался. Находясь в Одессе, я не проникал в эти причины, хотя очень часто с ним и еще с двумя-тремя делали экскурсии, где, как говорится, все распоясывались. Я замечал какую-то отчужденность в Пушкине, но не искал проникать в его задушевное и оставлял,

так сказать, без особенного внимания. В дороге, в обратный путь в Кишинев, мы разговорились с Алексеевым и начали находить в Пушкине большую перемену, даже в суждениях. По некоторым вырывавшимся у него словам Алексеев, бывший к нему ближе и интимнее, нежели я, думал видеть в нем как будто бы какое-то ожесточение. (...)

До отъезда Пушкина я был еще раза три в Одессе и каждый раз находил его более и более недовольным; та веселость, которая одушевляла его в Кишиневе, проявлялась только тогда, когда он находился с мавром Али. Мрачное настроение духа Александра Сергеевича породило много эпиграмм, из которых едва ли не большая часть была им только сказана, но попала на бумагу и сделалась известной. Эпиграммы эти касались многих и из канцелярии графа, так, например, про начальника отделения Артемьева особенно отличалась от других своими убийственными, но верными выражениями. Стихи его на некоторых дам, бывших на бале у графа, своим содержанием раздражили всех. Начались сплетни, интриги, которые еще более раздражали Пушкина. Говорили, что будто бы граф, через кого-то, изъявил Пушкину свое неудовольствие и что это было поводом известных стихов к портрету.

Услужливость некоторых тотчас же распространила их. Не нужно было искать, к чьему портрету они метили. Граф не показал вида какого-либо негодования: по-прежнему приглашал Пушкина к обеду, по-прежнему обменивался с ним несколькими словами.

Но не то Александр Сергеевич думал видеть в графине, заметно сделавшейся холоднее, и, конечно, Пушкин опять-таки имел неосторожность при недоброжелательных ему лицах сказать, что холодность эта происходит «не за подпись к портрету, а за стихи на бал» и пр.

1866

31 .

Вот что пишет ко мне Вяземский:

«В «Благонамеренном» читал я, что в каком-то ученом обществе читали твой «Фонтан» еще до напе-

чатания. На что это похоже? И в Петербурге ходят тысяча списков с него — кто ж после будет покупать; я на совести греха не имею и проч.».

Ни я. Но мне скажут: а какое тебе дело? ведь ты взял свои 3000 р. — а там хоть трава не расти. — Всё так, но жаль, если книгопродавцы, в первый раз поступившие по-европейски, обдернутся и останутся в накладе — да вперед невозможно и мне будет продавать себя с барышом. Таким образом, обязан я за всё про всё — друзьям *моей славы* — чёрт их возьми и с нею; тут смотри, как бы с голоду не околеть, а они кричат *слава!* Видишь, душа моя, мне на всех вас досадно; требую от тебя одного: напиши мне, как «Фонтан» расходуется — или запишусь в графы Хвостовы и сам раскуплю половину издания. Что это со мною делают журналисты! Булгарин хуже Воейкова — как можно печатать партикулярные письма — мало ли, что мне приходит на ум в дружеской переписке — а им бы всё и печатать. Это разбой; решено: прерываю со всеми переписку — не хочу с ними иметь ничего общего. А они, глупо ругай или глупо хвали меня — мне всё равно — их ни в грош не ставлю, а публику почитаю наравне с книгопродавцами — пусть покупают и врут, что хотят.

Письмо это доставит тебе Синявин, *адъютант* графа Воронцова, славнейший малый, мой приятель; он доставит тебе обо мне все сведения, которых только пожелаешь. Мне сказывали, что ты будто собираешься ко мне; куда тебе! Разве на казенный счет да в сопровождении жандарма. Пиши мне. Ни ты, ни отец ни словечка не отвечаете мне на мои элегические отрывки — денег не шлете — а подрываете мой книжный торг. Куда хорошо.

*Пушкин — Л. С. Пушкину. 1 апреля 1824 г.  
Из Одессы в Петербург.*

Что же касается Пушкина, то я говорю с ним не более 4 слов в две недели; он боится меня, так как знает прекрасно, что при первых дурных слухах о нем я отправлю его отсюда и что тогда уже никто не



пожелает взять его на свою обузу; я вполне уверен, что он ведет себя много лучше и в разговорах своих гораздо сдержаннее, чем раньше, когда находился при добром генерале Инзове, который забавлялся спорами с ним, пытаюсь исправить его путем логических рассуждений, а затем позволял ему жить одному в Одессе, между тем как сам оставался в Кишиневе. По всему, что я узнаю на его счет и через Гурьева, и через Казначеева, и через полицию, он теперь очень благо-разумен и сдержан; если бы было иначе, я отослал бы его и лично был бы в восторге от этого, так как я не люблю его манер и не такой уже поклонник его таланта — нельзя быть истинным поэтом, не работая постоянно для расширения своих познаний, а их у него недостаточно (фр.).

*М. С. Воронцов — П. Д. Киселеву. 6 марта 1824.  
Из Одессы в Петербург.*

## 33

Никоим образом я не приношу жалоб на Пушкина; справедливость даже требует сказать, что он кажется гораздо сдержаннее и умереннее, чем был прежде, но собственный интерес молодого человека, не лишенного дарований, недостатки которого происходят, по моему мнению, скорее от головы, чем от сердца, заставляют меня желать, чтобы он не оставался в Одессе. Основным недостатком г. Пушкина — это его самолюбие. Он находит здесь и за купальный сезон приобретет еще более людей, восторженных поклонников его поэзии, которые полагают, что выражают ему дружбу, восхваляя его и тем самым оказывая ему злую услугу, кружат ему голову и поддерживают в нем убеждение, что он замечательный писатель, между тем как он только слабый подражатель малопочтенного образца (лорд Байрон), да кроме того, только работой и усидчивым изучением истинно великих классических поэтов он мог бы оправдать те счастливые задатки, в которых ему нельзя отказать. Удалить его отсюда — значит оказать ему истинную услугу. Возвращение к генералу Инзову не поможет ничему, ибо все равно он будет тогда в Одессе, но без

надзора. Кишинев так близко отсюда, что ничего не помешает этим почитателям поехать туда; да и, наконец, в самом Кишиневе он найдет в боярах и в молодых греках достаточно скверное общество. По всем этим причинам я прошу ваше сиятельство испросить распоряжений государя по делу Пушкина. Если бы он был перемещен в какую-нибудь другую губернию, он нашел бы для себя среду менее опасную и больше досуга для занятий. (фр.)

*М. С. Воронцов — К. В. Нессельроде. 28 марта 1824.  
Из Одессы в Петербург.*

## 34

⟨...⟩ я писал к гр. Неселроду, прося, чтоб меня избавили от поэта Пушкина. — На теперешнее поведение его я жаловаться не могу, и, сколько слышу, он в разговорах гораздо скромнее, нежели был прежде, но, первое, ничего не хочет делать и проводит время в совершенной лени, другое — таскается с молодыми людьми, которые умножают самолюбие его, коего и без того он имеет много; он думает, что он уже великий стихотворец, и не воображает, что надо бы еще ему долго почитать и поучиться прежде, нежели точно будет человек отличный. В Одессе много разного сорта людей, с коими этакая молодежь охотно видится, и, желая добро самому Пушкину, я прошу, чтоб его перевели в другое место, где бы он имел и больше времени, и больше возможности заниматься, и я буду очень рад не иметь его в Одессе ⟨...⟩

*М. С. Воронцов — Н. М. Лонгинову.  
8 апреля 1824. Из Белой Церкви в Петербург.*

## 35

⟨...⟩ я повторяю мою просьбу — избавьте меня от Пушкина: это, может быть, превосходный малый и хороший поэт, но мне бы не хотелось иметь его дольше ни в Одессе, ни в Кишиневе. Прощайте, дорогой граф⟨...⟩. (фр.)

*М. С. Воронцов — К. В. Нессельроде. 2 мая 1824.  
Из Одессы в Петербург.*

## 36

(...) Я представил императору ваше письмо о Пушкине. Он был вполне удовлетворен тем, как вы судите об этом молодом человеке, и дал мне приказание уведомить вас о том официально. Но что касается того, что окончательно предпринять по отношению к нему, он оставил за собою дать свое повеление во время ближайшего моего доклада. (фр.)

*К. В. Нессельроде — М. С. Воронцову. 16 мая 1824.  
Из Петербурга в Одессу.*

## 37

Состоящему в штате моем ведомства Коллегии Иностранных дел господину коллежскому секретарю Пушкину.

Желая удостовериться о количестве появившейся в Херсонской губернии саранчи, равно и том, с каким успехом исполняются меры, преподанные мною к истреблению оной, я поручаю вам отправиться в уезды Херсонский, Елисаветградский и Александрийский. По прибытии в города Херсон, Елисаветград и Александрию явитесь в тамошние общие уездные присутствия и потребуйте от них сведения: в каких местах саранча возродилась, в каком количестве, какие учинены распоряжения к истреблению оной и какие средства к тому употребляются. После сего имеете осмотреть важнейшие места, где саранча наиболее возродилась, и обозреть, с каким успехом действуют употребленные к истреблению оной средства и достаточны ли распоряжения, учиненные уездными присутствиями.

Обо всем, что по сему вами найдено будет, рекомендую донести мне.

Новороссийский генерал-губернатор и полномочный наместник Бессарабской области Воронцов.

*22 мая 1824. Одесса.*

## 38

## Ф. Ф. Вигель

## ИЗ ЗАПИСОК

(...) Через несколько дней по приезде моем в Одессу встревоженный Пушкин вбежал ко мне сказать, что ему готовится величайшее неудовольствие. В это время несколько самых низших чиновников из канцелярии генерал-губернаторской, равно как и из присутственных мест, отряжено было для возможного еще истребления ползающей по степи саранчи; в число их попал и Пушкин. Ничего не могло быть для него унижительнее... Для отвращения сего добрейший Казначеев медлил исполнением, а между тем тщетно ходатайствовал об отмене приговора. Я тоже заикнулся было на этот счет; куда тебе. Он (Воронцов) побледнел, губы его задрожали, и он сказал мне: «Любезный Ф. Ф., если вы хотите, чтобы мы остались в прежних приятных отношениях, не упоминайте мне никогда об этом мерзавце», — а через полминуты прибавил: «Также и о достойном друге его Раевском». Последнее меня удивило и породило во мне много догадок.

Во всем этом было так много злого и низкого, что оно само собою не могло родиться в голове Воронцова, а, как узнали после через Франка, внушено было самим же Раевским. По совету сего любезного друга Пушкин отправился и, возвратясь дней через десять, подал донесение об исполнении порученного. Но в то же время, под диктовку того же друга, написал к Воронцову французское письмо, в котором между прочим говорил, что дотоле видел он в себе ссыльного, что скудное содержание, им получаемое, почитал он более пайком арестанта; что во время пребывания его в Новороссийском крае он ничего не сделал столь предосудительного, за что бы мог быть осужден на каторжную работу, но что, впрочем, после сделанного из него употребления он, кажется, может вступить в права обыкновенных чиновников и, пользуясь ими, просить об увольнении от службы. Ему велено отвечать, что как он состоит в ведомстве министерства иностранных дел, то просьба его передана будет

прямому его начальнику, графу Нессельроде; в частном же письме к сему последнему поступки Пушкина представлены в ужасном виде. Недели через три после того, когда меня уже не было в Одессе, получен ответ: государь, по докладу Нессельроде, повелел Пушкина отставить от службы и сослать на постоянное жительство в отцовскую деревню, находящуюся в Псковской губернии.

## 39

Почтенный Александр Иванович! Будучи совершенно чужд ходу деловых бумаг, не знаю, в праве ли отозваться на предписание его сиятельства. Как бы то ни было, надеюсь на вашу снисходительность и приемлю смелость объясниться откровенно насчет моего положения.

Семь лет я службою не занимался, не написал ни одной бумаги, не был в сношении ни с одним начальником. Эти семь лет, как вам известно, вовсе для меня потеряны. Жалобы с моей стороны были бы не у места. Я сам заградил себе путь и выбрал другую цель. Ради бога, не думайте, чтоб я смотрел на стихотворство с детским тщеславием рифмача или как на отдохновение чувствительного человека: оно просто мое ремесло, отрасль честной промышленности, доставляющая мне пропитание и домашнюю независимость. Думаю, что граф Воронцов не захочет лишить меня ни того, ни другого.

Мне скажут, что я, получая 700 рублей, обязан служить. Вы знаете, что только в Москве или Петербурге можно вести книжный торг, ибо только там находятся журналисты, цензоры и книгопродавцы; я поминутно должен отказываться от самых выгодных предложений единственно по той причине, что нахожусь за 2000 верст от столиц. Правительству угодно вознаграждать некоторым образом мои утраты, я принимаю эти 700 рублей не так, как жалование чиновника, но как паёк ссылочного невольника. Я готов от них отказаться, если не могу быть властен в моем времени и занятиях. Вхожу в эти подробности, потому что дорожу мнением графа Воронцова, так же как и вашим, как и мнением всякого честного человека.

Повторяю здесь то, что уже известно графу Михаилу Семеновичу: если бы я хотел служить, то никогда бы не выбрал себе другого начальника, кроме его сиятельства; но, чувствуя свою совершенную неспособность, я уже отказался от всех выгод службы и от всякой надежды на дальнейшие успехи в оной.

Знаю, что довольно этого письма, чтоб меня, как говорится, уничтожить. Если граф прикажет подать в отставку, я готов; но чувствую, что, переменяв мою зависимость, я много потеряю, а ничего выиграть не надеюсь.

Еще одно слово: Вы, может быть, не знаете, что у меня аневризм. Вот уж 8 лет, как я ношу с собою смерть. Могу представить свидетельство которого угодно доктора. Ужели нельзя оставить меня в покое на остаток жизни, которая верно не продлится.

Свидетельствую вам глубокое почтение и сердечную преданность.

*Пушкин — А. И. Казначееву. 22 мая 1824 г. В Одессе.  
(Вторая черновая редакция)*

## 40

Одесса Мая 23 дня 1824 Года. По случаю отправления меня для собрания сведений о саранче в Уездах: Херсонском, Александрийском и Елисаветградском, на уплату прогонов за две почтовые лошади примерно четыреста рублей Ассигнациями от Казначая Титулярного Советника Архангельского Получил Коллежский Секретарь Александр *Пушкин*.

## 41

*Е. Л. Любочинская. М. А. Душенкевич.*

ИЗ СЕМЕЙНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ.

На Троицу 1824 г., 21 мая \* в имени Льва Леонтьевича Добровольского — Сасовке, в 20 верстах от Елисаветграда, праздновались именины сестры его

\* Ошибка — это не могло быть раньше 23-го, а вернее всего приезд Пушкина был 26 мая.

Елены Леонтьевны, и по этому случаю, как водится, у него собралось большое общество. Во время обеда лакей приносит открытый лист, выданный чиновнику на проезд. Хозяин велел проводить приезжего во флигель и просить подождать пока пригонят табун из степи. Пройдя во флигель, тот вышел потом на крыльцо и приготовился умываться.

Приезд неизвестного чиновника в то время в деревенской глуши составлял целое событие, и потому присутствующие на обеде барышни встали из-за стола и направились в детскую, окна которой выходили на крыльцо флигеля; ожидая увидеть изящного кавалера, они заглянули в окна и неприятно разочаровались, когда увидели черную от дорожной пыли физиономию, напомнившую им арапа, но потом, когда чиновник бесцеремонно снял скюртук и, с улыбкой поглядывая на них, принялся умываться, дружно рассмеялись. Услыхав в детской смех, брат хозяина Григорий Леонтьевич отправился и сам туда же, потому что любил поухаживать за барышнями,— каково же было его удивление, когда в приезжем чиновнике он узнал Пушкина! Сейчас же сообщил он о своем открытии всем гостям и побежал тащить неожиданного гостя обедать.

Пушкина посадили рядом с хозяином, который в доказательство того как ценятся его стихи даже в деревенской глуши, вынес из кабинета истертую, истрепанную тетрадку поэмы «Кавказский пленник». В ответ на это поэт благосклонно улыбнулся. Всех интересовало, что теперь пишет Пушкин. «Евгения Онегина»,— ответил он. Тогда все пристали к нему с просьбою продекламировать что-нибудь из нового произведения. Александр Сергеевич начал: «Мой дядя самых честных правил...» и закончил словами: «Когда же черт возьмет тебя!» — произнеся последнюю фразу с выразительным жестом, причем одна из присутствовавших дам пришла в ужас: «Как это можно говорить такие вещи, да еще при дамах!»

В это время к хозяйке дома подошла дочь, малютка лет трех; лаская девочку, мать поставила ребенка на стол, и девочка, лавируя между приборами, прошла к отцу, на другой конец стола. Отец сказал Александру Сергеевичу, что эта малютка знает его стихи и

велел ей прочитать то место из «Кавказского пленника», где описывается красавица; действительно, дитя едва внятно пролепетало несколько строк. Пушкин сказал ей: «Да ты и сама обещаешь быть такой же красавицей»,—и сам прочел ей стихотворение «Адели».

Когда выпили за здоровье именинницы, предложено было несколько тостов за Александра Сергеевича. После обеда Лев Леонтьевич пожелал представить ему сыновей и просил пожелать им стать такими же поэтами, как он. Старшего мальчика Лаврентия Пушкин погладил по голове, а младшего, шестимесячного Эраста, взял у кормилицы, снял с него чепчик, поднес к иконам и, прочитав молитву, пожелал быть честным, счастливым, хорошим человеком.

После дороги и обеда Александр Сергеевич почувствовал себя уставшим и пожелал отдохнуть. Хозяин, а с ним все гости-мужчины взялись проводить его во флигель и отправились с бокалами вина. Но отдохнуть поэту не пришлось: до самого вечера носили во флигель бутылки, а веселая компания продолжала там кутить.

По просьбе хозяев Пушкин провел в Сасовке еще день, чем сильно была недовольна матушка хозяйки, женщина неграмотная, которая не могла взять в толк, как можно так ухаживать за человеком, занимающимся только писанием стихов, а главное—для такого человека истощать запасы в погребе.

Когда Пушкин уезжал, дамы проводили его с букетами и засыпали цветами, а мужчины поехали провожать его...

1894. Запись Е. Ф. Кодьевой.

(Секретное)

Сделай милость, будь осторожен на язык и на перо. Не играй своим будущим. Теперешняя ссылка твоя лучше всякого места. Что тебе в Петербурге? Дай мне отделаться от дел своих, но не так, чтобы можно было все бросить на несколько лет и ехать в чужие края, я охотно поселился бы у вас. Верные люди



сказывали мне, что уже на Одессу смотрят как на *champ d'asyle*,\* а в этом поле, верно, никакая ягодка более тебя не обращает внимания. В случае какой-нибудь непогоды Воронцов не отстоит тебя и не защитит, если правда, что и он подозреваем в подозрительности. Да к тому же, признаюсь откровенно: я не твердо уповаю на рыцарство Воронцова. Он человек приятный, благонамеренный, но не пойдет донкишотствовать против власти ни за *лице*, ни за *мнение*, какие бы они ни были, если власть поставит его в необходимость объявить себя за них или за нее. Ты довольно сыграл пажеских шуток с правительством; довольно подразнил его, и полно! {...}

П. А. Вяземский — Пушкину.  
Конец мая (?) 1824 г. Из Москвы в Одессу.

## 43

## В КОЛЛЕГИЮ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

2 июня 1824 г. Из Одессы в Петербург.

Всепресветлейший, державнейший, великий государь император Александр Павлович, самодержец всероссийский, государь всемилостивейший!

Просит коллежский секретарь Александр Пушкин, а о чем тому следуют пункты:

## 1.

Вступив в службу вашего императорского величества из Царскосельского лицея с чином коллежского секретаря в 1817 году, июня 17 дня, в Коллегии иностранных дел, продолжал оную в Санкт-Петербурге до 1820 году, потом волею вашего императорского величества откомандирован был к полномочному наместнику Бессарабской области.

## 2.

Теперь по слабости здоровья, не имея возможности продолжать моего служения, всеподданнейше прошу

\* пристанище (фр.).

## 3.

Дабы высочайшим вашего императорского величества указом повелено было сие мое прошение принять и меня вышеименованного от службы уволить.

## 4.

Всемилоостивейший государь, прошу ваше императорское величество о сем моем прошении решение учинить. Июня 2 дня 1824 года, Одесса. К подаче подлежит через новороссийского генерал-губернатора и полномочного наместника Бессарабской области в Государственную коллегия иностранных дел.

Сие прошение сочинял и писал коллежский секретарь Александр Сергеев сын Пушкин.

## 44

Мне очень досадно, что отставка моя так огорчила вас, и сожаление, которое вы мне по этому поводу высказываете, искренне меня трогает. Что касается опасения вашего относительно последствий, которые эта отставка может иметь, то оно не кажется мне основательным. О чем мне жалеть? О своей неудавшейся карьере? С этой мыслью я успел уже примириться. О моем жаловании? Поскольку мои литературные занятия дают мне больше денег, вполне естественно пожертвовать им моими служебными обязанностями и т. д. Вы говорите мне о покровительстве и о дружбе. Это две вещи несовместимые. Я не могу, да и не хочу притязать на дружбу графа Воронцова, еще менее на его покровительство: по-моему, ничто так не бесчестит, как покровительство, а я слишком уважаю этого человека, чтоб желать унизиться перед ним. На этот счет у меня свои демократические предрассудки, вполне стоящие предрассудков аристократической гордости.

Я устал быть в зависимости от хорошего или дурного пищеварения того или другого начальника, мне наскучило, что в моем отечестве ко мне относятся с меньшим уважением, чем к любому юнцу-

англичанину, явившемуся щеголять среди нас своей тупостью и своей тарабарщиной.

Единственное, чего я жажду, это — независимости (слово неважное, да сама вещь хороша); с помощью мужества и упорства я в конце концов добьюсь ее. Я уже поборол в себе отвращение к тому, чтобы писать стихи и продавать их, дабы существовать на это, — самый трудный шаг сделан. Если я еще пишу по вольной прихоти вдохновения, то, написав стихи, я уже смотрю на них только как на товар по столько-то за штуку. — Не могу понять ужаса своих друзей (не очень-то знаю, кто они — эти мои друзья).

Несомненно, граф Воронцов, человек неглупый, сумеет обвинить меня в глазах света: победа очень лестная, которою я позволю ему полностью насладиться, ибо я столь же мало забочусь о мнении света, как о брани и о восторгах наших журналов. (фр.)

Пушкин — А. И. Казначееву.

Начало (после 2) июня 1824 г. В Одессе. (Черновое)

## 45

Жена твоя приехала сегодня, привезла мне твои письма и мадригал Василия Львовича, в котором он мне говорит: *ты будешь жить с княгиней прелестной*: не верь ему, душа моя, и не ревнуй. Письма твои обрадовали меня по многим отношениям: кажется, ты успокоился после своей эпиграммы. Давно бы так! Критики у нас, чувашей, не существует, палки как-то неприличны; о поединке и смех и грех было и думать: то ли дело цып-цып или цыц-цыц. Пришли мне эпиграмму Грибоедова. В твоей неточность: и *визг* такой; должно *писк*. Впрочем, она прелестна. То, что ты говоришь насчет журнала, давно уже бродит у меня в голове. Дело в том, что на Воронцова нечего надеяться. Он холоден ко всему, что не он; а меценатство вышло из моды. Никто из нас не захочет великодушного покровительства просвещенного вельможи, это обветшало вместе с Ломоносовым. Нынешняя наша словесность есть и должна быть благородно-независима. Мы одни должны взяться за

дело и соединиться. Но беда! мы все лентяй на лентяе — материалы есть, материалисты есть, но *oï est le cul de plomb qui poussera ça?*\* (...). Еще беда: мы все прокляты и рассеяны по лицу земли — между нами сношения затруднительны, нет единодушия; золотое *кстати* поминутно от нас выскользает. Первое дело: должно приструнить все журналы и держать их в *решипекте* — ничего легче б не было, если б мы были вместе и печатали бы завтра, что решили бы за ужином вчера; а теперь сообщай из Москвы в Одессу замечание на какую-нибудь глупость Булгарина, отсылай его к Бирукову в Петербург и печатай потом через два месяца в *revue des bévues*\*\* . Нет, душа моя Асмодей, отложим попечение, далеко кулику до Петрова дня — а еще дале бабушке до Юрьева дня.

Радуюсь, что мог услужить тебе своей денежкой, сделай милость, не торопись. С женою отошлю тебе 1-ую песнь «Онегина». Авось с переменой министерства она и напечатается — покамест мне предлагают за второе издание «Кавказского пленника» 2000 рублей. Как думаешь? согласиться? Третье ведь от нас не ушло.

Прощай, милый; пишу тебе в пол-пьяна и в постеле — отвечай.

*Пушкин — П. А. Вяземскому.*

*7 июня 1824 г.*

*Из Одессы в Москву.*

## 46

Дорогой граф,

Пушкин представил прошение об отставке. Не зная, по справедливости, как поступить с этой просьбой и необходимо ли представить свидетельство о болезни, я посылаю вам ее в частном порядке и настоятельно вас прошу либо дать ей ход, либо мне ее возвратить, в зависимости от того, как вы рассудите. И в последнем случае благоволите мне сказать, долж-

\* где тот свинцовый зад, который будет толкать все это? (фр.)

\*\* обозрение промахов (фр.).

на ли она быть ему возвращена или же она должна быть сопровождена аттестатом и послана по форме.

*М. С. Воронцов — К. В. Нессельроде.  
9 июня 1824. Из Одессы в Петербург.*

## 47

⟨...⟩ Я поссорился с Воронцовым и завел с ним полемическую переписку, которая кончилась с моей стороны просьбою в отставку. Но чем кончат власти, еще неизвестно. Тиверий рад будет придраться; а европейская молва о европейском образе мыслей графа Сеяна обратит всю ответственность на меня. Покамест не говори об этом никому. А у меня голова кругом идет. ⟨...⟩

*Пушкин — П. А. Вяземскому.  
24—25 июня 1824 г.  
Из Одессы в Москву.*

## 48

...Император решил и дело Пушкина: он не останется при вас; при этом его императорскому величеству угодно просмотереть сообщение, которое я напишу вам по этому предмету, — что может состояться лишь на следующей неделе, по возвращении его из военных поселений.

*К. В. Нессельроде — М. С. Воронцову.  
27 июня 1824 г. Из Петербурга в Одессу.*

## 49

Граф, я не преминул представить государю письма, которые ваше сиятельство мне направили по поводу коллежского секретаря Пушкина. Его величество в полной мере одобрил предложение удалить его из Одессы, вследствие соображений весьма справед-

ливых, на которых вы основывались и которые за это время получили подтверждение еще другими сообщениями об этом молодом человеке, дошедшими до его величества.

Совокупность обстоятельств обнаруживает, к несчастью, в настоящее время, что он далек от отречения от дурных принципов, которые таким губительным образом отметили его первые шаги на общественном поприще.

Вы в этом убедитесь, граф, пробегая прилагаемое при сем письмо, которое его величество поручил мне сообщить вам и о котором московская полиция поставлена в известность вследствие той огласки, которую оно получило.

Вследствие этого император, дабы дать почувствовать ему всю тяжесть его вины, приказал мне вычеркнуть его из списка чиновников министерства иностранных дел, мотивируя это исключение недостойным его поведением. С другой стороны его величество не считает возможным согласиться предоставить его самому себе, так как не будучи немедленно подвергнут наблюдению, он будет пытаться, без сомнения, распространять в той или иной степени, опасные взгляды, которые он исповедует и этим самым поставит правительство в необходимость применить к нему, наконец, строжайшие меры.

Чтобы отдалить, насколько возможно, эти последствия, его величество не соизволил ограничиться исключением его со службы, но почел нужным выслать его в имение, которым его родители владеют в Псковской губернии и водворить его там под надзор местных властей. Да благоволит ваше сиятельство поставить в известность господина Пушкина обо всех решениях, которые его касаются, надблости, чтобы они были выполнены со всею точностью, и отправить его без промедления в Псков, обеспечив ему путевые издержки.

Примите, граф, уверение в моем высоком уважении.

*К. В. Нессельроде — М. С. Воронцову,  
11 июля 1824. Из Петербурга в Одессу.*

## 50

Господин маркиз,

Император повелевает мне препроводить вашему превосходительству прилагаемую копию депеши, отправленную мною новороссийскому генерал-губернатору касательно коллежского секретаря Пушкина, который несколько лет тому назад был сослан в полуденные края империи за некоторые заблуждения, в которых он провинился в Петербурге. Надеялись, что с течением времени удаление от столицы и в связи с тем деятельность, которую могла предоставить этому молодому человеку служба, сначала при генерале Инзове и потом при графе Воронцове будут в состоянии привести его на стезю добра и успокоят избыток воображения, к несчастью не всецело посвященного развитию русской литературы — природному призванию г. Пушкина, которому он уже следовал с величайшим успехом. Ваше превосходительство усмотрите, прочитав бумаги, которые я имею честь вам сообщить, что это ожидание не оправдалось. Император убедился, что ему необходимо принять по отношению к г. Пушкину некоторые новые меры строгости, и, зная, что его родные владеют недвижимостью в Псковской губернии, его величество положил сослать его туда, вверяя его вашим, господин маркиз, неусыпным заботам и надзору местных властей. От вашего превосходительства будет зависеть по прибытии Пушкина в Псков, дать этому решению его величества наиболее соответствующее исполнение.

Примите, господин маркиз, уверение в моем высоком уважении.

*К. В. Нессельроде — Ф. О. Пауллуччи.  
12 июля 1824. Из Петербурга в Ригу.*

## 51

Г. Псковскому гражданскому  
губернатору, действительному статскому советнику  
и кавалеру Борису Антоновичу Адеркасу

Управляющий министерством иностранных дел г. тайный советник граф Нессельроде (...) сообщил мне высочайшую Его императорского величества волю,

дабы я учредил над означенным Пушкиным, сосланным на жительство к родственникам своим в губернии, вам вверенной, надлежащий надзор.

Во исполнение сего я поручаю Вашему превосходительству снасть с г. предводителем дворянства о избрании им одного из благонадежных дворян для наблюдения за поступками и поведением Пушкина, дабы сей по прибытии в Псковскую губернию и по взятии Вашим превосходительством от него подписки в том, что он будет вести себя благонаравно, не занимаясь никакими неприличными сочинениями и суждениями, находился под бдительным надзором, при чем нужно поручить избранному для надзора дворянину, чтобы он в таких случаях, когда замечены будут предосудительные его, Пушкина поступки, тотчас доложил о том мне через В. пр. О всех же распоряжениях ваших по сему предмету я буду ожидать вашего уведомления.

*Ф. Пауллуччи. 15 июля 1824.*

*Из Риги в Псков.*

## 51a

Вы уж узнали, думаю, о просьбе моей в отставку; с нетерпением ожидаю решения своей участи и с надеждой поглядываю на ваш север. Не странно ли, что я поладил с Инзовым, а не мог ужиться с Воронцовым; дело в том, что он начал вдруг обходиться со мною с непристойным неуважением, я мог дожждаться больших неприятностей и своей просьбой предупредил его желанья. Воронцов — вандал, придворный хам и мелкий эгоист. Он видел во мне коллежского секретаря, а я, признаюсь, думаю о себе что-то другое. Старичок Инзов сажал меня под арест всякий раз, как мне случалось побить молдавского боярина. Правда — но зато добрый мистик в то же время приходил меня навещать и беседовать со мною об гишпанской революции. Не знаю, Воронцов посадил ли бы меня под арест, но уж верно не пришел бы ко мне толковать о конституции Кортесов. Удаляюсь от зла и сотворю благо: брошу службу, займусь рифмой. Зная старую вашу привязанность к шалостям окаянной музы,



я было хотел прислать вам несколько строф моего «Онегина», да лень. Не знаю, пустят ли этого бедного «Онегина» в небесное царствие печати; на всякий случай попробую. Последняя перемена министерства обрадовала бы меня вполне, если бы вы остались на прежнем своем месте. Это истинная потеря для нас, писателей; удаление Голицына едва ли может оную вознаградить. Простите, милый и почтенный! (<...>)

*Пушкин — А. И. Тургеневу. 14 июля 1824 г.  
Из Одессы в Петербург.*

## 52

А. Сумароков.ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Я вспомнил о том неожиданном обстоятельстве, которое доставило мне случай в стенах Рицельевского лицея, еще воспитанником 4-го класса или реторики, как тогда называли, удостоиться беседы с нашим бессмертным поэтом...

В 1824 г. в июле месяце, числа не помню, во время каникул, я, воспользовавшись данной нам, оставшимся в заведении воспитанникам, свободой, отправился утром, после завтрака, в свой класс, чтобы секретно прочитать принесенную мне из города поэму Пушкина «Руслан и Людмила» (поэма эта тогда считалась для нас запрещенною книгою и вообще, кроме казенной хрестоматии мы ничего не читали), а из предосторожности взял речи Цицерона на случай внезапного посещения начальства. У меня была привычка читать вслух, и я, взобравшись на кафедру, стал громко декламировать стихи. Прочитавши уже довольно, я остановился, чтобы перевести дух, вдруг слышу чьи-то шаги в коридоре и, полагая, что это инспектор или надзиратель, я поспешно спрятал поэму в кафедру и развернувши Цицерона стал с жаром декламировать первую попавшуюся мне речь... В это время входит в класс незнакомая особа в странном костюме: в светло-сером фраке, в черных панталонах, с красной феской на голове и с ружейным стволом в руке вместо трости. Я привстал, он мне поклонился и не говоря ни

слова, сел на край ученической парты, стоящей у кафедры. Я смотрел на это с недоумением, но он первый прервал молчание:

— Я когда-то сидел тоже на такой скамье, и это было самое счастливое время в моей жизни.

Потом, обратившись прямо ко мне, спросил.

— Что вы читаете?

— Речи Цицерона, — ответил я.

— Как ваша фамилия?

— Сумароков.

— Славная фамилия! Вы, верно, пишете стихи.

— Нет.

— Читали вы Пушкина?

— Нам запрещено читать его сочинения.

— Видели вы его?

— Нет, я редко выхожу из заведения.

— Желали бы его видеть?

Я простодушно отвечал, что, конечно, желал бы, о нем много говорят в городе, как мне передали мои товарищи.

Он усмехнулся и, посмотревши на меня, сказал:

— Я Пушкин, прощайте.

Слова эти поразили меня, и хоть мне было тогда 16 лет, но я почувствовал какое-то особое волнение. Сказав это, он направился к дверям. Я проводил его до самого выхода и смотрел на него с особенным любопытством. Когда мы шли по длинному коридору, он сказал:

— Однако у вас в Лицее, как вижу, свободный вход и выход?

— Это по случаю каникул; так как осталось мало воспитанников в заведении, то начальство полагается на наше благоразумие и не стесняет нас особенным надзором.

С этим мы расстались, и я уже никогда не видел Пушкина.

Нижеподписавшийся сим обязывается, по данному от г. Одесского градоначальника маршруту, без замедления отправиться из г. Одессы к месту назначения в губернский город Псков, не останавливаясь нигде на

пути по своему произволу, а по прибытии в Псков явиться лично к г-ну гражданскому губернатору. Одесса, июля 29-го дня 1824.

*Коллежский секретарь Александр Пушкин*

## 54

По маршруту от Одессы до Пскова исчислено верст 1.621. На сей путь прогонных на три лошади триста восемьдесят девять руб. четыре коп. получил.

*Коллежский секретарь Александр Пушкин*

## 55

При отправлении в июле месяце текущего года по Высочайшему повелению из Одессы в город Псков Коллежского Секретаря А. Пушкина, выдано ему на прогоны по моему назначению из расходной канцелярии Одесского Градоначальника суммы 389 р. 4 к. Сверх того из собственной моей канцелярии отпущено ему, Пушкину, под расписку 150 р. в счет бывшего его жалованья за Майскую треть, которое из С.-Петербурга высылалось в мою канцелярию, но за означенную треть ничего прислано не было. — Так как обе сии суммы следуют в возврат канцеляриям моей и Одесского Градоначальника, то я покорнейше прошу, Ваше Сиятельство, учинить благосклонное с Вашей стороны распоряжение о высылке ко мне помянутых 539 р. 4 к.

*М. С. Воронцов — К. В. Нессельроде. 30 ноября 1824.  
Из Одессы в Петербург.*

## 56

## К МОРЮ

Прощай, свободная стихия!  
В последний раз передо мной  
Ты катишь волны голубые  
И блещешь гордою красой.

Как друга ропот заунывный,  
Как зов его в прощальный час,  
Твой грустный шум, твой шум призывный  
Услышал я в последний раз.

Моей души предел желанный!  
Как часто по брегам твоим  
Бродил я тихий и туманный,  
Заветным умыслом томим!

Как я любил твои отзывы,  
Глухие звуки, бездны глас  
И тишину в вечерний час,  
И своенравные порывы!

Смиранный парус рыбарей,  
Твоею прихотью хранимый,  
Скользит отважно средь зыбей:  
Но ты выиграл, неодолимый,  
И стая тонет кораблей.

Не удалось навек оставить  
Мне скучный, неподвижный брег,  
Тебя восторгами поздравить  
И по хребтам твоим направить  
Мой поэтический побег!

Ты ждал, ты звал... я был окован;  
Вотще рвалась душа моя:  
Могучей страстью очарован,  
У берегов остался я...

О чем жалеть? Куда бы ныне  
Я путь беспечный устремил?  
Один предмет в твоей пустыне  
Мою бы душу поразил.

Одна скала, гробница славы...  
Там погружались в хладный сон  
Воспоминая величавы:  
Там угасал Наполеон.

Там он почил среди мучений.  
И вслед за ним, как бури шум,  
Другой от нас умчался гений,  
Другой властитель наших дум.

Исчез, оплаканный свободой,  
Оставя миру свой венец.  
Шумы, взволнуйся непогодой:  
Он был, о море, твой певец.

Твой образ был на нем означен,  
Он духом создан был твоим:  
Как ты, могущ, глубок и мрачен,  
Как ты, ничем неукротим.

Мир опустел... Теперь куда же  
Меня б ты вынес, океан?  
Судьба людей повсюду та же:  
Где благо, там уже на страже  
Иль просвещенье, иль тиран.

Прощай же, море! Не забуду  
Твоей торжественной красы  
И долго, долго слышать буду  
Твой гул в вечерние часы.

В леса, в пустыни молчаливы  
Перенесу, тобою полн,  
Твои скалы, твои заливы,  
И блеск, и тень, и говор волн.

1824

*А. С. Пушкин**А. И. Подолинский.*

---

*ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ*

В 1824 году, по выпуску из Петербургского университетского пансиона, я ехал, в конце июля (...) к родным моим в Киев. В Чернигове мы ночевали

в какой-то гостинице. Утром, войдя в залу, я увидел в соседней, буфетной комнате шагавшего вдоль стойки молодого человека, которого, по месту прогулки и по костюму, принял за полового. Наряд был очень непредставительный: желтые нанковые, небрежно надетые шаровары и русская цветная измятая рубаша, подвязанная вытертым черным шейным платком; курчавые довольно длинные и густые волосы развевались в беспорядке. Вдруг эта личность быстро подходит ко мне с вопросом: «Вы из Царскосельского лицея?» На мне еще был казенный сюртук, по форме одинаковый с лицейским.

Сочтя любопытство полового неуместным и не желая завязывать разговор, я отвечал довольно сухо.

— А! Так вы были вместе с моим братом,— возразил собеседник.

Это меня озадачило, и я уже вежливо просил его назвать мне свою фамилию.

— Я Пушкин; брат мой Лев был в вашем пансионе.

Слава Пушкина светила тогда в полном блеске, вся молодежь благоговела пред этим именем, и легко можно себе представить, как я, семнадцатилетний школьник, был обрадован неожиданною встречей и сконфужен моею опрометчивостию.

Тем не менее мой спутник и я скоро с ним разговорились. Он рассказал нам, что едет из Одессы в деревню, но что усмирение его не совсем еще кончено, и, смеясь, показал свою подорожную, где по порядку были прописаны все города, на какие именно он должен был ехать. Затем он попросил меня передать в Киеве записку генералу Раевскому, тут же им написанную. Надобно было ее запечатать, но у Пушкина печати не оказалось. Я достал свою, и она прищлась кстати, так как вырезанные на ней буквы А. П. как раз подходили и к его имени и фамилии. Признаюсь, эта случайность суеверно меня порадовала; я втихомолку начинал уже рифмовать и потому видел в такой тождественности счастливое для себя предзнаменование.

## 58

## XXXII

Недолго вместе мы бродили  
По берегам эвксинских вод.  
Судьбы нас снова разлучили  
И нам назначили поход.  
Онегин, очень охлажденный  
И тем, что видел, насыщенный,  
Пустился к невским берегам.  
А я от милых южных дам,  
От жирных устриц черноморских,  
От оперы, от темных лож  
И, слава богу, от вельмож  
Уехал в тень лесов тригорских,  
В далекий северный уезд;  
И был печален мой приезд.

*Путешествие Онегина.  
(Из ранних редакций).*

## Глава восьмая



1824 • 1826

Но злобно мной играет счастье:  
Давно без крова я ношусь,  
Куда подует самовластье;  
Уснув, не знаю, где проснусь.  
Всегда гоним, теперь в изгнание  
Влачу закованные дни.

1824

Но здесь меня таинственным цитом  
Святое провиденье осенило,  
Поэзия, как ангел утешитель,  
Спасла меня, и я воскрес душой.

1835

Мало есть таких времен в жизни Пушкина, которые были бы столь богаты автобиографическими признаниями, как годы михайловской ссылки. Достаточно одно за другим перечитать его письма из псковской деревни (их около 120), чтобы представить себе все обстоятельства жизни поэта и круг его размышлений. К тому же, существовали ведь и особые биографические «Записки», почти полностью уничтоженные после поражения декабрьского восстания 1825 г. Множество жизненных проблем, встреч, обстоятельств заметит внимательный читатель пушкинских писем той поры. Отношения в семье (см. также гл. 1), ссора с отцом, грозившая более чем серьезными последствиями; дружба с соседями и теми, кто приезжал в Михайловское (см. Друзья Пушкина, Т. 2); тяготы пребывания под многослойным надзором; обдумывание и обсуждение с посвященными способов вырваться из ссылки — от просьб к царю до подготовки побега за границу; литературные новости и размышления и издательско-гонорарные дела — через цензуру пробилась 1-я глава «Онегина», огромная работа велась над сборником стихотворений, обнару-



жила «плутня Ольдекопа»<sup>\*</sup>; сердечные увлечения — сменяющиеся и куда менее глубокие, чем одесское.

Однако рядом с прямой зафиксированной автобиографией живет и другая — не поддающаяся однозначному толкованию исповедь души его: художественные творения, созданные в годы ссылки.

Думается, совершенно прав был П. В. Анненков, когда отводил всем внешним проявлениям жизни ссылочного невольника-поэта, в том числе радостному пребыванию его в Тригорском, второстепенную роль по сравнению с неустанным творческим трудом. Анненков писал: «Настоящим центром его духовной жизни было Михайловское и одно Михайловское: там он вспоминал о привязанностях, оставленных в Одессе; там он открывал Шекспира и там предавался грусти, радости и восторгам творчества, о которых соседи Тригорского не имели и предчувствия. Он делился с ними одной самой ничтожной долей своей мысли — именно планами вырваться на свободу, покончить с своим заточением, оставляя в глубочайшей тайне всю полноту жизни, переживаемой им в уединении Михайловского. Тут был для него неиссякаемый источник мыслей, вдохновения, страстных занятий и вопросов морального свойства, а все прочее принадлежало уже к области призраков, которые он сам вызвал и лелеял для того, чтобы обстановить и скрасить внешнее свое существование».

Таким образом, необходимо заметить, что внешние биографические факторы в определенной степени сменились в 1824—1826 гг. внутренними — «деятельность переносится в глубь души», как сказал современный биограф Пушкина (Ю. М. Лотман). Поэт сам понимал и подтвердил это, написав в Михайловском: «...духовные силы мои достигли полного развития, я могу творить». По подсчетам Д. Благого, в годы псковского заточения написано и доведено до той или иной степени чистовика более 90 произведений! Богатство это нечего и думать охватить в кратком обзоре и подборке документально-художественных фрагментов.

---

<sup>\*</sup> В 1824 г. петербургский переводчик и журналист А. Ольдекоп напечатал в одной книге немецкий перевод и русский текст «Кавказского пленника», не заплатив автору ни гроша.

Первые месяцы в значительной мере были отданы недавнему прошлому — памяти о юге и южных впечатлениях, воплощенной в дивных стихах («К морю», «Коварность», «Фонтану Бахчисарайского дворца», «Ненастный день потух» и другие). Но скоро к этому прибавились и даже победили иные темы — прежде всего национально-исторические. Взгляните в письмо К. Ф. Рыльева (№ 24) и вы увидите, насколько точно уловил поэт-декабрист настроение псковского изгнанника \*. Сперва Пушкин собирался написать о Разине и Пугачеве и требовал от брата из Петербурга книги о них. Народная стихия притягивала его. Псаломщик села Воронич А. Д. Скоропост рассказывал: «Он любил гулять около крестьянских селений. И слушал крестьянские рассказы, шутки и песни. В свое домашнее хозяйство он не входил никогда, как будто это не его дело и не он хозяин. Во время бывавших в Святогорском монастыре ярмарок любил ходить где более было собравшихся старцев (нищих). Он, бывало, вмешается в их толпу и поет с ними разные припевки, шутит с ними и записывает что они поют, а иногда даже переодевался в одежду старца и ходил с нищими по ярмарке... На ярмарке его всегда можно было видеть там, где ходили или стояли толпою старцы, а иногда ходил задумавшись, как будто кого или чего ищет». Конечно, достоверность деталей в подобных воспоминаниях не абсолютна, но общий тон — верен. Из этого общения с народом многие пословицы, поговорки, песни, припевки переходили в память, а после — в произведения Пушкина.

Получив в ноябре 1824 г. X и XI тома «Истории Государства Российского» Н. М. Карамзина, он окончательно выбрал тему (вернее — историческое время) и вид литературы и уже не отступил от своего замысла. Пушкин не оставил без поэмы отечественную историю («эту землю», как сказал Рылеев), но только поэма его вылилась в форму великой народной трагедии «Борис Годунов». Вообще, если в калейдоскопе важнейших внешних и внутренних событий жизни Пушкина в Михайловском выделить наиваж-

---

\* О том же, не сговариваясь с Рылевым, писал и декабрист С. Г. Волконский (№ 4).

нейшие, то, как представляется, их будет два: создание «Бориса Годунова» и мысли, ощущения, тревога и боль, связанные с восстанием 14 декабря, гибелью или каторгой близких людей.

\* \* \*

«Словно гигант между пигмеями,— писал В. Г. Белинский,— до сих пор висится между множеством quasi\*-русских трагедий пушкинский «Борис Годунов» в гордом и суровом уединении, в недоступном величии строгого художественного стиля, благородной классической простоты».

Друг Пушкина Н. Н. Раевский прозорливо предрекал автору, узнав о замысле: «Хороша или плоха ваша трагедия, я заранее предвижу огромное значение ее для нашей литературы». В июле 1825 г. Пушкин признается Раевскому: «Я пишу и размышляю...» (№ 65).

В толстой черной тетради в кожаном переплете, которую Пушкин привез с собой из Одессы, среди записей конца 1824 г. появляются конспекты карамзинских глав — первые подступы к «Борису Годунову». Пушкинский конспект начинается задолго до того, как начнется сама трагедия: Борис ищет исполнителей чудовищного злодеяния — убийства царевича Дмитрия; затем в Углич едут «расследователи» и главный среди них — Шуйский; потом происходит избрание Годунова на царство. Размышления Пушкина то и дело прерываются набросками других произведений, чаще всего — строфами 4-й главы «Онегина». Скоро начинаются листы готовых сцен. К июлю 1825 г. была завершена первая часть «Бориса...» — 9 сцен; к 13 сентября Пушкин дописал 2-ю часть — 6 сцен, а к 7 ноября 1825 г. трагедия была дописана полностью: был готов беловой список, впрочем, настолько испещренный поправками, что выглядит почти как черновик. Впоследствии деление на части было уничтожено, несколько сцен переставлены или исключены. К сожалению, значительная доля черновика (после первых пяти сцен) до нас не дошла. Это

\* Якобы, «псевдо» (лат.).

невосполнимая утрата целого мира пушкинских мыслей и отрезка самой жизни его в Михайловском.

Закончив первую сцену, Пушкин тут же набрасывает свой воображаемый разговор с Александром I. (№ 20). Как будто бы речи об Инзове и Воронцове не связаны с Борисом? Но нет, связь легко прослеживается. В сцене «Краков. Дом Вишневецкого» имеется многозначительный отрывок о роли поэта в русском обществе:

Хрущов (*тихо Пушкину*).

Кто сей?

Пушкин.

Пиит.

Хрущов.

Какое ж это званье?

Пушкин.

Как бы сказать? по-русски — виршеписец  
Иль скоморох.

Самозванец.

Прекрасные стихи!

Я верую в пророчества пиитов.

Строки трагедии вполне корреспондируют с письмом А. А. Бестужеву (конец мая — начало июня 1825 г.): «Мы не хотим быть покровительствуемы равными. Вот чего подлец Воронцов не понимает. Он воображает, что русский поэт явится в его передней с посвящением или с одою, а тот является с требованием на уважение, как шестисотлетний дворянин, — дьявольская разница!» Исследователи (Б. Городецкий) даже предполагают, что приведенные строки «Бориса...» не попали в печатный текст трагедии именно по причинам личного характера — Пушкин ведь обычно избавлялся от намеков на конкретные обстоятельства своей жизни в печатном тексте произведений.

Тема «поэт и царь», «поэт и вельможи», «независимость писателя перед лицом сильных мира» всегда

волновала Пушкина. Неудивительно, что отраженная во множестве произведений, она не миновала и «Бориса Годунова». Личное значение этих проблем для Пушкина первым определил Анненков: «Обида наносилась одновременно двум самым чувствительным сторонам его существования: во-первых, его поэтическому призванию, которое доселе устраивало ему повсюду радушный, часто торжественный прием, а во-вторых, его чувству русского дворянина, равного по своему происхождению со всяким человеком в империи, на каком бы высоком посту он ни стоял. Конечно, гораздо лучше было бы для поэта вовсе не обращать внимания на эти усилия понизить его общественное значение, так как оно целиком зависело от него самого и стояло выше всяких толков и завистливых отрицаний, но Пушкин думал иначе. Он с увлечением старался противопоставить в отпор гордости чиновничества и вельможества двойную, так сказать, гордость знаменитого писателя, а затем и потомка знаменитого рода, часто поминаемого в русской истории. Он сделал из этой темы нечто вроде знамени для борьбы с господствующей партией».

Это сказалось в черновиках «Бориса Годунова», но и в печатном варианте легко найти раздумья Пушкина о своей судьбе. Они скрыты даже в монологе Пимена:

Минувшее проходит предо мною —  
Давно ль оно неслось, событий полно,  
Волнуясь, как море-окиян?  
Теперь оно безмолвно и спокойно...

В черновике это «минувшее», связанное с морем, еще яснее воспринимается как пушкинское:

Как быстро, как неясно  
Минувшее проходит предо мной —  
Давно ль оно неслось событий полно,  
Как океан, усеянный волнами.

Пимен ведь тоже мемуарист, как и Пушкин, всю жизнь, так или иначе, писавший мемуары! Недаром он сообщал позже Н. Н. Раевскому о трагедии: «Она полна славных шуток и тонких намеков на историю того времени, вроде наших киевских и каменских

обиняков». В первом варианте Пимен вспоминал «товарищей моих печальных лет»:

Как ласки их мне радостны бывали.  
Как живо жгли мне сердце их обиды

Здесь отразилась еще одна из любимейших тем Пушкина: великая сила дружества и горькое чувство измены друзей.

Столь же недвусмысленно звучит в словах Пимена намек на пушкинскую современность, на роль Александра I в убийстве отца:

Прогневали мы бога, согрешили:  
Владыкою себе царубийцу  
Мы нарекли.

И о том же отчаянный крик юродивого: «Нет, нет! Нельзя молиться за царя Ирода». Есть и другого рода аналогия с Александром I: Борис Годунов перед смертью сближается с кудесниками, гадателями, колдунами, стремясь хоть как-то успокоить измученную совесть. Это весьма напоминает дружбу Александра I с архимандритом Фотием. Борис у Пушкина в наставлении сыну дает разоблачающую автохарактеристику, явно метившую в того, «кто поближе»:

...Я ныне должен был  
Восстановить опалы, казни — можешь  
Их отменить; тебя благословят (...)  
Со временем и понемногу снова  
Затягивай державные бразды...

Жертвой такого иезуитского «затягивания» не стали сам Пушкин?

А кто этот «он», о котором думал Пушкин, говоря устами Пимена: «Засветит он, как я, свою лампаду», — не михайловский ли затворник? В черновике это очевиднее: «И затворясь в уединенной келье, как я, зажжет лампаду».

Сколько народных песен и поговорок, записанных в Михайловском, отразились в «Борисе...» Духовный надзиратель Пушкина поп Иона, подвыпив, любил повторять:

Наш Фома  
Пьет до дна,  
Выпьет, да поворотит,  
Да в донушко поколотит.

Сравните с этим прибаутки Варлаама и вы сразу угадаете их источник. Точно так же, перебрав много вариантов, взял Пушкин песню «Как во городе было во Казани». Ксеньины причитания над погибшим женихом, мамкины утешения — все это псковский фольклор.

Между тем главное в «Борисе Годунове» не прямые прозрачные и намеренные намеки на пушкинскую современность — вовсе нет, это сходство исторических ситуаций, которые, при всем многообразии, повторяются на новом витке истории и требуют извлечения уроков. Ведь узурпатором, в той или иной форме устранившим монарха-предшественника, был не только Александр I, но и Наполеон Бонапарт, и шекспировские Ричард III, Макбет, Клавдий. Так что лицемерная маска «гуманного» владыки, который, укрепившись у власти, оборачивается деспотом, это, так сказать, типовой проект истории и, вслед за нею, литературы. Самая тесная связь с современностью не в тексте трагедии, а в ее подтексте — в коренной проблеме взаимоотношений народа и власти. Правитель, не умеющий опереться на народ и не имеющий на это морального права, обречен на гибель в свое время и на разоблачение в глазах потомства. Заключительная ремарка «народ безмолвствует» была введена в текст позже, когда уже пришло время размышлять о последствиях декабрьского восстания, но это лишь подчеркивает истинную актуальность «Бориса Годунова», которая во сто крат выше любой конъюнктуры. И разве так уж наглухо разделены писанные в одной тетради величайшая историческая трагедия в русской литературе и единственный в своем роде роман в стихах? Проблема человека в истории своего времени одинаково характерна и для обоих величайших произведений Пушкина, и для самой жизни его...

До середины 1825 г. поэт тайл про себя свой главный труд, «любимейшее сочинение», как называл он «Бориса Годунова». Он не только никому не показывал трагедию (до приезда Дельвига в апреле 1825 г.), но и в письмах о ней не заикался. Полгода — ни слова никому! Только однажды в конце апреля мелькнула в письме к Жуковскому фраза: «Теперь же все это мне надоело; если меня оставят в покое, то верно я буду думать об одних

пятистопных без рифм». Такими ямбами написан «Борис Годунов». Лишь 13 июля, не удержавшись, автор проговорился Вяземскому: «Покамест, душа моя, я предпринял такой литературный подвиг, за который ты меня расцелуешь; романтическую трагедию! — смотри, молчи же: об этом знают весьма немногие (...) Передо мной моя трагедия. Не могу вытерпеть, чтоб не выписать ее заглавия: *Комедия о настоящей беде Московскому государству, о царе Борисе и о Гришке Отрепьеве писал раб божий Александр сын Сергеев Пушкин в лето 7333\* на городище Воронице. Каково?»*

Здесь почти буквально воплощена идея Рыльева о прославлении земли псковской: через городище Ворониц, которое в пушкинские времена было одним из трех холмов Тригорского с развалинами могущественной крепости, проходил со своим войском Дмитрий Самозванец. Построенная на псковской земле при слиянии двух рек — Сороти и Воронеж, — крепость Ворониц была надежным форпостом против неприятеля и видела множество сражений. Здесь было благодатнейшее место для размышлений над «Борисом Годуновым», который писался, понятное дело, в Михайловском.

«Спасибо за трагедию, о которой мне Жуковский уже говорил», — отвечал Вяземский 4 августа. К этому времени уже был написан черновик знаменитого «теоретического» письма к Н.Н.Раевскому (№ 65), послужившего одновременно и литературной программой «Бориса Годунова» и выводом из работы над трагедией (№ 66). 17 августа Пушкин порадовал Жуковского: «Трагедия моя идет и думаю к зиме ее кончить». В конце сентября старший поэт ответил восторженно, уверяя, что Пушкин напишет такого «Годунова», что «у нас всех будет душа прыгать. Слава победит обстоятельства». 6 сентября Вяземский передавал свой разговор с историографом: «Карамзин очень доволен твоими трагическими занятиями (...) Он говорит, что ты должен иметь в виду в начертании характера Борисова дикую смесь: набожности и преступных страстей. Он беспрестанно перечитывал Биб-

\* Т. е. в 1825 г.



лию и искал в ней оправдания себе. Эта противоположность драматическая! Я советовал бы тебе прислать план трагедии Жуковскому для показания Карамзину, который мог бы тебе полезен быть в историческом отношении». Замученный бесплодными попытками друзей и родных хоть чем-то помочь ему и раздраженный нелепым предложением перебраться для лечения в Псков, Пушкин 15 сентября горько шутил в письме к Вяземскому: «В самом деле, не пойти ли мне в юродивые, авось буду блаженнее! Сегодня кончил я 2-ую часть моей трагедии — всех, думаю, будет четыре. Моя Марина славная баба: настоящая Катерина Орлова! знаешь ее? Не говори, однако ж, этого никому. Благодарю тебя и за замечание Карамзина о характере Бориса. Оно мне очень пригодилось. Я смотрел на него с политической точки, не замечая поэтической его стороны: я его засажу за Евангелие, заставлю читать повесть об Ироде и тому подобное. Ты хочешь *плана*? возьми конец десятого и весь одиннадцатый том, вот тебе и *план*». Пушкин понимал, конечно, что «Борис...», где политики не меньше, чем истории, не может принести ему освобождение. 7 ноября он толковал об этом Вяземскому: «Жуковский говорит, что царь меня простит за трагедию — навряд, мой милый. Хоть она и в хорошем духе писана, да никак не мог упрятать всех моих ушей под колпак юродивого. Торчат!». Он не мог знать, что царю, о котором упоминает, оставалось жить 12 дней.

В ответ на тревожные вопросы Жуковского о его здоровье Пушкин писал 6 октября: «Милый мой, посидим у моря, подождем погоды; я не умру; это невозможно; бог не захочет, чтоб «Годунов» со мною уничтожился. Дай срок: жадно принимаю твое пророчество; пусть трагедия искупит меня... но до трагедий ли нашему черствому веку?»

Погоды, если иметь в виду его освобождение, Пушкин меньше, чем через год дождался, но перед тем пришлось пережить опустошительную бурю и потерять многих друзей. Трагедия не «уничтожилась», но чтобы напечатать любимейшее сочинение понадобилось шесть лет борьбы и ожидания, что в шесть раз почти превышает время работы автора над трагедией. Однако это уже иной рассказ, ему — свое место.

О своей работе над «Борисом Годуновым» Пушкин вспоминал: «Писанная мною в строгом уединении, вдали охлаждающего света, плод постоянного труда, трагедия сия доставила мне все, чем писателю насладиться дозволено: живое вдохновенное занятие, внутреннее убеждение, что мною употреблены были все усилия, наконец, одобрения малого числа людей избранных». Эти несколько слов, кажется, лучше всех иных свидетельств рассказывают о жизни Пушкина в Михайловском.

\* \* \*

Существует ряд свидетельств о том, будто 10—12 декабря 1825 г. Пушкин собирался нелегально отправиться в Петербург. Легенда связывает с этим и документ (№ 79) о крепостных людях Осиповой, подписанный, как установили знатоки почерков, Пушкиным. Под видом Алексея Хохлова будто бы собирался путешествовать сам поэт. В легенду включается и рассказ о зловещих приметах (два зайца перебежали дорогу, поп встретился), якобы заставивших склонного к суеверию Пушкина отменить поездку. Уже Анненков трактовал ситуацию менее фантастично: «Приметы приметами, а известная осмотрительность Пушкина, наступавшая у него почасту за первым увлечением, играла тут тоже немаловажную роль. Она-то, вероятно, и повернула его назад, внушив ему мысль подождать более подробных известий об исходе петербургского дела». Что значит — «более подробных»? Возможно, Анненков знал что-то о письме Пущина, которое, как считается теперь, почти наверняка получил Пушкин в первых числах декабря. Потому и собрался в Петербург, если только это правда. «Своим приездом в столицу, — считал М. А. Цявловский, — поэт хотел поставить друзей своих перед совершившимся фактом его смелого «самоосвобождения», которое они (в первую очередь, конечно, Карамзин и Жуковский) должны были так или иначе «легализовать». Однако полной ясности, а тем более единства взглядов пушкинистов насчет этой поездки нет. Как бы то ни было, точнее всех сказал Вяземский: «Хоть Пушкин и не принадлежал к заговору, но он жил и раскалялся в

этой жгучей вулканической атмосфере». Узнал ли Пушкин от Пущина о тайном обществе во время их встречи 11 января? Каждый читатель волен трактовать текст записок Пущина (№ 23) и вычитывать из них ответ на этот вопрос. Исследователи, пожалуй, так к единому мнению не пришли до сих пор.

14 декабря 1825 г. Пушкин в Михайловском закончил «Графа Нулина» (№ 80). В тот же день в Петербурге произошло восстание декабристов, круто изменившее общественное сознание в России и определившее многое в творчестве и личной судьбе поэта. 17 или 18 декабря повар Осиповой, ездивший с поручениями барыни в столицу, досрочно вернулся в Тригорское насмерть перепуганный: в Петербурге бунт, всюду разъезды, караулы! До недавних пор считалось, что Пушкин чуть ли не в тот же день, понимая, что к нему могут нагрянуть жандармы, и опасаясь скомпрометировать друзей, сжег автобиографические записки. Последние исследования показывают, что, не поддавшись панике, он скорее всего сделал это несколько позже, в апреле — августе 1826 г., получив более подробные сведения о составе заговорщиков. 3 января 1826 г. Пушкин в Михайловском поставил последнюю точку в 4-й главе «Онегина». Неподалеку от Трилесья на Украине в этот день было потоплено в крови организованное Южным обществом восстание Черниговского полка. Давний знакомец Пушкина М. П. Бестужев-Рюмин был арестован прямо на поле сражения с оружием в руках. Арестованного конвоировал в Белую Церковь офицер Мариупольского полка Рокшанин. В дороге они разговаривали о... вольнодумных стихах Александра Пушкина. Николаю I доложили об этом во время следствия, он встревожился и повелел выяснить, что за человек Рокшанин. 5 апреля Бестужев-Рюмин в показаниях следственной комиссии заявил: «Вольнодумческих сочинений Пушкина и прочих столько по полкам, что нас это самих удивляло». Впоследствии он дополнил свои показания: «Между тем, везде слышал стихи Пушкина с восторгом читанные. Это все более и более укрепляло во мне либеральные мнения». Сослуживец Бестужева-Рюмина М. М. Свиридов подтверждает: «в бытность его (Бестужева-Рюмина) у меня точно хвалил сочинения

Пушкина, читал наизусть под названием «Кинжал», написал оный собственною своею рукою, оставил у меня на столе в палатке...»

Однако еще до этого эпизода были другие, доказавшие, что имя Пушкина неотделимо от декабристов. Уже 17 декабря Николай I, самолично допрашивая Ивана Пущина, поинтересовался, посылал ли тот «своему родственнику» поэту Пушкину известие о готовящемся восстании. Пущин отвечал, что он «не родственник нашего великого национального поэта Пушкина, а товарищ его по Царскосельскому Лицею, что общеизвестно, что Пушкин, автор «Руслана и Людмилы», был всегда противником тайных обществ и заговоров. Не говорил ли он о первых, что они крысоловки, а о последних, что они похожи на те скороспелые плоды, которые выращиваются в теплицах и которые губят дерево, поглощая его соки». Правда, слова Пущина на допросе цитируются не буквально (их первоисточник — книга французского историка Поля Лакруа, выпущенная в 1865 г., но информаторы у Лакруа были надежные и смысл слов Пущина сомнению не подлежит). Тем временем еще до восстания Черниговского полка в Тульчине ведутся допросы, на которых выявляется, что многие декабристы сжигали в ожидании ареста крамольные стихи Пушкина. Впрочем, иные и не считали нужным уничтожать списки произведений Пушкина, известных буквально всем.

12 февраля декабрист прапорщик Бесчастнов отвечает на вопрос Следственного комитета, что товарищи предлагали ему читать «стихи сочинения Пушкина и других, постепенно разгорячавшие пылкое воображение». Еще более определенно утверждал другой декабрист: «Первые вольные мысли заимствовал я (...) более от чтения вольных стихов господина Пушкина; я, признаюсь, был увлечен его вольнодумством и его дерзкими мыслями».

Не зная, конечно, о конкретных показаниях декабристов, Пушкин в псковском далеке ощущает общую тягостную атмосферу. «Верно вы полагаете меня в Нерчинске. Напрасно, я туда не намерен — но неизвестность о людях, с которыми находился в короткой связи, меня мучит, — признается он Плетневу в конце

января.—Надеюсь для них на милость царскую» (№ 84). О том же—осторожно—Дельвигу: «Милый барон! Вы обо мне беспокоитесь и напрасно. Я человек мирный. Но я беспокоюсь—и дай бог, чтоб было понапрасну». В 20-х числах января с какой-то надежной оказией отправляется откровенное письмо Жуковскому: «Все-таки я от жандарма еще не ушел...» (№ 82). Жуковский ответил только 12 апреля: «Ты ни в чем не замешан—это правда. Но в бумагах каждого из действовавших находятся стихи твои» (№ 92). Говоря так, Жуковский несомненно знал о показаниях на допросах, приведенных выше. Когда следствие было закончено, Николай I приказал вынуть из дел все «возмутительные» стихи и сжечь их. В огне погибло множество списков стихотворений Пушкина и, по предположению пушкинистов, несколько подлинников. Список «Кинжала», написанный декабристом Громницким наизусть во время следствия, расположился на обороте протокола допроса. Выбрасывать его не решились; зато военный министр густо зачернил «Кинжал» пером, написав рядом: «С высочайшего позволения помарал военный министр А. Татищев».

В начале февраля Пушкин сетовал в письме к Дельвигу: «Вообрази, что я в глуши ровно ничего не знаю, переписка моя отовсюду прекратилась...» В самом деле приходилось питаться слухами, да улавливать отдаленный гром событий в редких письмах друзей. Один такой слух дошел 20 февраля. «Мне сказывали, что (...) сегодня участь их должна решиться—сердце не на месте»,—пишет Пушкин Дельвигу. Лишенный полных сведений о происходящем, не до конца понимая всю опасность, над ним нависшую, Пушкин рвется из Михайловского. Между тем протоколы допросов заполняются все новыми названиями его произведений. 8 марта 1826 г. жандармский полковник Бибиков докладывает из Москвы в Петербург «о массе мятежных стихотворений, которые разносят пламя восстания во все состояния и нападают с опасным и вероломным оружием насмешки на святость религии, этой узды, необходимой для всех народов, а особенно для России (см. «Гавриилиаду», сочинение А. Пушкина)». В этих условиях, быть может, правы были Дельвиг и Жуковский: безопаснее

было оставаться в Михайловском и выжидать. Но Пушкин не считался с осторожностью — он написал прошение на имя нового царя и ждал ответа...

13 июля 1826 г. был объявлен чудовищный приговор и повешены пятеро лучших сыновей России. Поэт узнал об этом 24-го числа (№ 99).

В «Летописи жизни и творчества Пушкина» М. А. Цявловский приводит такой подсчет: Пушкин был знаком со всеми осужденными вне разрядов к смертной казни четвертованием: П. И. Пестелем, К. Ф. Рылевым, С. И. Муравьевым-Апостолом, М. П. Бестужевым-Рюминым и П. Г. Каховским. Из тридцати одного осужденного по первому разряду к смертной казни отсечением головы Пушкин был знаком с одиннадцатью: С. П. Трубецким, В. К. Кюхельбекером, А. И. Якубовичем, В. Л. Давыдовым, А. П. Юшневским, А. А. Бестужевым, Н. М. Муравьевым, И. И. Пуцциным, С. Г. Волконским, И. Д. Якушкиным, Н. И. Тургеневым. Из семнадцати осужденных по второму разряду к «политической смерти» и ссылке в вечную каторжную работу Пушкин был знаком с двумя: М. С. Луниным и Н. В. Басаргиным. Из шестнадцати осужденных по четвертому разряду в каторжную работу на 15 лет Пушкин был знаком с П. А. Мухановым\*. «Статистика» получилась выразительная: поэт был близок с самыми решительными, с самыми деятельными декабристами. Удивительно ли, что рядом с нарисованной им виселицей Пушкин написал: «И я бы мог»...

19 июля началась переписка псковского губернатора Адеркаса и прибалтийского генерал-губернатора Паулуччи с петербургским начальством о возможном освобождении Пушкина (№ 102). В тот же самый день, независимо от рапортов Адеркаса, из Петербурга в Опочецкий уезд был отправлен тайный агент А. К. Бошняк с поручением «произвести возможно тайное и обстоятельное исследование поведения известного стихотворца Пушкина, подозреваемого в поступках, клонящихся к возбуждению и вольности крестьян». Означенного Пушкина «буде он окажется

---

\* Впоследствии «по конфирмации» приговоры были несколько смягчены.

действительно виновным» приказано арестовать и отправить «куда следует». На всякий случай сопровождавшему Бошняка фельдъегерю даже выдан открытый ордер на арест, в который остается вписать только имя будущего узника. В книге Н. Эйдельмана «Пушкин и декабристы» впервые приведен текст этого документа:

*«Открытое предписание.*

Предъявитель сего фельдъегерь Блинков отправлен по высочайшему повелению Государя Императора для взятия и доставления по назначению, в случае надобности при опечатании и забрании бумаг, одного чиновника, в Псковской губернии находящегося, о коем имеет объявить при самом его арестовании.

Вследствие сего по Высочайшей воле его императорского Величества предписывается, как военным начальникам, так и гражданским чиновникам, земскую полицию составляющим, по требованию фельдъегеря Блинкова оказывать ему тотчас содействие и воспомоществование к взятию и отправлению с ним того чиновника, о котором он объявит.

*В Санкт-Петербурге. Июля 19-го дня 1826 года  
Подписал военный министр Татищев. № 1273»*

Первые же собранные сведения разочаровали Бошняка, который хотел бы подтвердить обвинения, чтобы выслужиться перед начальством. Приехав в Новоржев 21 июля, Бошняк узнал, что Пушкин, посетивший ярмарку в Святых горах, «скромен и осторожен, о правительстве не говорит и вообще никаких слухов об нем по народу не ходит» (№ 103). Уже к 25 июля выясняется, что ордер на арест пропадает зря — Пушкина «поймать» не на чем.

7 августа отчет Бошняка был в руках императора. Вскоре подоспели документы Адеркаса — Паулуччи (№ 101—102), прошение самого поэта с медицинской справкой. Император имел разнообразную документацию для решения вопроса о судьбе опального поэта. 28 августа следует высочайшая резолюция (№ 104), и Пушкин на рассвете 4 сентября через Псков выезжает в Москву.

За два года псковской ссылки поэт создал столько, что трудно даже вообразить, как можно сделать это за такой короткий срок. Еще раз назовем важнейшее.

1824—1825 — «Евгений Онегин», главы 3—6.

1824 — Цыганы (окончательная редакция); Разговор книгопродавца с поэтом; К морю; Коварность; «О дева-роза, я в оковах...»; Виноград; Фонтану Бахчисарайского дворца; «Ночной зефир...»; «Ненастный день потух; ненастной ночи мгла...»; Подражание Корану; Чаадаеву («К чему холодные сомненья?..»); Второе послание цензору; Клеопатра; «Как жениться задумал царский арап...».

1825 — Борис Годунов; Граф Нулин; Сожженное письмо; «Храни меня, мой талисман...»; Андрей Шенье; «Я помню чудное мгновенье...»; Вакхическая песня; «Цветы последние милей...»; 19 октября; «Все в жертву памяти твоей...»; Сцена из Фауста; Зимний вечер; «В крови горит огонь желанья...»; Буря («Ты видел деву на скале...»); «Люблю ваш сумрак неизвестный...»; «Я был свидетелем златой твоей весны...».

1826 — К Баратынскому; К Е. Н. Вульф; К Вяземскому; К Языкову; Песни о Стеньке Разине; Признание; Пророк.

Здесь не упомянуты статьи, мелкие стихотворения, наброски, планы. Снова полезно признать правоту Анненкова: «какая-то горячечная деятельность овладела им в Михайловском, словно внутренний голос говорил ему, что как ни лживы покамест все его жалобы на свои болезни, жизнь ему отмерена судьбой все-таки короткая и надо торопиться».





## 1

Août 9 — arrivé à Michailovsky. \*

---

5 сентября 1824. Une lettre de Elise Woronzoff. \*\*  
А. С. Пушкин. Дневник 1824.

## 2

Причина его ссылки, довольно жестокой и несправедливой меры правительства, Вам, может быть, не совершенно известна. Вот она. Вследствие мелочных, частных неудовольствий и дел с братом, Воронцов требовал его удаления как человека вредного для общества (не говорю о прижимках — vexations, которые он делал брату в Одессе). В то время брат подал в отставку, но бумага Воронцова его предупредила, и государь, обрадованный случаю, сослал его в деревню под надзор правительства с запрещением въезжать даже в уездные города, говоря, что он для того так поступает, чтоб не быть вынужденным прибегнуть к мерам строжайшим. Вот его история без подробностей, но верная. Я видел все предписания и бумаги начальства. Оставляю вам, князь, судить о положении. Что же касается прочих слухов, то верьте, что они большею частию совершенно ложны, или по крайней мере увеличены.

Л. С. Пушкин — П. А. Вяземскому.  
Январь 1825. Из Петербурга в Москву.

---

\* Август 9 — прибыл в Михайловское (фр.).

\*\* Письмо Элизы Воронцовой (фр.).

## 3

Великий Пушкин, маленькое дитя! Иди, как шел, т.е. делай, что хочешь, но не сердися на меры людей, и без тебя довольно напуганных! Общее мнение для тебя существует и хорошо мстит. Я не видал ни одного порядочного человека, который бы не бранил за тебя Воронцова, на которого все шишки упали. Ежели б ты приехал в Петербург, бьюсь об заклад, у тебя бы целую неделю была толкотня от знакомых и незнакомых почитателей. Никто из писателей русских не поворачивал так каменными сердцами нашими, как ты. Чего тебе недостает? Маленького снисхождения к слабым. Не дразни их год или два, бога ради! Употреби получше время твоего изгнания. Продав второе издание твоих сочинений, пришлю тебе и денег, и, ежели хочешь, новых книг. Объяви только волю, каких и много ли. Журналы все будешь получать. Сестра, брат, природа и чтение, с ними не умрешь со скуки. Я разве буду навозить ее. Нет ничего скучнее теперешнего Петербурга. Вообрази, даже простых шалунов нет! — Квартальных некому бить! Мертво и холодно или иначе: свежо и прохладно! <...>

*А. А. Дельвиг — Пушкину. 28 сентября 1824 г.  
Из Петербурга в Михайловское.*

## 4

Любезный Александр Сергеевич, при отъезде моем из Одесс, я не думал, что не буду более иметь удовольствие, по возвращении моем с Кавказа, с вами видеться и что баловник Муз, преследуемый судьбой в гражданском своем бытии, будет предметом новых гонений.

Соседство и воспоминания о Великом Новгороде, о вечевом колоколе и об осаде Пскова будут для вас предметом пиитических занятий — а соотечественникам вашим труд ваш памятником славы предков — и современника.

Посылаю я вам письмо от Мельмота; сожалею, что сам не имею возможность доставить оное и вам

подтвердить о тех сплетнях, кои московские вертушки вам настряпали. Неправильно вы сказали о Мельмоте, что он в природе *ничего не благословлял*, прежде я был с вами согласен, но по опыту знаю, что он имеет чувства дружбы — благородными и не изменными обстоятельствами.

Имея опыты вашей ко мне дружбы и уверен будучи, что всякое доброе о мне известие — будет вам приятным, уведомляю вас о помолвке моей с Марию Николаевною Раевскою — не буду вам говорить о моем счастье, будущая моя жена была вам известна.

Все ваши знакомые весьма сожалеют, что лишены удовольствия вас видеть и что, вероятно, местопребывание ваше не может вам дать местного развлечения. {...}

*С. Г. Волконский — Пушкину. 18 октября 1824 г.  
Из Петербурга в Михайловское.*

## 5

Не могу поверить, чтоб ты забыл меня, милый Всеволожский, — ты помнишь Пушкина, проведенного с тобою столько веселых часов, — Пушкина, которого ты видал и пьяного и влюбленного, не всегда верного твоим субботам, но неизменного твоего товарища в театре, наперсника твоих шалостей, того Пушкина, который отрезвил тебя в страстную пятницу и привел тебя под руку в церковь театральной дирекции, да помолишься господу богу и насмотришься на госпожу Овощникову. Сей самый Пушкин честь имеет напомнить тебе ныне о своем существовании и приступает к некоторому делу, близко до него касающемуся... Помнишь ли, что я тебе полупродал, полупроиграл рукопись моих стихотворений? Ибо знаешь: игра несчастливая родит задор. Я раскаялся, но поздно — ныне решил я исправить свои погрешности, начиная с моих стихов; большая часть оных ниже посредственности и годится только на совершенное уничтожение, некоторых хочется мне спасти. Всеволожский милый, царь не дает мне свободы! продай мне назад мою рукопись, — за ту же цену 1000 (я знаю, что ты со мной

спорить не станешь; даром же взять не захочу). Деньги тебе доставлю с благодарностью, как скоро выручу — надеюсь, что мои стихи у Слёнина не залежатся. Передумай и дай ответ. Обнимаю тебя, моя радость, обнимаю и крошку Всеволодчика. Когда-то свидимся... когда-то...

*Пушкин — Н. В. Всеволожскому.*

*Конец октября 1824 г.*

*Из Михайловского в Петербург. (Черновое)*

## 6

Прекрасная, добрейшая княгиня Вера, душа прелестная и великодушная! Не стану благодарить вас за ваше письмо, слова были бы слишком холодны и слишком слабы, чтоб выразить вам мое умиление и признательность... Вашей нежной дружбы было бы достаточно для всякой души менее эгоистичной, чем моя; каков я ни на есть, она одна утешила меня во многих горестях и одна могла успокоить бешенство скуки, снедающей мое нелепое существование. — Вы хотите знать его, это нелепое существование: то, что я предвидел, сбылось. Пребывание среди семьи только усугубило мои огорчения, и без того достаточно существенные. Меня попрекают моей ссылкой; считают себя вовлеченными в мое несчастье; утверждают, будто я проповедую атеизм сестре — небесному созданию — и брату — дурашливому юнцу, который восторгался моими стихами, но которому со мной явно скучно. Одному богу известно, помышляю ли я о нем. Мой отец имел слабость согласиться на выполнение обязанностей, которые, во всех обстоятельствах, поставили его в ложное положение по отношению ко мне; вследствие этого всё то время, что я не в постели, я провожу верхом в полях. Всё, что напоминает мне море, наводит на меня грусть — журчанье ручья причиняет мне боль в буквальном смысле слова — думаю, что голубое небо заставило бы меня плакать от бешенства, \*но слава богу небо у нас сивое, а луна точно репка \*...

\* Слова, заключенные между звездочками, в письме по-русски.

Что касается соседей, то мне лишь поначалу пришлось потрудиться, чтобы отвадить их от себя; больше они мне не докучают — я слышу среди них *Онегинным*, — и вот я — пророк в своем отечестве. Да будет так. В качестве единственного развлечения я часто вижусь с одной милой старушкой соседкой — я слушаю ее патриархальные разговоры. Ее дочери, довольно непривлекательные во всех отношениях, играют мне Россини, которого я выписал. Я нахожусь в наилучших условиях, чтобы закончить мой роман в стихах, но скука — холодная муза, и поэма моя не двигается вперед — вот, однако, строфа, которою я вам обязан, — покажите ее князю *Петру*. Скажите ему, чтобы он не судил о целом по этому образцу.

Прощайте, уважаемая княгиня, в тоске припадаю к вашим стопам, показывайте это письмо только тем, кого я люблю и кто интересуется мною дружески, а не из любопытства. Ради бога, хоть одно слово об Одессе — о ваших детях! (...) (фр.)

*Пушкин — В. Ф. Вяземской. Конец октября 1824 г.  
Из Михайловского в Москву (или Остафьево).  
(Черновое)*

## 7

Его Сиятельству

Его Императорского Величества генерал-адъютанту господину и генерал-от-инфантерии, Рижскому военному и Псковскому, лифляндскому, эстляндскому и курляндскому генерал-губернатору и кавалеру маркизу Филиппу Осиповичу Паулуччи

Псковского Гражданского  
Губернатора Фон Адеркаса

## Рапорт

Имею честь получить предписание Вашего сиятельства о высланном по Высочайшему повелению во вверенную мне губернию коллежском секретаре Пушкине и учреждении над ним присмотра, я относился к

г. губернскому предводителю дворянства, дабы избрал одного из благонадежных дворян для наблюдения за поступками и поведением его, Пушкина, и получил от него, г. губернского предводителя уведомление, что попечителем над Пушкиным назначил он коллежского советника Рокотова, который, узнав о сем назначении, отозвался болезнию, а равно и от поручения на него возложенного. Г-н губернский предводитель дворянства, уведомив меня о сем, присовокупил, что помимо Рокотова, которому бы можно поручить смотрение за Пушкиным, он других дворян не имеет.

Итак по прибытии означенного коллежского секретаря Пушкина и по отобрании у него подписки и по сношении о сем с родителем его г. статским советником Сергеем Пушкиным, известным в губернии как по его добронравию, так и честности и который с крайним огорчением о преступлении, учиненном сыном его, отозвался неизвестностию, поручен в полное его смотрение с тем заверением, что он будет иметь бдительное смотрение и попечение за сыном своим.

*Губернатор Б. фон Адеркас  
4 октября 1824, Псков.*

## 8

### Псковскому гражданскому губернатору

На рапорт в. пр-ва от 4 сего октября даю знать, что если отец высланного на жительство во вверенную вам губернию к родственникам, коллежского секретаря Пушкина, г. статский советник Пушкин согласится дать подписку в том, что он будет иметь неослабный надзор за поступками и поведением своего сына, то в сем случае может сей последний оставаться под присмотром отца своего и без избрания особого к таковому надзору дворянина, тем более, что родительская власть неограниченнее посторонней, и что отец Пушкина по удостоверению вашего пр-ва из числа добронравнейших и честнейших людей.

*Ф. Пауллуччи, 10 октября 1824, Рига.*

## 9

Милостивый государь Борис Антонович,

Государь император высочайше соизволил меня послать в поместье моих родителей, думая тем облегчить их горесть и участь сына. Неважные обвинения правительства сильно подействовали на сердце моего отца и раздражили мнительность, простительную старости и нежной любви его к прочим детям. Решился для его спокойствия и своего собственного просить его императорское величество, да соизволит меня перевести в одну из своих крепостей. Ожидаю сей последней милости от ходатайства вашего превосходительства.

*Пушкин — Б. А. Адеркасу.*

*Конец октября (31?) 1824 г.*

*Из Михайловского в Псков. (Отрывок)*

## 10

Вспыльчивость отца и раздражительность его мешали мне с ним откровенно изъясниться. Он плакал; жалея его, не желая видеть его слезы, я решился молчать... Ежели объявят правительству, что я поднял руку на отца, посуди, как там обрадуются. Мать согласна была с отцом, теперь она говорит: да он осмелился, говоря с отцом, непристойно размахивать руками — дело — да он убил его словами — это *calambour*\* и только. Мать меня обняла, говоря: *que deviendrais-je, si tu es à la forteresse*\*\* . Я показывал им письмо мое к тебе. Отец говорит: экой дурак, в чем оправдывается? Да он бы еще меня прибил... Зачем же было обвинять в злодействе несбыточном? — шутка пахнет палачом и каторгой. Стыжусь, что доселе не имею духа исполнить пророческую весть, которая разнеслась недавно обо мне, и еще не застрелился. Глупо час от часу далее вязнуть в жизненной грязи.

*Пушкин — В. А. Жуковскому. 31 октября 1824 г.*

*(Черновое)*

\* каламбур (фр.).

\*\* что со мной станется, если тебя посадят в крепость? (фр.)

## 11

Милый, прибегаю к тебе. Посуди о моем положении. Приехав сюда, был я всеми встречен как нельзя лучше, но скоро всё переменилось: отец, испуганный моей ссылкою, беспрестанно твердил, что и его ожидает та же участь; Пещуров, назначенный за мною смотреть, имел бесстыдство предложить отцу моему должность распечатывать мою переписку, короче — быть моим шпионом; вспыльчивость и раздражительная чувствительность отца не позволяли мне с ним объясниться; я решился молчать. Отец начал упрекать брата в том, что я преподаю ему безбожие. Я всё молчал. Получают бумагу, до меня касающуюся. Наконец, желая вывести себя из тягостного положения, прихожу к отцу, прошу его позволения объясниться откровенно... Отец осердился. Я поклонился, сел верхом и уехал. Отец призывает брата и повелевает ему не знаться *avec ce monstre, ce fils dénaturé* \* (Жуковский, думай о моем положении и суди). Голова моя закипела. Иду к отцу, нахожу его с матерью и высказываю всё, что имел на сердце целых три месяца. Кончаю тем, что говорю ему в последний раз. Отец мой, воспользуясь отсутствием свидетелей, выбегает и всему дому объявляет, что я *его бил, хотел бить, замахнулся, мог прибить*... Перед тобою не оправдываюсь. Но чего же он хочет для меня с уголовным своим обвинением? рудников сибирских и лишения чести? спаси меня хоть крепостию, хоть Соловецким монастырем. Не говорю тебе о том, что терпят за меня брат и сестра — еще раз спаси меня.

31 окт. А. П.

Поспешу: обвинение отца известно всему дому. Никто не верит, но все его повторяют. Соседи знают. Я с ними не хочу объясняться — дойдет до правительства, посуди, что будет. Доказывать по суду клевету отца для меня ужасно, а на меня и суда нет. Я *hors la loi*.\*\*

\* с этим чудовищем, с этим вырожденком-сыном (фр.).

\*\* вне закона (фр.).



Р. S. Надобно тебе знать, что я уже писал бумагу губернатору, в которой прошу его о крепости, умалчивая о причинах. П. А. Осипова, у которой пишу тебе эти строки, уговорила меня сделать тебе и эту доверенность. Признаюсь, мне немного на себя досадно, да, душа моя,—голова кругом идет.

*Пушкин — В. А. Жуковскому. 31 октября 1824 г.  
Из Михайловского и Тригорского в Петербург.*

## 12

Милый друг, твое письмо привело бы в великое меня замешательство, если б твой брат не приехал с ним вместе в Петербург и не прибавил к нему своих словесных объяснений. Получив его, я точно не знал, на что решиться: вот первая мысль, которая мне представилась: ехать к Паулуччи (который здесь и с которым **В** я очень мало знаком) предупредить его насчет твоего письма к Адеркасу и объяснить ему твое положение. И я это бы сделал (ибо ничего другого не мог придумать), если бы не явился твой Лев и не сказал мне, что все будет само собою устроено. Без него, желая тебе сделать пользу, я только бы тебе, вероятно, повредил, то есть обратил бы внимание на то, что лучше оставить в неизвестности, и не могу поручиться, уважил ли бы Паулуччи мою просьбу. Тургенева, который с ним хорошо знаком, нет в Петербурге; он поехал в Москву, где ожидает его смерть матери. На письмо твое, в котором описываешь то, что случилось между тобою и отцом, не хочу отвечать, ибо не знаю, кого из вас обвинять и кого оправдывать. И твое письмо и рассказы Льва уверяют меня, что ты столько же не прав, сколько и отец твой. На все, что с тобою случилось и что ты сам на себя навлек, у меня один ответ: **ПОЭЗИЯ**. Ты имеешь не дарование, а гений. Ты богач, у тебя есть неотъемлемое средство *быть выше* незаслуженного несчастья и *обратить в добро* заслуженное; ты более нежели кто-нибудь можешь и обязан иметь нравственное достоинство. Ты рожден быть великим поэтом; будь же этого достоин. В этой фразе вся твоя мораль, все

твое возможное счастье и все вознаграждения. Обстоятельства жизни, счастливые или несчастливые,—шелуха. Ты скажешь, что я проповедую с спокойного берега утопающему. Нет! я стою на пустом берегу, вижу в волнах силача и знаю, что он не утонет, если употребить свою силу, и только показываю ему лучший берег, к которому он непременно доплывет, если захочет сам. Плыви, силач. А я обнимаю тебя. Уведомь непременно, что сделалось с твоим письмом. Читал «Онегина» и «Разговор», служащий ему предисловием: несравненно! По данному мне полномочию предлагаю тебе *первое* место на русском Парнасе. И какое место, если с *высокою гения* соединишь и *высокость цели!* Милый брат по Аполлону! это тебе возможно! А с этим будешь недоступен и для всего, что будет шуметь вокруг тебя в жизни.

В. А. Жуковский — Пушкину 12 (?) ноября 1824 г.  
Из Петербурга в Михайловское.

## 13

Дела мои всё в том же порядке, я в Михайловском редко, Annette очень смешна; сестра расскажет тебе мои новые фарсы. Все там о тебе сожалеют, я ревную и браню тебя — скука смертная везде.

Скажи от меня Жуковскому, чтоб он помолчал о происшествиях ему известных. Я решительно не хочу выносить сору из Михайловской избы — и ты, душа, держи язык на привязи.

Видел ты всех святых? Шумит ли Питер? что твой приезд и что «Онегин»?

NB. Пришли мне: 1) Oeuvres de Lebrun, odes, élégies etc.\* — найдешь у St. Florent\*\*. 2) Серные спички. 3) Карты, т.е. картежные (об этом скажи Михайле; пусть он их и держит и продает). 3) «Жизнь Емельки Пугачева». 4) «Путешествие по Тавриде» Муравьева. 5) Горчицы и сыру; но это ты и сам мне привезешь. Что наши литературные пань и что сволочь?

\* Произведения Лебрена, оды, элегии и проч. (фр.).

\*\* Сен-Флорана (фр.).

Я тружусь во славу Корана и написал еще кое-что — лень прислать. <...>

Пушкин — Л. С. Пушкину. 1—10 ноября 1824 г.  
Из Тригорского в Петербург.

## 14

Брат, ты мне пришлешь немецкую критику «Кавказского пленника»? (спросить у Греча) да книг, ради бога книг. Если гг. издатели не захотят удостоить меня присылкою своих альманахов, то скажи Слёнину, чтоб он мне их препроводил, в том числе и «Талию» Булгарина. Кстати о талии: на днях я мерялся поясом с Евпраксией, и тальи наши нашлись одинаковы. След, из двух одно: или я имею талью 15-летней девушки, или она талью 25-летнего мужчины. Евпраксия дуется и очень мила, с Анеткою бранюсь; надоела! Еще комиссии: пришли мне рукописную мою книгу да портрет Чаадаева, да *перстень* — мне грустно без него; рискни — с Михайлом. Надеюсь, что разбойники тебя не ограбили. NB . Как можно ездить без оружия! Это и в Азии не делается.

Что «Онегин»? перемени стих *Звонок раздался*, поставь: Швейцара мимо он стрелой. В «Разговоре» после *Искал вниманье красоты* нужно непременно:

Глаза прелестные читали  
Меня с улыбкою любви,  
Уста волшебные шептали  
Мне звуки сладкие мои.

Не забудь *Фон-Визина* писать Фонвизин. Что он за нехрист? он русский, из перерусских русский. Здесь слышно, будто губернатор приглашает меня во Псков. Если не получу особенного *повеления*, верно я не тронусь с места. Разве выгонят меня отец и мать. Впрочем, я всего ожидаю. Однако поговори, заступник мой, с Жуковским и с Карамзиным. Я не прошу от правительства полумилостей; это было бы полумера, и самая жалкая. Пусть оставят меня так, пока царь не решит моей участи. Зная его твердость и, если угодно, упрямство, я бы не надеялся на перемену судьбы моей,

но со мной он поступил не только строго, но и несправедливо. Не надеясь на его снисхождение, надеюсь на справедливость его. Как бы то ни было, не желаю быть в Петербурге, и верно нога моя дома уж не будет. Сестру целую очень. Друзей моих также—тебя в особенности. Стихов, стихов, стихов! Conversations de Byron! Walter Scott! \* это пища души. Знаешь мои занятия? до обеда пишу записки, обедаю поздно; после обеда езжу верхом, вечером слушаю сказки—и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания. Что за прелесть эти сказки! каждая есть поэма! Ах! боже мой, чуть не забыл! вот тебе задача: историческое, сухое известие о Сеньке Разине, единственном поэтическом лице русской истории.

Прощай, моя радость. Что ж чухонка Баратынского? я жду.

*Пушкин — Л. С. Пушкину.  
Первая половина ноября 1824 г.  
Из Михайловского в Петербург.*

## 15

Скажи моему гению-хранителю, моему Жуковскому, что, слава богу, всё кончено. Письмо мое к Адеркасу у меня, наши, думаю, доехали, а я жив и здоров. Что это у вас? потоп! ничто проклятому Петербургу! (...) Жаль мне «Цветов» Дельвига; да надолго ли это его задержит в тине петербургской? Что погреба? признаюсь, и по них сердце болит. Не найдется ли между вами Ноя, для насаждения винограда? На святой Руси не штука ходить нагишом, а хамы смеются. Впрочем, это все вздор. А вот важное: тётка умерла! Еду завтра в Святые горы и велю отпеть молебен или панихиду, смотря по тому, что дешевле. Думаю, что наши отправятся в Москву; добрый путь! Печатай, печатай «Онегина» и с «Разговором». Обними Плетнева и Гнедича; обоим буду писать на будущей почте. (...) Отправь с Михайлом всё, что уцелело от Александрийского пожара, да книги, о которых упо-

\* Беседы Байрона! Вальтер Скотта (фр.).

минаю в письме с сестрой. Библию, Библию! и французскую непременно. Образ жизни моей всё тот же, стихов не пишу, продолжаю свои «Записки» да читаю «Клариссу», мочи нет какая скучная дура! Жду твоих писем, что Всеволожский, что моя рукопись, что письмо мое к княгине Вере Федоровне? Будет ли картинка у «Онегина»? Что делают Полярные господа? что Кюхля? Прощай, душа моя, будь здоров и не напейся пьян, как тот—после своего потопа. (...)

*Пушкин — Л. С. Пушкину.  
Начало 20-х чисел ноября 1824 г.  
Из Михайловского в Петербург.*

## 16

Мне жаль, милый, почтенный друг, что наделал эту всю тревогу; но что мне было делать? я сослан за строчку глупого письма, что было бы, если правительство узнало бы обвинение отца? это пахнет палачом и каторгою. Отец говорил после: *Экой дурак в чем оправдывается! да он бы еще осмелился меня бить! да я бы связать его велел!*—зачем же обвинять было сына в злодействе несбыточном? *да как он осмелился, говоря с отцом, непристойно размахивать руками?* Это дело десятое. *Да он убил отца словами!*—каламбур и только. Воля твоя, тут и поэзия не поможет. (...)

*Пушкин — В. А. Жуковскому. 29 ноября 1824 г.  
Из Михайловского в Петербург.*

## 17

(...) Христом и богом прошу скорее вытащить «Онегина» из-под цензуры—слава... ее...—деньги нужны. Долго не торгуйся за стихи—режь, рви, кромсай хоть все 54 строфы, но денег, ради бога, денег!—

У меня с Тригорскими завязалось дело презабавное—некогда тебе рассказывать, а уморительно смешно. Благодарю тебя за книги, да пришли же мне всевозможные календари, кроме Придворного и Ака-

демического. Кстати — начало речи старика Шишкова меня тронуло, да конец подгадил всё. Что ныне цензура? Напиши мне нечто о

Карамзине, ой, ых.  
Жуковском  
Тургеневе А.  
Северине  
Рылееве и Бестужеве

И вообще о толках публики. Насели ли на Воронцова? Царь, говорят, бесится — за что бы, кажется, да люди таковы! —

Пришли мне бумаги почтовой и простой, если вина, так и сыру, не забудь и (говоря по-делилевски) витую сталь, пронзающую засмоленную главу бутылки — т. е. штопер.

Мне дьявольски не нравятся петербургские толки о моем побеге. Зачем мне бежать? Здесь так хорошо! Когда ты будешь у меня, то станем трактовать о банкире, о переписке, о месте пребывания Чаадаева. Вот пункты, о которых можешь уже осведомиться.

Кто думает ко мне заехать? Избави меня

От усыпителя глупца,  
От пробудителя нахала! —

впрочем, всех милости просим. С посланным посылай, что задумаешь — addio \*. (...)

*Пушкин — Л. С. Пушкину. Около (не позднее) 20 декабря 1824 г. Из Михайловского в Петербург.*

## 18

\* \* \*

Презрев и голос укоризны,  
И зовы сладостных надежд,  
Иду в чужбине прах отчизны  
С дорожных отряхнуть одежд.  
Умолкни, сердца шепот сонный,  
Привычки давной слабый глас,

\* прощай (ит.).

Прости, предел неблагоклонный,  
Где свет узрел я в первый раз!  
Простите, сумрачные сени,  
Где дни мои текли в тиши,  
Исполнены страстей и лени  
И снов задумчивых души.  
Мой брат, в опасный день разлуки  
Все думы сердца — о тебе.  
В последний раз сожжем же руки  
И покоримся мы судьбе.  
Благослови побег поэта (...)

1824

А. С. Пушкин

## 19

(...) Вот уже 4 месяца, как нахожусь я в глухой деревне — скучно, да нечего делать; здесь нет ни моря, ни неба полудня, ни итальянской оперы. Но зато нет — ни саранчи, ни милордов Уоронцовых. Уединение мое совершенно — праздность торжественна. Со-седей около меня мало, я знаком только с одним семейством, и то вижу его довольно редко — целый день верхом — вечером слушаю сказки моей няни, оригинала няни Татьяны; вы, кажется, раз ее видели, она единственная моя подруга — и с нею только мне не скучно. Об Одессе ни слуху ни духу. Сердце вести просит — долго не смел затеять переписку с оставленными товарищами — долго крепился, но не утерпел. Ради бога! слово живое об Одессе — (...)

*Пушкин — Д. М. Шварцу.*

*Около 9 декабря 1824.*

*Из Михайловского в Одессу. (Черновое)*

## 20

## ВООБРАЖАЕМЫЙ РАЗГОВОР С АЛЕКСАНДРОМ I

Когда б я был царь, то позвал бы Александра Пушкина и сказал ему: «Александр Сергеевич, вы прекрасно сочиняете стихи». Александр Пушкин по-

клонился бы мне с некоторым скромным замешательством, а я бы продолжал: «Я читал вашу оду «Свобода» Она вся писана немного сбивчиво, слегка обдуманно, но тут есть три строфы очень хорошие. Поступив очень неблагоразумно, вы однако ж не старались очернить меня в глазах народа распространением нелепой клеветы. Вы можете иметь мнения неосновательные, но вижу, что вы уважили правду и личную честь даже в царе». — «Ах, ваше величество, зачем упоминать об этой детской оде? Лучше бы вы прочли хоть 3 и 6 песнь «Руслана и Людмилы», ежели не всю поэму, или I часть «Кавказского пленника», или «Бахчисарайский фонтан». «Онегин» печатается: буду иметь честь отправить два экз. в библиотеку вашего величества к Ив. Андр. Крылову, и если ваше величество найдете время...» — «Помилуйте, Александр Сергеевич. Наше царское правило: дела не делай, от дела не бегай. Скажите, как это вы могли ужиться с Инзовым, а не ужились с графом Воронцовым?» — «Ваше величество, генерал Инзов добрый и почтенный старик, он русский в душе; он не предпочитает первого английского шалопаю всем известным и неизвестным своим соотечественникам. Он уже не волочитя, ему не 18 лет от роду; страсти, если и были в нем, то уж давно погасли. Он доверяет благородству чувств, потому что сам имеет чувства благородные, не боится насмешек, потому что выше их, и никогда не подвергнется заслуженной колкости, потому что он со всеми вежлив, не опрометчив, не верит *вражеским пасквилям*. Ваше величество, вспомните, что всякое слово вольное, всякое сочинение противузаконное приписывают мне так, как всякие остроумные вымыслы князю Цицианову. От дурных стихов не отказываюсь, надеясь на добрую славу своего имени, а от хороших, признаюсь, и силы нет отказываться. Слабость непозволительная». — «Но вы же и афей? вот что уж никуда не годится». — «Ваше величество, как можно судить человека по письму, писанному товарищу, можно ли школьническую шутку взвешивать как преступление, а две пустые фразы судить как бы всенародную проповедь? Я всегда почитал и почитаю вас как лучшего из европейских нынешних властителей (увидим однако, что будет из Карла X), но ваш



последний поступок со мною — и смело ссылаюсь на собственное ваше сердце — противоречит вашим правилам и просвещенному образу мыслей...» — «Признайтесь, вы всегда надеялись на мое великодушие?» — «Это не было бы оскорбительно вашему величеству: вы видите, что я бы ошибся в моих расчетах...»

Но тут бы Пушкин разгорячился и наговорил мне много лишнего, я бы рассердился и сослал его в Сибирь, где бы он написал поэму «Ермак» или «Кочум», разными размерами с рифмами.

Конец 1824 — нач. 1825

А. С. Пушкин

## 21

ИЗ «ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА»

### XXXIV

⟨...⟩ Случалось ли поэтам слезным  
Читать в глаза своим любезным  
Свои творенья? Говорят,  
Что в мире выше нет наград.  
И впрямь, блажен любовник скромный,  
Читающий мечты свои  
Предмету песен и любви,  
Красавице приятно-томной!  
Блажен... хоть, может быть, она  
Совсем иным развлечена.

### XXXV

Но я плоды моих мечтаний  
И гармонических затей  
Читаю только старой няне,  
Подруге юности моей,  
Да после скучного обеда  
Ко мне забредшего соседа,  
Поймав нежданно за полу,  
Душу трагедией в углу,  
Или (но это кроме шуток),  
Тоской и рифмами томим,

Бродя над озером моим,  
 Пугаю стадо диких уток:  
 Вняв пенью сладкозвучных строф,  
 Они слетают с берегов.

## XXXVI, XXXVII

А что ж Онегин? Кстати, братья!  
 Терпенья вашего прошу:  
 Его вседневные занятия  
 Я вам подробно опишу.  
 Онегин жил анахоретом;  
 В седьмом часу вставал он летом  
 И отправлялся налегке  
 К бегущей под горой реке;  
 Певцу Гюльнары подражая,  
 Сей Геллеспонт переплывал,  
 Потом свой кофе выпивал,  
 Плохой журнал перебирая,  
 И одевался...

## XXXVIII, XXXIX

Прогулки, чтение, сон глубокий,  
 Лесная тень, журчанье струй,  
 Порой белянки черноокой  
 Младой и свежий поцелуй,  
 Узде послушный конь ретивый,  
 Обед довольно прихотливый,  
 Бутылка светлого вина,  
 Уединенье, тишина:  
 Вот жизнь Онегина святая;  
 И нечувствительно он ей  
 Предался, красных летних дней  
 В беспечной неге не считая,  
 Забыв и город, и друзей,  
 И скуку праздничных затей.

## XL

Но наше северное лето,  
 Карикатура южных зим,  
 Мелькнет и нет: известно это,  
 Хоть мы признаться не хотим.

Уж небо осенью дышало,  
Уж реже солнышко блистало,  
Короче становился день,  
Лесов таинственная сень  
С печальным шумом обнажалась,  
Ложился на поля туман,  
Гусей крикливых караван  
Тянулся к югу: приближалась  
Довольно скучная пора;  
Стоял ноябрь уж у двора.

⟨...⟩

### XLIII

В глуши что делать в эту пору?  
Гулять? Деревня той порой  
Невольно докучает взору  
Однообразной наготой.  
Скакать верхом в степи суровой?  
Но конь, притупленной подковой  
Неверный зацепляя лед,  
Того и жди, что упадет.  
Сиди под кровлею пустынной,  
Читай: вот Прадт, вот W. Scott! \*  
Не хочешь? — поверяй расход,  
Сердись иль пей, и вечер длинный  
Кой-как пройдет, и завтра тож,  
И славно зиму проведешь.

### XLIV

Прямым Онегин Чильд Гарольдом  
Вдался в задумчивую лень:  
Со сна садится в ванну со льдом,  
И после, дома целый день,  
Один, в расчеты погруженный,  
Тупым кием вооруженный,  
Он на бильярде в два шара  
Играет с самого утра. ⟨...⟩

Глава 4.

Вальтер Скотт (англ.).

ИЗ РАННИХ РЕДАКЦИЙ

Носил он русскую рубашку,  
Платок шелковый кушаком,  
Армяк татарский нараспашку  
И шляпу с кровлею, как дом  
Подвижный. Сим убором чудным,  
*Безнравственным и безрассудным,*  
Была весьма огорчена  
Псковская дама Дурина,  
А с ней Мизинчиков. Евгений,  
Быть может, толки презирал,  
А вероятно, их не знал,  
Но всё ж своих обыкновений  
Не изменил в угоду им,  
За что был ближним нестерпим.

Глава 4, строфа XXXVIII.

## 22

### ЗИМНИЙ ВЕЧЕР

Буря мглою небо кроет,  
Вихри снежные крутя;  
То, как зверь, она завоет,  
То заплачет, как дитя,  
То по кровле обветшалой  
Вдруг соломой зашумит,  
То, как путник запоздалый,  
К нам в окошко застучит.

Наша ветхая лачужка  
И печальна и темна.  
Что же ты, моя старушка,  
Приумолкла у окна?  
Или бури завываньем  
Ты, мой друг, утомлена,  
Или дремлешь под жужжаньем  
Своего веретена?

Выпьем, добрая подружка  
Бедной юности моей,  
Выпьем с горя; где же кружка?  
Сердцу будет веселей.  
Спой мне песню, как синица  
Тихо за морем жила;  
Спой мне песню, как девица  
За водой поутру шла.

Буря мглою небо кроет,  
Вихри снежные крутя;  
То, как зверь, она завоет,  
То заплачет, как дитя.  
Выпьем, добрая подружка  
Бедной юности моей,  
Выпьем с горя: где же кружка?  
Сердцу будет веселей.

1825

А. С. Пушкин.

## 23

И. И. Пущин.

ИЗ «ЗАПИСОК О ПУШКИНЕ».

⟨...⟩ С той минуты, как я узнал, что Пушкин в изгнании, во мне зародилась мысль непременно навестить его. Собираясь на рождество в Петербург для свидания с родными, я предположил съездить в Псков к сестре Набоковой; муж ее командовал тогда дивизией, которая там стояла, а оттуда уже рукой подать в Михайловское. Вследствие этой программы я подал в отпуск на 28 дней в Петербургскую и Псковскую губернии. ⟨...⟩

Погостил у сестры несколько дней и от нее вечером пустился из Пскова; в Острове, проездом ночью, взял три бутылки клико и к утру следующего дня уже приближался к желаемой цели. Свернули мы наконец с дороги в сторону, мчались среди леса по гористому проселку: все мне казалось не довольно скоро! Спус-

каясь с горы, недалеко уже от усадьбы, которой за частыми соснами нельзя было видеть, сани наши в ухабе так наклонились набок, что ямщик слетел. Я с Алексеем, неизменным моим спутником от лицейского порога до ворот крепости, кой-как удержался в санях. Схватили вожжи.

Кони несут среди сугробов, опасности нет: в сторону не бросятся, все лес и снег им по брюхо, править не нужно. Скачем опять в гору извилистою тропой; вдруг крутой поворот, и как будто неожиданно вломились с маху в притворенные ворота, при громе колокольчика. Не было силы остановить лошадей у крыльца, протасили мимо и засели в снегу нерасчищенного двора...

Я оглядываюсь: вижу на крыльце Пушкина, босиком, в одной рубашке, с поднятыми вверх руками. Не нужно говорить, что тогда во мне происходило. Выскакиваю из саней, беру его в охапку и тащу в комнату. На дворе страшный холод, но в иные минуты человек не простужается. Смотрим друг на друга, целуемся, молчим. Он забыл, что надобно прикрыть наготу, я не думал об заиндевевшей шубе и шапке.

Было около восьми часов утра. Не знаю, что делалось. Прибежавшая старуха застала нас в объятиях друг друга в том самом виде, как мы попали в дом: один — почти голый, другой — весь забросанный снегом. Наконец пробила слеза (она и теперь, через тридцать три года, мешает писать в очках), мы очнулись. Совесть стало перед этою женщиной, впрочем, она все поняла. Не знаю, за кого приняла меня, только, ничего не спрашивая, бросилась обнимать. Я тотчас догадался, что это добрая его няня, столько раз им воспетая, — чуть не задушил ее в объятиях.

Все это происходило на маленьком пространстве. Комната Александра была возле крыльца, с окном на двор, через которое он увидел меня, услышав колокольчик. В этой небольшой комнате помещалась кровать его с пологом, письменный стол, шкаф с книгами и проч. и проч. Во всем поэтический беспорядок, везде разбросаны исписанные листы бумаги, всюду валялись обкусанные, обожженные кусочки перьев (он всегда с самого Лицея писал оглодками,

которые едва можно было держать в пальцах). Вход к нему прямо из коридора; против его двери — дверь в комнату няни, где стояло множество пяльцев.

После первых наших обниманий пришел и Алексей, который, в свою очередь, кинулся целовать Пушкина; он не только близко знал и любил поэта, но и читал наизусть многие из его стихов. Я между тем приглядывался, где бы умыться и хоть сколько-нибудь оправиться. Дверь во внутренние комнаты была заперта, дом не топлен. Кой-как все это тут же уладили, копошась среди отрывистых вопросов; что? как? где? и проч. Вопросы большею частью не ожидали ответов. Наконец помаленьку прибрались; подали нам кофе; мы уселись с трубками. Беседа пошла правильнее; многое надо было хронологически рассказать, о многом расспросить друг друга. Теперь не берусь всего этого передать.

Вообще Пушкин показался мне несколько серьезнее прежнего, сохраняя, однако ж, ту же веселость; может быть, самое положение его произвело на меня это впечатление. Он, как дитя, был рад нашему свиданию, несколько раз повторял, что ему еще не верится, что мы вместе. Прежняя его живость во всем проявлялась, в каждом слове, в каждом воспоминании: им не было конца в неумолкаемой нашей болтовне. Наружно он мало переменился, оброс только бакенбардами; я нашел, что он тогда был очень похож на тот портрет, который потом видел в «Северных цветах» и теперь при издании его сочинений П. В. Анненковым.

Пушкин сам не знал настоящим образом причины своего удаления в деревню; он приписывал удаление из Одессы козням графа Воронцова *из ревности*; думал даже, что тут могли действовать некоторые смелые его бумаги по службе, эпиграммы на управление и неосторожные частые его разговоры о религии.

Мне показалось, что вообще он неохотно об этом говорил; я это заключил по лаконическим, отрывистым его ответам на некоторые мои спросы, и потому я его просил оставить эту статью, тем более что все наши толкования ни к чему не вели, а отклоняли нас от другой, близкой нам беседы. Заметно было, что ему как будто несколько наскучила прежняя шумная жизнь, в которой он частенько терялся. (...)

Он (...) сказал, что несколько примирился в эти четыре месяца с новым своим бытом, вначале очень для него тягостным; что тут, хотя невольно, но все-таки отдыхает от прежнего шума и волнения; с музой живет в ладу и трудится охотно и усердно. Скорбел только, что с ним нет сестры его, но что, с другой стороны, никак не согласится, чтоб она по привязанности к нему проскучала целую зиму в деревне. Хвалил своих соседей в Тригорском, хотел даже взять меня к ним, но я отговорился тем, что приехал на такое короткое время, что не успею и на него самого наглядеться. Среди всего этого много было шуток, анекдотов, хохоту от полноты сердечной. Уцелели бы все эти дорогие подробности, если бы тогда при нас был стенограф.

Пушкин заставил меня рассказать ему про всех наших первокурсных Лицея; потребовал объяснения, каким образом из артиллеристов я преобразовался в судьи. Это было ему по сердцу, он гордился мною и за меня! (...)

Незаметно коснулись опять подозрений насчет общества. Когда я ему сказал, что не я один поступил в это новое служение отечеству, он вскочил со стула и вскрикнул: «Верно, все это в связи с майором Раевским, которого пятый год держат в Тираспольской крепости и ничего не могут выпытать». Потом, успокоившись, продолжал: «Впрочем, я не заставляю тебя, любезный Пущин, говорить. Может быть, ты и прав, что мне не доверяешь. Верно, я этого доверия не стою,—по многим моим глупостям». Молча, я крепко расцеловал его; мы обнялись и пошли ходить: обоим нужно было вздохнуть. (...)

Я привез Пушкину в подарок «Горе от ума»; он был очень доволен этою тогда рукописною комедией, до того ему вовсе почти незнакомою. После обеда, за чашкой кофе, он начал читать ее вслух; но опять жаль, что не припомню теперь метких его замечаний, которые, впрочем, потом частью явились в печати.

Среди этого чтения кто-то подъехал к крыльцу. Пушкин взглянул в окно, как будто смутился и торопливо раскрыл лежавшую на столе Четью-Миню. Заметив его смущение и не подозревая причины, я спросил его: что это значит? Не успел он отвечать,



как вошел в комнату низенький, рыжеватый монах и рекомендовался мне настоятелем соседнего монастыря.

Я подошел под благословение. Пушкин — тоже, прося его сесть. Монах начал извинением в том, что, может быть, помешал нам, потом сказал, что, узнавши мою фамилию, ожидал найти знакомого ему П. С. Пущина, уроженца великолуцкого, которого очень давно не видал. Ясно было, что настоятелю донесли о моем приезде и что монах хитрит.

Хотя посещение его было вовсе некстати, но я все-таки хотел делать хорошую мину при плохой игре и старался уверить его в противном: объяснил ему, что я — Пущин такой-то, лицейский товарищ хозяина, а что генерал Пущин, его знакомый, командует бригадой в Кишиневе, где я в 1820 году с ним встречался. Разговор завязался о том, о сем. Между тем подали чай. Пушкин спросил рому, до которого, видно, монах был охотник. Он выпил два стакана чаю, не забывая о роме, и после этого начал прощаться, извиняясь снова, что прервал нашу товарищескую беседу.

Я рад был, что мы избавились этого гостя, но мне неловко было за Пушкина: он, как школьник, присмирел при появлении настоятеля. Я ему высказал мою досаду, что накликал это посещение. «Перестань, любезный друг! Ведь он и без того бывает у меня, я поручен его наблюдению. Что говорить об этом вздоре!» Тут Пушкин, как ни в чем не бывало, продолжал читать комедию; я с необыкновенным удовольствием слушал его выразительное и исполненное жизни чтение, довольный тем, что мне удалось доставить ему такое высокое наслаждение. Потом он мне прочел кое-что свое, большею частью в отрывках, которые впоследствии вошли в состав замечательных его пьес; продиктовал начало из поэмы «Цыганы» для «Полярной звезды» и просил, обнявши крепко Рыльева, благодарить за его патриотические «Думы». (...)

Между тем время шло за полночь. Нам подали закусить: на прощанье хлопнула третья пробка. Мы крепко обнялись в надежде, может быть, скоро свидеться в Москве. Шаткая эта надежда облегчила расставанье после так отраднo промелькнувшего дня. Ямщик уже запряг лошадей, колоколец брякнул у

крыльца, на часах ударило три. Мы еще чокнулись стаканами, но грустно пилося: как будто чувствовалось, что последний раз вместе пьем, и пьем на вечную разлуку! Молча я набросил на плечи шубу и убежал в сани. Пушкин еще что-то говорил мне вслед; ничего не слыша, я глядел на него: он остановился на крыльце со свечой в руке. Кони рванули под гору. Послышалось: «Прощай, друг!» Ворота скрипнули за мной...

1858

## 24

Рылеев обнимает Пушкина и поздравляет с «Цыганами». Они совершенно оправдали наше мнение о твоём таланте. Ты идешь шагами великана и радуешь истинно русские сердца. Я пишу к тебе: *ты*, потому что холодное *вы* не ложится под перо; надеюсь, что имею на это право и по душе и по мыслям. Пуццин познакомит нас короче. Прощай, будь здоров и не ленись: ты около Пскова: там задушены последние вспышки русской свободы; настоящий край вдохновения — и неужели Пушкин оставит эту землю без поэмы.

К. Ф. Рылеев — Пушкину, 5—7 января 1825 г.  
Из Петербурга в Михайловское.

## 25

Благодарю тебя за *ты* и за письмо. Пуццин привезет тебе отрывок из моих «Цыганов». Желая, чтоб они тебе понравились. Жду «Полярной звезды» с нетерпением, знаешь для чего? для «Войнаровского». Эта поэма нужна была для нашей словесности. Бестужев пишет мне много об «Онегине» — скажи ему, что он неправ: ужели хочет он изгнать все легкое и веселое из области поэзии? куда же денутся сатиры и комедии? следственно, должно будет уничтожить и «Orlando furioso»\*, и «Гудибраса», и «Pucelle»\*\* , и «Вер-Вера»,

\* «Неистового Роланда» (ит.).

\*\* «Девственницу» (фр.).

и «Ренике-фукс», и лучшую часть «Душеньки», и сказки Лафонтена, и басни Крылова etc., etc., etc., etc., etc.\* Это немного строго. Картины светской жизни также входят в область поэзии, но довольно об «Онегине».

Согласен с Бестужевым во мнении о критической статье Плетнева — но не совсем соглашаюсь с строгим приговором о Жуковском. Зачем кусать нам груди кормилицы нашей? потому что зубки прорезались? Что ни говори, Жуковский имел решительное влияние на дух нашей словесности; к тому же переводный слог его останется всегда образцовым. Ох! уж эта мне республика словесности. За что казнит, за что венчает? Что касается до Батюшкова, уважим в нем несчастья и не созревшие надежды. Прощай, поэт.

*Пушкин — К. Ф. Рылееву. 25 января 1825 г.  
Из Михайловского в Петербург.*

## 26

Рылеев доставит тебе моих «Цыганов». Пожури моего брата за то, что он не сдержал своего слова — я не хотел, чтоб эта поэма известна была прежде времени — теперь нечего делать — принужден ее напечатать, пока не растаскают ее по клочкам.

Слушал Чацкого, но только один раз, и не с тем вниманием, коего он достоин. Вот что мельком успел я заметить:

Драматического писателя должно судить по законам, им самим над собою признанным. Следственно, не осуждаю ни плана, ни завязки, ни приличий комедии Грибоедова. Цель его — характеры и резкая картина нравов. В этом отношении Фамусов и Скалозуб превосходны. Софья начертана не ясно: не то — — —, не то московская кузина. Молчалин не довольно резко подл; не нужно ли было сделать из него и труса? старая пружина, но штатский трус в большом свете между Чацким и Скалозубом мог

\* и т. д., и т. д., и т. д., и т. д., и т. д. (лат.).

быть очень забавен. *Les propos de bal*\*, сплетни, рассказ Репетилова о клобе, Загорецкий, всеми отъявленный и везде принятый,— вот черты истинно комического гения.— Теперь вопрос. В комедии «Горе от ума» кто умное действующее лицо? ответ: Грибоедов. А знаешь ли, что такое Чацкий? Пылкий, благородный и добрый мальчик, прошедший несколько времени с очень умным человеком (именно с Грибоедовым) и напитавшийся его мыслями, остротами и сатирическими замечаниями. Все, что говорит он, очень умно. Но кому говорит он все это? Фамусову? Скалозубу? На бале московским бабушкам? Молчалину? Это непростительно. Первый признак умного человека — с первого взгляду знать, с кем имеешь дело, и не метать бисера перед Репетиловыми и тому под.\*\*. Кстати что такое Репетилов? в нем 2, 3, 10 характеров. Зачем делать его гадким? довольно, что он ветрен и глуп с таким простодушием; довольно, чтоб он признавался поминутно в своей глупости, а не мерзостях. Это смирение чрезвычайно ново на театре, хоть кому из нас не случилось *конфузиться*, слушая ему подобных кающихся? — Между мастерскими чертами этой прелестной комедии — недоверчивость Чацкого в любви Софии к Молчалину прелестна! — и как естественно! Вот на чем должна была вертеться вся комедия, но Грибоедов видно не захотел — его воля. О стихах я не говорю: половина — должны войти в поговорку.

Покажи это Грибоедову. Может быть, я в ином ошибся. Слушая его комедию, я не критиковал, а наслаждался. Эти замечания пришли мне в голову после, когда уже не мог я справиться. По крайней мере говорю прямо, без обиняков, как истинному таланту.

Тебе, кажется, «Олег» не нравится; напрасно. Товарищеская любовь старого князя к своему коню и заботливость о его судьбе есть черта трогательного простодушия, да и происшествие само по себе в своей простоте имеет много поэтического. {...}

Пушкин — А. А. Бестужеву. Конец января 1825 г.  
— Из Михайловского в Петербург.

\* Бальная болтовня (фр.).

\*\* Слеп Грессетов не умничает с Жеронтом, ни с Хлоей. (Прим. Пушкина)

## 27

Благодарю тебя, милый Поэт, за отрывок из «Цыган» и за письмо; первый прелестен, второе мило. Разделяю твое мнение, что картины светской жизни входят в область поэзии. Да если б и не входили, ты с своим чертовским дарованием втолкунул бы их насильно туда. Когда Бестужев писал к тебе последнее письмо, я еще не читал вполне первой песни «Онегина». Теперь я слышал всю: она прекрасна; ты схватил все, что только подобный предмет представляет. Но «Онегин», сужу по первой песни, ниже и «Бахчисарайского фонтана» и «Кавказского пленника» (...)

(...) Очень рад, что «Войнаровский» понравился тебе. В этом же роде я начал «Наливайку» и составляю план для «Хмельницкого». Последнего хочу сделать в 6 песнях: иначе не все выскажешь. Сейчас получено Бестужевым последнее письмо твое. Хорошо делаешь, что хочешь поспешить изданием «Цыган»; все шумят об ней, и все ее ждут с нетерпением. Прощай, Чародей.

*К. Ф. Рылеев — Пушкину. 12 февраля 1825 г.  
Из Петербурга в Михайловское.*

## 28

(...) как благодарить тебя, милый Поэт, за твои бесценные подарки нашей Звезде? От Цыган все без ума, Разбойникам, хотя и давнишним знакомцам, также чрезвычайно обрадовались. Теперь для Звездочки стыдимся и просить у тебя что-нибудь; так ты наделил нас. На последнее письмо я еще не получал от тебя ответа. Уж не сердись ли за откровенность мою? Это кажется тебе не в пору; ты выше этого. (...)

*К. Ф. Рылеев — Пушкину.  
25 марта 1825 г. Петербург.*

## 29

Как быть, милый Пушкин! Твое письмо пришло поздно. Первый лист «Онегина» весь уже отпечатан, числом 2400 экзем. Следственно, поправок сделать

нельзя. Не оставить ли их до второго издания? В этом скоро будет настоять нужда. Ты, верно, уже получил мое письмо с деньгами 500 р. По этому суди, что работа у нас не дремлет, когда дело идет о твоих стихах. Все жаждут. «Онегин» твой будет карманным зеркалом петербургской молодежи. Какая прелесть! Латынь мила до уморы. Ножки восхитительны. Ночь на Неве с ума нейдет у меня. Если ты в этой главе без всякого почти действия так летишь и влечешь, то я не умею вообразить, что выйдет после. Но «Разговор с книгопродавцем» верх ума, вкуса и вдохновения. Я уж не говорю о стихах: меня убивает твоя логика. Ни один немецкий профессор не удержит в пудовой диссертации столько порядка, не поместит столько мыслей и не докажет так ясно своего предложения. Между тем какая свобода в ходе! Увидим, раскусят ли это наши классики?

*П. А. Плетнев — Пушкину. 22 января 1825 г.  
Из Петербурга в Михайловское.*

### 30

#### РАЗГОВОР КНИГОПРОДАВЦА С ПОЭТОМ

##### Книгопродавец

Стишки для вас одна забава,  
Немножко стоит вам присесть,  
Уж разгласить успела слава  
Везде приятнейшую весть:  
Поэма, говорят, готова,  
Плод новый умственных затей.  
Итак, решите; жду я слова:  
Назначьте сами цену ей.  
Стишки любимца муз и граций  
Мы вмиг рублями заменим  
И в пук наличных ассигнаций  
Листочки ваши обратим...  
О чем вздохнули так глубоко?  
Нельзя ль узнать?

Поэт

Я был далеко:

Я время то воспоминал,  
Когда, надеждами богатый,  
Поэт беспечный, я писал  
Из вдохновенья, не из платы.  
Я видел вновь приюты скал  
И темный кров уединенья,  
Где я на пир воображенья,  
Бывало, музу призывал.  
Там слаще голос мой звучал;  
Там доле яркие виденья,  
С неизъяснимою красой,  
Вились, летали надо мной  
В часы ночного вдохновенья!..  
Всё волновало нежный ум:  
Цветущий луг, луны блистанье,  
В часовне ветхой бури шум,  
Старушки чудное преданье.  
Какой-то демон обладал  
Моими играми, досугом;  
За мной повсюду он летал,  
Мне звуки дивные шептал,  
И тяжким, пламенным недугом  
Была полна моя глава;  
В ней грезы чудные рождались;  
В размеры стройные стекались  
Мои послушные слова  
И звонкой рифмой замыкались.  
В гармонии соперник мой  
Был шум лесов, иль вихорь буйный,  
Иль иволги напев живой,  
Иль ночью моря гул глухой,  
Иль шепот речки тихоструйной.  
Тогда, в безмолвии трудов,  
Делиться не был я готов  
С толпою пламенным восторгом  
И музы сладостных даров  
Не унижал постыдным торгом;  
Я был хранитель их скупой:  
Так точно, в гордости немой,

От взоров черни лицемерной  
 Дары любовницы младой  
 Хранит любовник суеверный.

#### Книгопродавец

Но слава заменила вам  
 Мечтанья тайного отрады:  
 Вы разошлись по рукам,  
 Меж тем как пыльные громады  
 Лежалой прозы и стихов  
 Напрасно ждут себе чтецов  
 И ветреной ее награды.

#### Поэт

Блажен, кто про себя таил  
 Души высокие созданья  
 И от людей, как от могил,  
 Не ждал за чувство воздаянья!  
 Блажен, кто молча был поэт  
 И, терном славы не увитый,  
 Презренной чернию забытый,  
 Без имени покинул свет!  
 Обманчивей и снов надежды,  
 Что слава? шепот ли чтеца?  
 Гоненье ль низкого невежды?  
 Иль восхищение глупца?

#### Книгопродавец

Лорд Байрон был того же мненья;  
 Жуковский то же говорил;  
 Но свет узнал и раскупил  
 Их сладкозвучные творенья.  
 И впрямь, завиден ваш удел:  
 Поэт казнит, поэт венчает;  
 Злодеев громом вечных стрел  
 В потомстве дальном поражает;  
 Героев утешает он;  
 С Коринной на киферский трон  
 Свою любовницу возносит.  
 Хвала для вас докучный звон;  
 Но сердце женщин славы просит:



Для них пишите; их ушам  
Приятна лесть Анакреона:  
В молодые лета розы нам  
Дороже лавров Геликона.

### Поэт

Самолюбивые мечты,  
Утехи юности безумной!  
И я, средь бури жизни шумной,  
Искал вниманья красоты,  
Глаза прелестные читали  
Меня с улыбкою любви;  
Уста волшебные шептали  
Мне звуки сладкие мои...  
Но полно! в жертву им свободы  
Мечтатель уж не принесет;  
Пускай их юноша поет,  
Любезный баловень природы.  
Что мне до них? Теперь в глуши  
Безмолвно жизнь моя несется;  
Стон лиры верной не коснется  
Их легкой, ветреной души;  
Не чисто в них воображенье:  
Не понимает нас оно,  
И, признак бога, вдохновенье  
Для них и чуждо и смешно.  
Когда на память мне невольно  
Придет внушенный ими стих,  
Я так и вспыхну, сердцу больно:  
Мне стыдно идолов моих.  
К чему, несчастный, я стремился?  
Пред кем унижил гордый ум?  
Кого восторгом чистых дум  
Боготворить не устыдился?..

### Книгопродавец

Люблю ваш гнев. Таков поэт!  
Причины ваших огорчений  
Мне знать нельзя; но исключений  
Для милых дам ужели нет?  
Ужели ни одна не стоит  
Ни вдохновенья, ни страстей

И ваших песен не присвоит  
 Всесильной красоте своей?  
 Молчите вы?

### Поэт

Зачем поэту  
 Тревожить сердца тяжкий сон?  
 Бесплодно память мучит он.  
 И что ж? какое дело свету?  
 Я всем чужой!.. душа моя  
 Хранит ли образ незабвенный?  
 Любви блаженство знал ли я?  
 Тоскою ль долгой изнуренный,  
 Таил я слезы в тишине?  
 Где та была, которой очи,  
 Как небо, улыбались мне?  
 Вся жизнь, одна ли, две ли ночи?..

.....  
 И что ж? Докучный стон любви,  
 Слова покажутся мои  
 Безумца диким лепетаньем.  
 Там сердце их поймет одно,  
 И то с печальным содроганьем:  
 Судьбою так уж решено.  
 Ах, мысль о той души завялой  
 Могла бы юность оживить  
 И сны поэзии бывалой  
 Толпою снова возмутить!..  
 Она одна бы разумела  
 Стихи неясные мои;  
 Одна бы в сердце пламенела  
 Лампадой чистою любви!  
 Увы, напрасные желанья!  
 Она отвергла заклинанья,  
 Мольбы, тоску души моей:  
 Земных восторгов излишья,  
 Как божеству, не нужно ей!..

### Книгопродавец

Итак, любовью утомленный,  
 Наскуча лепетом молвы,  
 Заране отказались вы  
 От вашей лиры вдохновенной.

Теперь, оставя шумный свет,  
И муз, и ветреную моду,  
Что ж избереге вы?

Поэт

Свободу.

Книгопродавец

Прекрасно. Вот же вам совет;  
Внемлите истине полезной:  
Наш век — торгаш; в сей век железный  
Без денег и свободы нет.  
Что слава? — Яркая заплата  
На ветхом рубище певца.  
Нам нужно злата, злата, злата:  
Копите злато до конца!  
Предвижу ваше возраженье;  
Но вас я знаю, господа:  
Вам ваше дорого творенье,  
Пока на пламени труда  
Кипит, бурлит воображенье;  
Оно застынет, и тогда  
Постыло вам и сочиненье.  
Позвольте просто вам сказать:  
Не продается вдохновенье,  
Но можно рукопись продать.  
Что ж медлить? уж ко мне заходят  
Нетерпеливые чтецы;  
Вкруг лавки журналисты бродят,  
За ними тощие певцы:  
Кто просит пищи для сатиры,  
Кто для души, кто для пера;  
И признаюсь — от вашей лиры  
Предвижу много я добра.

Поэт

Вы совершенно правы. Вот вам моя рукопись. Условимся.

## 31

Нынешнее письмо будет рапортом, душа моя, об «Онегине». Я еще, кажется, не извещал тебя подробно о нем.

Напечатано 2400 экз. Условие заключил я со Слениным, чтобы он сам продавал и от себя отдавал, кому хочет, на комиссию, а я, кроме него, ни с кем счетов иметь не буду. За это он берет по 10 процентов, т. е. нам платит за книжку 4 р. 50 коп., продавая сам по 5 руб. За все экз., которых у него не будет в лавке, он платит деньги сполна к каждому 1 числу месяца для отсылки к тебе или как ты мне скажешь.

1-го марта, т. е. через две недели по поступлении «Онегина» в печать, я уже не нашел у него в лавке 700 экз., следовательно, он продал, за вычетом процентов своих, на 3150 рублей.

Из этой суммы я отдал:

1) За бумагу (белую и обертошную)	397 руб.
2) За набор и печатание — — —	220 —
3) За переплет — — —	123 —
4) За пересылку экземпляров тебе, Дельвигу, отцу и дяде (твоим) —	5 —

Итого 745 руб.

Из оставшейся 2405 р. суммы Сленин вычел 500 руб., которые я взял у него для отсылки к тебе еще прежде, нежели «Онегин» отпечатался.

Я было думал нынче прислать к тебе последние 1905 руб., но брат Лев истребовал от Сленина, по твоему предписанию, 2000 рублей на выкуп от Всеволодского рукописи твоих мелких стихотворений. По этому случаю ты нынешний месяц остаешься без денег, даже в долгу 95 рублей.

Итак, запиши, что из доходов «Онегина» ты уже израсходовал ровно 3245 рублей. (...)

П. А. Плетнев — Пушкину. 3 марта 1825.  
Из Петербурга в Михайловское.

## 32

Получил, мой милый, милое письмо твое. Дельвига с нетерпением ожидаю. Жалею о строгих мерах, принятых в твоём отношении. Читал объявление об «Онегине» в «Пчеле»: жду шума. Если издание раскупится — то приступи тотчас к изданию другому или условься с каким-нибудь книгопродавцем. Отпиши о впечатлении, им произведенном. У меня произошла перемена в министерстве: Розу Григорьевну я принужден был выгнать за непристойное поведение и слова, которых не должен я был вынести. А то бы она уморила няню, которая начала от нее худеть. Я велел Розе подать мне счета. Она показала мне, что за два года (1823 и 4) ей ничего не платили (?). И считает по 200 руб. на год, итого 400 рублей. — По моему счету ей следует 100 р. Наличных денег у ней 300 р. Из оных 100 выдам ей, а 200 перешлю в Петербург. Узнай и отпиши обстоятельно, сколько именно положено ей благостыни и заплачено ли что-нибудь в эти два года. Я нарядил комитет, составленный из Василья, Архипа и старосты. Велел перемерить хлеб и открыл некоторые злоупотребления, т. е. несколько утаенных четвертей. Впрочем, она мерзавка и воровка. Покамест я принял бразды правления. <...>

*Пушкин — Л. С. Пушкину. Конец февраля 1825 г.  
Из Михайловского в Петербург.*

## 33

<...> Нет, Пушкин, нет, никогда не соглашусь, что поэма заключается в предмете, а не в исполнении! — Что свет можно описывать в поэтических формах — это несомненно, но дал ли ты Онегину поэтические формы, кроме стихов? поставил ли ты его в контраст со светом, чтобы в резком злословии показать его резкие черты? — Я вижу франта, который душой и телом предан моде — вижу человека, которых тысячи встречаю наяву, ибо самая холодность и мизантропия и странность теперь в числе туалетных приборов. Конечно, многие картины прелестны, — но они не полны, ты схватил петербургский свет, но не

проник в него. Прочти Бейрона; он, не зная нашего Петербурга, описал его схоже — там, где касалось до глубокого познания людей. У него даже притворное пустословие скрывает в себе замечания философские, а про сатиру и говорить нечего. Я не знаю человека, который бы лучше его, портретнее его очеркивал характеры, схватывал в них новые проблески страстей и страстишек. И как зла, и как свежа его сатира! Не думай однако ж, что мне не нравится твой *Онегин*, напротив. Вся ее мечтательная часть прелестна, но в этой части я не вижу уже Онегина, а только тебя. Не отсоветываю даже писать в этом роде, ибо он должен нравиться массе публики, — но желал бы только, чтоб ты разуверился в превосходстве его над другими. Впрочем мое мнение не аксиома, но я невольно отдаю преимущество тому, что колеблет душу, что ее возвышает, что трогает русское сердце; а мало ли таких предметов — и они ждут тебя! Стоит ли вырезывать изображения из яблочного семечка, подобно браминам индейским, когда у тебя в руке резец Праксителя? (...)

*А. А. Бестужев — Пушкину. 9 марта 1825.  
Из Петербурга в Михайловское.*

## 34

Не знаю, что будет *Онегин* далее: быть может в следующих песнях он будет одного достоинства с *Дон Жуаном*: чем дальше в лес, тем больше дров; но теперь он ниже *Бахчисарайского Фонтана* и *Кавказского Пленника*. Я готов спорить об этом до второго пришествия. (...)

*К. Ф. Рылеев — Пушкину. 10 марта 1825.  
Из Петербурга в Михайловское.*

## 35

(...) Пушкин, ты приобрел уже в России пальму первенства: один *Державин* только еще борется с тобою, но еще два, много три года усилий, и ты

опередишь его: тебя ждет завидное поприще: ты можешь быть нашим Байроном, но ради бога, ради Христа, ради твоего любезного Магомета не подражай ему. Твое огромное дарование, твоя пылкая душа могут вознести тебя до Байрона, оставив Пушкиным. Если б ты знал, как я люблю, как я ценю твое дарование. Прощай, чудотворец.

К. Ф. Рылев — Пушкину. 12 мая 1825 г.  
Из Петербурга в Михайловское.

## 36

КРИТИЧЕСКИЕ ОТЗЫВЫ  
О 1-й ГЛАВЕ «ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА»

## I

А. Пушкин написал поэму, под заглавием: *Онегин*, которой содержание чрезвычайно разнообразно, по уверению особ, имевших случай читать оную в рукописи. Это история молодого человека, воспитанного в деревне, который приезжает в столицу на службу, описывает свои связи, знакомства, приключения и различныя впечатления при виде многих предметов. Один просвещенный любитель словесности писал к нам из Киева, что поэма *Онегин* есть лучшее произведение неподражаемого Пушкина. Мы просим извинения у почтенного автора, что без его ведома осмеливаемся поместить несколько стихов из *Онегина*, которые завезены сюда в уме и продиктованы наизусть, а потому, может быть, и с ошибками, по крайней мере для нас неприметными. Это описание первой русской танцовщицы в балете:

Блистательна, полувоздушна,  
Смычку волшебному послушна,  
Толпою нимф окружена,  
Стоит Истомина.— Она  
Одной ногой касаясь пола,  
Другую медленно кружит...  
И вдруг прыжок, и вдруг летит...  
Летит—как пух от уст Эола!  
То стан совет, то разовьет,  
И быстрой ножкой ножку бьет.

Какая живая картина! Вот истинная поэзия! Прилагательное *полувоздушна*, с первого слова характеризует дарование. Танцовщица не стоит на земле, она носится в воздухе и только *касается* пола, послушная *волшебному смычку*. По нашему мнению, ни один из русских поэтов не имеет магической силы Пушкина одним взглядом останавливать летучие предметы и составлять из оных живые картины. Его воображение есть зеркало, в котором природа отражается в своем истинном виде: поэзия поручила ему свои краски, и гений изящного кисть свою. Но поныне одни только хариты управляют его пламенную душу. Придет время, когда и важные Музы обратят на себя внимание юного своего питомца, и укажут ему в отечественных событиях предметы, достойные его высокого таланта.

*Литературные листки, 1824, № 4.*

## II

Спешим, хотя немножко и опоздали, известить любителей отечественной поэзии, что новая поэма А. С. Пушкина, или, как сказано в заглавии книжки, *роман в стихах*, или первая глава романа: *Евгений Онегин*, отпечатана и продается в книжном магазине И. В. Сленина, у Казанского моста, по 5 р., а с пересылкою по 6 р. О целом романе, особливо о плане его и о характерах, изображаемых в нем лиц, судить по одной главе невозможно. Итак, скажем только о слоге: Рассказ превосходен: везде видна непринужденность, веселость, чувство и картинная поэзия. *Описывать мое же дело*—говорит сочинитель на 21 стран. И правда: он мастер и большой мастер этого дела. Картины его отличаются не только нежностью кисти и свежестию красок, но нередко сильными, смелыми, резкими и характерными, так сказать, чертами, что показывает необыкновенное дарование, т. е. счастливое воображение и наблюдательный дух. Стихосложение превосходно: молодой Пушкин давно уже занимает почетное место между лучшими нашими версификаторами, число которых и теперь еще, к сожалению и к удивлению, не так велико. {...}

*«Благонамеренный», 1825, ч. 29, № 9.*



## III

Свободная, пламенная Муза, вдохновительница Пушкина, приводит в отчаяние диктаторов нашего Парнаса и оседлых критиков нашей словесности. Бедные! Только что успеют они уверить своих клиентов, что в силу такого-то или такого параграфа пиитики, изданной в таком-то году, поэма Пушкина не поэма, и что можно доказать это по всем правилам полемики, новыми рукоплесканиями заглушается охриплый шепот их и всеобщий восторг заботит их снова приискивать доказательства на истертых листочках реченной пиитики!

В самом деле, на что это похоже? Довольно, что английские критики не знали, что делать с Бейроном: неужели и русским придет такая же горькая участь от Пушкина? Уже и хвалить его они не смеют: кто боится попасть в кривотолки, кто говорит, что ничего сказать не может, кто просто отмалчивается.— Но пока готовятся безмолвные громы их, поспешим разделить с нашими читателями радость о новом, счастливом событии на Парнасе нашем—о появлении нового поэтического произведения любимца всех русских читателей.

Давно уже с нетерпением ожидала публика *Онегина*; теперь отчасти и вполне удовлетворилось желание читателей: *отчасти*, ибо издана только первая глава этого поэтического романа; *вполне*, потому что издание *Онегина* положительно доказывает право Пушкина уже не просто на талант, но на что-то выше.

«Но что такое *Онегин*?»,—спросят критики,—«что за поэма, в которой есть главы, как в книге? По каким правилам она составлена? К какому роду принадлежит?».

*Онегин*, Мм. Гг., роман в стихах, следовательно, в романе допускается употребить разделение на главы; правила, руководствовавшие поэта, заключаются в его творческом воображении; род, к которому принадлежит роман его, есть тот самый, к которому принадлежат поэмы Бейрона и Гёте. (...)

(...) Читатели видят, что *Онегин* принадлежит к тому роду стихотворений, в котором доньше у нас не было ничего сколько-нибудь сносного. Шуточные поэмы наших стихотворцев сбивались в плоскости,

шутки их оскорбляли благопристойность, улыбка походила на хохот тех героев, которых они описывали, как-то: трактирщиков, карточных игроков или пьяниц; видно, Пушкину суждено быть *первым* и в исполнении поэм и в изобретении предмета своих поэм (...)

И с каким неподражаемым умением рассказывает наш поэт: переходы из забавного в унылое, из веселого в грустное, из сатиры в рассказ сердца — очаровывают читателя. Мысли философа, опытного знатока и людей и света, отливаются в ярких истинах: кажется, хочешь спросить, как успел подслушать поэт тайные биения сердца? где научился высказывать то, что мы чувствовали и не умели объяснить?

*Картины* Пушкина полны, живы, увлекательны. Не выписывая из *Онегина* (ибо надобно переписать половину книги), мы укажем: на изображение знаний Онегина, изображение Санктпетербургского Театра, кабинета Онегина, приезда на бал, Петербурга утром, похорон дяди.—Насмешки его остры, умны, разительны...

(...) Спешим оправдать Пушкина в укоризнах, которые делают ему некоторые критики. Кроме того, что лишают себя наслаждения, они стараются еще и другим передать мучительные свои ощущения. Они уверяли всех и каждого, что Руслан взят из Ариоста, Кавказский Пленник из Чайльд-Гарольда, Бахчисарайский фонтан из Гяура — предчувствуем, что Онегина осудят на подражание *Дон-Жуану* и *Бенпо* Бейрона, и *Дню* Парини. Читавшим Бейрона нечего толковать, как отдалено сходство Онегина с Дон-Жуаном; но для людей, не знающих Бейрона или Парини, но которые любят повторять слышанное, скажем, что в *Онегине* есть стихи, которыми одолжены мы, может быть, памяти поэта; но только немногими стихами и ограничивается сходство: характер героя, его положения и картины, все принадлежит Пушкину и носит явные отпечатки подлинности, не переделки (...)

Н. А. Полевой. «Евгений Онегин»,  
роман в стихах Александра Пушкина. —  
Московский телеграф, 1825, ч. 2, № 5.

## 37

Брат Лев  
и брат Плетнев!

Третьего дня получил я мою рукопись. Сегодня отсылаю все мои новые и старые стихи. Я выстирал черное белье наскоро, а новое сшил на живую нитку. Но с вашей помощью надеюсь, что барыня публика меня по щекам не прибьет, как непотребную прачку.

Ошибки правописания, знаки препинания, описки, бессмыслицы прошу самим исправить — у меня на то глаз неостанет. — В порядке пиес держитесь также вашего благоусмотрения. Только не подражайте изданию Батюшкова — исключайте, марайте с плеча. Позволяю, прошу даже. Но для сего труда возьмите себе в помощники Жуковского, не во гнев Булгарину, и Гнедича, не во гнев Грибоедову. Эпиграфа или не надо, или из А. Chénier \*. Виньетку бы не худо; даже можно, даже нужно — даже ради Христа, сделайте; именно: *Психея, которая задумалась над цветком*. (Кстати: что прелестнее строфы Жуковского: *Он мнил, что вы с ним однородные* и следующей. Конца не люблю.) Что, если б волшебная кисть Ф. Толстого... —

Нет! слишком дорога!  
А ужась, как мила!..

К тому же, кроме Уткина, ничей резец не достоин его карандаша. — Впрочем, это всё наружность. Иною прелестью пленяется...

Пересчитав посылаемые вам стихотворения, нахожу 60 или около (ибо часть подземным богам непредвидима). Бируков — человек просвещенный; кроме его я ни с кем дела иметь не хочу. Он и в грозное время был милостив и жалостлив. Ныне повинуюсь его приговорам безусловно.

Что сказать вам об издании? Печатайте каждую пиесу на особенном листочке, исправно, чисто, как последнее издание Жуковского — и пожалуйста без ~~~~~ и без ————— х ————— и без \_\_\_\_\_ вся эта пестрота безобразна и напоминает Азию. Заглавие крупными буквами — и à la

\* А. Шенье (фр.).

ligne\*.— Но каждую штуку особенно — хоть бы из четырех стихов состоящую (разве из двух, так можно à la ligne и другую).

60 пьес! довольно ли будет для одного тома? не прислать ли вам для наполнения «Царя Никиту и 40 его дочерей»?

Брат Лев! не серди журналистов! дурная политика!

Брат Плетнев! не пиши добрых критик! будь зубаст и бойся приторности!

Простите, дети! Я пьян.

Пушкин — Л. С. Пушкину и П. А. Плетневу.  
15 марта 1825 г. Из Михайловского в Петербург.

### 38

(...) Получил ли ты мои стихотворенья? Вот в чем должно состоять предисловие: Многие из сих стихотворений — дрянь и недостойны внимания россейской публики — но как они часто бывали печатаны бог весть кем, чёрт знает под какими заглавиями, с поправками наборщика и с ошибками издателя — так вот они, извольте-с кушать-с, хоть это-с — — — — с (сказать это помягче). 2) Мы (сиречь издатели) должны были из полного собрания выбросить многие штуки, которые могли бы показаться темными, будучи написаны в обстоятельствах неизвестных или малозанимательных для почтеннейшей публики (россейской) или могущие быть занимательными единственно некоторым частным лицам, или слишком незрелые, ибо г. Пшк. изволил печатать свои стишки в 1814 году (т. е. 14-ти лет), или как угодно. 3) Пожалуйста, без малейшей похвалы мне. Это непристойность, и в «Бахчисарайском фонтане» я забыл заметить это Вяземскому. 4) Всё это должно быть выражено романтически, без буфонства. Напротив. Во всем этом полагаюсь на Плетнева. Если я скажу, что проза его лучше моей, ведь он не поверит — ну по крайней мере столь же хороша. Доволен ли он?

\*с красной строки (фр.).

Да перешли на всякий случай это предисловие в Михайловское, а я пришлю вам замечанья свои.

Когда пошлешь стихи мои Вяземскому, напиши ему, чтоб он никому не давал, потому что эдак меня опять обокрадут — у меня нет родительской деревни с соловьями и с медведями. Прощай. Сестру поцелуй. <...>

*Пушкин — Л. С. Пушкину. 27 марта 1825 г.  
Из Михайловского в Петербург.*

## 39

<...> Пущин напрасно рассказал Вам о моих тревогах и предположениях, которые оказались ошибочными. Я не поддерживаю никаких сношений с Одессой и мне совершенно неизвестно, что там происходит <...> (фр.)

*Пушкин — В. Ф. Вяземской. 24 марта 1825.  
Из Михайловского в Москву.*

## 40

Г-н Ольдекоп в прошлом 1824 году перепечатал мое сочинение «Бахчисарайский фонтан» без моего соизволения — чем и лишил меня 3000. Отец мой, статский советник С. Л. Пушкин, хотя и жаловался вашему высокопревосходительству за сие неуважение собственности, но не только не получил удовлетворения, но еще уверился я из письма вашего в том, что г. Ольдекоп пользуется вашего высокопревосходительства покровительством. Выключенный из службы, следственно, не получая жалования и не имея другого дохода, кроме своих сочинений, решился я прибегнуть с жалобой к самому вашему высокопревосходительству, надеясь, что вы не захотите лишить меня хлеба — не из личного неудовольствия противу г. Ольдекопа, совсем для меня незнакомого, но единственно для охранения себя от воровства.

*Пушкин — А. С. Шишкову.  
Около 7 апреля 1825 г.  
Из Михайловского в Петербург. (Черновое)*

## 41

Нынче день смерти Байрона — я заказал с вечера обедню за упокой его души. Мой поп удивился моей набожности и вручил мне просвиру, вынутую за упокой раба божия боярина Георгия. Отсылаю ее к тебе.

«Онегина» переписываю. Немедленно и он явится к тебе.

Сейчас получил я «Войнаровского» и «Думы» с письмом Пущина — предложение Селивановского, за три поэмы 12 000 р., кажется, должен я буду отклонить по причине новой типографической плутни. «Бахчисарайский фонтан» перепечатан.

Прощай, милый, у меня хандра, и нет ни единой мысли в голове моей — кланяйся жене. Я вам обоим душою предан.

*Пушкин — П. А. Вяземскому. 7 апреля 1825 г.  
Из Михайловского в Москву.*

## 42

Мой милый друг, прошу тебя отвечать как можно скорее на это письмо, но отвечай человечески, а не сумасбродно. Я услышал от твоего брата и от твоей матери, что ты болен: правда ли это? Правда ли, что у тебя в ноге есть что-то похожее на аневризм и что ты уже около десяти лет угощаешь у себя этого постояльца, не говоря никому ни слова. Причины такой таинственной любви к аневризму я не понимаю и никак не могу ее разделять с тобою. Теперь это уже не тайна, и ты должен позволить друзьям твоим вступить в домашние дела твоего здоровья. Глупо и низко не уважать жизнь. Отвечай искренно и не безумно. У вас в Опочке некому хлопотать о твоём аневризме. Сюда перетащить тебя теперь невозможно. Но можно, надеюсь, сделать, чтобы ты переехал на житье и лечение в Ригу. Согласись, милый друг, обратить на здоровье свое то внимание, которого требуют от тебя твои друзья и твоя будущая прекрас-

ная слава, которую ты должен, должен, должен взять (теперешняя никуда не годится — не годится не потому единственно, что другие признают ее такою, нет, более потому, что она не согласна с твоим достоинством); ты должен быть поэтом России, должен заслужить благодарность — теперь ты получил только первенство по таланту; присоедини к нему и то, что лучше еще таланта, — достоинство! Боже мой, как бы я желал пожить вместе с тобою, чтобы сказать искренно, что о тебе думаю и чего от тебя требую. Я на это имею более многих права, и мне ты должен верить. Дорога, которая перед тобою открыта, ведет прямо к великому; ты богат силами, знаешь свои силы, и всё еще будущее твое. Неужели из этого будут одни жалкие развалины? — Но прежде всего надобно жить! Напиши ко мне немедленно о своем аневризме. И я тотчас буду писать к Паулуччи. С ним уже я имел разговор о тебе, и можно положиться на его доброжелательство. Обнимаю тебя душевно.

Я ничего не знаю совершеннее по слогу твоих «Цыган»! Но, милый друг, какая цель! Скажи, чего ты хочешь от своего гения? Какую память хочешь оставить о себе отечеству, которому так нужно высокое... Как жаль, что мы розно!

Скорее, скорее ответ.

*В. А. Жуковский — Пушкину,  
15 — начало 20-х чисел апреля 1825 г.  
Из Петербурга в Михайловское.*

## 43

Вот тебе человеческий ответ: мой аневризм носил я 10 лет и с божией помощью могу проносить еще года три. Следственно, дело не к спеху, но Михайловское душно для меня. Если бы царь меня до излечения отпустил за границу, то это было бы благодеяние, за которое я бы вечно был ему и друзьям моим благодарен. Вяземский пишет мне, что друзья мои в отношении властей изверились во мне: напрасно. Я обещал Николаю Михайловичу два года ничего не писать противу правительства и не писал: «Кинжал» не

против правительства писан, и хоть стихи и не совсем чисты в отношении слога, но намерение в них безгрешно. Теперь же всё это мне надоело; если меня оставят в покое, то верно я буду думать об одних пятистопных без рифм. Смело полагаясь на решение твое, посылаю тебе черновое к самому Белому; кажется, подлости с моей стороны ни в поступке, ни в выражении нет. Пишу по-французски, потому что язык этот деловой и мне более по перу. Впрочем, да будет воля твоя: если покажется это непристойным, то можно перевести, а брат перепишет и подпишет за меня.

(...) Дельвиг расскажет тебе мои литературные занятия. Жалею, что нет у меня твоих советов или хоть присутствия — оно вдохновение. Кончи, ради бога, «Водолаза». Ты спрашиваешь, какая цель у «Цыганов»? Вот на! Цель поэзии — поэзия — как говорит Дельвиг (если не украл этого). Думы Рылеева и целят, а всё невпопад.

*Пушкин — В. А. Жуковскому.  
20-е числа апреля (не позднее 25) 1825 г.  
Из Михайловского в Петербург.*

#### 44

Я почел бы своим долгом переносить мою опалу в почтительном молчании, если бы необходимость не побудила меня нарушить его.

Мое здоровье было сильно расстроено в ранней юности, и до сего времени я не имел возможности лечиться. Аневризм, которым я страдаю около десяти лет, также требовал бы немедленной операции. Легко убедиться в истине моих слов.

Меня укоряли, государь, в том, что я когда-то рассчитывал на великодушие вашего характера, признаюсь, что лишь к нему одному ныне прибегаю. Я умоляю ваше величество разрешить мне поехать куда-нибудь в Европу, где я не был бы лишен всякой помощи. (фр.)

*Пушкин — Александру I.  
20-е числа апреля (не позднее 24) 1825 г.  
Из Михайловского в Петербург. (Черновое)*



## 45

Ваше величество!

С исполненным тревогой материнским сердцем осмеливаюсь припасть к стопам вашего императорского величества, умоляя о милости для сына! Только моя материнская нежность, встревоженная его тяжелым состоянием, позволяет мне надеяться, что ваше величество простит мне эту мольбу о благодеянии. Ваше величество! Речь идет о его жизни! Уже около 10 лет мой сын страдает аневризмой в ноге; болезнь эта слишком запущенная в своей основе, стала угрозой для его жизни, особенно если учесть, что живет он в таком месте, где ему не может быть оказано никакой помощи! Ваше величество! Не лишайте мать несчастного предмета ее любви. Соблаговолите разрешить моему сыну поехать в Ригу или какой-нибудь другой город, который ваше величество соблаговолит указать, чтобы подвергнуться там операции, которая одна только дает мне еще надежду сохранить сына. Смею заверить ваше величество, что поведение его там будет безупречным. Милость вашего величества является лучшей тому гарантией.

Остаюсь с глубоким уважением вашего императорского величества нижайшая, преданнейшая и благодарнейшая подданная Надежда Пушкина, урожденная Ганнибал. (фр.)

*Н. О. Пушкина — Александру I.  
6 мая 1825. Петербург.*

## 46

Начальник Главного штаба приказал узнать и доложить ему в Санкт-Петербурге, тотчас по возвращении, какая это Пушкина, урожденная Ганнибал, и не мать ли того Пушкина, который пишет стихи.

*Предписание начальнику канцелярии  
Главного штаба полковнику И. М. Бибикову,  
11 июня 1825.*

## 47

Имею честь ответить в отношении моего сына г-ну полковнику Бибикову, что это его мать, урожденная Ганнибал, взяла на себя смелость обратиться с нижайшим прошением к его императорскому величеству, чтобы получить для моего старшего сына Александра дозволение отправиться ему на лечение в Ригу.

Одновременно прошу полковника Бибикова поверить, что я только сейчас узнал об этом прошении моей жены, вполне извинительном для матери, умоляющей отца своих подданных за сына.

*С. Л. Пушкин — в канцелярию Главного штаба,  
13 июня 1825.*

## 48

## П. А. ОСИПОВОЙ

Быть может, уж недолго мне  
В изгнанье мирном оставаться,  
Вздыхать о милой старине  
И сельской музе в тишине  
Душой беспечной предаваться.

Но и в дали, в краю чужом  
Я буду мыслию всегдашней  
Бродить Тригорского кругом,  
В лугах, у речки, над холмом,  
В саду под сенью лип домашней.

Когда померкнет ясный день,  
Одна из глубины могильной  
Так иногда в родную сень  
Летит тоскующая тень  
На милых бросить взор умильный.

## 49

Имею честь уведомить ваше превосходительство, что государь император всемилостивейше позволил уволенному от службы коллежскому секретарю Александру Пушкину, переведенному по высочайшему повелению из Одессы на жительство в Псковскую губернию, приехать в г. Псков и иметь там местопребывание до излечения от болезни.

К сему имею честь присовокупить, что его императорскому величеству угодно, чтобы ваше превосходительство имели наблюдение как за поведением, так и за разговорами г. Пушкина.

*Начальник Главного штаба И. И. Дибич  
псковскому губернатору Б. А. Адеркасу,  
26 июня 1825 г. Из Царского Села в Псков.*

## 50

Г-же Пушкиной, урожденной Ганнибал

Государь император, ознакомившись с письмом, адресованным его величеству 6 мая, поручил мне, милостивая государыня, уведомить вас, что его величество разрешает вашему старшему сыну выехать на лечение в Псков, где он сможет найти всяческую необходимую помощь, без необходимости поехать для этого в Ригу; я только что уведомил псковского губернатора о пожалованном вашему сыну разрешении.

*И. И. Дибич — Н. О. Пушкиной. 26 июня 1825.*

## 51

Имею честь уведомить ваше пр-во, что Государь Император всемилостивейше позволил уволенному от службы коллежскому секретарю Александру Пушкину, переведенному по высочайшему повелению из Одессы на жительство в Псковскую губернию, приехать в г. Псков и иметь там пребывание до излечения от болезни, о чем сообщено уже мною г. Псковскому гражданскому губернатору, равно и о том, чтобы имел наблюдение за поведением и разговорами г. Пушкина.

*И. И. Дибич — рижскому генерал-губернатору  
29 июня 1825. Из Царского Села в Ригу.*

## 52

Неожиданная милость его величества тронула меня несказанно, тем более, что здешний губернатор предлагал уже мне иметь жительство во Пскове, но я строго придерживался повеления высшего начальства. Я справлялся о псковских операторах; мне указали там на некоторого Всеволожского, очень искусного по ветеринарной части и известного в ученом свете по своей книге об лечении лошадей.

Несмотря на всё это, я решился остаться в Михайловском, тем не менее чувствуя отеческую снисходительность его величества.

Боюсь, чтоб медленность мою пользоваться монаршей милостию не почли за небрежение или возмутительное упрямство. Но можно ли в человеческом сердце предполагать такую адскую неблагодарность.

Дело в том, что, 10 лет не думав о своем аневризме, не вижу причины вдруг об нем расхлопотаться. Я всё жду от человеколюбивого сердца императора, авось-либо позволит он мне со временем искать стороны мне по сердцу и лекаря по доверчивости собственного рассудка, а не по приказанию высшего начальства.

Обнимаю тебя горячо.

*Пушкин — В. А. Жуковскому. Начало июля 1825 г.  
Из Михайловского в Петербург.*

## 53

Если б Плетнев показал тебе мои письма, так ты бы понял мое положение. Теперь пишу тебе из необходимости. Ты знал, что деньги мне будут нужны, я на тебя полагался, как на брата — между тем год прошел, а у меня ни полушки. Если б я имел дело с одними книгопродавцами, то имел бы тысяч 15.

Ты взял от Плетнева для выкупа моей рукописи 2000 р., заплатил 500, доплатил ли остальные 500? и осталось ли что-нибудь от остальной тысячи?

Заплачены ли Вяземскому 600 р.?

Я отослал тебе мои рукописи в марте — они еще не собраны, не цензурованы. Ты читаешь их своим приятелям до тех пор, что они наизусть передают их

московской публике. Благодарю. Дельвига письма до меня не доходят. Издание поэм моих не двинется никогда. Между тем я отказался от предложения Заикина. Теперь прошу, если возможно, возобновить переговоры...

Словом, мне нужны деньги или удавиться. Ты знал это, ты обещал мне капитал прежде году — а я на тебя полагался.

Упрекать тебя не стану, а благодарить ей-богу не за что. (...)

*Пушкин — Л. С. Пушкину. 28 июля 1825 г.  
Из Михайловского в Петербург.*

## 54

Сейчас получено мною известие, что В. А. Жуковский писал вам о моем аневризме и просил вас приехать во Псков для совершения операции; нет сомнения, что вы согласитесь; но умоляю вас, ради бога не приезжайте и не беспокойтесь обо мне. Операция, требуемая аневризмом, слишком маловажна, чтоб отвлечь человека знаменитого от его занятий и местопребывания. Благодеяние ваше было бы мучительно для моей совести. Я не должен и не могу согласиться принять его; смело ссылаюсь на собственный ваш образ мыслей и на благородство вашего сердца.

Позвольте засвидетельствовать вам мое глубочайшее уважение, как человеку знаменитому и другу Жуковского.

*Пушкин — И. Ф. Мойеру. 29 июля 1825 г.  
Из Михайловского в Дерпт.*

## 55

(...) Я рад, что ты едешь в Псков, во-первых, для здоровья, а во-вторых, и для будущего. Только ты сделай милость, не ступи этого первого шага левшою, как Людовик 18-й, выходя из корабля в Кале, так что

говорили, que c'était la première gaucherie de la Restauration. \* Пусть будет этот первый шаг правый, твердый и прочный. Ты довольно вилял, но как ни виляй,

Все придешь к тому же горю,  
Что велит нам умереть!

Право, образумься, и вспомни — собаку Хемницера, которую каждый раз короче привязывали, есть еще и такая привязь, что разом угомонит дыхание; у султанов она называется почетным снурком, а у нас этот пояс называется Уральским хребтом. Надеюсь, а пуще желаю, чтобы Псков принес тебе пользу. (<...>)

*П. А. Вяземский — Пушкину. 4 августа 1825 г.  
Из Ревеля в Михайловское.*

## 56

Прошу тебя, мой милый друг, отвечать немедленно на это письмо. Решился ли ты дать сделать себе операцию и согласишься ли поехать для этого во Псков? Оператор готов. Это Мойер, дерптский профессор, мой родня и друг. Прошу в нем видеть Жуковско-го. Он тотчас к тебе отправится, как скоро узнает, что ты его ожидаешь. Итак, уведошь меня с точнейшею точностью, когда будешь во Пскове. Сделай так, чтобы на той квартире, которую займешь для себя, была горница и для моего Мойера. А я обо всем, что к тебе пишу, нынче же извещу его. Прошу не упрямитесь, не играть безрассудно жизнью и не сердить дружбы, которой твоя жизнь дорога. До сих пор ты тратил ее с недостойною тебя и с оскорбительною для нас расточительностью, тратил и физически и нравственно. Пора уняться. Она была очень забавною эпиграммою, но должна быть возвышенною поэмою. Не хочу по-пустому ораторствовать: лучший для тебя оратор есть твоя судьба; ты сам ее создал и сам же можешь и должен ее переменить. Она должна быть достойна твоего гения и тех, которые, как я, знают ему цену, его любят и потому тебя не оправдывают. Но это

\* что это первая неловкость Реставрации (фр.).

еще впереди. Теперь нам надобна твоя жизнь. Нельзя ли взять на себя труд об ней позаботиться, хотя из некоторого внимания к друзьям своим. Отвечай мне немедленно. А я обнимаю тебя сердечно.

*В. А. Жуковский — Пушкину. 9 августа 1825 г.  
Из Петербурга в Михайловское.*

## 57

Милый друг, думаю, что ты уже приехала. Сообщи мне, когда рассчитываешь выехать в Москву, и дай мне свой адрес. Я очень огорчен тем, что со мной произошло, но я это предсказывал, а это весьма утешительно, сама знаешь. Я не жалуясь на мать, напротив, я признателен ей, она думала сделать мне лучше, она горячо взялась за это, не ее вина, если она обманулась. Но вот мои друзья — те сделали именно то, что я заклинал их не делать. Что за страсть — принимать меня за дурака и повергать меня в беду, которую я предвидел, на которую я же им указывал? Раздражают его величество, удлинняют мою ссылку, издеваются над моим существованием, а когда дивишься всем этим нелепостям — хвалят мои прекрасные стихи и отправляются ужинать. Естественно, что я огорчен и обескуражен, — мысль переехать в Псков представляется мне до последней степени смешной; но так как кое-кому доставит большое удовольствие мой отъезд из Михайловского, я жду, что мне предпишут это. Всё это отзывается легкомыслием, жестокостью невообразимой. Прибавлю еще: здоровье мое требует перемены климата, об этом не сказали ни слова его величеству. Его ли вина, что он ничего не знает об этом? Мне говорят, что общество возмущено; я тоже — беззаботностью и легкомыслием тех, кто вмешивается в мои дела. О господи, освободи меня от моих друзей!{...} (фр.)

*Пушкин — О. С. Пушкиной.  
10—15 августа 1825 г.  
Из Михайловского в Петербург.*

## 58

Спасибо за два твои письма ко мне, но за письмо к сестре деру тебя за уши и не шутя, а серьезно и больно. Что за горячка? Что за охота быть пострелом и все делать наперекор тем, которые тебе доброжелательствуют? Что за охота chercher midi à quatorze heures \* в побуждениях самых чистых, в поступках самых открытых и простых? Твоя мать узнаёт, что у тебя аневризм в ноге, она советуется с людьми, явно в твою пользу расположенными: Карамзиным и Жуковским. Определяют, что ей должно писать к государю. Жуковский вызывается доставить тебе помощь Мойера, известного искусством своим. Как было сказано, так и сделано: только государь, который хозяин дома, вместо того, чтобы назначить пребывание твое в Риге, или в Дерпте, или в Петербурге, назначает тебе Псков. Кто же тут виноват? Каждый делал свое дело; один ты не делаешь своего и портишь дела других, а особливо же свои. Отказываясь ехать, ты наводишь подозрение на свою мать, что она хотела обольстить доверенность царя и вымысленным аневризмом насильно выхватить твою волю! Портишь свое положение для будущего времени, ибо этим отказом подаешь новый повод к тысяче заключениям о твоих намерениях, видах, надеждах. И для нас, тебя знающих, есть какая-то таинственность, несообразимость в упорстве не ехать в Псков,— что же должно быть в уме тех, которые ни времени, ни охоты не имеют ломать голову себе над разгадыванием твоих своенравных и сумасбродных логогрифов. Они удовольствуются первою разгадкою, что ты — человек неугомонный, с которым ничто не берет, который из охоты идет наперекор власти, друзей, родных и которого вернее и спокойнее держать на привязи подальше. Что значит: mais comme on sera bien aise de me savoir hors de Михайловски j'attends qu'on m'en signifie l'ordre. \*\* Да и разумеется: все любящие тебя порадуются выпуску твоему из Михайловского. Ни сестра твоя, ни брат не поняли

\* искать полдень в два часа дня (фр.).

\*\* но так как кой-кому доставит большое удовольствие мой отъезд из Михайловского, я жду, что мне предпишут это (фр.).



смысла этой фразы. Бедная сестра твоя только слез, а не толку добилась из твоего письма. Она целый день проплакала и в слезах поехала в Москву. На всякий случай могу тебе утвердительно сказать, что твой отец даже и не знал о письме твоей матушки к государю, и, следовательно, он во всем этом деле не причастен. Смотреть на Псков, как на ссылку, то всё же она не хуже деревни, тем более что деревня все еще за тобою остается. Соскучишься в городе, никто тебе не запретит возвратиться в Михайловское: всё и в тюрьме лучше иметь две комнаты; а главное то, что выпуск в другую комнату есть уже некоторый задаток свободы. Но главнейшее здесь в том: что ты болен, что нужна операция, что нужен хороший оператор: всё это развязывается в Пскове, зачем же затягиваешь новый узел и настоящий Гордиановский узел. Не могу понять, да, вероятно, ты и сам не понимаешь, а любишься в суматохе: тебе хочется жаловаться на судьбу, на людей, и где они тебе благоприятствуют, там ты исподтишка путаешь всё, что они ни сделают. Будь доволен. Ты не на пуховиках пронежил свою молодость и не в оранжереях взрастил свои лавры! Можно войти погреться в избу и поваляться на лежанке. Остерегись! Лихорадка бьет, бьет, воспаляет, да кончит тем, что и утомит. Уже довольно был ты в раздражительности, и довольно искр вспыхнуло из этих электрических потрясений. Отдохни! Попробуй плыть по воде; ты довольно боролся с течением. Разумеется, не советую плыть по воде к грязному берегу, чтобы запачкаться в тине; но в новой стезе, открываемой перед тобою, ничто не заденет совести твоей, ничто не запятнает характера. Положим, что ничто на ней и не льстит тебе и что глаза твои разгорелись на другую стезю, более заманчивую,—но что же делать? Стоит ли барахтаться, лягаться и упрячиться, стоит ли надеть шума в околodge, чтобы поставить на своем, и добро бы еще поставить на своем, а ничуть, чтобы только не уступить, и кому же? Заботливой деятельности дружбы! Перед дружбою не стыдно и поподличать; даже сладостно, в чем можно без нарушения чести, и переломить себя в угоду ей. Такие жертвоприношения не унижают души, не оставляют на ней

смрадных следов, как жертвоприношения личным выгодам и суетной корысти, а, напротив, возвышают ее, окуривают благовонием, которое долго отзовется. Душа должна быть тверда, но не хорошо ей и щетиниться при каждой встрече. Смотри, чтобы твоя не смотрела в поросята! Без содрогания и без уныния не могу думать о тебе, не столько о судьбе твоей, которая все-таки уляжется когда-нибудь, но о твоей внутренности, тайности! Ты можешь почерстветь в этой недоверчивости к людям, которою ты закалиться хочешь. И какое право имеешь ты на недоверчивость? Разве одну неблагодарность свою! Лучшие люди в России за тебя; многие из них даже деятельны за тебя; имя твое сделалось народною собственностью. Чего тебе недостает? Я знаю чего, но покоришься же силе обстоятельств и времени. Ты ли один терпишь, и на тебе ли одном обрушилось бремя невзгод, сопряженных с настоящим положением не только нашим, но вообще европейским. Если приперло тебя потеснее другого, то вини свой пьедестал, который выше другого. Будем беспристрастны; не сам ли ты частью виноват в своем положении? Ты сажал цветы, не сообразясь с климатом. Мороз сделал свое, вот и всё! Я не говорю, что тебе хорошо, но говорю, что могло бы быть хуже и что будет хуже, если не станешь домогаться о лучшем и будешь перечить друзей своих. Осекая их попытки в твою пользу, кончишь тем, что и их парализуешь. Заключение: отказ твой ехать в Псков для посоветования с Мойером есть мера противная и благоразумию, потому что она ни на чем путном не основана, и нравственности, потому что ты оказываешь неблагодарность друзьям своим и испытываешь их дружбу к тебе донельзя, и настоящим и будущим выгодам твоим, ибо новою катастрофою запутываешь ход своей драмы и углубляешься в нее, как в лес или Кюхельбекер в своих «Аргивянах», который чем более писал, тем менее знал, когда кончит. Положим, что поездка в Псков не улучшит твоего политического положения, но она улучшит твое здоровье — это положительный барыш, а в барышах будет и то, что ты уважил заботы друзей, не отвергнул, из упрямства и прихоти, милости царской и не был снова на ножах с общим желанием, с общим мнением. Наклада никакого не вижу: барыш в смете есть. В твоём положении

пренебрегать ничем не должно, тем более когда ничего не рискуешь. Я подозреваю некоторые недочеты в твоих соображениях. Ты любишь в гонении: у нас оно, как и авторское ремесло, еще не есть почетное звание, *ce n'est même pas du tout un état*. \* Оно — звание только для немногих; для народа оно не существует. Гонение придает державную власть гонимому только там, где господствуют два раскола общественного мнения. У нас везде царствует одна православная церковь. Ты можешь быть силен у нас одною своею славою, тем, что тебя читают с удовольствием, с жадностию, но несчастье у нас не имеет силы ни на грош. Хоть будь в кандалах, то одни те же друзья, которые теперь о тебе жалеют и пекутся, одна сестра, которая и теперь о тебе плачет, понесут на сердце своем твои железа, но их звук не разбудит ни одной новой мысли в толпе, в народе, который у нас мало чуток! Твое место сиротеет у нас в дружеских беседах и в родительском доме, но в народе не имеешь ты стула, тебя ожидающего: у нас никому нет места почетного. В библиотеках отведена тебе первая полка, но мы еще не дожили до поры *личного уважения*. В государственном человеке уважают кресты и чины, в авторе — его книги, и то еще слава богу; но будь первый без крестов, другой без книг, их забывают и не знают. В дубовом лесу мы не друиды, а свиньи: дубам не поклоняемся, а жрем одни валяющиеся желуди. Оппозиция — у нас бесплодное и пустое ремесло во всех отношениях: она может быть домашним рукоделием про себя и в честь своих пенатов, если набожная душа отречься от нее не может, но промыслом ей быть нельзя. Она не в цене у народа. Поверь, что о тебе помнят по твоим поэмам, но об опале твоей в год и двух раз не поговорят, разумеется, кроме друзей твоих, но ты им не ею дорог. Не ты же один на черной доске у судьбы: есть тоже имена честные, но так как они не подписываются в журналах, то их давно уже нет в помине. Нет сомнения, *que la disgrâce ne donne pas chez nous de popularité; elle n'est que le prix des succès* \*\*;

\* это даже вовсе не звание (фр.).

\*\* что опала не способствует у нас известности; она является лишь расплатой за успехи (фр.).

какие бы ни были удачи, торговые ли, придворные, карточные, стихотворные, государственные, но всё поклоняемся мы одному счастью, а благородное несчастье не имеет еще кружка своего в месяцеслове народа ребяческого, немного или много дикого и воспитанного в одних гостиных и прихожих. Ты судишь о своем положении по расчислениям ума и сердца и, может быть, находишь людей, которые подтакивают твоим итогам, но и ты и они ошибаются. Пушкин по характеру своему, Пушкин, как блестящий пример превратностей различных, ничтожен в русском народе: за выкуп его никто не даст алтына, хотя по шести рублей и платится каждая его стихотворческая отрыжка. Мне все кажется *que vous comptez sans votre hôte* \* и что ты служишь чему-то, чего у нас нет. Дон-Кихот нового рода, ты снимаешь шляпу, кладешь земные поклоны и набожничаеть перед ветряною мельницею, в которой не только бога или святого, но и мельника не бывало.

Молола мельница и что ж молола? — ложь!

Каково вспомнил я стих Сумарокова! <...>

*П. А. Вяземский — Пушкину. 28 августа  
и 6 сентября 1825 г.  
Из Царского Села в Михайловское.*

## 59

*М. И. Осипова.*

### ИЗ РАССКАЗОВ О ПУШКИНЕ

Семья наша в 1824—1826 годах, то есть в года заточения Александра Сергеевича в сельце Михайловском, состояла из следующих лиц: маменьки нашей Прасковьи Александровны, вдовствовавшей тогда по втором уже муже, а моем отце, г. Осипове, и из сестер моих от другого отца: Анны Николаевны и Евпраксии Николаевны Вульф, и родных сестер моих Катерины и Александры Осиповых. Брат Алексей Николаевич

\* что ты строишь расчеты без хозяина (фр.).

был в то время студентом в Дерпте и наезжал сюда на святки и каникулы. Все сестры мои были в то время невестами, и из них особенно хороша была Евпраксия. Каждый день, часу в третьем пополудни, Пушкин являлся к нам из своего Михайловского. Приезжал он обыкновенно верхом на прекрасном аргамаке, а то, бывало, приволочится и на крестьянской лошаденке. Бывало, все сестры мои, да и я, тогда еще подросточек,— выйдем к нему навстречу...

Раз, как теперь помню, тащится он на лошаденке крестьянской, ноги у него чуть не по земле волочатся—я и ну над ним смеяться и трунить. Он потом за мной погнался, все своими ногтями грозил: ногти ж у него такие длинные; он их очень берег... Приходил, бывало, и пешком; подберется к дому иногда совсем незаметно; если летом, окна бывали раскрыты, он шашть и влезет в окно... Что? Ну уж, батюшка, в какое он окно влезал, не могу вам указать! Мало ли окон-то? он, кажется, во все перелазил... Все у нас, бывало, сидят за делом: кто читает, кто работает, кто за фортепьяно... Покойная сестра Александрина, как известно вам, дивно играла на фортепьяно; ее поистине можно было заслушаться... Я это, бывало, за уроками сижу. Ну, пришел Пушкин,—все пошло вверх дном; смех, шутки, говор так и раздаются по комнатам. Я и то, бывало, так и жду его с нетерпением, бывало, никак не совладаешь с каким-нибудь заданным переводом; пришел Пушкин—я к нему подбегу: «Пушкин, переведите!»—и вмиг перевод готов. Впрочем, немецкий язык он плохо знал, да и не любил его; бывало, к сестрам принесет книгу, если что ему нужно перевести с немецкого. А какой он был живой; никогда не посидит на месте, то ходит, то бегаёт! Да чего, уж впоследствии, когда он приезжал сюда из Петербурга, едва ли уж не женатый, сидит как-то в гостиной, шутит, смеется; на столе свечи горят: он прыг с дивана, да через стол, и свечи-то опрокинул... Мы ему говорим: «Пушкин, что вы шалите так, пора остепениться»,—а он смеется только. В комнате почти все, что вы видите, все так же было и при Пушкине: в этой зале стоял этот же большой стол, эти же простые стулья кругом,—те же часы хрипели в углу; а вот, на стене висит потемневшая картина: на нее частенько заглядывался Пушкин (...)

Пушкин, бывало, нередко говорит нам экспромты, но так, чтоб прочесть что-нибудь длинное — это делал редко, впрочем, читал превосходно, по крайней мере, нам очень нравилось его чтение.

Как вы думаете, чем мы нередко его угощали? Мочеными яблоками, да они ведь и попали в «Онегина»; жила у нас в то время ключницей Акулина Памфиловна — ворчунья ужасная. Бывало, беседуем мы все до поздней ночи — Пушкину и захочется яблок; вот и пойдем мы просить Акулину Памфиловну: «принеси да принеси моченых яблок», — а та и разворчит. Вот Пушкин раз и говорит ей шутя: «Акулина Памфиловна, полноте, не сердитесь! завтра же вас произведу в попадьи». И точно, под именем ее — чуть ли не в «Капитанской дочке» — и вывел попадью; а в мою честь, если хотите знать, названа сама героиня этой повести... Был у нас буфетчик Пимен Ильич — и тот попал в повесть (...)

Осень и зиму 1825 года мы мирно жили у себя в Тригорском. Пушкин, по обыкновению, бывал у нас почти каждый день, а если, бывало, заработается и засидится у себя дома, так и мы к нему с матушкой ездили... О наших наездах, впрочем, он сам вспоминает в своих стихотворениях.

Вот однажды, под вечер, зимой — сидели мы все в зале, чуть ли не за чаем. Пушкин стоял у этой самой печки. Вдруг матушке докладывают, что приехал Арсений. У нас был, извольте видеть, человек Арсений — повар. Обыкновенно, каждую зиму посылали мы его с яблоками в Петербург; там эти яблоки и разную деревенскую провизию Арсений продавал и на вырученные деньги покупал сахар, чай, вино и т. п. нужные для деревни запасы. На этот раз он явился назад совершенно неожиданно: яблоки продал и деньги привез, ничего на них не купив. Оказалось, что он в переполохе, приехал даже на почтовых. Что за оказия! Стали расспрашивать — Арсений рассказал, что в Петербурге бунт, что он страшно перепугался, всюду разъезды и караулы, насилу выбрался за заставу, нанял почтовых и поспешил в деревню.

Пушкин, услыша рассказ Арсения, страшно побледнел. В этот вечер он был очень скучен, говорил кое-что о существовании тайного общества, но что именно — не помню.

На другой день — слышим, Пушкин быстро собрался в дорогу и поехал; но, доехав до погоста Врева, вернулся назад. Гораздо позднее мы узнали, что он отправился было в Петербург, но на пути заяц три раза перебежал ему дорогу, а при самом выезде из Михайловского Пушкину попалось навстречу духовное лицо. И кучер, и сам барин сочли это дурным предзнаменованием, Пушкин отложил свою поездку в Петербург, а между тем подоспело известие о начавшихся в столице арестах, что окончательно отбило в нем желание ехать туда. (...)

1866

## 60

К\*\*\*

Я помню чудное мгновенье:  
Передо мной явилась ты,  
Как мимолетное виденье,  
Как гений чистой красоты.

В томленьях грусти безнадежной,  
В тревогах шумной суеты,  
Звучал мне долго голос нежный  
И снились милые черты.

Шли годы. Бурь порыв мятежный  
Рассеял прежние мечты,  
И я забыл твой голос нежный,  
Твои небесные черты.

В глуши, во мраке заточенья  
Тянулись тихо дни мои  
Без божества, без вдохновенья,  
Без слез, без жизни, без любви.

Душе настало пробужденье:  
И вот опять явилась ты,  
Как мимолетное виденье,  
Как гений чистой красоты.

И сердце бьется в упоенье,  
И для него воскресли вновь  
И божество, и вдохновенье,  
И жизнь, и слезы, и любовь.

1825

А. С. Пушкин

## 61

... Всё Тригорское поет \* Не мила ей прелесть NB: ночи \*, и у меня от этого сердце ноет, вчера мы с *Алексеем* проговорили 4 часа подряд. Никогда еще не было у нас такого продолжительного разговора. Угадайте, что нас вдруг так сблизило. Скука? *Сродство чувства?* Не знаю. Каждую ночь гуляю я по саду и повторяю себе: она была здесь — камень, о который она споткнулась, лежит у меня на столе, подле ветки увядшего гелиотропа, я пишу много стихов — всё это, если хотите, очень похоже на любовь, но клянусь вам, что это совсем не то. Будь я влюблен, в *воскресенье* со мною сделались бы судороги от бешенства и ревности, между тем мне было только досадно, — и всё же мысль, что я для нее ничего не значу, что, пробудив и заняв ее воображение, я только тешил ее любопытство, что воспоминание обо мне ни на минуту не сделает ее ни более задумчивой среди ее побед, ни более грустной в дни печали, что ее прекрасные глаза остановятся на каком-нибудь рижском франте с тем же пронизывающим сердце и сладострастным выражением, — нет, эта мысль для меня невыносима; скажите ей, что я умру от этого, — нет, лучше не говорите, она только посмеется надо мной, это очаровательное создание. Но скажите ей, что если в сердце ее нет скрытой нежности ко мне, таинственного и меланхолического влечения, то я презираю ее, — слышите? — да, презираю, несмотря на всё удивление, которое должно вызвать в ней столь непривычное для нее чувство. (...) (фр.)

*Пушкин — Анне Н. Вульф. 21 июля 1825 г.  
Из Михайловского в Ригу.*

## 62

Я имел слабость попросить у вас разрешения вам писать, а вы — легкомыслие или кокетство позволить мне это. Переписка ни к чему не ведет, я знаю; но у меня нет сил противиться желанию получить хоть словечко, написанное вашей хорошенькой ручкой.



Ваш приезд в Тригорское оставил во мне впечатление более глубокое и мучительное, чем то, которое некогда произвела на меня встреча наша у Олениных. Лучшее, что я могу сделать в моей печальной деревенской глуши,— это стараться не думать больше о вас. Если бы в душе вашей была хоть капля жалости ко мне, вы тоже должны были бы пожелать мне этого,— но ветреность всегда жестока, и все вы, кружа головы направо и налево, радуетесь, видя, что есть душа, страждущая в вашу честь и славу.

Прощайте, божественная; я бешусь и я у ваших ног. Тысячу нежностей Ермолаю Федоровичу и поклон г-ну Вульффу.

25 июля

Снова берусь за перо, ибо умираю с тоски и могу думать только о вас. Надеюсь, вы прочтете это письмо тайком — спрячете ли вы его у себя на груди? ответите ли мне длинным посланием? пишите мне обо всем, что придет вам в голову,— заклинаю вас. Если вы опасаетесь моей нескромности, если не хотите компрометировать себя, измените почерк, подпишитесь вымышленным именем — сердце мое сумеет вас угадать. Если выражения ваши будут столь же нежны, как ваши взгляды, увы! — я постараюсь поверить им или же обмануть себя, что одно и то же.— Знаете ли вы, что перечтя эти строки, я стыжусь их сентиментального тона — что скажет Анна Николаевна? (...) (фр.)

Пушкин — А. П. Керн. 25 июля 1825 г.  
Из Михайловского в Ригу.

63

Перечитываю ваше письмо вдоль и поперек и говорю: \* милая! прелесть! \* божественная!.. а потом: \* ах, мерзкая! \* — Простите, прекрасная и нежная, но

---

\* Слова, стоящие между звездочками, в этом и в следующих письмах по-русски.

это так. Нет никакого сомнения в том, что вы божественны, но иногда вам не хватает здравого смысла; еще раз простите и утешьтесь, потому что от этого вы еще прелестнее. Например, что вы хотите сказать, говоря о печатке, которая должна для вас *подходить и вам нравиться* (счастливая печатка!) и значение которой вы просите меня разъяснить? Если тут нет какого-нибудь скрытого смысла, то я не понимаю, чего вы желаете. Или вы хотите, чтобы я придумал для вас девиз? Это было бы совсем в духе Нетти. Полно, сохраните ваш прежний девиз: \* «Не скоро, а здорово» \*, лишь бы это не было девизом вашего приезда в Тригорское, — а теперь поговорим о другом. Вы уверяете, что я не знаю вашего характера. А какое мне до него дело? очень он мне нужен — разве у хорошеньких женщин должен быть характер? главное — это глаза, зубы, ручки и ножки — (я прибавил бы еще — сердце, но ваша кузина очень уж затаскала это слово). Вы говорите, что вас легко узнать; вы хотели сказать — полюбить вас? вполне с вами согласен и даже сам служу тому доказательством: я вел себя с вами, как четырнадцатилетний мальчик, — это возмутительно, но с тех пор, как я вас больше не вижу, я постепенно возвращаю себе утраченное превосходство и пользуюсь этим, чтобы побранить вас. Если мы когда-нибудь снова увидимся, обещайте мне... Нет, не хочу ваших обещаний: к тому же, письмо — нечто столь холодное, в просьбе передаваемой по почте, нет ни силы, ни взволнованности, а в отказе — ни изящества, ни сладострастия. Итак, до свидания — и поговорим о другом. Как поживает подагра вашего супруга? Надеюсь, у него был основательный припадок через день после вашего приезда. \* Поделом ему! \* Если бы вы знали, какое отвращение, смешанное с почтительностью, испытываю я к этому человеку! Божественная, ради бога, постарайтесь, чтобы он играл в карты и чтобы у него сделался приступ подагры, подагры! Это моя единственная надежда! (...) (фр.)

Пушкин — А. П. Керн. 13 и 14 августа 1825 г.  
Из Михайловского в Ригу.

## 64

Никак не ожидал, чародейка, что вы вспомните обо мне, от всей души благодарю вас за это. Байрон получил в моих глазах новую прелесть — все его героини примут в моем воображении черты, забыть которые невозможно. Вас буду видеть я в образах и Гюльнары и Леилы — идеал самого Байрона не мог быть божественнее. Вас, именно вас посылает мне всякий раз судьба, дабы усладить мое уединение! Вы — ангел-утешитель, а я — неблагодарный, потому что смею еще роптать... Вы *едете* в Петербург, и мое изгнание тяготит меня более, чем когда-либо. Быть может, перемена, только что происшедшая, приблизит меня к вам, не смею на это надеяться. Не стоит верить надежде, она — лишь хорошенькая женщина, которая обращается с нами как со старым мужем. Что поделывает ваш муж, мой нежный гений? Знаете ли вы, что в его образе я представляю себе врагов Байрона, в том числе и его жену.

8 дек.

Снова берусь за перо, чтобы сказать вам, что я у ваших ног, что я по-прежнему люблю вас, что иногда вас ненавижу, что третьего дня говорил о вас гадости, что я целую ваши прелестные ручки и снова перецеловываю их, в ожидании лучшего, что больше сил моих нет, что вы божественны и т. д. (фр.)

Пушкин — А. П. Керн.

8 декабря 1825 г. Из Тригорского в Ригу.

## 65

(...) О себе могу сказать следующее: друзья мои усиленно хлопотали о том, чтобы получить для меня разрешение ехать лечиться; матушка писала его величеству, после чего мне разрешили поехать в Псков и даже поселиться там, однако делать этого я не стану, а только съезжу туда на несколько дней. Покамест я живу в полном одиночестве: единственная соседка, у которой я бывал, уехала в Ригу, и у меня буквально нет другого общества, кроме старушки няни и моей трагедии; последняя подвигается, и я

доволен этим. Сочиняя ее, я стал размышлять над трагедией вообще. Это, может быть, наименее правильно понимаемый род поэзии. И классики и романтики основывали свои правила на *правдоподобии*, а между тем именно оно-то и исключается самой природой драматического произведения. Не говоря уже о времени и проч., какое, к чёрту, может быть правдоподобие в зале, разделенной на две половины, в одной из коих помещается две тысячи человек, будто бы невидимых для тех, кто находится на подмостках; 2) *язык*. Напр. у Лагарпа Филоктет, выслушав тираду Пирра, произносит на чистейшем французском языке: «Увы! я слышу сладкие звуки эллинской речи» и проч. Вспомните древних: их трагические маски, их двойные роли,— всё это не есть ли условное неправдоподобие? 3) время, место и проч. и проч. Истинные гении трагедии никогда не заботились о правдоподобии. Посмотрите, как Корнель ловко управился с Сидом. «А, вам угодно соблюдение правила о 24 часах? Извольте» — и нагромоздил событий на 4 месяца. На мой взгляд, ничего не может быть бесполезнее мелких поправок к установленным правилам: Альфиери крайне изумлен нелепостью речей *в сторону*, он упраздняет их, но зато удлиняет монологи, полагая, что произвел целый переворот в системе трагедии; какое ребячество!

Правдоподобие положений и правдивость диалога — вот истинное правило трагедии. (Я не читал ни Кальдерона, ни Веги), но до чего изумителен Шекспир! Не могу прийти в себя. Как мелок по сравнению с ним Байрон-трагик! Байрон, который создал всего-навсего один характер (у женщин нет характера, у них бывают страсти в молодости; вот почему так легко изображать их), этот самый Байрон распределил между своими героями отдельные черты собственного характера; одному он придал свою гордость, другому — свою ненависть, третьему — свою тоску и т. д., и таким путем из одного цельного характера, мрачного и энергичного, создал несколько ничтожных — это вовсе не трагедия.

Существует еще такая замашка: когда писатель задумал характер какого-нибудь лица, то что бы он ни заставлял его говорить, хотя бы самые посторон-

ние вещи, всё носит отпечаток данного характера (таковы педанты и моряки в старых романах Фильдинга). Заговорщик говорит: *Дайте мне пить*, как заговорщик — это просто смешно. Вспомните Озобленного у Байрона (на pagato!) \* — это однообразие, этот подчеркнутый лаконизм, эта непрерывная ярость, разве всё это естественно? Отсюда эта принужденность и робость диалога. Вспомните Шекспира. Читайте Шекспира, он никогда не боится скомпрометировать своего героя, он заставляет его говорить с полнейшей непринужденностью, как в жизни, ибо уверен, что в надлежащую минуту и при надлежащих обстоятельствах он найдет для него язык, соответствующий его характеру.

Вы спросите меня: а ваша трагедия — трагедия характеров или нравов? Я избрал наиболее легкий род, но попытался соединить и то и другое. Я пишу и размышляю. Большая часть сцен требует только рассуждения; когда же я дохожу до сцены, которая требует вдохновения, я жду его или пропускаю эту сцену — такой способ работы для меня совершенно нов. Чувствую, что духовные силы мои достигли полного развития, я могу творить. (фр.)

*Пушкин — Н. Н. Раевскому-сыну.  
Вторая половина июля (после 19) 1825 г.  
Из Михайловского в Белгородку  
или в Белую Церковь. (Черновое)*

## 66

Вот моя трагедия, раз уж вы непременно хотите ее, но я требую, чтобы прежде прочтения вы пробежали последний том Карамзина. Она полна славных шуток и тонких намеков на историю того времени, вроде наших киевских и каменских обиняков. Надо понимать их — это *sine qua non* \*\*.

По примеру Шекспира я ограничился развернутым изображением эпохи и исторических лиц, не

\* он заплатил (*ит.*).

\*\* это неперемное условие (*лат.*).

стремясь к сценическим эффектам, к романтическому пафосу и т. п... Стиль трагедии смешанный. Он площадной и низкий там, где мне приходилось выводить людей простых и грубых,— что касается грубых непристойностей, не обращайтесь на них внимания: это писалось наскоро и исчезнет при первой же переписке. Меня прельщала мысль о трагедии без любовной интриги. Но, не говоря уже о том, что любовь весьма подходит к романтическому и страстному характеру моего авантюриста, я заставил Дмитрия влюбиться в Марину, чтобы лучше оттенить ее необычный характер. У Карамзина он лишь бегло очерчен. Но, конечно, это была странная красавица. У нее была только одна страсть: честолюбие, но до такой степени сильное и бешеное, что трудно себе представить. Посмотрите, как она, вкусив царской власти, опьяненная несбыточной мечтой, отдается одному проходимцу за другим, деля то отвратительное ложе жида, то палатку казака, всегда готовая отдаться каждому, кто только может дать ей слабую надежду на более уже не существующий трон. Посмотрите, как она смело переносит войну, нищету, позор, в то же время ведет переговоры с польским королем как коронованная особа с равным себе, и жалко кончает свое столь бурное и необычайное существование. Я уделил ей только одну сцену, но я еще вернусь к ней, если бог продлит мою жизнь. Она волнует меня как страсть. Она ужас до чего полька, как говорила кузина г-жи Любомирской.

Гаврила Пушкин — один из моих предков, я изобразил его таким, каким нашел в истории и в наших семейных бумагах. Он был очень талантлив — как воин, как придворный и в особенности как заговорщик. Это он и Плещеев своей неслыханной дерзостью обеспечили успех Самозванца. Затем я снова нашел его в Москве в числе семи начальников, защищавших ее в 1612 году, потом в 1616 году, заседающим в Думе рядом с Козьмой Мининым, потом воеводой в Нижнем, потом среди выборных людей, венчавших на царство Романова, потом послом. Он был всем, чем угодно, даже поджигателем, как это доказывается грамотою, которую я нашел в Погорелом Городище — городе, который он сжег (в наказание за что-то), подобно проконсулам Национального Конвента.

Я намерен также вернуться и к Шуйскому. Он представляет в истории странную смесь смелости, изворотливости и силы характера. Слуга Годунова, он одним из первых бояр переходит на сторону Дмитрия. Он первый вступает в заговор и он же, заметьте, сам берется выполнить всё это дело, кричит, обвиняет, из предводителей становится рядовым воином. Он готов погибнуть, Дмитрий милует его уже на лобном месте, ссылает и с тем необдуманном великодушием, которое отличало этого милого авантюриста, снова возвращает ко двору и осыпает дарами и почестями. Что же делает Шуйский, чуть было не попавший под топор и на плаху? Он спешит создать новый заговор, успевает в этом, заставляет себя избрать царем и падает — и в своем падении сохраняет больше достоинства и силы духа, нежели в продолжение всей своей жизни.

В Дмитрие много общего с Генрихом IV. Подобно ему он храбр, великодушен и хвастлив, подобно ему равнодушен к религии — оба они из политических соображений отрекаются от своей веры, оба любят удовольствия и войну, оба увлекаются несбыточными замыслами, оба являются жертвами заговоров... Но у Генриха IV не было на совести Ксении — правда, это ужасное обвинение не доказано, и я лично считаю своей священной обязанностью ему не верить.

Грибоедов критиковал мое изображение Иова — патриарх, действительно, был человеком большого ума, я же по рассеянности сделал из него дурака.

Создавая моего Годунова, я размышлял о трагедии — и если бы вздумал написать предисловие, то вызвал бы скандал — это, может быть, наименее понятый жанр. Законы его старались обосновать на правдоподобии, а оно-то именно и исключается самой сущностью драмы; не говоря уже о времени, месте и проч., какое, черт возьми, правдоподобие может быть в зале, разделенной на две части, из коих одна занята 2000 человек, будто бы невидимых для тех, которые находятся на подмостках?

2) *Язык*. Например, у Лагарпа Филоктет, выслушав тираду Пирра, говорит на чистом французском языке: «Увы, я слышу сладкие звуки греческой речи». Не есть ли все это условное неправдоподобие? Истинные гении трагедии заботились всегда исключительно

о правдоподобию характеров и положений. Посмотрите, как смело Корнель поступил в «Сиде»: «А, вам угодно соблюдать правило о 24 часах? Извольте». И тут же он нагромождает событий на 4 месяца. Нет ничего смешнее мелких изменений общепринятых правил. Альфиери глубоко чувствовал, как смешны речи в сторону, он их уничтожает, но зато удлиняет монологи. Какое ребячество!

Письмо мое вышло гораздо длиннее, чем я хотел. Прошу вас, сохраните его, так как оно мне понадобится, если черт меня попутает написать предисловие. 30 января 1829 (фр.).

*А. С. Пушкин. Наброски предисловия  
к «Борису Годунову»  
(в форме письма к Н. Н. Раевскому).*

## 67

(...) Умоляю тебя отстать от лени и приняться за приготовление всех поэм к новому изданию. Я не могу сделать к ним предисловий и примечаний вместо тебя, во 1) потому, что у меня нет совсем свободного времени, 2) я испортил бы все дело какою-нибудь грубою или глупою ошибкою и проч. Fournier здесь уже нет: Лев сказал мне, что он уехал. Об «Онегине» заговаривал было я с книгопродавцами, чтобы они взяли остальные экзем. с уступкою им за все издание 1000 рублей. Никак не соглашаются. Они думают, что эта книга уже остановилась, а забывают, как ее расхватят, когда ты напечатаешь еще песнь или две. Мы им тогда посмеемся, дуракам. Признаюсь, я рад этому. Полно их тешить нам своими деньгами. Милый, прими совет мой! Я буду говорить тебе, как опытный человек в деле книготорговли и совершенно преданный выгодам твоим, почти столько же, сколько и твоей славе. Желаешь ли ты получить денег тысяч до пятидесяти в продолжение пяти месяцев или даже четырех с начала сентября до конца декабря?

Вот единственное и вернейшее средство: I. Пришли мне (как только возможно тебе скорее) вторую и третью песни «Онегина», чтобы я вместе напечатал



их в одной книжке в продолжение сентября. Но заметь, что надобно прислать оригинал так, как отдавать его следует в цензуру. В противном случае дело затянется, и я уже тогда не отвечаю за успех. Главное условие: делать все так, как я предлагаю. II. Велеть Льву в половине сентября непременно отдать мне «Разные стихотворения», чисто и со всеми твоими последними поправками переписанные, чтобы 1-го октября взял я их от цензора и снес в типографию. III. Приготовь оригиналы, со всеми своими давними и новыми поправками, примечаниями и проч., всех пяти поэм: «Руслана», «Пленника», «Фонтана», «Разбойников» и «Цыганов» — непременно к 15-му октября, чтобы я мог их к 1-му ноября взять от цензора и снести в типографию. Если это все ты в состоянии сделать, то я (отвечаю честью), не требуя от тебя ни копейки за бумагу и печатание, доставлю тебе к 1-му января 1826 года (как хочешь: в разные ли сроки, или вдруг к этому одному сроку) не менее 50 000 рублей: в этом

Меня мой разум уверяет,  
Гласит мое мне сердце то.

Вот и расчет мой à peu-près \*: я надеюсь непременно после издания 2 и 3 песен «Онегина» продать вдруг 1-й песни его 850 экземпляров (за вычетом процентов книгопродавцу) на 3 400 руб.

Потом: 2000 экз. 2 и 3 песн. «Онегина»		
по 4 р. 50 к. за экз. на	9 000	—
Далее: 2000 — «Разных стихотворений»		
также по 4 р. 50 к. на	9 000	—
Наконец: 2000 — «Поэм» всех, считая		
хоть по 13 руб. за экз.	26 000	—

---

Итого 47 400 руб.

Ты уже видишь, что немного недостает до 50 000. Но я надеюсь с помощью нового плана продажи выиграть менее уступки книгопродавцам и более сбыть вдруг экз. прямо на деньги, чем не только оплатится бумага и печатание всех этих книг, но и достанет дополнить сумму до 50 000 рублей. Уверю тебя, что это все

\* приблизительно (фр.).

сбудется: сделай только в точности по моему расписанию. Если же ты не уважишь моего усердия и почтешь за шутку то, что я пишу от чистого сердца, тогда бог с тобой. Я тебя отдам на съедение книгопродавцам, потому что, презревши мой совет, ты, конечно, либо сам, либо через кого-нибудь другого опять обратишься с новыми условиями к этим варварам, которые этого только и ждут. Но я останусь не без грусти; она очень понятна, когда чистейшую жертву отталкивают. Что стоит тебе подождать до генваря? Ты будешь Крезом. Я уж не стращаю тебя, что отдам твои деньги в ломбард; нет, все тебе пришлю преисправно. Делай с ними, что хочешь. Понимаешь ли меня?

По новому плану моему продажи, я, по отпечатании новой твоей книги, рассылаю афиши по всем книжным лавкам, где назначится, какая уступка сделана будет, если *на чистые непременно деньги* возьмет у меня купец для продажи 50 экз.; если 100, если 250, если 300 и т. д. Монополии нет. Они все усердно готовы брать вдруг более, потому что больше уступки процентов. В долг никому ни экземпляра. Сверх того объявляю, что эта книга продается в такой-то квартире Плетнева, хоть для близь живущих. На этих экземплярах мы ни копейки не теряем процентов. В Москву и другие города также на чистые деньги. Я в восторге от этой мысли высокой. (...)

П. А. Плетнев — Пушкину.

29 августа 1825 г.

Из Петербурга в Михайловское.

(...) Очень естественно, что милость царская огорчила меня, ибо новой милости не смею надеяться, — а Псков для меня хуже деревни, где по крайней мере я не под присмотром полиции. Вам легко на досуге укорять меня в неблагодарности, а были бы вы (чего боже упаси) на моем месте, так, может быть, пуще моего взбеленились. Друзья обо мне хлопочут, а мне хуже да хуже. Сгоряча их проклинаяю, одумаюсь, благодарю за намерение, как езуит, но всё же мне

не легче. Аневризмом своим дорожил я пять лет, как последним предлогом к избавлению, *ultima ratio libertatis* \* — и вдруг последняя моя надежда разрушена проклятым дозволением ехать лечиться в ссылку! Душа моя, поневоле голова кругом пойдет. Они заботятся о жизни моей; благодарю — но чёрт ли в эдакой жизни. Гораздо уж лучше от нелечения умереть в Михайловском. По крайней мере могила моя будет живым упреком, и ты бы мог написать на ней приятную и полезную эпитафию. Нет, дружба входит в заговор с тиранством, сама берется оправдать его, отвлечь негодование; выписывают мне Мойера, который, конечно, может совершить операцию и в сибирском руднике; лишают меня права жаловаться (не в стихах, а в прозе, дьявольская разница!), а там не велят и беситься. Как не так! — Я знаю, что право жаловаться ничтожно, как и все прочие, но оно есть в природе вещей: погоди. Не демонствуй, Асмодей: мысли твои об общем мнении, о суете гонения и страдальчества (положим) справедливы — но помилуй... это моя религия; я уже не фанатик, но всё ещё набожен. Не отнимай у схимника надежду рая и страх ада.

Зачем не хочу я согласиться на приезд ко мне Мойера? — я не довольно богат, чтоб выписывать себе славных докторов и платить им за свое лечение — Мойер друг Жуковскому — но не Жуковский. Благодеяний от него не хочу. Вот и всё. <...>

Ах, мой милый, вот тебе каламбур на мой аневризм: друзья хлопочут о моей *жиле*, а я об *жилье*. Каково? <...>

*Пушкин — П. А. Вяземскому.  
13 и 15 сентября 1825 г.  
Из Михайловского в Москву.*

Ты, как я вижу, предал в руке мои только дух свой, любезнейший сын. А мне, право, до духу твоего нет дела: он жив и будет жив, ибо весьма живущ. По-

\* последним доводом в пользу освобождения (лат.).

давай-ка мне свое грешное тело, то есть свой аневризм. С этим прекрасным аневризмом не уцелеет и дух твой. Дух же твой нужен мне для твоего «Годунова», для твоих десяти будущих поэм, для твоей славы и для исправления светлым будущим всего темного прошедшего. Слышишь ли, Бейрон Сергеевич! Но смотри же: Бейрон на лире, а не Бейрон на деле: комментарий на эту фразу найдешь в письме Вяземского, в котором для тебя много разительной правды! Этот Вяземский очень умный человек и часто говорит дело. Мне лучше его ничего нельзя сказать тебе. Да и не нужно. Я было крепко рассердился на тебя за твое письмо к сестре и к Мойеру; но твоя библейская фраза меня с тобою помирила. Прошу покорнейше уважать свою жизнь и помнить, что можешь сделать в ней много прекрасного, несмотря ни на какие обстоятельства. Следовательно, вот чего от тебя требую: вспомнив, что *настала глубокая осень* (ты обещал ею воспользоваться), собраться в дорогу, отправиться в Псков и, наняв для себя такую квартиру, в которой мог бы поместиться и Мойер, немедленно написать к нему, что ты в Пскове и что ты дождешься его в Пскове. Он мигом уничтожит твой аневризм. Ты возвратишься в свою Опочку, примешься с новым духом за своего «Годунова» и напишешь такого «Годунова», что у нас всех будет душа прыгать: слава победит обстоятельства. В этом я уверен. Твое дело теперь одно: не думать несколько времени ни о чем, кроме поэзии, и решиться пожить исключительно только для одной высокой поэзии. Создай что-нибудь бессмертное, и самые беды твои (которые сам же состряпал) разлетятся в прах. Дай способ друзьям твоим указать на что-нибудь твое превосходное, великое; тогда им будет легко поправить судьбу твою; тогда они будут иметь на это неотъемлемое право. Ты сам себя не понимаешь; ты только бунтуешь, как ребенок, против несчастья, которое само не иное что, как плод твоего ребячества: а у тебя такие есть способы сладить с своею судьбою, каких нет у простых сынов сего света, способы благородные, высокие. Перестань быть эпиграммой, будь поэмой.

И я ваш покорный слуга

Жуковский

Уведомь немедленно, на что ты решишься касательно Пскова, Мойера и аневризма.

*В. А. Жуковский — Пушкину. Вторая половина  
(не позднее 23) сентября 1825 г.  
Из Петербурга в Михайловское*

## 70

В последних числах сентября  
(Презренной прозой говоря)  
В деревне скучно: грязь, ненастье,  
Осенний ветер, мелкий снег  
Да вой волков.

⟨...⟩

Кто долго жил в глуши печальной,  
Друзья, тот верно знает сам,  
Как сильно колокольчик дальный  
Порой волнует сердце нам.  
Не друг ли едет запоздалый,  
Товарищ юности удалой?..  
Уж не она ли?.. Боже мой!  
Вот ближе, ближе. Сердце бьется.  
Но мимо, мимо звук несется,  
Слабей... и смолкнул за горой.

1825

*А. С. Пушкин. Граф Нулин.*

## 71

На днях, увидя в окошке осень, сел я в тележку и прискакал во Псков. Губернатор принял меня очень мило, я поговорил с ним о своей жиле, посоветовался с очень добрым лекарем и приехал обратно в свое Михайловское. Теперь, имея обстоятельные сведения о своем аневризме, поговорю об нем толком. П. А. Осипова, будучи в Риге, со всею заботливостью дружбы говорила обо мне оператору Руланду; операция не штука, сказал он, но следствия могут быть важны: больной должен лежать несколько недель неподвижно etc. Воля твоя, мой милый,—ни во Пскове, ни в

Михайловском я на то не соглашусь; всё равно умереть со скуки или с аневризма; но первая смерть вернее другой.— Я постели не вытерплю, во что бы то ни стало. 2-е, псковский лекарь говорит: можно обойтись и без операции, но нужны строгие предосторожности: не ходите много пешком, не ездите верхом, не делайте сильных движений etc. etc. Ссылаюсь на всех; что мне будет делать в деревне или во Пскове, если всякое физическое движение будет мне запрещено? Губернатор обещался отнестись, что лечиться во Пскове мне невозможно — итак погодим, авось ли царь что-нибудь решит в мою пользу.

Теперь 3-й § (и самый важный), Мойера не хочу решительно. Ты пишешь: *прими его, как меня*. Мудрено. Я не довольно богат, чтоб выписывать себе славных операторов — а даром лечиться не намерен — он не ты. Конечно, я с радостию и благодарностью дал бы тебе срезать не только становую жилу, но и голову; от тебя благоденье мне не тяжело — а от другого не хочу. Будь он тебе распрямитель, будь он сын Карамзина.

Милый мой, посидим у моря, подождем погоды; я не умру; это невозможно; бог не захочет, чтоб «Годунов» со мною уничтожился. Дай срок: жадно принимаю твое пророчество; пусть трагедия искупит меня... но до трагедий ли нашему черствому веку? По крайней мере оставь мне надежду.— Чувствую, что операция отнимет ее у меня. Она закабалит меня на 10 лет ссылочной жизни. Мне уже не будет ни надежды, ни предлога — страшно подумать, отче! не брани меня и не сердись, когда я бешусь; подумай о моем положении; вовсе не завидное, что ни толкуют. Хоть кого с ума сведет.

*Пушкин — В. А. Жуковскому. 6 октября 1825 г.  
Из Тригорского в Петербург.*

Ваше превосходительство!

Сочувствие, которое вы изволили проявить ко мне, а также письмо, которым вы почтили меня, дают мне смелость представить вам мое нижайшее проше-

ние его императорскому величеству и умолять ваше превосходительство еще раз предстательствовать за меня. Моему несчастному сыну не было оказано никакой помощи в Пскове; врачи решили, что болезнь его слишком запущена для того, чтобы они могли взять на себя сделать операцию. Я не хочу распространяться, сердце мое переполнено, но, поверьте, генерал, что благодарность матери больше всего того, что можно выразить и что эту благодарность вам я сохраню на всю жизнь и буду счастлива выразить вам ее лично, так же как и чувства почтительного уважения, с которыми имею честь оставаться (фр.).

Вашего превосходительства нижайшая и преданнейшая *Надежда Пушкина*.

*Н. О. Пушкина — И. И. Дибичу. 27 ноября 1825.  
Из Москвы в Петербург.*

## 73

Ваше величество!

Несчастливая мать, проникнутая сознанием доброты и милосердия вашего императорского величества, осмеливается еще раз припасть к стопам своего августейшего государя, повторяя свою нижайшую мольбу. По сведениям, которые я только что получила, болезнь моего сына быстро развивается, псковские врачи отказались сделать необходимую ему операцию, и он возвратился в деревню, где ему нет никакой помощи и общее состояние его очень худо. Соболаговолите, ваше величество, разрешить ему выехать в другое место, где он мог бы найти более опытного врача, и простите матери, дрожащей за жизнь своего сына, что она вторично осмеливается взывать к вашему милосердию. Только на груди отца своих подданных несчастная мать может выплакать свое горе, только от своего государя, от безграничной его доброты смеет она ожидать избавления от своих опасений и тревог.

*Н. О. Пушкина — Александру I. 27 ноября 1825.  
Из Москвы в Петербург.*

## 74

(...) Поздравляю тебя, моя радость, с романтической трагедией, в ней же первая персона Борис Годунов! Трагедия моя кончена; я перечел ее вслух, один, и бил в ладоши и кричал, ай-да Пушкин, ай-да сукин сын! Юродивой мой малый презабавный; (...) Прочие также очень милы; кроме капитана Маржерета, который всё по-матерну бранится; цензура его не пропустит. Жуковский говорит, что царь меня простит за трагедию — навряд, мой милый. Хоть она и в хорошем духе писана, да никак не мог упрятать всех моих ушей под колпак юродивого. Торчат! Ты уморительно критикуешь Крылова; молчи, то знаю я сама, да эта крыса мне кума. Я назвал его представителем *духа* русского народа — не ручаюсь, чтоб он отчасти не вонял. — В старину наш народ назывался смерд (см. господина Карамзина). Дело в том, что Крылов пре-оригинальная туша, граф Орлов дурак, а мы разини и пр. и пр. ...

Я из Пскова написал тебе было уморительное письмо — да сжег. Тамошний архиерей отец Евгений принял меня как отца Евгения. Губернатор также был весьма милостив; дал мне переправить свои стишки-с. Вот каково! Прощай, мой милый.

*Пушкин — П. А. Вяземскому.  
Около 7 ноября 1825 г.  
Из Михайловского в Москву.*

## 75

(...) Жажду иметь понятие о твоём «Годунове». Чудесный наш язык ко всему способен, я это чувствую, хотя не могу привести в исполнение. Он создан для Пушкина, а Пушкин для него. Я уверен, что трагедия твоя исполнена красот необыкновенных. Иди, довершай начатое, ты, в ком поселился гений! Возведи русскую поэзию на ту степень между поэзиями всех народов, на которую Петр Великий возвел Россию между державами. Соверши один, что он



совершил один; а наше дело — признательность и удивление. <...>

*Е. А. Баратынский — Пушкину.  
Первая половина (после 7) декабря 1825 г.  
Из Москвы в Михайловское.*

## 76

Мне досадно, что Рылеев меня не понимает — в чем дело. Что у нас не покровительствуют литературу, и что слава богу? зачем же об этом говорить? *pour réveiller le chat qui dort*?\* напрасно. Равнодушию правительства и притеснению цензуры обязаны мы духом нынешней нашей словесности. Чего ж тебе более? загляни в журналы в течение шести лет посмотри, сколько раз упоминали обо мне, сколько раз меня хвалили поделом и понапрасну — а об нашем приятеле ни гугу, как будто на свете его не было. Почему это? уж верно не от гордости или радикализма такого-то журналиста, нет — а всякий знает, что, хоть он расподличайся, никто ему спасибо не скажет и не даст ни пяти рублей — так лучше ж даром быть благородным человеком. Ты сердишься за то, что я чванюсь 600-летним дворянством. (NB, мое дворянство старее). Как же ты не видишь, что дух нашей словесности отчасти зависит от состояния писателей? Мы не можем подносить наших сочинений вельможам, ибо по своему рождению почитаем себя равными им. Отселе гордость etc. Не должно русских писателей судить, как иноземных. Там пишут для денег, а у нас (кроме меня) из тщеставия. Там стихами живут, а у нас граф Хвостов прожился на них. Там есть нечего, так пиши книгу, а у нас есть нечего, служи, да не сочиняй. Милый мой, ты поэт и я поэт, но я сужу более прозаически и чуть ли от этого не прав. Прощай, мой милый, что ты пишешь?

*Пушкин — К. Ф. Рылееву.  
Вторая половина июня — август 1825 г.  
Из Михайловского в Петербург. (Черновое)*

\* чтобы разбудить спящего кота? (фр.).

## 77

Извини, милый Пушкин, что долго не отвечал тебе; разные неприятные обстоятельства, то свои, то чужие, были тому причиною. Ты мастерски оправдываешь свое чванство шестисотлетним дворянством; но несправедливо. Справедливость должна быть основанием и действий, и самых желаний наших. Преимуществ гражданских не должно существовать, да они для Поэта Пушкина ничему и не служат ни в зале невежды, ни в зале знатного подлеца, не умеющего ценить твоего таланта. Глупая фраза журналиста Булгарина также не оправдывает тебя, точно так, как она не в состоянии уронить достоинства литератора и поставить его на одну доску с камердинером знатного барина. Чванство дворянством непростительно, особенно тебе. На тебя устремлены глаза России; тебя любят, тебе верят, тебе подражают. Будь Поэт и гражданин.—Мы опять собираемся с «Полярною». Она будет последняя; так, по крайней мере, мы решились. Желаем распроститься с публикою хорошо и потому просим тебя подарить нас чем-нибудь подобным твоему последнему нам подарку.—Тут об тебе бог весть какие слухи: успокой друзей своих хотя несколькими строчками. Прощай, будь здоров и благоденствуй.

*Твой Рылеев.*

*К. Ф. Рылеев — Пушкину.*

*Около 20 ноября 1825 г.*

*Из Петербурга в Михайловское.*

## 78

Милый, дело не до стихов — слушай *в оба уха*: Если я друзей моих не слишком отучил от ходатайства, вероятно они вспомнят обо мне... Если братъ, так братъ — не то, что и совести марасть — ради бога, не просить у царя позволения мне жить в Опочке или в Риге; чёрт ли в них? *а просить или о въезде в столицу, или о чужих краях.* В столицу хочется мне для

вас, друзья мои,— хочется с вами еще перед смертью поврать; но, конечно, благоразумнее бы отправиться за море. Что мне в России делать? Покажи это письмо Жуковскому, который, может быть, на меня сердит. Он как-нибудь это сладит. Да нельзя ли дам взбуторажить?.. Душа! я пророк, ей-богу пророк! Я «Андрея Шенъе» велю напечатать церковными буквами во имя отца и сына etc.— выписывайте меня, красавцы мои, а не то не я прочту вам трагедию свою. (...)

*Пушкин — П. А. Плетневу. 4—6 декабря 1825 г.  
Из Михайловского в Петербург.*

## 79

## БИЛЕТ

Сей дан села Тригорского людям: Алексею Хохлову росту 2 арш. 4 вер. волосы темнорусые, глаза голубые, бороду бреет, лет 29, да Архипу Курочкину росту 2 ар. 3½ в. волосы светло-русые, брови густые, глазом крив, ряб, лет 45, в удостоверение что они точно посланы от меня в С.-Петербург по собственным моим надобностям и потому прошу господ командующих на заставах чинить им свободный пропуск.

*Сего 1825 года, Ноября 29 дня.  
Село Тригорское что в Опоческом уезде.  
Статская Советница  
Прасковья Осипова*

## 80

## ЗАМЕТКА О «ГРАФЕ НУЛИНЕ»

В конце 1825 года находился я в деревне. Перечитывая «Лукрецию», довольно слабую поэму Шекспира, я подумал: что если б Лукреции пришла в голову мысль дать пощечину Тарквинию? быть может, это охладило б его предприимчивость и он со стыдом принужден был отступить? Лукреция б не зарезалась, Публикола не взбесился бы, Брут не изгнал бы царей, и мир и история мира были бы не те.

Итак, республикою, консулами, диктаторами, Катонами, Кесарем мы обязаны соблазнительному происшествию, подобному тому, которое случилось недавно в моем соседстве, в Новоржевском уезде.

Мысль пародировать историю и Шекспира мне представилась. Я не мог воспротивиться двойному искушению и в два утра написал эту повесть.

Я имею привычку на моих бумагах выставлять год и число. «Граф Нулин» писан 13 и 14 декабря. Бывают странные сближения.

1830

А. С. Пушкин

## 81

«Граф Нулин» наделал мне больших хлопот. Нашли его (с позволения сказать) похабным, — разумеется, в журналах, — в свете приняли его благосклонно, и никто из журналистов не захотел за него заступиться. Молодой человек ночью осмелился войти в спальню молодой женщины и получил от нее пощечину! Какой ужас! как сметь писать такие отвратительные гадости? Автор спрашивал, что бы на месте Натальи Павловны сделали петербургские дамы: какая дерзость! Кстати о моей бедной сказке (писанной, буди сказано мимоходом, самым трезвым и благопристойным образом) — подняли противу меня всю классическую древность и всю европейскую литературу! Верю стыдливости моих критиков; верю, что «Граф Нулин» точно кажется им предосудительным. Но как же упоминать о древних, когда дело идет о благопристойности? {...}

---

В «Вестнике Европы» с негодованием говорили о сравнении Нулина с котом, цапцарапствующим кошку (забавный глагол: цапцарапствую, цапцарапствуешь, цапцарапствует). Правда, во всем «Графе Нулине» этого сравнения не находится, так же как и глагола цапцарапствую; но хоть бы и было, что за беда?

Безнравственное сочинение есть то, коего целию или действием бывает потрясение правил, на коих основано счастье общественное или человеческое достоинство. Стихотворения, коих цель горячить воображение любострастными описаниями, унижают поэзию, превращая ее божественный нектар в воспалительный состав, а музу в отвратительную Канидию. Но шутка, вдохновенная сердечной веселостию и минутной игрою воображения, может показаться безнравственною только тем, которые о нравственности имеют детское или темное понятие, смешивая ее с нравоучением, и видят в литературе одно педагогическое занятие.

*А. С. Пушкин. Опровержение на критики. 1830.*

## 82

Я не писал к тебе, во-первых, потому, что мне было не до себя, во-вторых, за неимением верного случая. Вот в чем дело: мудрено мне требовать твоего заступления пред государем; не хочу охмелить тебя в этом пиру. Вероятно, правительство удостоверилось, что я заговору не принадлежу и с возмутителями 14 декабря связей политических не имел, но оно в журналах объявило опалу и тем, которые, имея какие-нибудь сведения о заговоре, не объявили о том полиции. Но кто же, кроме полиции и правительства, не знал о нем? о заговоре кричали по всем переулкам, и это одна из причин моей безвинности. Все-таки я от жандарма еще не ушел, легко, может, уличат меня в политических разговорах с кем-нибудь из обвиненных. А между ими друзей моих довольно (NB: оба ли Раевские взяты, и в самом ли деле они в крепости? напиши, сделай милость). Теперь положим, что правительство, и захочет прекратить мою опалу, с ним я готов условливаться (буде условия необходимы), но вам решительно говорю не отвечать и не ручаться за меня. Мое будущее поведение зависит от обстоятельств, от обхождения со мною правительства etc.

Итак, остается тебе положиться на мое благоразумие. Ты можешь требовать от меня свидетельств об этом новом качестве. Вот они.

В Кишиневе я был дружен с майором Раевским, с генералом Пуцциным и Орловым.

Я был масон в Кишиневской ложе, т. е. в той, за которую уничтожены в России все ложи.

Я наконец был в связи с большою частью нынешних заговорщиков.

Покойный император, сослав меня, мог только упрекнуть меня в безверии.

Письмо это неблагоприятно, конечно, но должно же доверять иногда и счастью. Прости, будь счастлив, это покамест первое мое желание.

Прежде, чем сожжешь это письмо, покажи его Карамзину и посоветуйся с ним. Кажется, можно сказать царю: Ваше величество, если Пушкин не замешан, то нельзя ли наконец позволить ему возвратиться?

Говорят, ты написал стихи на смерть Александра — предмет богатый! — Но в течение десяти лет его царствования лира твоя молчала. Это лучший упрек ему. Никто более тебя не имел права сказать: глас лиры — глас народа. Следственно, я не совсем был виноват, подсвистывая ему до самого гроба.

*Пушкин — В. А. Жуковскому.*

*20-е числа января 1826 г.*

*Из Михайловского в Петербург.*

## 83

(...) Получил ли ты (непреренно уведоь) пять экз. твоих «Стихотворений»? Доволен ли изданием? Не принять ли этот формат, буквы и расстановку строк для будущих новых изданий твоих поэм, разумеется, кроме следующих глав «Онегина»?

Мне Карамзины поручили очень благодарить тебя за подарок им твоих «Стихотворений». Карамзин убедительно просил меня предложить тебе, согласишься ли ты прислать ему для прочтения «Годунова». Он никому его не покажет, или только тем, кому ты велишь. Жуковский тебя со слезами целует и о том же просит. Сделай милость, напиши им всем по письмецу.

Я продал в разные руки книгопродавцам твоих «Стихотворений» до 600 экз., с уступкою 20 процентов, потому что на <на>личные деньги. У меня теперь твоей суммы, за всеми издержками по изданию и по разным к тебе посылкам, с остальными деньгами от «Онегина», хранится более 4000 рублей. Из этой суммы Дельвиг выпросил на некоторое время 2000. Что прикажешь делать с твоим богатством? Переслать ли тебе все в наличности или в виде какой-нибудь природы или приступить к какому-нибудь новому изданию? Умоляю тебя, напечатай одну или две вдруг главы «Онегина». Отбой нет: все жадничают его. Хуже будет, как простынет жар. Уж я и то боюсь: стращают меня, что в городе есть списки второй главы.<...>

*П. А. Плетнев — Пушкину. 21 января 1826 г.  
Из Петербурга в Михайловское.*

## 84

Душа моя, спасибо за «Стихотворения Александра Пушкина», издание очень мило; кое-где ошибки, это в фальшь не ставится. Еще раз благодарю сердечно и обнимаю дружески.

Что делается у вас в Петербурге? я ничего не знаю, все перестали ко мне писать. Верно вы полагаете меня в Нерчинске. Напрасно, я туда не намерен — но неизвестность о людях, с которыми находился в короткой связи, меня мучит. Надеюсь для них на милость царскую. Кстати: не может ли Жуковский узнать, могу ли я надеяться на высочайшее снисхождение, я шесть лет нахожусь в опале, а что ни говори — мне всего 26. Покойный император в 1824 году сослал меня в деревню за две строчки нерелигиозные — других художеств за собою не знаю. Ужели молодой наш царь не позволит удалиться куда-нибудь, где бы потеплее? — если уж никак нельзя мне показаться в Петербурге — а?

Прости, душа, скучно мочи нет.

*Пушкин — П. А. Плетневу. Вторая половина  
(не позднее 25) января 1826 г.  
Из Михайловского в Петербург.*

## 85

Прибывшие на сих днях из Псковской губернии достойные вероятия особы удостоверяют, что известный по вольнодумным, вредным и развратным стихотворениям титулярный советник Александр Пушкин, по высочайшему в бозе почившего императора Александра Павловича повелению определенный к надзору местного начальства в имени матери его, состоящем Псковской губернии в Опочецком уезде, и ныне при буйном и развратном поведении открыто проповедует безбожие и неповиновение властям и по получении горестнейшего для всей России известия о кончине государя императора Александра Павловича он, Пушкин, изрыгнул следующие адские слова: «Наконец не стало Тирана, да и оставший род его не долго в живых останется!!». Мысли и дух Пушкина бессмертны: его не станет в сем мире, но дух, им поселенный, навсегда останется, и последствия мыслей его непременно поздно или рано произведут желаемое действие.

*Записка агента III Отделения  
С. И. Висковатова. Февраль 1826.*

## 86

Посылаю, душа моя, по желанию твоему тысячу рублей. Напрасно ты нападаешь на меня за знаки препинания. Может быть, ты сам виноват. Рукопись прислал ты очень неисправную, а ее переписывал какой-то писарь, итак, еще более испортил. После того трудно добиться везде аккуратно до настоящего смысла. Советую тебе вперед отдавать кому-нибудь переписывать у себя да после просматривать. А без того заочно всегда будут неисправности.

Ты отказываешься прислать «Годунова» затем, что некому переписать. Это странно. Ведь надобно ж будет когда-нибудь об этом похлопотать. Пригласи из Опочки дни на три к себе какого-нибудь писаку и заплати ему за труды. Увидишь, что он все твои стихи возьмется переписывать тебе.



Ты все-таки не сказал мне и не прислал ничего, что надобно печатать. Недалеко уж великий пост. Это последнее время. После святой недели книжная торговля прекращается. Опять принуждены будем ждать зимы. Ужели ты в нынешнюю зиму ничего не выдашь более, кроме «Стихотворений Александра Пушкина». Сделай милость, выпусти «Онегина». Ужели не допрошу я. (...)

*П. А. Плетнев — Пушкину. 6 февраля 1826 г.  
Из Петербурга в Михайловское.*

## 87

«Стихотворений Александра Пушкина» у меня уже нет ни единого экз., с чем его и поздравляю. Важнее того, что между книгопродавцами началась война, когда они узнали, что нельзя больше от меня ничего получить. Это быстрое растечение твоих сочинений вперед заставит их прежде отпечатания скупать их гуртом на наличные деньги. При продаже нынешней я руководствовался формой, которая изобретена была Гнедичем, по случаю продажи «Стихотворений» Батюшкова и Жуковского. Вот она: 1) Покупщику, требующему менее 50 экз., нет уступки ни одного процента. 2) Кто берет на чистые деньги 50 экз., уступается ему 10 проц. 3) Кто 100 экз., уступается 15 проц. 4) Кто 300 экз., уступается 20 проц. 5) Кто 500 экз., уступается 25 проц. 6) Кто 1000 экз., уступается 30 процентов.

К нашему благополучию, книгопродавцы наши так еще бедны или нерасчетливы, что из последних двух статей ни один не явился, и все покупали по 4-ой статье.

На будущее время я отважусь предложить им одну общую статью: кто бы сколько ни брал, деньги должен вносить чистые и уступки больше 10 проц. не получает. Меня затруднял способ сохранять отпечатанные книги до продажи всех, особенно при большом издании; но теперь и это препятствие уничтожено: следовательно, ничто меня не принудит сдаваться этим вандалам. Только еще прошу тебя обязать меня

официальным письмом (да не причтут мне этой новости в притеснение торговли их!), что я не имею права сбавлять или увеличивать число процентов выше или ниже 10.

Скажи теперь по совести, прав ли я в своих предсказаниях на счет твоих доходов. Воспользуйся же еще нынешней зимой, а летом нет продажи книг. Если ты не решился выписывать писаря, пришли мне черновые бумаги; я или сам перепишу, или найму; потом все переписанное перешлю тебе для сверки или поправок; тогда ты обратно мне перешлешь бумаги, и я приступлю к печатанию. В твоей воле, что теперь начать: второе ли издание «Разных стихотворений» (но в этом случае надобно что-нибудь прибавить; потому что в другой раз некоторых пьес уже не пропустят), «Бориса» ли, «Онегина» ли, или «Цыганов». Только сделай милость, не медли. Остается не более двух месяцев, в которые еще можно что-нибудь сделать. Жуковский особенно просит прислать «Бориса». Он бы желал его прочесть сам, и еще (когда позволишь) на лекции его. Другая его к тебе комиссия состоит в том, чтобы ты написал к нему письмо серьезное, в котором бы сказал, что, оставляя при себе образ мыслей твоих, на кои никто не имеет никакого права, не думаешь играть словами никогда, которые бы противоречили какому-нибудь всеми принятому порядку. После этого письма он скоро надеется с тобою свидеться в его квартире.

Что велишь делать с твоими деньгами? Хоть я не привел в совершенно аккуратный счет всю операцию нынешнего издания, но имею в руках (кроме издержанных на некоторые к тебе посылки, отосланной по твоему требованию *тысячи*, употребленных на издание и заимообразно отданных Дельвигу *двух тысяч*) *пять тысяч* еще. Распоряжайся, милый, поскорее. Ты мне давно не писал. Жду нетерпеливо твоего ответа. {...}

П. А. Плетнев — Пушкину.  
27 февраля 1826 г.  
Из Петербурга в Михайловское.

## 88

Карамзин болен! — милый мой, это хуже многого — ради бога успокой меня, не то мне страшно вдвое будет распечатывать газеты. Гнедич не умрет прежде совершения «Илиады» — или реку в сердце своем: несть Феб. Ты знаешь, что я пророк. Не будет вам «Бориса», прежде чем не выпишете меня в Петербург — что это в самом деле? стыдное дело. Сле-Пушкину дают и кафтан, и часы, и полумедаль, а Пушкину полному — шиш. Так и быть: отказываюсь от фрака, штанов и даже от академического четвертака (что мне следует), по крайней мере пускай позволят мне бросить проклятое Михайловское. Вопрос: невинен я или нет? но в обоих случаях давно бы надлежало мне быть в Петербурге. Вот какво быть верноподданным! забудут и квит. Получили ли мои приятели письма мои дельные, т. е. деловые? Что ж не отвечают? — А ты хорош! пишешь мне: переписывай да нанимай писцов опоческих да издавай «Онегина». Мне не до «Онегина». Чёрт возьми «Онегина»! я сам себя хочу издать или выдать в свет. Батюшки, помогите.

*Пушкин — П. А. Плетневу. 3 марта 1826 г.  
Из Михайловского в Петербург.*

## 89

(...)необходимо учредить достаточно бдительное наблюдение за молодыми поэтами и журналистами. Однако, при помощи одной лишь строгости нельзя найти помощи против того зла, которое их писания уже сделали и еще могут сделать России: выиграли ли что-нибудь от того, что сослали молодого Пушкина в Крым? — Эти молодые люди, оказавшись в одиночестве в таких пустынях, отлученные, так сказать, от всякого мыслящего общества, лишённые всех надежд на заре жизни, изливают желчь, вызываемую недовольством, в своих сочинениях, наводняют государство массою мятежных стихотворений, которые разносят пламя восстания во все состояния и нападают с опасным и вероломным оружием насмешки на свя-

тость религии,—этой узды, необходимой для всех народов, а особенно — для русских (см. «Гаврилиаду», сочинение А. Пушкина). Пусть постараются польстить тщеславию этих непризнанных мудрецов,— и они изменят свое мнение, так как не следует верить тому, что эти горячие головы руководились любовью к добру или благородным патриотическим порывом,— нет, их пожирает лишь честолюбие и страх перед мыслью быть смешанными с толпою.

Сообщаю здесь стихи, которые ходят даже в провинции и которые служат доказательством того, что есть еще много людей зложелательных:

Паситесь, русские народы,  
Для вас не внятен славы клич,  
Не нужны вам дары свободы,—  
Вас надо резать — или стричь.

Я вынужден, генерал, входить с вами во всякого рода подробности потому, что Вы вовсе не должны рассчитывать на здешнюю полицию: ее как бы не существует вовсе, и если до сих пор в Москве все спокойно, то приписывайте это лишь божественному провидению и миролюбивому характеру большей части здешних жителей. (фр.)

*Донесение полковника жандармского полка  
И. П. Бибикова — А. Х. Бенкендорфу. 8 марта 1826.*

## 90

Насилу ты мне написал и то без толку, душа моя. Вообрази, что я в глуши ровно ничего не знаю, переписка моя отовсюду прекратилась, а ты пишешь мне, как будто вчера мы целый день были вместе и наговорились досыта. Конечно, я ни в чем не замешан, и если правительству досуг подумать обо мне, то оно в том легко удостоверится. Но просить мне как-то совестно, особенно ныне; образ мыслей моих известен. Гонимый шесть лет сряду, замаранный по службе выключкою, сосланный в глухую деревню за две строчки перехваченного письма, я, конечно, не мог доброжелательствовать покойному царю, хотя и отда-

вал полную справедливость истинным его достоинствам, но никогда я не проповедовал ни возмущений, ни революции — напротив. Класс писателей, как заметил Alfieri, более склонен к умозрению, нежели к деятельности, и если 14 декабря доказало у нас иное, то на то есть особая причина. Как бы то ни было, я желал бы *вполне и искренно* помириться с правительством, и, конечно, это ни от кого, кроме его не зависит. В этом желании более благоразумия, нежели гордости с моей стороны.

С нетерпением ожидаю решения участи несчастных и обнаружение заговора. Твердо надеюсь на великодушие молодого нашего царя. Не будем ни суеверны, ни односторонни — как французские трагики; но взглянем на трагедию взглядом Шекспира. Прощай, душа моя. {...}

*Пушкин — А. А. Дельвигу.  
Начало февраля 1826 г.  
Из Михайловского в Петербург.*

## 91

{...} Живи, душа моя, надеждами дальними и высокими, трудись для просвещенных внуков; надежды же близкие, земные оставь на старания друзей твоих и доброй матери твоей. Они очень исполнимы, но еще не теперь. Дождись коронации, тогда можно будет просить царя, тогда можно от него ждать для тебя новой жизни. Дай бог только, чтоб она полезна была для твоей поэзии. Прощай, обнимаю тебя.

*А. А. Дельвиг — Пушкину. 7 апреля 1826 г.  
Из Петербурга в Михайловское*

## 92

Не сердись на меня, что я к тебе так долго не писал, что так долго не отвечал на два последние письма твои. Я болен и ленив писать. А дельного отвечать тебе нечего. Что могу тебе сказать насчет твоего желания

покинуть деревню? В теперешних обстоятельствах нет никакой возможности ничего сделать в твою пользу. Всего благоразумнее для тебя остаться покойно в деревне, не напоминать о себе и писать, *но писать для славы*. Дай пройти несчастному этому времени. Я никак не умею изъяснить, для чего ты написал ко мне последнее письмо свое. Если оно *только ко мне*, то оно странно. Если ж для того, чтобы его *показать*, то безрассудно. Ты ни в чем не замешан — это правда. Но в бумагах каждого из действовавших находятся стихи твои. Это худой способ подружиться с правительством. Ты знаешь, как я люблю твою музу и как дорожу твоею *благоприобретенною* славой: ибо умею уважать Поэзию и знаю, что ты рожден быть великим поэтом и мог бы быть честью и драгоценностию России. Но я ненавижу все, что ты написал возмутительного для порядка и нравственности. Наши отроки (то есть все зреющее поколение), при плохом воспитании, которое не дает им никакой подпоры для жизни, познакомились с твоими буйными, одетыми прелестью поэзии мыслями; ты уже многим нанес вред неисцелимый. Это должно заставить тебя трепетать. Талант ничто. Главное: величие нравственное. — Извини эти строки из катехизиса. Я люблю и тебя и твою музу и желаю, чтобы Россия вас любила. Кончу началом: не просись в Петербург. Еще не время. Пиши «Годунова» и подобное: они отворят дверь свободы.

Я болен. Еду в Карлсбад; возвращусь не прежде, как в половине сентября. Пришли к этому времени то, что сделано будет твоим добрым Гением. То, что напраказит твой злой Гений, оставь у себя: я ему не поклонник. Прости. Обнимаю тебя.

. В. А. Жуковский — Пушкину. 12 апреля 1826 г.  
Из Петербурга в Михайловское.

Что касается до поэмы г. Пушкина *Цыгань*, то рукопись оной была составлена следующим образом: служащий в Департаменте Народного Просвещения родной брат Пушкина, при свидании с ним, читал сию

поэму, выучил оную наизусть; потом, по возвращении в С.-Петербург, написал ее с памяти и отдал книгопродавцу Слёнину для напечатания, а сей отослал уже оную к автору для поправки стихов и смысла, но рукопись обратно еще не получена. Относительно трагедии *Борис Годунов* известно, что Пушкин писал к Жуковскому, что она не прежде им выдана будет в свет, как по снятии с него запрещения выезжать в столицу. Г. Плетнев особенных связей с Пушкиным не имеет, а знаком с ним как литератор. Входя в бедное положение Пушкина, он по просьбе его отдает по комиссии на продажу напечатанные его сочинения, и вырученные деньги или купленные на них книги и вещи пересылает ему.

*П. В. Голенщев-Кутузов — И. И. Дибичу.  
16 апреля 1826. Петербург*

## 94

Милый мой Вяземский, ты молчишь, и я молчу; и хорошо делаем — потолкуем когда-нибудь на досуге. Покамест дело не о том. Письмо это тебе вручит очень милая и добрая девушка, которую один из твоих друзей неосторожно обрюхатил. Полагаюсь на твое человеколюбие и дружбу. Приюти ее в Москве и дай ей денег, сколько ей понадобится, а потом отправь в Болдино (в мою вотчину, где водятся курицы, петухи и медведи). Ты видишь, что тут есть о чем написать целое послание во вкусе Жуковского о *поне*; но потомству не нужно знать о наших человеколюбивых подвигах.

При сем с отеческою нежностью прошу тебя позаботиться о будущем малютке, если то будет мальчик. Отсылать его в Воспитательный дом мне не хочется, а нельзя ли его покамест отдать в какую-нибудь деревню — хоть в Остафьево. Милый мой, мне совестно ей-богу... но тут уж не до совести. Прощай, мой ангел, болен ли ты или нет; мы все больны — кто чем. Отвечай же подробно.

*Пушкин — П. А. Вяземскому. Конец апреля —  
начало мая 1826 г.  
Из Михайловского в Москву.*

## 95

Сейчас получил я твое письмо, но живой чреватой грамоты твоей не видал, а доставлено мне оно твоим человеком. Твоя грамота едет завтра с отцом своим и семейством в Болдино, куда назначен он твоим отцом управляющим. Какой же способ остановить дочь здесь и для какой пользы? Без ведома отца ее сделать этого нельзя, а с ведома его лучше же ей быть при семействе своем. Мой совет: написать тебе полулюбовное, полураскаятельное, полупомещичье письмо блудному твоему тестю, во всем ему признаться, поручить ему судьбу дочери и грядущего творения, но поручить на его ответственность, напомнив, что некогда, волею божиею, ты будешь его барином и тогда сочтешься с ним в хорошем или худом исполнении твоего поручения. Другого средства не вижу, как уладить это по совести, благоразумию и к общей выгоде. Я рад был бы быть восприемником и незаконного твоего «Бахчисарайского фонтана», на страх завести новую классико-романтическую распрю хотя с Сергеем Львовичем или с певцом Буянова, но оно не исполнительно и не удовлетворительно. Другого делать, кажется, нечего, как то, что я сказал, а во всяком случае мне остановить девушки (*ou peu s'en faut* \*) нет возможности...(...)

*П. А. Вяземский — Пушкину. 10 мая 1826 г.  
Из Москвы в Михайловское.*

## 96

Все чрезвычайно удивлены, что знаменитый Пушкин, который всегда был известен своим образом мыслей, не привлечен к делу заговорщиков.

*Сообщение петербургского агента  
III Отделения И. Локателли. Июнь 1826.*

\* или почти что (фр.).



## 97

⟨...⟩Читая в журналах статьи о смерти Карамзина, бешусь. Как они холодны, глупы и низки. Неужто ни одна русская душа не принесет достойной дани его памяти? Отечество вправе от тебя того требовать. Напиши нам его жизнь, это будет 13-й том «Русской истории»; Карамзин принадлежит истории. Но скажи всё; для этого должно тебе будет иногда употребить то красноречие, которое определяет Гальяни в письме о цензуре. — Я писал тебе в Петербург, еще не зная о смерти Карамзина. Получил ли ты это письмо? отпиши. Твой совет кажется мне хорош — я уже писал царю, тотчас по окончании следствия, заключая прощение точно твоими словами. Жду ответа, но плохо надеюсь. Бунт и революция мне никогда не нравились, это правда; но я был в связи почти со всеми и в переписке со многими из заговорщиков. Все возмутительные рукописи ходили под моим именем, как все похабные ходят под именем Баркова. Если б я был потребован комиссией, то я бы, конечно, оправдался, но меня оставили в покое, и, кажется, это не к добру. Впрочем, чёрт знает. Прощай, пиши.⟨...⟩

*Пушкин — П. А. Вяземскому. 10 июля 1826 г.  
Из Михайловского в Петербург.*

## 98

13 июля 1826 года в полдень государь находился в Царском Селе. Он стоял над прудом, что за Кагульским памятником, и бросал платок в воду, заставляя собаку свою выносить его на берег. В эту минуту слуга прибежал сказать ему что-то на ухо. Царь бросил и собаку и платок и побежал во дворец. Собака, выплыв на берег и не нашед его, оставила платок и побежала за ним. Фр... подняла платок в память исторического дня.

*А. С. Пушкин. Дневник. 1834.*

99

*Июль*

Услышал о смерти Ризнич. 25.

Услышал о смерти Р., П., М., К., Б., 24.

*А. С. Пушкин. Дневник. 1826.*

100

Всемилоостивейший государь!

В 1824 году, имев несчастье заслужить гнев покойного императора легкомысленным суждением касательно афеизма, изложенным в одном письме, я был выключен из службы и сослан в деревню, где и нахожусь под надзором губернского начальства.

Ныне с надеждой на великодушие Вашего императорского величества, с истинным раскаянием и с твердым намерением не противуречить моими мнениями общепринятому порядку (в чем и готов обязаться подпискою и честным словом) решился я прибегнуть к Вашему императорскому величеству со всеподданнейшею моею просьбою.

Здоровье мое, расстроенное в первой молодости, и род аневризма давно уже требуют постоянного лечения, в чем и представляю свидетельство медиков: осмеливаюсь всеподданнейше просить позволения ехать для сего или в Москву, или в Петербург, или в чужие края.

Всемилоостивейший государь,

Вашего императорского величества  
верноподданный Александр Пушкин.

*На отдельном листе:*

Я нижеподписавшийся обязуюсь впредь ни к каким тайным обществам, под каким бы они именем ни существовали, не принадлежать; свидетельствую при сем, что я ни к какому тайному обществу таковому не принадлежал и не принадлежу и никогда не знал о них.

10-го класса Александр Пушкин.

*Пушкин — Николаю I.**11 мая — первая половина июня 1826 г.**Из Михайловского в Петербург.*

## 101

По предложению его превосходительства, господина Псковского гражданского губернатора и кавалера за № 5497, свидетельствован был во Псковской врачебной управе г. коллежский секретарь Александр Сергеев сын Пушкин. При сем оказалось, что он действительно имеет на нижних оконечностях, а в особенности на правой голени, повсеместное расширение кровезовратных жил (*Varicositas totius scutis dextri*); от чего г. коллежский секретарь Пушкин затруднен в движении вообще. Во удостоверение сего и дано сие свидетельство из Псковской врачебной управы за надлежащим подписом и с приложением ее печати.

*Июля 19-го дня 1826 года.*

*Инспектор врачебной управы В. Всеволодов.*

## 102

Милостивый Государь мой,  
граф Карл Васильевич!

Выключенный из службы коллежский секретарь Александр Пушкин, высланный по распоряжению г. Новороссийского генерал-губернатора из Одессы в Псковскую губернию и о повержении коего надзору псковского губернского начальства ваше сиятельство сообщить мне изволили в отношении от 12 июля прошлого 1824 г. высочайшую волю блаженной памяти Государя императора Александра Павловича, поданным ныне к Псковскому гражданскому губернатору на высочайшее имя прошением, при коем представил свидетельство псковской врачебной управы о болезненном состоянии и подписку о непринадлежности его к тайным обществам, просит дозволения ехать в Москву или С.-Петербург или же в чужие края для излечения болезни.

Усматривая из представленных ко мне ведомостей о состоящих под надзором полиции, проживающих во вверенных главному управлению моему губерниях,

что упомянутый Пушкин ведет себя хорошо, я побуждаюсь в уважение приносимого им раскаяния и обязательства никогда не противоречить своими мнениями общепринятому порядку, препроводить при сем означенное прошение с приложением к В. сиятельству, полагая мнением не позволять Пушкину выезда за границу и покорнейше вас, милостивый государь мой, прося повергнуть оное на всемилостивейшее Его Императорского Величества воззрение и о последующем почтить меня уведомлением вашим.

*Ф. О. Паулуччи — К. В. Нессельроде*  
30 июля 1826. Из Риги в Петербург.

### 103

Командиру резервного кавалерийского корпуса  
генерал-лейтенанту графу Витту

Коллегии иностранных дел  
от коллежского советника  
Бошняка

#### Рапорт.

Вследствие словесного приказания вашего сиятельства, отъехав Псковской губернии в город Новоржев для порученного исследования текущего года июля 19-го дня, окончил я оное того же месяца 24-го числа вечером, почему и отправил ожидавшего меня на станции Бежаницах фельдъегеря Блинкова 25-го числа, в 8 часов утра, обратно в С.-Петербург. Что ж найдено мною прямо касающегося до известного предмета, равно как и до других, довольно важных обстоятельств, изъяснено в двух прилагаемых при сем записках под литерами А и В. Равным образом честь имею при сем представить для препровождения куда следует выданный под мою расписку из Канцелярии Дежурства его императорского величества и оставшийся без употребления открытый лист за № 1273 на имя фельдъегеря Блинкова, а также и отчет в издержанных на прогоны деньгах из числа выданных из той же Канцелярии на оные 300 рублей, оставшиеся от которых 51 р. 70 к. при сем же прилагаются.

*Москва, августа 1-го 1826.*

## ЗАПИСКА О ПУШКИНЕ

Целью моего отправления в Псковскую губернию было сколь возможно тайное и обстоятельное исследование поведения известного стихотворца Пушкина, подозреваемого в поступках, клонящихся к возбуждению к вольности крестьян, и в арестовании его и отправлении, куда следует, буде бы он оказался действительно виновным.

Следуя через Порхов на Ново-Ржев, первые сведения о Пушкине получил я на станции Ашеве. Знали, что Пушкин жил в некотором расстоянии от Ново-Ржева, но совсем никаких слухов об нем не было, и потому заключали, что он вел себя весьма скромно.

По прибытии в Ново-Ржев [распустя слух, что я путешествующий ботаник], я успел вскоре привлечь доверенность хозяина гостиницы, в которой я остановился, Дмитрия Степанова Катосова. От него я узнал о Пушкине следующее:

1-ое. Что на ярмонке Святогорского Успенского монастыря Пушкин был в рубашке, подпоясан розовою лентою, в соломенной широкополой шляпе и с железною тростью в руке.

2-ое. Что, во всяком случае, он скромен и осторожен, о правительстве не говорит, и вообще никаких слухов об нем по народу не ходит.

3-ие. Что отнюдь не слышно, чтобы он сочинял или пел какие-либо возмутительные песни, а еще менее — возбуждал крестьян.

Стремясь к дальнейшим открытиям, я решился искать знакомств в Ново-Ржеве.

Успевши познакомиться с уездным судьей Толстым, [которого удалось мне также уверить, что я ученый ботаник, намеренный провести несколько дней в Ново-Ржеве и в окрестностях оною, я возбудил его откровенность], о Пушкине я узнал как от него, так и от бывшего у Толстого в гостях смотрителя по винной части Трояновского, что Пушкин живет весьма скромно, ни в возбуждении крестьян, ни в каких-либо поступках, ко вреду правительства устремленных, не подозревается.

Познакомясь в гостинице с уездным заседателем Чихачевым, я услышал от него, что он, Чихачев, с

Пушкиным сам лично знаком, что Пушкин ведет себя весьма скромно и говаривал не раз: «Я пишу всякие пустяки, что в голову придет, а в дело ни в какое не мешаюсь. Пусть кто виноват, тот и пропадает; я же сам никогда на галерах не буду».

За обедом у Толстого, к которому и я был приглашен, находился близкий Пушкина сосед, г. Львов, бывший сряду два последние трехлетия Псковским губернским предводителем,—человек богатый и отменно здравым рассудком одаренный. Львов, исполненный, как казалось, истинного негодования противу злонамеренных, конечно, не скрывал своих замечаний о Пушкине. Он говорил:

1-ое. Что известные по сочинениям мнения Пушкина, яд, оными разлитый, ясно доказывают, сколько сей человек, при удобном случае, мог бы быть опасен; что мнения его такого рода, что, отравив единожды сердце, никогда уже измениться не могут.

2-ое. Что, впрочем, поступки Пушкина отнюдь с прежними писаниями его не согласны; что он, Львов, хотя и весьма близкий ему сосед, но ничего предосудительного о нем не слышит; что Пушкин живет очень смиренно, и что совершенно несправедливо, чтоб он старался возбуждать народ.

Поелику все сии известия были неудовлетворительны, я решился ехать к отставному генерал-майору Павлу Сергеевичу Пушину, от которого вышли все слухи о Пушкине, сделавшиеся причиною моего отправления. [Название путешествующего ботаника и ложный поклон будто бы от графа Ланжерона, которого я никогда не видал, открыли мне путь]. Мне посчастливилось открыть себе путь к знакомству с ним, с женою и сестрою его. Пробыв в селе его Жадрицах целый день, в общих разговорах узнал я:

1-ое. Что иногда видали Пушкина в русской рубашке и в широкополой соломенной шляпе.

2-ое. Что Пушкин дружески обходился с крестьянами и брал за руку знакомых, здороваясь с ними.

3-ие. Что иногда ездит верхом и, достигнув цели своего путешествия, приказывает человеку своему отпустить лошадь одну, говоря, что всякое животное имеет право на свободу.

4-ое. Думали, что Пушкин продолжает писать, но никаких новых стихов его или песен ни в простом народе, ниже в дворянстве известно не было.

5-ое. Пушкин ни с кем не знаком и ни к кому не ездит, кроме одной госпожи Осиповой, своей родственницы; чаще же всего бывает в Святогорском монастыре.

6-ое. Впрочем, полагали, что Пушкин ведет себя несравненно осторожнее противу прежнего; что он говорун, часто взводящий на себя небылицу, что нельзя предполагать, чтобы он имел действительные противу правительства намерения, в доказательство чего и основывались на непричастности его к заговору, которого некоторые члены состояли с ним в тесной связи; что он столь болтлив, что никакая злонамеренная шайка не решится его себе присвоить; наконец, что он человек, желающий отличить себя странностями, но вовсе не способный к основанному на расчете ходу действий.

Видя, что все собранные в доме Пушковых сведения основываемы были, большею частью, не на личном свидетельстве, а на рассказах, столь обыкновенных в деревнях и уездных городках, я решился искать истины при самом источнике, то есть в Святогорском монастыре [отстоящем в 3 1/2 верстах от местопребывания Пушкина и столь часто им посещаемом].

По прибытии на ночь в монастырскую слободу [при Святогорском Успенском монастыре состоящую], я остановился у богатейшего в оной крестьянина — Ивана Никитина Столарева. На расспросы мои о Пушкине Столарев сказал мне следующее:

1-ое. Что Пушкин живет в 3 1/2 в. от монастыря, в селе Зуеве, где, кроме церкви и господского строения, нет ни церковно-служительских, ни крестьянских домов.

2-ое. Что Пушкин обыкновенно приходит в монастырь по воскресеньям.

3-ие. Что ему всегда случалось видать его в скюртуке и иногда, в жары, без косынки.

4-ое. Что Пушкин — отлично добрый господин, который [давал на водку] награждает деньгами за услуги даже собственных своих людей; ведет себя весьма просто и никого не обижает.

24-го, в субботу, рано по утру, отправился я в Святогорский Успенский монастырь к игумену Ионе и, обратя внимание его щедротами на пользу монастырскую, провел я у него целое утро [в молитве, осматривании строений и разговорах]. От него о Пушкине я узнал следующее:

1-ое. Пушкин иногда приходит в гости к игумену Ионе, пьет с ним наливку и занимается разговорами.

2-ое. Кроме Святогорского монастыря и госпожи Осиповой, своей родственницы, он нигде не бывает, но иногда ездит и в Псков.

3-ие. Обыкновенно ходит он в сюртуке, но на ярмонках монастырских иногда показывался в русской рубашке и в соломенной шляпе.

4-ое. Никаких песен он не поет и никакой песни им в народ не выпущено.

5-ое. На вопрос мой — «не возмущает ли Пушкин крестьян», игумен Иона отвечал: «он ни во что не мешается и живет, как красная девка».

По возвращении на квартиру и расплатясь с хозяином [щедрою рукою], я узнал от него еще, в подтверждение слышанного, что Пушкин ни у кого не бывает, кроме родственницы своей, г-жи Осиповой, не посещает [никогда] окружных деревень и заходит только в их монастырь; ни с кем не знается и ведет жизнь весьма [скромную] уединенную. Слышно о нем только от людей его, которые не могут нахвалиться своим баринном.

Не находя более никаких средств к дальнейшим разведываниям, в 2 часа пополудни отправился я обратно в Ново-Ржев. Проезжая через удельную деревню Губину, соседственную с селом Пушкина, я нашел в оной, по причине рабочей поры, только одного крестьянина, который подтвердил мне, «что Пушкин нигде в окружных деревнях не бывает, что он живет весьма уединенно, и Губинским крестьянам, ближайшим его соседям, едва известен». Таким образом удостоверюсь, что Пушкин не действует решительно к возмущению крестьян, что особого на них впечатления не произвел, что увлекается, может быть, только случайно к неосторожным поступкам и словам порывами неукротимых мнений, а еще более — желанием обратить на себя внимание странностями, что



действительно не может быть почтен,—по крайней мере, поныне,—распространителем вредных в народе слухов, а еще менее — возмутителем,—я, согласно с данными мне повелениями, и не приступил к арестованию его и, возвратясь на станцию Бежаница, где оставлял прибывшего со мною фельдъегеря, отпустил его, как более не нужного, обратно в С.-Петербург.

## 104

Главный штаб его императорского величества.

По канцелярии дежурного генерала.

В Москве.

31-го Августа 1826.

№ 1432.

Копия

*Секретно.*

Господину Псковскому гражданскому губернатору.

По высочайшему государя императора повелению, последовавшему по всеподданнейшей просьбе, прошу покорнейше ваше превосходительство: находящемуся во вверенной вам губернии чиновнику 10-го класса Александру Пушкину позволить отправиться сюда при посылаемом вместе с сим нарочным фельдъегерем. Г. Пушкин может ехать в своем экипаже свободно, не в виде арестанта, но в сопровождении только фельдъегеря; по прибытии же в Москву имеет явиться прямо к дежурному генералу Главного штаба его величества.

[Подписал:] Начальник Главного штаба *Дибич*  
Верно: Гражданской губернатор *Б. фон-Адеркас*

## 105

Милостивый государь мой Александр Сергеевич!

Сей час получил я прямо из Москвы с нарочным фельдъегерем высочайшее разрешение по всеподдан-

нейшему прошению вашему,— с коего копию при сем прилагаю.— Я не отправляю к вам фельдъегеря, который остается здесь до прибытия вашего, прошу вас поспешить приехать сюда и прибыть ко мне.

С совершенным почтением и преданностию пребыть честь имею:

Милостивого государя моего

покорнейший слуга  
Борис фон-Адеркас.

Б. А. фон-Адеркас — Пушкину.  
3 сентября 1826 г. Псков.

## 106

*Секретно*

### Рапорт

(...)Имею честь вашему сиятельству почтительнейше донести, что проживавший в Псковской губернии, известный вашему сиятельству 10-го класса Пушкин, по явке ко мне сего сентября 5-го числа,— того же числа во исполнение высочайшего государя императора повеления, с нарочно-присланным ко мне от г. начальника главного штаба его императорского величества барона Дибича фельдъегерем отправлен при донесении моем к его превосходительству в Москву.

Б. Адеркас — Ф. Пауллуччи. 7 сентября 1826.

## 107

### XLVI

Дай оглянись. Простите ж, сени,  
Где дни мои текли в глуши,  
Исполнены страстей и лени  
И снов задумчивой души.  
А ты, младое вдохновенье,  
Волнуй мое воображенье,  
Дремоту сердца оживляй,  
В мой угол чаще прилетай,  
Не дай остыть душе поэта,

Ожесточиться, очерстветь  
И наконец окаменеть  
В мертвящем упоенье света,  
В сем омуте, где с вами я  
Купаюсь, милые друзья!

*«Евгений Онегин». Глава 6.*

## 108

## XXXIII

О, где б судьба ни назначала  
Мне безыменный уголок,  
Где б ни был я, куда б ни мчала  
Она смиренный мой челнок,  
Где поздний мир мне б ни сулила,  
Где б ни ждала меня могила,  
Везде, везде в душе моей  
Благословлю моих друзей.  
Нет, нет! нигде не позабуду  
Их милых, ласковых речей;  
Вдали, один, среди людей  
Вообразать я вечно буду  
Вас, тени прибережных ив,  
Вас, мир и сон тригорских нив.

## XXXIV

И берег Сороти отлогий,  
И полосатые холмы,  
И в роще скрытые дороги,  
И дом, где пировали мы,—  
Приют, сияньем муз одетый,  
Младым Языковым воспетый,  
Когда из капища наук  
Являлся он в наш сельский круг  
И нимфу Сороти прославил,  
И огласил поля кругом  
Очаровательным стихом;  
Но там и я свой след оставил,  
Там, ветру в дар, на темну ель  
Повесил звонкую свирель.

*Путешествие Онегина.  
Из ранних редакций.*

## 109

\* \* \*

...Вновь я посетил  
 Тот уголок земли, где я провел  
 Изгнанником два года незаметных.  
 Уж десять лет ушло с тех пор—и много  
 Переменилось в жизни для меня,  
 И сам, покорный общему закону,  
 Переменился я—но здесь опять  
 Минувшее меня объемлет живо,  
 И, кажется, вечер еще бродил  
 Я в этих рощах.

Вот опальный домик,  
 Где жил я с бедной нянею моею.  
 Уже старушки нет—уж за стеною  
 Не слышу я шагов ее тяжелых,  
 Ни кропотливого ее дозора.

Вот холм лесистый, над которым часто  
 Я сиживал недвижим—и глядел  
 На озеро, вспоминая с грустью  
 Иные берега, иные волны...  
 Меж нив золотых и пажитей зеленых  
 Оно, синяя, стелется широко;  
 Через его неведомые воды  
 Плывет рыбак и тянет за собою  
 Убогий невод. По берегам отлогим  
 Рассеяны деревни—там за ними  
 Скривилась мельница, насилу крылья  
 Ворочая при ветре...

На границе  
 Владений дедовских, на месте том,  
 Где в гору подымается дорога,  
 Изрытая дождями, три сосны  
 Стоят—одна поодаль, две другие  
 Друг к дружке близко,—здесь, когда их мимо  
 Я проезжал верхом при свете лунном,  
 Знакомым шумом шорох их вершин  
 Меня приветствовал. По той дороге  
 Теперь поехал я и пред собою  
 Увидел их опять. Они всё те же,

Всё тот же их знакомый уху шорох —  
Но около корней их устарелых  
(Где некогда всё было пусто, голо)  
Теперь младая роща разрослась,  
Зеленая семья, кусты теснятся  
Под сенью их как дети. А вдали  
Стоит один угрюмый их товарищ,  
Как старый холостяк, и вокруг него  
По-прежнему все пусто.

Здравствуй, племя  
Младое, незнакомое! не я  
Увижу твой могучий поздний возраст,  
Когда перерастешь моих знакомцев  
И старую главу их заслонишь  
От глаз прохожего. Но пусть мой внук  
Услышит ваш приветный шум, когда,  
С приятельской беседы возвращаясь,  
Веселых и приятных мыслей полон,  
Пройдет он мимо вас во мраке ночи  
И обо мне вспомнит.

1835

А. С. Пушкин

*ИЗ РАННИХ РЕДАКЦИЙ*

*После 15-й строки:  
Первый вариант*

И вечером при завыванье бури  
Ее рассказов, мною затверженных  
От малых лет — но всё приятных сердцу,  
Как шум привычный и однообразный  
Любимого ручья. Вот уголок,  
Где для меня безмолвно протекали  
Часы печальных дум иль снов отрадных,  
Часы трудов, свободно-вдохновенных.  
Здесь, погруженный в.....  
Я размышлял о грустных заблужденьях,  
Об испытаньях юности моей,  
О строгом заслуженном осужденье,  
О мнимой дружбе, сердце уязвившей  
Мне горькою и ветреной обидой.

*Второй вариант*

Не буду вечером под шумом бури  
Внимать ее рассказам, затверженным  
С издетства мной — но всё приятным сердцу,  
Как песни давние или страницы  
Любимой старой книги, в коих знаем,  
Какое слово где стоит.

Бывало,  
Ее простые речи и советы  
И полные любви укоризны  
Усталое мне сердце ободряли  
Отрадой тихой...

*Окончание стихотворения*

В разны годы  
Под вашу сень, Михайловские рощи,  
Являлся я, когда вы в первый раз  
Увидели меня, тогда я был —  
Веселым юношей, беспечно, жадно  
Я приступал лишь только к жизни; — годы  
Промчались, и вы во мне прияли  
Усталого пришельца; я еще  
Был молод, но уже судьба и страсти  
Меня борьбой неравной истомили.  
Я зрел врага в бесстрастном судии,  
Изменника — в товарище, пожавшем  
Мне руку на пиру, — всяк предо мной  
Казался мне изменник или враг.  
Утрачена в бесплодных испытаньях  
Была моя неопытная младость,  
И бурные кипели в сердце чувства  
И ненависть и грезы мести бледной.  
Но здесь меня таинственным щитом  
Святое провиденье осенило,  
Поэзия, как ангел утешитель,  
Спасла меня, и я воскрес душой.

### СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- Акад.—А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений. Т. I—XVII. М.—Л., 1937—1959.
- Восп.—А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. I—II. М., 1974.
- ВПК—Временник Пушкинской комиссии. 1962—1981 (1—20). М.—Л., 1963—1986.
- Вр.—Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. 1—6. М.—Л., 1936—1941.
- ЕО—«Евгений Онегин».
- Зелинский—Зелинский В. Русская критическая литература о произведениях А. С. Пушкина. Ч. 1—4. Изд. 3-е. М., 1903—1907.
- Летопись—Цявловский М. А. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. М., 1951.
- ЛН—Литературное наследство.
- П—А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в 10 томах. Изд. 4-е. Л., 1977—1979.
- Переписка—Переписка А. С. Пушкина. В двух томах. М., 1982.
- ПИМ—Пушкин. Исследования и материалы. Т. I—XII. М.—Л., 1956—1986.
- П. и С.—Пушкин и его современники. Материалы и исследования. Вып. I—XXXIX. СПб; Л., 1903—1930.
- Под тайным надзором—Модзалевский Б. Л. Пушкин под тайным надзором. Л., 1925.
- РП—Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты. М.—Л., 1935.
- РС—«Русская старина».
- Цявловский. Книга...—Цявловский М. А. Книга воспоминаний о Пушкине. М., 1931.

---



## ПРИМЕЧАНИЯ

### Глава I

#### ЛИТЕРАТУРА

Веселовский С. Б. Исследования по истории класса служилых землевладельцев. М., 1969. Раздел «Род и предки Пушкина в истории».

Волович Н. М. Пушкинские места Москвы и Подмосковья. М., 1979 (изд. 2-е—1986). Гл. «Годы детства».

Романюк С. К. Пушкины в Москве в конце XVII—начале XIX вв. (По новым документальным данным).—ВПК, 1979.

Леец Г. А. П. Ганнибал. Биографическое исследование. Таллин, 1980.

Романюк С. К. О семье Пушкиных в Москве в 1801—1803 гг.—ВПК, 1981.

Телетова Н. К. Забытые родственные связи А. С. Пушкина. Л., 1981.

Эйдельман Н. Я. Пушкин. История и современность в художественном сознании поэта. М., 1984. Гл. I, X.

Фейнберг И. Л. Читая тетради Пушкина. М., 1985. Раздел «Автобиографические записки Пушкина»; «Арап Петра Великого».

1. II, VIII, с. 54. Намереваясь возобновить работу над сожженными автобиографическими записками, П. не раз принимался за их предварительный конспект. Дата приводимой записи предположительна. *Вонт (?)* и *Mr. Martin*—лица неустановленные; *Иван Абрамович*—Ганнибал, брат отца Н. О. Пушкиной, доброжелательно относившийся к племяннице и ее мужу; *Екатерина II* умерла



6 ноября 1796 г.; *Ольга* (сестра П.) родилась 20 декабря 1797 г.; о службе отца см. очерк.

2. Летопись, с. 3. Абсолютной уверенности, что Пушкин родился на Немецкой ул. (ныне ул. Баумана, 40) в доме И. В. Скворцова, нет. Важными документами обосновывается версия С. К. Романюка, указывающего другой адрес: Малая Почтовая ул., д. 4 (также в доме И. В. Скворцова). См. «Литературу», а также: «Московская правда», 14 сент. 1980.

3. П, VII, с. 41—42. Французская цитата — из басни Лафонтена «Старик и трое молодых».

4. П, VII, с. 44.

5. П, VIII, с. 55—59. Рукопись первой главы (по существу, пролога) большой по замыслу автобиографической работы не датирована автором. Исследователи относят ее к последнему пребыванию в Болдине (1834). Название также дано пушкинистами, а не П. Ряд фактических сведений, сообщаемых П., как выяснено историками, неточен. «Начало...» — отражает представления П. о своем роде, но не безукоризненно точную историю рода. Примеры: *Радша* не прусского, а славянского (сербского) происхождения. *Григорий Гаврилович* — Гаврила Григорьевич, по прозвищу Слепой, сторонник Лжедмитрия; *четверо Пушкиных подписались...* — на самом деле семеро; *расправа с французом* — на самом деле речь идет о «непорядочных побоях» находившегося на службе у Л. А. Пушкина «венецианина»; А. П. Ганнибал был послан, разумеется, не *измерить Китайскую стену*, а на границу с Китаем для фортификационных работ; О. А. Ганнибал умер не в 1807 г., а 12 окт. 1806 г. и т. д. В собраниях сочинений П. сохранены также некоторые орфографические особенности текста (например, П. пишет: *Ганнибал*). Подробный анализ текста в сопоставлении с последующими возражениями С. Л. Пушкина (№ 6) см. в книге Н. Я. Эйдельмана, названной в «Литературе».

6. Н. Я. Эйдельман. Пушкин. История и современность в художественном сознании поэта, с. 12—15. Текст, называемый теперь «Начало автобиографии», был впервые напечатан в «Сыне отечества», 1840, т. II, кн. 3, апрель, с. 463—469. Там прочел его С. Л. Пушкин и напечатал свои возражения («Современник», 1840, т. XIX, с. 102—106). Текст письма С. Л. Пушкина выверен по рукописи и опубликован Н. Я. Эйдельманом. Верно отмечая некоторые неточности, С. Л. все же основную цель видел в защите «семейного мундира». «Виновный», которого С. Л. подозревает в сообщении поэту неверных сведений, быть может, дядюшка Василий Львович. Подробный комментарий см. в указанном источнике.

7. Цявловский. Книга..., 374—379. Биография П., на которую возражает в «Отечественных записках» (1841, т. XV) отец поэта, помещена в «Портретной и биографической галерее словесности, художеств и искусств в России». I. СПб., 1841. Вероятный автор биографии—О.И.Сенковский. Публикатор воспоминаний С.Л.Пушкина в наше время М.А.Цявловский считал, что С.Л., «обиженный тем, что умалили знатность рода его жены и размеры состояния его отца, больше занят опровержением этих сведений, чем сообщением о своем сыне. К нему С.Л.Пушкин не только никогда не питал нежных чувств, но подолгу относился резко враждебно, считая, что поэт своим поведением компрометирует его». Такая оценка представляется односторонней. См. очерк.

8. П, П, с. 205. Вероятно, в стихотворении отразились первые замыслы произведения о предках П.—романа «Царский арап» («Арап Петра Великого»).

9. П, V, с. 430—431. Примечание П., помещенное в 1-м издании 1-й гл. «Евгения Онегина» и относящееся к строке «Под небом Африки моей» (строфа L), было одним из первых свидетельств интереса правнука к прадеду. Написанное за 10 лет до «Начала автобиографии», оно содержит ряд неточностей в изложении биографии А.П.Ганнибала.

10. П, VII, с. 126. Почти официальная газета—«Северная пчела», 1830, №94. Подробнее см. гл. XI. Приводимый фрагмент во многом близок «Моей родословной» (№11). Голиков И.И.—историк. О биографии А.П.Ганнибала, помимо книг Эйдельмана, Фейнберга, Лееца, см. также: Телетова Н.К. К немецкой биографии А.П.Ганнибала.—ПИМ, т. X. 1982, с. 272—285.

11. П, III, с. 197—199. Стихотворение—не только острый контрудар Булгарину (см. гл. XI) и очередной выпад в литературной борьбе, но и истинный очерк родословной поэта, как сам он ее ощущал. «Моя родословная» тесно связана с «Началом автобиографии», примечанием к I гл. «ЕО» и всеми другими высказываниями П. о его предках. В рукописи был эпиграф из П.-Ж. Беранже: «Я простолюдин, совсем простолюдин, я простолюдин, простолюдин, простолюдин». В стихотворении ряд острых намеков: *по кресту не дворянин*—некоторые русские ордена («кресты») давали право на дворянство; *торговал блинами*—Меншиков; *ваксил царские сапоги*—гр. Кутайсов, бывший камердинер Павла I; *пел с придворными дьячками*—Разумовский; *прыгал в князя из холлов*—Безбородко; дед П. Лев Александрович—был посажен в крепость после переворота 1762 г.; *в Мещанской дворянин*—намеки на сомнительное прошлое жены Булгарина (Мещанская—район притонов).

12. П, IV, с. 247—248. В 1832 г. в «Езерском» П. продолжил автобиографическую тему упадка «старого» и возвышения «нового» дворянства, занимавшую его долгое время. «Могучих предков правнук бедный», он считал своим моральным долгом отстаивать достоинство ушедших поколений древнего рода. Несколько строф «Езерского» под заглавием «Родословная моего героя» (переключка с № 11) опубликованы были в 1836 г. в «Современнике», остальные — после смерти автора.

13. П, VIII, с. 54. Продолжение записи, приведенной в № 1. Воспоминания о московском детстве П. Юсупов сад, где гулял в детстве П., находился в Б. Харитоньевском переулке. Несильное землетрясение произошло в Москве 14 окт. 1802 г. По этой дате видно, как рано помнил себя П. *Ранняя любовь* — П. зачеркнул эти слова в рукописи. В литературе существует версия, что имелась в виду С. Н. Сушкова, которую П. знал в Москве девочкой; Лев Пушкин родился 17 апреля 1805 г.; Николай Пушкин умер в Захарове 30 июля 1807 г.; *Монфор, Русло* — французы-губернеры; *нестерпимое состояние* — точно не установлено, о каких детских печалях идет речь; *Кат. П.* — неустановленное лицо; *Ан. Ив.* — дальняя родственница, жившая в доме Пушкиных; *езуиты* — первоначально предполагалось отдать П. в иезуитский пансион; *Тургенев* — Александр Иванович.

14. П, VII, с. 32. В записке «О народном воспитании» П. стремился со всеми возможными предосторожностями высказать свои истинные взгляды на затронутую проблему. И в других случаях он неоднократно говорил о недостатках «проклятого своего воспитания».

15. П, VII, с. 187—188. Статья П. во многом связана с «Путешествием из Петербурга в Москву» Радицева. Приводимый фрагмент относится скорее всего к допожарной Москве, городу пушкинского детства.

16. П, I, с. 150—151. Фрагмент лицейского послания рассказывает о подмосковном имении М. А. Ганнибал Захарове. Вместе с тем не следует буквально принимать описанные удобства сельской жизни за помещичий уклад Пушкиных. На деле было все куда скромнее; ни «щука в скатерти», ни «мой камин» не характерны для небогатого быта Пушкиных в Захарове. Юдин П. М. — лицейский соученик П.

17. П, I, с. 168. Детское воспоминание, запечатленное в этом фрагменте, исследователи связывают то с бабушкой П. — М. А. Ганнибал, то с няней Ариной Родионовной, последнее — вернее.

18. П, I, с. 421. Первая (лицейская) редакция послания к Дельвигу — еще одно подтверждение светлых воспоминаний П. о московском детстве.

19. П, П, с. 116. И няня-сказочница, и бабушка, и сама муза, «с младенчества» летавшая к поэту,—все слилось в этом образе.

20. П, Ш, с. 190—191, 424. Недавние комментаторы не видят в этом стихотворении личных мотивов, считая, что в нем отразились мотивы Данте и даже итальянская действительность. Прежде считалось, что П. вспоминает образы московского детства, расшифровать которые не удается. Эту версию нельзя сбрасывать со счета.

21. Восп., 1, с. 43—48, 50—52. Воспоминания сестры П. О. С. Павлицевой были записаны в 1851 г. с ее слов (из-за болезни глаз она не могла писать сама)—отсюда повествование от третьего лица. Из всех мемуаров о детстве П. и о родных поэта эти наиболее достоверны.

22. Цявловский. Книга..., с. 15—19. Воспоминания двоюродного дяди поэта Александра Юрьевича Пушкина (1777—1854) написаны в 1852 г. Несмотря на ряд неточностей, это ценный мемуарный источник. Отметим неверное указание дома, где родился П. (см. № 2).

23. Восп. 1, с. 53—55. М. Н. Макаров — литератор, близкий к кругу Карамзина. Воспоминания его, написанные в начале 1840-х годов, не во всем точны, но в целом интересно и достоверно передают атмосферу жизни Пушкиных. Конечно, никто не считал еще в описываемое время юного Александра поэтом и не заставлял его читать стихи собственного сочинения; Пушкины не жили в Немецкой слободе после 1799 г., имеется и ряд других неточностей и «литературностей». Все же пушкинисты не отвергают этот мемуарный источник.

## Глава II

### ЛИТЕРАТУРА \*

Селезнев И. Исторический очерк имп. бывшего Царскосельского, ныне Александровского, лицея. СПб., 1861.

Грот Я. К. Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. СПб., 1899.

Кобеко Дм. Имп. Царскосельский лицей. Наставники и питомцы. 1811—1843. СПб., 1911.

Мануйлов В. А., Модзалевский Л. Б. «Полководец» Пушкина.— Вр., 4—5, М.—Л., 1939.

\* К главам II и III.

Глинка В. М. Пушкин и Военная галерея Зимнего дворца. Л., 1949.

Кока Г. Пушкин о полководцах двенадцатого года.—В сб. Прометей, т. 7. М., 1969.

Руденская М. П., Руденская С. Д. Они учились с Пушкиным. Л., 1976.

Руденская М. П., Руденская С. Д. Пушкинский лицей. Очерк-путеводитель. Л., 1980.

Эйдельман Н. Я. «Прекрасен наш союз». Изд. 2-е. М., 1982.

1. П., VIII, с. 55. Продолжение конспекта мемуаров (см. Гл. I, № 1, 13). *Дмитриев* Иван Иванович, *Дашков* Дмитрий Васильевич, *Блудов* Дмитрий Николаевич — друзья и литературные соратники дядюшки — В. Л. Пушкина; *Ан. Ник.* — Анна Николаевна Ворожейкина, гражданская жена В. Л. Пушкина; *Аракчеев* А. А. — печально известный основатель «военных поселений», ближайший советник Александра I; *мартинизм* — философия масонов; *М. С. Пилецкий* — надзиратель, изгнанный в 1813 г. из Лицея по требованию воспитанников; *Государыня* — императрица, жена Александра I; *гр. Кочубей* — Наталья Викторовна, предмет юношеского увлечения П.; *Чачков* В. В. — надзиратель; *Фролов* С. С. — надзиратель, а впоследствии инспектор Лицея (П. относился к нему с симпатией).

2. П. и С., вып. 3, с. 89—90.

3. Там же.

4. Там же.

5. Восп. 1, с. 73—74.

6. Памятная книжка имп. Александровского Лицея на 1856—1857 гг. СПб., 1856, с. XI.

7. Памятная книжка... на 1856—1857 гг., с. 33—39.

8. Красный архив, 1937, № 1 (80), с. 90—92.

9. Памятная книжка... на 1856—1857 гг., с. IX.

10. Летопись, с. 28, 31, 32, 33, 40, 41, 43, 44. Отзыв гувернера И. Пилецкого (брата выгнанного надзирателя) см.: Шляпкин И. А. Из неизданных бумаг А. С. Пушкина. СПб., 1903, с. 328—329.

11. Выписка из «Табели» составлена по: Грот К. Я. Пушкинский Лицей. СПб., 1911, вклейка между с. 356—357.

12. Восп., 1, с. 81—84.

13. РС, т. XXXIV, 1908, № 3.

14. Там же.

15. Там же.

16. Там же.

17. П, III, с. 301—302. Контекст см. Очерк, Литература и №18. В первых строках описывается портретная галерея героев 1812 года в Зимнем дворце. «Полководец» восстанавливает справедливость и поправляет В.А.Жуковского, вовсе не упомянувшего Барклай в знаменитом стихотворении «Певец во стане русских воинов».

18. П, VII, с. 331—333. «Полководец» был помещен в 1836 г. в III томе «Современника»; вскоре появилась брошюра Л.Голенищева-Кутузова «Критическая заметка на стихотворение Пушкина «Полководец». Автор упрекал П. в принижении роли М.И.Кутузова: «Поэт полагает, что генерал Барклай де Толли уступил лавровый венок князю Голенищеву-Кутузову {...} сожаления достойно, что поэт позволил себе такой совершенно неприличный вымысел». Ответом П. было «Объяснение», помещенное в IV томе «Современника» и завершающееся строфами стихотворения П., посвященного Кутузову («Перед гробницею святой», 1831).

19. П, I, с. 9. Первое стихотворение, открывающее собрания сочинений П. Обращено к крепостной актрисе.

20. Грот Я.К.Пушкин..., с. 304.

21. Бюллетени рукописного отдела Пушкинского дома, 1956, вып. 6, с. 31; Памятная книжка... на 1856—1857 гг., с. XIII—XIV; Летопись, с. 69.

22. Летопись, с. 68.

23. П, I, с. 24—26. Первое напечатанное (за подписью Н.к.ш.п.) стихотворение П. и первое подробное изложение его взглядов на поэзию, во многом сохранившихся навсегда. Обращена к Кюхельбекеру. *Рифматов*, *Графов* — слабые стихотворцы Шихматов и Шишков; *Бибрус* — поэт С.С.Бобров; *Глазунов* — книгопродавец; *Руссо* Ж.-Б. — французский поэт XVII—XVIII вв. (не имеет отношения к великому философу).

24. Летопись, с. 56—57. В апреле 1814 г. Дельвиг (скорее всего, без ведома автора) послал «К другу стихотворцу» в журнал «Вестник Европы». Вскоре появилось печатаемое объявление.

25. П, I, с. 37—40. Описание лицейской жизни: П. нередко сравнивал Лицей с монастырем, а себя с монахом.

26. П, I, с. 48.

27. П, I, с. 56. Поэма в стиле русских сказок не была завершена. П. в какой-то степени подражал А.Н.Радищеву («Бова») и Н.М.Карамзину («Илья Муромец»), но вместе с тем и Вольтеру («Орлеанская девственница»). *С болтуном страны Эллинския* — с Гомером; *Рифматов* — Шихматов; *Шапелен* (Шаплен), Жан (XVI—XVII вв.) — французский поэт, писатель и теоретик литературы; *Клопшток* Ф.-Г. (XVIII в.) — немецкий поэт.

28. П, I, с. 80. Блестящее знание французского языка с детства позволяло П. писать французские стихи еще прежде русских (см. воспоминания сестры). Печатаем подстрочный русский перевод (П, I, с. 468).

29. П, I, с. 70—74. Стихотворение было написано для чтения на переводных экзаменах с младшего курса на старший и прочитано автором 8 января 1815 г. в присутствии Державина. Оно впитало весь жизненный опыт П. до 1815 г. и возвестило о его редком даре. *Сретают (устар.)*—встречают.

30. П, VIII, с. 48. Запись о Державине, как предполагает исследователь автобиографической прозы П. И. Л. Фейнберг, была частью «Записок» поэта. Есть предположение, что она относится к 1835 г. Однако первый вариант этого текста написан раньше: в 1826 г. П. предполагал поместить его в сборнике своих стихотворений как примечание к «Воспоминаниям в Царском Селе». См. также ЕО, гл. 8, строфа П.

31. Восп., 1, с. 88.

32. П, I, с. 116. Сопоставление фрагментов воспоминаний Пуцзина с лицейскими стихами П. заставляет задуматься о контрасте надежд юных лицейстов и встретившей их действительности.

33. П, I, с. 108—110. Во фрагментах, которые напоминаем здесь (№ 33—36),—характерная лицейская автохарактеристика П.

34. П, I, с. 122.

35. П, I, с. 125—126.

36. П, I, с. 135—138. Обращено к Кошанскому (см. Очерк). *Свистов, Хлыстов, Графов*—все эти прозвища относятся к одному бездарному стихотворцу—гр. Хвостову; «певец прелестный»—французский поэт XVIII в. Ж.-Б. Грессе, автор шуточной поэмы о попугае «Вер-Вер».

37. П, VIII, с. 9—10. П. В. Анненков первым обнаружил в бумагах Пушкина листок синей бумаги «в четвертку», исписанный юношеским почерком П. Теперь эти записи принято называть лицейским «Дневником». В записи от 29 ноября речь идет о любви лицеиста к *Е. П. Бакунинной* (см. гл. III, Очерк); «*Фатам...*»—несохранившийся (и, видимо, незавершенный) роман П., начатый в Лицее под влиянием лекций Куницына; *С. С.*—инспектор Лицея Фролов; *комедия*—вероятно, замысел, называемый «Философ»; запись об *Иконникове*—первый опыт характеристики-портрета, предпринятый П. А. Н. Иконников—гувернер, поэт-дилетант, друживший с лицеистами. 3-я запись относится к 1815 г., когда Иконников уже не служил в Лицее, изгнанный за злоупотребление спиртным.

38. Восп., I, с. 81—84. Одна из немногих дошедших до нас метких характеристик П.-лицейста.

39. Восп., I, с. 66—69. С. Д. Комовский — лицейский соученик П. — ответил в 1851 г. на вопросы П. В. Анненкова о поэте, хотя в Лицее они были далеки друг от друга. Воспоминания Комовского ценны некоторыми деталями. Комовский напрасно упрекает Кошанского в боязни соперничать с П.

40. Восп., I, с. 118—122. (См. более полный текст: Я. К. Грот, Пушкин...). М. А. Корф был чужд Пушкину в Лицее и после него. Это не мешало вежливой переписке между ними. Верноподданный чиновник, Корф не лишен был наблюдательности, и его воспоминания широко используются пушкинистами для уточнения разных периодов биографии поэта. Я. К. Грот включил в свою книгу рассказ Корфа о лицейском бытовом укладе, раскрывающий ряд подробностей, отсутствующих в других источниках.

### Глава III

1. П, X, с. 8—9. Этим письмом хронологически открывается переписка П. с Вяземским (74 сохранившихся письма П.) — ценнейший автобиографический источник. «Россиада» — поэма М. М. Хераскова, которую разбирал А. Ф. Мерзляков; *Погребать... Беседа* — речь идет о заседаниях общества «Арзамас», по шутовскому ритуалу погребавшего членов консервативного кружка «Беседа любителей русского слова». Цитируется двустихие Вяземского.

2. К. Я. Грот. Пушкинский Лицей. СПб., 1911, с. 58. Переписка А. Д. Илличевского с товарищем детства. *Ouvrage (фр.)* — сочинение.

3. П, I, с. 171—172. Вступая на поэтическую стезю, П. с благодарностью перечисляет учителей: Карамзина, Дмитриева, Державина, самого Жуковского.

4. П, I, с. 176. Одна из любовных элегий, посвященных Бакуниной.

5. «Красный архив», 1936, № 6 (79). Переписка лицеиста Горчакова с родственником — источник некоторых конкретных сведений о П. и Лицее.

6. Там же.

7. Там же.

8. П, I, с. 124—125. Перед выпуском все лицейские поэты обращались с посланиями к друзьям. Горчакова ждала блестящая карьера, Пушкина, как сам он предполагал, — трудный жизненный путь.



9. П, I, с. 228—229. Еще одно из стихотворных прощаний с Лицеем.

10. Памятная книжка... на 1856—1857 гт., с. ХLI.

11. П, I, с. 328. Первое поэтическое воспоминание о местах, где поэт «жил душой». М. А. Цявловский относил стихотворение к 1822—1823 гт. (Летопись, с. 351).

12. П, II, с. 26. О первых лицейских поэтических опытах.

13. П, IV, с. 414. «Розовое поле», о котором вспоминает П.,— место игр лицейстов. Отрывок сохранился в памяти Комовского как единственное о нем упоминание в стихах П. Полной уверенности в подлинности строк нет.

14. П, II, с. 244—247, 349—351. Одно из величайших созданий пушкинской лирики, внушенное памятью о Лицее и лицейских.

15. П, III, с. 34. В этом стихотворении—память о заточенных друзьях-декабристах Пущине и Кюхельбекере.

16. П, III, с. 77. Экспромт, сказанный на ежегодной встрече лицейстов и занесенный в «протокол». В ту же ночь (на 20 октября) П. выехал из Петербурга в Малинники (см. гл. IX).

17. П, III, с. 142. Отрывок незаконченного стихотворного воспоминания: в 1829 г. в боевом лагере под Арзрумом при звуках военной зори П. вспомнил сигналы, доносившиеся из расположения гусарского полка в Царском Селе.

18. П, III, с. 148—149. Самим своим названием и формой перекликается с юношеским «экзаменационным» стихотворением. Иными стали размышления и настроения через 15 лет... Но царкосельские впечатления остались святыней. Стихотворение сохранилось в незаконченном черновике, с трудом разобранным Анненковым. Анализ его Анненков завершает словами: «Так проводил Пушкин последний год молодости своей: ему было 30 лет и три четверти жизни для него промчались». См. гл. XI.

19. П, V, с. 142, 460—462. «Стихотворные мемуары», включенные П. в 8-ю гл. ЕО, написаны в конце 1829—начале 1830 г., когда поэт вступил в новую эпоху жизни и вспоминал отрочество. В вариантах из ранних редакций: *Быта русского хранитель*—Карамзин; *всего прекрасного певец*—Жуковский. Подробный комментарий к ЕО см. Лотман Ю. М. Роман Пушкина «Евгений Онегин». Л., 1980.

20. П, III, с. 215—216, 425. 20 лет прошло с первого знакомства лицейстов; шестерых уже не было в живых.

21. П, III, с. 341—342. 19 октября 1836 г. П. читал неоконченные стихи на последнем при его жизни празднике лицейстов. Не дочитал—разрыдался. По форме близко к «19 октября» 1825 г. (№ 14).

*Агамемнон*— легендарный царь Аргоса, предводитель греков в Троянской войне, здесь имеется в виду Александр I.

22. Под тайным надзором, с. 35—37, 41—44. Прогрессивная роль Лицея особенно хорошо видна из доноса Булгарина, написанного после суда над декабристами в 1826 г.

23. Под тайным надзором, с. 93—94. М. Я. фон-Фок — управляющий III Отделением — вел постоянную агентурную слежку за Пушкиным. Любопытно мнение агента о том, что в 1828 г. Лицей уже утратил всякую опасность для правительства.

24. К. Я. Грот. Пушкинский Лицей, с. 93—94. Последних лицейстов — С. Д. Комовского и А. М. Горчакова — в 1880 г. приглашали принять участие в торжестве по случаю открытия в Москве памятника их великому соученику. Оба отклонили приглашение — ни один лицеист на всенародном празднестве не присутствовал.

## Глава IV

### ЛИТЕРАТУРА

Лернер Н. О. Рассказы о Пушкине. Л., 1929.

Оксман Ю. Г. К истории высылки Пушкина из Петербурга. — Памяти П. Н. Сакулина. Сб. статей. М., 1931, с. 164—165.

Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к С. И. Тургеневу. М., 1936.

Шебунин А. Н. Пушкин по неопубликованным материалам архива братьев Тургеневых. — Вр., 1, 1937, с. 197.

Назарова Л. Н. К истории создания поэмы Пушкина «Руслан и Людмила». — ПИМ, I, 1956, с. 216—221.

Дейч Г., Фридлиндер Г. Деревня А. С. Пушкина... ЛН, 60, М., 1958.

Пугачев В. В. Предыстория Союза Благоденствия и пушкинская ода «Вольность». — ПИМ, IV, 1962, с. 94—139.

Пугачев В. В. Эволюция общественно-политических взглядов Пушкина. Горький, 1967.

Гиллельсон М. И. Молодой Пушкин и арзамасское братство. Л., 1974.

Гордин А., Гордин М. Путешествие в пушкинский Петербург. Л., 1985.

1. РС, 1887, т. 53, № 1, с. 236.

2. П, VIII, с. 17. Запись, сделанная в Михайловском, не закончена. Неясно, какую мысль Вольтера хотел привести П. (перевод: деревня это первое...).

3. РП, с. 829. Лицейстам предоставлялся отпуск перед началом службы. П. возвратился в Петербург до окончания отпуска.

4. П, I, с. 276. Датировано 17 августа 1817 г. (в альбоме П. А. Осиповой). П. не раз еще суждено было воротиться «на скат тригорского холма».

5. П, I, с. 317. В стихотворении, написанном 9 июля 1819 г., П. характеризует, так сказать, «увеселительную часть» своего времяпрепровождения в столице. М. А. Щербинин — офицер, петербургский знакомый поэта; *Фанни* — петербургская «звезда полусвета».

6. П, I, с. 335. Доказательство весьма скептического отношения П. к великосветскому кругу, к которому принадлежал его лицейский товарищ князь А. М. Горчаков. *Д. П. Бутурлин* — в начале 20-х годов — офицер, военный историк; *Д. Д. Шеппинг* — полковник кавалергардского полка.

7. П, V, с. 14, 18—19, 56—57, 442—443, 434—435, 143. Не отождествляя личность самого П. с лирическим образом автора в ЕО, все же приходится признать известную автобиографичность и даже мемуарный характер этих строф романа.

8. Акад., XIII, с. 9. П. присутствовал на заседаниях Вольного общества 8 августа и 19 сентября 1818 г. А. Е. Измайлов — поэт-баснописец и литературный деятель, впоследствии вел резкую полемику с писателями пушкинского круга.

9. Восп., I, с. 59—60. Воспоминания брата поэта — один из самых надежных мемуарных источников сведений о петербургском периоде: они были тогда очень близки. По-видимому, одну неточность Л. С. Пушкин все же допустил: А. Ф. Орлов отговаривал П. от службы в армии.

10. Восп., I, с. 96—102.

11. Восп., I, с. 183—184. Павел Александрович Катенин — поэт, декабрист (на первом этапе движения). Первая встреча Катенина с П. произошла, как предполагают, 17 августа 1817 г. на представлении пьесы А. Коцебу «Сила клятвы»; домой к себе П. почти никого не приглашал, стесняясь убогой обстановки и хаоса в апартаментах Сергея Львовича.

12. Восп., I, с. 198—200. Автор (урожденная Колосова) — трагическая актриса, одна из властительниц петербургской сцены времен юности П., жена актера П. А. Каратыгина. П. предпочитал на сцене ее соперницу — Е. С. Семенову. Известна его эпиграмма на Колосову. Однако личные их отношения почти всегда были дружественными; *Ивелич Е. М.* — петербургская знакомая (и дальняя родственница) семейства Пушкиных.

13. Восп., I. Автор — известный впоследствии писатель, сочинитель «Ледяного дома», «Последнего Новика» и других книг. Рассказ

о начале его знакомства с П. любопытен как меткая зарисовка петербургского быта поэта. Эпизод относится к декабрю 1819 г.

14. Восп., I, с. 119—120. «Записка о Пушкине» М. А. Корфа написана с желчью и раздражением непонятной автору всенародной славой П. Хотя явной ложью Корф, конечно, гнушался, но несправедливых оценок в его мемуарах немало. Например, к началу приводимого отрывка П. А. Вяземский сделал примечание: «Сколько мне известно, он вовеки не был предан распутствам всех родов. Не был монахом, а был грешен, как и все в молодые годы. В любви его преобладала вовсе не чувственность, а скорее поэтическое увлечение, что, впрочем, и отразилось в поэзии его».

15. П, VIII, с. 49—50. Отрывок из воспоминаний П., сохраненный при сожжении их. Написано в Михайловском в 1824—1825 гг. П. оторвал эти листы от других, обреченных огню, и впоследствии напечатал из них небольшое извлечение (остальное было слишком личным или непробиваемым через цензуру). Анализ текста см. И. Фейнберг. Читая тетради Пушкина. М., 1985, с. 258—264. *Гнилой горячкой* (скорее всего — тифом) П. болел в январе — феврале 1818 г.; *Лейтон Я. И.* — петербургский врач; *одна дама* — Е. И. Голицына (см. № 16); *М. Т. Каченовский* критиковал в «Вестнике Европы» предисловие к «Истории...» и его французский перевод; *Ноты* — примечания.

16. П, I, с. 158. Отрывок из «Старой записной книжки» Вяземского — подтверждение воспоминаний П. Е. И. Голицыной в 1817—1818 гг. посвящены стихи П.: «Краев чужих неопытный любитель» и «Простой воспитанник природы». О ней же строка 3-й гл. ЕО: «Иль с академиком в чепце».

17. П, VIII, с. 50. Продолжение № 15. Эта часть (о рабстве и свободе) не могла быть напечатана при жизни П. *Шихматов С. А., Кутузов П. И., Шишков А. С.* — литературные противники Карамзина.

18. П, VII, с. 34. Продолжение мыслей о Карамзине.

19. РП, с. 830. Часть июля и августа 1819 г. П. провел в Михайловском, где при нем скончался двухлетний брат Платон.

20. П, I, с. 314. Адресат — отставной полковник, хозяин известного салона на Невском проспекте с концертным залом. Вяземский вспоминал, что П. «очень любил Энгельгардта». Написано перед отъездом в Михайловское.

21. П, I, с. 320. Написано в Михайловском.

22. П, I, с. 318—319. Написано в июле 1819 г. в Михайловском. Первая часть описывает пейзаж Михайловского (озера Маленец и Кучане). До строки «В душевной зреют глубине» печаталось при

жизни П., остальное ходило в списках и дошло до Александра I. Однако наказания не последовало. Контекст см. Очерк.

23. П, VII, с. 209—210. Помещик, описанный Радищевым— в главе «Вышний Волоочок» «Путешествия из Петербурга в Москву».

24. П, I, с. 307. Поэтический итог бесед и споров с Чаадаевым, Н. И. Тургеневым, многими будущими декабристами. Единства мнений в датировке нет (в собраниях сочинений—1818 г.).

25. П, V, с. 183. Одно из самых точных свидетельств пребывания П. в петербургский период в среде декабристов и участия его в некоторых заседаниях Союза Благоденствия у Ильи Долгорукова. П. высоко ценил декабриста М. С. Лунина, называя его «поистине замечательным человеком». С И. Д. Якушкиным П. встретился потом в Каменке (см. гл. V). 11 октября 1832 г. А. И. Тургенев писал брату Николаю: «Александр Пушкин не мог издать одной части своего Онегина, где он описывает путешествие его по России, возмущение 1825 года и упоминает, между прочим, и о тебе» (*Хромой Тургенев*).

26. Летопись, с. 195. В. Н. Каразин— деятель Вольного общества любителей российской словесности, печально известный своими доносами на П., Кюхельбекера и других. В данном случае он смешивает два произведения— оду «Вольность» и «Сказки Noël». О доносах Каразина и о нем самом см. Базанов В. Г. Вольное общество любителей российской словесности. Петрозаводск, 1949.

27. РС, 1899, т. 98, № 5, с. 277—279. В. П. Кочубей был министром внутренних дел. Полный текст эпиграммы на Стурдзу до нас не дошел. П. А. Вяземский в одном из писем цитировал строки: «На царей не гляжу, // вокруг царей не хожу».

28. Летопись, с. 218. Приведенное стихотворение, по свидетельству Вяземского, П. не принадлежит.

29. РС, 1899, т. 98, № 5, с. 277—279. В результате доносов Каразина Кюхельбекер подвергся политическим преследованиям и вынужден был срочно покинуть Петербург.

30. П, X, с. 15. Черновая рукопись «Руслана и Людмилы» закончена 26 марта 1820 г. Эпилог был написан на Кавказе 26 июля 1820 г.; вступление— в Михайловском в 1824—1825 гг.

31. П, IV, с. 7, 35, 47, 80, 374—375. Петербургские впечатления, разумеется, не миновали страниц поэмы. Некоторые из них приводим. Отрывки первых песен печатались в «Сыне отечества» в 1820 г. Сразу же появилась критика, на которую намекает П. в 3-й песне.

32. Прижизненные критические отзывы о произведениях П. здесь и далее воспроизводим по сборнику В. Зелинского «Русская

критическая литература о произведениях А. С. Пушкина», ч. 1—4, изд. 3-е. М., 1903—1907. Это устаревший, но единственный печатный свод такого рода. Текстологически выверенный и снабженный комментариями, аналогичный труд М. А. Цявловского не опубликован. Зелинский, ч. 1, с. 4—5: I. «*Бутырский старец*» — юный сотрудник журнала А. Г. Глаголев, резко нападавший на поэтов школы Карамзина. Ответ Пушкина см. № 33; с. 8: II. Автор резкого ответа А. Г. Глаголеву неизвестен (подпись — «...евъ» с пометой «Москва»). В свою очередь, Глаголев вскоре выступил с «ответом на ответ»; *шегарда* (шигарда) — здесь: бездельница; с. 39, 50: III. Подробный разбор поэмы, из которого печатаем лишь отрывок; с. 76—78: IV. Автор «Письма...» — Д. П. Зыков, офицер, знакомый П., писавший под влиянием поэта П. А. Катенина; с. 78—82: V. Автор «Замечания...» — А. А. Перовский, впоследствии писатель, близкий знакомый П.; с. 16—19: VI. Подпись под статьей: NN; Зелинский, ч. 2, с. 127: VII. Статья И. В. Киреевского — один из самых прозорливых прижизненных разборов.

33. II, IV, с. 367—371. Сравните пушкинский текст с приведенными отрывками критических статей (№ 32), и станет ясно, на что отвечает поэт. Эпиграмма принадлежит И. А. Крылову. *Увенчанный, первоклассный писатель* — И. И. Дмитриев (в обоих случаях). *Мать дочери* и т. д. — искаженная цитата из французского поэта А. Пирона, которую И. И. Дмитриев отнес к «Руслану и Людмиле». Исследователи считают, что ответом на критику поэмы было и последнее четверостишие нескромной сказки П. «Царь Никита...» (1822):

Многие меня поносят  
И теперь, пожалуй, спросят:  
Глупо так зачем шучу?  
Что за дело им? Хочу.

34. II, VII, с. 117—118. В Болдине П. вернулся памятью к давним критическим нападкам, воспринимавшимся в 1830 г. уже как старый анекдот.

35. Восп., I, с. 126—128. Федор Николаевич Глинка — поэт-декабрист, председатель Вольного общества любителей российской словесности. Он был одним из заступников П. в 1820 г. Впоследствии сосланный в Петрозаводск и в Тверь, поддерживал дружеские связи с П. Граф Милорадович был тогда генерал-губернатором Петербурга.

36. П, П, с. 117. Ответ на стихотворение Глинки «К Пушкину», где приветствовался выход «Руслана и Людмилы» и намеком осуждалась ссылка П.; *Аристид* (VI—V вв. до н.э.)—афинский государственный деятель, прозванный Справедливым.

37. РС, 1887, т. 53, с. 241—242. И. А. Каподистрия (Иоанн Каподистриа)—один из руководителей Коллегии иностранных дел, к которой был причислен П. В 1822 г. Каподистрия, грек по происхождению, не поладив с Александром I, покинул Россию и в 1827 г. стал президентом освобожденной Греции. Ссылка поэта на юг формально выглядела как перемещение по службе чиновника коллегии.

38. П, П, с. 7—8. Итог переживаний петербургского периода. Включая элегию в сборник в 1825 г., П. собирался предпослать ей эпитафию из Байрона «Good night my native land» («Прощай, моя родина»).

39. П, П, с. 11. Настроение то же, что и в № 38.

40. П, П, с. 28—29. Воспоминание о петербургских друзьях по обществу «Зеленая лампа». П. неоднократно пользовался строками этого неоконченного и оставшегося в едва разбираемых черновиках стихотворения в письмах, в строфах ЕО и др.

41. П, X, с. 617. Одна из неосуществленных попыток вырваться из ссылки. Сплетня о том, что П. был высечен в тайной канцелярии (усердно распространяемая Ф. И. Толстым), при всей нелепости ее, болезненно воспринималась поэтом. *Убить*—В—т. е. царя.

42. П, III, с. 57. В рукописи знаменитое стихотворение «Воспоминание» (Когда для смертного умолкнет шумный день) имело окончание, прямо связанное с петербургскими годами. Клевета, конечно, шире слуха о наказании в тайной канцелярии. Личные переживания П. перед ссылкой до сих пор остаются таинственными.

## Глава V

### ЛИТЕРАТУРА

Бартенев П. И. Пушкин в Южной России. М., 1914.

Недзельский Б. Л. Пушкин в Крыму. Симферополь, 1929.

Гроссман Л. П. У истоков Бахчисарайского фонтана.— ПИМ, III. М.—Л., 1960.

Выгон М. И. Пушкин в Крыму. Симферополь, 1974.

Веленгурин Н. Дорога к Лукоморью. Краснодар, 1976.

Рогов В. Я. Далече от брегов Невы. Пушкин в Екатеринославе в 1820 г. Днепрпетровск, 1984.

1. П, X, с. 16—18. Наиболее полный отчет о путешествии, корреспондирующий с письмами генерала Раевского (см. очерк). *Элегия*—«Погасло дневное светило»; *Броневский С. М.*—бывший градоначальник Феодосии (Кефа), блестящий знаток Кавказа, Крыма; *Гречу*—т. е. в журнал «Сын отечества», где она и была напечатана; *молодой Молчанов*—по-видимому, Н. Н., лицеист 2-го выпуска, приятель П. по Петербургу.

2. П, X, с. 58. Воспоминание о том, как были написаны «Братья разбойники» (приписано на последнем листе отрывка, известного нам теперь). Полный текст поэмы П. уничтожил.

3. П, VII, с. 119.

4. Цявловский, Книга..., с. 47—48. Письмо в газету «Приднепровский край» отражает один из этапов изучения пребывания П. в Екатеринославе (см. книгу В. Я. Рогова в *Литературе*).

5. Летопись, с. 222. Первое письмо И. Н. Инзова И. Каподистрии о П.

6. П, IV, с. 80. Эпизод поэмы написан на Кавказе 26 июля 1820 г. «*Богиня тихих песнопений*» скоро возвратилась к П.

7. П, IV, с. 87—88. Написано во 2-й половине 1820 г. уже как воспоминание о Кавказе (некоторые черновики—летом в Крыму).

8. П, II, с. 12. Воспоминание о Кавказе, написанное в Крыму. *Подкумок*—река, на которой находились Горячие и Кислые воды (теперь Пятигорск и Кисловодск).

9. П, V, с. 172—173. Огромная сила впечатлений, воспринятых во время первого в жизни путешествия, заставила П. отправить по своим следам героя романа.

10. П, VI, с. 436. В этом фрагменте «Путешествия в Арзрум» П. вспоминает Кавказ, увиденный в 1820 г. (см. гл. X).

11. П, II, с. 9. Дата стихотворения дискуссионна, но оно, несомненно, навеяно гурзуфскими впечатлениями. Героиня—одна из дочерей Раевского (Елена либо Екатерина).

12. П, II, с. 10. Черновик написан в Гурзуфе, обработанный беловик—в Михайловском. За тремя звездочками скрыта все та же таинственная «южная» любовь поэта.

13. П, II, с. 23. Написано в Каменке (пейзаж первых строк), далее идет воспоминание о Крыме. Комментаторы уверенно относят стихи к Екатерине Раевской (прежде считалось, что стихотворение адресовано М. Н. Волконской), но в таком случае ей должен быть



посвящен весь крымский цикл. Между тем полной убежденности в этом нет. В последнее время «на ее счет» записываются не только «Нереида», но также «Я пережил свои желанья», «Дева», «Дионея» (см. «Русская литература», 1985, № 4, с. 249).

14. П, П, с. 22.

15. П, П, с. 50. Одно из самых конкретных поэтических воспоминаний о Крыме.

16. П, П, с. 104—105. Приводим заключительные строфы незаконченного стихотворения — воспоминания о Гурзуфе (подробный анализ этого, как и всех «крымских» произведений, см.: Б. В. Томашевский. «Пушкин», кн. I). Предполагается, что одним из вариантов «Тавриды» был первоначально и № 15. См. также строфу XXXIII 1-й гл. ЕО.

17. П, V, с. 19—20. Как справедливо полагают комментаторы (Ю. М. Лотман), «установление биографической основы» этих строф затруднительно, однако, несомненно, в них сказались и южные впечатления.

18. П, IV, с. 381. В посвящении поэмы Н. Н. Раевскому (младшему) П. говорит о давнем обещании переложить в стихи слышанную ими обоими легенду.

19. П, IV, с. 137, 143—145. В прижизненных изданиях П. никогда не печатал 10 строк, начиная с «*Все думы сердца к ней летят...*», посвященных все той же тайной любви.

20. П, П, с. 183. Предполагается, что написано в Михайловском, как воспоминание о Бахчисарае.

21. П, VII, с. 429—431. Написано было в конце 1824 г. в Михайловском и предназначалось для «Северных цветов». П. заведомо писал это как прозу в жанре путешествия. «Письмо к Д.» (Дельвигу) — литературный прием. В 1830 г. П. включил «Отрывок...» в издание «Бахчисарайского фонтана» как примечание.

22. П, V, с. 143. В 8-й гл. ЕО П. «путешествует» со своею музой по собственной биографии. *Ленора* — героиня романтической баллады Бюргера, вольно переложенной В. А. Жуковским.

23. П, V, с. 173—175. Крымские строфы «Отрывков из путешествия Онегина» написаны в Болдине в 1830 г. Ощущение прощания с прежней жизнью снова вызвало незабываемые видения Крыма. Все это продолжало волновать П., а намеренное снижение тона в последних строках в значительной степени — лукавство автора. Не «романтической мифологией» (Ю. М. Лотман) окружал себя Пушкин в «южные годы», а по-юношески, но вполне реально страдал и любил.

## Глава VI

## ЛИТЕРАТУРА

Гессен С. Я. Пушкин в Каменке.— «Литературный современник», 1935, № 1.

«Вечер в Кишиневе». Из бумаг первого декабриста В. Ф. Раевского. ЛН, 16—18. М.—Л., 1934.

Цявловский М. А. Стихотворения Пушкина, обращенные к В. Ф. Раевскому.— Вр., 6, 1941.

Пушкин на юге. Сборник статей. Т. 1—2. Кишинев, 1961.

Трубецкой Б. А. Пушкин в Молдавии. Изд. 4-е. Кишинев, 1976.

Богач Г. Ф. Далече северной столицы. О творчестве Пушкина в Молдавии. Иркутск, 1979.

Двойченко-Маркова Е. М. Пушкин в Молдавии и Валахии. М., 1979.

Хазин М. Г. «Твоей молвой наполнен сей предел». Кишинев, 1979.

Эйдельман Н. Я. Пушкин и декабристы. М., 1979. Ч. I. Юг.

1. П, VIII, с. 55. Название фрагмента, найденного в болдинских черновиках П. 1833 г., условно. По-видимому, поэт собирался вернуться к давним кишиневским временам. Неясные места предположительно расшифровываются: *Фонт*— «Бахчисарайский фонтан»; *Смерть его жены*— недавно выяснено имя француженки, первой жены Липранди: Томас-Розина Гузо (Узо). По-видимому, она умерла в бытность П. в Кишиневе. См.: Тихомирова С. Н. К расшифровке Второй программы автобиографических записок Пушкина.— ВПК, 20, 1986, с. 169—171; *рenegат* (изменник)— также относится к Липранди и связано, быть может, либо с политической его изменой, либо (вероятнее) с изменой памяти жены; *Паша арзрумский*— неясное место, по-видимому, отражающее более поздние воспоминания.

2. П, X, с. 14. Это письмо, обращенное к друзьям по обществу «Арзамас», как бы обозначило границу между петербургскими воспоминаниями и новой кишиневской жизнью. *Лето 5*— намек на осмеянную арзамасцами комедию А. А. Шаховского «Урок кокеткам, или Липецкие воды» (1815); *Рейн*— арзамасское прозвище генерала М. Ф. Орлова, *Сверчок*— Пушкина; *гуси*— намек на арзамасских гусей (так называли себя члены общества). По-видимому, отправлено не было.

3. П, X, с. 19. Адресат — поэт, переводчик, близкий знакомый П. Трагедия Расина «*Андромаха*» была переведена Гнедичем. Стихотворная строка — из стихов Гнедича. О критике «*Руслана...*» см. гл. IV. *Еще поэма* — «*Кавказский пленник*»; *гишпанский табак* — намек на революцию в Испании.

4. «Дело о Пушкине» (1820). Одесса, 1899, с. 9. Контекст см. очерк.

5. Там же.

6. П, V, с. 183—184. Встречи с декабристами в Каменке отразились в 10-й гл. ЕО. *Холоднокровный генерал* — скорее всего С. Г. Волконский; *Муравьев* — С. И. Муравьев-Апостол, один из пяти повешенных.

7. Восп., 1, с. 363—366. Первая встреча с Якушкиным была у Ильи Долгорукова в Петербурге. См. 10-ю гл. ЕО. Вопрос о приеме П. в общество подробно рассмотрен Н. Я. Эйдельманом (*Литература*); см. также очерк.

8. П, II, с. 28. Первая часть послания к «Зеленой лампе». Отражено состояние духа П. в Каменке: разочарование отчуждением от него заговорщиков, а возможно, и личные мотивы (Е. Н. Орлова). См. также гл. IV, № 40.

9. П, II, с. 35. Высшее поэтическое выражение революционных настроений поэта в 1821 г. *Кесарь* — Юлий Цезарь, победивший Помпея в бою; *Брут* — защитник республики, убийца Цезаря; *апостол гибели* — Марат; *дева Эвменида* — Шарлотта Корде, убившая Марата; *Занд* — немецкий студент, казненный в 1819 г. за убийство реакционного писателя Коцебу (это волновало П. еще в Петербурге).

10. П, X, с. 21—23. *Владимиреско* — вождь молдавского восстания; *покойный К. Ипсиланти* — отец князей Ипсиланти, героев греческого восстания; *Суццо* — молдавский господарь; *Великая держава* — Россия, на поддержку которой надеялись греки; *два великих народа* — греки и римляне (итальянцы); *Леонид* (V в. до н. э.) — спартанский царь, героически погибший на поле боя; *Фемистокл* (VI—V вв. до н. э.) — афинский полководец и политический деятель; *Клодовик* — король франков Хлодвиг (V—VI вв.). Письмо, адресат которого установлен только предположительно, отражает первоначальное восторженное отношение П. к борьбе греков за независимость.

11. П, II, с. 33 (стихи); П, X, с. 24 (письмо). *Октавий* — Александр I; *почтенный АО* — А. Н. Оленин, нарисовавший виньетку для «*Руслана и Людмилы*»; *Николай Михайлович* — Карамзин.

12. П, VIII, с. 15—16. Н. Г.—лицо неустановленное; записи о послании Вяземского и о Жуковском отражают чтение П. «Сына отечества»; в марте 1821 г. «Сын отечества» без ведома П. напечатал его стихи, обращенные к дяде «Тебе, о Нестор Арзамаса».

13. П, II, с. 47—48. Развернутое поэтическое описание жизни и душевного состояния П. в Кишиневе.

14. Летопись, с. 292. И. Каподистрия был в царской свите на конгрессе в Любляне (Лайбах), откуда и писал Инзову.

15. Летопись, с. 293.

16. П, IV, с. 119. Этим авторским отступлением от сюжета заканчивается написанная в Кишиневе «Гавриилиада» — одно из самых потаенных созданий П.

17. П, VIII, с. 16. В Кишиневе П. был членом масонской ложи «Овидий».

18. П, X, с. 25. Голицына Е. И.—хозяйка петербургского салона, где постоянно бывал П. Поскольку «Гавриилиаду» П. называет *сочинением во вкусе Апокалипсиса*, то и Кишинев уподобляет о. Пафмосу, где будто бы был создан Апокалипсис; *овсяный кисель* — намек на сказку Гебеля, переведенную Жуковским; *иска- тель новых впечатлений* — слова из элегии «Погасло дневное светило», уже напечатанной в Петербурге и известной А. И. Тургеневу. Надежда П. возвратиться заведомо не могла тогда сбыться.

19. П, VIII, с. 16. Баранов А. Н.—бывший крымский губернатор, с которым П. познакомился в Симферополе; Алексеев Н. С.—кишиневский друг П.; Пуцци П. С.—один из руководителей масонской ложи, знакомый П. в Молдавии, а затем в Псковской губернии. Друзья были у П. по случаю его 22-летия (см. дату записи); Тарас Кирилов — арестант в кишиневской тюрьме, вскоре бежавший. Есть предположение, что П. несколько раз навещал его; Крупенские — семья вице-губернатора Кишинева, у которого бывал П.

20. П, X, с. 591. В ночь с 4 на 5 июля у П. произошло резкое столкновение с отставным французским офицером, жившим в Кишиневе. Противник струсил, и П. заключил всю историю презрительной запиской. Это одно из нескольких столкновений в Кишиневе, которые могли стоить жизни отчаянно храброму П.

21. Щеголев П. Е. Из жизни и творчества Пушкина. Изд. 3-е. М.—Л., 1931, с. 286—292. Сведения о поездке П. с К. З. Ралли в Долну и Юрчены летом 1821 г., опубликованные П. Е. Щеголевым, достаточно достоверны. Рассказчик — сын К. З. Ралли.

22. П, IV, с. 169. Эпизод поэмы «Цыганы» корреспондирует с воспоминаниями семейства Ралли. Написанный в Михайловском, он тоже звучит как воспоминание.

23. П, Ш, с. 40. По-видимому, здесь отражены молдавские впечатления.

24. П, V, с. 144. Она — муза. Путешествуя с музой мысленно по своей прежней жизни, П. в 1830 г. вспомнил и Молдавию.

25. П, Ш, с. 200. Помета «с английского» — мистификация. Стихотворение автобиографично. См. № 21.

26. РП, с. 830—831. Жалованье П. из Петербурга высылалось за каждые четыре месяца и постоянно задерживалось. И. Н. Инзов вынужден был напоминать об этом И. А. Каподистрии.

27. П, VIII, с. 16. Наполеон умер на о. Святой Елены 5 мая 1821 г. До Кишинева известие шло больше двух месяцев; *армянский архиепископ* — Григорий Захарьянов.

28. П, X, с. 27—28. Адресат, Н. И. Греч, литератор, издатель «Сына отечества», впоследствии близкий к Булгарину. *Аристарх* — суровый критик; цензура не пропустила строку: «вольнo-любивые надежды оживим»; *Американец* — Ф. И. Толстой, «который в прежние лета // развратом изумил четыре части света» — беспощадный удар, нанесенный клеветнику; слово *глупец* появилось в печатном тексте, поскольку не пропустили строку: «холопа знатного, невежду при звезде». А. С. Шишков, грешивший славянизмами, работал над «Словарем русского языка». П., конечно, шутит, говоря, что слово «вольнoлюбивый» не пропущено по стилистическим причинам. Какое «письмо насчет письма» имеет в виду П., неясно.

29. РП, с. 831.

30. Летопись, с. 316. Начальник Главного штаба П. М. Волконский получил из Кишинева донос на Пушкина, связанный с посещением масонской ложи. Отсюда и письмо.

31. Летопись, с. 318. Инзов неизменно защищал П. Что касается масонской ложи, то, поскольку она не была зарегистрирована официально, наместник делал вид, что ее как бы не существует.

32. П, II, с. 63—64. Римский поэт Овидий Назон (I в. до н. э. — I в. н. э.) был сослан почти в те же края, что и Пушкин. Тема Овидия, сопоставление его и своей участи — постоянный мотив в кишиневских стихах и письмах. Приводим ту часть стихотворения, где есть прямое описание Молдавии.

33. П, II, с. 97. *Державин* воспел Бессарабию в оде «На взятие Измаила»; *Овидия живого* — Баратынский в то время был сослан в Финляндию.

34. П, X, с. 30. Письмо было отослано с оказией — через И. П. Липранди.

35. П, X, с. 31. Не получив ответа от Н. И. Греча об издании «Кавказского пленника», П. вновь обратился к Н. И. Гнедичу (как

и с «Русланом...»). Гнедич выпустил вторую поэму, хотя и с ничтожным гонораром. *Идиллия Гнедича* — по-видимому, «Рыбаки».

36. П, X, с. 32. П. послал издателям «Полярной звезды» А. А. Бестужеву и К. Ф. Рылееву несколько стихотворений для альманаха. «К Овидию» было напечатано (без подписи).

37. П, VIII, с. 17. Единственная сохранившаяся дневниковая запись за 1822 год. Почему П. считал 1 июля счастливым днем, неясно.

38. П, II, с. 120. Есть версия, что, будучи под домашним арестом, П. увидел сидящего пленника-орла; другая трактовка — связь стихотворения с судьбой В. Ф. Раевского. Разумеется, никакая автобиографическая зависимость здесь вовсе не обязательна.

39. П, X, с. 35—36. «Нападение» на оклеветавшего его Ф. И. Толстого было совершено Пушкиным в послании к Чаадаеву (см. № 28). В ответ Ф. И. Толстой написал грубую эпиграмму, которую отказались напечатать.

40. Летопись, с. 357. Дядюшка всегда следил за творчеством племянника, гордясь им и завидуя ему. *Наш Лафонтен* — баснописец И. И. Дмитриев; *наш Ливий* — историк Н. М. Карамзин.

41. Зелинский, ч. 1, с. 91—93: I. Это сообщение в «Сыне отечества» не подписано. К изданию «Кавказского пленника» был приложен известный теперь портрет Пушкина-юноши, гравированный Е. И. Гейтманом; с. 95—96, 100: П. П. А. Плетнев был восторженным почитателем поэзии Пушкина и впоследствии оказал ему неоценимые услуги в издательских делах; III — П. А. Вяземский. Эстетика и литературная критика. М., 1984, с. 45—46; IV — Зелинский, ч. 2, с. 128.

42. П, IV, с. 315. С годами собственное отношение П. к ранней романтической поэме изменилось: даже говоря о давних отзывах, он вспоминает не похвалы, а критический анализ.

43. П, VII, с. 118. Оценивая суждения П. о характере пленника, следует иметь в виду, что это пишет уже автор «Евгения Онегина» и «Бориса Годунова», работающий над маленькими трагедиями и «Повестями Белкина», т. е. великий мастер изображения характеров.

44. П, X, с. 46—47. Вяземский утешил П. своей статьей о «Кавказском пленнике» (№ 41, III). *Варюшка* и *Буянов* — герои поэмы В. Л. Пушкина «Опасный сосед», действие которой происходит в «веселом доме».

45. П, X, с. 594. К. В. Нессельроде — управляющий Коллегией иностранных дел, главное начальство Пушкина. Результат письма см. № 46.

46. РС, 1887, т. 53, № 1, с. 245. Пушкин вообще не получил ответа — письмо пришло на имя Инзова.

47. П, X, с. 45—46. *Все то благо* — из стихотворения Державина «Утро»; балерина *Истомина* исполняла роль черкешенки в спектакле «Кавказский пленник, или Тень невесты», поставленном балетмейстером *Дидло*; стихи Пушкина с *двумя звездочками* вместо подписи появились в «Полярной звезде» на 1823 г. рядом со стихами В. И. Панаева и думами Рыльева, к поэтическим достоинствам которых П. относился критически; *Ф. Н. Глинка*, послание П. к нему (см. гл. IV, № 36); *Фемистокл* и *Аристид* — политические соперники в Древней Греции; стихотворная строка — из элегии Гнедича, напечатанной в том же выпуске «Полярной звезды»; царь был на конгрессе в Вероне. Кто такой NN — не совсем ясно (быть может, Н. И. Гнедич, о котором выше шла речь).

48. Г, X, с. 49. *Надежды не сбылись* — после ответа Нессельроде; под Скулянами и Секу греческие повстанцы потерпели жестокие поражения, многие из них бежали в Кишинев; *Иордаки* — руководитель части повстанцев; «целовалась с Байроном» (так думали в Кишиневе) Калипсо Полихрони; П. А. Катенин был выслан из Петербурга.

49. П, X, с. 78. Уверенности, что это письмо адресовано В. Л. Давыдову, нет. П. оставался неизменным сторонником освобождения Греции, однако его сильно разочаровали отсутствие единства в среде борцов за независимость и паника, охватившая многих из них при неудачах.

50. Восп., 1, с. 237—239, 241. Автор, офицер Владимир Петрович Горчаков, был очень близок с П. в Кишиневе. К сожалению, дневник, который он вел в Кишиневе, не сохранился. Воспоминания написаны по материалам дневника. В. П. Горчаков встречался с П. и в 1830-х годах.

51. Восп., 1, с. 275—276, 278—281. Будущий известный писатель Александр Фомич Вельтман в начале 1820-х годов служил в Кишиневе топографом. Впоследствии он посылал П. свои сочинения и переводы. Первая часть его воспоминаний была напечатана в «Современнике» сразу же после гибели П.

52. Восп., 1, с. 285, 307—313, 316—319, 326—327, 330. Полковник Иван Петрович Липранди был дружен с П. в Кишиневе. Как и воспоминания Горчакова, Вельтмана, Вигеля (№ 54), дневник Долгокурова (№ 53), его мемуары и заметки — исключительно важный источник всех сведений о пребывании П. в Кишиневе. После Кишинева и Одессы они, насколько известно, не встречались. Впоследствии И. П. Липранди запятнал свое имя службой в министерстве внутренних дел и слежкой за революционно настроенной

молодежью (в частности за петрашевцами). Часть воспоминаний И. П. Липранди имеет форму замечаний на работу П. И. Бартенева «Пушкин в Южной России» (1866). *Фанариоты* — греческие аристократы, служившие туркам; *бессы* — народность (их упоминает Овидий).

53. Восп., 1, с. 350, 354—356, 357—359, 360—361. Павел Иванович Долгоруков служил в Кишиневе по ведомству финансов. Он принадлежал скорее к политическим противникам Пушкина и был врагом либеральных идей. Однако многие штрихи из его дневника, писавшегося непосредственно в дни встреч с П., представляют первостепенный интерес. Публикация дневника Долгорукова, осуществленная в 1951 г. М. А. и Т. Г. Цявловскими (Сб. Звенья, т. IX), была событием в советском пушкиноведении. Никогда после Кишинева Долгоруков с П. не встречался.

54. Восп., 1, с. 223—224. Филипп Филиппович Вигель знаменит именно своими мемуарами. Личность эта была не слишком приятная, и Пушкин не раз в шутку и всерьез отмечал это. Однако бытовые зарисовки (но не оценки!), данные им, важны для исследователей и читателей.

## Глава VII

### ЛИТЕРАТУРА

Пушкин. Статьи и материалы. Вып. 1—3. Одесса, 1925—1926.  
Модзалевский Б. Л. Пушкин. Л., 1929 (К истории ссылки Пушкина в Михайловское).

Щеголев П. Е. А. С. Пушкин и М. С. Воронцов.— Красный архив, 1930, № 1 (38).

Щеголев П. Е. Из жизни и творчества Пушкина. Изд. 3-е. М.—Л., 1931. (Амалия Ризнич в поэзии Пушкина).

Цявловский М. А. Из записей П. И. Бартенева.— Известия АН СССР. Отд. литературы и языка, 1969, т. XXVIII, вып. 3.

Цявловская Т. Г. Храни меня, мой талисман.— Прометей, т. 10. М., 1974.

Абрамович С. К истории конфликта Пушкина с Воронцовым.— Звезда, 1974, № 6.

Одесский год Пушкина. Изд. 2-е. Одесса, 1979.

Аринштейн Л. М. К истории выссылки Пушкина из Одессы.— ПИМ, X. Л., 1982.



1. П, II, с. 145. Комментаторы связывают это стихотворение, написанное в конце ноября 1823 г., с поражением революции в Испании. Однако оно подводит как бы общий итог размышлениям и поступкам П. в начале 20-х годов. 1 декабря 1823 г. в письме к А. И. Тургеневу: «я закаялся и написал на днях подражание басне умеренного демократа Иисуса Христа (изыде сеятель сеяти семена своя)». Далее следует текст стихотворения.

2. П, X, с. 53—54. *Туманский В. И.*—поэт, приятель П.; *Козлов В. И.*—бездарный стихотворец; *Шаликов П. И.*—сентиментальный и слезливый литератор, предмет насмешек П. и его друзей; *Раич С. Е.*—московский ученый и журналист; *Родзянко А. Г.*—поэт, приятель П., написавший в 1822 г. сатиру на ссыльного П. («*предатель*»).

3—4. П, V, с. 175—179, 473. Одесские строфы «Отрывков из путешествия Онегина» написаны в 1825 г. в Михайловском по горячим следам. П. собирался включить их в 7-ю гл. ЕО. *Морали* (Maugé Ali)—бывший шкипер коммерческого судна, выходец с арабского Востока, приятель П. в Одессе; *Авзония*—Италия.

5. П, V, с. 178. *Фора*—от итал. fuoga (наружу). Так вызывали артистов на сцену для поклонов. О стихах, адресованных (иногда—предположительно) А. Ризнич, см. очерк.

6. П, II, с. 138. Написано 26 октября.

7. П, II, с. 146. Написано 11 ноября.

8. П, II, с. 164. Стихотворение не закончено.

9. П, V, с. 450—451. Существует рассказ о том, как в припадке ревности П. пробежал однажды в Одессе пять верст под палящим солнцем при 35° без шляпы. В рукописи П. этих строф о ревности нет. Они известны по копии В. Ф. Одоевского и опубликованы лишь в 1887 г. Существовали предположения (по-видимому, неосновательные), что речь идет не о Ризнич, а о другой умершей возлюбленной.

10. П, II, с. 297. Имеет дату—29 июля (вскоре после получения известия о смерти Ризнич). См. очерк.

11. П, III, с. 193. Написано 27 ноября 1830 г. Это последние стихи, обращенные к памяти Ризнич. См. очерк.

12. П, V, с. 25—26. Написано в октябре 1823 г., когда П. мечтал об отъезде за границу (после разгрома кружка М. Ф. Орлова и В. Ф. Раевского в Кишиневе). *Брента*—река, близ которой расположена Венеция; *по гордой лире Альбиона*—т. е. по произведениям Байрона; *Под небом Африки моей*—к этому месту в первом издании 1-й гл. ЕО П. сделал большое примечание (см. гл. I, № 9).

13. П, X, с. 57. *Асмодей*—прозвище Вяземского в «Арзамасе»; *последняя моя поэма*—«Бахчисарайский фонтан»; *роман в сти-*

хах—1-я гл. ЕО; *статья, победившая цензуру*—в рукописи распространялось полемическое выступление Вяземского «О двух статьях, напечатанных в «Вестнике Европы». Вопреки надежде П. напечатано оно не было и вышло в свет лишь в 1878 г.

14. П, X, с. 58—59. *Бируков А. С.*—цензор петербургского Цензурного комитета.

15. П, П, с. 166. Набросок связан с отъездом Е. К. Воронцовой в Крым в июне 1824 г.

16. П, П, с. 170. Незаконченный отрывок.

17. П, П, с. 187. Написано в Михайловском как первое воспоминание об Одессе и Е. К. Воронцовой (контраст северного и южного пейзажа).

18. П, П, с. 197. С собою в Михайловское П. увез перстень-талисман, подаренный Воронцовой, а возможно, и другие знаки памяти.

19. П, П, с. 219. В Михайловском П. по требованию Воронцовой сжигал полученные от нее письма.

20. П, П, с. 227. Полной уверенности в том, что стихотворение посвящено Воронцовой, нет.

21. П, П, с. 252.

22. П, П, с. 290. Биографическая трактовка отрывка, предложенная Т. Г. Цявловской (связанная с Воронцовой), аргументированно опровергается в статье: Фомичев С. А. «Подражания Корану». Генезис, архитектоника и композиция цикла,—ВПК, 78. Л., 1981, с. 22—45. Отрывок, по мнению автора, связан с этим циклом и личного контекста не имеет.

23. П, П, с. 230. См. очерк.

24. П, Ш, с. 35.

25. П, Ш, с. 18. Составляет как бы антитезу стихотворению «Демон», обращенному, по одной из трактовок, к А. Н. Раевскому. При таком реально биографическом толковании «Ангел» посвящен Воронцовой.

26. П, Ш, с. 177. Последнее стихотворение, обращенное к Воронцовой. Написано в Болдине 5 октября 1830 г., перед женитьбой П. В списке стихотворений, предназначенном для издания 1832 г., П. называл «Прощание»—«К EW» (буквы написаны в виде монограммы).

26а. Акад., XV, с. 320. Единственное известное обращение Воронцовой к П. См. очерк.

26б. П, X, с. 672. Единственное письмо П. к Воронцовой, дошедшее до нас. Посланы были сцены из «Русалки».

27. П, X, с. 61. Хлопотам Тургенева П. был обязан переводом в Одессу.

28. П, X, с. 65—66. *Н. Раевский* (мл.) ездил в Петербург и по просьбе П. уговаривал Льва Сергеевича отправиться к брату в Одессу, предлагая помощь; *Иван Иванович*—царь; П. вынашивал план бегства за границу; *В. И. Козлов*—в устах П. нарицательное имя бездарности в литературе (происходивший из купеческого звания Козлов пробивался в светские круги); *А.-М. Ламартин*—французский поэт и политический деятель, П. цитирует строку его стихотворения; «Бахчисарайский фонтан» настолько распространился в рукописных копиях, что П. опасался за судьбу издания; литератор *А. О. Корнилович* поместил в «Полярной звезде» очерк «Об увеселениях при Петре I», где обращался за поддержкой к прекрасному полу; к стихам Рыльева П. первоначально отнесся холодно.

29. П, VIII, с. 17. *Шаховской В. М.* и *Синявин И. Г.*—адъютанты Воронцова; в день своего 25-летия—26 мая П. был в поездке—«на саранче»; «*Турок в Италии*»—опера Россини, которую П. слушал накануне отъезда из Одессы.

30. Восп., 1, с. 337—340, 342—343. Обед, с которого начинает Липранди свои воспоминания о встречах с П. в Одессе, был в самом начале февраля 1824 г. *Сафоновы Д. В.* и *С. В.*, *Лекс М. И.*—чиновники канцелярии Воронцова. Липранди ошибочно считает, что Воронцов невзлюбил П. за «стихи к портрету» («полумилорд»). См. очерк.

31. П, X, с. 68—69. *Д. И. Хвостов* вынужден был сам покупать тираж собственных сочинений—больше никто ими не интересовался. *Булгарин* и *Войков*—«литературные гангстеры» пушкинского времени; Булгарин, познакомившись с письмом П. к А. А. Бестужеву от 8 февраля 1824 г., без разрешения напечатал часть его в «Литературных листках».

32. Летопись, с. 444—445. *Гурьев А. Д.*—одесский градоначальник; *Казначеев А. И.*—правитель канцелярии Воронцова. Адресат письма—*П. Д. Киселев*, тогда начальник штаба 2-й армии. Воронцов надеялся, что, находясь временно в Петербурге, Киселев поможет ему избавиться от П.

33. Летопись, с. 450. Образец довольно прозрачной «дипломатии», адресованной главе дипломатического ведомства, к которому формально принадлежал П.

34. Модзалевский *Б. Л.* Пушкин, с. 84. *Лонгинов Н. М.*—в 1823—1824 гг. начальник отделения в канцелярии Воронцова.

35. Модзалевский *Б. Л.* Пушкин, с. 82.

36. Красный архив, 1930, № 1, с. 178.

37. Акад., Т. XIII, с. 355. См. очерк.

38. Восп., 1, с. 227—228. Мемуарист сглаживает и даже прямо искажает роль Воронцова в высылке П. Франк — адъютант Воронцова.

39. П, X, с. 70—71. А. И. Казначеев относился к П. доброжелательно. Получив предписание отправиться на борьбу с саранчой, П. попытался через посредство Казначеева получить отставку, оставшись жить в Одессе. Письмо существует в двух черновых редакциях, но, по-видимому, не было отправлено.

40. РП, с. 835.

41. Зленко Г. Одесские тетради. Одесса, 1980, с. 15—17. Неизвестные прежде мемуары о поездке П., опубликованные Г. Зленко, видимо, не точны в ряде деталей. В частности, датируется пребывание П. в Сасовке неверно, поскольку он выехал из Одессы 23 мая. Не совсем ясен и маршрут поэта, но реальный эпизод, рассказанный в конце XIX в. родственниками хозяина, принимавшего П., скорее всего имел место.

42. Переписка, 1, с. 177—178. Письмо переслано по оказии (скорее всего через В. Ф. Вяземскую). Вяземского тревожили слухи об одесских неприятностях П.

43. П, X, с. 493. См. очерк и № 39.

44. П, X, с. 598—599.

45. П, X, с. 72—73. *Эпиграмма Грибоедова* — в это время велась резкая полемика между П. А. Вяземским и А. С. Грибоедовым, с одной стороны, и литераторами М. А. Дмитриевым и А. И. Писаревым — с другой стороны. При этом нападкам подвергались «Горе от ума» и «Бахчисарайский фонтан»; *взяться за дело* — в этом письме впервые ставится вопрос о собственном журнале, который удалось решить лишь в 1836 г. («Современник»); *услужить денежкой* — частью гонорара за «Бахчисарайский фонтан»; *перемена министерства* — в 1824 г. вместо мракобеса А. Н. Голицына министром просвещения был назначен более умеренный А. С. Шишков.

46. Красный архив, 1930, № 1, с. 179.

47. П, X, с. 74. *Тиверий*, или Тиберий — римский император (здесь — царь); *Сеян* — приближенный Тиберия (здесь — Воронцов).

48. Красный архив, 1930, № 1, с. 181.

49. Там же, с. 183—184.

50. Там же, с. 184—185. «Передавая» П. из Новороссийского края в остзейские провинции (куда формально входила и Псковская губерния), К. В. Нессельроде обратился с указаниями к тамошнему генерал-губернатору маркизу Ф. О. Пауллуччи, а тот, в свою очередь, — к псковскому губернатору Адеркасу (№ 51).

51. РС, 1908, окт., с. 111—112.

51а. П, X, с. 77. *Кортесы* — испанский парламент; А. И. Тургенев потерял свою должность с приходом А. С. Шишкова.

52. Яковлев П. А. Отзывы о П. с юга России. Одесса, 1887, с. 154—156. Автор воспоминаний—воспитанник Ришельевского лицея в Одессе (выпуск 1828 г.).

53. РП, с. 837—838.

54. Там же.

55. Пушкин. Документы Государственного и С.-Петербургского главного архивов министерства иностранных дел. СПб., 1900, с. 6.

56. П, II, с. 180—181. Написано уже в Михайловском—как прощание с Одессой. *Другой... гений*—Байрон. Строфа «Мир опустел...» печатается по изданию 1949 г.

57. Восп., 2, с. 134—135. А. И. Подолинский—поэт, выпускник Петербургского университетского пансиона. Встреча его с Пушкиным в Чернигове произошла 4 августа 1824 г. Маршрут, предписанный П.: Одесса, Николаев, Елизаветград, Кременчуг, Витебск, Опочка, Михайловское. Воспоминания Подолинского написаны в начале 1870-х годов.

58. П, V, с. 471. Это уже воспоминания об обстоятельствах «разлуки с Онегиным» и приезда в Михайловское. *Эвксинские воды*—Черное море.

## Глава VIII

### ЛИТЕРАТУРА

Модзалевский Б. Л. Пушкин под тайным надзором. Изд. 3-е. Л., 1925.

Щеголев П. Е. Пушкин и мужики. М., 1928.

Семевский М. И. Прогулка в Тригорское.—В кн.: Вульф А. Н. Дневники. М., 1929.

Пушкин А. С. Полное собрание сочинений, т. VII. Драматические произведения. М.—Л., 1935 (единственный том академического издания, вышедший с комментариями; комментарии к «Борису Годунову» — Г. О. Винокура).

Гордин А. Пушкинский заповедник. М.—Л., 1952.

Городецкий Б. П. Трагедия Пушкина «Борис Годунов». Комментарий. Л., 1969.

Филиппова Н. Ф. Народная драма Пушкина «Борис Годунов». М., 1972.

Эйдельман Н. Я. Пушкин и декабристы. М., 1979. Ч. III. Михайловское.

Приют, сияньем муз одетый. М., 1979.

Гейченко С. С. У Лукоморья. 4-е изд. Л., 1981.

1. П, VIII, с. 17. Последняя запись была зашифрована Пушкиным начальными буквами слов.
2. Летопись, с. 560—561. Август—октябрь 1824 г. Л. С. Пушкин провел в Михайловском с братом.
3. Переписка, 1, с. 378. *Мертво и холодно...*—намеки на политическую реакцию и предупреждение П. не спешить в столицу.
4. Переписка, 1, с. 429—430. С. Г. Волконский—декабрист, с которым П. познакомился в Каменке; *Мельмот* (герой романа английского писателя Мэтьюрина), здесь—А. Н. Раевский, которому, как считает автор письма, посвящено стихотворение «Демон». П. и С. Г. Волконский никогда более не встретились.
5. П, X, с. 82. Адресат—Н. В. Всеволожский—организатор «Зеленой лампы», близкий петербургский приятель П. «*Полупроизранная-полупроданная*» (весной 1820 г.) тетрадь стихов вернулась к П. через брата в 1825 г.; она была необходима для подготовки сборника стихотворений. Ныне—в Пушкинском доме. *Слёнин И. В.*—петербургский книгопродавец.
6. П, X, с. 600—601. П. и В. Ф. Вяземскую связывали одесские воспоминания. *Строфа, которой...*—возможно: «Я помню море пред грозою».
7. РС, 1908, окт., с. 112—113. *Рокотов И. М.*—опочецкий помещик, отказавшийся от надзора за П. и потом докучавший ему своими посещениями.
8. Там же, с. 113—114.
9. П, X, с. 83. Благодаря стараниям П. А. Осиповой это письмо псковскому губернатору, сделавшее бы семейную ссору достоянием правительства, отослано не было.
10. П, X, с. 509. Пророческая весть—слух о самоубийстве П. См. очерк к гл. VII.
11. П, X, с. 83. *Пещуров А. Н.*—опочецкий уездный предводитель дворянства, родственник лицейского товарища П. А. М. Горчакова (см. гл. III). Об отношениях П. с родителями см. гл. I.
12. Переписка, 1, с. 94—95. *Разговор*—стихотворение П. «Разговор книгопродавца с поэтом», предпосланное 1-й гл. ЕО в виде предисловия.
13. П, X, с. 84. *Annette*—А. Н. Вульф; *всех святых*—друзей П.—Н. М. Карамзина, А. И. Тургенева, В. А. Жуковского и других; *что «Онегин»?*—Л. С. Пушкин представил 1-ю главу в цензуру; *Сен-Флоран*—владелец книжного магазина; *Михайла*—М. И. Калашников, михайловский управляющий; *во славу Корана*—П. писал «Подражания Корану».
14. П, X, с. 85—86. *Немецкую критику*—заметка о «Кавказском пленнике» появилась в 1823 г. на немецком языке; *Талия Булгари-*

на — альманах «Русская Талия...»; *Евпраксия* — Е. Н. Вульф; *перстень* — не совсем ясно, какой именно, вряд ли П. отдал брату «талисман»; *записки* — биографические, которые П. вынужден был сжечь после 14 декабря 1825 г.; *чухонка Баратынского* — поэма «Эда».

15. Пушкин, X, с. 86—87. *Скажи ... Жуковскому* — см. № 10, 11; «*Цветы*» *Дельвига* — до Пушкина дошел слух, что во время наводнения в Петербурге погиб тираж «Северных цветов»; *тетка* — А. Л. Пушкина; «*Кларисса Гарлоу*» — роман английского писателя С. Ричардсона; *Всеволожский* — см. № 5; *Полярные господа* — А. А. Бестужев и К. Ф. Рылеев, издатели «Полярной звезды».

16. П., X, с. 87.

17. П., X, с. 92. *Подгадил* — в декабре 1824 г. министр просвещения А. С. Шишков заявил в конце речи: «Обучать грамоте весь народ ... принесло бы более вреда, нежели пользы»; *Северин Д. П.* — знакомый П. по Петербургу; *по-делилевски* — витиеватые фразы характерны для манеры французского писателя Ж. Делиля (XVIII—XIX вв.); *толки о побеге* — П. не доверял своим планам письму, но темы обсуждения (о банкире и т. д.) говорят, что думал он именно об этом; *надели на Воронцова* — вероятно, речь идет о пожертвованиях в помощь пострадавшим от наводнения; *от усыпителя глупца* — из стихотворения П. «Уединение» (1819).

18. П., II, с. 211. Поэтическое переложение мыслей о победе, казавшемся П. вполне реальным. См. № 17.

19. П., X, с. 91. Мысли об Одессе не оставляли П. *Уоронцов* — англизированное произношение фамилии «полумилорда»; адресат письма Дмитрий Максимович Шварц — чиновник канцелярии Воронцова, добрый знакомый П.

20. П., VIII, с. 51—52. Эти иронические заметки П. никак не назвал. Общеизвестное название дано комментаторами. Рукопись П. испещрена бесконечными поправками. Прочитал и прокомментировал ее крупнейший пушкинист-текстолог С. М. Бонди (ЛН, 58). *Цицанов Д. Е.* — известный остроумец и организатор всяческих розыгрышей; *афей* — атеист (в этом обвиняли П.); *Карл X* — французский король, только что вступивший на престол.

21. П., V, с. 79—82, 448. Вполне реалистическое описание деревенской жизни не столько Онегина, сколько автора. В письме 1826 г. П. сообщил Вяземскому: «В IV песне Онегина я изобразил свою жизнь». Впрочем, комментатор ЕО пишет: «Строфа XXXV, рассчитанная на то, чтобы вызвать у читателя иллюзию полного и непосредственного автобиографизма, на самом деле подчинена художественным законам литературной полемики и в этом отноше-

нии определенным образом стилизует реальный пушкинский быт» (Ю. М. Лотман). *Ко мне забредшего соседа* — А. Н. Вульфа; *анахорет* — отшельник; *певец Гюльнары* — Байрон; *Геллеспонт* — древнегреческое название пролива Дарданеллы, который переплыл Байрон.

22. П, П, с. 258.

23. Восп., 1, с. 105—111. Пуцин приехал к Пушкину для последнего свидания 11 января 1825 г. рано поутру. *Алексей* — слуга Пуцина; *портрет* — работы О. Кипренского, гравированный Н. И. Уткиным; *генерал Пуцин* — П. С. (см. гл. VI).

24. Переписка, 1, с. 440. Письмо привез Пуцин. Рылеев слушал «Цыган» в Петербурге в чтении Льва Сергеевича. Не исключено, что говоря «*познакомит ... короче*», Рылеев имел в виду какие-то сведения о тайном обществе.

25. П, X, с. 94. «*Неистовый Роланд*» — поэма итальянского поэта Ариосто; «*Гудибрас*» — английского поэта С. Батлера; «*Орлеанская девственница*» — Вольтера; «*Вер-Вер*» — Грессе; «*Ренике-Фукс*» — «Рейнеке-лис» И.-В. Гёте; «*Душенька*» — Богдановича; Бестужев критиковал статью Плетнева «Письмо к графине С. И. С.».

26. П, X, с. 96—97. *Клеон Грессетов* — из комедии Грессе «Злой человек». «*Олег*» — только что напечатанная в «Северных цветах» «Песнь о вещем Олеге».

27. Переписка, 1, с. 442—443. *Последнее письмо* П. Бестужеву — № 26.

28. Переписка, 1, с. 445. В «Полярной звезде» были напечатаны «Братья разбойники», отрывок «Цыган», послание Н. С. Алексею; для альманаха «Звездочка» П. послал разговор Татьяны с няней, но альманах не успел выйти в свет до 14 декабря.

29. Переписка, 2, с. 78—79. Письмо П. с поправками к 1-й гл. ЕО не сохранилось. С этого времени Плетнев стал главным посредником П. в издательских делах.

30. П, П, с. 174—179. Высказывалось мнение, что книгопродавец, с которым беседует П. в «Разговоре...», — И. В. Слѣнин. На самом деле это, конечно, разговор автора, изжившего романтические иллюзии (книгопродавец) с самим собой — прежним (поэт). *Мысль о той* — скорее всего, о Е. К. Воронцовой.

31. Переписка, 2, с. 86—87. Глава 1 ЕО поступила в лавку И. В. Слѣнина 14—16 февраля 1825 г.

32. П, X, с. 100. О *строгих мерах* — комментаторы полагают, что родители запретили младшему брату навещать старшего; *Роза Григорьевна* ведала хозяйством при Пушкиных-старших.



33. Переписка, 1, с. 472—473. Байрон описал Петербург в «Дон-Жуане»; *Пракситель*—древнегреческий скульптор.

34. Переписка, 1, с. 444. Рылееву не довелось прочитать «Евгения Онегина» далее первой главы.

35. Переписка, 1, с. 449. *Твоего ... Магомета*—намеки на «Подражания Корану», высоко ценимые Рылеевым.

36. Зелинский, ч. 1, с. 188—189: I. Это первый отзыв о ЕО, напечатанный еще до появления романа. По иронии судьбы он скорее всего принадлежал Ф. В. Булгарину, впоследствии шпиону и непримиримому врагу П.; ч. 2, с. 6: II. Автор рецензии—А. Е. Измайлов; ч. 2, с. 12—13, 15—16, 17—18: III. Отзыв принадлежит Н. А. Полевому. *М.м. Гг.*—милостивые государи.

37. Переписка, 2, с. 54—55. *Получил рукопись*—тетрадь от Всеволожского; *Психея ... над цветком*—виньетки не было сделано вообще; *Он мнил...*—строка из стихотворения Жуковского «Мотылек и цветы»; *Ф. П. Толстой*—известный художник; *Н. И. Уткин*—гравер; *Июно прелестью*—из того же стихотворения Жуковского; *Царя Никиту*—П., конечно, шутит, предлагая свою фривольную сказку; *добрых критик*—П. А. Плетнев с присущей ему мягкостью порой хвалил плохие стихи.

38. П, X, с. 105. Предисловие к «Стихотворениям» 1825 г. было написано издателями сдержанно, в духе этого письма: «В короткое время автор наш успел соединить голоса читателей в пользу своих поэтических дарований. Мы считаем себя вправе ожидать особенно-го внимания и снисхождения публики к нынешнему изданию его стихотворений». В «Бахчисарайском фонтане»—Вяземский в предисловии расхвалил П.

39. П, X, с. 603. Боль одесских воспоминаний не утихала. Пушкин ничего не мог выдумать на эту тему. Просто-напросто П. давал понять Вяземской, чтоб она хранила молчание.

40. П, X, с. 108. В 1824 г. издатель и цензор Е. И. Ольдекоп перепечатал без разрешения автора «Кавказского пленника» с параллельным немецким переводом, не заплатив автору. С. Л. Пушкин и сам поэт неоднократно подавали жалобы, но ничего не добились.

41. П, X, с. 107. «Онегина»—2-ю гл.; *Селивановский Н. С.*—московский книгопродавец, предлагавший переиздать «Руслана и Людмилу», «Кавказского пленника» и «Бахчисарайский фонтан» (не осуществилось); дошедший до П. слух о перепечатке «Бахчисарайского фонтана» не подтвердился.

42. Переписка, 1, с. 96—97. Серьезной болезни у П. не было. Сообщениями об аневризме он рассчитывал приблизить освобождение.

43. П, X, с. 111. *Белому*—Александру I; *брат переписиет*—почерки братьев Пушкиных настолько схожи, что до сих пор бывают недоразумения в связи с этим; Дельвиг возвратился в Петербург от П. 27 апреля и, видимо, рассказал Жуковскому о «Борисе Годунове»; «*Водолаз*»—баллада Ф. Шиллера, в переводе Жуковского—«Кубок».

44. П, X, с. 604. Это письмо, о котором говорится в № 43.

45. Советские архивы, 1977, № 2, с. 82—86. Просьба матери не согласовывалась с желаниями сына. П. стремился либо в столицу, либо в Европу.

46. Там же.

47. Там же. Запрос был сделан С. Л. Пушкину, и он отвечал, несколько испугавшись.

48. П, П, с. 229. Дата (25 июня 1825 г.)—разгар планов и переписки, связанной с предполагаемым отъездом за границу.

49. Псковские губернские ведомости, 1868, № 10.

50. Советские архивы, 1977, № 2, с. 82—86.

51. РС, 1908, окт., с. 114—115. Эти «милости» совершенно не устраивали П., вызывая лишь еле сдерживаемое возмущение (№ 52).

52. П, X, с. 119.

53. П, X, с. 124—125. Деньги нужны были прежде всего для побега. Между тем буквально всё не благоприятствовало этому. Отсюда—резкий тон. Всеволожскому за рукопись Л. С. заплатил 1000 р. Долг Вяземскому отдан не был. *Заикин*—один из братьев, книгопродавцев (А. И. и И. И.).

54. П, X, с. 125. И. Ф. Мойер, профессор хирургии Дерптского университета, был женат на М. А. Протасовой—родственнице Жуковского.

55. Переписка, 1, с. 212—213. Вяземский основывался на сведениях, полученных от Жуковского и старших Пушкиных. На самом деле П. в Псков не собирался. Французская цитата—о Людовике XVIII, вернувшемся на трон после низложения Наполеона. *Собака*—в басне И. И. Хемницера «Привязанная собака».

56. Переписка, 1, с. 102—103. Жуковский не знал, что П. уже отказался от услуг Мойера. Родители поэта умоляли Жуковского о помощи.

57. П, X, с. 612. *Кое кому доставит ... удовольствие*—П. считал, что родители хотят во что бы то ни стало удалить его из Михайловского, чтобы жить там самим.

58. Переписка, 1, с. 220—224. Вяземский стремился как-то наладить отношения П. с родителями. Кроме того, он опасался, что, проявляя нетерпение, П. может вызвать гнев царя и отправиться «за Урал».

59. Восп., 1, с. 423—425. Марии Ивановне Осиповой в бытность П. в Михайловском было 4—6 лет. Рассказ ее записан издателем «Русской старины» М. И. Семевским в 1866 г. Конечно, на точность в деталях рассчитывать не приходится, но атмосфера передана верно. *Александрина*—сводная сестра мемуаристки А. И. Осипова (Беклешова) скончалась в 1864 г.; *Акулина Памфиловна*—действительно выведена в «Капитанской дочке», *Пимен Ильич*—нет; о несостоявшемся отъезде П. в Петербург М. И. Осипова рассказывает одну из существующих версий.

60. П, П, с. 238. Написано 18—19 июля.

61. П, X, с. 606. Анна Ник. Вульф была безответно влюблена в Пушкина, он же пишет ей о своем чувстве к Керн.

62. П, X, с. 607. П. впервые встретил Керн в Петербурге у Олениных в 1819 г.

63. П, X, с. 611—612. *Нетти*—А. И. Вульф, племянница П. А. Осиповой.

64. П, X, с. 619. Керн прислала П. сочинения Байрона.

65. П, X, с. 608. «*Филоклет*»—трагедия французского драматурга Ж.-Ф. Лагарпа; В. Альфиери—итальянский поэт и драматург; *Озлобленный*—герой драмы Байрона «Двое Фоскари»; последние строки письма—широко известная автохарактеристика П.

66. П, VII, с. 519—521. 30 января 1829 г. П., надеясь все-таки издать «Бориса Годунова», набросал предисловие к нему, развил мысли, высказанные в письме к Н. Н. Раевскому в 1825 г. (№ 65). Получилось изложение пушкинского понимания драмы как рода литературы. Текст №№ 65 и 66 частично совпадает.

67. Переписка, 2, с. 93—95. Fournier—Фурнье В. А., учитель в семье Раевских, о котором П. осведомлялся в письме к Плетневу; *двустипшие*—из стихотворения Державина «Бог». Планы Плетнева в основном были осуществлены.

68. П, X, с. 140—141. *Милость*—разрешение ехать в Псков.

69. Переписка, 1, с. 105—106. «*В руке твои предаюся отче*»—так писал П. Жуковскому. Письмо Вяземского см. № 58.

70. П, IV, с. 170, 172. И в шутовском «Графе Нулине» легко распознать печальный голос изгнанника.

71. П, X, с. 144—145. Целью поездки в Псков было убедить губернатора Б. А. Адеркаса ходатайствовать о лечении в столицах или в Европе.

72. Советские архивы, 1977, №2, с. 82—86. Написано после того, как Пушкин съездил в Псков и беседовал с Б. А. Адеркасом.

73. Там же. Ответ на эти письма пришел, когда П. был уже в Москве.

74. П, X, с. 146. *Маржерет* — английский путешественник, выведенный в «Борисе Годунове»; *крыса мне кума* — из басни Крылова «Совет мышей»; *граф Орлов* — Г. В. — издатель переводов Крылова на французский и итальянский; *отца Евгения* — т. е. создателя романа ЕО.

75. Переписка, 1, с. 417. Баратынский узнал о трагедии от Вяземского.

76. П, X, с. 138—139. Проблема отношения к дворянству, волновавшая Пушкина, отразилась и в полемике с Рылеевым, решительно отвергавшим всякое покровительство власть имущих. «Сила душевная слабеет при дворах и гений чахнет», — писал он. *Наш приятель* — Александр I; *Хвостов Д. И.* — сам себя издавал и покупал.

77. Переписка, 1, с. 455. Это последнее письмо Рылеева к Пушкину. До 14 декабря оставалось меньше месяца.

78. П, X, с. 151. Узнав, что в Таганроге 19 ноября умер Александр I, П. обрел надежду на освобождение; *в оба уха* — из «Шекспировых духов» Кюхельбекера; *если братъ* — из басни Крылова «Вороненок»; *Я пророк* — в «Андрее Шенье» есть строки:

И час придет... и он уж недалек:  
Падешь, тиран!

79. РП, с. 754. Билет этот написан рукою Пушкина. Существует версия, будто он, с ведома Осиповой, приготовил этот документ, чтобы под именем Алексея Хохлова выехать в Петербург.

80. П, Ш. Речь идет о подчас случайной предопределенности исторических событий. «Граф Нулин» — своеобразная пародия на поэму Шекспира «Лукреция». По преданию изгнание древнеримских царей и провозглашение республики вызвано тем, что сын императора Тарквиний совершил насилие над Лукрецией. Об этом и говорится в заметке П. Кроме того, он вспоминает, чем занимался в день восстания 14 декабря. *Происшествие в Новоржевском уезде* — эпизод, похожий на приключение Нулина, произошел с А. Н. Вульфом.

81. П, VII, с. 129—131. Ответ на рецензию Н. И. Надеждина в «Вестнике Европы» (1819, № 3) и оценка своего последнего перед восстанием 14 декабря 1825 г. произведения.

82. П, X, с. 154. А. Н. и Н. Н. Раевские были под арестом в Главном штабе с 4 по 17 января 1826 г. Жуковский написал «Стихи на смерть императора Александра». О П. и декабристах см. *Литературу и очерк*.

83. Переписка, 2, с. 104. «Стихотворения» вышли в конце 1825 г. Один экземпляр Плетнев по просьбе П. поднес Карамзину.

84. П, X, с. 153. Об истинных масштабах репрессий, следовавших за декабрьским восстанием, П. еще не знал.

85. Под тайным надзором, с. 15. Донос принадлежит деятельному агенту III Отделения, литератору С. И. Висковатову. «Достойные вероятия» особы не могли слышать никаких разговоров П. и клеветали «на всякий случай».

86. Переписка, 2, с. 106—107. П. сетовал на то, что в «Стихотворениях» неправильно расставлены знаки препинания.

87. Переписка, 2, с. 108—109. Плетнев отдавал «Стихотворения» в цензуру до 14 декабря и понимал, что таких вещей, как «Андрей Шенье», при переиздании не пропустят. На лекции — Жуковский читал лекции по истории особам царской фамилии; письмо серьезное П. написал Жуковскому 7 марта 1826 г.

88. П, X, с. 157. Поэт-крестьянин Ф. Н. Слепушкин был удостоен академической золотой медали; четвертака — жетона, который получали члены Российской академии.

89. Под тайным надзором, с. 17—18. Жандармский агент говорит уверенно о пушкинском авторстве «Гавриилиады» (об этом почти никто не знал); он приводит также искаженные стихи из стихотворения «Свободы сеятель пустынный» (см. гл. VI, № 1), впервые напечатанного лишь в 1867 г.! Источники информации неизвестны. Это, по-видимому, первый донос на Пушкина, полученный Бенкендорфом (см. гл. IX).

90. П, X, с. 155.

91. Переписка, 1, с. 393. Дельвиг дает понять, что до окончания следствия и суда над декабристами П. не может рассчитывать на освобождение.

92. Переписка, 1, с. 111—112. Жуковский знал, что в показаниях декабристов и в их бумагах постоянно возникает имя Пушкина — сам П. этого еще не знал.

93. Летопись, с. 699—700. Записка петербургского генерал-губернатора начальнику Главного штаба связана с тем, что власти заинтересовались ролью Плетнева в делах ссыльного Пушкина.

Было начато соответствующее «дело», вынудившее Плетнева на время прекратить переписку с П.

94. П, X, с. 240. *Один из друзей*—Пушкин; *добрая девушка*—О. М. Калашникова. Ребенок, по-видимому, умер в младенчестве.

95. Переписка, 1, с. 241. *Певец Буянова*—В. Л. Пушкин.

96. Под тайным надзором, с. 19. Агент Локателли в ходе следствия и суда получил тайное задание выявить связи декабристов. Отсюда и донос на П.

97. П, X, с. 163. Н. М. Карамзин умер 22 мая 1826 г.; итальянский писатель Ф. Гальяни заметил: «Знаете ли вы мое определение того, что такое *высшее ораторское искусство*? Это — искусство сказать все и не попасть в Бастилию в стране, где запрещено говорить что бы то ни было». Вяземский советовал П. написать царю письмо, в котором П. «обещал бы держать впредь язык и перо на привязи». См. № 100; *Барков И. С.*—автор неприличных стихов, распространенных в списках.

98. П, VIII, с. 30. Этой записью в дневнике 1834 г. П. возвратился памятью к 1826 г. и лишний раз показал ничтожность правителя империи: 13 июля 1826 г. казнили пятерых лучших сыновей России (об этом и сообщил слуга). Фр—возможно, фрейлина А. О. Смирнова.

99. П, VIII, с. 17. Со дня смерти Амалии Ризнич к тому времени прошло полтора года; начальные буквы обозначают имена казненных 13 июля 1826 г. декабристов—К. Ф. Рыльева, П. И. Пестеля, С. И. Муравьева-Апостола, П. Г. Каховского, М. П. Бестужева-Рюмина.

100. П, X, с. 162. По совету друзей и, по-видимому, псковского губернатора П. написал это письмо, рассчитывая наконец вырваться из ссылки.

101. Акад., XIII, с. 284. К письму П. и ходатайству губернатора необходимо было приложить медицинский документ.

102. РС, 1908, окт., с. 111. Бумаги пошли по инстанциям—из Псковской губернии—прибалтийскому генерал-губернатору, а от него—министру иностранных дел, которому П. был подчинен, даже находясь в отставке.

103. Под тайным надзором, с. 21—29. Секретный агент при графе И. О. Витте А. К. Бошняк получил от своего шефа особое задание, в котором отчитывается (подробно: Эйдельман Н. Я., Пушкин и декабристы). *Открытый лист* для ареста П. не понадобился, поскольку никаких улик Бошняку добыть не удалось. Б. Л. Модзалевский (вслед за А. А. Шиловым, Былое, 1918)

воспроизвел черновик рапорта Бошняка, где в квадратных скобках стоят зачеркнутые слова.

104. Акад., XIII, с. 293. Эта казенная бумага открывает последнюю группу документов, связанных с освобождением П. из ссылки.

105. Акад., XIII, с. 293.

106. РС, 1908, окт., с. 111.

107. П, V, с. 120. В последней строфе 6-й гл. ЕО П. прощается с Михайловским — Тригорским.

108. П, V, с. 472. В «Отрывках из путешествия Онегина» П. вновь возвращается в любимые псковские места.

109. П, III, с. 313—314, 427—429. Написано 26 сентября 1835 г. О настроении П. и его поездке в Михайловское — Тригорское см. гл. XV.



## СОДЕРЖАНИЕ

От составителя.....	5
ГЛАВА ПЕРВАЯ. 1799—1811 .....	11
ГЛАВА ВТОРАЯ. 1811—1815.....	103
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 1816—1817 .....	199
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 1817—1820 .....	237
ГЛАВА ПЯТАЯ. 1820 .....	330
ГЛАВА ШЕСТАЯ. 1821—1823.....	379
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. 1823—1824 .....	482
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. 1824—1826.....	566
Примечания.....	693



- Ж 71 Жизнь Пушкина: Переписка; Воспоминания; Дневники. В 2 томах. Т. 1. / Сост., вступительные очерки и прим. В.В.Кунина.— М.: Правда, 1988.—736 с., 16 л. вкл.**

В двухтомнике собраны документы и материалы, рассказывающие о Пушкине на всем протяжении его жизненного и творческого пути. Главное место отведено письмам самого поэта, его дневниковым и мемуарным записям, а также произведениям, в той или иной степени носящим автобиографический характер. Включены официальные документы и фрагменты мемуаров современников. Первый том охватывает годы 1799—1826 (до начала сентября); второй: сентябрь 1826—декабрь 1835 г.



ЦАРСКОЕ СЕЛО \* ЛИЦЕЙ

